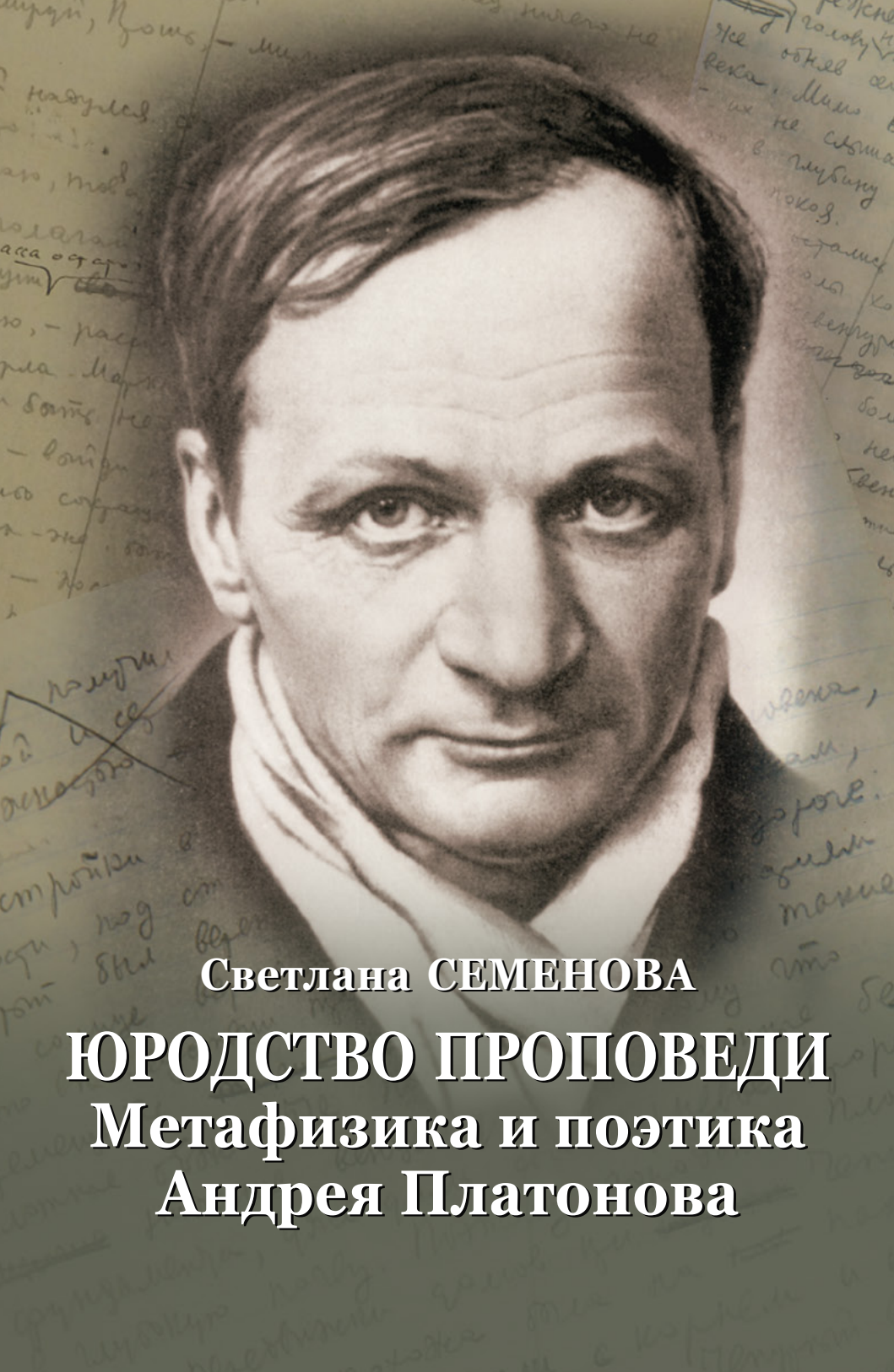

Светлана СЕМЕНОВА

ЮРОДСТВО ПРОПОВЕДИ
Метафизика и поэтика Андрея Платонова

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

Светлана Семенова

ЮРОДСТВО ПРОПОВЕДИ
Метафизика и поэтика Андрея Платонова

МОСКВА
2020

УДК 821.161.1.0 (092)
ББК 83.3 (2 Рос-Рус) 6
С 30

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
по проекту № 19-112-00287, не подлежит продаже

Составление и предисловие
А.Г. Гачевой

Рецензенты
Доктор филологических наук *Д.С. Московская*
Кандидат филологических наук *Е.А. Папкова*

Семенова С.Г.

С 30 **Юродство проповеди: Метафизика и поэтика Андрея Платонова** / С.Г. Семенова; сост., предисл. А.Г. Гачевой. М.: ИМЛИ РАН, 2020. — 624 с.
DOI: 10.22455/978-5-9208-0606-2

ISBN 978-5-9208-0606-2

Книга известного российского литературоведа и философа Светланы Григорьевны Семеновой (1941–2014), посвящена Андрею Платонову, самому метафизическому писателю XX века. Исследование охватывает основной корпус его прозы и драматургии — от повестей «Епифанские шлюзы», «Эфирный тракт», «Ювенильное море» до романов «Чевенгур» и «Счастливая Москва», от рассказов 1920-х годов до военной прозы, от пьесы «Шарманка» до гротескно-сатирической мистерии «Ноев ковчег». С.Г. Семенова опирается на выработанную ею методологию изучения литературы как образно-художественной формы философского освоения реальности, где метафизика неразрывна с поэтикой. Она рассматривает «идею жизни» Платонова, фундаментальные константы его миропонимания (смерть, родственность, память, эрос, тело, вещество существования и др.), вникая в глубинные пласты текста, в сюжеты, образы, мотивы, стиль, в ряд уникальных черт и деталей художественного мира писателя.

Во второй части книги печатаются две статьи С.Г. Семеновой, представляющие собой разнесенные во времени попытки описать «однообразные» и «постоянные» идеалы Платонова, дать философский абрис его творчества.

В финальной части издания — интервью С.Г. Семеновой и подборка дневниковых фрагментов, демонстрирующих, как в жизни одного из ведущих российских платоноведов и одновременно исследователей и публикаторов наследия Н.Ф. Федорова развиваются бок о бок платоновская «идея жизни» и федоровская тема «воскрешения», восстановления всечеловеческого родства.

Книга адресована филологам и философам, преподавателям и студентам, всем интересующимся историей отечественной культуры.

© С.Г. Семенова, наследники, 2020
© А.Г. Гачева, составление, предисловие, 2020
© ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2020

ISBN 978-5-9208-0606-2

О СВЕТЛАНЕ СЕМЕНОВОЙ И ЭТОЙ КНИГЕ

Когда-то Д.С. Мережковский посвятил одну из своих книг «великим писателям разных эпох и народов», «вечным спутникам» рода людского: по-новому раскрываются они каждому поколению, «время их не уничтожает, а обновляет: каждый новый век дает им как бы новое тело, новую душу, по образу и подобию своему»[1]. «Они живут, идут за нами, как будто провожают нас к таинственной цели; они продолжают любить и страдать в наших сердцах как часть нашей собственной души, вечно изменяясь, вечно сохраняя кровную связь с человеческим духом. Для каждого народа они — родные, для каждого времени — современники, и даже более — предвестники будущего»[2].

Подобно вечным спутникам человечества, существуют свои вечные спутники для всякого человека, приходящего в мир, — тем более для исследователя и мыслителя такого масштаба, каким была Светлана Григорьевна Семенова (1941–2014). Филолог и философ, ведущий исследователь отечественной мысли и литературы в их переплетениях и взаимовлияниях, французского экзистенциализма и русской религиозной философии, творчества Н.Ф. Федорова, В.И. Вернадского, П. Тейяра де Шардена, традиции ноосферной, космической мысли, отразившейся разными смысловыми гранями в художественных явлениях XX века, она выбрала своими собратьями в мысли и духе Николая Федорова и Андрея Платонова. Первый был для нее вершинной фигурой русской философии в ее взыскании Абсолюта, не трансцендентного миру, а преображающего его изнутри, в ее чаянии всеединства, преодолевающего смерть и рознь. Второй — вершиной русской литературы как духовной сестры русской мысли, выражавшей в себе то же взыскание родства, стремление к полноте блага и совершенства.

«Какой родной до невозможности человек!» — так детски-открыто, совсем «по-платоновски» обозначила Светлана Семенова в далеком 1975 году ощущение от своей духовной встречи с автором «Эфирного тракта», «Котлована», «Чевенгура», «Реки Потудань», детских рассказов[3]. Соприкоснувшись с текстами Платонова, она сразу почувствовала в них ту сокровенную, главную ноту, которую слышала в Федорове и ощущала в себе: тоску мучающегося горячего сердца, не смиряющегося со смертью, с утратами, чающего полноты родства и полноты действия, того «радостию друг друга обымем, рцем: “братие!”», которое звучит в Пасхальном каноне и нудит к своему воплощению во всей полноте мира, природы, истории.

Идя рука об руку с Федоровым и Платоновым, погружаясь в духовное поле идей и смыслов федоровской «Философии общего дела», в пространство платоновской художественной метафизики, Светлана Семенова обретала собственный философский голос. Мыслитель, литературовед, культуролог Георгий Гачев, союз с которым — одна из примечательных вешек на карте «некалендарного» двадцатого века, называл ее книги явлением Женского Логоса.

Светлана Григорьевна Семенова своими статьями о сокровенной «идее жизни» писателя, о фундаментальных константах его художественного мира (смерти, родственности, памяти, эросе) заложила основу философского платоноведения. Представленные ею исследования поэтики писателя в неразрывности с его метафизикой с одной стороны, а с другой — та масштабная исследовательская, эдиционная, комментаторская работа, связанная с изданием первого научного собрания сочинений Платонова и трудов-спутников к ним, с изучением его творческой биографии, литературного и социокультурного контекста творчества, которая на протяжении почти трех десятилетий ведется Платоновской группой ИМЛИ под руководством чл.-корр. РАН Н.В. Корниенко[4], органически дополняют друг друга, образуя лицо платоноведческой школы ИМЛИ РАН.

Выпускница романо-германского отделения филологического факультета МГУ, Светлана Семенова начинала как историк зарубежной литературы. Первые работы были посвящены становлению жанра философского романа, который она рассматривала на материале прозы французских просветителей Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро[5] и экзистенциалистов Ж.-П. Сартра и А. Камю[6]. Культурные явления, отделенные друг от друга на шкале эмпирического времени двумя столетиями, сопрягались в поле взаимодействия философии и литературы. А их творцы, столь несхожие своими картинами мира (рационализм, детерминизм, оптимизм у просветителей — релятивизм, индетерминизм, пессимизм у экзистенциалистов), в равной степени прибегали «к художественному воплощению своих философских идей»[7], к роману и драме. С.Г. Семенова писала о «глобальной оптике “остранения”», свойственной и деятелям французского Просвещения, и экзистенциальным философам и позволяющей им «радикально изменить ракурс взгляда на действительность»[8]. Она рассматривала структуру образа философского героя, выявляя в нем черты героя-идеолога, демонстрировала связь философского романа с традицией описательно-моралистической прозы XVII–XVIII веков, образцы которой представляют

собой художественно-философское единство: этические взгляды излагаются здесь не риторически и «педантически системно», а «насыщают» сами «художественные формы»[9].

Миропонимание писателя постигалось С.Г. Семеновой через анализ поэтики, через уяснение особенностей оформления мысли в художественном тексте, где та никогда не звучит прямо, «в лоб», но уходит в подтекст и подспуд, в композицию, в сложную мозаику образов, сюжетных линий, мотивов, в монологи и диалоги персонажей, определяет тип героя, влияет на авторский стиль. Ей важно было понять, как в философском романе сцеплены и взаимообуславливают друг друга идея и форма, как первая порождает вторую и в свою очередь воплощается в ней.

Спустя более 15 лет в книге «Преодоление трагедии: “вечные вопросы в литературе”» (М., 1989), куда войдет и раздел, посвященный «“Проклятым вопросам” французского экзистенциализма», Светлана Семенова отметит присущее представителям этого течения стремление постигать метафизические проблемы «чувством, “эстетическим разумом”», недаром и своими учителями считали они «не философов, а именно художников, романистов», таких как Толстой, Достоевский, Мелвилл, Фолкнер, Мальро, Кафка и др.[10]

Интерес к явлениям литературы, которые находятся на стыке художественного и философского дискурса, определялся далеко не только эстетическими предпочтениями Светланы Семеновой. Эти явления привлекали открытостью вечным вопросам человеческого бытия: «о смысле существования, о начале и конце, о времени и вечности, об отношении духа и материи, человека и космоса, о природе самого человека, о судьбе и свободе, о культуре, о Боге…»[11] А уже данные вопросы, в свою очередь, заострялись для исследовательницы в один главный вопрос — о смерти и бессмертии, «об онтологическом пределе нашей жизни, ее трагической отграненности»[12]. Интерес к ним шел из самой глубины ее личности, из внутреннего, духовно-душевного склада. По собственному признанию Светланы Семеновой, с детства она была «ранена смертью». Поэтому так близка была ей тоска французских экзистенциалистов, их невозможность комфортно «устраиваться» в мире, где правит бал смерть, отрицание комильфотного существования. Но поэтому же в конечном итоге она, исследовав поставленную экзистенциализмом «проблему абсурдного мироощущения», не продолжила занятия этим течением, поставившим со всей силой вопрос о трагедии существования, но не давшим иного выхода из нее, кроме экзистенциального бунта или героического стояния перед лицом смертной реальности. Она искала не просто обнажения трагедии, но ее преодоления, причем преодоления радикального. И этот поиск,

в конечном итоге, вывел ее к русской философии и литературе, к огромному религиозно-художественному материку, контуры которого в эпоху 1970-х годов были видимы лишь отчасти, ибо огромный пласт текстов и материалов еще находился под спудом либо был отодвинут на периферию исторического движения марксистской идеологией.

Недостаточность ответов, которую давали ее любимые французские авторы, Светлана Семенова ощутила еще в период работы над диссертацией. А к неудовлетворенности аксиологическим горизонтом философии экзистенциализма присоединился все чаще охватывавший молодую исследовательницу стыд за то, что, отдавая силы и время жизни изучению зарубежной литературно-философской традиции, она пренебрегает своей, национальной, не знает и не охватывает ее мыслью и словом. И в 1972 году, как раз тогда, когда наконец начали выходить в печать — пока еще в форме статей — плоды ее аналитической работы над феноменом философского романа и его экзистенциалистской проекцией, она решительно поменяла научный курс, сделав волевой выбор в пользу русской культуры, воздвигая «течение встречное», усиливаясь, несмотря на идеологический прессинг, восстановлять распавшуюся связь времен, обращая своих соотечественников к духовному наследию дореволюционной эпохи, к звучанию «вечных вопросов» существования на русской почве и к тем ответам, которые были на них даны отечественными писателями и мыслителями. А потом произошла встреча с философией Н.Ф. Федорова, «загадочного мыслителя», «Московского Сократа», как называли его современники, определившая всю дальнейшую жизнь Светланы Семеновой. Именно ее подвижническому, вдохновенному труду обязаны мы пробуждением интереса к творчеству самой пророческой и дерзновенной фигуры русской мысли, философа, который, по словам С.Н. Булгакова, поистине «упредил свое время».

Еще занимаясь творчеством французских энциклопедистов и экзистенциальных мыслителей, явивших в пространстве европейской культуры своего рода тезис и антитезис, отношения contra (апология Просвещения сокрушалась идеей Абсурда[13]), Светлана Семенова указывала на общий ракурс, на один угол зрения, под которым те и другие рассматривают реальность. И энциклопедистов, и экзистенциалистов, подчеркивала она, волнуют не столько онтологические и гносеологические проблемы, сколько антропологические и этические: проблемы *поведения* человека, его *самостояния* в мире, будь то утвержденный на камени разума мир французских энциклопедистов или абсурдный, находящийся под дамокловым мечом смерти мир Камю и Сартра. Когда же исследовательница обратилась к русской философии и литературе, она увидела, что отечественные писатели

и мыслители смотрят на мир под тем же мировоззренческим и духовным углом: не онтология и гносеология, но антропология, этика, философия истории — вот что здесь выдвигается на первый план. Но — в отличие от французских просветителей и экзистенциалистов — они применяют к этическим понятиям иной масштаб, ориентируясь на то, что философ Н.А. Сетницкий назовет «конечным», «целостным» идеалом[14]: идеал «нового неба и новой земли», но не потусторонний, входящий в мир в результате катастрофического обрыва истории, а воплощающийся в реальность благодаря преображающей «работе спасения», в которую, в представлении Н.Ф. Федорова и В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова, могут включиться все.

Драма идей далеко не всегда разворачивается последовательно хронологически. Н.Ф. Федоров и связанная с ним традиция активного, творческого христианства, включающего в объем религиозного задания человеку не только спасение души, но и труд воскрешения, возвращения всех когда-либо живших, предстали в работах Семеновой как третий, синтетический вариант развития, снимающий противоречие между «тезисом» и «антитезисом», между просветительской «верой в земное счастье человека, в возможность гармоничного социального устройства»[15], которая утопична при существовании смерти, и экзистенциалистским разрушением этой веры перед лицом злого «ничто», каждую минуту грозящего жизни. Преодолевая ограниченность и некоторую упрощенность взгляда просветителей на человека, Федоров и «русская религиозная мысль», по убеждению Семеновой, расширяют возможности разума, вводя его в лоно веры, а с другой стороны — выводят из ситуации заброшенности человека в мир, противопоставляя фатальному одиночеству индивида идеал всеединства, общества «по типу Троицы».

Эти идеи, открывающие выход человеческой надежде, С.Г. Семенова развивала и в книгах о Федорове, и в публичных своих выступлениях. Выступлениях пламенных и поражавших всех, кто слышал ее, заставлявших не шелохнувшись сидеть в битком набитых залах два, а то и три и даже четыре часа. Вечера памяти Федорова, где участвовала Светлана Семенова, ее лекции о «Философии общего дела» собирали в 1970–1980-е годы сотни людей: пришедшие стояли в проходах, сидели на полу, висели на окнах — так велика была жажда воды живой, подлинного и глубокого слова, целостного, всеспасающего идеала.

Трудно представить сейчас, какими болезненными и жесткими терниями была усеяна дорога в печать статей о Федорове и первых публикаций его неизданного наследия. Ради того, чтобы продвигать это наследие в его многоликих, многоаспектных связях и влияниях на литературу, философию,

историю, Светлана Семенова сделала еще один крутой вираж. В 1978 году она оставила Литературный институт, где заведовала кафедрой иностранных языков, ушла со службы, отнимавшей время и силы, чтобы отдать себя главному — вынести в мир федоровскую «Философию общего дела», появлением которой, по мысли А.Л. Волынского, «оправдано тысячелетнее существование России»[16] и в которой она сама видела квинтэссенцию Русского Логоса, средоточие русской идеи как идеи, по выражению Достоевского, «всечеловеческой и всемирной». И не один федоровский голос здесь зазвучал для нее, а целый хор голосов — предшественников и духовных собратьев мыслителя, пересекавшихся с ним очно или заочно, как Л. Толстой и Ф. Достоевский, или испытавших его влияние в XX веке, как В. Маяковский, В. Хлебников, Н. Клюев, М. Пришвин, Н. Заболоцкий и, конечно, А. Платонов.

Каждая работа о Федорове, которую удавалось продвинуть в печать, проходила с огромным трудом. Борьба за публикацию порою растягивалась на несколько лет. Первой ласточкой стала опубликованная в сборнике «Контекст-1975» подготовленная С.Г. Семеновой реконструкция статьи Федорова «“Фауст” Гёте и народная поэма о Фаусте»[17]. И сразу же рядом с собственно философской тематикой здесь появилась тема литературы, выдвинутая Н.Ф. Федоровым концепция проективной критики, не только анализирующей, но «доращивающей» замысел писателя, претворяющей авторскую идею в свете «конечного идеала». В 1977 году появилась объемная статья Светланы Семеновой «Николай Федорович Федоров (Жизнь и учение)» в альманахе «Прометей», ставшая хрестоматийной и открывшая нашим современникам личность и мир идей «Московского Сократа». Здесь конспективно, но от этого не менее убедительно были обозначены линии связи Федорова с Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, В.С. Соловьевым, прозвучали имена В.Я. Брюсова и Н.А. Заболоцкого. И в том же году в книгу о Федорове, над которой С.Г. Семенова начала работать с самых первых месяцев знакомства с его идеями, она решила «сделать литературный pendant»[18]. В результате новая версия книги, сданная в 1979 году в издательство «Современник», обрела название «На пороге грядущего. Н.Ф. Федоров. Судьба его идей в русской и советской литературе» и более половины объема ее текста было посвящено влиянию Федорова на русских писателей и поэтов, от уже упомянутых в альманахе «Прометей» Достоевского и Толстого до Брюсова, Маяковского, Горького, Пришвина и, конечно, Андрея Платонова, «идея жизни» которого питалась федоровской темой воскрешения, восстановления всечеловеческого родства.

Фактически Светлана Семенова предпринимает попытку написать свою философию русской литературы, прочтя и прокомментировав ее «sub specie отношения к смерти», стремясь понять истоки рождения «Философии обще-

го дела», «вытянуть именно ту линию, которая ведет к Федорову»[19]. Вывести из этого в печать удавалось немногое, в основном в провинциальных изданиях[20], к тому же зачастую в редуцированном, сокращенном, оскопленном редакторским вмешательством виде, но даже просочившегося было достаточно, чтобы обозначить целый ряд больших тем, связанных с философской составляющей русской литературы, с сокровенной ее метафизикой, с тем, что сама Светлана Григорьевна вскоре назовет «оправданием России».

В этом исследовании русской литературы как одного из проявлений национальной метафизики фигура Андрея Платонова занимала центральное место. Еще в 1976 году Светлана Григорьевна написала большую работу «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)». Спустя год к этому первому очерку платоновской «идеи жизни» присоединила вторую створку — разбор «Чевенгура», понимая: эти две главы — уже заявка на книгу.

Увы, все усилия продвинуть в центральную печать первую статью о Платонове успехом не увенчались. Лишь на периферии — в журнале «Литературная Грузия» — и болгарском журнале «Литературна мисъл» удалось выпустить урезанные ее версии. Что касается статьи о романе «Чевенгур», вышедшем лишь за пределами СССР, ее публикация была заведомо исключена.

В максимально возможном объеме С.Г. Семенова включила текст первой статьи почти под идентичным названием «“В усилии к будущему времени”. Андрей Платонов» в книгу «На пороге грядущего. Н.Ф. Федоров. Судьба его идей в русской и советской литературе». Однако судьба книги оказалась плачевной. Издательство «Современник» всячески тормозило ее: то требовало предисловия от космонавта, то посылало текст на дополнительное рецензирование, то максимально затягивало работу над ней.

В 1982 году в издательстве «Мысль» в серии «Философское наследие» появилось подготовленное Семеновой издание избранных сочинений Федорова. Невероятно, но факт: том вышел практически без купюр и в нем слово «Бог» и все производные от этого слова были напечатаны с большой буквы — а ведь в советских изданиях это было немыслимо. Что уж говорить о самом содержании тома! Идеал активного христианства, преображающего жизнь и историю. Замена «вопроса о богатстве и бедности» «вопросом о смерти и жизни». Призыв к соединению верующих и неверующих, ученых и неученых в общем деле преодоления смерти, «возвращения жизни тем, от коих ее получил»… Разумеется, последовали самые жесткие санкции. Была изъята часть тиража, появились разгромные статьи в периодике. Тут-то «Современник» и вовсе отказался от книги «На пороге грядущего», которая была уже почти на пороге издания — даже оформление было целиком под-

готовлено. На несколько лет автору практически был закрыт ход в печать, а то, что туда попадало, проходило с невероятным трудом.

Потом пришла перестройка, первые годы которой ознаменовались всплеском внимания и интереса к русской духовной культуре, широкими исследованиями и публикациями отечественного философского наследия, возвращением произведений, вытолкнутых бдительной цензурой из официального потока литературы или изначально писавшихся в стол. И статьи Светланы Семеновой о русской философии и литературе наконец заняли подобающее им место на страницах столичных толстых журналов. Каждая ее публикация становилась событием, будь то статья «Мастеровые идеала» о философских мотивах советской поэзии конца 1910–1920-х годов (Октябрь. 1987. № 11), работа «Семья идей» — об активно-эволюционных, ноосферных идеях В.И. Вернадского в контексте русского космизма (Знамя. 1988. № 3), появившаяся в «Новом мире» статья «“Всю ночь читал я Твой Завет…” Образ Христа в современном романе» (1989. № 11) или философский этюд «Диагнозы и пророчества. О сборниках “Вехи” и “Из глубины”» (Литературная газета. 1991. 1 мая. № 17).

С 1988 года начинают выходить и ее работы об Андрее Платонове[21]. То, что было написано «в стол» и с усилиями, по большей части бесплодными, пробивалось в печать в советские годы, а если чудом достигало станка, то корежилось бдительной рукой редакторов-цензоров, наконец стало возможно полноценно вынести в мир. С.Г. Семенова делает несколько версий статьи «“Идея жизни” Андрея Платонова», используя в качестве прототекста работу «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)», вводит в нее материал о вышедших наконец в советской печати романах «Чевенгур» и «Котлован». Делает новые версии статьи о «Чевенгуре», расширяя и дополняя написанное в конце 1970-х годов. В каждой новой статье платоновский философский сюжет обретает новые повороты, обогащается его смысловая палитра, разнообразится инструментовка. Обе створки работы о Платонове объединяются в книге «Преодоление трагедии. “Вечные вопросы” в литературе», вышедшей в 1989 году в издательстве «Советский писатель». В главу «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)» автор включает в доработанном виде и одноименную статью, написанную еще во второй половине 1970-х годов, и статью о романе «Чевенгур» с дополнением о «Котловане».

Сдав в печать эту работу, С.Г. Семенова обращается к наследию Платонова на новом витке, расширяя ракурс взгляда на «самого метафизического писателя XX века». Она открыто ставит «идею жизни» писателя в религиозно-философский контекст, во всей полноте и свободе вводя в орбиту своих платоновских штудий наследие русских религиозных мыслителей

конца XIX — начала XX века, и не только Н.Ф. Федорова, которому она по-прежнему отводит центральное место в спектре философских влияний на Андрея Платонова, но и В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, Б.П. Вышеславцева, А.К. Горского. Написанная уже к тому времени главная философская книга Семеновой «Тайны Царствия Небесного», включившая в себя трактат-исследование «Метаморфоза пола», задает путь погружения в «тайное тайных» Андрея Платонова, в сокровенное ядро его метафизики, где сливаются «тайна смерти», «тайна пола», «тайна воскресения» и «тайна родства», позволяя увидеть в творчестве писателя один из художественных изводов «этики преображенного эроса».

Расширению взгляда на творческий материк Андрея Платонова способствовало и то, что в конце 1980-х — первой половине 1990-х годов усилиями платоноведов, и особенно Н.В. Корниенко, этот материк, раньше казавшийся айсбергом, начал выступать из темных вод забвения и непризнания. В печати появились многие «задержанные» и незавершенные тексты Платонова, и прежде всего роман «Счастливая Москва». Этому роману С.Г. Семенова посвятила несколько статей, предложив опыт его медленного, аналитического прочтения, смысловой реконструкции-реставрации.

В 1988 году С.Г. Семенова пришла на работу в Институт мировой литературы им. А.М. Горького, где главным направлением ее деятельности стало изучение философских влияний на литературу XX века, исследование русской литературы как особой формы национального самосознания, своего рода синкретической, образно-художественной философии, той сферы творчества, где, словно в живоносном родительском лоне, завязывались и вызревали сюжеты русской религиозно-философской мысли конца XIX — начала XX века. Эти исследования были обобщены в серии объемных статей и в двух главных книгах: «Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия» (М., 2001) и «Метафизика русской литературы» (В 2 т. М., 2004). Русская классика (от Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Толстого, Достоевского до Клюева и Есенина, Хлебникова и Маяковского, Заболоцкого и обериутов, Шолохова и Леонова, Пришвина и Горького, Платонова и Пастернака, Набокова и Газданова…) ставилась здесь под софиты вечности, раскрывалось ее пророческое слово миру и человеку.

О философичности русской словесности, о «рождении русской философии из духа русской литературы» первыми заговорили философы начала XX века: С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, Н.О. Лосский и др. Однако для того, чтобы доказать этот тезис, им не хватало филологического инструментария. При том, что буквально все они писали о литера-

туре, их работы были религиозно-философской критикой par excellence. Собственно филологических задач, относящихся к изучению литературы не как духовно-этического феномена, а как вида искусства, религиозные мыслители перед собой не ставили. При этом русская формальная школа, напротив, ушла в противоположную крайность: обстоятельно и подробно отвечая на вопрос «Как сделано?», она практически не интересовалась вопросом о смысле и сущности сделанного, а порой была готова свести художественный текст к чистой форме.

С.Г. Семенова синтезировала достижения религиозно-философской критики, одаренной восчувствием целого, вниманием к содержательной стороне художественного текста, и достижения формальной школы с ее стремлением ответить на вопрос «Как?». Ее работа над произведением начиналась с медленного, как она сама говорила, «черепашьего» чтения, с вникания в композицию, систему образов, художественные детали. При этом анализ не тонул в мелочах, теряя из виду смысл целого, он строился на балансе между частным и общим, на синтезе знания и интуиции. Целое понималось из частей и в свою очередь наполняло их смыслом. Филологический разбор, подчеркивала Светлана Семенова, должен вести к пониманию общего строя художественной мысли писателя, но, с другой стороны, без предзнания, без предугадывания этого общего строя, т. е. без интуиции целого, окажется невозможным собрать и связать множество мелких наблюдений в стройное и осмысленное единство.

Умение сопрягать содержание и форму, идею и текст, позволило Светлане Григорьевне раскрыть метафизические грани творчества целого ряда современных писателей, таких как В. Распутин, Ч. Айтматов, А. Ким. Когда в 1987 году вышла ее книга о Валентине Распутине, писатель был удивлен, как смогла она, ни разу не встретившись с ним лично, так глубоко, точно, сердечно вникнуть в художественный мир его прозы.

Вспоминая слова Георгия Гачева о «Женском Логосе» Светланы Семеновой, отметим, что ее философские работы были воплощением «сердечной мысли», соединяющей интеллектуальное и эмоциональное, примиряющей ум и сердце, а в подходе к литературе проявлялось родственно-любовное, усыновляющее отношение. Она имманентно исследовала художественный мир писателя, вникая в тайные завитки его мысли, в настойчиво повторяющиеся мотивы и образы. Сердечное, бережное внимание к личности другого, питавшееся убежденностью в том, что «каждый человек лучше, чем он кажется»[22], проявлялось и в ее занятиях наследием русских классиков. А еще она убежденно стояла за всеобщность спасения и находила опору своему чаянию апокатастасиса в литературе, способной раскрыть изнутри душу самого жалкого, казалось бы, безна-

дежно погибшего человека, самого закоренелого преступника и злодея, учащей понимать, а значит, прощать.

Она не терпела клеветы и неправды, не смирялась с несправедливостью. Так было и во время кампании, развязанной в конце 1990 — начале 2000-х годов против Шолохова. Движимая желанием защитить от наветов писателя, у которого отнимали авторство его главного и любимого детища, она написала книгу «Мир прозы Михаила Шолохова: от поэтики к миропониманию» (М., 2005), где убедительно показала, насколько «Тихий Дон» тематически и стилистически неразделен с «Донскими рассказами», «Поднятой целиной», «Они сражались за Родину», как проявляется в нем шолоховская философия человека, народного бытия, природы, истории…

В литературоведческих штудиях С.Г. Семеновой в период ее работы в ИМЛИ платоновские сюжеты нашли свое органическое продолжение и развитие. В 1990-е годы в Отделе новейшей русской литературы обсуждалась новая концепция Истории русской литературы 1920–1930-х годов, в которой подчеркивалась важность исследования философского и социокультурного контекста русской поэзии, прозы, драматургии. Взяв на себя этот раздел новой истории, работая над главой о мировоззренческих диапазонах русской поэзии и прозы 1920–1930-х годов, над главами коллективной монографии «Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов», Светлана Григорьевна постоянно обращалась к фигуре Платонова, а для своей монографии «Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия» написала новый очерк его метафизики[23].

Вниманию к Платонову способствовали и проходившие раз в три года международные Платоновские конференции. С.Г. Семенова вместе с Н.В. Корниенко была деятельным организатором двух первых конференций (1989, 1994), а на последующих неизменно выступала с докладами, вела научные заседания, участвовала в серии сборников «“Страна философов” Андрея Платонова: Проблемы творчества».

Платоновские конференции и их тематика сфокусировали внимание С.Г. Семеновой на разработке специальных тем и сюжетов, связанных с творчеством писателя. Она сделала статью о военных рассказах Платонова, а конференция по «Чевенгуру» стала толчком к осмыслению этого романа в «религиозно-философском контексте», к выявлению его глубинного смыслового пласта, связанного с темой апокалиптики, проблематикой христианского действия, чаянием апокатастасиса.

Работа Платоновской группы ИМЛИ, подготовленные ее участниками комментированные публикации новых произведений, записных книжек, писем, материалов к биографии Андрея Платонова стимулировали к расширению круга источников, к их новому осмыслению, введению в рели-

гиозно-философский контекст, к «просвечиванию» публикуемых вещей Платонова и населяющих их персонажей лучами «конечного идеала». Так произошло с драматургическими текстами Андрея Платонова, его киносценариями, трактовке которых была посвящена VII Платоновская конференция 2009 года. С.Г. Семенова, обратившись к драматургии писателя, разбирает его главные тексты: «Шарманка», «14 Красных избушек», «Ноев ковчег», «Голос отца» и др.

Корпус статей нарастал, фактически образуя главы будущей книги, которой Светлана Семенова хотела дать говорящее заглавие «Юродство проповеди». Это заглавие вовсе не было эпатажем. Высокое юродство, не боящееся выставить против плоской правды мира сего свои «*постоянные* и *неизменные* идеалы», бросать их «в горизонтально-привычно ориентированную, "нормальную" аудиторию»[24], в высшей степени было свойственно, с точки зрения С.Г. Семеновой, и А.П. Платонову, и ее главному герою — философу воскрешения Н.Ф. Федорову, и ей самой. Как «дочь человеческая», преданно и любовно она служила идеям философа бессмертия и воскрешения, по крупицам восстанавливала биографию, вводила его идеи в контекст современности. В 1990 году вышла книга «Николай Федоров. Творчество жизни» — обновленная, расширенная, дополненная версия той, пошедшей под нож первой книги, представившая биографию, учение, судьбу идей «загадочного мыслителя», и началась работа над первым «Собранием сочинений» Федорова, ставшим практически полным[25]. А в 2004 году, когда отмечалось 175 лет со дня рождения философа всеобщего дела, появилась книга «Философ *будущего века* — Николай Федоров», своего рода итог двадцатилетнего умного и сердечного вникания в новую, высшую логику — родственности, «любви сынов к отцам», снимающую антиномию индивидуализма — коллективизма, примиряющую личность и общность в идеале соборности, в заповеди «Не для себя и не для других, а со всеми и для всех». И во всех этих версиях книги звучало имя Платонова: Светлана Григорьевна показывала, как заданный Федоровым всеобщий и главный вопрос — «о братстве и родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного состояния мира, и о средствах к восстановлению родства» — обретал художественное измерение в его текстах.

«Идея жизни» Федорова и Платонова была для нее больше чем философией — исповеданием веры, воздвигающей «течение встречное». И собственное слово миру, которое высекалось в публичных выступлениях, философских текстах и дневниках Светланы Семеновой, было таким же вестничеством и высоким юродством. Уже во второй половине 1970-х годов, создав первые версии работ о Федорове и Платонове, она начала писать книгу «Тайны Царствия Небесного». На страницах этой книги с со-

вершенно немыслимыми как для идеологического, так и для бескрылого мещанского сознания главками: «Долгоживущий человек — путь к Эдему бессмертия», «Автотрофность человека — искупление греха пожирания», «Воскрешение умерших и преображение», «Обнажение истины (рассимволизация мира)» — обретали голос главные темы русских христианских мыслителей XIX–XX вв.: богочеловечества, деятельного, всеспасающего христианства, оправдания истории, активно-творческой эсхатологии, смысла любви… Разговор о вере и знании, о сущности зла и свободе воли, о времени и вечности, о победе над смертью, о путях преображения мира и человека шел здесь по самому высшему счету, с установкой на истину и абсолют.

Долгие годы книга, перепечатанная на машинке и переплетенная в малом количестве экземпляров, ходила по рукам. Издать ее Светлана Григорьевна смогла лишь в 1994 году. А годом ранее журнал «Литературная учеба» открыл рубрику «Евангельская история», где из номера в номер писатели, публицисты, философы и богословы размышляли над Сюжетом сюжетов — земной жизнью Спасителя мира, и С.Г. Семенова стала деятельной участницей этого дерзновенного проекта. Из ее статей, которые читатели «Литературной учебы» вырезали и заботливо сшивали в подборки, родилась книга «Глаголы вечной жизни: Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия» (М., 2000), эпиграфом к которой могли бы стать слова свт. Василия Великого: «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Пришествие в мир Спасителя мира, Его Благая весть о Царствии Божием, евангельское задание человечеству «быть совершенными, как совершен Отец ваш Небесный» — обо всем этом Светлана Семенова писала, опираясь как на экзегетическую традицию учителей и Отцов Церкви, так и на русскую религиозно-философскую мысль, которую по ее вкладу в богословие, в усвоение и раскрытие Откровения ставила вровень с патристикой. Она стремилась донести жизнетворческие смыслы Евангелия до своих современников, до тех, кто, подобно героям Достоевского, не успокаивается на «пищеварительной философии», но вопрошает: «Возможно ли серьезно и вправду веровать?»

Для эпохи, в которую писалась книга о евангельской истории и метафизике, это был совсем не праздный вопрос. Дневники С.Г. Семеновой фиксируют крутой вираж времени, вмиг растерявшего высокие идеи и идеалы и все больше в рыночном угаре и азарте склонявшегося к формуле подпольного человека: «Свету провалиться, а мне чтоб чай всегда пить!» Если в 1970–1980-е годы налицо был жесткий идеологический прессинг, то в 1990-е ему на смену пришла ценностная девальвация. «Плюхнулись в относительность»[26] — такой стяженной, почти *платоновской* фразой, стыку-

ющей высокое и площадное, обозначила Светлана Семенова кризис целей и ценностей, пришедший в Россию в начале 1990-х вместе со свободой, которую все больше начинали воспринимать как «свободу от», а не «свободу для». Этой торжествующей серединности С.Г. Семенова противопоставила творческую устремленность представителей русского космизма, которому была посвящена подготовленная ею в соавторстве со старшей дочерью антология, где впервые с обширной вступительной статьей, оригинальными текстами и содержательным комментарием было представлено это яркое течение отечественной культуры и науки конца XIX–XX века[27].

В своих работах С.Г. Семенова стремилась задать миру и человеку *федоровский* вектор развития, выдвигая проблему нового фундаментального выбора, ставящего во главу угла нравственный и бытийный рост человека, идею всецелой ответственности рода людского не только за землю, но и за Вселенную, добрым хозяином которой он должен сделаться в будущем. В ее публицистических статьях и последней книге «Тропами сердечной мысли: Этюды, фрагменты, отрывки из дневника» (М., 2012) звучали размышления о путях России и мира, о тех перспективах развития, которые открывает современному человечеству, связанному единой планетарной судьбой, активно-эволюционная, активно-христианская философия Федорова, Соловьева, Вернадского, Пьера Тейяра де Шардена.

В дневниках С.Г. Семеновой последнего десятилетия жизни среди планов на будущее возникает книга об Андрее Платонове. Об этой давно задуманной книге она не раз упоминала в беседах с близкими людьми, подчеркивая, что хочет собрать в нее главное из написанного о Платонове за годы жизни, а еще сделать отдельные главы о его поэзии, публицистике, литературной критике. Планам этим осуществиться было не суждено…

Книга, которую читатель держит в руках, составлена на основе статей С.Г. Семеновой о Платонове разных лет и фрагментов дневника 1969–2010 годов.

В первый раздел вошли статьи, писавшиеся для сборников «Страна философов Андрея Платонова: проблемы творчества» (Вып. 1–7. М., 1994–2011), а также этюд «Где у Андрея Платонова искать его философию?», представляющий собой расширенный и дополненный текст выступления С.Г. Семеновой на круглом столе «Андрей Платонов — писатель и философ», который проводила редакция журнала «Вопросы философии» (1989. № 3). В текстах восстановлен ряд сокращений, сделанных при первой публикации.

Во второй раздел книги включены две работы, представляющие собой разнесенные во времени опыты целостного описания художественно-философского мира А.П. Платонова. Первая работа «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)» (1976–1987) печатается по книге «Преодоление трагедии: “Вечные вопросы” в литературе» (М., 1989) с учетом архивных машинописей. При подготовке текста восстановлены редакторские и вынужденные авторские сокращения, введены дополнения из других версий работы. Статья «Философский абрис творчества Платонова» (конец 1990-х гг.) представляет собой первоначальную версию главы книги Семеновой «Русская литература 1920–1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия» (М., 2001). Светлана Григорьевна дала в монографию другую редакцию текста и позднее очень жалела, что не остановилась на первой.

В приложении печатаются фрагменты дневника С.Г. Семеновой 1969–2010 годов, демонстрирующие, как в жизни одного из ведущих российских платоноведов и одновременно исследователей и публикаторов наследия Н.Ф. Федорова, развиваются бок о бок платоновская «идея жизни» и федоровская тема «воскрешения», восстановления всечеловеческого родства. Для более объемного представления о личности и идеях автора книги мы помещаем ее интервью, подготовленное в 2009 г. для сербского журнала «Русија».

Анастасия Гачева

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Мережковский Д.С.* Вечные спутники // Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.: Республика, 1995. С. 353.

[2] Там же.

[3] Дневник С.Г. Семеновой. Запись от 15 сентября 1975 года.

[4] *Платонов А.П.* Сочинения. Т. 1. Кн. 1, 2. / Гл. ред. Н.В. Корниенко, ред. Е.В. Антонова. М.: ИМЛИ РАН, 2004; Т. 2 / Гл. ред. Н.В. Корниенко, подгот. текста и коммент. Е.В. Антоновой, М.В. Богомоловой, Н.И. Дужиной, Н.В. Корниенко, Д.С. Московской, Е.А. Папковой, Е.А. Роженцевой, Л.В. Суматохиной. М.: ИМЛИ РАН, 2016; *Платонов А.П.* Записные книжки. Материалы к биографии / Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2000; 2-е изд. — 2006; Архив А.П. Платонова. Кн. 1 / Отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2009; «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества / Отв. ред. Н.В. Корниенко. Вып. 1–8. М.: 1994–2017; Андрей Платонов. «…Я прожил жизнь». Письма 1920–1950-х гг. / Сост. и вступ. ст. Н.В. Корниенко, подгот. текста и коммент. Е.В. Антоновой, М.В. Богомоловой, Н.И. Дужиной, Р.Е. Клементьева, Н.В. Корниенко, Т.А. Кукушкиной, Е.А. Папковой, Е.А. Роженцевой, Л.Ю. Суровой, Н.В. Умрюхиной. М.: Редакция Елены Шубиной, 2019; Архив А.П. Платонова. Кн. 2. Описание рукописи романа «Чевенгур».

Динамическая транскрипция / Отв. ред. Н.В. Корниенко; издание подготовили Е.В. Антонова, Н.В. Корниенко, Е.А. Папкова. М.: ИМЛИ РАН, 2019.

[5] *Семенова С.Г.* Философия и роман (к традиции жанра философского романа во французской литературе) // Вестник Московского университета. 1972. № 3. Отд. оттиск. С. 3–14; *Она же.* Философский роман Ш.Л. Монтескье «Персидские письма» (Жанровые особенности) // Филологические науки. 1972. № 5. С. 37–46.

[6] *Семенова С.Г.* Французский роман в литературе французского экзистенциализма (начальный период развития жанра) // Писатель и жизнь. Вып. VII. М.: Советский писатель, 1972. С. 191–209; *Она же.* Философская притча А. Камю «Посторонний» // Там же. Вып. VIII. М.: Советский писатель, 1974. С. 199–213.

[7] *Семенова С.Г.* Французский роман в литературе французского экзистенциализма (начальный период развития жанра). С. 10.

[8] Там же. С. 9.

[9] Там же.

[10] *Семенова С.Г.* Преодоление трагедии: «Вечные вопросы» в литературе. М., 1989. С. 169.

[11] *Семенова С.Г.* Борьба со смертобожничеством // Кто сегодня делает философию в России. Т. 1. М.: Поколение, 2007. С. 293.

[12] Там же.

[13] Философия и роман (к традиции жанра философского романа во французской литературе). С. 4.

[14] См.: *Сетницкий Н.А.* О конечном идеале. Харбин, 1932.

[15] Там же.

[16] Цит. по: *Остромиров А.* [А.К. Горский]. Николай Федорович Федоров. Биография. Харбин, 1928. С. 7.

[17] *Семенова С.Г.* К публикации статьи Н.Ф. Федорова о Фаусте; Н.Ф. Федоров. «Фауст» Гёте и народная поэма о Фаусте // Контекст-1975. М.: Наука, 1977. С. 315–336.

[18] Дневник С.Г. Семеновой. Запись от 8 мая 1977 года. См.: «Можно переносить жизнь, только каждый день работая на Абсолют…». К 75-летию Светланы Семеновой // Литературная газета. 24–30 августа 2016. № 32–33.

[19] Дневник С.Г. Семеновой. Запись от 19 февраля 1979 года. Цит. по: Там же.

[20] «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)» (Литературная Грузия. 1979. № 11), «“Сердечная мысль” М. Пришвина» (Волга. 1980. № 3), «Человек, природа, бессмертие в поэзии Николая Заболоцкого» (Литературная Грузия. 1980. № 9) и др.

[21] См. «Библиографию работ С.Г. Семеновой об Андрее Платонове», помещенную в конце книги.

[22] Философствовать — значит учиться не умирать [Интервью со Светланой Семеновой] // Литературная газета. 13–19 марта 2002. № 10.

[23] *Семенова С.Г.* Философский абрис творчества Платонова // *Семенова С.Г.* Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 471–506.

[24] Дневник С.Г. Семеновой. Запись от 30 ноября 2010 года. Цит. по: «Можно переносить жизнь, только каждый день работая на Абсолют…»

[25] *Федоров Н.Ф.* Собрание сочинений: В 4 т. М., 1995–1999. Дополнения. Комментарии к т. IV. М., 2000.

[26] Дневник С.Г. Семеновой. Запись от 18 января 1992 года.

[27] Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой, вступ. ст. С.Г. Семеновой, примеч. А.Г. Гачевой. М.: Педагогика-пресс, 1993.

I

МЕТАФИЗИКА ТВОРЧЕСТВА

ГДЕ У АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА ИСКАТЬ ЕГО ФИЛОСОФИЮ?

«Самый метафизический русский писатель XX века» — можно услышать об Андрее Платонове и от исследователей его творчества, и от многочисленных читателей, очарованных, *ошарашенных* необычным его художественным миром.

Странный, обочинный, даже *юродиво*-вредный литератор при жизни, своеобычный мастер на взгляд двух десятков лет посмертной оценки, Платонов — с более-менее полной публикации его наследия, особенно центральных вещей: романов «Чевенгур» (1927–1928) и «Счастливая Москва» (1933–1936), повестей «Котлован» (1930) и «Ювенильное море» (1931–1932) — с полным правом поднялся в избраннейший и ответственный круг классиков, классиков русской прозы.

Уникальность — качество художественного мира каждого выдающегося творца, но степень ее бывает разной. У Платонова — она высочайшая, как у немногих гениальных новаторов в мысли и искусстве. Он не просто писатель с философскими интересами, склонный заниматься вечными вопросами человеческого бытия. Андрей Платонович обладал редким по цельности и убежденности мировоззрением, прямо связанным с традицией активно-эволюционной, космической мысли, прежде всего с философией Николая Федорова[1]. Творец предельно сознательный и аналитичный, Платонов сумел воплотить свои намерения, свои *однообразные* и *постоянные* идеалы (как он их сам называл) в глубинно клеточном слое текста, не греша ни на йоту риторикой, даже самой утонченно-художественной. Можно сказать, что он мыслит в грамматике, передавая многомерный взгляд, парадоксальную, антиномичную логику, сверхумное видение неожиданным подбором и сочетанием слов, лексических и синтаксических конструкций, взрывающих норму, но разящих по смыслу. (Для подтверждения можно выпи-

сывать всего Платонова подряд.) Этому способствовала и единственная в своем роде ситуация, когда народное, «неученое» сознание (а носителями его и являются многие герои писателя), атакованное устрашающе-«ученой», директивной, мнящей себя непогрешимой (так и воспринятой этим сознанием) идеологией-фразеологией, тем не менее не отключилось от *темного* сердечного питания, от заб*и*тых, вроде бы заб*ы*тых, вековых душевных, нравственных представлений. На сшибке этих двух потоков и высекается искра авторской мысли и отношения. Весь платоновский текст искрится, блещет, буквально горит этой мыслью. Приведу только один пример. Даже один из самых замороченных персонажей «Котлована» Сафронов, с большим вкусом играющий руководящее лицо, выражается о мужиках так: «Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов». (А следом детские уста так венчают и припечатывают абсурд, уже не замечаемый, ибо введен он как норма: «Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало».) Какие грамматически и стилистически вылизанные просторы понадобились бы для того, чтобы выразить то, для чего достаточно одной этой нечаянной проговорки: «осиротели от врагов»! Тут и загнанная глубь отношения народа к тому братовытеснению и братоубийству, которое он сам же творит, и позиция автора, которую он таким же способом многократно являет и в «Чевенгуре», и в «Котловане», и в «Ювенильном море», и в других вещах конца 1920–1930-х годов. Только надо вполне серьезно отнестись ко всем юродивым *хохмам* его персонажей, там — наглядная диагностическая вивисекция эпохи, идей, людей. Диалоги героев дают также россыпь важных для Платонова мыслей, представлений, задач, но само их то ли странно-юродивое, то ли детское облачение лишает их всякой рассудочности, хотя, по сути, они глубоко философичны.

Итак, где у Платонова искать его философию? Да в самой фразе, в определениях и сравнениях, в речах его персонажей, часто на первый взгляд полубредовых, в героях, сюжете и композиции, в упорно навязчивых мотивах. Причем именно эти мотивы концентрируют в себе философские заботы автора, его заветные убеждения, во многом созидают особую, поражающую всех, смутно разгадываемую атмосферу его творений.

Человек у Платонова встает как перед лицом природы, своего натурального удела, так и перед миром межчеловеческим, социальным, находящимся в процессе бурного переустройства, участником которого он является сам. Причем оба эти отношения глубинно связаны. В русской классике XX века Платонов, может быть, единственный (как Заболоцкий в поэзии), привлек такое пристальное внимание к натурально-природной основе вещей, к самому онтологическому статусу человека и мира, который обычно полностью игнорируется всяким историческим и общественным действием. Позднее этой проблемой по-своему занималась западная экзистенциалистская литература. Мы знаем представленный ею обезбоженный, непроницаемый и темный мир природы, в который заброшен смертный человек. Какие-то схожие обертоны встречаем и у Платонова, но в другой перспективе. В картинах природы *философское* письмо Андрея Платоновича особенно густо и непрерывно, каждая фраза, каждый поворот и извив ее сочится смыслом, мировоззрением, тенденцией.

Природный мир как будто мается в тяжелом, душном, бредовом сне: он оборачивается чаще всего ликом какой-то усталой, перемогающейся, «призрачной», «скучной» стихии. Писатель неутомим в обрисовке природного хода вещей, «счастливого на заре, но равнодушного и безотрадного впоследствии», «тоскливого действия природы», «всемирной бедной скуки»… Человек и мир в соответствии друг другу: и здесь, и там — скука, тоска, работа сил разрушения, *падения*, смерти. То ли мир настраивается по человеку, то ли человек по миру, то ли оба отражают один падший, смертный модус бытия. Бедная, неизбывно греховная материальная жизнь как будто сознает свое недостоинство, несовершенство и стыдится его. Именно *стыд* — это разлитое по людям и по природе чувство — не раз передается Платоновым. «Вощев <…> увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья» («Котлован»). Не просто стыд, а *тайный*, самый глубокий, тонкий, жгучий. Сгореть от стыда, вспыхнуть факелом очистительного самоуничтожения своего несовершенства — платоновский мир уже на пороге такого покаяния, внутренне готов к отказу от ветхой природы и принятию новой. Ему уже невмочь терпеть «предсмертную, равнодуш-

ную жизнь», произрастать на миг на земле, «набитой костьми», в «общей всемирной невзрачности», дышать «воздухом ветхости и прощальной памяти».

При углубленном чтении Платонова создается одно стойкое впечатление. Мы знаем, что писатель не был ни верующим, ни христианином. Он был в этом вполне сыном эпохи, отвергнувшей религию как «предрассудок Карла Маркса и народный самогон». Но сама его душевная структура, запечатленная в творчестве, оказывается поразительно близкой к тому, что называется христианским сердцем, христианской юродивостью и даже святостью. Я имею в виду и тип отношения к миру и человеку, и особую реактивность (поведение) по отношению ко злу прежде всего. Из житийной литературы известны истории про то, как святые дают себя спокойно убить, жалея своих убийц и молясь за них, бегут за грабителями, предлагая им незамеченную вещь. В «Чевенгуре» Саша Дванов любяще прощается с собственным убийцей и помогает ему раздеть себя. В мире Платонова тут вовсе не единичный случай. За неимением места ограничусь перечислением родственных черт: это и переживание мира как падшего, неистинного, недолжного, и печалование о таком положении вещей, и его «нищие духом», полные смиренномудрия «душевные бедняки», и критерий детскости («Если не будете, как дети…»), и, наконец, неприятие избирательности, невсеобщности спасения. Как можно блаженствовать праведникам горé, в райских кущах, когда их подножия лижут языки адского пламени, прорезываются тенями мучеников под вечный вопль, стон и скрежет зубовный? Такое низменное видение, которым с каким-то извращенным сладострастием педагога с хлыстом не перестают потрясать некоторые называющие себя христианами, невозможно для сердца, желающего всех спасти. Кстати, у самых чутких христианских душ, отмеченных особой праведностью подвижников, можно сказать, заработавших себе райское блаженство, неоднократно встречается желание разделить участь проклятых братьев, раз таковые будут. Боление за всех и за все, которым мучаются «сокровенные» платоновские герои, — из этого круга переживаний и идей.

Мотив умирания и смерти, пожалуй, самый всепроникающий у Платонова. В свои двадцать лет он изъяснялся прямо: «Насто-

ящей жизни на земле не было, и не скоро она будет. Была гибель, и мы рыли могилы и опускали туда брата, сестру и невесту»[2]. Но сколь изощренно зрелый писатель внедряет свое мироощущение уже в саму атомную структуру образного текста! Тесно к мотиву смерти примыкает мотив скуки (по частоте употребления слова «скука», «скучный», «скучно» в платоновском словаре — среди лидеров, тут писатель не боится повторяться и пестреть). В реакции «скуки» есть некое безнадежное онтологическое самоопределение человека, всякой твари, вещи этого мира, словно покорно принимающих себя вечными жертвами дурной бесконечности смертного порядка, «пустоворотов бытия». Плодотворная трансформация «скуки» в «грусть», «тоску», «скорбь» обнаруживает уже другой уровень отношения к миру: неприятие существующего положения вещей и порыв к его преодолению. В природе — это «тоска дремлющего разума», в человеке — печаль по ушедшим из жизни, зовущая к действию.

Единое мироощущение связывает разнообразие платоновских мотивов. Среди них и лейтмотив сиротства. По существу, все герои и «Чевенгура», и «Котлована», и «Ювенильного моря» — буквальные сироты («сироты земного шара», а, скажем, Копёнкин — тот «пожилая круглая сирота»…). Все взрослые — или готовые, или потенциальные сироты, на пороге вечного разрыва с самыми близкими людьми. Тут же и странничество, зов дали и пространства (туда, туда, «в глубь, в далекую страну», в путь-дорожку, «без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами»). По Федорову, в этом зове проступает архаичный пласт психики человечества, запечатленный в древних мифах о поисках «страны умерших» с целью их вызволения оттуда.

Самые странные и уникальные из мотивов произведений Платонова связаны с наиболее сокровенными и дерзновенными его чаяниями, идущими от идей Федорова о борьбе со смертью и воскрешении умерших: к примеру, собирание всяких «вещественных остатков потерянных людей», следов ушедшей жизни (это и Саша Дванов, и Вощев со своим мешком, и многие другие), и тема гроба и раскопанной могилы… Мотив уже собственно научного воскрешения проходит через все творчество писателя вплоть до военных и поздних детских рассказов. Зачинается он в ранних

статьях и стихах воронежского мечтателя. В балладе «Сын земли» герой отправляется в дальний поход за возвращение к жизни умершей матери и братьев, написана она 7 ноября 1920 г. в годовщину Октябрьской революции. С этой даты начинается для молодого Платонова «всемирный подвиг человечества», включающий исполнение «надежд всех людей» преодолеть «великое немое горе вселенной», в которой царит слепой закон пожирания и смерти. Такое понимание революции как начала некоего грандиозного вселенского катаклизма, который приведет к «новому небу и новой земле», преображенному бессмертному бытию, разделяли в самые первые послереволюционные годы многие деятели новой культуры. Самосозданный народный интеллигент Саша Дванов придумывает памятник революции, выражая в нем свое понимание ее дальнего смысла: «Лежачая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконечность пространства». Саша надеется, что чевенгурский коммунизм позволит ему исполнить завет и родного отца, данный ему во сне, и приемного — наяву: «Сделай что-нибудь на свете, видишь, люди живут и погибают». Да и вся горячечная деятельность других персонажей направлена на то, чтобы утолить сердце, пронзенное этим зрелищем всеобщего натурального несчастья и гибели, в крайнем случае хотя бы «отвлечь от него тоску». Забываясь в своих планах и работе, они терзаются сомнениями: «Неужели внутри всего света тоска, а только в нас пятилетний план?» («Котлован»).

Потому-то так гнетуща, томительно-мрачна атмосфера этой повести. А как может быть иначе, если даже сам проектант Дома, куда должен войти на вечное счастливое поселение пролетариат города (а в воображении инженера Прушевского уже встает и башня общемирового счастья в центре земли), сам страдает от той же общей «тоски тщетности», пуст, одинок и готовит самоубийство? Вот такими контрастами, движениями сюжета, а не только мотивами и образами *мыслит* Платонов. В «Чевенгуре» наивно пассивная апокалиптика устроителей коммунизма (доводящих до предела принятое на веру убеждение: уничтожим эксплуатацию, вообще весь непролетарский, чуждый элемент — и человек и мир мгновенно преобразятся) проваливается с треском. Сюжетно смерть ребенка становится роковым испытанием для Предпри-

ятия чевенгурцев. Да и в «Котловане» тот же ход: в фундамент стройки кладется буквально детский трупик, который отравляет самые источники веры в возможность построения «рая на земле» на непреображенной природно-натуральной основе с ее законом вытеснения и смерти.

Понять тип платоновских героев можно, если учитывать не только социальный пласт их образов, будь то «неистовые ревнители» эпохи военного коммунизма или коллективизации, техники-изобретатели первых пятилеток, но и сокровенное ядро — «душевных бедняков», мучающихся чувством, непросветленным умом и знанием. Попав в мощное силовое поле идей своего времени, его задач и дел, они привносят в него свои полубессознательные сердечные устремления, но и сами этим полем деформируются. В результате создается некий нелепый конгломерат, когда, с одной стороны, жаждут братства и преображения Земли, а с другой — приравнивают к «обезьянам», подлежащим уничтожению огнем пролетарской селекции, всю прочую «остатнюю сволочь»; готовы и скот распустить по природе, подтянуть меньшую тварь до человека (как в поэтических мечтаниях Заболоцкого) и вместе — устраивают какое-то зловеще комфортабельное, «фашистское» убойное стойло для того же скота; тоскуют по умершим и высчитывают, сколько полезных химических продуктов можно получить из тщательно утилизированного трупа возлюбленной…

На таких сгущенных гротесках работает аналитическая мысль писателя. Сатира Платонова облекается в форму фантасмагории, даже какого-то театра абсурда с марионеточными персонажами-идеями. В «Ювенильном море» старушка Федератовна, боец против стихий природы и классового врага, не спит, такой «по всей республике громовень, стуковень» идет, стоит густой чад трудового энтузиазма, а она, словно ведьма какая, всю Федерацию слышит и восчувствует, как свою избушку на курьих ножках. В этой повести прослеживаются психические процессы эпохи, давление тотальной подозрительности, доводящей до того, что «невыясненный» человек сам начинает в себе сомневаться, кто он такой и существует ли вообще. Созидается железная империя бюрократизма, в которой на вечное поселение устраиваются уже не люди, а бумаги, а с ними разыгрываются запутанные и почти мистические

истории (нельзя не вспомнить мир Кафки). В «Ювенильном море» к излюбленным платоновским «скуке» и «тоске» добавляются «бред» и «бредовый», побивающие здесь рекорды словоупотребления. «Классовая ласка» чевенгурцев, устроителей «душевного коммунизма», обнявшихся в «обожании» товарища, в «Ювенильном море», где провозглашается уже «технический большевизм», доходит до пародийного градуса: Босталоева, доставая гвозди, все обнимается с ответственными работниками, а был случай, абортом расплатилась за кровельное железо. В эпопее с гвоздями блистательно нагнетается бред «планового» руководства отсутствующими материальными ценностями. Дикая замороченность тяготит сознание: директор леспромхоза давит в себе умиротворяющее чувство к природе, заподозрив в этом «натурфилософию, мировоззрение кулака, а не диалектику».

Герои «Чевенгура» и «Котлована», творя «из лучших побуждений» свои дикие и нелепые дела, тем не менее охвачены постоянным чувством тоски и стыда. Эта «тревога неуверенности», «беззащитная печаль», «душная, сухая тревога», «бессмысленный срам», «жжение стыда», «стыд и страх перед наступившим коммунизмом» (тут Платонов неистощим, как всегда, когда он хочет нечто вбить в эмоцию и сознание читателя) заставляют вспомнить анализ «тоски» и «тревоги», произведенный Ж.-П. Сартром спустя пятнадцать лет. Человек, пытающийся самоуправно предлагать и утверждать действием свою систему ценностей в мире, лишенном обоснования, наказывается за такое самоуправство ощущением тоски. И стыда — добавляет Платонов. Но сама эта метафизическая тревога и стыд обнаружили бы для того же Сартра глубинную моральность платоновских героев в отличие от «подлецов», самодовольно верящих в необходимость и обоснованность своих действий. В «Ювенильном море» этот стыд, удостоверяющий какое-то творимое *не то*, пропал. Так же, как пропали и сны, когда, на время «прекратив свои убеждения», герои уходили в детство, на родину своих самых затаенных воспоминаний и чаяний. И это был дурной симптом. Круто пошедшая эпоха не оставляла надежд многим элементарно-человеческим требованиям, не говоря уже о каком-то осознании онтологических задач. *Регуляция природы*, имевшая в виду новый, сознательно направляемый этап эволю-

ции, одухотворение природы, обернулась насилием над ней, всякого рода проектами ее технизированного покорения, которыми до абсурда кишит голова Николая Вермо; *братотворение* — неистовством все усиливающейся классовой борьбы (согласно верховной теории); свет разумного и свободного развития, которого так не хватало низким лбам *душевных* чевенгурцев, так и не воссиял, а сталинские «Вопросы ленинизма» утвердились альфой и омегой знания и понимания.

Несмотря ни на что, Платонов не отчаивается в своих философских убеждениях. Впереди — повесть «Джан» (1935–1936), многочисленные рассказы, в том числе детские, в которых, пожалуй, в самом чистом, идеальном виде он живет в излюбленном пространстве, среди дорогих ему побуждений, реакций и пониманий, ставя в незамысловатых сюжетах и диалогах свои постоянные проблемы: смерти и бессмертия, дарового и трудового, истины и блага, самосознания, зла, высшей цели. Здесь критерий «будьте как дети» естественно реализует себя как урок и завет взрослым. Дети — провозвестники пришествия великолепной страны *невозможного*, где кратковременная встреча всего существующего превращается в вечное свидание, ликующий хоровод всего живущего и жившего. О ней Платонов писал так: «Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть. Невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души»[3].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] По свидетельству М.А. Платоновой, «Философия общего дела» с многочисленными пометами ее мужа хранилась в домашней библиотеке. Решающее влияние идей Федорова на творчество писателя стало в настоящее время в платоноведении признанным.

[2] *Платонов А.* Жизнь до конца // *Платонов А.П.* Сочинения. Т. 1. Кн. 2. Статьи / Гл. ред. *Н.В. Корниенко*, подгот. текста и коммент. *Е.В. Антоновой, О.С. Капельницкой, Н.В. Корниенко, М.А. Платоновой, Е.А. Роженцевой, Л.В. Суматохиной, Е.А. Яблокова*. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 180. Далее ссылки на первый том сочинений Платонова даются в скобках после цитаты: римская цифра указывает том, арабские — номер книги и номер страницы.

[3] *Платонов А.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Советская Россия, 1985. С. 534.

«ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ» АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА (смерть, эрос, пол)

> Не вялая, бессильная, бескровная любовь погибающих, а любовь-мощь, любовь-пламя, любовь-надежда, вышедшая из пропасти зла и мрака, — вот какая любовь переустроит, изменит, сожжет мир и душу человека…
>
> *А. Платонов*

МЕССИЯ ГРЯДУЩЕЙ ДУШИ

Какое самое общее представление о Платонове так долго держалось у широкого читателя, того, который почти не читал критических о нем статей, не знал всех извивов его творческой эволюции, в том числе ранней публицистики, кто довольствовался томиком его повестей и рассказов? Вставал образ трепетного гуманиста, болеющего за ближнего человечка, за все живое, этакая прекрасная, обнаженная душа… Да собственно и критика любила втиснуть его в подобную, достаточно условную и привычно-спокойную, схему, молчанием или извиняющей улыбкой обходя некоторые ошарашивающие юродства, непривычные и чуть не дикие обертоны его мысли и слога (а их, кстати, становилось все больше по мере воскрешения его убитых и погребенных цензурой или изуродованных главных текстов). И вот дать такому читателю парочку цитат из воронежских статей молодого Платонова. Пусть попробует угадать, что за неистовый преобразователь готовится погубить землю, сжечь ее дотла в каком-то искупительном пожаре, отменить любовь и наслаждение ею, деторождение и самый пол в человеке… Формулировки отлиты, как пули: «Буржуазия и пол сделали свое дело жизни — их надо уничтожить» («Достоевский» — I(2), с. 45). Да, уж никак в сознании такого читателя не совместится этот идей-

ный безумец и автор «Джана», «Фро» и «Реки Потудань». Платонов прошел тридцатилетний крестный путь художника эпохи тоталитаризма, но все его развития и метаморфозы, отказы и уступки, сомнения и новые понимания не отменяют некоторых заветных констант его взгляда на мир и человека. И в бродильном чане его раннего творчества, где клубятся идеи, сталкиваются энергии, часто взаимоисключающие, есть элемент той закваски, на которой позднее взойдут его большие и малые шедевры. Во многом и поэтому так тянутся исследователи к его публицистике и поэзии конца десятых — начала двадцатых годов, к первым его рассказам.

Двадцатилетний народный интеллигент, рабочий-философ продумывает последние, проклятые вопросы человеческого бытия и не просто ставит их как-то особо оригинально, благоговея перед окончательной их неразрешимостью или болезненно биясь об нее, как это обычно бывало и бывает в мировой литературе (что вопрошает, недоумевает, мучительно стонет по поводу роковых границ человеческого удела). Нет, он дерзает давать ответы, решительные и последовательные, выраженные горячо и поэтически захватывающе. Этот молодой человек оснащен удивительно цельным мировоззрением[1], его-то он и стремится из статьи в статью внедрить в сознание своих современников.

Схема развития мира тут проста и лаконична, этапы культуры определяются заботами человека по ограждению себя от стихийных разрушительных сил. Первоначально в длительный, условно говоря, добуржуазный период истории доминировал «страх за жизнь — постоянный ужас, острое сознание окружающей враждебности мира» и шла непрерывная борьба за создание относительно безопасной среды обитания и действия, что и привело к изощрению органов чувств, смекалки, сознания; буржуазная эпоха приносит огромные успехи в покорении природы, в развитии сущностных сил человека, оснастившегося могущественными техническими помощниками. Острота «страха за жизнь» как бы отступает, но выросшее самосознание, ощущение личности, уникального «я» тем больнее, трагичнее заставляет переживать неизбежность смерти, дезинтеграции этого «я». «Новая опасность человека — смерть. Против нее он направил свои удары и против нее из страха развил и возвысил над всеми остальными чувства-

ми половое чувство. Размножение, замена себя на земле своими детьми — все это удары по смерти и полет к бессмертию» («Культура пролетариата» — I(2), с. 97, 98). Душа — считает Платонов — выражала, обнаруживала себя столетиями прежде всего в отношении к женщине, в половых связях и переживаниях. Инстинкт размножения своей настоятельностью опережает инстинкт питания и самосохранения. Пол скрыто и явно поместился в центре буржуазной цивилизации; вокруг него завертелись промышленность, искусство, стиль жизни. «Какова же сущность, душа буржуазии? — обобщенно вопрошает Платонов и уверенно отвечает: — Половое чувство. Пол — душа буржуазии» (там же, с. 97). Но что в этом плохого, почему здесь тупик для человечества, как считает воронежский философ? Наслаждение, природная награда за послушное исполнение ее закона размножения и смены поколений, как бы захлопнуло некую ловушку: человек обрекался навсегда остаться смертным, утоляясь лишь половыми радостями и утешаясь родовым бессмертием. Даже, казалось бы, самое высшее и духовное — искусство, втягивая в себя «избыток сил», сублимированно питаясь «неудовлетворенной страстью, излитой не по прямому назначению», служит в нынешней его форме увековечению все того же смертного порядка бытия. «Искусство — это тоже гарантия природы против неисполнения человеком ее требований и тоже наслаждение» (там же, с. 99).

Буржуазная эпоха, как ее понимает Платонов, отмечена неким дефектным и в перспективе губительным фундаментальным выбором ценностей и целей. Торжествует идеал комфорта, идеал просто жизни и жуирования ею в пределах, положенных природой. «Смысл существования буржуазии — накопление богатства, а в богатстве — поиски личного наслаждения жизнью» (там же, с. 92).

А как же эволюционные задачи человека, в которые горячо верит Андрей Платонович, где восхождение его природы, ее одухотворение и «обессмертивание»? Человечество застопорилось в своем онтологическом движении. В отрывке середины 1920-х гг. «О любви», где писатель отходит от многих крайностей ранней публицистики, он тем не менее остается верным своей глобальной идее развития человечества, высказывает мысли, близкие ноосферному видению, утвердившемуся позднее в трудах Вер-

надского и его последователей (но еще в конце прошлого века зачаток ноосферной теории, как известно, развивался Федоровым). Платонов рассуждает о том, что сознание и мысль порождаются эволюцией как «новая мощная органическая функция для жизни и победы», «новое, молодое чувство человека, присущее только человеку», «как новый орган жизни» («О любви»[2]). И если более древнее в натуре человека, его чувства нашли для себя «уравновешивающую в мире точку», максимальную форму выражения — в наслаждении, то сознание и мысль еще «не сбалансированы с природой», откуда — вся «мука, отрава и порча жизни» (там же, с. 433). Действительно, только порождение индивидуального самосознания обнаруживает дисгармоничность, недолжность порядка вещей в мире, несущего страдание и конец каждой незаменимой личности. Мысли, сознанию для своего «удовлетворения» нужна — как считает Платонов — вся истина мира, то есть исчерпывающее его познание, которое одно может стать предварительным условием для преобразования этого мира, с тем чтобы достичь высшего чаяния: «воскреснуть для полной, настоящей, всесильной жизни» (там же, с. 434).

Потому-то половая любовь и ее плоды, на которых стоит смертный природный «порядок и строй», для молодого Платонова столь решительно «враждебны сознанию», носителю требований уникальной личности. Говорить о половой любви как замаскированной основе всей предыдущей и прежде всего буржуазной цивилизации он умеет с уничижительной, максималистской иронией: «…Вся суть культуры сводилась к производству двух половых клеток и к нужному транспорту в места. <…> Не пора ли кончать с этим древним производством, с этой слишком долгой задержкой на дальнем пути? Пора, смертельно пора» («О культуре запряженного света и познанного электричества» — I(2), с. 216). А куда направить высвободившуюся колоссальную энергию человека, во что ее претворить, ясно: от женщины — в мысль и познание, в работу над материей. И если даже в обычных формах любви — рассуждает Платонов — было свое возрастание и утончение: от простого соития, «теплоты двух сложенных тел» до Беатриче и Прекрасной дамы, то и напоенный ее претворенными энергиями труд воздвигается от палки и камня до «перестройки вселенной».

В ранней публицистике писателя мессией грядущего активно-творческого эволюционного этапа, носителем новой души, откуда будет вытеснен пол и воцарится сознание, становится пролетариат. Происходящая революция призвана начать коренной перелом самой натуры человека, который сравним по своей грандиозности с потрясением, внесенным в мир христианством. «Водворение царства сознания на месте теперешнего царства чувств — вот смысл приближающегося будущего. <…> Искры мысли мы сольем в один сплошной огонь и сожжем им землю, зажжем космическую интеллектуальную последнюю революцию» («У начала царства сознания» — I(2), с. 143). Вот оно, яркое выражение активной апокалиптики! То, что в христианстве является как последний этап эсхатологической катастрофы, предшествующий созданию «нового неба и новой земли», — сгорание этого греховного мира, падшего порядка вещей, — здесь мыслится как титаническое деяние людей: сами устроим! А райское небожительство обретает реалистические черты космического будущего, расселения землян на «новой голубой родине»: «Без электричества могли летать отдельные редкие люди, при электричестве полетят массы человечества. Воздушные корабли будут нашими домами, а атмосфера — новой голубой родиной» (там же, с. 145).

Характерно и то, что молодой Платонов дело преображения мира осеняет именем и образом Христа. Главный Его завет, забытый и извращенный людьми, напоминает нам писатель в двух небольших, горящих энергией статьях 1920 года «Христос и мы» и «Да святится имя твое»: «Царство Божие усилием берется» («Христос и мы» — I(2), с. 27). И еще важнейшее: надежду на победу над «последним врагом»: «…гибель и смерть — вечные спутники человеческого испуга и бессилия. Пока не родился среди людей Христос, сильнейший из детей земли, силою своей уверенности и радости подмявший смерть под себя, и тем остановил бешеный поток времени, хоронящего человека под пеленой своею» («Да святится имя твое» — там же, с. 39). Это был, по Платонову, момент пробуждения человека в его внутренних силах и высшей задаче. Он почувствовал свою мощь перед казавшимися дотоле необоримыми стихиями разрушения, понял, что они «не только не страшны, но ничтожны, если изучить их» (там же). Христос для Платонова

не только искупил человека от первородного греха, но окрылил его, открыл горизонты невиданного восхождения. То же принципиально новое, что вносит, по его мнению, открывающаяся творческая эпоха, возглавляемая пролетариатом, это идея вселенского, космического труда, через который и возможно осуществить это восхождение, достигнув чаемого состояния мира. Такому труду Андрей Платонович слагает настоящие гимны, можно сказать сакрализирует его, прибегая в его честь к использованию известных молитвенно-прославляющих формул: «Да святится же имя Его!» (там же, с. 40).

Однако такое космическое толкование Благой Вести Христа искривляется у Платонова энергиями разделения и ненависти, которыми был насыщен воздух эпохи. Христово *усилие* начинает толковаться как «пламенный гнев, восстание», и вот уже порывы мщения и упование на насилие ставятся выше любви, вплоть до таких чудовищных полемических крайностей: «Наши пулеметы на фронтах выше евангельских слов. Красный солдат выше святого. Ибо то, о чем они только думали, мы делаем» («Христос и мы» — I(2), с. 28). И тогда выходит на первый план очистительный вихрь, разрушение, а не труд и созидание, и так через каскады катастроф — к будущему Царствию. Апокалиптические бичи становятся в своем роде образцом для подражания: учинить, так сказать, «страшный суд» всем «насильникам, торгашам», сытым и толстым (каким трагическим фарсом это оборачивается, понял писатель уже позже). Прославляя «любовь-мощь, любовь-пламя, любовь-надежду», он провидит космическую, «переустроительную» функцию Любви, но, вложив свою великую Идею и Надежду в пролетариат, «сына отчаяния», полного «гнева и огня мщения» (там же, с. 27), Платонов как бы незаметно подменяет любовь ее противоположностью: ненавистью, точнее обрекает их на такое гротескное и обреченное сожительство, которое он уже в полном сознании их трагической несводимости обрисует в «Чевенгуре».

Пролетариат — в статьях Платонова — по существу идеальный конструкт, в который он вкладывает содержание своей идеи. В созидательной, проективно-положительной стороне он выступает провозвестником нового сознания, стремящегося свести человечество с орбиты дурной бесконечности рождений, вытесне-

ния и смерти, украшенной для каждого — на краткое время его живота — половыми страстями и искусством. Он — носитель невиданной вселенской цели, онтологического задания: преобразить природу мира и самого себя. Его душа — сознание (это автор повторяет постоянно и в статьях, и в ранних фантастических рассказах), пролетариат выступает антиподом буржуазии, чья душа, как мы помним, у Платонова — *пол.*

Писатель пытается подкрепить свой взгляд, так сказать, объективными фактами, но это обоснование больше всего и обличает идеальную схематичность его понятий «буржуазии» и «пролетариата». Платонов доказывает, что мозг и сознание развиваются преимущественно у рабочих, поскольку это класс трудовой, забывая при этом, что стоит пролетарий чаще всего на какой-то частичной операции — придатком к машине — и совершает в основном работу однообразную, отупляющую, автоматическую. А те, кого он называет буржуазией, включают в свою деятельность как раз мозговую часть труда — его организацию, планирование, усовершенствование. И уж для такого вселенского дела, о каком толкует наш рабочий философ, надо бы как раз воссоединить в общих усилиях «неученых» и «ученых», как то и предлагал Федоров, а не ополчать их друг против друга. Да, реальный пролетариат как-то решительно не вмещался в *идею* воронежского пророка, но зато прекрасно понимал низшее, то, что, увы, яростно смущает мечтания и планы молодого Платонова: размежевание, уничтожение, борьбу…

И еще одно, особо пригодное для вселенского дела качество пролетариата выдвигает Платонов — чувство коллективизма, классовой солидарности, рожденное той же совместной трудовой практикой, сливающей работников в некий единый агрегат. Вроде бы более убедительно, чем «мозговые» возможности низового фабричного труда. Но как классовому, то есть исключительно групповому коллективизму, выразить общечеловеческую цель, поднять на себя мировую задачу? Истинное, еще не «смущенное» утвердившимися догмами о гегемоне истории чувство Платонова обнимает всех без разделения: «Человечество — одно дыхание, одно живое теплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все» («Равенство в страдании» — I(2), с. 203). Но буйные вихри времени вносят «беспощадность к сы-

тым» и свивают такое яростное противоречие, которое буквально разрывает мысль молодого Платонова. И вот уже удивительно и нелепо встали рядом как неразлучные — «беспощадность» и «сознание». «Усиление, обессмертивание своей жизни» как высшая цель предполагает расцвет и преображение каждой личности — и тут же она топится в коллективе, отрекается от себя ради созидания невиданной коллективной мощи и организации, которые — единственно — позволят сладить с силами разрушения и смерти. Платонов временами доходит до чистого повторения лозунгов Пролеткульта и идей «железного Гастева»: «Дело социальной коммунистической революции — уничтожить личность и родить их смертью новое, живое, мощное существо — общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы» («Нормализованный работник» — I(2), с. 131). В этой статье — крайний, несамостоятельный уклон в мысли Платонова, находящийся во взрывчатом несоответствии с глубинными чаяниями его Идеала. Гастевизм тут торжествует в духе и букве: это и создание новых типов рабочих в зависимости от исполняемой функции в трудовом коллективе, «искусственное изменение характеров, соответствующее производственным целям общества», слияние «производственного процесса с физиологическими нормальными функциями организма» (там же). Это уж такое вытравление личностного начала в человеке, такая его роботизация, искусственная примитивизация его природы, что она оборачивается разоблачающей самое себя антиутопией. Когда дело доходит до убийства сердца, как в платоновском рассказе «Потомки солнца» («Сатана мысли») (1922), во имя умножения все той же мощи «беспощадного сознания», пересоздающего порядок вещей, — тут уже самоубийственный для *идеи* предел: само дело теряет смысл, ведь его источным импульсом является как раз человеческое сердце, не приемлющее утрат, мира, где царит страдание, вытеснение, смерть.

Но уже и в начале пути Платонова-писателя и мыслителя, при всем его максимализме, срывах в крайние акценты, прежде всего в отношении средств и путей, он умеет сохранить спасительный реализм. Да, уверен он, «мир стал обреченным на уничтожение» (имея в виду смертно-природный порядок и закон), «сущность революю-

ции духа, загорающейся в человечестве», — это «борьба сознания с древним еще живым зверем» («Достоевский» — I(2), с. 45), т. е. с половым инстинктом как средоточием и увенчанием этого порядка и закона. Но вместе с тем — просто жизнь, усилие охранить и продолжить ее уже благо: «Пока жив человек, есть у него надежда сделать все, одолеть невозможное. Потому — прожить, вытерпеть, удержаться на этой звезде — важное дело» («Жизнь до конца» — там же, с. 181). (Эта нота скромности и компромисса с нормальным природным укладом жизни — все же жизни, а не смерти — отчетливо зазвучит в позднем творчестве Платонова.) В статье «Душа мира» (1920) женский родильный и вскармливающий труд есть тот великий «минимум миниморум» жизни, который не дает прерваться ее нити. Потому-то отрицание женщины и ее натуральной роли, как на то покусился Отто Вейнингер[3], будет означать то же, считает Платонов, что этот юный мыслитель совершил с собой, т. е. самоубийство, в данном случае всего рода людского.

Дитя человеческое, обновляющее мир людей в естественно-природном порядке, — живой мост в будущее, в те грядущие поколения, которые смогут выпестовать такое трепетное сердце, такие могучие умы и мускулы, что возьмутся, наконец, за спасение этого смертного, пропадающего мира. Продолжая жизнь, женщина оставляет ей шанс на совершенствование, на восхождение, на скачок в иной порядок бытия. Каждая женщина-роженица для Платонова — потенциальная богоматерь, несущая надежду, что именно она родит такого сына, который «искупит мир и себя». Платонов роняет тонкое замечание: именно в женщине, хотя она традиционно считается опорой матери-природы, одним из столпов ее порядка рождений и смертей, живет больше, чем в мужчине, «сознание непригодности существующей вселенной» (I(2), 47). Действительно, как это ни парадоксально на первый взгляд, мужчина, строитель культуры по преимуществу, легче примиряется с природным порядком бытия, ибо коронует и оправдывает его искусством, нетленными плодами художественного творчества. А женщине изнутри, интимнее явлена изнанка, дисгармоничность природного способа существования: муки рожания, тяготы вынашивания и вскармливания, невольное вытеснение родителей детьми. Все это является ощутимее и больнее матери, буквально

отдающей плоть и нервы и жизнь своему дитяти. И ей — в определенном смысле — легче понять логику и законность призыва преодолеть сам природный смертный тип бытия, ей внятнее идея искусства как творчества самой жизни, как орудия ее реального преобразования (с этой идеей Платонов много выступает в эти годы, особенно ярко и решительно — в знаменитой статье «Пролетарская поэзия», 1921 г.).

Помимо безусловной роли матери, женщина у раннего Платонова может расщепляться на две крайние ипостаси: в одной она, могущественное орудие природного эроса, почти как у Вейнингера, «воплощение сексуальности», побуждает мужчину к плотскому соединению, погашая в своем лоне всю его «звездоносную жажду работать и изобретать» («Рассказ о многих интересных вещах»); в другой, вечно женственной, она своими возвышенными токами влечет его к вершинам новой преображенной природы. В том же, только что упомянутом рассказе 1922 года, «опознанном» и опубликованном Н.М. Малыгиной[4], возникает образ некоей таинственной Каспийской Невесты. Ее вывезли мужики с Каспия не для практической пользы (никто не трогает ее тела), а для «высшего смысла»: через нее «можно со всем побрататься», с тварями и стихиями, с горным, звездным миром. И лицо у нее «лунное», «бледное, твердое и спокойное». Сам ее образ предвещает: «Будет братство звезд, зверей, трав и человека». Это народно-сказочная инкарнация соловьевской Софии или символистской Прекрасной Дамы, воплощение высшего целомудрия, целой мудрости, которой внятны «песня солнца и звезд», токи космического всеединства.

Иван Копчиков, герой рассказа, родоначальник платоновского типа искателей, еще не расставшийся со сказочными чертами, берет Каспийскую Невесту с собой в странствия по городам и весям — мир испытать… Двинулся в город, посмотреть, что там люди нагородили в своем уме и делах. Город предстает здесь как выражение именно того выбора и уклада, который Платонов в своей публицистике называл «буржуазным»: остановился тут человек в своем эволюционном движении, ублажает плоть, «по ночам спуская все накопленное за день жидким прахом в недра женщины», забыв «зов звезд», и в результате — безумие, самопожирание, «бешенство мятущихся во имя истребления самих себя». Писатель

вводит в текст рассказа отрывок из сочинения некоего народного мудреца Иоганна Пупкова «О земле и душах тварей, населяющих ее». (Затем Платонов использовал этот фрагмент в рассказе «Бучило».) Насыщенно колоритным слогом ухвачен здесь прекрасно-порочный круг земного бытия человека, который он никак не может прорвать: «Ты жил, жрал, жадствовал и стал скудоумен. Взял жену и истек плотью. Рожден был ребенок, светел и наг <…> Но ребенок стал мужем, ушел к женщине и излучил в нее всю душевную звездообразующую силу. Стал злобен, мудр мудростью всех жрущих и множащихся, и так погиб навеки для ожидавших его высших звезд». Не устает писатель вдалбливать повторением и нагнетанием образов и сравнений мысль: больше всего мешает человеку вырваться из этого круга дурной бесконечности как раз та немногая сласть — половая — которая примиряет с природным порядком, плотно захлопывая за ним свой капкан.

Вот Иван с Невестой попадают в «Мастерскую прочной плоти», где идут успешные опыты по достижению бессмертия, и главный идеолог и практик этих работ знакомит героя с философским их обоснованием. Иван читает сочинение с характерным названием «О постройке нового человека». И тут еще один повод для писателя развернуть свои излюбленные идеи: вся культура до сего времени стояла и стоит на обращении части половой энергии «не по ее прямому назначению», на ее перегонке в труд, изобретение, творчество. «Но все цивилизации земного шара сделаны людьми только немножко целомудренными. Теперь наступило время совершенно целомудренного человека; и он создаст великую цивилизацию, он обретет землю и все остальные звезды, он соединит с собой и сделает человеком все видимое и невидимое, он, наконец, время, вечность превратит в силу и переживет и землю, и само время». Целомудрие выдвигается как рычаг, которым будет перевернут этот несовершенный природный мир, оно объявляется — «живым родником вечной силы и юности». *Антропотехникой* называет ученый-экспериментатор новую науку, которая всех научит трансформировать источную родотворную энергию в мощности творческие, преобразующие: «Силою целомудрия перестройте и усильте сначала себя, чтобы перестроить затем мир». Что за дикие идеи, что за чудачество и нелепость! — отмахнется для начала

трезвый взгляд, а злобный немедленно усмотрит в них сектантство и скопчество, как это и было в прижизненной критике Платонова. Между тем молодой писатель и мыслитель подключался здесь к древней традиции, искавшей пути подобной трансмутации половой энергии, в той же надежде, что она приведет к преображению человека, достижению бессмертия, невиданному усилению сознания. А совсем близко к нам и к мысли самого Платонова это были идеи «положительного целомудрия» Николая Федорова и «смысла любви» Владимира Соловьева.

Следующую главку предлагается читать как своего рода небольшую философскую «вставную новеллу». Зачем она? — Историко-философски обосновать «странные» взгляды Платонова на пол и половую любовь, найти их прямой или опосредованный контекст и подтекст.

НЕМНОГО ТРАДИЦИИ

Скандальная знаменитость XX века, с которой воронежский писатель был, конечно, знаком, психоаналитическая теория либидо удостоверила — в пределах человеческого микрокосма — интуицию древнейших натурфилософов: Великий Эрос, космогоническая сила, начало влечения к соединению стихий, существ, вещей, лежит в основе явлений этого мира. Эротически заряженное поле — первичная энерия человека; именно она, отклоненная от своей прямой цели, расходуется на разнообразные нужды общественно-культурного жизнеустроения. Пансексуализм Фрейда неприятно сконфузил многих, скорее всего в силу своей холодно-научной оголенности. Ибо подобное видение, обряженное в великолепные мифологические одежды, рожденное в поэтически-провидческом исступлении, не только никого не шокировало, но вдохновляло и возвышало веками. Речь идет о Платоне, его учении об Эросе (высказанном прежде всего в диалогах «Пир» и «Федр»), с которым, кстати, отец психоанализа удостоверил свое родство.

Вспомним, как всю иерархию эротических чувств, вздымающующуюся пирамиду любовных стремлений, вплоть до идеальной вершины — любви к Небесной Красоте как таковой, Платон

упирает в подножие чисто полового страстного стремления. Не будет *внизу* вулкана натурального пола, его огнедышащей энергии, не будет ничего и *вверху*, никакой красоты умного, духовного космоса, которую стремится обрести человек. Целый ряд уравнения смысла любви приводят диалектическую мысль Платона к выводу, что истинное стремление Эроса есть стремление к бессмертию: «…рождение — это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. Но если любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному обладанию благом, то наряду с благом нельзя не желать и бессмертия. А значит любовь — это стремление и к бессмертию»[5]. Но Платон как истинный провидец и глубочайший метафизик, выразивший заветнейшие алкания человеческой души, не может остановиться на тех формах относительного бессмертия, которые уже обеспечивает эрос человечеству: начиная от натурально-родового и кончая трансмутированным культурным бессмертием. Как высшая цель эротических стремлений ему нужен Абсолют, неущербное, всегда прекрасное и бессмертное бытие. Но обретение его в созерцании-проницании бессмертной душой идеальных форм не оставляет место личностному самосознанию. В погоне за бессмертием, доступным по-настоящему лишь человеческой личности, эта личность окончательно утрачивается. Эрос по существу терпит поражение.

Фрейд, отмечая, что платоновский эрос совершенно тождественен любовной силе психоаналитического либидо, также укореняет инстинкт жизни, ее стремление продлиться до бесконечности в эрос, только у него, как трезвого ученого нашего века, он расшифровывается как пол, зародышевые клетки и их энергия. Однако эрос у Фрейда, будучи стремлением к объединению и энергийным источником всех разновидностей человеческой деятельности, как у Платона, в отличие от последнего не несет в себе порыва к совершенствованию, импульса к восхождению человека. Более того, жизнеутверждающий эрос ведет постоянную борьбу с другим первичным позывом человека — влечением Танатоса, стремлением к смерти. В работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд настаивает на примате этого позыва к смерти, так что эротические движущие силы лишь каждый раз разыгрывают как бы некий индивидуальный путь к смерти, будто пляшут причудливый танец

жизни, имеющий своей целью смерть. Изъяв из природы вещей и человека телеологическую направленность к развитию, Фрейд считает самый вопрос о смысле и цели жизни человека и человечества нелепым, являющимся исключительной привилегией религиозного мировоззрения. Исход подземной схватки Эроса с Танатосом предречь невозможно, процесс сублимации эротического либидо, на котором стоит культура, связан с большими потерями наслаждения и несет внутренне неизбывное противоречие. Человеческая природа заперта жесткими детерминизмами отношений внутренних психических сил, которые преодолеть невозможно. Человечество вполне может просто биологически захиреть и постепенно вымереть вследствие крайностей самого культурного развития, приводящего к чрезмерной утонченности чувств и сознания и вытеснению «низменных» функций природного размножения. Фрейд «научно» заключил человечество в природном Роке, скрупулезно внедрив его закон в малейшие извивы психики каждого. Фрейдовская теория культуры стала наиболее точным выражением и одновременно обоснованием того фундаментального выбора, который молодой Платонов называл «буржуазным», — в пределах и масштабах земной, человеческой природы — при реальном отказе от ее восхождения. Построения Фрейда открыто обнаруживают, что этот выбор включает и «трезвую» готовность всем погибнуть.

В религиозных же системах, которые тот же Фрейд считал «невротическим пережитком» детства человечества, мы сталкиваемся с иной перспективой для свободы человека, для его души и духа. Преодоление смертного, природного порядка бытия осознавалось в великих религиях по основным линиям природного закона: в стремлении уменьшить уже сейчас *пожирание* чужой жизни (пост), смягчить *борьбу* друг с другом (культивируется сердце любящее, милующее в отношениях между людьми, да и с «меньшими братьями») и, наконец, как бы отменить то радикальное биологическое *вытеснение* одного поколения другим, детьми родителей, которое гнездится в поле, в половом рождении (воздержание). Во всех религиозно-аскетических практиках главным вызовом природе, ее разлитому по всем существам необузданному сладострастию, стремлению к соединению особей противоположного

пола — дать жизнь своему подобию и умереть, немедленно или с некоторой задержкой — было половое воздержание, идеал целомудрия. Иногда в изуверском пределе практиковалась буквальная кастрация: выкорчевать с кровью до конца жгучий природный корень человека. Но почему фигура скопца для нашего глубокого нравственного инстинкта чаще всего так отталкивающа, корежится в постыдной ущемленности, темной злобе, каком-то невосполнимом ущербе? Скопец — *тускл*, в нем как будто погасло внутреннее солнце, изъяты самые источники света. Христианские подвижники такого впечатления не вызывают, напротив, их облик связан с образом светоносности, какой-то энергийной лучистости. Не потому ли, в частности, что телесная родотворная энергия здесь не просто погашена, но в какой-то степени пресуществлена в новую высшую форму своего проявления? Но недаром тут сказано: «в какой-то степени», поскольку в аскетической христианской литературе не ставилась задача не просто изгнать плотскую похоть, засыпать жар полового влечения, но осознать его как мощнейший энергийный фактор, который надо оценить и использовать для творчески-преобразовательных, тело-построительных целей. Христианский путь спасения был понят как чисто духовное приуготовление к Царствию Небесному, к уже наличному в трансцендентном мире божественному порядку бытия, а не как соучастие — всеми силами и возможностями — в самом созидании такого порядка. Цель коренного преобразования физического организма — управление стихийным ходом природы вне и внутри человека — никак не осознавалась как настоящее христианское дело.

В восточном монашестве каким-то образом восчувствовали такую цель исихасты, практикуя психофизиологические приемы управления своим телом во время так называемой Иисусовой молитвы. Но в первоначальном христианстве существовало целое течение, признанное позднее еретическим, — гностицизм, которое как раз пыталось проникнуть в задачу христианства как дела физического совлечения с себя «скотского тела» и его преображения. Свобода «сынов Божиих» продана и растоптана, дурман непрерывного природного «опьянения» не дает взойти сознанию падения и «рабства тлению». Твердой рукой именно в поле, в половом расколе, в половом рождении гностики ухватывают бьющу-

юся суть природного порядка бытия. Пока мы плотски влечемся к противоположному полу, размножаемся, как скоты, наш конец с ними будет один: «Как у скотов погибают тела их, так погибнут и эти изделия (люди. — *С. С.*). Разве не от соития он (человек. — *С. С.*), как принадлежащий к скотам? Если он так же от него, как обретет он превосходство большее, чем они?» («Книга Фомы», 139)[6]. Уже здесь, в мире необходимо приступить к претворению своего жалкого, текучего, тленного, страстного, расколотого тела в «божественное», единое и нескудеющее. Вырастает несколько загадочный (в своей конкретности), но ясный (по цели) образ «чертога брачного», одновременно области, места, где должна происходить половая метаморфоза, и самой преобразовательной деятельности. В гностическом «Евангелии от Фомы» мы встречаем такие слова: «Когда вы сделаете двоих одним… когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина женщиной… тогда вы войдете в (Царствие)». В «небесном браке», в чертоге брачном преодолевается половая односторонность, в каждом возникает некое муже-женское единство, восполняющее человеческое существо до его целости. (Вспомним миф об андрогинах Платона; в его свете любовное влечение и соединение предстает у философа как смутное неосознанное стремление и несовершенная еще попытка «сделать из двух одно и тем исцелить человеческую природу».) Такое цельное, сверхполовое существо, «сыновья чертога брачного» обретают невиданную силу и могущество: энергия природного эроса претворяется в способность животворения, «чудорождения», воссоздания уже бывших и живших («Это — воскресение из мертвых. Это — спасение из плена. Это — восхождение на небеса» — Толкование о душе, 134), также сотворения новых жизненных форм («тех, которые не умирают, но порождаются постоянно» — Евангелие от Филиппа, 28). В гностических текстах смысл половой метаморфозы выражен еще в «символах и образах», да и само опробование сверхполового бессмертного типа существования производилось лишь мистериально-игрово, в форме тайных культов, да оно и не могло быть иным, собственно реальным в первые века нашей эры, для этого человечество не обладало еще достаточным знанием и умением, да и сейчас еще ни в коей мере не встало на так направленный путь для своих познавательных и преобразовательных усилий. (Разве

что у молодого Платонова в сказочно-фантастическом «Рассказе о многих интересных вещах» на началах «полного целомудрия» уже пытается работать научная «Мастерская прочной плоти»).

Но такое направление мысли и даже практики существовало всегда, в том числе особенно выразительно на Востоке. Так, если йога — наиболее народное выражение индийского духа, то среди ее разновидностей тантризм несет в себе следы наиболее древних, автохтонных элементов. Возникает он в IV веке новой эры, с VI по XIII век охватывая весь индийский субконтинент, существуя в индуистской и буддийской разновидностях. Главное, что привнес тантризм в йогу, — так называемая мантхуна — особый ритуальный половой акт, прямо осуществляющийся или символически представляемый, движимый дерзанием необыкновенным: преодолеть мужскую и женскую разъединенность, половые полюса мира, пресуществить максимально сконцентрированную эротическую энергию в свет сознания, мощь бессмертной жизни. Сложнейшей техникой йог одновременно должен осуществить «три задержки»: дыхания, мысли и семени, затем энергично направить семенной поток по спинномозговому каналу «тонкого тела» в центр высшего сознания. Общая противоприродная логика задержки семени очевидна. Истечение семени, давая начало новой природной жизни, — само уже предначало смерти. (Кстати, сколько на эту тему изощрялся молодой Платонов!) Различные тантристские тексты не устают повторять: «Через потерю семени приходит Смерть, через его задержку — Жизнь». «Страстью мир окован и страстью он освобождается».

Способ задержки и «возвращения» семени описывается и в текстах китайских даосов среди ритуалов к достижению бессмертия. И даосы, и индийские тантристы видят в трансмутированной половой энергии источник сверхъестественных возможностей организма (ясновидения, левитации и т. д.). Постоянно подчеркивается: кому удалось заставить «течь вверх свое семя», то есть осуществить обратное природе движение, тот стал богом, создавшим себе «алмазное тело», неподверженное природной коррозии. И хотя подобный опыт выходит в иллюзорно-психические результаты, это желание и стремление неотъемлемы от человека. И значение мистериальной тантристской практики вовсе не ис-

черпывается лишь ее историей странного, экзотического культа, тантра-йога — весьма показательный факт в чреде стремлений человеческого духа.

Но только Николай Федоров, автор «Философии общего дела», оказавший, как известно, значительное влияние на Платонова, ввел задачу преодоления слепого, полового рождения в четкий план преобразовательно-космической практики, построения бессмертного порядка бытия. Разрешение этой задачи — конкретно пока наиболее неясный и трудно представимый участок будущей работы над обретением творческого самосозидания человека. Мыслитель ставил ее в принципиально общей форме.

Половое рождение — та гигантская сила, на которой стоит вся природа; возможно, это и есть самая сердцевина ее способа существования; недаром ведь природа несет его в самом корне. Рождение, связанное с самим пиком жизненных сил особи, с моментом полового наслаждения, как будто выражает светлую, жизнеутверждающую суть природного порядка. Но слишком хорошо понятно, что рождение предполагает последовательное вытеснение детьми родителей, фактическое их мгновенное или медленное убийство. «У низших животных это наглядно, очевидно: внутри клеточки появляются зародыши новых клеточек; вырастая, эти последние разрывают материнскую клеточку и выходят на свет. Здесь очевидно, что рождение детей есть вместе с тем смерть матери»[7]. То, что подобный процесс, скажем, у человека растягивается на долгие годы, в течение которых родители истощают свои силы во вскармливании, воспитании своих детей, т. е., говоря словами мыслителя, «процесс умерщвления совершается не внутри организма, как например в клеточке, а внутри семьи, не смягчает преступности этого дела»[8]. (Образ матери, многократной роженицы, которая буквально отдает жизнь детям, — один из самых пронзительно-лирических, личных образов у Платонова.) Половое рождение, как известно, предваряется половым подбором и борьбой, «взаимным истреблением существ»; то же в более скрытых и опосредованных формах царит и в человеческом обществе, построенном по типу организма. Явившееся на свет путем рождения неизбежно обречено на гибель. Природу точнее было бы назвать не от акта рождения, а от смерти, на которой она в равной мере стоит;

утвердившимся именем, отмечает Федоров, «хотели замаскировать другую сторону мира», с которой в начале не видели никаких средств борьбы. Итак, «извращенная природа под видом брака и рождения скрывает смерть»[9].

Половой раскол, половое рождение, половое соперничество, смена поколений служили мощным, может быть, самым действенным средством совершенствования рода в животном мире. Как будто природа в процессе своей эволюции стремилась к созданию какого-то высшего существа и не жалела для этого мириады индивидуальных животных жизней, целые роды и семейства. Таким существом стал человек, в нем впервые оформилось то, что мы называем личностью, — триединство тела, души и духа, уникальное самосознание, глубинно чуждое идее своего уничтожения, наконец, чувство, что возможности развития «я» безграничны, если бы не фатальные ограничения смертной плоти. В человеке этот эффективнейший механизм усовершенствования рода — через смену поколений — не просто исчерпывает себя, но становится трагически ненужным анахронизмом: через него уже не достигается невольного прогресса, ибо вступает активная, преобразующая себя и мир сила — разум, по самой своей сути требующий бесконечного личностного совершенствования. Более того, создается впечатление, что работает этот механизм уже вхолостую, по инерции. Природа, раз включив его, уже как бы не может остановиться. Вместе с тем, именно породив сознание, она создает предпосылки сознательной остановки этого механизма — уже творчеством и трудом самого носителя сознания. Можно увидеть и целесообразность продолжающегося действия механизма смены поколений в человечестве до тех пор, пока оно находится в *несовершеннолетнем* состоянии, не вошло в «разум истины», не достигло способов осуществления новых принципов бытия, творческих способов созидания личностной жизни, а потому должно еще порождать испытанным половым путем новые, свежие поколения, чтобы — по меньшей мере — сохранить саму возможность приступить когда-либо ко Всеобщему Делу. И это, как мы видим, прекрасно понимал и молодой Платонов.

Любая, самая, казалось бы, строго-объективная теория, уверенно опирающаяся на факты, в конечном итоге направляется в своих

посылках и выводах тем или иным нравственно-ценностным импульсом. Считать, что человеческая семья, первая ячейка общества, начинается с полового влечения, соединившего самца и самку для производства и воспитания потомства, — так ли уж это верно, верно по настоящему, высокому, идеальному счету, долженствующему не только констатировать, но и определять развитие вперед? Такое начало не только не выводит человека из животного царства, в котором действует такая же закономерность, но укрепляет его, как бы идейно утверждает в качестве особого типа высокоорганизованного, разумного животного. Федоров гениально просто увидел другое чувство и влечение, лежащее в этом начале, нечто драгоценно уникальное именно для человека, принципиально выделяющее его из животного царства: любовь к родителям, стремление поддержать их слабеющие силы, — *странные* заботы, не имеющие прямой практической пользы, в них — только нравственный, сверхживотный зов. Любовно сохраняя и продлевая жизнь престарелым своим родителям, человек как бы идет против природы, «поддерживает жизнь в осужденном ею на смерть»[10]. В самой природе даже в ходе ее естественной, *слепой* эволюции идет некоторое потеснение и вытеснение с главенствующего места органов размножения: у растений (цветки) они во главе особи, у животных «органы сознания и действия заменяют их», и надо предполагать, что «должно наступить время, когда сознание и действие заменят рождение»[11]. (Как мы помним, именно это направление эволюции провозглашает воронежский мыслитель.) «Но и прежде, чем природа пришла к сознанию своего несовершенства как природы, — в вышесказанном чувстве сострадания к стареющим и умирающим родителям, в чувстве смертности, она начинает как бы стыдиться, отказываться от своего самого существенного свойства, от акта рождения»[12]. По-настоящему этот отказ можно осуществить лишь упорным трудом, делом психофизиологической регуляции человеческого организма, т. е. уже на этапе сознательно осуществляемой эволюции мира.

Федорова отличает деловая конкретность прозрений, она и оперяет его мысль остро направленной стрелой смысла. В ней может усматриваться какая-то простота, даже упрощенность, сведение сложности и многообразия явления к чему-то маниакально одно-

му. На самом деле его вчувствующая пророческая мысль идет чаще всего по самому нерву, ухватывает ту центральную нить, вытянув которую, распутается вся эта сложность и многообразие. При той неясности, как приступить к делу преодоления полового рождения и трансформации эротической энергии, федоровское указание на вектор этой трансформации: силы и энергии, реализующиеся в слепом биологическом рождении, направить на сознательное творческое воссоздание родителей и предков, «рождение» назад наперекор и в вызове природе детьми своих родителей — это указание, возможно, является таким конкретным, точно направленным, пророческим перстом[13].

«Могучая и страшная», «слепая сила» полового инстинкта может быть побеждена «целомудрием, т. е. полною мудростью, сколько умственною, столько же и нравственною» и материальною. «Отрицательное целомудрие», сохранение аскетической девственности далеко недостаточно, это лишь «борьба оборонительная», которая не может дать настоящих положительных результатов, а при своей абсолютизации приведет лишь к самоубийству человеческого рода. (Подобные же мысли высказывает молодой Платонов.) Необходимо «положительное целомудрие», «наступательное действие против того духа чувственности, т. е. пожирания и слепой производительности, который был обожаем в древности, который и ныне боготворится под видом ли “материи”, “бессознательного”, “воли”, или точнее “похоти”»[14]. Если отрицательное целомудрие основывается на волевом акте отречения, предполагает постоянное нравственное усилие, то положительное целомудрие требует действительно полной мудрости, в смысле полного обладания своими силами и энергиями мира, идущими на его преображение. Первоячейкой общин, вступивших на путь *всеобщего дела*, у Федорова становится семья, брачная пара, осуществляющая требуемый для созидания нового порядка бытия «прогресс в целомудрии». «Прогресс брака состоит в постепенном уменьшении чувственной любви и в увеличении деятельности»[15]. Такой брак, в отличие от старого, не только не отделяется от родителей, а ставит основной целью укрепление с ними связи, а также познание всех своих предков, просвечивание своих собственных душ, в которых встают образы родителей и предков. «Брак, основанный на знании

отцов, по мере перехода знания в дело, превращается в воскрешение, связывая все семьи в этом всеобщем деле. Превращение рождения в воскрешение есть совершенство брачного союза»[16]. Этим превращением завершается трансформация родотворной энергии, той, из источника которой доселе вырывалась жизнь, окутанная медленно, но неотразимо действующими смертоносными парами: соперничества, вражды, вытеснения, — в светлую энергию творчества бессмертной, духоносной жизни.

К близким выводам приходит и Владимир Соловьев в знаменитой статье «Смысл любви» (1892–1894), где в своей аргументации и общем пафосе он следует буквально за Федоровым, что и было отмечено исследователями, особенно убедительно и красноречиво еще философом С. Булгаковым в статье «Загадочный мыслитель» (1908). Соловьев ставит эту же странную, сверхъестественную задачу преодоления полового раскола и полового рождения, с которой мы уже столько сталкивались в этой главе: «Само по себе ясно, что пока человек размножается, как животное, он и умирает как животное». «Пребывать в половой раздельности значит — пребывать на пути смерти»; «Но истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих»[17]. Дело любви философ выводит к делу борьбы со смертью, к задаче возвращения всех сознательных и чувствующих жертв природного порядка за время его господства («увековечивания всех индивидуальностей, не только настоящих, но и прошедших»). Забыть свой долг перед отцами и матерями, предаться наслаждению бессмертием и творчеством на костях и прахе поколений, подготовивших трудом и страданием это счастье, будет значит на деле нравственное одичание предполагаемых грядущих «олимпийцев». «Человек, достигший высшего совершенства, не может принять такого недостойного дара; если он не в состоянии вырвать у смерти *всю* ее добычу, он лучше откажется от бессмертия»[18], — повторяет Соловьев основной нравственный императив учения всеобщего дела. По-настоящему точно понять Соловьева можно на экране прямых, проективно-деловых федоровских идей. Сергий Булгаков признается, что мысли статей Соловьева 1890-х годов, в том числе и «Смысла любви», стали для него внятны в их глубине

и истинном значении только после чтения «Философии общего дела». Большинство же символистов, увлекавшихся идеями Соловьева, прочитывали тот же «Смысл любви», не держа перед собой такого экрана, теряя весь подспудный реализм его мысли. Действенная проектика Федорова обкатана у Соловьева в философском теоретическом горне, облечена в словесную фиоритуру, и явившаяся отсюда неясность последнего смысла заклубилась в восприятии символистов розовым туманом мистических воздыманий к «вечной женственности», идеалу какого-то непонятного слияния двух в одно существо (воздыманий сугубо головно-душевно-платонических, часто резко контрастировавших с реальностью их половой практики). В то время как в «Смысле любви» метаморфоза полового чувства и энергии ни в коем случае не понимается как такое одухотворение, утончение полового чувства, которое отталкивается от плоти, недостойной, низшей, обреченной на гибель части организма. Любовь, эротические потенции направляются на конкретный целостный состав человека для трансформации его из природно-смертного в творчески-бессмертный. Именно в таком истинном свете воспринял идеи Соловьева и Платонов.

НОВЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ТИП

Еще в начале нашего века первый русский физик-теоретик Николай Алексеевич Умов, один из плеяды мыслителей-космистов, утверждал: в лоне современного человечества вызревает новый эволюционный тип, homo sapiens explorans, «человек разумный исследующий», движимый девизом: «Твори и созидай!». Платонов мог и не знать построений автора книги «Эволюция живого и задача пролетариата мысли и воли» (кстати, какое близкое уму и сердцу молодого воронежца само это название работы Умова 1906 года!)[19], но в его фантастических произведениях 1920-х годов «Маркун», «Сатана мысли», «Лунная бомба», «Эфирный тракт», по существу, возникают различные вариации подобного типа. Это — платоновские искатели и преобразователи; они, как бы следуя уже теоретическим рецептам статей писателя, начали смену *души*, преображают *пол* в *сознание*. Две мощные силы движут героем рассказа «Мар-

кун» (1921): страстное желание любви и не менее настоятельное стремление пересоздать вселенную. Причем очевидно, что его преобразовательные побуждения питаются как раз сосредоточенным, претворенным накалом его первого желания. Внутри Маркуна идет интенсивная, скрытая, одинокая работа самопознания. Он свит на себя, знает до мельчайших извивов и любит себя, мечтая при этом и другого познать настолько же глубоко и интимно, войти в него, стать им, полюбить так же, как себя. Он и любит уже напряженно, растроганно и затаенно всех людей, каждое живое существо, лелеет мечту пойти ради них на самоотречение, на жертву. Девственник, до болезни, из которой он только выходит к началу повествования, он постоянно видел во сне Невесту, прислушивался наяву к далеким девичьим зовам. Но сила эротического чувства в нем меняет направление: луч жгучей и узко направленной любви расширяется, распространяясь не только на женщин или на одну избранную женщину, а на всех, весь мир. Да и его попытки построить турбину, которая архимедовым рычагом перевернет несовершенную землю, да и всю вселенную, рождаются из этой же тотальной любви. Правда, велик контраст, комический и трагический одновременно: ноги дрожат после болезни, тело как тряпка, вокруг мучающаяся, оголодавшая жизнь — и такие радикальные, титанические дерзания!

В «Сатане мысли» (1922) неистовство в неприятии мира, где царит страдание и смерть, и порыв его немедленно переделать достигают апогея. Герой в юности теряет невесту, и невероятной силы любовь, тоска и скорбь по умершей, бунт против порядка вещей производят в его существе невероятную и мгновенную трансформацию: «сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, невероятной мощи»; став руководителем работ по переустройству земного шара, Вогулов пытается сначала взорвать нынешнюю вселенную и затем создать из нее «иную». Умершее и убитое сердце, какие бы преимущества это ни дало на время сознанию и воле, рождает холодное, сатанинское опустошение, а чаемое преобразование при таких условиях и подходах может обернуться самоуничтожением, рукотворным вселенским апокалипсисом.

В повести «Эфирный тракт» (1926), запечатлевшей обретение Платоновым новой глубины и стереоскопии мыслительно-

го и художественного взора, идет и дальнейшая разработка типа героя-преобразователя. Перекликаясь с идеей Умова, Платонов писал здесь: «Может быть, человек незаметно для себя рождал из своих недр новое великолепное существо, командующим чувством которого было интеллектуальное сознание, и ничто иное!» Да, с этим существом мы уже встречались в ранних вещах писателя. Но такое ли оно законченно «великолепное»? Рядом с устоявшимся нормальным человеком оно, действительно, многое приобретает: невероятную силу мысли, творческую мощь. Но складывающийся тип находится в процессе бурного и несбалансированного роста, что-то в нем атрофируется, что-то выпирает и уродливо торчит, как вывихнувшаяся кость. На критерий прежней человеческой эстетики он странен и даже отталкивающ — неизбежная участь существа переходного. До своей законченной гармонии, целесообразности и красоты он еще не дорос, не допреобразился. Не исключено, что некоторые из его складывающихся качеств могут оказаться нежизнеспособными, а то и вредными для того же человечества, которое он стремится облагодетельствовать.

В повести мы сталкиваемся с двумя разновидностями этого типа. С одной стороны, теоретик «эфирного тракта» Фаддей Попов и инженер-агроном Исаак Матиссен, научившийся мыслью непосредственно влиять на материю, оба наиболее диковатые, неуклюжие *мутанты*, особо негармоничные *выродки* обычного природного типа. Душу свою они *заглушили* целиком, решительно отказались от женской любви, предельно одиноки, личностно несчастны, забвенны, весьма неприятны для окружающих: неряшливы и угрюмы. Может быть, потому что они находятся в авангарде того поля проб и ошибок, где в муках и корчах рождается новый эволюционный тип.

В случае с Матиссеном явлен как раз особо опасный уклон в происходящей мутации. Сама его фиксация в повести — чего еще не было в ранних фантастических рассказах — свидетельствует о такой новой высоте понимания Платонова, с которой возможно предупреждение: *нет, не так*, *не туда* или *не совсем туда*, тут надо остановиться, повернуть, пересмотреть… Матиссен — научный гений, он добивается, казалось бы, фантастических результатов в управлении природой. Михаил Кирпичников, посетив его в дерев-

не, где он проводит свои опыты по орошению полей через мысленный приказ, испытывает при их демонстрации чувства сложные: тут и «жгучая струя в сердце и мозг», подобная той, которая в свое время пронзила его при первой встрече с будущей женой, и вместе «какой-то тайный стыд и тихая робость чувства, присущая каждому убийце…»: «На глазах Кирпичникова Матиссен явно насиловал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков». Настолько «больше и мудрей», что наш экспериментатор, приступив наугад и на ура к прямому воздействию на космос, бомбардируя его «пертурбациями своего мозга», вместо желаемого «управления миром» получает катастрофические возмущения в действиях небесных сил и тел, что приводит — среди прочего — и к гибели самого Михаила Кирпичникова.

Вторая разновидность типа преобразователя — более мягкая, *зрелая*. Интересно, что у такого героя или есть жена (как у Михаила Кирпичникова, где случай достаточно идеальный: подруга-единомышленница), есть и дети (у того же Михаила двое сыновей, и старший Егор становится продолжателем дела отца), или была жена (как у Крейцкопфа в «Лунной бомбе»), им доступно в своеобразной форме и любовное чувство (Егору Кирпичникову). Тем не менее вся их страсть — в их идее и деле. Чуть тех же Кирпичниковых, отца и сына, в разное время позвали в путь-дорогу тревоги и противоречия мучающей их высшей задачи, они оставляют своих любимых и близких, не попрощавшись, как бы без сожаления. Общественный уклад, представленный в повести и отнесенный к началу 1930-х и далее годов, уже прямо начинает культивировать творческую сублимацию половой энергии. Если старший Кирпичников еще только входит «в ту эпоху, когда мозг неотложно требовал своего питания, и это стало такой же горячей воющей жаждой, как голод желудка, как страсть пола», то через несколько десятилетий в том обществе, в котором действует его сын Егор, девственность уже воспитывается социальной моралью, литературой, всячески поощряется безбрачие, ибо «высшее напряжение любви» утоляется уже «не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством».

Недаром и система сравнений, касающихся познавательной, творческой деятельности героев, здесь навязчиво разомкнута в сферу эротического. Равноценно, ибо взаимопретворимо: «В то время, когда человеку надо либо творчество, либо зачатье новой жизни». Наука становится «жизненной физиологической страстью, такой же неизбежной у человека, как пол». Идея рождается «как момент зачатия в девственном теле», а «страсть к неуловимому нежному телу — эфиру» «он ощущал в себе, как любовь».

Итак, половая любовь-страсть у этих героев или вытеснена целиком, или трансформируется в семейную дружбу с женой, «такой же сторонницей немедленного физического преобразования мира» (где отдается и дань пока необходимому биологическому продолжению рода). Или как у Егора: «когда полюблю прочно <…> уйду странствовать и думать о любимой», унеся ее образ с собой как импульс к поиску и творчеству. Однако, как уже отмечалось, расцветают другие формы чувств, прежде всего трепетной любви ко всему живому. Вспомним, как Крейцкопф, автор «лунного снаряда», с сочувственным отождествлением открывает для себя стихи самого Платонова о любовном братстве со всеми существами вселенной: «Я — родня траве и зверю».

И еще одно — наиболее неожиданное и сильное: порывы любви к матери, причем, как правило, уже покойной. Яростные преобразователи мира, разбухшие мозгом головастики, с иссушенным сердцем, терпя фиаско в своих проектах, получая убийственные результаты опытов, в самые глухо-безотрадные часы и миги жизни пронзаются образом матери. «У Фаддея Кирилловича явилась еще страшная и неутомимая тоска по матери, хотя она умерла пятнадцать лет назад. Он ходил по комнате, вспоминал ее обувь в гробу, запах подола и молока, нежность глаз и всю милую детскую родину ее тела». «Последний образ» погибающего от чудовищного эксперимента Матиссена «был полон человечности: перед ним встала живая измученная мать, из глаз ее лилась кровь и она жаловалась сыну на свое мучение».

Вот это, казалось, было абсолютно неуместным в новом эволюционном типе: ведь ориентирован он вперед, в будущее, культивирует сознание и действенную волю — и вдруг этот странный вектор назад, к уже исчезнувшему с лица земли, это чувство тоски по

умершим. Причем чувство это никак не головное, не *от сознания*, не нравственно-холодно-натасканное, а самое неудержимое, пронзенно-сердечное. Воспоминание о матери вызывает в героях волну жалости, в которой всегда стыд за какой-то самый главный неисполненный перед нею, вытесняемою детьми, природным ходом вещей, долг. Собственно из этого чувства, из желания искупить вину перед матерью, из желания невозможного, чаяния новой встречи и возникает источный импульс их преобразовательной деятельности, их эволюционных *мутаций*. Вот единственный отрывок из юношеского дневника Михаила Кирпичникова, который писатель считает необходимым привести: «Март. 20. 9 часов вечера. Мать и дети спят на полу на старой одежде. Нечем даже укрыться. У матери оголилась худая нога — и мне жалко, стыдно и мучительно. <…> Какая сволочь жизнь! А может, это я сволочь, что до сих пор не свернул скулу такой подлой жизни? Зачем я позволяю ей так мучить детей и мать <…> Надо жить для тех, кто делает будущее, кто томится сейчас тяжестью грузных мыслей, кто сам весь — будущее, темп и устремление. Таких мало, они затеряны, таких, может быть, нет. Но я для них живу и буду жить, а не для тех, кто гасит жизнь в себе чувственной страстью и душу держит на нуле». И здесь Платонов оказывается ближе к Федорову, чем к Соловьеву. Если автор «Смысла любви» видел именно в *половой любви*, умеющей преодолеть эгоизм индивидуума, признав не только за собой, но и за другим, за любимым, абсолютное значение — «основание всего дальнейшего совершенствования», то Федоров, как мы помним, такое основание усматривал тоже в *любви*, но не половой, а *сыновней* и *дочерней*. (Действительно, любовь к родителям — есть еще большее преодоление эгоизма, ибо не предполагает никакой материально-чувственной награды, как первая.)

Образ матери у Платонова в свете его отношения к эросу и смерти критика часто толкует во фрейдистском духе, как стремление вернуться к ней в утробу[20], не замечая других, намного более важных для писателя, расширительных значений этого образа и связанных с ним чувств и мыслей. Это чувство «растущей тоски и воспоминания» об ушедшей матери понимается как «единственное утешение», как залог такого истинно верного преобразования мира, которое потребует единства сердца и ума, их взаимного пи-

тания, «добросердечной науки», как выражается Петропавлушкин, народный оппонент Матиссена. В отрывке «О любви», где Платонов отходит от губительного дуализма: сознание — чувство, разум — сердце, предпочтение отдается такому любовному, сердечному знанию, которое ребенок обозначает одним словом «мама». Такая наука, для проверки которой, по слову Матиссена, «надо весь мир замучить», и вот эта детская «мама» — несовместимы. И недаром последним укором вторгается в умирающее сознание насильника над миром лик «живой измученной матери».

Если в скоропалительной юности, еще за несколько лет до написания и отрывка «О любви», и «Эфирного тракта» казалось, что жизнь, вселенная, человек быстро и послушно устроятся по разумному преобразовательному чертежу, то время такого поистине легкомыслия прошло. «Жизнь еще пока мудрее и глубже всякой мысли, стихия неимоверно сильнее сознания, и все попытки замещения религии наукой не приведут к полной победе науки» («О любви» — II, с. 432). Наука «не утешит», человек без веры станет зверем и уничтожит «пустые города», лишившие его утешения и идеала. И платоновский герой Матиссен отчетливо опознал новую страшную власть (вместо старой — помещиков и буржуев) — «власть ученых». Еще не разобрались они толком в строении мира, его тайнах, а уже рвутся действовать, крушить и переделывать — наскоком, неистово и исступленно, как к тому призывал всех и наш юный воронежский философ, наэлектризованный яростными революционными стихиями и понятиями. В отрывке «О любви» Платонов уже настаивает: сначала надо понять и исследовать, а потом преображать. Да и сам человек — сложнейший микрокосм, он родственен и большому космосу, и микромиру со всеми их силами и энергиями, не говоря о психической и духовной его специфичности,— так что исследование мира должно идти в обе стороны: и вовне, в его беспредельность, и в такую же глубину внутренней вселенной человека.

Егор Кирпичников — последний в повести представитель цепочки искателей; открыв тайну «эфирного тракта», размножения материи, а с ней и неподозреваемые опасности вторжения в интимную жизнь вещества (от такого вторжения уже погибла древняя цивилизация аюнитов), он оставляет свои опыты. Недаром

образ настоящего металлического чудища принимают неразумно выпущенные на волю искусственно препарированные силы материи: «откормленный и выращенный Кирпичниковым электрон» является как некий живой металлический гад с лапами «в форме эластичного сверкающего копья» «на толстом сильном хвосте, конец которого шевелился, сверкая тремя зубьями». «Это странное и ужасное существо» вращает зубами, непрерывно гудит, выражая так свой ненасытный голод — подавай ему хоть всю материю мира! Внутри самой материи действуют те же принципы пожирания, борьбы, вытеснения, что и в природе, и в человеческих сообществах. «Неродственный» статус самой натуральной основы бытия, стоящей на двойной непроницаемости: во времени (вытеснение последующим предыдущего) и в пространстве (две части вещества вытесняют друг друга с одной точки пространства), подчеркивали и Федоров, и Соловьев. И Егор Кирпичников, оставив свои преждевременные и опасные эксперименты, отправляется в странствие (всегдашний платоновский образ поиска истины), чтобы открыть самый «корень мира, почву вселенной, откуда она выросла», ее тайну, принципы ее бытия. Отправляется, чтобы вскоре нелепо погибнуть, как и его отец, как и Питер Крейцкопф, как и Андрей Вогулов, и другие герои, начавшие упорную и долгую борьбу со стихийными разрушительными силами, которые пока так легко и играючи разметывают вдрызг и в прах «чудо вселенной», уникальную человеческую личность.

ОБЕЗЬЯНЬЯ КАРИКАТУРА («АНТИСЕКСУС»)

Рисуя в «Эфирном тракте» недалекое будущее, Платонов отмечал: «Времена полового порока угасли в человечестве, занятом устроением общества и природы». В реальной послереволюционной действительности дела с сексуальным поведением обстояли совсем иначе. В то время, когда Платонов написал и тщетно пытался пристроить в печати свой «Антисексус» (1926), читательская публика была взбудоражена двумя публикациями: рассказа Пантелеймона Романова «Без черемухи» («Молодая гвардия». 1926. № 6)

и повести «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» Сергея Малашкина (Там же. 1926. № 9). Разухабистая половая распущенность (впрочем, весьма безрадостная, а то и губительная, большей частью для представительниц слабого и чреватого сугубыми последствиями пола), потребительское хамство в интимных моментах, пошленькие пародии на «афинские ночи» — все это предстало как весьма распространенная «норма» свободных — без сентиментальности и буржуазных предрассудков — любовных связей, особенно в молодежной среде. То, каким должно быть отношение пролетарского общества к половой любви и общению полов, было темой непрекращающихся дискуссий в печати 1920-х годов (особенно интенсивно шли они года четыре — с 1923 по 1927). Десятки партийных и комсомольских работников, публицистов, писателей, врачей, психологов, рабочих и студентов спорили друг с другом, оперируя эмоциями, фактами, идеологическими установками.

Из самой жизни, что называется, снизу шла порядочная сумятица и разброд, нахлынула «эпидемия абортов», самоубийств, вылез и лихой студенческий ревизионизм, взявший на вооружение парадокс Оскара Уайльда: «Сознание определяется эротикой». Представители масс взывали к идеологам: помогите разобраться и определиться, что делать в переходный период со старыми понятиями нравственности, справедливости, совести, наконец, с любовью. И если в отношении вечных моральных норм ответ был единодушен: таковых не существует, каждый класс создает свои, и понятие *ближнего* — не универсально, а избирательно-классово, то по половой проблеме установки разнились. Центром полемического кипения стали построения главного революционного наставника по вопросам любви и семьи Александры Коллонтай. В работах времени военного коммунизма, таких как «Семья и коммунистическое государство» (М., 1918), она, по общему признанию, выковывала азбучные истины тогдашнего коммунистического подхода к этим сторонам жизни: это был прежде всего отказ от старой формы семьи в пользу «товарищеского и сердечного союза» двух равноправных трудовых индивидуальностей, для которых высшая ценность — интересы коллектива, а также государственное воспитание, своего рода обобществление детей. Ее статьи

и речи играли радужными цветами веры в скорое осуществление «рая на земле»; утопическое прекраснодушие не знало границ: путь от замкнутой на себе, эгоистической ячейки буржуазной семьи, основанной чаще всего на «материальной сделке между полами», к единой семье трудового человечества, что напоена энергиями и флюидами солидарности, дружества, любовных притяжений, продуцируемыми каждым свободным, подвижным половым союзом, казался естественным и легким. Но идеальные видения такого рода — видениями, а что конкретно было услышано и повлияло на практическое поведение? «Свободные отношения между полами не противоречат идеологии коммунизма. Интересы трудового коллектива не затрагиваются тем, что брак носит краткосрочный или длительный характер, что в основе его положены любовь, страсть или даже преходящее физиологическое стремление»[21]. Именно это положение, опошленное, разошедшееся с третьих-десятых уст, отвлеченное от значительно более нюансированных взглядов самой Коллонтай, стало идейной основой довольно распространенного в 1920-е годы «истинно пролетарского» отношения к любви как к простому удовлетворению биологической потребности, отбрасывающему лицемерные, буржуазные запреты и ограничения. В знаменитой статье «Дорогу крылатому Эросу!» Коллонтай охарактеризовала подобную любовь уже как «низшую», исторически оправданную только для краткого революционного периода, когда все силы души и тела уходили на яростную борьбу и отдавалась лишь необходимая дань инстинкту воспроизводства и позывам похоти. Это, по ее теперешней оценке, — Эрос бескрылый.

Пришло время — возвещает Коллонтай — крылатого эроса, «богатого и многострунного». В ее размышлениях мы сталкиваемся с предельно социализированной, прагматической вариацией знакомых по Владимиру Соловьеву призывов претворить и вывести уникальные возможности симпатии, взаимного влечения, самоотвержения, какие таит в себе любовное чувство, в сферы значительно более широкие. У философа — межчеловеческие и даже космические (он пишет об «установлении истинного любовного, или сизигического, отношения человека не только к его социальной, но и к его природной и всемирной среде»[22]), у революционной деятельницы — раскрытие «потенций любви» и их расширение

ориентировано на «сочленов по классу», на товарищей. (Трудно удержаться и не вспомнить — пусть и чуть преждевременно — чевенгурский трогательный гротеск «обожания товарища».) Крылатый эрос «пробуждает и проявляет как раз те свойства души, которые нужны для строительства новой культуры: чуткость, отзывчивость, желание помочь другому»[23]. Его крылья призваны нести «симпатические чувствования», высеченные и «накопленные» поначалу между двумя, в большой трудовой коллектив, заряжая и «склеивая» его. Брошенные в топку социального переустройства натуральные любовные энергии человека должны выработаться в мощный пар, движущий локомотив новой истории и культуры. «Величайшая новая психическая сила — товарищеская солидарность», питаемая претворенным эросом, любовью-солидарностью, встает у Коллонтай в красивую, но, увы, теоретически-головную оппозицию к конкуренции и борьбе, двигателям производства и общественной жизни при капитализме. Она пытается достаточно механически соединить и основной свой узкопрактический императив — подчинения любви коллективному трудовому долгу (недаром и написана ею в этом духе курьезная пьеса «Любовь пчел трудовых»), и свой исходный, освобождающий естественные чувства и побуждения подход к любви: «В этом новом мире признанная, нормальная и желательная форма общения полов будет, вероятно, покоиться на здоровом, свободном, естественном (без извращения и излишества) влечении полов, на “преображенном Эросе”»[24].

Но компромиссный вариант Коллонтай, гуманно-примиряющие склонения ее мысли (вся эта «любовь-солидарность»), мифологические уподобления вызвали сильное раздражение научных марксистских критиков. Подверглись уничижительному разгрому и ее наиболее безусловные утверждения прав на «женское восприятие», женский вклад в строящуюся культуру, критика мужского «эгоизма», ее высокая оценка в этом отношении поэзии Анны Ахматовой. «Псевдомарксистскому анализу “крылатого и бескрылого Эросов”», реакционному «дамскому пути» (изощрялся Б. Арватов)[25] были противопоставлены строго научное исследование половой проблемы и такая же научная ее организация. Целый ряд авторов[26] с разной степенью радикализма выступали против одного: против «преувеличения биологического и социального зна-

чения полового момента» (Залкинд), против любовных стихий, культа наслаждения, отвлекающих от борьбы, работы, коллектива; и ратовали за одно: воздержание до брака, рационализацию семейной жизни (Беркович), моральный пролетарский аскетизм, не позволяющий «половой энергии отвлекать от мозговой работы» (Ярославский). В борьбе с полом, с «гомерически развернувшимся интересом нашей современной молодежи к половому», за его «политико-педагогическую ликвидацию» (Залкинд) марксистские идеологи развешивали громогласные, разящие словеса, поверхностно апеллируя к научному авторитету Фрейда, ухитряясь делать его своим соратником в установке на общественную утилизацию любовных эмоций, жесткую регуляцию половой жизни.

Рассказ «Антисексус» впервые явился читателю — точнее достаточно узкой аудитории специалистов — через 55 лет после своего рождения[27], сохранив, однако, всю неординарность и язвительность своей творческой физиономии, хотя и предназначалась она писателем тому времени и моменту, о котором только что говорилось. В послесловии к этой публикации известный голландский исследователь творчества Платонова Томас Лангерак утверждал, что «Антисексус», вероятно, первое произведение, в котором писатель осмеивает собственные «левые» идеи начала 1920-х годов, развивавшиеся в пролеткультовском русле: идеал «нормализованного работника», утверждение враждебного противостояния человека и природы, сознания и материи. Поскольку в «Антисексусе» речь идет о регуляции того, на что посягал ранний Платонов, а именно пола, и дано это здесь в ядовито-сатирическом ключе, — то вывод платоноведа, казалось, был абсолютно оправдан.

Рассказ — по форме рекламная брошюра искусного аппарата, разработанного некоей западной фирмой и триумфально покоряющего города и веси всех цивилизованных и нецивилизованных стран. Это чудо технической и — как уверяют его создатели и именитые защитники — нравственно-гуманитарной мысли позволяет за доступную цену раз и навсегда механизированно отрегулировать сексуальные отправления человека, обеспечив ему при этом половое удовлетворение, неизмеримо превышающее нормальное. Да, в махрово-гротескном рекламном обращении «Генерального Агента для Сов. стран», рвущегося совратить и «новый

мир» несравненными перспективами своего изделия, мы расслышим некие идейные звуки, уже знакомые нам по вполне серьезным дискуссиям наших 1920-х годов: как так «в век научной организации труда» осталась на свободе половая сфера, источник «нерентабельной, страдающей и плодящей страдание» человеческой души! В апологии «антисексуса» задействованы мораль, философия и даже космос. Наконец, «сексуальная дикость» уничтожается, «половое чувство» превращается «в благородный механизм», миру дается «нравственное поведение», а натура человека выходит к «ровному, спокойному и плановому темпу развития». Но вот дело доходит до горделивого вникания в детали конструкции и действия: тут и план-шайба предельной нагрузки (во избежание истощения), и вариации этой машинки для общественных уборных и мест коллективного пользования, типа бараков и митингов, и автоматы-стерилизаторы, и 20% скидка для профсоюзов, и регуляторы длительности наслаждения от нескольких секунд до нескольких суток — уж такой густой буффонный запредел не может не бросить дотла испепеляющей молнии смеха и на все теоретизирования по поводу регулирования пола. Значит, и на собственно платоновские. Однако разберемся.

Да, молодой Платонов был открытым сторонником претворения половой энергии в мощь сознания, в творческие силы, преображающие природу человека и мира, и видел в этом один из способов вырваться из природной круговерти к новому бессмертному типу бытия, к высшему Человеку, в котором дух управляет материей. А с чем мы сталкиваемся в случае с аппаратом, которому поют дифирамбы промышленники и путешественники, писатели и актеры, пока в основном зарубежные (подзатесался и наш Виктор Шкловский), но готовится вступить в хор, как обещается, сильный отряд советских, пролетарских и прочих общественных и культурных деятелей? Генри Форд в своем отзыве об «антисексусе» пишет следующее: «Гг. Беркман, Шотлуа и С^{н} открыли новую блестящую эру в нравственном служении человечеству. Нет сомнения, исторический оптимизм есть всеобъемлющее регулирование вселенной мозгом Человека — регулирование, которое должно предстать перед нами в виде трансформатора, превращающего стихии в закономерные автоматы». Какой знакомый нам пафос!

То, что прокламировала пролетарская этика в эти годы: рационализировать страстную, стихийную, иррациональную природу человека, утилизировать сексуальные силы для нужд коллектива, производства (но чего? тех же товаров и «мануфактурных игрушек»), по отношению к собственно платоновской идее и мечте являло собой радикальное *не то*, хотя при поверхностном взгляде могло и сближаться. На деле скривилась обезьянья карикатура, создававшаяся некоторой общностью фразеологии при целях и чаяниях на деле обратных. Революционное строительство, в котором воронежский мыслитель усилился увидеть начало «смены души», осуществление высших онтологических задач человечества, заворачивало явно в другую сторону, а точнее возвращалось, только каким-то противоестественным путем, на те же круги антиэволюционного, неоязыческого фундаментального выбора, в котором пребывало и пребывает человечество, наиболее естественно и блестяще реализовав его в буржуазную эпоху. «Антисексус» выразил никогда прямо не объявлявшуюся Платоновым, но явно пронзившую его к середине 1920-х годов интуицию какого-то глубинного родства закордонного мира с тем, который так громогласно вступил с ним в борьбу. Но это было родство скрытого рода, из области таких глобальных параметров, которыми обычно не оперируют социальные идеологи и культурные деятели. (Кто задумывается над, так сказать, онтологическим фундаментом общественного действия? Платонов задумывался именно над этим, обличая — особенно сильно в своих вершинных созданиях, таких как «Чевенгур» и «Котлован», — решительную утопичность попыток гармонизировать природу человека, устроить социальный эдем на нынешней натуральной основе, стоящей на борьбе, вытеснении и смерти.) Любопытно, что в такой сугубо конкретной и щекотливой точке, как та, что представлена в «Антисексусе», удалось засечь и провести это тонкое опознание родства двух противостоящих систем.

Присмотримся, однако, к чудесному приборчику, что соорудил практический Запад, чтобы удовольствие получать без отвлечения на живого партнера, мужчину или женщину, и тем ликвидировать стихийность, потери энергии на сторону (довольны и колонизаторы, и промышленники, и военные). Ни о какой трансформации любовных энергий в виду высшей цели преображения и одухотво-

рения человека здесь и говорить не приходится. Напротив, тут явная, хотя и закамуфлированная рекламными восторгами, попытка этот мощный энергийный источник человека вообще погасить, засыпав его песком механического и ошеломляюще-сильного удовлетворения. А то пока в нормальных условиях юноша страдает и ищет предмет для приложения жажды любви, где-то на полпути может он нечто сочинить или соорудить, найдя определенный творческий исток своему томлению. Через антисексус (а миру грозит тотально-тоталитарное его внедрение, чему в «отзывах» подает первый пример Муссолини) будет железно приручен и дух: при *так* отрегулированной источной половой энергии и дух будет кастрирован, механизирован, «цивилизован» в худшем смысле этого слова. Осуществляется дьявольская подмена: вроде бы прокламируя торжество над природой, с лихвой передразнили саму природу в ее основной приманке («высокоценный момент наслаждения <…> по крайней мере в тройной степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно использует только что освобожденный заключенный после 10-ти лет строгой изоляции») и тем еще глуше и безнадежнее захлопнули для человечества ее капкан. Своего рода диверсия против эволюционного назначения человека, поставившая технику на службу природному порядку в самой интимно-сокрытой его сердцевине. Механизированная бестия, «антисексус» движим в своем дальнем назначении выбором сатанинским, направленным на самоубийство человечества, воистину ставшего мыслящей (?) и наслаждающейся плесенью, самоубийство всего живого (предлагается уже приборчик и на животных распространить). Тут уж воистину «все как один умрем» (кому захочется подходить к противоположному полу и зачинать новую жизнь!), но уже «не в борьбе за это», а в сладких объятьях механических любовниц и любовников.

Недаром парад восторженных приветствий аппарату открывает апостол и певец войны Гинденбург словами: «Война — всемирная страсть человечества. Она не пребудет, пока не пребудет жизнь на земле…» За милитаризмом шествует индустриализм, Генри Форд и Форд-сын, чуть дальше — империалист Чемберлен. Полный набор столпов общества, созданного «по типу организма», как выражался Федоров. Это общество готово удовлетворить

самые утонченные запросы редких неврастенических натур, вроде Чарли Чаплина, пожалевшего, что прибор убивает «интимность, живое общение человеческих душ». Пожалуйста, создадим особую конструкцию для избранных, «действующую не только на половую сферу, но и на высшие нервные центры одновременно», дабы создать живую иллюзию милого, единственного любимого существа и даже имитацию «бесценных моментов ощущения общности с космосом и дружбы высшего смысла ко всему живому». На потребу, на удовлетворение всех запросов и спросов работает такое общество. Оно может взять на вооружение и регулирование стихий, и омоложение («антисексус» приветствует и знаменитый биолог Штейнах, экспериментировавший в этом направлении). Только не трогайте его *организмического* принципа, его фундаментального выбора: замкнуть человека таким, каков он есть, лишь ублажая его на краткое *время живота*, не принимать онтологических задач восхождения и преображения. Но что заклинивание человека в пределах его нынешней несовершенной, противоречивой природы — не имеет значения, на каких путях, капиталистических, социалистических, постиндустриальных (последних при жизни Платонова еще и не было, но он их провидел, чему свидетельство тот же «Антисексус»), — не может не привести в тупик, к самоуничтожению, наглядно демонстрирует эта проницательная футурологическая проекция мысли писателя.

К середине 1920-х годов Платонов вступил в такой период своего творчества, когда стал широко демонстрировать в своих произведениях те суррогаты, которые предложило и выбрало время вместо тех идеалов, которым оставался верен автор, отказавшийся от крайностей и скоропалительностей некоторых своих акцентов.

ИДЕАЛЫ И СУРРОГАТЫ («ЧЕВЕНГУР»)

Исследователи уже отметили, что именно «Чевенгур» (1927–1928), гениальное создание писателя, особенно густо насыщен явными и скрытыми эротическими мотивами, естественно, в специфически платоновской их разработке. Попробуем собрать

их, уточнить их смысл в общей идейной и образной системе романа.

В первой части «Чевенгура», той, что Платонов вынужден был печатать отдельно под названием «Происхождение мастера», в рассказе о многодетной семье Двановых, приемных родителей главного героя романа, сироты Саши, дан самый что ни на есть натуральный уровень природной, полуживотной жизни. Мавра Фетисовна замучена деторождением, выбивается из последних сил: накормить-взрастить детишек, а они умирают, и опять ей, истощенной, умаявшейся, рожать, питать, бороться за жизнь. И Прохор Абрамович живет замороченно, механически, равнодушно, и только очередной ребенок и дети все вместе становились «его единственным чувством прочности своей жизни». Его собственная душа, его «я» — почти на нуле, вся его «избыточная энергия» ушла на производство детей; он живет и работает «как сонный <…> ничего не зная вполне определенно». Платонов еще и еще, упорно настаивает на мысли об истощении и погашении личности в деторождении: «умножение детей уменьшало в Прохоре Абрамовиче интерес к себе». То, что в человечестве веками считалось смыслом и целью бытия, обеспечивающим его разумность и полноту, — семья, рождение детей, — у Платонова предстает в особом, философском ракурсе: именно здесь обнаженно проявляет себя природный способ существования. В глубинном слое платоновского текста, там, где на станке художественной речи ткется полотно мыслеобраза, протягивается ниточка аналогии между рождением (родами) и смертью. Вспомним сцену гибели машиниста-наставника. Смерть оказывается возвращением в утробу матери, умирающий словно «протискивается» «меж ее расставленными костями» назад — «в тихую, горячую тьму»; пришедший из небытия возвращается из жизни в небытие той же дорогой (недаром слово «утроба» образует два, казалось бы, противоположных сочетания: «материнская утроба» и «могильная утроба»). Роды, болезнь и смерть описываются Платоновым жестко, натуралистично, тут он обнажает изнанку природного порядка бытия, корень которого — рознь, вытеснение, смерть.

В Саше Дванове, одном из самых заветных платоновских героев, свивается весь комплекс интимнейших первопереживаний

человека в мире, причем самым прямым и обнаженным образом. Федоров писал о двух основных аффектах, что составляют травматическое ядро человеческой психики: «чувстве смертности» и «стыде рождения». Саша Дванов прошел через оба эти потрясения, ушли они в экзистенциальные глубины его складывающейся личности. «Чувство смертности» пронзило его через раннюю смерть отца. Платонов подробно описывает переживания мальчика у гроба и могилы; ребенок постоянно ощущает свою связь с мертвым отцом, она не прерывается затем всю его жизнь, всплывает в навязчивых мотивах снов, подспудно определяет главные решения и поступки. А вот что испытал маленький Саша при родах Мавры Фетисовны, стоя у кровати роженицы, где «пахло говядиной и сырым молочным телком», и что впечаталось в его сердце вторым «шоком»: «Приемыш стоял тут же и глядел на непонятное с искаженным постаревшим лицом. В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество <…> Также ему было одиноко, скучно и страшно, когда он увидел склещенных собак — он тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда».

Платонов — писатель постоянных, навязчивых мотивов; концентрируют они в себе определенное переживание, чувство, мысль, а то и целую концепцию. Случается, что и некоторые персонажи появляются в его художественном мире в качестве своеобразного «мотива», заключающего ту или иную идею, а то и целое мироотношение. Такой человеческий тип может мелькнуть раздва в произведении, в «Чевенгуре» таких персонажей немало, но один из них весьма важен для авторской мысли, недаром появляется он еще в начале романа и в самом конце последним из живых видит его Саша Дванов. Это — Петр Федорович Кондаев, горбач, обиженный природой, ущербный, несчастный — оттого и злой. Живет в нем неутоленная стихия злого сладострастия, мечтает он, чтобы все мужики вымерли или отправились на заработки, а он один бы «залютовал над бабами по-своему». В своей дикой грезе он готов овладеть всеми, насесть в особенности над женским миром полноправным властелином, устремляется и к самому для него недосягаемому: он жгуче вожделеет к пятнадцатилетней «полудевушке Насте», самому чистому, прелестному — как бы это

невозможное захапать. В реальности же у него нет никого (остается только остервенело-садистски, украдкой щупать кур), все его попирают, смеются над ним. Глубокая обида на людей, на самый порядок вещей, обрекший его на уродство и унижение, рождают мстительное стремление затомить вообще всю жизнь вокруг, довести ее до слабого, подвластного ему состояния, «чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа». Но это остается только потаенной сладостной мечтой — и он мучает, уничтожает хотя бы малую, беззащитную животинку: мух, жучков, траву…

Но всей образной словесной тканью Платонов укрепляет мысль, что даже такие дикие импульсы, в сущности, являются крайним извращением благих и прекрасных порывов. Кондаеву хочется любви, душевного слияния с другими людьми, но поскольку ему ничего не дано, то и возникает такая калечески-обиженно-демоническая реакция: раз так, то буду уничтожать, расчленять, потрошить, хоть таким физическим внедрением в другой организм стану прямо причастен ему, его телу, его душе, его жизни. Недаром выписаны облик и поведение Кондаева в романе жгуче-любовной лексикой: он приходит «в тихую ревнивую свирепость» от вида любой жизни, «если то была трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины». Платонов — глубокий провидец бездн эротической психологии, вплоть до таких крайних форм, как садизм, злая, исступленная жажда обладания, осуществляющаяся в сплавлении со смертью, в разрушении желаемого объекта. Не раз появляются в его творчестве и несчастные уроды, невольно отлученные от радостей жизни, такие как в «Котловане» Жечев, вожделеющий на проходящих пионерок, или Козлов, истощающий себя самоудовлетворением по ночам, — жалкие жертвы стихии похоти. Но среди них Кондаев — *идейно* наиболее густой, воистину кондовый тип, образ-эмблема, можно сказать. Не случайно сопровождает Кондаева в романе картина жизни насекомых, не раз являвших в литературе образ предельного сладострастия, часто злого: «Кондаев любил ходить на улицу в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих насекомых». Этот образ, как мы помним, развитый у Достоевского, возникает там-сям и у Платонова.

В своем страстно-патологическом желании Кондаев приветствует саму слепую стихию в ее войне против человека, радуется засухе, голоду, вымиранию: пусть и другие, а не он один, побольше помучаются. Тут — своего рода предел нигилистически-отчаянной реакции на «природы вековечную давильню» (Заболоцкий), мстительная солидарность с силами разрушения и смерти из-за безнадежности преодолеть их.

Кстати, становится понятным и финальное появление Кондаева, непосредственно перед самоубийством Саши. Пронеслись по земле сокрушительные катаклизмы: революция, война, продразверстка, сметен врагами Чевенгур, погиб Копёнкин, не окончив своего паломничества к могиле Розы Люксембург, направляется к отцу в воды озера Мутево Саша Дванов, а Кондаев все тот же, разве постарел немного; сидит себе на завалинке и все так же лущит мух «со счастьем удовлетворения своей жизни». Горбатый и искореженный этот старик — еще один живой символ господства в мире все того же несовершенного, стоящего на эросе и смерти натурально-природного уклада, что пока непоколеблен, вопреки всем упованиям и мечтам чевенгурцев.

У сокровенных же платоновских героев начинается, как мы уже видели, отвод эротической энергии от прямого ее объекта, ее возгонка то ли в трепетную любовь ко всем Божьим тварям, то ли к изделиям разного рода, к машинам, как у Захара Павловича, позднее усыновившего Сашу Дванова. Саша Дванов — из той же когорты платоновских героев с расширенным, претворенным эросом, распахнутым на всякое земное дыхание. При виде любой жизни он «наполняется тем темным воодушевленным волнением, какое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине». Сама система образов и сравнений призвана донести до читателя: его любовь к каждой букашке и самому забвенному человеку — из одного источника, из все той же трансформированной, нерастраченной «по прямому назначению» эротической энергии. Саша полон особым чувством симпатии (эмпатии, как сейчас выражаются психологи) со всем окружающим, умеет изнутри восчувствовать все живое, становясь как бы им самим: «он шел навстречу тем событиям и вещам, которые он должен еще перечувствовать, пропустить внутрь своего тела».

Отношение к собственно половому переживанию в «Чевенгуре» уже достаточно амбивалентно. Именно с немногими моментами полового пика, которые узнает Саша Дванов, связаны особые поэтические взлеты тона писателя, лирические всплески стиля. В свое «предсмертное время», когда раненого Сашу готовится добить бандит Никиток, он в бреду «глубоко возобладал Соней», «в первый раз узнал гулкую страсть жизни и нечаянно удивился ничтожеству жизни перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом». И в сцене потери невинности Саши с немолодой крестьянкой Феклой Степановной, которая для его чувства как «сестра скончавшейся матери», поражает тонко поэтическая, метафорическая стилистика. Ничего похожего на юношеские сарказмы по поводу производства яйцеклеток и «транспорта в места»; нет и той натуралистической жесткости деталей, которую позволяет себе Платонов, рисуя другие физиологические акты, скажем роды. Но вместе — писатель так задерживает читательскую мысль: «Он чувствовал такое утомление, словно вчера ему была нанесена истощающая рана». Вот это сравнение: «истощающая рана» — глубоко *идеологично* и оценочно. И тут-то постоянный внутренний «свидетель», «сторож-наблюдатель» молодого человека (нечто вроде бесстрастного ангела-хранителя) впервые и единственный раз плачет над ним, «теряет свое спокойствие *для сожаления*» (Здесь и далее курсив в цитатах мой. — *С. С.*).

И недаром Саша ушел от Сони Мандровой как от манящего каждого смертного удела любви, брака и семьи — в них принял бы дурную бесконечность, безнадежность природного удела, что единой цепью соединяет рождение и смерть, заставляет прилепляться к потомству, забывая собственных родителей. «Когда-то на него от Сони исходила теплота жизни, и он мог бы заключить себя до смерти в тесноту одного человека и лишь теперь понимая ту свою несбывшуюся страшную жизнь, в которой он остался бы навсегда, как в обвалившемся доме».

В Саше Дванове зачинается вертикаль иного выбора: вся его сердечная энергия направлена на отца. Еще мальчиком, впервые покидая родное село, он зарывает в могильный холм свою дорожную палку, «чтоб отец знал, как скучно Саше идти одному и что Саша всегда и отовсюду возвратится сюда — за палкой и за от-

цом». Через много лет этот эпизод повторится во сне уже взрослого Саши, собравшегося в Чевенгур, где, по дошедшим слухам, установился уже «коммунизм», равноценный тогда в сознании чаемому идеалу. И Дванов плачет от тягости и грусти, «что до сих пор еще не взял свою палку от отца». Тут дано ему и указание высшей инстанцией его совести и долга — голосом отца — зачем идти ему в Чевенгур: «Делай что-нибудь в Чевенгуре: зачем же мы будем мертвыми лежать». И Саша уходит в Чевенгур, как раньше — в революцию, чтобы разрешить загадку смерти и тогда вернуться за отцом.

Но у Платонова в чевенгурской эпопее осуществился корежащий стык глубинных сердечных чаяний его героев и новой, принятой на веру идеологии, замешанной на тотальном разделении и ненависти. В нау́ченной логике чевенгурских преобразователей вся вина за несовершенство бытия лежит на буржуях, кулаках и разной «остаточной сволочи». Дерзкие проекты овладения миром сводятся потому лишь к их истреблению, а уж затем, вне всякого сомнения, необходимо наступит внезапное преображение мира и избавленная от эксплуатации природа станет другом человеку, сознательной работницей на коммунизм. «Пора нам всем великолепно жировать. Долой земные бедные труды. Земля задаром даст нам пропитанье» — увлеченно декламирует Пашинцев. Аналитическая мысль Платонова работает на постоянных гротесках, использует аналогии предельные, апокалиптические. Чевенгурцы берут на себя прерогативу «страшного суда»: буржуев ссылают в геенну огненную вечных мук и вечной смерти (даже душу им прострелили, чтоб наверняка), а пролетариату декретивно объявляют коммунистический рай, где те будут покоиться без труда и забот в непрерывном «обожании товарища» (явная параллель с немудрящими представлениями о «блаженной жизни» для избранных христианского рая).

Но как непохоже на желанный «земной рай» убогое и хилое существование чевенгурских товарищей! Сгрудились сирые и сиротливые на куцем клочке такой же сиротливой осенней земли, судорожно вцепились друг в друга, как бы прикрылись телами товарищей от метафизического ветра тоски и тщетности. Один из центральных идейных мотивов романа — претворение любви, по-

ловой эротики в дружество и товарищество. «Товарищ» и «дружба» — здесь одни из самых частотных слов. «Вот идет товарищ, обожду и обнимусь с ним от грусти». «Когда живешь в дружбе и неотлучном присутствии товарищей, когда бедствие жизни поровну и мелко разделено между обнявшимися товарищами», не так мучает отсутствие «вечного и твердого смысла жизни», его немедленной реализации. И какое изобилие словесных определений у писателя для выражения силы и затаенности товарищеских отношений: «Уединенный интерес друг к другу», смотрят на товарища «с жадностью своей дружбы». Дванов стыдится «своего излишнего чувства к Копёнкину», и тот «имел совесть для тайных отношений между товарищами». Какое напряжение страстной, мучительной нежности мужчин-товарищей друг к другу и какая изощренно-эротическая, тайно-братственная стилистика для выражения всех тонкостей чувств и переживаний: растроганности, нежности, стыда, радости и плача. Вот явился кузнец Сотых в Чевенгур. Встретил его глава большевиков Чепурный, «осторожно притронулся к нему и заплакал от волнения и стыда своей беззащитной дружбы». Идут в обнимку на ночевку, как возлюбленные, но не заниматься любовью, а «долго думать» вместе и разговаривать. При всей трогательности лежит даже на самых лирических сценах такого рода налет гротесковой комичности, сознательно наносимый автором. Вот и тут, лежат всю ночь Чепурный и пришлый кузнец рядышком на соломе «в умственных поисках» коммунизма и его душевности: «Не гладь меня, не стыди человека, — отозвался Сотых в теплой глуши сарая. — Мне и так с тобой чего-то хорошо». Но этот налет может сгущаться до откровенного гротеска. Нагнетается атмосфера буффонная, театрально бьющая на читательское впечатление: голый Пашинцев вступает в Чевенгур, прикрытый лишь в верхней половине тела остатками боевой, бутафорской кольчуги — представьте же во всей живописности его низ со всеми срамными тощими частями — и так разгуливает на протяжении почти целой половины романа, только к концу ему шьют штаны из одежды, снятой с попавшего в город Сербинова. Или же такой изобразительный контрапункт: все чевенгурцы стыдливо обожают товарищей, и только двое нормальных детей жизни, ломающих общую коммунистическую комедию, — Прокофий Дванов и Клавдюша

Клобзд, — валяются по окрестным бурьянам, предаваясь профаническим любовным занятиям. (Кстати, какую дикую фамилию придумал здесь Платонов для вечной самки Клавдюши: Клобзд — одно почти неприличное неблагозвучие!) А вот тон рассказа вскидывается и до сознательного кощунства. Чепурный Прокофию: «Что-то ты верно говоришь, а что-то брешешь! Ты поласкай в алтаре Клавдюшу, а я дай предчувствием займусь — так ли оно или иначе!» Тут куда ни кинь — издевательская травестия: райком в бывшей церкви разместился и на плотскую утеху командируют в такое место, куда раньше женщин и вовсе не пускали, а все эти прислушивания Чепурного к своим предчувствиям, ловля им классовым чутьем чуждых «блох» — явная насмешка автора над культом непогрешимого пролетарского инстинкта, который как высший критерий культивировала эпоха.

Гротесковые обертоны авторского рассказа указывают на самое порочное в чевенгурской страстной идее товарищества: извращение тотальности любви (любят только классового, «однородного» товарища, а остальных в расход пускают). Если судить в пропорции романа, круг любви и братства замыкается одиннадцатью большевиками и горсткой «прочих», а многочисленное и разнообразное население обрекается огню пролетарской селекции, так что на жертвенный алтарь идее товарищества положен целый город. Этот же избирательный принцип автор сознательно доводит до явного абсурда, распространяя его и на природу. Секира классовой ненависти Чепурного готова яростно изрубить всякую там садовую «контру», культивированную, «явно сволочную рассаду» и разные изысканные «цветы и палисадники и еще клумбочки», делая исключение лишь для травяного пролетария: бурьяна, сорняков, лопухов, крапивы — на них-то и направляется вся его нежность. Характерно и то, что порывы любви к товарищу могут закончиться всплеском истребительной ярости по отношению к буржуям. Как Копёнкин однажды простоял долгое время перед портретом умершей Розы Люксембург, таким одухотворенным, таким живым, «до тех пор пока его невидимое волнение не разбушевалось до слез», — в ту же ночь он в первый раз «со страстью изрубил кулака».

Нелепый конгломерат идеалов и суррогатов, душевного света и темного невежества, наскоро оснащенного лозунговым прими-

тивом, чистоты сердечного чаяния и идейной замороченности определяет и характеризует в романе Платонова в разной степени всех чевенгурцев и их эпоху. Этот конгломерат, эту дикую смесь мы встретим в каждой фразе, жесте, поступке героев. Та же идея раннего Платонова о новой эре сознания, сменяющего пол, его взгляды на трансформацию эротической энергии получают в дремучей голове Чепурного и его последователей истово-сектантское и комическое воплощение как исключительное признание «классовой ласки», «близкого увлечения пролетарским однородным человеком», при решительном утверждении, что «буржуя и женские признаки создала природа помимо сил пролетария и большевика». Рядовой чевенгурец Жеев начинает сомневаться, не скрывается ли за напряженно-страстной нежностью к товарищам простой факт отсутствия женщинского элемента в городе. Он просит привести каких-нибудь женщин в Чевенгур — «а то видишь — я тебя поцеловал». Какие тонкие и чуть не двусмысленные смещения умеет передать умная стяженность слога писателя: «С воодушевленной нежностью и грубостью неумелого труда автор слепил свой памятник избранному дорогому товарищу; и памятник вышел *как сожительство,* открыв честность искусства Чепурного».

Саша Дванов добирается в Чевенгур почти к концу романа, когда уже умер ребенок у нищенки, одной из «прочих», завезенных Прокофием в город, и никакие магические манипуляции Чепурного над трупиком не смогли вернуть его к жизни. Смерть ребенка, казалось бы, невозможная в Чевенгуре, ведь «здесь действуют коммунизм и природа заодно», отнимает упования на добровольную помощь слепых, разрушительных сил: в Чевенгуре они действуют столь же безжалостно, «как и при империализме», и одним накалом веры, «обожанием товарища» их не отменить. С приездом Саши кончился героический период чевенгурского коммунизма, когда истребляли врагов и вслед за этим ждали немедленного чуда преображения мира, когда решительно отметали всякий труд как начало собственности, когда стойко держались в абсолютном революционном аскетизме, отведя все запасы нежности и любви на товарища. Начался период приспособления идеала чевенгурского коммунизма к требованиям жизни: стали трудиться, женщин привели, стали даже семейственно облагоустраиваться. Но это

был именно компромисс, и мягкий, стыдливый: работают только для товарищей, облегчают их страдания, делают им памятники для выражения своей любви, а когда привели женщин, то самых завалящих, «скудных», какие-то измученные остатки женщин, так что и эрос к ним тут не половой, а братско-отцовский, а с их стороны — материнско-сестринский, и выбрали они себе в мужья кого постарше, да понемощнее, чтобы не мучил любовью, а только согревал на общем ночном ложе. Весьма любопытен эпизод, когда по прибытии этих «истраченных» невыносимой жизнью женщин проводится им смотр и коллективная предварительная ласка: каждый чевенгурец должен их обнять и поцеловать. Но почему такими странно-страстными, можно сказать, сексуальными поцелуями награждает каждую Саша («Дванову досталось первым целовать всех женщин: при поцелуях он открывал рот и зажимал губы каждой женщины меж своими губами с жадностью нежности…»)? Да потому, что эротическое чувство — по идеалу сокровенного платоновского героя — ни в коей мере не должно быть погашено (даже в отношении этих нищенских и убогих женщин), более того, должно возрасти в интенсивности, предельно, так сказать, разогреться, чтобы в своем претворении и расширении дать тем более сильную общую братскую любовь и творческий импульс к преобразованию.

Правда, созидает писатель одну нормальную семью в Чевенгуре: Кирея с самой молодой и пригодной из женщин — Грушей, да и то, чтобы показать, как они тут же свиваются от всех на свой маленький очажок, забывая о товарищах и труде для них. От близости с Грушей муж регулярно обессилевал, мир для него тускнел и терял краски, становился «туманным и жалобным», потом Кирей отдыхал, накапливал «вещество любви», и «мир снова расцветал вокруг него», начинал звучать и благоухать, потом снова — опустошение и туман и опять все сначала. И здесь Платонов не преминул представить сладкую ловушку любви, дискредитировать на эмоционально-образном уровне зацикленность человека на половой любви как пике существования.

Чевенгур, где, как провозглашает Чепурный, настал «конец всемирной истории» и времени больше не будет, тем не менее замкнут в привычную рамку природного времени: пышно расцвел он ле-

том (тут и буржуев истребили, и дома выкорчевали, и «прочих» со всех концов земли насобирали), а осенью, когда затухает жизнь во всех земных тварях и природа готовится к зимнему смертному сну, налетают безжалостным ветром какие-то неведомые враги, сметают с лица земли и Чевенгур, и ревностных его строителей, а «прочих», что чаяли обрести здесь спасение и лучшую жизнь, разносит по безымянным пространствам, как сухие осенние листья.

Утопия разметана снаружи, но еще раньше подтачивается она и рушится изнутри, в сердцах самих ее приверженцев и строителей. «Какой же это коммунизм? — окончательно усомнился Копёнкин и вышел на двор, покрытый сырой ночью. — От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копёнкин, отсюда — вдаль». Мучаются герои «Чевенгура» сомнением и стыдом, словно совершили они какое-то предательство, забыли главный свой долг. Странные, щемящие чувства поднимаются в них. Вот бродит по сухим, заброшенным полям Яков Титыч и собирает забвенные остатки прошлых существований, тоскуя, что «все пропадает и расстается в прах», ходит каждый день на кладбище слушать «скудный звук дерева, страдающего от ветра». Уходит из Чевенгура мальчик, «чтоб найти где-нибудь на свете своих родителей». Плачет во сне по умершей Розе «пожилой воин» Степан Копёнкин: «Саша мой, Саша! Что ж ты никогда не сказал мне, что она мучается в могиле и рана ее болит? Чего ж я живу здесь и бросил ее одну в могильное мучение!..» И печально утешает его Саша: «А разве мой отец не мучается в озере на дне и не ждет меня? Я тоже помню». Тоска по умершим родителям, загнанная вглубь души и редко-редко прорывавшаяся в снах или внезапных воспоминаниях, теперь особенно настойчиво и неотвязно стучится в сердце. И как-то стыдно за себя, что живешь тут, обнявшись с товарищами, а они там в земле одни мучаются. Даже интеллигент Сербинов, что вообще бросил свою мать и давно про нее забыл, после горестного всхлипа Копёнкина вдруг «поглядел вдаль, где за тысячу верст была Москва, и там в могильном сиротстве лежала его мать и страдала в земле».

Кстати, роль Симона Сербинова, персонажа, практически обойденного вниманием критики, весьма значительна в романе. И вовсе не случаен внезапный вставной эпизод с ним посреди всех

перипетий строительства чевенгурского коммунизма. Во-первых, этот эпизод вводит иной пространственный срез жизни: из глухого, странного захолустья, реализующего какие-то дикие идеи, действие переносится в большой город, в Москву. И несколько другой тип человека предстает перед нами: там, в Чевенгуре — народ, «душевные бедняки», искатели и преобразователи, темные, тоскливые и страстные, да один полуинтеллигент, Саша Дванов, здесь — уже привычный интеллигент типа Прушевского в «Котловане», но душевная подоснова у него одна, общая с чевенгурцами (а значит и с большинством героев Платонова). Ведь как и все они, Сербинов стремится к сердечному единению с другими людьми, ищет себе друзей, даже ведет особую Тетрадь, реестр знакомых и друзей, встреч и расставаний, окончательных потерь, своего рода душевное кладбище и музей. Но мучительнее, искаженнее в нем отношения с *другими*: страстно ревнует к тем людям, которыми не может завладеть дружески и душевно. В его отношении к Соне сильно желание сломить ее, оставить в чужом непокорном теле свой ощутимый след. Есть тут в нем что-то кондаевское: жажда прочного контакта с людьми, но с извращенными склонениями, где главное — господствовать, владеть безраздельно — конечно, в смягченном виде.

Сербинов изъеден городской, интеллигентской рефлексией: «Он был усталый, несчастный человек, с податливым быстрым сердцем и циническим умом». Он много и обобщенно думает о России, о типе русского человека. Даже излагает собственное резюме всей советско-чевенгурской попытки: работать сосредоточенно, буднично, необходимо-жизненно не хотят и не умеют, а сразу с энтузиазмом взялись за роскошное, за «райский сад», за утоление последних, вечных запросов. А в результате вырос «злак бюрократизма» и тирании. В его размышлениях дана целая платоновская схема развития революционной идеи и ее общественного воплощения, вплоть до того момента, когда «останется лишь оскудевшая и иссушенная бесплодным ветром почва»; лишь тогда — брезжит надежда — может быть, появятся «отдохнувшие садовники» и сумеют «развести снова прохладный сад». Завершается эпизод с Сербиновым сценой на кладбище: «бессмысленная тоска» и беспомощность, страх «перед тысячами могил», желание

«отдать свое горе и свое одиночество в другое, дружелюбное тело» выливаются в любовь на могиле матери. Соня поддается ей из жалости к осиротевшему Симону, а для него в этом есть и некое предательство по отношению к умершей, попытка бегства и забвения: «Он забыл, есть ли на кладбище посторонние люди, или они уже ушли, а Софья Александровна молча отвернулась от него в комья земли, в которых содержался мелкий прах чужих гробов, вынесенный лопатой из глубины. Спустя время Сербинов нашел в своих карманных трущобах маленький длинный портрет худой старушки и спрятал его в размягченной могиле, *чтоб не вспоминать и не мучиться о матери*». В отличие от Дванова и других чевенгурцев, при всей своей неотъемлемой связи с матерью, он больше городской «блудный сын» и даже как бы святотатец, ибо, конечно, в этом эпизоде плотской любви на свежей могиле матери — некая эмблема федоровских «блудных сынов, пирующих на могилах отцов». Но только у Платонова все это пронзительнее и простительнее, ведь изливают семя от тоски и отчаяния, не зная другого «противосмертного» орудия, чтобы продлиться в этом мире. Одним словом, Сербинов — это побочный, тронутый порчей, городской брат Саши Дванова и чевенгурцев. Недаром и остается в Чевенгуре, и погибает в бою вместе с ними.

Не исполнили чевенгурцы своего долга перед умершими, этими *последними угнетенными*, отказались от труда (раз он производит только вещи, разъединяющие людей, то и долой его!), так и не поняв, что труд можно оборотить против самой смерти, на укрощение стихийных сил, на пересоздание себя и мира, укрылись в пассивном ожидании «чуда коммунизма», что разом все очистит, восстановит и преобразит (слепок с пассивно-христианской апокалиптики). Карой за предательство, за пассивность становится финальная катастрофа, нашествие каких-то непонятных врагов. Кто они? «Казаки»? «Кадеты на лошадях»?

Ранят и убивают чевенгурцев, убивают и они своих врагов в развернувшейся жаркой сече. И описывается это как нечто нормальное, без всяких интонаций ужаса, неприятия, отталкивания. Все всё равно умирают: от болезни, случая, старости; убийство — только одна из форм неизбежной смерти, а в бою даже распаленно-неощутимая, со всего пылу-жару, с налету-наскоку, врубившись

в живого врага врукопашную… Чевенгурцы в этой сцене действительно объяты неистовством бранного эроса, не чувствуют боли от ран, не видят льющейся крови. (Недаром вспоминается Сербинов в состоянии любовного возбуждения: «Сербинова уже можно было рубить сейчас топором — он бы не узнал боли» — явная тут параллель.)

Черное воинство смерти творит страшный суд чевенгурскому коммунизму. Стыдясь и горюя («Больше не гляди на меня, мне стыдно быть покойным при тебе»), умирает Копёнкин, «в чувстве стыда перед слабым, забытым телом отца» уходит в озеро Саша Дванов. В финале буквально реализуется песня-пророчество Пашинцева:

Давно пора нам смерть встречать —
Ведь стыдно жить и грустно умирать…
Вперед врага в могиле упокой,
А сверху сам ложись, —

наивно-доморощенная вариация на тему «Все как один умрем в борьбе за это», открывающая в ликующем революционном энтузиазме скрытое влечение к смерти.

Предчувствует Платонов и неизбежные последствия тотальных экспериментов по насильственному преображению мира, основанных на неглубоком анализе причин зла, на утопическом представлении о человеческой природе. Приводят они к крушению веры в человека вообще. А тогда непременно родятся «умные люди», что, преисполнившись необходимого презрения к «дрожащей твари», начинают манипулировать «людишками» и миллионами утрамбовывают их в фундамент устрояемого здания. Как Прокофий, что, учуяв провал чевенгурской утопии, мигом сделал из этого свои, трезвые выводы и заговорил об «организации» «прочих». А от его рассуждений, что «всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому», так и веет логикой незабвенного «отца и учителя». Кстати, тут выговаривается и главное соображение, оправдывающее для Прошки весь его расклад: ведь человеку «так и так все равно страдать». Самые чудовищные махинации и преступления, оказывает-

ся, замешаны на глубочайшем отчаянии в спасении, на неверии в возможность достичь истинного благобытия.

Нашествие врагов закрыло «дорогу в будущие страны света, в исход из Чевенгура». Но этим лишь перечеркнут путь противоестественной утопии. Последним же словом романа становится другая дорога, по которой уходит Прокофий Дванов на поиски умершего Саши, как когда-то в детстве искал он его «за рублик» для Захара Павловича. Только теперь этого бывшего рационалиста и начетчика ведет детское чувство памяти и любви, неуничтожимое смертью. Последний аккорд романа возвращает нас к тому чистому и сокровенному, чему Платонов остался верен до конца.

КОМПРОМИСС СО СЧАСТЬЕМ

В 1930-е годы в творчестве Платонова ощущается явный сдвиг авторского отношения к любви и полу. Уже в повести «Джан» (1935–1936) происходит характерная трансформация типа главного героя. Прежние герои-преобразователи направляли свое действие на мир, на порядок вещей в нем — Назар Чагатаев обращен прежде всего к человеку, к людям, к своему народу. И если у первых, Вогулова или Кирпичникова, выделялся их интеллект, сознание, то здесь — сердце, но сердце умное. Там от женщин бегут, а здесь герой весь в окружении женщин: мать, Вера, Ксения, Айдым, Ханом. Назар в нежном любовном истечении, в телесных касаниях, ласке — тянется к контакту с другой, «таинственной и прекрасной» плотью драгоценного человека. Да и прямой чувственный, половой контакт здесь вовсе не исключается.

Вот Чагатаев едет на родину искать и спасать от вымирания свой маленький народ джан, и через первые же его впечатления от ночной степи в мир Платонова входит приветливо-понимающее отношение к природным тварям, терпеливо исполняющим вечное дело жизни, спешащим размножиться и продлиться. Слушая звуки и шорохи любви, разлитые вокруг, Назар преисполняется сочувствием ко «всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости».

Появляются новые тонкие склонения мысли, касающиеся важнейшей для писателя темы взаимоотношений человека и природы.

«Допустить <…>, что лишь в одном человеке находится истинное воодушевление <…> эта мысль ничтожна и пуста, потому что и в глазах черепахи есть задумчивость, и в терновнике есть благоухание, означающее великое внутреннее достоинство их существования, не нуждающееся в дополнении душой человека. Может быть, им требуется небольшая помощь со стороны Чагатаева, но превосходство, снисхождение или жалость им не нужны». Чувство ответственности человека за все творение («Мы тебя одну не оставим!» — говорит Назар черепахе) лишается своей горделивости, жесткого и поспешного диктата природе человеческих ценностей. Брезжит какой-то другой, значительно более трудный и долгий путь гармонизации и одухотворения мира, самого человека, связанный с любовным вчувствованием, проникновением в интимную жизнь природы, *творящий стан* ее.

Ничего не вышло и выйти не могло из яростных, внешних, технизированно-покоряющих наскоков платоновских героев-преобразователей на природный порядок бытия, даже с самыми прекрасными намерениями вывести существующее в свет преображения. Напротив, замаячил ему возможный застенок и конец в результате лихих научных вторжений в непознанную до конца взаимосвязь и целесообразность мировых законов. Но то было лишь мыслительным, художественным экспериментом, несущим в себе ценность отрицательного, предостерегающего опыта. (Хотя питался он, конечно, стремительно нараставшим историческим опытом такого же свойства, когда под напором реальности рушились прекраснодушные представления и проекты и на их место устраивались торжествующие циничные суррогаты.)

Времена пошли круто, застенок, уже государственный, устанавливался для самих людей, противоестественный социальный порядок все туже сжимал естественные ткани человеческой жизни, травмируя и омертвляя их. Ни о каком онтологическом восхождении уже не было и речи, такие идеалы и задачи вообще не вошли в круг понятий эпохи, а что касается Платонова, то в нем эти идеалы залегли на самое дно *несвоевременных*, непóнятых и непоня́тных, таимых убеждений и чаяний, продолжавших подспудно питать многие образы и мотивы странно-упорного, маргинального, *юродивого* творца. Но главным стало — спасти нормаль-

ный, натуральный уклад жизни против утверждавшегося царства противоестественности, насилия, смерти. Таковой была, как мне кажется, одна из мощных внутренних мотивировок мировоззренческих коррекций Платонова в 1930-е годы.

«Джан» в развитии интересующей нас темы занимает переходное положение рядом с более поздними вещами, такими как «Река Потудань». В повести нет еще единственного, так сказать, моногамного избрания. Назар привязывается к Вере, влюбляется в ее дочь Ксению, ласкает Айдым, плотски соединяется с Ханом, но уходит от нее на поиски своего народа, и когда вновь встречает Ханом среди воссоединившегося племени джан и узнает, что она стала женой старика-слепца Моллы Черкезова, спокойно-радостно, даже с каким-то облегчением принимает такое разрешение ситуации.

Отойдя от раннего максимализма, требовавшего целиком перекачать половую энергию в свет и мощь сознания, писатель попрежнему предназначает любви более широкую, разлитую форму: в любовном чувстве Назара находится место и женщине, и мужчине, и всякому живому существу — от черепахи, верблюда, осла до мелкой копошащейся, стойко выдерживающей свое существование твари, и «темной ветхости измученного праха» земли, хранящего в себе неисчислимые бывшие жизни. Какое-то исключительное прилепление к одной женщине было бы некоторым предательством по отношению ко всем ним. И если неукротимое жадное плотское начало, стремящееся только к обладанию и наслаждению, как у уполномоченного райисполкома Нур-Мухаммеда, — принадлежность низшего, хищного, животного типа в повести, то Назар — носитель какой-то совсем иной, высшей эротики: не жгуче-точечной, жесткой, а трансформированной, пронизывающей весь его организм и расширенно выплескивающейся в мир.

Подобно Саше Дванову, Чагатаев относится к другим не просто с симпатией, а горячо, страстно, эротически. С равным жаром он целует и Веру, и Ханом, и дряхлого Моллу Черкезова: «Чагатаев приблизился к старику и *поцеловал его, как раньше целовал Веру, крепко и неутомимо.* Странно, что уста старика имели тот же человеческий вкус, как губы далекой молодой женщины». Что за странность, что за извращение! — возможна и такая «нормальная», по-

дозрительная реакция. А ведь именно в таких юродивых деталях и пробивается то самое заветное великое безумие его «идеи жизни»: равноценность всякой личности, надежда на восстановление в каждой, и живущей, и ушедшей, сияющего лика совершенства; но для этого надо для начала провидеть этот лик в любой, самой ветхой и ничтожной его нынешней оболочке, полюбить его так страстно и сосредоточенно, как это умеют сокровенные платоновские герои.

Единственный описанный в повести собственно любовный, половой контакт обретает новые, по сравнению с аналогичными сценами в «Чевенгуре», смысловые звучания. В сцене с туркменкой Ханом в задней комнате хивинской чайханы Назара влечет к ней, вливает в него страстный пыл предвосхищающее видение зачатия новой жизни, вечная мистерия этого акта: «Блаженство будущей жизни, еще не рожденной, безымянной, но уже зачинающейся в нем, прошло в сердце Чагатаева живым, счастливым ощущением».

Юношеская вера Платонова в быстрый созидательный апокалипсис, в то, что еще его поколение успеет и сможет перестроить сам онтологический фундамент мира, выйти в новый бессмертный и творческий эон бытия, иначе говоря, попытка штурма небес, провалилась. Единственная надежда — твои потомки окажутся сильнее, мудрее, в «разум истины» придут, для повторения такой попытки. Любовь и деторождение остаются натуральным залогом такой надежды.

Поскольку мы сталкиваемся здесь с трансформированным эсхатологическим сознанием, то любопытно, что схема его развития совпадает с эволюцией христианского отношения к полу и браку. Вначале, когда первохристиане были объяты ожиданием немедленного второго пришествия и преображения мира, торжествовал идеал абсолютного целомудрия. Апостол Павел с его обостренным сознанием чрезвычайной близости «последних сроков» не видит никакого смысла в рождении детей: «время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не *имеющие* <…> и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 29–30). Но вот эти «сроки», чаемое торжество повоскресного Царствия Божьего, «где ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22, 30), стали уда-

ляться в неисповедимую даль времен — и является настоятельная необходимость не просто признать брак и деторождение в обороте жизни, но и заняться их религиозной регламентацией, пойти на компромисс с природной жизнью.

Завершающая «Джан» идиллическая картинка — Назар и Ксеня над спящей девочкой Айдым: «Чагатаев взял руку Ксени в свою руку и почувствовал дальнее поспешное биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека». От глобалий, провалившихся, искаженных до неузнаваемости в реальности, к малому, но истинному и достоверному: к другому человеку, ткать живые островки солидарности и любви — вот тот несомненный минимум, на который встал писатель. Такие его рассказы, как «Юшка», «Фро», «Афродита», наконец, его шедевр «Река Потудань», обнаруживают это в полной мере.

Никита Фирсов, герой рассказа «Река Потудань» (1936) — человек совсем скромный, ни ученый, ни преобразователь, ни подвижник, спасатель своего народа, а бывший рядовой воин гражданской войны, рабочий-плотник — платоновский «душевный бедняк». Он вступает в повествование с постоянным для писателя мотивом любви к умершей матери, со все теми же неизменными сосредоточениями на «запахе материнского подола» или таком святом родовом месте, как родительская кровать, где поколениями зачинают новую жизнь, рождаются и умирают. Любопытно описаны отношения героя с отцом, их сдержанно выражаемые чувства («старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему»), скупые знаки внимания, даже некоторая ревность отца к сыну (вот бы ему самому жениться на такой прелестной девушке, как Люба, — в свое время подобные, но невысказанные планы были у него в отношении ее матери).

Чувство Никиты к Любе напоено бережной душевностью: как бы не причинить ей боли, не оскорбить чем-то. Ему достаточно ходить к ней, быть рядом, трогать осторожными, нежными касаниями, чтобы «получать питание для наслаждения сердца». Большего ему не надо. И Люба, когда он мечется в тифозном жару и ознобе, согревает его своим голым телом, дав «ощутить чужую, высшую, лучшую жизнь и позабыть свое мучение, свое продрогшее пустое

тело» и тем вытащив его из ничейной равнодушной полосы между жизнью и смертью. От девушки исходит свет мягкой доброты, в чертах ее лица Платонов выделяет самое духовное: «чистые глаза, наполненные тайной душой». В случае с Любой невозможен, скажем, такой акцент, как при описании облика Ксени из «Джан»: «Лишь рот портил Ксеню — он уже разрастался, губы полнели, словно постоянно жаждали пить, и было похоже, что *сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение*». (Трудно удержаться и не отметить, насколько сгущенно-аналитичен слог и склад платоновской речи, как вроде бы походя он умеет внушить — через образ и сравнение — свою мысль о жадной и властной силе эроса, рвущейся завладеть самым чистым и драгоценным в человеке.) В Ксене чувствовалось обычное для юности накаливание обоих полюсов человеческой природы: природно-эротического и духовного. И второе в ней стыдится первого, изгоняет его («ей совестно иногда быть живой и грустно чувствовать себя женщиной, желать счастья и удовольствия», «жизнь от наслаждения кажется позором»). Ее жгучее целомудрие, может быть, потому так прекрасно и лучезарно, что стоит на обузданном цветущем избытке природных сил.

Вот такого играющего избытка вообще не чувствуется в любящих героях «Реки Потудань». Их отношения идут на высотах пронзительной душевности двух смертных. Когда Никита впервые увидел выросшую Любу, вернувшись в родной городок с войны, она была «в кисейном бледном платье», доходившем ей только до колен, и «это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — *он видел такие платья на женщинах в гробах…*». «Сжалился» — с этого сердечного сжатия начинается его чувство к милой смертной девушке, да еще в эпоху усиленной смертности (вот и ее подругу Женю уносит тиф; представив ее в предсмертной болезни, Никита ощутил, что «он тоже мог бы ее искренне полюбить»), вокруг такая страдающая, бренная, дышащая на ладан жизнь, как тут не прижаться друг к другу, пытаясь загородить от постоянной опасности, от мучения дорогое существо.

Решив претерпевать жизнь совместно, рядом, чтобы каждый «не мучался», Никита с Любой послушно вступили в извечный круг ухаживания, жениховства, «терпеливо дружили вдвоем по-

чти всю долгую зиму» до весны, когда и вся природа начинает готовиться к брачной поре, а потом зачинать и рожать те «существа, которые никогда не жили». Но как тонко и исподволь ведет Платонов свою мысль, доносит ее обертоном до тех, кто может услышать: шагает Никита к Любе по весне исполнить этот извечный природный жребий, готов и он включиться на правах одной из малых живых частичек в общую круговерть рождений и смертей, в чреду смены и забвения — и что же, какие слова выбирает здесь писатель: «Никита даже не спешил идти к Любе, ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой *беспамятной* земле, *забывшей своих умерших* и не знающей, что она родит в тепле нового лета». Идет в творчестве Платонова компромисс с требованиями обычной, обновляющей себя на проверенных природных путях жизни — но как это безнадежно тихо и грустно!

Возникает и совершенно до того чуждое писателю слово «счастье». Вот и «Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним». Юная жена кажется ему высшим и драгоценным существом, он благоговеет перед прекрасно-таинственной жизнью, происходящей в ее нераздельных душе и теле, способен лишь робко обнимать ее, «боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле». «Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде». Слишком любит и боготворит для сосредоточенно-точечного, эффективного мужского поведения. Конфликт между его разлитой и нежно-претворенной формой любви и требованиями природного эроса, единственно обеспечивающего детей (по меньшей мере), столь желанных обоим, приводит к «стыду, тоске», помыслам утопиться, к странному навязчивому занятию: лепке из глины всякой причудливости, своего рода выходу в творчество, в котором он выражает, облегчая себя («нечаянно, блаженно улыбаясь»), нечто для себя бессознательное. Так он вылепил гору «с выросшей на ней головой животного» (явно гигантски-фаллический символ) или «корневище дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, *грызущий и мучающий сам себя,* что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать» — что это, как не образ иррационального корня при-

роды человека, образ самого подсознательного Никиты, в котором он не просто не отдает отчета, но и боится этого: забыть, бежать, не вдумываться («хотелось спать»). Но ночные, таящиеся слезы Любы переворачивают ему сердце, разрушают установившуюся было иллюзию взаимного довольства лишь обоюдным согреванием «близ любящего человека». И тогда Никита не выдерживает и в отчаянии уходит из дома, сам не зная куда.

Его страдание так невыносимо и не утолимо ничем, что остается единственный выход, нечто вроде тихого помешательства, полного отключения от себя, от человеческого: перестал говорить (приняли за немого), «думать, вспоминать», чувствовать. Убирает на рынке, чистит отхожие места, спит в пустом ящике под открытым небом, ест помои. Род какой-то невольной, бессознательной аскезы, умерщвления себя: «…он будет только находиться здесь и существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии». Вырывает его из этого состояния неожиданная встреча с отцом, рассказ его о Любе, о ее горе после исчезновения мужа, попытке утопиться. Вот тут-то он буквально бежит к ней, в свой дом и в первом же объятьи «пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и *жестокая, жалкая сила* пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем теле и делится своей кровью с *бедным, но необходимым наслаждением*». Чтобы обрести эту «норму», и нужен был своего рода отрицательный аскетический подвиг предельного базарного уничижения и прозябания Никиты, направленный не на восхождение духовного и душевного в человеке, как обычно в подвижничестве, а напротив, на их умаление и почти изничтожение (ведь именно их переизбыток в любви к Любе и помешал тому, на что способен любой обыкновенный мужчина). Без этой крайней фазы могла и не состояться необходимая физиолого-психическая трансформация в герое, установление в нем нового баланса сил. В *счастливом* финале рассказа (Никита говорит жене: «Я уже привык быть счастливым с тобой») герой сумел как бы ниспасть из его любви-агапэ (любви-жалости, любви душевной, со своей разлитой по всему существу и излучающейся на другого эротикой, может быть, и высшей, но еще бесперспективной, как бы прежде-

временной) — в любовь собственно половую, «бедную, но необходимую» человеку и человечеству.

В 1930-е годы был написан рассказ «Юшка», где герой — такой же «душевный бедняк», как Никита, с таким же редким даром любви-агапэ, обращенной ко всем людям и тварям, любви истинно святой, как у какого-нибудь Франциска Ассизского, который умел любовно беседовать с птичками и проповедовать волкам. Юшка — тип настоящего юродивого: все оскорбляют, бьют, поносят его, слабого, чахоточного, а он, убогий и безответный, видит в непрерывных издевательствах извращенную форму любви к себе («Отчего я вам всем нужен?»).

Единственного не вынес безропотно Юшка, «осерчал впервые», за что и получил смертельный удар от прохожего: никчемно и ненужно существование его, «юрода негодного», на земле! Дело даже не в нем лично, было оскорблено его принципиальное чувство и убеждение: каждое существо уникально и «по надобности» равно другому. За него он фактически и умер. И только после смерти оказалось, что не ошибался Юшка — еще как был нужен людям: сердце отвести от накипевшего озлобления и ярости, от ожесточения жизнью, нужен как незаметный труженик и праведник, плоды жизни которого объявляются не сразу. Оказывается, «больше всего на свете» Юшка любил одну сиротку, вырастил, отказывая себе во всем, выучил в Москве, и она молодым врачом приехала в этот городок, не зная еще о смерти Юшки, спасти от болезни того, «кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца», осталась здесь навсегда, распространив на всех это сердечное тепло и свет, зажженные ее приемным отцом, — «лечить и утешать бедных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших». Вот эта идея малых благих дел, прироста любви и добра, идущих от человека к человеку, все больше утверждается в позднем творчестве Платонова, вытеснив планы и действия глобального масштаба, в любом их освещении, философско-лирическом или гротескном.

В рассказе «Афродита» (1944–1945) мне видится своего рода сжатый идейно-публицистический конспект поисков писателя, резюме его веры, кризисов, прозрений и надежд. Отсюда, правда, и некоторая риторичность и рассудочность рассказа. Это, воистину, некая среднеарифметическая, стяженная парадигма основных платоновских тем: тут и юношеское открытие мира «как всеобще-

го свидания всего существующего, чтобы успеть полюбить живущих и затем снова разлучиться с ними», и невозможность принять вечность такой разлуки, и вера в революцию как грандиозную попытку «понять, высказать и одолеть» это «великое немое горе вселенной», «как всемирный подвиг человечества», и приложение этой страсти преображать мир к конкретным делам, и вторжение иррациональных сил и начал, обнаруживших утопичность надежды на скорейшее наступление «эпохи кроткой радости, мира, братства и блаженства, которая постепенно распространится по всей земле», и война, и все же — сохранность самых заветных чаяний… Это и обнаружившаяся в творчестве Платонова 1930-х годов идея личного счастья, пытающегося плодотворно встроиться в «работу и служение идее». Встретившаяся Назару в кафе молодая, «ясная на лицо» женщина «с дремучими, с дикою силою растущими волосами» (традиционный символ эротической мощи), разливавшая пиво (из пивной пены явилась герою, отсюда и шутливое ей имя — Афродита), настолько прельщает героя, что «чувство его не стало считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, *уводя человека к его счастью*». И любовь, действительно, дала ему «душевный покой», обезопасила от «смутных страстей, увлекавших его в темную сторону чувственного мира». Казалось бы, гармония между любовью и служением идее (двумя вещами, разведенными в раннем творчестве Платонова) достигнута. Удалась за счет одухотворения чувства, изъявшего из себя жало «яростного и изможданощего» эроса. Скромным делам мелиоратора, техника-строителя, возведению электростанций Назар Фомин предается со страстью и самоотдачей, усматривая в них «в малом виде» шаг к «осуществлению надежд на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы». Но серьезные, принципиальные испытания потрясают эту гармонию: электростанцию через несколько дней после ее радостного открытия подожгли, а любимая жена ушла к другому. «Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути; в своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электротанция». Обнаружилась необозримая огромность мира, сложность природы вещей, та мощь темных и смутных сил и начал

в самой противоречивой, промежуточной природе человека, которая опрокинула простенькие схемы и поспешный оптимизм.

Вновь обретя Афродиту и потеряв ее опять уже в войну (где-то исчезла без следа), воин Назар, тоскуя по ней и взывая «к природе, к небу, к звездам и горизонту и к мертвым предметам» подать ему какой-нибудь тайный знак ее присутствия в мире, обнаруживает ту единственно непоколебимую веру в «общую связь всех живых и мертвых», в отсутствие «бесследного уничтожения», которая и придает спокойную уверенность его «*До свиданья,* Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю *живой и целой!..*».

Итак, с 1930-х годов в творчестве Платонова прослеживается попытка компромисса «идеи жизни» (включавшей в себя прежде всего императив эволюционного восхождения и преображения) со счастьем. *Счастье* — понятие совсем другого рода, стоявшее в центре внимания западного моралистического философствования. Это некий высший идеал довольства человека в границах его земного удела, по мерке наличного естества, в рамках того, что дано природой вещей (на эти пределы и рамки никто не посягает): устроиться в них наиболее гармоничным образом, наиболее полно осуществить свое предназначение. Хотелось бы еще раз подчеркнуть: в мире сталинщины, катастрофической дегуманизации (при обратных лозунгах и уверениях), при господстве *противоестественного* и *противожизненного* важнее всего стало спасение естественного, *нормы,* основного ядрышка жизни, сосредоточение любовной теплоты на островках семьи. На фоне политических репрессий сексуальная репрессия, понятная в другой совсем системе ценностей и целей, была не просто неуместна, а работала бы на общий пафос подавления и гнета.

В одном из самых известных рассказов Платонова «Фро» (1936) этот компромисс со счастьем выражен наиболее отчетливо, ибо в нем действует героиня, видящая смысл своего существования только в любви и близости с дорогим ей человеком, а сам он по своему типу как будто переселился из произведений Платонова 1920-х годов о героях-преобразователях. С первой же фразы рассказа мы узнаем о нем, что он, как какой-нибудь Кирпичников, уехал от любимой «далеко и надолго, почти безвозвратно».

Весь набор *идей* излюбленных ранних персонажей писателя здесь налицо: «Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то — жена его точно не знала». Позднее, при свидании Федор подробнее раскрыл ей «свои мысли и проекты», среди них рядом со смелыми техническими идеями о «передаче силовой энергии без проводов <…> об увеличении прочности всех металлов» мы встретим и самые дерзновенные — о достижении бессмертия и овладении космосом («о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена»). В рассказе «Фро» Платонов повторяет и одну из коллизий «Эфирного тракта». Там Михаил Кирпичников тоже получает телеграмму от жены с предупреждением о ее скорой смерти, если он не вернется; здесь Фрося посылает через отца тоже телеграмму на Дальний Восток о своей якобы уже произошедшей кончине. Только такая крайняя угроза и несчастье способны оторвать наших искателей от их страсти к познанию и делу. Но если Кирпичников, как мы помним, рванувшись к жене через океан, погибает в пути, то Федор благополучно достигает своей Фро, сердцем догадавшись в пути о ее обмане, вызванном невыносимостью терпеть разлуку с любимым. Описание их непрерывного, почти двухнедельного любовного свидания было бы невозможно, скажем, в том же «Эфирном тракте», даже если бы Кирпичникову и удалось добраться до Марии (разве что они вместе окунулись бы в чтение только что расшифрованного «Генерального сочинения» древних аюнитов, где был явлен гибельный финал того изобретения, над которым бился сам Михаил, пропадая в далеких чужих краях). А во «Фро»: «Наговорившись, они обнимались, — они хотели быть *счастливыми немедленно,* теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья». Да, Федор «в страсти воображения шептал Фросе» вроде совсем не те слова, которые произносят влюбленные в таких случаях, он шептал «о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека», но все это сопровождалось тем, что «они целовались, ласкали друг

друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь». Но для Федора — это все же, пусть необходимый и сладкий, но плен. И он вырывается, так сказать, в даль влекущей его *идеи*: за Дальним Востоком маячит уже и Китай. А за ним еще в более дальней дали и окончательное возвращение к жене, после исполненных подвигов. Все же вместе они как-то плохо совмещаются: очевидно, громадность и величие дела Федора требует такой сосредоточенной страсти мысли и поиска, которая забирает себе человека целиком. Но и у вечной, любящей женщины остается ее великая, непревзойденная пока никаким «коммунизмом и наукой» роль: «Она одна знает, как две копейки» преходящего наслаждения «превратить в два рубля» новой жизни. В финале рассказа недаром появляется «маленький гость» — Фро зовет к себе мальчика, играющего во дворе на губной гармони, и любуется им: «этот человек, наверное, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова».

В пределах компромиссного поля позднего платоновского творчества заветные уголки, где «идея жизни» светилась в идеальной, сказочной прозрачности, принадлежала у писателя тем, кого в отличие от взрослых, от «больших — предтеч» он назвал «спасителями вселенной», — детям.

«ПРАВДУ ЗНАЮТ ТОЛЬКО ДЕТИ»

В ранней статье «Душа мира» (1920) Платонов утверждал, что «женщина и мужчина — два лица одного существа — человека; ребенок же является их общей вечной надеждой». Однако при всей безусловности этой мысли развернувшееся творчество Платонова несколько ее уточнило: ребенок в нем выступил как третья, полноправная, «нераздельная и неслиянная» с другими лицами ипостась единого человека. Более того, в позднем творчестве именно эта ипостась человека встала чуть ли не в центре его художественного мира. Фактически начиная с конца 1930-х годов, тот, кто не знал его предыдущего творчества, мог бы принять его чуть ли не за детского писателя. Конечно, уход в мир детства был своего рода *умалением* творческой палитры писателя под чудовищным прессом

его радикального неприятия эпохой, но зато не предательством. Ибо случилось так, что нигде в такой чистоте и насыщенности не явился совершенно естественно (без теней и скрежетов, вносимых взрослыми историческими и идеологическими суррогатами) тот безусловный последний остаток самых заветных верований и чаяний писателя, который устоял под шквалом не столько внешней, сколько его собственной внутренней критики.

Рассказы, где чувствуют и действуют дети, помещают читателя в атмосферу незамутненного лиризма и тонкой философичности. В детских персонажах Платонова, как в неких драгоценных художественных сосудах, хранилось «новое вино» его мировоззрения. Причем этих персонажей нельзя назвать неким конструктом мысли писателя, каким был пролетариат в его ранних статьях. По самой своей природе дети оказались наиболее естественными носителями того основоположного чувства, от которого может отправляться активно-эволюционный выбор человечества.

Христос, как мы знаем, указал на детское чувство и отношение к окружающему как на пример и путь в Царствие Небесное бессмертного, преображенного бытия: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царствии Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 1–3). Федоров утверждал: «Вся нравственность первых трех Евангелий заключается в том, чтобы обратиться в дитя, родиться сыном человеческим»[28]. В ребенке, по словам мыслителя, «не проявилось еще ни вражды, ни похоти», «чист человек и мир только в его источнике, в его детстве»[29]. Уподобиться дитя значит следовать не природе, а «беспорочной природе». Все представления о первоначальной чистоте человечества, мифы о «стране блаженных», «золотом веке», рае, возможно, рождаются психологически из оценки задним числом детского состояния и детского мироощущения. Тут — объективация, вывод в первоначальный период человеческого бытия того краткого периода, который переживается в детстве. Но почему первое детство так чисто и прекрасно? Возможный ответ: вначале, в самом младенчестве дитя не знает, что оно смертно, не знает смертности вообще и потому как бы изъято из области переживания зла. Детство — все

родные, все добрые и вечные, на пушистой головке ребенка еще лежит отблеск райского света. И когда ребенок сталкивается со смертью, он реагирует полным ее неприятием и вообще не может поверить в такое: *так не должно быть*. Чувством ребенок не приемлет (конечно, вовсе не формулируя этого) основной способ природного самоосуществления: смерть отдельного индивида; для ребенка этот индивид не далек и не абстрактен: это мать, отец, брат, весь мир, в котором все тети и дяди (а ведь это имена родных). Дитя — естественный носитель только родственных отношений, расширяемых и на весь живой мир.

Дети у Платонова трепетно дрожат за жизнь близких, мамы прежде всего; они готовы, так же как мальчик Вася из рассказа «Корова» (1941), махать вслед всем проходящим и проезжающим людям со страстным призывом: «Не умирай!». И как маленький Егор из «Железной старухи» (1941), они любят как родных каждую былинку и цветок, жучка и бабочку. Юшка из одноименного рассказа сохранил в неприкосновенности детское чувство; у него переживание сиротства распространено на всякую тварь: он сирота не только потому, что у него умерли родители, он буквально каждую минуту *сиротеет* все больше и больше от любой гибели в природе, будь то букашка или козявка, падающие бездыханными на землю. «Жук сначала полетал, а потом сел на землю и пошел пешим. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, и если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут, один только Егор будет помнить этого неизвестного жука» («Железная старуха»). Те задатки индивидуального лица, которые есть во всех тварях природы (о чем, кстати, писал тонкий ее наблюдатель и философ Михаил Пришвин), платоновские дети — в своем родственном чувстве, своеобразном щедром предвосхищении — поднимают до уровня личности, уникального «я»: корову или жука, цветок или лопух… Нисколько не мудря и не рассуждая, а чувствуя и любя, дети — в своем добром сказочном пространстве — становятся провозвестниками личности как высшей ценности бытия.

В ребенке как бы оживают более ранние стадии человеческого взгляда на мир. Это и анимизм, одушевление всех существ и ве-

щей мира (с ним мы сталкиваемся особенно живописно в рассказе «Никита», 1945), и то, что Федоров называл мифологической «патрофикацией» неба, заселением его душами умерших близких (тот же пятилетний Никита считает, что его умерший дедушка живет на солнце и зовет его оттуда: «Дедушка, иди опять к нам жить!»), и первобытный магизм, когда человек вставал против мира как *власть имеющий*, заклинатель и повелитель его сил, стихий и духов. «Мне тебя не надо, я тебя убью» — бросает Егор вызов «железной старухе», правда, еще во сне, но он готов и после пробуждения расти и накапливать силы и умения, и волю, чтобы когда-нибудь победоносно сразиться с этим сказочным воплощением сил смерти и неумолимой судьбы.

Сам способ детского общения с миром словно возвращает на время человечеству те возможности, которые оно потеряло, выбрав путь дистанционного, орудийного отношения к окружающему. Дети в какой-то мере преодолевают нынешнюю субъектно-объектную пропасть, умеют значительно больше взрослых восчувствовать существование вещей и тварей изнутри, войти в предмет, слиться с ним, как бы стать им самим. Этим же качеством Платонов наделяет и некоторых своих избранных взрослых героев, таких как Саша Дванов, не оставивших эту замечательную способность за порогом детства.

Но какое отношение имеет ребенок к эросу и полу, кстати, так же как и старик, которых писатель так часто сводит вместе? Ребенок, по большому счету, еще *до-половое*, а старик — *после-половое* существо, один не вступил еще по-настоящему в природную игру, ее жгучую половую фазу, с ее возбуждением и как бы опьянением, коими природа напояет возраст полового цветения; другой давно вышел из этой фазы, осталось лишь испытать неустранимый финал: болезни, разрушение, угасание, смерть. Старик, говорят, что малое дитя. Один только пришел из ниоткуда, второй уже скоро там будет; исходит от обоих какое-то свечение нездешности. Если взрослые, заботясь о детях и забывая своих родителей, движимы в этом природным инстинктом, то ребенок, пока весь обернутый назад, к матери, к отцу, дедам, живым и мертвым, — естественно, само собой как бы антиприроден (в смысле обратного вектора: ведь природа, как принцип бытия, стремит только *вперед*, в не-

обратимость времени, в вечность смены индивидуальных особей). Старику, кстати, в чем-то понятней этот детский взгляд *назад*, *к старшим*: ему становятся ближе ушедшие из жизни, а не остающиеся в ней. И к тому же он сам кровно *заинтересован* в такой детской установке: он вот-вот будет там, сзади стремительно мчащейся жизни, неужели все смотрят и будут смотреть только вперед, и он беспамятно канет.

Как прелестно мелодична и вместе точна и прозрачна мысль мастера в миниатюре «Цветок на земле» (1945)! Непритязательной повествовательной линией прочеркивается в ней вдруг целая стройная теорема заветной идеи писателя, раскрываемая в выверенной, железной последовательности образных аргументов. Два персонажа: маленький Афоня и старый-престарый дедушка, что уже почти с печи не слазит. Скучно малышу, отец на войне, мать целыми днями на ферме, жить ему хочется, двигаться, мир постигать, да деда своего никак не подымет; изредка откроет тот равнодушные глаза: всё уже на земле повидали, ничто не интересно! — пожует и опять спать под размеренное тиканье часиков-ходиков. И вот мальчик догадывается остановить эти часики, что так равнодушно и неуклонно отсчитывают бегущее неумолимое время, в котором уже такой малый дедушкин остаточек, — и в наступившей тишине, освобожденной от этого сладко-безнадежного убаюкивания, дед вдруг просыпается, выходит из своего забытья, что так незаметно готовило его к переходу в последний и уже беспробудный покой. «— Ты опомнился? — спросил Афоня. — Опомнился, — ответил дед. — Пойдем сейчас белый свет пытать».

Можно выйти и полюбоваться красотой и многообразием летней, цветущей земли, можно задуматься и над притчами смыслов явленных вещей и существ мира, но, наверное, деду это уже расточительно, *некогда*, и он приковывает внимание внука к самой-самой главной *притче*: «Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал этот цветок». Да чего же тут такого главного — не успеет удивиться читатель вместе с маленьким Афоней, как мудрый дедушка разъяснит: «А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из мертвого праха. Стало быть, он *мертвую* сыпучую

землю обращает в живое тело и пахнет от него самого чистым духом. <…> Цветок этот — самый святой труженик, он *из смерти работает жизнь*». И продолжает, в ответ на вопрос Афони, а делает ли такое же главное дело и трава и рожь: «Одинаково <…> И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем». Сколько лет вникал он, крестьянин, в великую космическую параболу зерна, посеянного, *умершего* и выросшего, *воскресшего* новым, преображенным колосом, да что там вникал, *делал* ее своими руками! Мудрый дед, еще бы! Но наше дитя каково! Послушайте: «Он сам, как цветок, тоже *захотел* теперь *делать из смерти жизнь* <…> Теперь я сам знаю про все! — сказал Афоня. — Иди домой, дедушка, ты опять, должно, спать захотел: у тебя глаза белые. Ты спи, а когда умрешь, ты не бойся, *я узнаю у цветов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха*». Подсказка деда — и какой гигантский скачок воскресительного чувства, мысли и, главное, — воли и решимости ребенка!

Недаром, видно, было сказано: «будьте, как дети», а не, скажем, как старцы, хотя патриархи, держатели опыта и знания, всегда были так почтенны. Но мудрость их, природная «мудрость мудрецов», как и книжников разумных, «совопросников века сего» (1 Кор. 1, 20), может оказаться безумием перед Богом, перед иным, должным порядком бытия.

Вернемся к сравнению ребенка и старика как до-полового и после-полового существа: еще не впившееся жало природной похоти и уже отпавшее, но оставившее яд разложения, — два глубоко разных состояния. Старик — отработанное, никчемное *дитя*, парализованное физической слабостью, тоской неизбежного конца (правда, последнего в случае с Титом нет). Самое безумное светлое чаяние (как у Афони), решимость сразиться с чудищами тьмы и разрушения (как у Егора) — вот детство и сказки, в которых выразилось детство человечества; бессилие, грустная или усталая покорность, «мудрое» приятие судьбы — вот старость. Да и в последней фразе рассказа: «А потом дедушка спрятал гребешок за пазуху и *опять заснул*». Заснул и утешенный внуком, и уличенный: говорил он, старый Тит, что все на свете знает, а вот как, какой силой и способом умеют цветы и злаки из мертвого жизнь делать — ответить не сумел. «Правда твоя, — согласился дед. —

Они молча живут, *надо у них допытаться*, — сказал Афоня». За этим мудро-детским «допытаться», «допытаться» у самой природы тайн ее *творящего стана*, научиться у растений их чудесной способности строить свои ткани, не пожирая чужой жизни, из элементарных неорганических веществ среды и солнечного света (то есть автотрофности, по определению Вернадского) — за этим стоит установка, отличная от того рационалистического, машинного, городско-ургийного варианта покорения и преображения естества, который торжествовал в творчестве раннего Платонова. Не случайно и все детские персонажи его поздних рассказов — из деревни, дети земледельцев и хлеборобов. Вспомним, что Федоров писал о будущем «сельском знании», «небесно-земледельческой культуре», которая отказывается от крайностей технической, *протезной* цивилизации и переходит к *органическому* типу прогресса, творчеству самой жизни, к сознательно направленному «тканетворению», «органосозиданию» по типу растительного организма: «…земледелие, управляя метеорическими процессами земли, будет все глубже входить в жизнь растительную, усвоять себе растительные процессы, пользоваться созидающею силою живого организма, чтобы самому себе фабриковать всю свою телесную оболочку со всеми органами, кои делали бы ненужным искусственные покровы и орудия, т. е. всю мануфактурно-промышленную деятельность»[30]. Именно эта федоровская интуиция звучит в детском прозрении, «устами младенца» Афони.

Итак, христианский критерий «будьте, как дети» оказался наиболее близким Платонову. Скажем, языческая мудрость, снисходя несколько презрительно к прелести неразумного дитяти, никак не смогла бы увидеть в нем образец; ее ценности влекли к идеалу *прекрасного юноши*, в котором природа празднует свой пик, свое торжество. Дети оказываются у Платонова — больше общечеловеки, чем поляризованный, *половой* (т. е. половинный) взрослый, заряженный энергиями избирательного притяжения, но и отталкивания, любви и вражды. В детях же, в отличие от такого дуального эроса, естественно живет любовь другого, родственного типа.

Если вернуться к новозаветному пониманию любви, то в нем

она получает грандиозное вселенское значение. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 8). Яростным эросом, борящейся, совокупляющейся и разделяющейся двоицей отмечены космические представления древних. Не то любовь в Благой вести: возведя ее к Богу («Бог есть любовь»), иному, высшему устроению бытия «по типу Троицы», «нераздельной и неслиянной», питаемой родственной любовью, Христос и апостолы провидели в любви новый тип связи всего со всем, замещающий вытесение и вражду. Такой любви, такой связи еще нет как тотального принципа в бытии, он только — в Боге, в Идеале. Начинает прорастать такая любовь в людях, в человеческом чувстве и особенно чисто именно в детском отношении к миру.

Дитя у Платонова любит и жалеет все и всех, оно простирает руки миру как родному, в котором исчезновение дорогого лица невозможно, и должно быть чудо, отменяющее страшную невозможность. Но дитя способно интуитивно точно предчувствовать и первые подходы к реальному обретению этого чуда. Вспомним, что решил маленький Егор в отношении «железной старухи»: прежде чем сразиться с ней, надо «перестать бояться» этого страшилища людей, «дознаться» до него, то есть, говоря взрослым языком, сбросить с себя гипноз обессиливающего ужаса перед смертным роком, примирения с ним, понять и исследовать механизмы и границы его действия. А замечательное прозрение Афони: «делать из смерти жизнь», учась у самой природы, чутко войдя в ее интимную жизнь, овладев тайнами ее метаморфоз; или творческий вывод Никиты: «Давайте все трудом работать и все живые будут».

«Сокровенный сердца человек» (как и «будьте, как дети») — выражение евангельское. В детях, как и в сокровенных платоновских взрослых, выказывается главная надежда и опора — сердце — óрган и оргáн той чистой, пронзительной способности жалости и высшей любви, которая стонет в человеке за несовершенство, гибель, зло, за ближнего, за тварь и без которой невозможно никакое спасение и восхождение в этом мире.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. его реконструкцию в статье Л. Шубина «Начало сознания. О публицистике Андрея Платонова воронежского периода» // Литературное обозрение. 1981. № 9. С. 100–103.

[2] *Платонов А.П.* О любви // *Платонов А.П.* Сочинения. Т. 2. 1926–1927. Повести, рассказы, сценарии, статьи / Гл. ред. *Н.В. Корниенко*, подгот. текста и коммент. *Е.В. Антоновой, М.В. Богомоловой, Н.И. Дужиной, Н.В. Корниенко, Д.С. Московской, Е.А. Папковой, Е.А. Роженцевой, Л.В. Суматохиной*. Редакторы тома *Н.В. Корниенко, Е.А. Роженцева.* М.: ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2016. С. 433. Далее ссылки на второй том сочинений Платонова даются в скобках после цитаты: римская цифра указывает том, арабская — страницу.

[3] См.: *Вейнингер О.* Пол и характер. СПб., 1908. На немецком языке — появилась в 1903 г. Работа привлекла пристальное внимание Платонова. О ее антиженской направленности было написано много. Вне поля зрения остались такие моменты мысли Вейнингера, которые перекликаются с представлениями раннего Платонова. Так, для духовного восхождения и спасения человечества немецкий мыслитель выдвигает идеал абсолютного целомудрия и прекращения полового рождения. «Все рожденное женщиной должно умереть. Оплодотворение, рождение, смерть стоят в неразрывной связи <…> И самый половой акт, не только психологически, именно как акт, но и с этической и натурфилософской точки зрения, родственен убийству: он отрицает женщину, но также и мужчину» (Указ. соч. С. 295). При этом Вейнингера (почти как Льва Толстого) не пугает физическое вымирание человечества как такового, ибо его будущее он видит в трансцендентном божественном мире: «Совсем не в интересах разума, чтобы человечество существовало вечно <…> Целью является Божество и прекращение человечества в Божестве; целью является чистое разделение между добром и злом, между “чем-то” и “ничем”» (Указ. соч. С. 415).

[4] Книжное обозрение. 1988. № 42–43.

[5] *Платон.* Пир // Платон. Сочинения: В 3 т. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 137–138.

[6] Гностические тексты цитируются по их публикации в приложении к книге М.К. Трофимовой: *Трофимова М.К.* Историко-философские вопросы гностицизма. М.: Наука, 1979.

[7] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. Т. I. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. С. 278.

[8] Там же.

[9] Там же. С. 300.

[10] Там же. С. 276.

[11] Там же.

[12] Там же.

[13] В учении Федорова есть и прямые догадки, как может осуществляться это «рождение» детьми родителей. Просвечивание в себе образов отцов, втисненных в каждого законом наследственности, при одновременном изучении всего

генетического ряда человечества — конкретно, личностно — даст возможность восстановить генетическую структуру каждого через ее запись в потомках. Воскрешение в прогнозирующей интуиции мыслителя идет по наследственно связанным рядам: буквально сын всеми своими сосредоточенными и умноженными любовными энергиями воскрешает своего отца, отец — своего и так до первоотца и первопредка.

[14] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. I. С. 280.

[15] Там же. С. 284.

[16] Там же.

[17] *Соловьев В.С.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 522, 513.

[18] Там же. С. 539.

[19] Впрочем, статья Платонова «Происхождение труда. Тезисы» (Воронежская коммуна. 1921. № 4), где он объясняет возникновение трудовых, творческих актов из вынужденного преодоления того сопротивления природы, которое она стала оказывать все более усложняющимся в процессе эволюции организмам, буквально повторяет рассуждение Умова в этой работе.

[20] Так, Эрик Найман в статье «Андрей Платонов и недопустимость желания» видит существенное противоречие декларируемого мировоззрения писателя, его веры в преображение мира и воскрешение мертвых, которое звучит у него время от времени прямым текстом, и скрытого в языке и образах подсознательного влечения к прекращению существования, к свертыванию в материнскую матку, в «райское состояние зародыша». См.: *Naiman E.* Andrej Platonov and inadmissibility of desire // Russian Literature. 1988. Vol. XXIII. P. 319–366.

[21] *Коллонтай А.* Проституция и меры борьбы с ней. М.: Гос. изд-во, 1921. С. 18.

[22] *Соловьев В.С.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 547.

[23] *Коллонтай А.* Дорогу крылатому Эросу // Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 122.

[24] Там же. С. 123.

[25] См.: *Арватов Б.* Гражданка Ахматова и товарищ Коллонтай // Молодая гвардия. 1923. № 4–5. С. 149.

[26] См., в частности: *Залкинд А.Б.* Половая жизнь и современная молодежь // Молодая гвардия. 1923. № 6; *Беркович А.Д.* Вопросы половой жизни при свете социальной гигиены // Молодая гвардия. 1923. № 5; *Ярославский Е.* Мораль и быт пролетариата в переходный период // Молодая гвардия. 1926. № 5.

[27] См.: Russian Literature. 1981. IX. № 3, с приложением статьи Т. Лангерака «Андрей Платонов в переломном периоде творчества (заметки об “Антисексусе”)».

[28] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. Т. I. С. 81.

[29] Там же. С. 82.

[30] Там же. С. 265.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ И ПОДТЕКСТ «ЧЕВЕНГУРА»

В статье «Апокалиптика и социализм» С.Н. Булгаков показал, как в европейской истории иудейский хилиазм (представлявший чаемое тысячелетнее царство праведников как новый земной эдем во всем его материально-чувственном великолепии) не раз сплетался с революционно-коммунистическими идеями — это происходило и в народных движениях эпохи Реформации, крестьянских войн (цвикаусские пророки, Томас Мюнцер), и в английской революции[1]. Кстати, в идейном лоне Великой французской революции среди ее будущих социально-политических порождений также шевелилось дитя веры в возможность рая на земле. Наконец, и собственно коммунистическая доктрина в ее предполагаемо *научной*, Марксовой разработке с определенной точки зрения явила собой секуляризованную форму все того же хилиазма, травестировав основные *измерения* его веры: это и выход из истории в за-историю, преодолевающую противоречия и трагедию первой (грядущее царство Мессии); и избранная лишь часть рода людского, стоящая во главе этого движения и пожинающая в конце концов его плоды (здесь это пролетариат, там — единственный *народ Божий*); и неизбежное столкновение станов *верных* и *неверных*, получившее облик беспощадной классовой борьбы… Да, содержание коммунистического учения предельно материалистично и безбожно, но и в него проникла своя *религиозная душа* — причем еще из одного источника, берущего свое начало из веры Нового времени в самоопорного земного Человека, в идеологию секулярного Прогресса. Основы этой веры были положены в гуманизме эпохи Возрождения и философски ясно отчеканены Людвигом Фейербахом в его *антропотеизме* (возведение *антропологии* до *теологии*), по-русски говоря, в его *человекобожии*, которое тот же Булгаков убедительно полагал «общефилософским фундаментом

марксизма», усматривая в нем «религиозную распаленность», «религиозный, хотя и атеистический энтузиазм»[2].

Дело не в том, читал ли Андрей Платонов Фейербаха или нет — есть своя внутренняя логика гуманистического человекобожия. Возьмем, к примеру, лишь один сокровенный пункт немецкого философа: любовь, почитание, возносившиеся горé, к якобы иллюзорному Богу (в которого человек поместил свою собственную предельную мечту и высшие качества), должны быть направлены по настоящему, достойному адресу — на своего ближнего. Иначе говоря, трансцендентная вертикаль любви к Творцу и Спасителю, «похищавшая» человеческое чувство ради пустого предмета, укладывается в имманентную горизонталь, притом что ток и напряжение чувства предполагаются не меньшей, а то и большей интенсивности. «Человек человеку — бог» — формулировал немецкий пророк человекобожия, экзальтируя в человеке его самое драгоценное сокровище, его внутреннего бога — *сердце* и *чувство*. (Кстати, только в единстве рода людского каждый его член, по Фейербаху, преодолевает свою ограниченность и слабость.)

Вспомним, какой коммунизм учреждают чевенгурцы: душевный, сердечный, товарищески-любовный, трепетно прилепляющий их друг к другу, где «главной профессией сделали душу»[3]. «Коммунизм же обоюдное чувство масс…» — чеканит свое *нутряное* кредо Чепурный, глава чевенгурских большевиков. Мы знаем, в какие экспрессивные гротески стягивает писатель картины «тайно-братственных» отношений его героев, их взаимной тяги, растроганных чувств, какой-то вполне *религиозной* любви, выражающейся в служении товарищам, почитании их как высшей ценности. В обожании «однородного товарища» видится чуть ли не единственное содержание и смысл жизни в коммунизме. Тут, воистину, «товарищ товарищу бог», но это лишь в идеальной интенции отношения друг к другу, а так — какой каждый из них в себе бог? Все мучаются слабостью своего ума, жалким устройством тела, душевной тоской, чувством вины и стыда… — никакой прометеистской гордости, человекобожеского титанизма!

Вступает, хоть и попранный в революционное время, христианский душевный подтекст, натурально живущий в народном человеке Платонова: острое ощущение какого-то недолжного,

падшего состояния мира, в котором неумолимо действуют энтропийные силы, стоит тоска и скука бытия, подчиненного временности и смерти («И земля, и небо были до утомления несчастны…», «тоска природы-сироты», «Ночь — мутная и скучная…»). То же касается в первую очередь самоощущения самого человека, обреченного нужде, болезни, губительному случаю, тщете и бессмыслице смертного существования. Именно об этом взращенном христианской верой в народной душе «точно шестом чувстве тонких ощущений», о «неизъяснимых в ней движениях, беспричинных и бесконечных»[4], писал Василий Розанов. В переживаниях своей смутной глуби, душевных мучений, загвоздок ума, в тайных сомнениях и мучениях совести, в той на деле сложной и тонкой мысли о человеке и мире, которая выражает себя в неграмматических гроздьях неожиданных, каких-то новорожденных слов, многие платоновские персонажи оправдывают и эту мысль Розанова, и еще одно его острое замечание. Высказал он его в связи с поэзией Алексея Кольцова, конкретно с его *думами*, где увидел «высокоценное выражение тех неясных и действительных дум, размышлений, теоретических и религиозных запросов, какие стелются в душе народной и, в некотором смысле, делают народ наш глубочайшим на земле философом»[5].

Для примера можно взять почти любого из героев «Чевенгура» — ну вот Яков Титыч из той нищенской, предельно убогой массы, которую учредители коммунизма, его одиннадцать апостолов (двенадцатый, Саша Дванов, явится в город позднее), обрели в качестве своей классовой базы. На какие тонкие и *религиозно* пронзительные чувства, касающиеся *послегрехопадного*, смертного статуса бытия (как если бы он был святым юродивым), оказывается способен этот старик из «прочих»! Тянет его подбирать всякие жалкие, никому ненужные остатки, обломки, частички того, что некогда было живым существом, а сейчас стерлось до неразличимого сора, размышлять над ними: кто они такие, кто их и когда в их былой целости любил и оберегал, горевать о том, что все в этом мире «пропадает и расстается в прах», и приходить при этом к радикальной метафизической оценке: «Это ж мука, а не жизнь». И Саша Дванов зачем-то обращал сугубое внимание на всяческие «мертвые вещи» («вроде опорок, деревянных ящиков из-под дег-

тя, воробьев-покойников и еще кое-что»), «выражал сожаление их гибели и забвенности и снова возвращал на прежние места, чтобы все было цело в Чевенгуре до лучшего дня искупления в коммунизме». Его ощущение мира как *погибающего* уже озарено активно претворенной *религиозной* идеей *искупления,* восстановления и преображения утраченного (проходя мимо деревенского кладбища, Саша посылает свой сочувственный привет лежащим под крестами, которые напоминают, «что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть»).

У Платонова поразительно отношение его героев к своему телу, даже не отношение, а глубоко интимное его восчувствие как целостного устроения человека (*тело — цело*); оно отражает по сути глубинный *религиозный материализм* христианства, единственной мировой религии, дающей обетование личностного воскресения и спасения в неотъемлемом триединстве духа, души и тела. (Недаром так упорен в романе не раз уже отмечавшийся мотив — желание сохранить как можно дольше тело, уникальный *вид* умершего, более того, возвращать его из могилы, хотя бы на короткую с ним встречу, не душевно-*вспоминательную*, а буквальную: «…через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним».) Сложная жизнь организма с пульсирующим *сердечным* центром, заряженным надеждой «погибшего родителя», динамика внутренних телесных процессов, физиология рождения мысли из интенсивного *вспухания* чувства, след материнской теплоты, через которую *сын* включается в цепь родовой преемственности, солидарности и долга, свертывание человека во сне, в болезни и в смерти в свое последнее, безусловно и единственно ему принадлежащее телесное прибежище — все это рождает в «Чевенгуре» страницы особой поэтической философии тела.

Уже первые философы, дошедшие до нашего знания, утверждали истину, со временем ставшую расхожей и банальной: *жизнь есть сон*, *жизнь есть смерть* — в самоё текстуру нынешней природной жизни неразрывно заткана смертная нить, смертная интенция, смертная энтелехия. Бытие просквaживает небытием, оно всё — в прорехах небытия. (Кстати, у греков бог смерти, архаический доолимпийский Танатос пребывает в Гадесе (Аиде) вместе с Гипносом,

богом сна, как его близкий собрат и соратник.) Сны в «Чевенгуре» недаром прошивают всю его повествовательную ткань; сон — посредник двух миров, здесь, воистину, жизнь встает лицом к лицу к смерти, здесь живые герои (пока еще) оборачиваются сердцем к умершим матерям, отцам, к Розе (в случае с Копёнкиным). Более того, сны становятся местом, где «продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле», человек уходит «в глубину своей жизни», *уносится* к берегам детства и детского чувства, его света и чистоты, где прозреваются самые истинные понимания героев, даже самых замороченных ложными идейными установками.

Именно во сне Александра Дванова, направляющегося в Чевенгур, когда он видит себя ребенком на могиле отца, тот указывает ему высшую цель, какой должна бы одушевляться совокупная преобразовательная деятельность людей, хоть в том же предполагаемо коммунистическом городе: «Не скучай, — сказал отец. — И мне тут, мальчик, скучно лежать, делай что-нибудь в Чевенгуре: зачем же мы будем мертвыми лежать…» Не забудем при этом, что самым частотным определением всего — природы, вещей, живых существ, человека, его ощущения себя и мира являются у Платонова слова «скучный» и «скучно» как своего рода метафизический знак смертного статуса мира, и отец зовет сына вырваться из безнадежно-унылого переживания и приятия этой «всемирной бедной скуки». И Копёнкин видит во сне свою давно умершую мать, отождествляемую им здесь с лежащей в гробу Розой Люксембург, «прекрасной дамой» его революционной мифологии, — обе взяты смертью и перед обеими лежит на нем одна вина и один долг (юродиво выражающиеся в его бесконечном паломничестве к могиле Розы с целью выкопать ее оттуда, совокупными «дружескими силами человечества» вернуть к жизни и привезти в коммунизм).

В революцию и в обещанный ею коммунизм платоновских героев влечет по большому счету вера прервать дурную бесконечность временного земного существования, уносящего их отцов и матерей: «Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть конец истории, конец времени…» И немедленно хочется взметнуться (вдруг и сразу — по детски-сказочному, магическому нетерпению!) в какой-то смутно чаемый, желанный, *другой*, *не этот*, скучный и тоскливый, строй

бытия. Суть этого нового строя в духе прометеистского космизма этого времени[6] выражает тот же Саша Дванов, народный «полуинтеллигент», своего рода «посвященный из народа», используя клюевское выражение, ведающий как бы эзотерическое задание революции. На заседании правления коммуны «Дружба бедняка», объединившей всего-то семь семейств, говоря о текущем моменте, он разворачивает свое максималистское идейное *послание* о «благородном и могучем будущем потомков человечества» «на далеких тайных звездах», грозя всей Вселенной «страшным судом человека над ней», надо понимать, над ее недолжными энтропийными законами. Тут же он рисует схему будущего памятника революции и так объясняет ее: «Лежачая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконечность пространства», естественно полагая высшей целью революции преодоление нынешней человеческой *ограниченности* во времени и пространстве, *локализма*, как выражались в эти годы реальные биокосмисты, подобным же образом утверждавшие себя в *воскрешении*, *бессмертии* и *космосе*.

В главных персонажах романа, тех, что усилились увидеть в революции очистительный, несущий бытийственное преображение катаклизм, выразилась — в особой, юродиво-наивной, превращенной форме — важнейшая ипостась русской души и русской идеи, как ее восчувствовали и определяли религиозные мыслители: ее *апокалиптичность*, устремленность к последним временам и срокам, к «новому небу и новой земле» (как выражался Николай Бердяев, «…русская идея есть эсхатологическая идея Царства Божия»[7]). Там, где найдет утоление самое глубинное: и тоска по умершим родителям, и печалование о всем мире как *пропадающем*, и разъединенность людских пылинок в нем…

Мгновенно ударяет в сердце, прокалывается сожалением и тоской каждая случайная встреча с другим человеком: вот только что промелькнул он или вступил с тобой в недолгое общение, коснулся ты его глазом, рукой, душой, вчувствовался в него, как в себя, и вот всё — проходит тот мимо, уходит вдаль, исчезает навсегда… И внезапно хочется остановиться в жизненном движении, выпасть из своей колеи, пристать к этому собрату по бытию, разделить его чаще всего окраинную, забвенную участь… Да, это постоянный

мотив платоновского мира, и что же за ним? — не подсознательная ли тоска по *вечности*, преодолевшей разъединяющее время и пространство, по такому состоянию мира, когда всё и все одновременно сопребывают со всем и всеми, *сосуществуют* вместе и рядом.

Вспомним, каким особым даром эмпатии наделен с детства Саша Дванов: проникновенно *сочувствует* всякой вещи, существу, человеку, *пропуская* и *вмещая* их в себя. Он умеет буквально *вселиться* в другого: в куст, дерево, паровоз, ночь, случайного прохожего, страдающего товарища… Интересно, что такой глубинный способ восприятия и познания мира в его предметах и созданиях через отождествляющее в них вхождение, практически отсутствующий в нынешних людях, мыслился в раннем христианстве как будущая способность преображенного человека: «В истине (синоним Царствия Божьего. — *С. С.*) не так, как с человеком, который в мире: этот видит солнце, хотя он не солнце, и он видит небо, землю и другие предметы, не будучи всем этим. Но ты увидел нечто в том месте — ты стал им» (Евангелие от Филиппа, 44)[8].

Да, глубины душевности, понимание фундаментального несчастья смертной жизни, солидарность с самыми забитыми, убогими, угнетенными, жажда душевной общности, равенства, неразлучного товарищества, а еще глубже — искупление вины перед ушедшими в смерть родителями, спасение их из могилы, преображение основ *мира сего* — всё, казалось бы, так ценно и прекрасно в этой, говоря словом Розанова, «алгебраической», «трогательной» народной душе. Но Платонов, обнажая метафизический подспуд русского человека, исследует метаморфозы, случившиеся с его душой в революцию, когда, как ошарашенно констатировали многие его певцы, народ-богоносец моментально превратился в нигилиста и богохульника, преступившего основные религиозные заповеди, и особенно неистово одну из главных — «не убий». «По мошонке Исуса Христа, по ребру богородицы и по всему христианскому поколению — пли!» — в этой хулиганской разрядке «угнетенного духа» недавнего крестьянина, а ныне бойца анархистского отряда — живописно-безобразный конденсат, эмблема этого превращения. Хочется поставить несуществующий в орфографии «знак ужаса», как выражался Николай Федоров, и после энергичной готовности Копёнкина, обращенной им к Христу: «Нынче б ты эсером был, а я тебя расходовал».

Увы, драгоценная душевная метафизика платоновских героев скрещивается здесь со слабым умом, сбитым с толку новой беспощадно-классовой доктриной, приводящей к элементарно-дикому выводу: уничтожь весь буржуазный и разный мещански-остаточный класс, оставь одного голого пролетария, и тогда ничему другому, кроме желанного коммунизма, места уже не останется! Та жуткая *фабрикация трупов* из «врагов», которой с такой всегдашней готовностью, временами с энтузиазмом, а то и «с равнодушием мастера, бракующего человечество», предаются как самому святому делу чевенгурцы, обесценивает их душевные порывы, обрекает их на крах. Душевный бедняк, болеющий за нищету и несчастье в мире, идейно-потенциальный воскреситель, готовый учредить в природе собор преображенной твари, включая и ныне *низшую*, он вдруг корежаще-гротескно оборачивается каким-то классово-серийным убийцей, поверив *умным вождям*, что *так надо* для торжества правого дела, равного для простодушных, *темных* народных большевиков исполнению этих самых своих заветных чаяний.

Вместе с тем очевидно, что основные герои платоновского романа ведут свою национальную родословную по преимуществу от одного из русских типов, наиболее метафизически ориентированного: искателей правды, чудаков, юродивых, бегунов, калик перехожих, странников, в среде которых наиболее органично жила как «мучительная, кенотическая жалость»[9] к людям и всему живому, так и народная апокалиптика, взыскание мужицкого рая, Китеж-града, Беловодья, Града Христова… «Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа» — и народные большевики все время так и стремятся стронуться с одного прочного места, двинуться в путь, «в глубь равнины, в далекую сторону». Здесь, перед лицом открытого «успокоительного пространства», вдали от *идейных* дел, *рассеивая* главную свою *тяжесть* — тайный стыд, тревогу и *тоску ответственности* за осуществляемый ими крутой поворот всей жизни, они чувствуют себя «спокойней и умней». Легкие, съемные, просквоженные ветром дорог, они предельно неприхотливы, довольствуются малым и случайным, будь то еда, одежда, ночлег…

Эти герои достаточно четко отделяются от той нормально-*оседлой*, крестьянской, ремесленной, мещанской массы, которая собст-

венно длит бытие нации, являясь ее жизненным ядром: терпеливо и неуклонно свершает свое потомственное дело жизни, создает материальные блага, рожает и выводит в люди своих детей, обволакивает существование уютом, «тою хозяйственной сытой теплотой, в которой произошло зачатье всего русского сельского народа».

Именно с этим большинством населения, вынужденным дрожать, хитрить, справляться с налегшими на его голову гибельными обстоятельствами, выживать под лихим революционным дулом и злым абсурдом новых установлений, сталкиваются на своем пути миссионеры новой жизни, Саша Дванов с примкнувшим Копёнкиным, ищущие тут на сельских равнинах «самозарождение социализма» «среди самодеятельности населения». Население же на деле все это саботирует по-тихому, ждет, что когда-нибудь «минует это нечто роковое», или послушно-безнадежно идет на заклание, на *страшный суд* вооруженных коммунистических богов, как в Чевенгуре. Выделяет эта народная толща и своих смельчаков, не боящихся прямо в лицо новым преобразователям жизни обнажить вредную нелепость их затей: на речь одного из них «народ окаменел от такого здравого смысла», а реакции другого мужика, предполагаемого «бандита», *подсказали* Саше «какую-то тщету и скорбь революции, выше ее молодого ума». Любопытную статистическую выкладку предлагает Дванову кузнец Сотых из Новой Калитвы — таких вот бегунов за непонятной мечтой, прожектеров радужных химер на их слободу в пять тысяч жителей всего-то человек десять, а если распространить шире, то так получится: «Десятая часть народа — либо дураки, либо бродяги, сукины сыны, они сроду не работали — за кем хошь пойдут». И этот же кузнец делает замечательный диагноз и прогноз новой власти и ее людям: «Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете» с предполагаемым продолжением — а потом думаете, потом понимаете, потом учитесь… приложимым и к чевенгурским коммунистам, увы, пока лишь отрицательно.

И такой сельский оседлый народ выдвигает своих замечательных маргиналов (а может быть, авангард, авангард эволюции), вроде встреченного Двановым в слободке Петропавловка «крестьянина со своенравным лицом», назвавшего себя богом: по своей воле оставил он земледелие, ибо научился питаться буквально

почвой. Ему удивляются, даже чтут по-своему, но этот чудак со своей *пищей из глины* и *надеждой* — в *мечте* «был одиноким человеком», залетевшим на страницы романа скорее всего из *зачеловеческих* проектов начала тех же 1920-х годов: «Но совершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, покрывавшей землю, спящую ее душу хлеба и мяса. Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок»[10]. Интересно, что этих будущих людей, вырвавшихся из смертоносной пищевой пирамиды всеобщего пожирания, Хлебников называл как раз «богами спокойной мысли».

Еще один важный тип из народа мелькает в романе: это лесной надзиратель, сидящий над старинными забытыми книгами, из которых он хочет понять истоки и возможное будущее происходящего, уверенный, что всё имеет свои *подобия* в прошлом, и тем самым оградить свою семью от большевистских безумств и бед. На этот раз он читает книгу Николая Арсакова «Второстепенные люди». Второстепенная книга о второстепенных людях — сгущенный образ того подавляющего большинства человечества, что бесследно или почти бесследно исчезает из бытия, и подмешан в этот образ скрытый протест против такого положения вещей, когда остаются в социальной памяти лишь немногие исторически, культурно избранные счастливцы, «высшие люди», как выражается автор. А ведь много свежего, ценного и полезного содержали в своем уме и сердце как раз эти обочинные люди, делающие свою незаметную «медленную пользу»! Так тот же Арсаков в противовес стратегии жаждущих немедленного преобразовательного действия, часто приводящего не к продвижению вперед, а к потере того, что «имели раньше» (сомнительное «ускорение жизни высшими людьми»), учит развивать другой, более спокойный и взвешенный баланс национальных сил и способностей: не рваться действовать, не спешить крушить и переделывать, а развивать предварительное понимание, *созерцание*, «это самообучение из чуждых происшествий», из прошлого опыта, из «обстоятельств природы», внешней и внутренней… Действовать же радикально начинать как можно позднее, но максимально безошибочно. Это, если хотите, зародыш теории частичных, дробных, дефектных идеалов, особенно опас-

ных и губительных при своей реализации (ведь в этом случае к их теоретическим ошибкам присоединяется еще искажающий коэффициент несовершенной человеческой природы), теории, развивавшейся позднее, в те же 1920-е годы, последователем Федорова Николаем Сетницким[11] и целившей в том числе в коммунистическую доктрину. Настоящий же шанс на адекватную реализацию имеет лишь *целостный* идеал, преследующий воистину высшую, без малейшей ущербинки, цель, охватывающую полноту блага и всеобщность спасения, — именно его и предлагает роду людскому активное христианство.

Обратимся теперь к самому, на мой взгляд глубинному и тонкому религиозно-философскому подтексту чевенгурского предприятия. Описывая жителей пошедшего на экспериментальное заклание города (и людей зажиточных, и просто обывателей средней и мелкой руки), Платонов обращает особое внимание на их тип религиозной веры. Интересно, что это вовсе не то бытовое исповедничество, чем всегда отличалось православие в его народном, расхожем варианте. Писатель настойчиво и усиленно-гротесково подчеркивает эсхатологический, причем пассивно эсхатологический характер веры горожан: ожидание скорого второго пришествия, суда и финального разделения на спасенных и навечно проклятых. Это и позволяет родиться зловещей, остроумно-практической идее устроить им этот апокалипсис, только в карательно-пролетарском исполнении.

Чем дальше, тем больше подводит нас писатель к пониманию того, что коммунистическая апокалиптика чевенгурцев отягощена всеми дефектами превращенной христианской вульгаты: идеей невсеобщности спасения (тут отправили в *ад* абсолютного небытия всех *не тех*, большинство населения, признанное за недостойную существования «обезьяну», подлежащую пролетарской селекции), пассивным ожиданием последних эсхатологических процедур. Как всякое историческое свершение, история вообще, теряют смысл в луче неизбежной апокалиптической катастрофы, так и чевенгурские псевдохристиане коммунизма отменяют историю, изгоняют необходимость труда, творческого усилия в стяжании нового преображенного порядка бытия (для них труд связан лишь с неизбежной эксплуатацией и приобретательством).

Оттого наивно-буквально пытаются они следовать евангельским примерам *птиц небесных* и *лилий полевых*, *не сеять*, *не жать* (как то выражено в стихах главы ревзаповедника Пашинцева: «Долой земные бедные труды, Земля задаром даст нам пропитанье»). Явление коммунизма ощущается как чудо, само собой спускающееся на *верных* адептов доктрины, должное преобразить и природу, и всё вокруг: установится вечное лето, отменится действие смертоносных законов, пойдут контакты с космическими братьями: «Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, — коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление».

Однако, как мы помним, не вышло в Чевенгуре «отживевших детей» — у дорожной нищенки кончается ее заболевший мальчик, и, несмотря на все над ним трогательно-нелепые «фельдшерские» действия Чепурного, не удается хоть на минутку вернуть его к жизни — воображаемо-декретивный, магический *коммунизм* оказывается бессилен перед лицом смерти. Вот тут и настал для его устроителей *момент истины*, страшного сомнения: «Чепурный мучился совестью, что от коммунизма умер самый маленький ребенок в Чевенгуре, и не мог себе сформулировать оправдания». А Копёнкин сражен уже окончательным прозрением: «Тут зараза, а не коммунизм», понукая себя немедленно уезжать «отсюда — вдаль». Не удалось «организовать за туловище» и мучающегося болезнью Якова Титыча — разве что пошли на идейную себе поблажку: стали что-то делать руками, добывать огонь, ремонтировать мельницу, чтобы облегчить горячей мягкой пищей физические страдания товарища.

Вообще с приездом в Чевенгур Саши Дванова, после того как провалились ожидаемые чудесные манифестации коммунизма, пошел стыдливый компромисс с требованиями жизни: начали трудиться, пусть и не для себя, а для других («не труд, а помощь даром»), доставили в город женщин, хоть и самых невзрачных, истертых нуждой и невзгодами… Все более пронзительно нагнетается атмосфера тоскливой заброшенности, *скучной* потерянности, бедного «уединенного сиротства людей на земле», находящего выход лишь в напряженно-трогательной заботе о единственной святыне — коллективном теле чевенгурского коммунизма, о «та-

инственном благе» неотлучного товарища, кому для выражения своей любви и почитания начинают лепить еще и глиняные памятники. Нельзя не вспомнить явившуюся Версилову в «Подростке» Достоевского картину будущего мира, оставшегося без Бога, когда «осиротевшие люди», осознавшие, что теперь «они одни составляют всё друг для друга», «схватились бы за руки», *прижимаясь* «друг к другу теснее и любовнее»[12]… — эта явная перекличка с «Чевенгуром», уже отмеченная исследователями, еще раз свидетельствует о вплетенных в метафизический подтекст романа мотивах обезбоженности человека и мира, волновавших русскую литературу и философию.

Не случайно и в центре открыто декларируемых, можно сказать, «религиозных» надежд, которые возлагали чевенгурцы (прежде всего их глава) на новое, как бы волшебно установившееся *коммунистическое* состояние человека и природы, стоит фактически обожествляемое Солнце, даровой, неиссякаемый податель всех благ. И это вполне вписывается в общий мировоззренческий контекст революционного времени, стремительного краха христианства, когда Розанов в «Апокалипсисе нашего времени» констатирует его массовое поражение перед лицом искушения *хлебом*: «Мы вопияли Христу, и Он не помог». «Он — немощен». Помолимся Солнцу: оно больше может. Оно кормит не 5000, а тьмы темь народа»[13]. При громогласно-агрессивном отказе от Христа и христианства неизбежно впадали в пантеизм, в солнцепоклонство, вспомним хотя бы «Мистерию-Буфф» Маяковского, где зодчие «коммуны-сказки» воспеваются как «солнцепоклонники у мира в храме»: «Становитесь хорами — солнцу псалмы». Но в Чевенгуре этот видимый, ощутимый бог, противно новой вере и надежде, идет к осени на убыль, демонстрирует, что подчинен он законам природы, а не магии коммунизма.

Неудача чевенгурского Предприятия начинает ощущаться прежде всего в чувстве, в смутной мысли его устроителей — одно служение товарищу как своей *идее* не покрывает чаемого идеала, назвавшегося тут коммунизмом. Практичный Прокофий Дванов делает уже вполне исторически актуальные выводы из очевидного фиаско *рая на земле*, продумывает социальный проект такой «организации» населения, которая обеспечила бы ее покорность

большевистской власти, во главе которой стоит *один* и *думает* за всех, давая им всего помаленьку, но непрерывно, чтобы были *довольны* и *любили* власть: «Лучше будет уменьшать постепенно человека, а он притерпится: ему так и так все равно страдать. <…> При организации можно много лишнего от человека отнять». А вот героический «средневековый» рыцарь Копёнкин изнемогает во сне от муки неисполненного долга перед Розой, выплескивая Саше свое *нестерпимое*, «ревущее внутри его тела горе»: «Что ж я живу здесь и бросил ее одну в могильное мучение!..», порываясь тут же ехать вдаль, на поиски ее могилы и гроба (своего рода псевдорелигиозного слепка с Гроба Господня, *начатка* всеобщего восстания из мертвых и Царства Небесного, как чувствовали его «крестоносцы из простого народа»[14]): «Где мой конь, гады? <…> вы обманули меня коммунизмом, я помру от вас». И тут же солидарно шепчет вновь ушедшему в сон другу Саша Дванов: «А разве мой отец не мучается в озере на дне и не ждет меня? Я тоже помню». Тут, в этом федоровском высшем нравственном императиве: исполнении долга перед вытесненными в смерть родителями и предками — объединяются уже почти в финале романа главные его герои. Даже *порченый* интеллигентской рефлексией и цинизмом, городской «блудный сын» Симон Сербинов, присутствующий при этом, и тот оказывается в поле этого сокровенного чувства: «Сербинов поглядел вдаль, где за тысячу верст была Москва, и там в могильном сиротстве лежала его мать и страдала в земле».

И заключительная сеча чевенгурцев с каким-то непонятным «машинальным врагом», методично разгромившим город, апокалипсическая апофеоза поголовного умирания и гибели большевиков и прочих в романе Платонова, хорошо знавшего активно-христианскую мысль Федорова, на мой взгляд, смотрится в глубинном религиозно-философском пласте произведения как своего рода Страшный суд (катастрофический конец) не только устроенному там коммунизму, но — в пророческой перспективе — и всему роду людскому, если он не сумеет стать творческим соработником Бога во Всеобщем деле преобразования падшего смертного порядка бытия в бессмертный и обоженный.

После битвы в живых остается один Саша Дванов (может быть, как чуть полнее других вместивший спасительный идеал), но и он

оказывается способен лишь на то, чтобы «в чувстве стыда жизни перед слабым, забытым телом» отца, пассивно-солидарно с ним уйти в воды озера Мутева. А вот самый, казалось бы, малопригодный для продолжения сокровенного чаяния и дела погибших Дванова и Копёнкина (рыцарь Розы и кончается с кличем и призывом на устах: «Нас ведь ожидают, товарищ Дванов!», ожидают наши и все умершие) жесткий, корыстный, но жизненно-стойкий и практичный Прокофий, уберегший свою жизнь среди уже оказавшегося для него ненужным имущества, распахивает глухую стену финальной трагедии. В нем вдруг после пережитого потрясения пробивается порыв и готовность искать и найти и привести Сашу к Захару Павловичу, его приемному отцу (как когда-то в детстве за рублик, а сейчас и задаром). За *стеной* открывается новая дорога, та всегда облегчавшая и воодушевлявшая героев романа *даль*, что уводила от *нелепого дела* и откуда шел зов «далеких и невидимых вещей», и, возможно, надежда на обретение идеала и дела, настоящего, безущербного, *целостного*…

Понятно, что наиболее продуманным, цельным и целостным миропониманием обладает сам автор, Андрей Платонов; ясно и то, что он не может передавать его в романе философской риторикой, не говоря уже о том, что в своей предельности это миропонимание решительно «не вмещается» в сознание природно-смертное, будь оно ортодоксально-христианским или секулярным, и выглядит для него безумием и юродством. Вспомним признание Платонова в одном из писем к жене о необходимости «опошлять» и «варьировать» «свои неизменные идеи», чтобы «получились приемлемые произведения»: «А если бы я давал в сочинения действительную кровь своего мозга, их бы не стали печатать»[15]. И в «Чевенгуре» писатель как бы раскалывает свое философское видение и тысячами осколков разбрасывает его там-сям: в сны героев, в их странные реакции, поразительные высказывания (часто в обнимку с идеологически наносным живописно-искаженным словесным сором), в состояния природного мира… Самые глубокие и тонкие грани своих мыслей и убеждений, недоступные пока его героям, мучающимся верным чувством, но недозревшим умом и знанием (даже в связи с Сашей Двановым говорится об его «узком бедном уме»), писатель часто передает философическими мотивами, природны-

ми уподоблениями. Вот, к примеру, как поэтически воплощает он одну из центральных федоровских идей, высочайшим образом оцененную русской религиозной философией. Утверждая основные христианские догматы одновременно и как заповеди, как руководство для жизни, для действия, русский мыслитель увидел в Троице образец для устроения человеческого общежития: не по типу организма или механизма, как прежде и сейчас, а по типу *нераздельности* (соборное единство) и *неслиянности* (персональная самобытность) Лиц, которых объединяет любовь как высший принцип связи всего со всем, любовь, ведущая к бессмертию, вечности и всемогуществу. А теперь прочтем текст Платонова: «Мимо телеги проходили травы назад, словно возвращаясь в Чевенгур, а полусонный человек уезжал вперед, не видя звезд, которые светили над ним из густой высоты, из вечного, но уже достижимого строя, где звезды двигались как товарищи — не слишком далеко, чтобы не забыть друг друга, не слишком близко, чтобы не слиться в одно и не потерять своей разницы и взаимного напрасного увлечения». В этой космически-пейзажной транскрипции федоровской идеи есть главное: и *нераздельность* («не слишком далеко») и *неслиянность* («не слишком близко») того божественного («вечного») порядка бытия, стоящего перед родом людским как образец и осуществимая задача («уже достижимого строя»).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. *Булгаков С.Н.* Апокалиптика и социализм // Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 368–434. В полном объеме работа была впервые опубликована в сборнике: *Булгаков С.Н.* Два града. Исследования о природе общественных идеалов. Т. 2. М., 1911.

[2] *Булгаков С.Н.* Религия человекобожия у Фейербаха // Там же. С. 167, 165.

[3] *Платонов А.* Чевенгур // Платонов А. Котлован. СПб.: Азбука-классика, 2002. С. 61–506. Далее текст романа цитируется по этому изданию.

[4] *Розанов В.В.* Около народной души // Розанов В.В. Около народной души. Статьи 1906–1908 гг. Собр. соч. / Под общ. ред. *А.Н. Николюкина.* М.: Республика, 2003. С. 300.

[5] *Розанов В.В.* Академическое издание Кольцова // Розанов В.В. Старая и молодая Россия. Статьи и очерки 1909 г. Собр. соч. / Под общ. ред. *А.Н. Николюкина.* М.: Республика, 2004. С. 337–338.

[6] См. подробнее: *Семенова С.Г.* Пролетарская поэзия // *Семенова С.Г.* Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 12–39.

[7] *Бердяев Н.А.* Русская идея // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 45.

[8] Апокрифы древних христиан. М.: Мысль, 1989. С. 280.

[9] *Федотов Г.П.* Письма о русской культуре // Русская идея. М.: Республика, 1992. С. 381.

[10] *Хлебников В.* Утес из будущего // Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 226.

[11] См.: *Сетницкий Н.А.* Целостный идеал // Н.Ф. Федоров: Pro et contra. СПб.: РХГИ, 2004. С. 659–690.

[12] *Достоевский Ф.М.* Подросток // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 13. Л.: Наука, 1975. С. 378.

[13] *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. Собр. соч. / Под общ. ред. *А.Н. Николюкина.* М.: Республика, 2000. С. 16.

[14] «Крестоносцы из простого народа, нищие духом, простые сердцем, алчущие и жаждущие правды, шли, нося в душе поминанье об умерших отцах, ко гробам праотцев и ко гробу Второго Адама, к месту, под коим — и чистилище, и ад; шли, твердо веря, что только там молитва об отцах возымеет полную силу: крестоносцы, конечно, верили, что со взятием Иерусалима царство земное кончится и настанет Царство Небесное» (*Федоров Н.Ф.* Религия — культ предков и воскрешение // Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. С. 43.

[15] А.П. Платонов — М.А. Платоновой. 26 января 1927 // Андрей Платонов. «…Я прожил жизнь». Письма 1920–1950-х гг. / Сост. и вступ. ст. Н.В. Корниенко, подгот. текста и коммент. Е.В. Антоновой, М.В. Богомоловой, Н.И. Дужиной, Р.Е. Клементьева, Н.В. Корниенко, Т.А. Кукушкиной, Е.А. Папковой, Е.А. Роженцевой, Л.Ю. Суровоовой, Н.В. Умрюхиной. М.: Редакция Елены Шубиной, 2019. С. 205.

МЕТАФИЗИКА ПЛАТОНОВСКИХ МОТИВОВ («Счастливая Москва»)

Выныривая из чтения этой неожиданно подаренной нам вещи Платонова 1933–1936 гг., выносишь чувство: да, узнаваемо, да, это он, уникальный платоновский мир, со своими маниями и *тиками*, своим великим *безумием*, знакомыми героями: даже встречаются там-сям небольшие кусочки текста, сцепления слов, которые писатель использовал в рассказах, в более удачливых детках — их удалось за ручку вывести на какие-нибудь печатные страницы. Чудесно, что не погиб этот мир, именно этот, конкретный и драгоценный, а ведь уже рассыпался в ветхих листочках, стирался в непрочной карандашной плоти (спасибо и М.А. Платоновой, сохранившей их в своем архиве, и кропотливому реставратору — Н.В. Корниенко!). Но реакция на это *чудесное* событие поначалу оказалась какой-то странной. Вспомним, каким литературно-критическим шквалом встречались до того «Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур», как разбегались споро-актуальные и обстоятельно-герменевтические перья, породив целую исследовательскую индустрию возвращенного Платонова. А тут — один Юрий Нагибин, почти на пороге ухода из жизни, рецензионно прочел «Счастливую Москву» как «самый страшный роман Андрея Платонова»[1], как гениальную, жуткую сказку о разного рода уродцах и психах «советского условного мира». Еще там-сям в интервью и опросниках прозвучало имя «Счастливой Москвы» как чуть ли не самого крупного и поразительного литературного события начала девяностых, но в чем эта *поразительность*, не раскрывалось, разве что шли ссылки на «загадочность» явления. И только в 1999 году появился третий выпуск сборника «“Страна философов” Андрея Платонова. Проблемы творчества», собравший материалы конференции 1996 года, посвященной этому роману[2].

Как-то поэт и философ А.К. Горский сказал о Пушкине, что он «автор, еще не прочитанный и почти не разрезанный»[3]. И если

в отношении к поэту с таким парадоксально заостренным утверждением вряд ли кто согласится (во всяком случае, до знакомства со взглядом того же Горского на пока не замеченные «буйные всходы воскресительных тенденций в эротике»[4] в пушкинском творческом саду), то в случае с новым романом Платонова похоже, что это оказалось сущей правдой. Увы, был долго и не разрезан, и не прочитан, во всяком случае, в таком читательском количестве и качестве, как он того заслуживал.

Посему хотелось бы предложить читателям старый добрый метод медленного, аналитического прочтения этого романа: что же в нем реально *есть*, в какой текстуальной, мотивной, образной плоти это *есть* живет и разворачивается. И тогда мысль о романе, о его героях, его душе и *идее* получает больше шансов на приближение к истине (*ест*ине) произведения, во всяком случае, открывается путь дальнейших поисков и открытий этой истины.

Но сначала несколько общих слов о «Счастливой Москве». Создавалась она в период, может быть, самый мучительный для Платонова-писателя, когда после публикации в 1931 году повести «Впрок» он, объявленный — от Сталина до единодушных критиков — враждебной «сволочью», «кулацким агентом», певцом «дураков и юродивых», на пять лет вычеркнутый из советской печатной литературы, пытался, по его собственным словам, «ломать самому себе кости», хребет своего «ошибочного» мировоззрения и эстетики. Что же вышло из этого прямо объявленного, модного тогда процесса «перековки» и «переплавки»? На мой взгляд, мало из того, чего желала и требовала от него руководящая общественность.

Для себя Платонов так декларировал свою «стратегию перевоспитания»: он «изживает свои ошибки и недостатки», пробиваясь вперед сначала хотя бы одной «публицистической мыслью», чтобы затем продвинуться и всем «туловищем». Но как ни прорывался он будто бы «вперед» в своих литературно-критических статьях (на деле не раз идя в них на механический компромисс с требованиями времени), «туловище» его художественного творчества упорно тянуло его назад. Поражает контраст между тем, как Платонов искренне старается *перестроиться*, заданно-примитивно отчитывается о своем творческом пути, своих идеологических

и стилевых «катастрофах», самоумаляясь до уровня понимания эпохи, и тем, что выражает он в своих повестях и рассказах, где он неуклонно остается верен себе, гениальной кривизне взгляда и стиля. Не мог он иначе, иначе у него карандаш не писал, сюжет не клеился, образ не вырисовывался, мотив не выпевался, сравнение не получалось… Начинал писать — и тут же включалось *свое*, и только *свое*. Возьмем ту же «Счастливую Москву»: она среди анонсированных им произведений нового его, реконструктивного этапа (вот, мол, скоро все увидят, как он исправился!), а вместо этого из-под руки выходит еще один фрагмент уникальной платоновской вселенной. Судите сами — каждый год кладутся в стол значительные вещи и настоящие шедевры: в 1932 — «Ювенильное море» и «14 Красных избушек», в 1933 — «Мусорный ветер» и первые главы «Счастливой Москвы», в 1934–1936 — «Джан», «Среди животных и растений». Замыкается этот период выходом в 1937 году в «Советском писателе» книги «Река Потудань» (включала семь рассказов и почти все из лучших платоновских вещей: «Река Потудань», «Бессмертие», «Третий сын», «Фро», «Глиняный дом в уездном саду», «Семен», «Такыр», написанных в 1934–1936 гг.) — и тут же новый удар по писателю, на этот раз беспощадно точный и особо чувствительный, — в самую нежную мякоть «туловища» (используя вновь слово Платонова). Основательная и по-своему проницательная статья А. Гурвича («Красная новь». 1937. № 10) была сделана в жанре *честного доноса*, она действительно впервые обнажила сокровенные нервные узлы платоновского мира: глубокую его метафизичность, упертость в проблему смерти и фундаментального несовершенства бытия, «христианскую юродивую скорбь и великомученичество», «религиозный, монашеский большевизм», «религиозное душеустройство» его героев. Но что значили такие констатации для 1930-х годов?!

После этого критического разгрома творчество Платонова, по видимости, переживает еще одну *защитную* метаморфозу. До самой смерти писателя, не считая военных рассказов, с того времени вышло лишь шесть его детских книжек, включая пересказы русских сказок. И удивительное дело: этот вроде бы вынужденный уход в мир детства позволил Платонову в идеальной чистоте и детски наивной мудрости выразить свои заветные и

дерзновенные чаяния, реализовав христианский критерий «будьте как дети». Но «Счастливая Москва» написана до второго критического разгрома, пережитого Платоновым, и она входит в круг «взрослых» — многоплановых и многофокусных — произведений писателя. Гротескно-лирические узлы этого платоновского мира завязываются на скрещении высоких, *не вмещаемых* в мир сей идеалов — с карикатурами и эрзацами, замороченностями и мнимостями эпохи. И хотя предельно сгущенные гротески «Чевенгура», «Котлована», «Ювенильного моря» исчезают из «Счастливой Москвы», роман по-своему сохраняет и фантасмагорический, и сюрреальный элемент.

Итак, всего-то пятьдесят страниц журнального формата, а роман! Да, роман, никак это не повесть, что с компактным, однолинейным сюжетом и немногими персонажами; тут ряды судеб, где-то они пересекаются или неузнанно касаются друг друга, перекликаются и отталкиваются — явно симфонический, романный контрапункт, пусть в стяженно-сбитом виде.

И хочется пройтись по нему не спеша и вдумчиво, в той последовательности, в какой выстроил его Платонов. Начинает он с того глубиннейшего травматического впечатления, которое ворвалось в сознание совсем маленькой девочки (будущей героини), а затем прочно поселилось в ее подсознании, поднимаясь оттуда в разные моменты ее жизни: «проснувшись от *скучного* сна», девочка из окна увидела человека, бежавшего по улице с зажженным факелом «в *скучную* ночь поздней осени», затем раздался выстрел и крик — очевидно, убили человека, а затем и другие залпы и шум голосов в соседней тюрьме. (Курсив здесь и далее наш. — *С. С.*) Кстати, заметьте, как с первой фразы романа зачинается обычное для писателя обилие слова «скучный», о чем поговорим позже. Такой яркой картиной стремительного, пламенного движения и тут же сраженного факелоносца (по запечатленному в памяти звуку) вошла — неузнанно для самой девочки — Октябрьская революция, открывшая эпоху, в которой ей жить и действовать. Это же революционное время, с его неизбежными зловещими спутниками — эпидемиями и голодом — уносит ее отца, и «голодная, осиротевшая девочка» уходит в случайное бродяжничество по стране, проваливаясь, как это часто бывает у Платонова, от нестерпимого

страдания в сон души, полное беспамятство, чтобы однажды (как в новом рождении) очнуться в Москве, в детском доме, уже со значаще нареченным именем Москвы (в честь столицы) Ивановны (в честь рядового погибшего русского красноармейца) Честновой («в знак честности ее сердца»). Стоп-кадр момента ее *пробуждения* — густо значащ: она вдруг осознала себя у окна школьного класса, глядящей «*в смерть листьев* на бульваре» (как бы продолжение ее еще бессознательного занятия), и тут же она уже осознанно читает вывеску напротив: «Рабоче-крестьянская библиотека-читальня имени А.В. Кольцова». В этот же вечер, впервые в жизни съев булку с котлетой «из коров» (как им объяснили), она пишет домашнее сочинение о корове. В первоначальный его вариант писатель предполагал дать более обнаженно метафизический текст, связанный с постоянным для него мотивом *пожирания* как неотъемлемой черты существующего статуса мира — разумеется, в непосредственно детском переживании: «Рассказ девочки без отца и матери о корове. Коров бывает мало, их ведь едят. У коровы по четырем углам стоят ноги. Из коров делают котлеты, всем дают по одной <…> Девчонки наелись котлет, сами лежат спят и пахнут. Мне *скучно*». В окончательной редакции получается уже «Рассказ девочки без отца и матери о своей будущей жизни», торжествует императивно-сознательный импульс, из которого Москва будет усиливаться жить и строить себя: «Нас учат теперь уму, а ум в голове, снаружи ничего нет. Надо жить по правде с трудом, я хочу жить будущей жизнью, пускай будет печенье, варенье, конфеты (заметьте, котлет тут нет. — *С. С.*) и можно всегда гулять в поле мимо деревьев…»

И по окончании десятилетки Москва, как истинная, наученная дочь своего времени, хочет того, чего требовал молодой идеал эпохи: «…ее руки томились по деятельности, чувство искало гордости и героизма, в уме заранее торжествовала еще таинственная, но высокая судьба». Но уже с самого начала ее взрослой жизни прочерчивается будущая модель ее существования, раздираемого противоположными импульсами: ее необыкновенная женственная прелесть страстно привлекает к ней мужчин, стремящихся запереть ее как «свое непременное достояние» в тесноту любви одного человека (так и случилось в ее 17 лет, когда она вышла замуж за

цепко вцепившегося в нее «случайного человека»), а она все бежит и бежит от них безвозвратно в даль своей судьбы… Так и в первый раз, пронзенная «томящим стыдом своей жизни», она враз уходит от мужа, бродит весь день по Москве, пока ее ночью на бульварной скамейке не подбирает с виду «незначительный» человек (с тут же вспыхнувшей тайной надеждой, что она его «полюбит внезапно сама»), который оказывается тридцатилетним Виктором Божко, землеустроителем, а позже работником «треста весоизмерительной промышленности». Именно он тут же точно практически расшифровал ответ Москвы на его вопрос, что она любит больше всего: «Я люблю ветер в воздухе и еще разное кое-что», определив ее в школу воздухоплавания.

С появлением на страницах романа Божко, по домашнему увлечению страстного эсперантиста, состоявшего в ежедневной переписке с собратьями разных концов планеты, в повествование входит новый идейный мотив: особого пролетарского мессианизма, обернувшегося к 1930-м годам верой в СССР как в счастливую, обетованную родину обездоленных трудящихся всех стран мира. Как раз в те же годы, что Платонов «Счастливую Москву», Н.А. Бердяев писал «Истоки и смысл русского коммунизма», где продемонстрировал удивительную метаморфозу русской идеи, «национализацию русского коммунизма», когда СССР, новое социалистическое отечество приняло черты священного царства, основанного на единой ортодоксальной идее и идеале, когда «произошло как бы отождествление двух мессианизмов, мессианизма русского народа и мессианизма пролетариата»: «Русский рабоче-крестьянский народ есть пролетариат, и весь мировой пролетариат, от французов до китайцев, является русским народом, единственным в мире народом. И это мессианское сознание, рабочее и пролетарское, сопровождается почти славянофильским отношением к Западу. Запад почти отождествляется с буржуазией и капитализмом»[6]. Бердяев вспоминает, как на одном собрании французский коммунист выразился так: «Маркс сказал, что у рабочих нет отечества, это было верно, но сейчас уже не верно, они имеют отечество — это Россия, это Москва»[7]. То же пишет и герой Платонова своим бесчисленным корреспондентам, белым, черным и желтым, со всех земных континентов. Писатель приводит типовой образчик его идейных по-

сланий: «Дорогой отдаленный друг <…> у нас здесь делается все более хорошо, общее добро трудящихся ежедневно приумножается, у всемирного пролетариата скопляется громадное наследство в виде социализма. <…> Лет через пять-шесть у нас хлеба и любых культурных удобств образуется громадное количество, и весь миллиард трудящихся на пяти шестых земли, взяв семьи, *может приехать к нам жить навеки,* а капитализм пусть остается пустым, если там не наступит революция». Негра, потерявшего жену, Божко звал немедленно в СССР: «здесь он может жить среди товарищей, счастливей, чем в семействе» — знакомый нам еще по «Чевенгуру» мотив товарищества как нового типа родства, по классу, альтернативного *ветхому* семейному родству.

В случае с Платоновым можно говорить об особом мотивном мышлении, ярко запечатленном в его творчестве. Художественно-философский мотив (здесь это написание писем и само письмо), часто переходящий из произведения в произведение, — излюбленный стяженно-поэтический способ выражения авторской мысли, различных сторон его мироощущения. С разнообразным их веером мы столкнемся и дальше.

С того же Божко зачинается один из постоянных мотивов, связанных с новым типом героя-мечтателя и преобразователя: вопиющий контраст между великой, прекрасной *идеалией,* дерзанием тотально преобразить мир, исступленной деятельностью на этом поприще и жалким, смешным убожеством его *физики*: внешности, тела, жилища, внутреннего самоощущения. Каждый лелеет свою мировую идею, решает мировую загадку, чает быть «летающим и счастливым», и бессмертным, и состоящим в дружбе со всеми людьми земного шара — а сам при этом внутренне несчастен, забвен, зарос одиночеством и грустью и только во сне радуется обретению умершей матери. И Виктору Божко, спящему под «засаленным, *насквозь прочеловеченным* одеялом» (вот он гениальный платоновский микроуровень слова!), снится, что «он — ребенок, его мать жива, в мире стоит лето, безветрие и выросли великие рощи». И он же накачивает себя идейно на «всеобщую радость», а сам «тоскует от грусти».

К Божко сначала раз в месяц заходит Москва Честнова, благодарная ему за помощь (все два года ее учебы он оплачивал боль-

шую часть ее расходов), затем и вовсе остается у него жить. Москва, в отличие от мужских героев Платонова, наделена каким-то исключительным зарядом жизненности, это — юная женщина «громкого сердца», мощный и ровный стук которого поражает приближающихся к ней и пугает даже комаров и бабочек, случайно садящихся к ней на грудь, у нее «могущественное и теплое тело», глаза блестят «ясностью счастья» на загорелом здоровом лице, и вся она в свои девятнадцать лет — накануне такой неотразимой «женственной человечности», что пронзает навылет всех встречающихся ей мужчин. «Сердечная сила и здоровье», редкая природная красота всего ее телесного устройства питают ее спокойную уверенность в будущем, безотчетное любование собой, удивительное в мире дисгармоничных, вывихнутых мужских персонажей натурально-устойчивое и счастливое самоощущение. Одно слово: *счастливая Москва*! Такой она входит в повествование: открытой природе, небесным пространствам, солнцу, ветру и миру вообще, который, по ее первому чувству, подходит ей, «к ее телу, сердцу и свободе». За завтраком в квартире Божко на седьмом этаже в центре столицы «Москва мечтала что-то о природе — текущей водою, дующей ветром, беспрерывно ворочающейся, как в болезненном бреду, своим громадным терпеливым веществом. <…> Природе надо было обязательно сочувствовать — она столько потрудилась для создания человека, — как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости…» Тут, совершенно очевидно, сам писатель додумывает за свою героиню, сливая ее ощущение со своим пониманием человека как венца долгого напряженного эволюционного усилия природы с подразумеваемым выводом о необходимости ответного восстанавливающего и одухотворяющего ее действия со стороны уже человека.

Но вскоре Москву подстерегло первое испытание, испытание ее счастливой гармонии с миром. Став уже младшим инструктором при своей школе, она однажды, паря, «одинокая и свободная», на новом парашюте, пропитанном особым лаком против атмосферной влаги, нечаянно спичками поджигает его и, фейерверком прочертив небо, успевает все же спастись, раскрыв запасной парашют. Но пока «она летела с горячими красными щеками и воздух грубо драл ее тело, как будто он был не ветер небесного пространства,

а тяжелое мертвое вещество», а земля приближалась «еще тверже и беспощадней», ее коснулось прозрение оборотной, жесткой, губящей, безжалостной стороны природы и мира: «Вот какой ты, мир, на самом деле! — думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!» Главные мужские герои, парад которых разворачивается далее в романе, как раз из тех, кто активно *трогает* этот мир, напарываясь на страшное сопротивление и таинственной природы вещей, и собственной *подлой* и бренной природы.

Однако до встречи с первым из них, хирургом Самбикиным, нас ожидает еще беглое касание к одному из важных персонажей романа, вневойсковику Комягину, выбравшему *свою,* особую позицию в этом скучном, смертном мире. После загорания в воздухе Москву Честнову на два года отстранили от летания. Ей дали две комнаты на пятом этаже недавно отстроенного дома, где жили люди профессий, привечаемых новой действительностью: конструкторы, летчики, инженеры, философы… На какое-то время Москва уходит в излюбленную в платоновском мире одинокую созерцательно-мечтательную жизнь, проводя, как когда-то Соня Мандрова (в столичных главах «Чевенгура»), дни и часть ночи на подоконнике, восчувствуя «жизнь всемирного города», огромного живого организма, подключаясь к ней своим свободным воображением как его деятельный энергетический агент: «Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом». *Быть всем одновременно* и *быть всюду* — такое полубессознательное желание воистину божественного *вездесущия* и *всепричастности* томит душу платоновских героев и помещает их время от времени на каком-нибудь высоком этаже у раскрытого окна и погружает на дни и месяцы в блаженно-созерцательную жизнь. Вот вам и готов один из постоянных лирико-поэтических мотивов платоновской вселенной. В таком состоянии двери квартиры забывают закрывать, кто-то забредает, поселяется (как к Честновой некий бездомный весовщик из Ельца), слегка,

внешне-неощутимо коснувшись существования героини или более глубоко войдя в ее жизнь (как Сербинов в Соню).

Но жить *так* долго не получается, реальность предъявляет свои права на конкретное участие человека в конкретном месте и деле, и вот уже Москва по комсомольской путевке определяется на учетную работу в районный военкомат. Здесь среди «равнодушной идеологичности» казенного убранства и произошла ее встреча с вневойсковиком, странным человеком, удивившим Москву тем, что он исхитрился уйти от всех мужских общественных обязанностей: ни в Белой, ни в Красной армии не служил, вообще как-то избежал и военной службы, и любых военных сборов, на три года пропустил самый срок своей перерегистрации. Первая же страница, посвященная этой фигуре, набрасывает выразительный портрет особого экзистенциального типа: это и его внешность («Перед нею <…> стоял посетитель с давно исхудавшим лицом, покрытым морщинами тоскливой жизни и *скучными* следами слабости и терпения; одежда на вневойсковике была так же изношена, как кожа на его лице, и согревала человека лишь за счет долговечных нечистот…»), и его стыдливо-ошеломленная реакция на явление «прелести и силы» лица Москвы («Почему я зря пропустил всю свою жизнь, ради иждивения самого себя!..»), и его ответ о своей жизни («Мне так себе живется»), и его поспешное бегство отсюда «в свое неизвестное жилище, чтобы просуществовать как-нибудь до гроба без учета и опасности». И даже удивительная и точная реминисценция из стихотворения в прозе Бодлера: «на одно мгновение он вообразил себе облака на небе — он любил их, потому что они его не касались и он им был *чужой*» (название и отчасти *метафизика* которого позднее перекочевали в знаменитую повесть А. Камю «Чужой», в русском переводе — «Посторонний»).

Чувствуя какую-то свою вину в такой «чужой небрежной и несчастной жизни», Москва пытается его разыскать где-то «в глуши Бауманского района», наводит о нем справки в местном домоуправлении, где толчется народ, плотно заполняя свою жизнь суетой, хлопотами, пустыми беседами, «самоистощением в пустяках». И выясняется, по объяснению управдома, что вневойсковик, очевидно, и есть вопиющий случай такого «самоистощения»: существует сам по себе, без всякого интереса и инициативы, скучно

и вяло, «пенсионером третьей категории», разве что неутомимо каждую ночь приводит всяких «некультурных, неинтересных», истертых жизнью женщин… Во дворе убогого, запущенного дома, где жил вневойсковик, Москва видит старого скрипача, он играет ей Бетховена, и Москве при этом является странное откровение *неродственных* недр вещества мира, как бы приходящего в отчаяние от собственного жесткого, непроницаемого принципа бытия: «Весь мир вокруг нее стал вдруг резким и непримиримым, — одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая темная сила действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия…» (И этот метафизический мотив, идущий от Вл. Соловьева и Н. Федорова, и образ старого музыканта переходят затем в рассказ Платонова «Скрипка».) В этом же эпизоде незаметно перебрасывается мотивный мостик к следующей, пятой главе романа, где, наконец, появится искатель бессмертия Самбикин: «Против него — по ту сторону забора — строили медицинский институт для поисков долговечности и бессмертия, но старый музыкант не мог понять, что эта постройка продолжает музыку Бетховена, а Москва Честнова не знала, что там строится». Зато писатель это знает и доносит свою мысль до своего внимательного читателя: искусство в своих высших образцах движимо прежде всего волей к бессмертию. А уж как понимает бессмертие платоновский герой-преобразователь рвущейся в будущее страны мирового пролетариата, мы узнаем вскоре.

Хирург Самбикин, молодой человек 27 лет, с громадным лицом, имевшим «вид опечаленного животного», со столь непропорционально большим даже его «длинному усохшему телу» носом, что это придавало ему вид особой кротости, напоминает нам ранних платоновских героев-преобразователей. Как они, «небрежный и нечистоплотный от экономии своего времени», он всецело вперен не больше и не меньше, как в «безумную судьбу вещества», чувствуя за него постоянный «страх своей ответственности». Его взбудораженный ум держит в фокусе своего воображения ту большую стройку, грандиозную работу с материей мира, которая повсеместно разворачивается в его стране; он, словно чуткий медиум, как бы внутренне подключен к коллективной душе озабо-

ченных, ответственных строителей «советской земли» и, как они, не спит, вскакивает среди ночи, горя нетерпением что-то делать, и немедленно. Он звонит в тот самый строящийся медицинский институт, где уже открыли два отделения, и тут же мчится спасать от смерти семилетнего мальчика с огромной опухолью на голове, точнее, ассистировать в операции по ее удалению. Пронзительный рассказ о хирургическом вторжении в череп мальчика — своего рода практическая медитация Самбикина над той тонкой, таинственной гранью между жизнью и смертью, что так занимает его ум и сердце, желающие ее познать и уничтожить в пользу торжества жизни. Писатель выбирает особо бьющую на впечатление, разящую форму болезни; тут это устрашающе-патологическая форма развития тканей, буквально на глазах вспухающих и грозящих вот-вот оборвать навсегда сознание и жизнь, и не кого-либо, а прелестного, страдальчески-терпеливого, еще почти не жившего ребенка. «За левым ухом у мальчика, заняв полголовы, вырос шар, наполненный горячим бурым гноем и кровью, и этот шар походил на вторую дикую голову ребенка, сосущую его изнемогающую жизнь». Как всегда, Платонов работает в предельно экспрессивном, сгущенном образном поле. Сознание, уходящее из тела ребенка, сосредоточивается где-то в «отдаленном и грустном воображении снов», в котором мелькают знакомые платоновские значащие предметы детства: забытый старый, заржавленный гвоздь (избывание и забвение на уровне вещей), собачка, с которой он когда-то играл, и тоже мертвая в мусоре, лето, тень матери… — вот и они стираются, «жизнь сошла еще ниже», тлея «простой, темной теплотой» где-то в глубине тканей. Сколько бы Самбикин в крайнем, аварийном напряжении всех своих сил и внимания, работая «на точном чувстве искусства», ни чистил опухоль, дойдя уже до последней тончайшей «костной пластинки, ограждающей мозг», он не может полностью удалить стрептококки гнойного воспаления (микроскоп все их обнаруживает), и тогда отчаявшийся хирург понимает: «чтобы совершенно уничтожить стрептококков, надо было искрошить не только всю голову больного, но и все его тело до ногтей на пальцах ног». Так неразрывно сплелись здоровье и болезнь в теле человека, так глубоко вгнездился болезнетворный микроб в ткани и фибры и жидкости организма, что неотъемлем

от них как тень от света, смерть от жизни. Как их разделить и развести, не уничтожив по пути самого тела человека «до ногтей на пальцах ног»? Платонов выбирает такие слова, описывая действия Самбикина: тот «взял резкий, блестящий инструмент и вошел им в *существо* всякого *дела* — в *тело* человека» (не совсем явная, чуть смещенная реминисценция знаменитого высказывания Федорова: «наше тело будет нашим делом»). Да, именно *тело,* человеческий смертный организм — существо горестной озадаченности Самбикина, в нем же — суть его главной жизненной задачи и дела. «Он тут же понял, насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более, как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте…». Вот она, самая сердцевина нового эволюционного сознания, каким наделяются герои-испытатели Платонова: преобразовательное действие следует направить не только на внешний мир, но прежде всего на самого человека, его несовершенную, противоречиво-кризисную природу. Как у всех этих героев, главной «воющей потребностью» (используя выражение из «Эфирного тракта») Самбикина становится непрерывная работа головы, разросшаяся — до вытеснения прочих — функция мышления, переходящего в творческое действие: «Он думал всегда и беспрерывно, его душа сейчас же заболевала, если Самбикин останавливался мыслить, и он снова работал над воображением мира в голове, ради его преобразования».

В следующей, шестой, в определенном смысле центральной главе романа Платонов собирает в районном клубе на своего рода комсомольскую ассамблею выдающихся молодых людей нового мира: это были инженеры и летчики, врачи и педагоги, артисты и музыканты, передовые рабочие, все достигшие уже ранней славы и несколько ее стыдящиеся. Среди них и Самбикин, и Москва Честнова, и новый герой романа, знаменитый инженер и механик, «расчетчик мирового значения» Семен Сарториус. Здесь же и конструктор сверхвысотных самолетов Мульдбауэр, с которым в роман врывается на мгновение мотив из идейного репертуара активно-эволюционного выбора: покорение внеземного пространства, новая космическая судьба человечества. Слушая комсомолку

Кузьмину, исполняющую на рояле девятую симфонию Бетховена, Мульдбауэр представляет себе «вдалеке от теплой и смутно-зеленой земли <…> настоящий серьезный космос: немое пространство, изредка горящее сигналами звезд», и думает о том, что путь туда уже «давно свободен и открыт», а человечество все не вступает на него: «Скорее же покончить с тяжкой возней на земле, и пусть тот же старый Сталин направит скорость и напор человеческой истории за черту тяготения земли — для великого воспитания земли — для великого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему действия».

В течение вечера разворачивается настоящий парад сокровенных идей героев-исследователей и преобразователей. За товарищеским ужином механик Сарториус с увлечением говорит о «технике — истинной душе человечества», о будущем «техническом существе, практически, работой ощущающем весь мир», которое сменит нынешнее частичное, классовое существо, развивая, однако, при этом, как и Божко (кстати, тоже незаметно присоединившийся к концу собрания ко всем), свое видение пролетарского мессианского сознания, у него мифологически окрашенное: среди древних людей строителями и созидателями были рабочие-циклопы, изувеченные аристократами, с выдавленным глазом — в знак их вечного рабства, и вот «прошло три или четыре тысячи лет, сто поколений, и потомки циклопов вышли из тьмы исторического лабиринта на свет природы, они удержали за собою шестую часть земли, и вся остальная земля живет лишь в ожидании их».

Все мысли и речи движутся, направляемые тем чувством и стремлением, которое выражено в звучащем здесь же романсе на стихи Языкова: «Там за валом непогоды / Есть блаженная страна…» И если для Божко эта «блаженная страна» уже «лежит за окном», и он думает только о том, как бы сохранить «каждую крошку» ее добра, то дерзания других героев более *онтологически* серьезны, они напоены превращенно-эсхатологическим импульсом к тотальному преображению природы вещей. Эту «блаженную страну» Мульдбауэр помещает в «синюю высоту мира», «воздушную страну бессмертия», где человек станет крылатым, «а земля останется в наследство животным». Он развивает свою теорию бессмертия, приглашая род людской переселиться на высоту

от пятидесяти до ста километров атмосферы, где, по его мнению, «существуют такие электромагнитные, световые и температурные условия, что любой живой организм не устанет и не умрет, но будет способен к вечному существованию среди фиолетового пространства». На что знаменитый механик своим уже вспыхнувшим чувством к Москве сигнализирует принципиальное внутреннее сомнение: «Сарториус *скучно* улыбнулся; он хотел бы сейчас остаться в самом низу земли, поместиться хотя бы в пустой могиле и неразлучно с Москвой Честновой прожить жизнь до смерти».

Впрочем, именно здесь Платонов подчеркивает известную трезвость своих мечтателей и искателей: «Присутствующие знали или догадывались об угрюмых размерах природы, о протяженности истории, о долготе будущего времени и о действительных масштабах собственных сил; они были рациональные практики и неподкупны к пустому обольщению». Но, пожалуй, глубже, болезненнее всех — при всем фантастическом безумии своих поисков — чувствует неимоверную трудность задачи Самбикин: он практически, как человек, внедряющийся в самые потроха человеческого тела, знает, *где* главное препятствие, основной камень преткновения. Сюда он явился прямо с перевязки оперированного им мальчика, фактически безнадежного, «пришел подавленный *скорбью устройства человеческого тела,* сжимающего в своих костях гораздо больше страдания и смерти, чем жизни и движения». С таким телом, с таким несовершенным устройством не очень-то разбежишься на великие космические дела! Он может предположить, глядя на «светящуюся воодушевлением» Москву Честнову (сердце ее потому так громко стучит, что «летать хочет»), — «человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад <…>. Грудная клетка человека представляет свернутые крылья». Но как их назад развернуть из этой клетки, как вытянуть человека из его жалкой и скорбной смертной природы? Самбикин тоже одержим идеей и практической задачей бессмертия. Работая с трупами, он обнаружил на срезах некоторых органов (прежде всего сердца и мозга) следы некоего таинственного вещества, как выяснилось, особой жизненной силы, которое, как он полагает, организм хранит про запас с младенчества и выделяет как «последний заряд жизни» в момент смерти человека, но, увы, уже как «безуспешный

выстрел внутри умирающего». Найти источник этой девственной и могущественной «младенческой влаги», выделить ее из трупа, что на время становится ее резервуаром, и этой «творящей силой» омолодить и обессмертить еще живущих — такова суть его идеи, с которой маниакально не сходит его ум и эксперимент; и здесь, за столом, он, «не трогая пищи», все «разглядывал будущее бессмертие».

Первоначальный вид его идеи, с которым мы знакомимся из его размышлений на этом вечере, поражает — помимо всего прочего — неким безнравственным извращением: речь идет о том, чтобы «превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых», иначе говоря — в материал для еще живущих. В таком сугубо гротескно-физиологическом виде повторяется логика, в которой живет весь ветхий природный мир (против него ведь и ополчаются герои Платонова), *питающийся* прахом умерших, использующий их жизни и достижения подножием для своего возвышения. Так что если кто соблазнится поверхностно увидеть здесь какое-то отражение федоровской идеи, тот ошибется: у русского мыслителя речь идет о богочеловеческой реализации основного христианского чаяния — воскрешения всех умерших; просто бессмертие будущих прекрасных олимпийцев на костях ушедших поколений Федоров считал глубоко безнравственным. Какие-то истинные понимания и высокие дерзания Самбикина, героя своего революционного, классового времени, подспудно искажаются полем его ценностей, отношением к прошлому и когда-либо жившим как к *материалу* и *удобрению* для будущего.

Этот вечер в районном клубе являет для героев романа светлую кульминацию их верований, надежд, чувства единства со своими собратьями по поиску, дальше уже пойдет срыв, упадок, кризис. Здесь наряженные «в лучший шелк республики» женщины и приодевшиеся в хорошие костюмы мужчины, все — радостные и оживленные, усаживаются за общий стол; открытые друг другу навстречу, они рождают «общего гения жизненной искренности и счастливого соревнования в умном дружелюбии». «Честновой Москве хотелось выйти и пригласить ужинать всех; все равно социализм настает! Ей было по временам так хорошо, что она желала *покинуть как-нибудь самое себя,* свое тело в платье и *стать дру-*

гим человеком — женой Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на Украине…» Перегородки между «я» и «другим», столь часто мучающие героев в мире Платонова, на время рухнули, как будто все предвосхищающе вышли в состояние какого-то соборного, преображенно-*райского всеединства* (*всехъединства*), уже сейчас «летающие и счастливые», бессмертные, как будущие люди. О том, каков тут разрыв этой осуществленной на миг в сердцах и воображении утопии с действительностью, нечего и говорить, достаточно представить себе не этот метафизический «социализм», а реальный, в котором «колхозница на Украине» в это время разве что умирала с голода — ведь первые шесть глав были окончены Платоновым в 1933 году! Так что обвал, упадок, кризис, что случится далее с героями, совершенно закономерен и в силу этого вопиющего разрыва.

Между тем в наших главных героев, в Самбикина и Сарториуса, в душу их влез один и тот же мучительный червь, сразу подточивший цельность их духа: нарождающееся чувство любви к Москве Честновой. Но если Самбикин пока решительно отогнал его от себя («сколько мысли и чувства надо изгнать из своего тела и сердца, чтобы вместить туда привязанность к этой женщине?»), то Сарториус, небольшого роста «неинтересный человек», «с добрым и угрюмым лицом», «неточным и широким», «похожим на сельскую местность», уязвлен в самые глубины своего существа, и ему остается только бессильно рефлектировать над своим жгуче невыносимым состоянием: «Эх, физика сволочь! — понимал Сарториус свое положение. — Ну вот что мне теперь делать, кроме глупости и личного счастья!» Тщетно заклинает он: «Уйди, оставь меня опять одного, скверная стихия! Я простой инженер и рационалист, я отвергаю тебя, как женщину и любовь… Лучше я буду преклоняться перед атомной пылью и перед электроном!» И одновременно — вразрез голове — сердце его стучит и горит одним безумным обожанием ее, «единственного, самого трогательного существа на свете». К тому же он понравился и самой Москве, в чем она ему признается со своей обычной откровенностью («она быстро предавалась своему чувству и не играла женскую политику равнодушия»).

Седьмая глава романа посвящена их ночной поездке за город — сразу же после встречи в клубе. Разворачивается мотив,

связанный с половой любовью, один из самых значительных в творчестве Платонова вообще. Здесь по-своему — идейный пик ее девальвации; здесь, как нигде, этот мотив развернут в подробные, многозначительные и в высшей степени выразительные картины. То преодоление эгоистического «я», помещение центра тяжести своей личности в другого, то абсолютное значение и ценность, которые получает в страстно-идеализирующем чувстве его объект, о чем писал Вл. Соловьев в «Смысле любви», здесь представлено — как всегда у Платонова — в образах и деталях пронзительных и сгущенных, на грани эстетического риска. Содрогание всех чувств Сарториуса, сосредоточенность на одном (точнее на одной), обожание каждой ее клеточки и всего связанного с Москвой — предельны, обнаруживая себя в поэтике экспрессионистического шока. «Честнова дала ему понести туфли, он незаметно обнюхал их и даже коснулся языком; теперь Москва Честнова и все, что касалось ее, даже самое нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости, и на отходы из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли часть прекрасного человека».

Физическая их близость в землемерной яме (как в могиле), заросшей «теплым бурьяном», обнаруживает всю тщету и муку существующей формы любви, не дающей настоящей целостности, слияния и единства. «Беспомощный и ничтожный», «Сарториус встал на ноги таким же, как ничего не было. Это озадачило его самого, а плачущее, влекущее чувство его не получило никакого утешения, — сердце болело по Москве столь же тщетно, словно она умерла или была недостижима». В этом романе Платонова именно через женщину, к которой так здесь влекутся все мужчины, ощущается особая неудовлетворенность любовно-плотским соединением; не признает Москва Честнова его за высший миг бытия, коронующий человеческое страстное существование: «Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что *любовью соединиться нельзя*». Не удивительно это, не прекрасно, а «так себе», «одна необходимость, а не главная жизнь». Оттого-то грустно и скучно, признается после этого Москва: «Мне жалко чего-то… Сколько я ни живу, а жизнь со мной никак не сбывается, как я хочу». Оттого она так решительно бросает и Сарториуса, и

других своих мужчин, отодвигая предлагаемый ими удел как ловушку, как явное *не то*, и спешит от них вдаль, надеясь где-то там найти настоящую жизнь. *Смысл любви* здесь, совсем по-соловьевски, никак не реализует себя в половом соединении. Обожáние никак на этих путях не становится обóжением.

Как известно, истинное дело любви Вл. Соловьев выводил к делу борьбы со смертью, к увековечиванию и преображению личностей, наконец, к воскресению всех прежде живших — для «высшего развития каждой индивидуальности в полнейшем единстве всех»[8]. Платоновские герои-преобразователи, более-менее смутно или, напротив, осознанно, внутренне движимы близким чаянием, но их идеал теряет ту главную опору, без которой не мыслили дело преображения мира и человека ни Федоров, ни Соловьев, а именно — веру в Бога, окрашиваясь в тона прометеизма. К тому же их исступленные практические попытки реализации своей мечты изобилуют именно тем, что тот же Соловьев называл «преждевременными, а потому сомнительными и неудобными подробностями»[9], которых особенно много в работе хирурга Самбикина, ищущего рецептов бессмертия.

Его гонит нетерпение сердца, пронзенного мукой смертного существования, ему кажется, что можно найти единую отмычку к загадкам бытия и тут же чудесно открыть источники радикального обновления природы человека. Самбикин «еще верил, что можно враз взойти на такую гору, откуда видны будут времена и пространства обычному серому взору человека». Механик Сарториус являет другой подход: медленный и осмотрительный путь познавания, опыта («проверить еще тысячу раз в эксперименте»), изобретения. И на поспешные теории Самбикина об «основной тайне жизни» (с одной из них хирург и пришел навестить механика на его новой службе в Республиканском тресте весов, куда тот устроился по просьбе Божко) Сарториус внутренне улыбается «наивности» собрата: «природа, по его расчету, была труднее такой мгновенной победы и в один закон ее заключить нельзя».

Но и Сарториус, и Самбикин с разных сторон решают одну задачу, вытекающую из их «заботы об окончательном устройстве мира». Сарториус работает с косным веществом, с железом, электричеством, предметами и силами природы и разными человече-

скими изделиями, выдумывая и реализуя новые умные и полезные вещи для людей. Самбикин же внедряется в «тесное, неимущее устройство всего тела» человека, пытаясь изменить его — что оказывается пока неизмеримо *сомнительнее* и *неудобнее.* Оставленный Москвой, ушедшей от него и его любви «в бесчисленную жизнь», Сарториус, жгуче тоскуя по ней, «покинул большую дорогу техники и забыл свою славу механика, которая могла бы стать всемирной» — начал свой путь *нисхождения* ко все большей забвенности и анонимности. Пока в готовой к близкой ликвидации конторе, глуша свое нестерпимое чувство к Москве, он день и ночь изобретает новые весы для республики, предмет хотя и древнейший, но идейно центральный для системы, где каждому должно быть точнехонько отмерено по его труду — «инструмент чести и справедливости, простая нищая машина, считающая и берегущая священное добро социализма, измеряющая пищу рабочего и колхозника в меру его творящего труда и хозрасчета», как в своем мессиански-социалистическом воодушевлении мыслит о нем Божко.

И Сарториус, и Самбикин — из чреды платоновских героев, выломившихся из обычной, размеренной нормы существования, — забывают и есть, и спать, — оба неуклюжие, дисгармоничные (разве что один короткий, а другой длинный), как бы *переходные* в какой-то новый тип человеческие существа. Вот характерное описание явления Самбикина к Сарториусу: «Самбикин, очевидно давно не спавший, не евший, изнемог и сел в отчаянии», и когда они оба, смирившись «от усталости», засыпают, не раздеваясь, при горящем свете, на одном казенном диване, их «сердце и ум продолжали заглушенно шевелиться в них, спеша отработать в свой срок обыкновенные чувства и всемирные задачи».

Наутро Самбикин везет Сарториуса в свой экспериментальный институт, чтобы показать свою работу по добыче из свежих трупов таинственного оживляющего вещества. Разворачивается дикая, шокирующая сцена расчленения мертвого прекрасного тела молодой женщины, изъятия из него сердца (для исследования на нем следов этого самого вещества), а затем обнаружения местоположения души где-то в «пустоте кишок». Таким экспрессионистическим образом Платонов устами своих героев выражает тот низменный факт, что до сих пор над людьми продолжает властво-

вать главный животный Владыка — Голод: «Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю». «Мы эту пустоту наполним, — надеется Сарториус, — тогда душой человека станет что-нибудь другое». В этом жутком эпизоде, подлинный смысл которого станет для нас яснее чуть позже, нагнетается постоянный платоновский мотив: загадка смерти, непостижимость перехода только что дышавшего и чувствовавшего человека, бывшего для кого-то бесконечно дорогим, в мертвую неподвижную плоть. (Здесь этот контраст усугублен прелестью и молодостью погибшей.) При виде мертвой девушки «с ясными открытыми глазами» механику «стало плохо; он решил из института бежать скорее в свой трест, явиться в местком и попросить какой-нибудь товарищеской помощи от *ужаса своего тоскующего сердца*». Именно этот ужас движет и безумной решимостью хирурга найти во что бы то ни стало запасное оживляющее вещество, «цистерну бессмертия», заключенную внутри человека. Странные желания, в которых так легко увидеть явное извращение, имеющее четкое медицинское название, посещают Самбикина, пока он анатомирует девушку: «Она хороша, — неопределенно произнес хирург; у него прошла мысль о возможности жениться на этой мертвой — более красивой, верной и одинокой, чем многие живые, и он заботливо обвязал ей бинтом разрушенную грудь», которую сам только что отрезал. В этой восьмой главе писатель еще только набрасывает тот мотив, что концентрированно развернется через две главы; тогда и у нас появится более обоснованная возможность найти, по какому ведомству его поместить: то ли сексопатологии, то ли чего-то совсем иного…

Между тем писатель вновь сталкивает читателя с уже намеченным ранее персонажем, удивительным вневойсковиком. После любви с Сарториусом за городом Москва Честнова, опять устремившись в неопределенное *вперед*, долгие часы бродит и ездит по столице-тезке, не имея никакой перед собой цели, наблюдая «мелкий мусор» всеобщей жизни и особенно остро чувствуя, что «люди ничем не соединены»[10]. В этот момент грустной оставленности Москва и отправляется к когда-то поразившему ее человеку. И тут Платонов углубляет этот уже эскизно им прочерченный человеческий тип и особый его выбор себя в грустном смертном

мире. Внутри себя Комягин (здесь впервые называется его фамилия) не ощущает ничего, кроме пустоты, порожнего спокойствия («Я человек ничто»), так тщательно вымел он свой внутренний мир от всякой мысли, чувства или желания, а как только нечто подобное зарождалось в нем, он тут же глушил его ростки, «например, усиленной жизнью с женщиной и долгим сном». Комягин принял свои меры против страдания и тоски сознающей себя смертной жизни — непрерывно гася любую работу сердца и ума. Когда-то он жил иначе: рисовал картины (правда, не дорисовав ни одной до конца), начинал писать и дневник, и стихи, оборванные на полуслове (кстати, ему Платонов отдает и отрывок из собственного юношеского стихотворения).

«И вот наступил август месяц одного из текущих лет. Шел вечер, распространяя по небу *удаляющийся долгий и грустный звук,* отчего в каждое открытое сердце проникала *тоска* и *сожаление.* В этот вечер Москва Честнова постучала в дверь Комягина». Остановимся на мгновение и вслушаемся в эту щемящую музыку *погибающей* в каждом своем индивидуальном создании ветхой, послегрехопадной природы — ею вибрирует каждая клеточка платоновского мира. От нее и закупорил все свои чувства Комягин, максимально анестезировав само свое чувство жизни: «Я ведь и не живу, я только замешан в жизни, как-то такое, ввязали меня в это дело <…> Но мне ничего неохота, я все забываю, что живу, а вспомню — *начинается жутко*», — объясняет он себя неожиданной прекрасной посетительнице. Как бы в продолжение этого объяснения он достает из-под кроватного хлама свою любимую, тоже им не оконченную картину, хотя мысль ее и настроение были выражены с полной очевидностью: там на пороге «безродного вида» большого дома, «в котором хранились наверно банки с вареньем, пироги и была деревянная кровать, приспособленная почти *для вечного сна*», некий «мужик или купец, небедный, но нечистый и босой», явно только что очнувшийся от сна, мочился с крыльца вниз и «глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет», а в надворной пристройке «пожилая баба <…> с выражением дуры глядела в порожное место на дворе». Такой явлен тут стоп-кадр с полуживотной, неподвижной, не помнящей себя жизни («все оставалось постоянным, дул ветер с немилых, ободранных полей,

и человек сейчас снова отправится на покой — спать и не видеть снов, чтобы уже скорее прожить жизнь без памяти»), и весь пассаж разворачивается как выверенный философский мотив грустного идиотизма подобного существования.

И далее Платонов не устает разыгрывать свой мотив: к Комягину заходит его бывшая жена, «истертая женщина, измученная с давних пор», и он просит Москву оставить их вдвоем для супружеской близости: «Она плохо пахла, рожала от меня детей, а дети умерли… Мы вместе с ней спали нечистые. Она мне стала как брат, она теперь худеет и дурнеет, — любовь наша уже превратилась во что-то лучшее — в нашу общую бедность, в наше родство и грусть в объятиях…» Москва — в противоречивой, волнующейся смене переживаний: ей и понятен этот жалкий вариант убогого человеческого утешения, и она даже готова на юродивую солидарность с такой участью, раз в ней пребывают ее бедные земные братья («Я когда-нибудь приду к вам и буду женой»), и вместе она отталкивается от Комягина как от «жалкого мертвеца», как от маленького земляного гада, каких она видела в детстве, внутренне протестует против самого существования таких людей («Из-за одного такого все люди кажутся сволочью, и каждый бьет их чем попало насмерть!»). В темном коридоре, прижавшись к канализационной трубе, Москва Честнова, «раздраженная и несчастная», слышит сквозь стену комнаты Комягина «звуки измученной любви и дыхание человеческого изнеможения», чувствуя «стыд и страх» и страшное биение сердца. Ее основной жизненный импульс — «разделить свою жизнь с кем-нибудь» (в идеале — сразу со всеми, со всем эсесером), что влечет ее по жизни и бросает в объятья другого мужского человека (как выразился бы Платонов), в этом нечаянном уродливом зеркале подвергается очередному испытанию. «Но когда она сама делала то же самое, она не знала, что постороннему человеку бывает так же грустно, и неизвестно отчего». А теперь она и это знает и вновь рвется отсюда — опять *не то* («Нет, не здесь проходит вдаль большая дорога жизни — не в бедной любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как это делает Сарториус»), — и надеется обрести, наконец, *самое то*.

Но писатель еще полностью не раскрутил свою идею, уже засвеченную в образе Комягина, более того — в этой же девятой главе

романа он идет к ее кульминационному обобщению, развернув блестящий образец мотивного мышления. Выйдя от вневойсковика, Москва двинулась к центру города, часто останавливаясь у окон домов и заглядывая в них, настолько ей была интересна эта многоликая жизнь людей, но постепенно «ей самой делалось все более печально»: «Все люди были заняты лишь взаимным эгоизмом с друзьями, любимыми идеями, теплом новых квартир, удобным чувством своего удовлетворения. Москва не знала, к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно». Ее неотступное желание слияния с другими, со всеми в какой-то вечной проникновенной дружбе — из области тех же метафизических чаяний, что и у мужских героев Платонова, обличающих их порыв в иной, за-земной, не эгоистически-смертный, не самостно-страстный, а прозрачно-всеединый, бессмертный тип бытия.

Между тем ей сильно захотелось есть, и она зашла в ночной ресторан, где заказала себе ужин, хотя и не имела денег. Образ этого ресторана предстает в романе настоящим философическим этюдом, изощренно разыгравшим до логического конца мысль писателя. «Все время оркестр играл какую-то безумную *европейскую* музыку, содержащую *центробежные* силы; после танцев под эту музыку хотелось свернуться телом в теплоту и лечь надолго *в тесный уединенный гроб*». Одна эта фраза, конечно далеко не в лоб, а тонким наведением, тяжела огромным идейным значением: европейская музыка — образ западного фундаментального выбора ценностей, где в центре — атомарный индивид, *центробежно* устремившийся в свою и только свою самость и интерес, финальный *тесный* гроб, — да, выхода из смертного порядка бытия здесь не предвидится, тут на него дано внутреннее согласие и устраиваются временно и по возможности комфортабельно в его пределах. Принятие дурной бесконечности последовательного вытеснения поколений, проходящих один и тот же удел, от рождения до смерти, лежащее в основе такого выбора и ветхой природной жизни, тут же воплощается в выразительном образе повторяющегося, зацикленного, *кругового* танцевального движения в *сферическом* же зале ресторана, который сам «словно вращался»: «здесь человек никак не мог вырваться из обычного — из *круглого* шара своей головы, где *катались* его мысли *по давно проложенным путям,* из

сумки сердца, где старые чувства бились как пойманные, не впуская ничего нового, не теряя привычного…» Писатель настойчиво выводит фигуру *круга,* обреченного и безотрадного вращения по нему («Многие гости забыли, где дверь, и в испуге кружились на одном месте посреди…», «музыка вращалась быстро, как тоска в костяной и круглой голове, *откуда выйти нельзя*»). В противовес этой фигуре встает другая, та, по которой живут платоновские герои-преобразователи: Москва вспомнила своих товарищей, в их груди «не вращалась эта сферическая, вечно повторяющаяся мысль, приходящая к своему отчаянию, — там была *стрела действия и надежды,* напряженная для безвозвратного движения вдаль, в прямое жесткое пространство». И когда один из новых ресторанных поклонников прелестной Москвы под один и тот же такт, что «играл и варьировал оркестр, как будто *катая* его по внутренней поверхности полого *безвыходного шара*», бормотал ей такую же круговую, «вековечную мысль о своей любви и печали, об одиночестве», то Честнова решительно прервала его: «Бросьте вы *буксовать* на одном и том же месте». А на его новый круговой заход с обращением к судьбе-уделу: «Мы рожаемся и умираем на груди женщины <…> так полагается по сюжету нашей судьбы, по всему *кругу счастья*» — Москва прямо выдвигает выбор-вектор своих товарищей: «А вы живите *по прямой линии,* без сюжета и круга».

Вырвавшись из сферического ресторанного пространства, весело отклонив предложение своего нового знакомого отправиться вдвоем за город, в поле, во тьму (она только что была там с Сарториусом — так что ей предлагался новый *круг* того же), напоенная ощущением молодой силы и свободы, Москва Честнова двинулась жить дальше *по прямой линии,* а та привела ее к строящемуся метрополитену, что пригласил ее плакатом к себе. «Быть везде соучастницей» — вот что движет нашей героиней, и она тут же откликается на этот трудовой зов, на какое-то время заполнив свою счастливую «неопределенность жизни» необходимой людям конкретностью. Тут, в шахте метро, и оставляет ее писатель, оставляет на несколько месяцев — с августа до зимы, не заботясь что-то рассказать нам о ее будничной, обычной жизни — до новой беды, новой пограничной ситуации, когда само ее существование, как когда-то в загоревшемся парашюте, вновь повиснет на волоске.

А в следующей, десятой главе романа Платонов вновь обращается к Семену Сарториусу, который за это время, не имея никаких вестей о пропавшей дорогой женщине, уже изобрел и оригинальные точные весы, и еще кое-что, но так и не сумел справиться с тоской своего сердца, «со своим узким, бедствующим чувством, беспрерывно любящим Москву Честнову». Душевные недра его пропитаны «неотвязным отчаянием тоскующего чувства», но и на этом фоне идет непрерывная работа размышления о самых проклятых вопросах, которые встают перед ним так остро, нудя к немедленному разрешению, что у него вырывается вслух: «Не приходи, Москва, мне сейчас некогда…» Гениальный механик, он чувствует конструкцию и жизнь машин изнутри до последнего шурупчика, до их мучения на изнурительной службе неугомонному городскому человечеству. И высшую свою задачу он формулирует для себя в точном, как механизм, разрезе — «определить внутренний механический закон человека, от которого бывают счастье, мучение и гибель». Но при этом он глубже Самбикина глядит в «существо дела» — в самого человека: вряд ли голодные кишки — душа человечества, «страсть жизни», «их сосущее чувство вполне рационально и поддается удовлетворению», если бы это было так, род людской давно бы сумел гармонизировать свою природу и двинуть ее вперед, и «всемирная история не была бы так долга и почти бесплодна». Какая-то иная, темная иррациональность, «что-то другое, более скрытое, худшее и постыдное» гнездится в естестве человека и распяливает его на дыбе его парадоксальной, трагической и подлой природы.

Что же это такое, что за «скверное лежит» в нашем теле, как выражается Виктор Божко в разговоре с Сарториусом о душе? И тут наш весоизмеритель и эсперантист к месту вспоминает, как в первой молодости его посещало одно и то же желание: пусть все на свете умрут, и он останется один среди всех земных богатств и с ним «одинокая красивая девушка» для неразлучной жизни. Все разлучает на этой земле: обстоятельства, случай, капризы и непостоянство того, кого избрало твое сердце, все другие — соперники на любовной и вообще жизненной дорожке, а так — радикально всех убрал, расчистил место, нет вариантов, только Я и Она и все вокруг только Мое — вот она, наивно-злодейская, маргинально-«философская» (а-ля доморощенный, усугубленный Штирнер)

юношеская греза. На это Сарториус, вообразив Москву, подтвердил: «Как мы все похожи, один и тот же гной течет в нашем теле!» Тут герои выходят на поддонные струи, круче, чем борьба за пищу, замешивающие человеческое бытие: эгоистическую самость, единственное «я», когда все остальные предстают как нечто немыслимое и невозможное, как чуждые, мешающие *вещи*, да плюс страшной силы инстинкт обладания тем *другим,* кем ужалены твое чувство и страсть. Так и чуть позже, когда Божко, вынеся вопрос о личном горе механика на президиум месткома, подсунул ему полненькую девственницу с традиционно собственнической хваткой в любви — машинистку Лизу, чтобы отсосать его боль и тоску по Москве, эта Лиза, чтобы на ее любимого, как на урода, уже никто, кроме нее, не посягнул своим чувством и вниманием, «думала о том, чтобы как-нибудь безболезненно и незаметно испортить наружность Сарториуса». Ей страстно хотелось, чтобы он «для всего мира стал ненавистным», и даже когда он улыбался кому-то во сне, «у Лизы показывались слезы от горя ревности и нарождающейся ярости». Недаром герои романа, мечтающие преодолеть ветхую природу человека, так борются с такими чувствами в себе, так стремятся к выходу в другого как в продолжение своего «я», в какое-то смутно чаемое единство всех со всеми.

«Надоело как-то быть все время старым природным человеком: *скука* стоит в сердце», та самая скука, которой пронизано все ощущение мира и себя в произведениях Платонова (в одной этой главе и дожди «скучные», и Сарториусу «скучно и ненавистно»), — метафизическое чувство, обличающее маяту, тягостность, недолжность падшего, смертного бытия. Сокровенные герои писателя (а «душевный бедняк» всегда ядро их образа) остро ощущают фундаментальную смертную бедность человеческого бытия и как будто стремятся содрать с себя все обычно маскирующие ее покровы: скажем, уйти с какого-то выдающегося, видного места в жизни в самую жалкую земную участь, не заботящуюся о красоте одежды или жилища, а во внутреннем самоощущении редуцироваться до «однообразного тела», единственной бренной и временной собственности, и тем самым наиболее точно явить, без всяких иллюзий и прикрас, самую суть нашего *заимствованного,* преходящего, бесследного бытия.

И это поразительное самоощущение *скучного* послегрехопадного статуса бытия у Платонова глубоко и абсолютно серьезно; отнять его у него нельзя, и как ни дистанцировать платоновских героев от него самого (что неверно, если делается радикально), их навязчивые идеи, их преобразовательные порывы не отбросить как сплошную нелепицу: да, они могут искажаться ценностями эпохи, могут быть замутнены, могут принять нелепо-гротескную форму, но импульс, их движущий, для самого Платонова абсолютно законен и истинен.

И социализм для них оправдан лишь тем, сумеет ли он не только устроить на более разумных, управляемых началах социальный мир или даже стихийно-природный (в смысле горьковского «права на погоду»), а прежде всего отрегулировать скорбное, жалкое, самоистребительное устройство самого человека. «Ведь и вправду, — рассуждает Божко, — пусть весь свет мы переделаем, и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо девать!..» И выясняется, что этот воодушевленный эпистолярный проповедник социалистического мессианского сознания «давно втайне боялся за коммунизм: не осквернит ли его остервенелая дрожь, ежеминутно поднимающаяся из низов человеческого организма! Ведь древнее, долгое зло глубоко въелось в жизненную плоть, даже само тело наше есть наверно одна сплоченная терпеливая язва или такое жульничество, которое нарочно отделилось от мира, чтобы победить его и съесть в одиночку». Как ни удивительно, но эти атеисты и поклонники новой системы оказываются удивительно близки религиозно-философской критике социалистического идеала, преодолевая (по-своему, в своем душевно-юродивом размышлении) то, в чем она упрекала этот идеал, — а именно: мелкий, чисто социологический диагноз причин зла в человеке. Их, как если бы они были людьми христианского сознания, пронзает глубокая внутренняя порча послегрехопадной природы человека («скверное», «язва», «гниль»), фундаментальная противоречивость и несовершенство ее. Сам успех или провал мировой идеи и практики социализма Сарториус меряет онтологическими весами, где гиря успеха предполагает совсем другую антропологию, включающую и требование творческого преображения природы человека: «Теперь — необходи-

мо понять все, потому что либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впиться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком».

А тем временем постоянно угрожающие жалкому, беззащитному устройству человека смертоносные силы показали себя в отношении самого воплощенного средоточия жизненности и прелестной женственной человечности — счастливой Москвы: в глухом подземном проходе метро, где она трудилась шахтером, на нее наскочили вагонетки и раздробили, смяли правую ногу выше колена. Истекавшую кровью молодую работницу привезли в институт Самбикина как раз в ночь его дежурства. Хирург сидел за столом, на нем лежал тот самый оперированный им мальчик, но уже накануне умерший. «Самбикин в долгом одиночестве гладил голое тело умершего, *как самую священную социалистическую собственность*, и горе нагревалось в нем, пустынное, не разрешимое ничем». Не случайно, что именно в этот момент его пронзенное детской смертью сердце производит существенную коррекцию уже известной нам идеи: он понял, что исследуемое им жизненное вещество, «неистраченный заряд живой энергии» надо попытаться направить на восстановление самих умерших: «Самбикин был убежден, что жизнь есть лишь одна из редких особенностей вечно мертвой материи и эта особенность скрыта в самом прочном составе вещества, поэтому умершим нужно так же мало, чтобы ожить, как мало нужно было, чтобы они скончались». До того как привезли Москву, он и пытался из «мертвой материи» мальчика «выбрать <…> то малоизвестное веселое вещество, которое было припасено для долгой, но не случившейся жизни».

Его занятия кажутся какой-то невероятной дикостью, безумием, кощунством, гротеском. Такова, на первый взгляд, и сцена проведенной им ампутации потемневшей, с набухшей «мертвой кровью», ноги Москвы Честновой. Сначала разворачивается излюбленный мотив Платонова: предсмертные или в тяжкой болезни, под наркозом видения его героев, всегда густо насыщенные

философским настроением, авторской мыслью. Пока Самбикин отрезал ее ногу, ей представлялось, что она бежит по улице «вниз к пустому морю, где кто-то плакал по ней», а по пути ее терзают животные и люди: первые рвут куски ее плоти и сжирают, вторые сдирают с нее одежду, вцепляются и не пускают уйти, вот уже и кости начинают с хрустом вырывать встречные дети, а она все бежит и бежит с единственным желанием — «лишь бы уцелеть, хотя бы в виде ничтожного существа из сухих костей». В таком кошмарном сгущении явился героине закон взаимного пожирания и вытеснения, царящий в мире. Такова и сила внутренней жажды существования в человеке — уцелеть, не пропасть, сохранить высшее благо — жизнь, хоть и в самом сокращенном, жалком виде.

Когда Москва очнулась, то оказалась укороченной лишь на одну конечность, жадный мир пока пощадил ее и не сглодал до костей, не сгноил до легкого, бесчувственного праха. «Ее обнимал Самбикин и пачкал кровью ее груди, шею и живот», он «поцеловал ее в рот», угарно дышащий хлороформом. Его любовь к Москве так исступленна, что это его не останавливает: «он мог теперь дышать всем чем попало, что она выдыхала из себя». Ее отнятую ногу он отослал к себе домой на хранение, как часть дорогого человека, хотя Москва резонно сказала о себе: «Я не нога, не грудь, не живот, не глаза, — сама не знаю кто…» И когда через день Москва была уже на пороге смерти («начался жар и пошла кровавая моча»), Самбикин, обезумевший от любви и «нестерпимого горя», решился на первый практический опыт по реализации своей идеи: он приготовил «таинственную суспензию» из «сердца и шейной железы умершего ребенка <…> и впрыснул ее в тело Честновой». На следующий день бессонный и тоскующий хирург, встретив «худую, дрожащую женщину», мать этого мальчика, вместе с нею хоронит ребенка «с пустой грудью в гробу», чья запасная жизненная сила спасла пока не его, а только Москву Честнову. Новые стороны и глубины человеческого существования коснулись нашего искателя: «Неизвестная, странная жизнь открылась перед ним — жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и в привязанности. Эта жизнь была настолько же велика, как жизнь ума и усердной работы, но более безмолвна».

Зададим себе еще раз вопрос: действительно ли многие действия Самбикина столь уж странно-патологичны и дики? Возмож-

но, да, если оставаться на уровне сознания эпохи, ведущей свою интеллектуальную родословную от Карла Маркса или — расширим — от эпохи Возрождения, Нового времени, но стоит пойти вглубь веков, в животворящую мифологическую архаику, ставившую проблемы жизни и смерти со смелым, ошеломляющим материализмом и даже физиологизмом (а именно в ее духе часто творил Платонов), то вид вещей сильно меняется. Вспомним древний Египет с его удивительной погребальной, воскресительной культурой, озабоченной сохранностью целостной телесности умершего (мумификация). Один из центральных сюжетов египетской мифологии рассказывает о том, как злой бог пустыни Сет обманом погубил своего брата Осириса, закупорил его в ящик, залил свинцом и бросил в воды Нила, а верная супруга и сестра Осириса Исида нашла его мертвое тело и извлекла из него некую мощную жизненную силу, с помощью которой она зачала от него сына Гора, который позднее воскресил отца (по другим изводам мифа Исида сама воскрешает Осириса). Наш Самбикин в своих исканиях — с интервалом в несколько тысячелетий — как будто идет по следу египетской богини. Многие шокирующие действия платоновского хирурга — со всем их крутым натурализмом и физиологизмом — дышат древней мифологической, материальной, телесной мистикой. Невозможно понять платоновского героя (и стоящую за ним авторскую мысль) в кругу обычного, профанического или суженно-культурного сознания, которое может их легко заклеймить болезнью, патологией, некрофилией. Надо лишь учесть капитальный факт: некрофилия, как известно, движима импульсом к разрушению и смерти, а Самбикин, напротив, — к восстановлению и воскрешению, к преображению человеческого тела.

И разве всякое любовное, сострадательное внимание к трупу является признаком некрофилии? Вспомним — при всех понятных бесконечных дистанциях и пропорциях — высочайший Богочеловеческий образец: *слезы* и *скорбь* Христа при виде уже засмердевшего Лазаря, прежде чем Он совершил Свое воскресительное Дело Дел, из чреды тех Его дел оздоровления природно-смертного бытия, о которых Он говорил: «верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14, 12), явив их тем самым как *задание* облагодатствованному, вставшему на путь обоже-

ния человечеству. Правда, в случае с платоновскими героями-преобразователями тут вся и загвоздка; у Христа сказано: «верующий в Меня», т. е. действующий в потоках Божественной благодати, в соработничестве с Богом, а тут Божественная инстанция вовсе выпала (точнее, была выбита из сознания научением эпохи) — отсюда то скучное томление, тоскливо-безнадежный фон богооставленности, бытийственной безосновности, почти экзистенциальной заброшенности и абсурдности, на котором так малоубедительно взмывают и опадают все онтологические дерзания героев.

К концу романа, по существу, остается только этот фон, «заунывный процесс неизменного существования». Если вначале там-сям пробивалась радостная, подъемная мелодия энтузиазма: молодые строители, непочатая энергия преобразования, мечты, взгляд вдаль — *все сможем,* то постепенно смертная жизнь, законы материально-физического мира скручивают всех, идет неуклонный процесс избывания себя, ухода от активной деятельности, забвенности, разочарования, упадка. Мы это увидим буквально на всех персонажах романа. Причем сам этот процесс писатель в целом спрессовал в два годовых круга действия.

На какое-то время Семен Сарториус попытался вписаться в обычный удел человеческого счастья — с машинисткой Лизой («жил легко и даже весело, предаваясь любви, посещению театров и текущим удовольствиям»). Но уже к зиме, когда Москва попала в аварию, его перестали интересовать и весы, и звезды, которые он научился «взвешивать на расстоянии», но все еще не умирает в нем влечение в «тайну человеческой жизни» — потребность «найти для каждого тела человека еще не существующую, великую жизнь» (хотя все это только внутренняя, какая-то уже малодейственная мечта). Постепенно о Сарториусе забыли его прежние товарищи, он «потерял славу всесоюзного инженера», его выписали с места жительства, и он поселился в своем малозначительном учреждении, механически глуша работой «болящую тоску чувства» все к той же Москве Честновой, исчезнувшей для него в реальности; он видит ее лишь во сне «жалкой или уже усопшей, лежащей в бедности последний день перед погребением», т. е. в последней своей, разоблаченной от всех покровов *истине,* в последнем остатке ее на земле. (Отметим этот постоянный платоновский мотив.) В любов-

ную близость с Лизой он бежал от «тоски и нестерпимости, лишь бы утомиться и переменить мысли», после нее «долго спал *с испитым сердцем* и просыпался *в отчаянии*. Москва Честнова была права, что любовь это не коммунизм (будущее) и страсть грустна».

Этот мотив, уже рассмотренный выше, продолжает развиваться и углубляться дальше, становясь на какое-то время сюжетообразующим элементом романа. И вращается этот мотив вокруг Москвы как воплощения неотразимо влекущей женственности. Между тем всю зиму пожелтевшее и высохшее тело героини медленно выскребывалось к жизни, к новому весеннему возрождению — вместе с природой за окном клиники, «с голыми худыми деревьями». В конце апреля Самбикин увез ее к себе «на новых прочных костылях» (больше ей идти было некуда, хотя внутренне она решила, что как «хромая баба» она теперь выйдет замуж за Комягина), а затем на юг, к морю. Но и здесь, хоть на протезе и с тростью, Москва — в окружении «полнеющих на отдыхе мужчин»; такое волнующее эротическое облако носит она вокруг себя, что пишут они на ее трости свои инициалы и «символы безумных страстей», выдававшие одно: «как бы они хотели рожать от нее детей». Даже какой-то старый горец, засмотревшийся на прелесть Москвы, принес ей совсем не по сезону, в весенний день, откуда-то корзину винограда, удовлетворив ее внезапную, сильную блажь, появившуюся в ней после болезни «в виде нетерпения по поводу какого-нибудь пустяка», а с ней в придачу в тряпочке свой ноготь с большого пальца, так объяснив ей свой странный дар: «Мне шестьдесят лет, поэтому я дарю свой ноготь. Если б мне стало сорок, я бы принес свой палец, а если б тридцать, я тоже отнял бы себе ногу, которой и у тебя нет». Таким сильным, элегантно-кавказским, страстно-притчевым манером еще и еще раз обличается огромная мощь любовного влечения к другой прекрасной половине, в том числе и в цельном, близком к природе человечестве. Свою пытку любви проходил и городское дитя, хирург Самбикин: «его внутренности болели, точно медленно сгнивали, и в опустевшей голове томилась одна нищая мысль любви к обедневшему, безногому телу Москвы», он часами бродил в прибрежной роще, умоляя «всю природу отвязаться от него и дать наконец покой и работоспособность», и кончил тем, что перевел свое мучительное чув-

ство из сердца в голову на правах «умственной загадки», бросил Москву, чтобы предварительно — до возможного уже навеки воссоединения с ней («до смертного сожжения») — посвятить себя ее разгадке: «решить в стороне всю проблему любви в целом».

В таком состоянии «полной задумчивости по поводу всех важнейших задач человечества» для достижения «всемирной ясности и договоренности по всем пунктам счастья и страдания» и нашел Самбикина одним зимним днем (так что прошло уже более полугода с кавказской поездки) зашедший к нему домой Семен Сарториус, уже отчаявшийся найти Москву (ее не было «ни в натуре, ни по справкам в адресном столе»). Тут он и узнал от хирурга, что Москва вышла-таки замуж за Комягина и даже фамилию свою сменила и, получив ее адрес, отправился в тот самый двор в глуши Бауманского района, где когда-то искала вневойсковика Москва. Только что отстроенный Институт экспериментальной медицины сверкает за забором электрическими огнями, а вот старый скрипач — как все в мире этого романа — пришел к своему финальному упадку: он уже не играет для людей, а сидит с шапкой и смычком, собирая себе милостыню как пенсию.

Сарториус входит в коридор коммунальной квартиры и становится напротив двери комнаты Комягина, прислонившись к канализационной трубе, как когда-то Москва. Происходящее в комнате вневойсковика мы слышим его ушами. Вся сцена, занимающая предпоследнюю, двенадцатую главу романа, пожалуй, самая в нем театрально-экспрессионистическая, вершина его гротесково-юродивой поэтики. Мы слышим разговоры Москвы с ее «мужем-сожителем»: и выясняется, что он и был тем человеком, что бежал с факелом в темную октябрьскую ночь под «таким низким небом, что некуда <…> дышать». Развенчивается вся героика и трагизм детского шокового впечатления: все, оказывается, было гораздо прозаичнее, а реальный прототип этой травмы — вовсе не погибший мученик, а вот он рядом с ней, жалкий, истершийся человек («Ты теперь сгорел и обуглился»), в чем он охотно сам признается: «Я исчезаю, я старая песня, мой маршрут кончается, я скоро свалюсь в овраг личной смерти». Москва (ее Комягин называет Мусей) все скрипит и гремит своей деревянной ногой, сопит, раздеваясь ко сну, честит последними словами своего мужа

(«Ты слепой в крапиве»), не пускает его в постель к себе («Я тебя вот поласкаю! — грозно отозвалась Москва. — Я тебя сейчас деревянной ногой растопчу, если ты не издохнешь!») и требует от него добровольного изъятия себя из жизни («Хватит тебе жить, умри по-геройски, — как ехидна, настойчиво предлагала Москва»). Комягин ведет себя при этом очень кротко, он готов немедленно умереть, правда, предварительно на всякий случай проверяет облигации: вдруг он выиграл крупную сумму и сумеет более правильно и законченно дорулить свою жизнь. Как приговоренный к казни, он получает немного времени — напоследок вспомнить былое, но ничего, кроме однообразно сменяющихся времен года да погоды, не встает в его памяти. Он просит свою Мусю укрыть его голову поплотнее толстым одеялом и перевязать еще бечевкой потуже для прочности результата. Стуча деревянной ногой и вздыхая, Москва просто и естественно производит все эти дикие действия и укладывается дальше спать.

Всю эту бредовую ночь влюбленный механик стоит в коридоре, став свидетелем не только событий в комнате Комягина, но и коллективной низовой жизни коммунальной квартиры: где-то слышатся «закономерные звуки совокупления», сипит бачок в уборной, по канализационным трубам спазматически проталкиваются потоки нечистот, кто-то одиноко кричит в сонном кошмаре, а кто-то вымогает у Бога в молитве «чего-нибудь фактического» (так разворачивается один из мотивов жизни большого города, но не в обобщенной панораме, как в других местах романа, а, так сказать, в узко-утробном разрезе). Сарториус терпеливо томится и ждет только одного, что Комягин умрет и он сможет войти к Москве и быть с ней только вдвоем, как когда-то за городом. И когда это все же происходит, мы уже вместе с ним не просто слышим, но и видим эту гиньольную мизансцену: горит яркий электрический свет, Москва на кровати под простыней, на полу, на подстилке из старых «Известий» 1927 г. недвижно лежит завернутый с головой в одеяло Комягин с высунутыми пальцами и пятками ног в продранных носках. Сарториус пробует эти пальцы и пятки: да, ледяные, «наверное умер», и ложится в постель обнимать Москву.

Москва уже несколько сломлена и ожесточена жизнью, ее образ теряет свою прежнюю всепобеждающую лучистость, сама себя она

называет «хромой, худой и душевной психичкой» (этим объясняя Сарториусу, почему ей «стало совестно жить среди прежних друзей, в общем убранном городе <…> поэтому она решила укрыться у своего бедного знакомого, чтобы переждать время и снова повеселеть»), особенно же в отношении к Комягину явно нагнетается в ее облике какая-то ипостась стервы, мегеры, «ехидны», чуть ли не бабы-яги, костяной ноги. Но для Сарториуса она «прежняя, любимая Москва, еще более милая и сердечная для него, что счастье и слава ее временно остановились», он проводит с ней, то плачущей, то стыдливо прячущей свою деревянную ногу, время до рассвета, и когда она засыпает, лицо ее смотрится как «прелестное», «мирное и доброе, как хлеб».

Причудливо-балаганным увенчанием эпизода становится оживший, точнее, так и не умерший Комягин (исхитрился не задохнуться под одеялом), терпеливо пролежал он на полу, не двигаясь и не завидуя, «свидетелем вновь сбывшейся любви Сарториуса», а к утру совсем «застыл» и запросился в постель к своей Мусе, на что та «открыла один глаз и сказала: “Ну ложись!”». «Комягин начал освобождаться от удушающего его одеяла, а Сарториус ушел за дверь и в город без прощанья». Абсурдистский театр этой сцены романа с ее лубочно-*жестокой* комикой — жена с любовником на постели, а придушенный муж в углу — разыгрывает важнейший мотив романа, который в конце так внутри себя резюмирует герой: «Сарториус понял, что любовь происходит от не изжитой еще всемирной бедности общества, когда некуда деться в лучшую, высшую участь».

Здесь изувеченная, «душевная психичка», *падшая* в жалкий декор Москва — вновь в своем главном сюжете, о котором уже говорилось ранее. Она ведь не изобретатель, как Сарториус, не экспериментатор над человеческим телом, как Самбикин, она — особая женственная ипостась нового героя, рвущегося в счастливую общую жизнь. И главное ее испытание — то любовное физическое слияние, которое ей предлагают мужчины. Она острее всех их ощущает несовершенство половой любви, не достигающей желанной цели[11]. Отъединение людей друг от друга не исчезает, как не отступает (особенно у мужчин) тоска любви, неутоленная жажда преображающего единения с другой, бесконечно дорогой полови-

ной. И герои отходят после — с глубокой печалью, стыдом, скукой. Когда Комягин, имея в виду свою частую любовь с женщинами, говорит: да разве это счастье, «не счастье, а бедность одного вожделения! Любовь ведь горькая нужда, более ничего», — Москва единственный раз — среди потока оскорблений мужу — признает: «Ты ведь не очень глуп, Комягин!»

Да, Комягин совсем не глуп, и даже по-своему глубок, являя собой особый *тихий* вариант метафизического бунта против законов этого природно-смертного, *скучного* мира. Вспомним таких же бунтарей у Достоевского, правда, другой, гораздо более надрывно-громкой ноты, (к примеру Ипполита Терентьева из «Идиота»), что решительно отказываются принимать существование «на таких насмешливых условиях», в которых фигурирует некая «гармония целого» и при этом их личное окончательное уничтожение. А вот логически-«неотразимые» рассуждения идейного самоубийцы из статьи «Приговор» («Дневник писателя», октябрь 1876 г.): «…какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то своих вечных законов? <…> *сознающего, стало быть, страдающего* <…> я не могу быть счастлив <…> ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос»[12], — что приводят его к решению истребить если не природу (что ему, увы, не подвластно), то хотя бы «себя одного, единственно от *скуки* сносить тиранию, в которой нет виноватого»[13]. Комягин тоже на свой лад возвращает обратно свой билет на человеческое существование, «сознающее, стало быть, страдающее», тем, что систематически, своими средствами заглушает это сознание, культивируя полуживотную жизнь, да и готов, как мы только что видели, и вовсе из нее устраниться.

В завершающей главе романа Сарториус случайно встречает Комягина в городской толчее Каланчевской площади. В только что описанной сцене они ведь так и не увидели друг друга, хотя находились рядом в общей интимной причастности к одному существу, так что когда «какой-то туманный человек» обратился к Сарториусу с просьбой указать ближайшее учреждение по производству гробов, тот лишь вспомнил, что где-то слышал голос этого человека. На любопытство Сарториуса по этому поводу неизвест-

ный вынул паспорт с фамилией Комягина, пенсионера, но и эта фамилия ничего не сказала механику. Гроб ему — как объяснил прохожий — нужен не для близкого человека, жена у него еще жива, только сама от него ушла (последняя в романе весточка о Москве, так и не опознанная самим Сарториусом, — опять двинулась она куда-то в даль жизни…), а для него самого, ему хочется заранее проиграть на себе «весь маршрут покойника» во всех мельчайших деталях, чтобы в точности узнать, «чем завершается в итоге баланс жизни: где и по какой формальности производится окончательное исключение человека из состава граждан». «Мне хочется, — вдалбливает он свою мысль встречному человеку, — заранее пройти по всему маршруту — от жизни до полного забвения, *до бесследной ликвидации любого существа*». Вот оно, самое страшное, что ждет всех, «бесследная ликвидация», общество отделывается поспешным ритуалом, и жил ли, не жил — волны жизни смыкаются над покойным, ничего не оставляя на поверхности от человека. Подобную мысль любой нормальный гражданин будет всячески гнать от себя, стараясь чем-нибудь зацепиться в бытии: какими-то делами-свершениями, детьми… (но надолго ли эта зацепка?), а каков наш жалкий Комягин, ну просто бесстрашный, стоический метафизик — до упора убедиться, что вот именно так, в таком буквальном порядке он исчезнет как никогда не бывший. Так в последней точке романного внимания к судьбе этого весьма немаловажного персонажа пробивается его суть: скрытая, глубинная *оскорбленность* самим порядком бытия, уделом пропащести и бесследности, поданная здесь в такой вроде смиренной, но на деле юродиво-обличающей форме. Эта оскорбленность оказывается у него общей с героями-преобразователями, только, в отличие от них, лишенной всякой надежды и дерзания на какое-то изменение порядка вещей в космическом и человеческом мире.

Интересно, что последний герой, с кем оставляет нас Платонов в финальной, тринадцатой главе «Счастливой Москвы», Семен Сарториус находит свой личный вариант солидарности с этим пропадающим в безвестности и уходящим в бесследность большинством живущих. Еще сразу же после любви с Москвой на кровати Комягина он особенно почувствовал свое одиночество, разъединенность с теми миллионами людей, что уже «зашевели-

лись на улицах, неся в себе разнообразную жизнь», а также свою неизбывную втиснутость в собственное «однообразное тело», что так легко может «лечь в угол», как предполагавшийся мертвец Комягин. И тут Сарториуса осенила новая мысль, возможность расширения и преодоления себя — «нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей», вникания «во все посторонние души»[14]. Глазами героя возникает образ Москвы уже не женщины, а «любимого города» (впрочем, связь обоих очевидна, по вариантам к роману, отец называет девочку как раз в честь «города чудного <…> очага центрального, очага родины»), города, «каждую минуту растущего в будущее время, взволнованного работой». Вот бы научиться этой силе самопревосхождения и обновления — и Сарториус решает: «Стану как город Москва».

Оставив и машинистку Лизу, и весоизмерительную службу (тем более, что она и сама благополучно закрылась), начав вдруг слепнуть (врачи, приведенные к нему Самбикиным, нашли причиной его заболевания «отдаленные недра тела, возможно — сердце») и пролежав целый месяц дома в процессе «какого-то «неопределенного превращения», он вышел в мир с новым «наболевшим зрением»[15] и уже твердым решением. Он бродит по городу, нося «свое тело как мертвый вес, — надоевшее, грустное, пережитое до бедного конца», непрерывно всматривается в лица встречающихся людей, примериваясь, кем бы ему стать: «его томила, как бедное наслаждение чужая жизнь, скрытая в неизвестной душе», и он пытался представить ее в своей голове и почувствовать в сердце.

Мотив выхода в другого, солидарности с участью самого маленького, забвенного человечка (вплоть до буквально реализующегося в романе принятия на себя чужого имени и судьбы) становится главным сюжетообразующим элементом финальной главы романа. По своему содержательному составу этот мотив очень непрост, намешано в него много: и столь важный в свете высших *соборных* чаяний преображенного мира импульс выхода в ты-бытие, восчувствие другого не как чуждой, а то и враждебной вещи, а как самого себя, но вместе — в радикальном варианте Сарториуса — и бегство от себя, желание спрятаться от своей экзистенциально-смертной трагедии, от собственной задачи, и, кстати,

элемент какой-то личной, проигрываемой на персонаже, платоновской психотерапии в годы, когда, возможно, безопаснее всего было исчезнуть и пропасть в какого-нибудь Груняхина, как его герой. Довольно зловещий подтекст огромной тенью бдительного Командора сквозит как раз в том месте и моменте, когда бывший великий изобретатель воображает, в кого бы ему нырнуть, в кого перевоплотиться: «улыбающийся, скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются».

Но все же самый глубинный метафизический пласт этого мотива обнаруживается в сцене посещения Сарториусом Крестовского рынка, вылившейся в блестящий гротескно-лирический этюд. Писатель представляет барахолку как последний жалкий сток ушедших в неразличимость человеческих существований, оставивших после себя лишь разрозненные, прошедшие через множество рук, анонимные вещи, от таких, что «потеряли свой смысл жизни, — вроде капотов с каких-то чрезвычайных женщин, поповских ряс, украшенных чаш для крещения, сюртуков усопших джентльменов, брелоков на брюшную цепочку» до «носильных вещей недавно умерших людей <…> и мелкого детского белья, заготовленного для зачатых младенцев», так и не родившихся по какой-то причине. Подробно описан особый ряд, где продавались портреты «давно погибших мещан и женихов с невестами уездных городов», привлекший особое внимание героя. Он долго стоял, рассматривая их и представляя, как их надмогильными камнями «уже вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое краткое поколение топчет где-нибудь надписи» с их полными именами, отчествами и фамилиями, указанием их бывшего места в жизни и наивными эпитафиями. То, что совершает далее Сарториус, купивший себе тут же на рынке новый паспорт на имя некоего «уроженца города Нового Оскола Ивана Степановича Груняхина, 31 года, работника прилавка, командира взвода в запасе», — это буквально реализованный, если хотите, символический, жест солидарности с тем большинством человечества, чье последнее надгробное запечатление (какая-нибудь «девица Анна Васильевна Стрижева» или «купец 2-й гильдии города Зарайска Петр Никодимович Самофа-

лов») уже стерлось ногами новых поколений или скоро сотрется. В системе воскресительного и жизнетворческого идеала писателя здесь есть и внутренний бунт, подсознательно реализованный героем романа, против единственно пока принятого и почитаемого человечеством идеала культурного бессмертия, выносящего из забвения лишь немногих выдающихся и избранных. Этот удивительный порыв — взять да соскочить с поезда своей жизни, может быть, мчащего тебя к славе, на каком-нибудь заброшенном полустанке и кануть там бесследно («сейчас скроюсь и пропаду среди всех» — так это звучит в душе бывшей инженерной знаменитости) — этот порыв не раз возникает в творчестве Платонова, являясь одним из его постоянных мотивов.

Здесь, в «Счастливой Москве», Сарториус добровольно превращает свою жизнь в иллюстрацию этого порыва: обласканный страной изобретатель, на пороге мировой славы, он уходит с видной, блестящей авансцены в малозначительный служебный угол, а затем и вовсе сбрасывает с себя свое ярко-театральное, латинское имя, чтобы пропасть под тусклой и пошлой фамилией Груняхина. Так наступает его вторая, другая жизнь: он поступает на работу, как и полагается «работнику прилавка», по пищевой части на какой-то «незначительный завод в Сокольниках», исполняет ее «с честью и усердием», а по вечерам, «томимый одиночеством и свободой», бродит по бульварам, изредка домогаясь у ночных, сонных кондукторш последних трамваев кусочка «частной, текущей бесследно любви». Постепенно он увлекается и своей работой (всячески ее усовершенствуя и украшая), и культурным досугом: собиранием и чтением книг по философии; начал он заботиться о своей внешности и еде и даже «мечтать о любящей, единой жене». Судьба Груняхина все больше входила в свои права, хотя он и стал через некоторое время скромным дежурным инженером, используя навыки своего прежнего существования.

Однако вскоре жизнь подбросила еще оставшемуся под Груняхиным Сарториусу новый выбор. В его рабочем соседстве произошла драма: некий красавец, старший монтер Костя Арабов, увлекшись «бригадиршей, французской комсомолкой Катей Бессонэ-Фавор», бросил свою прежнюю жену и двух сыновей восьми и одиннадцати лет, и старший мальчик «застрелился из оружия соседа». Как объ-

яснил Груняхин потрясенной француженке-разлучнице: «природа более серьезна, в ней блата нет», ее не перехитришь — положил Костя на один конец рычага немного «бесплатного золота» любви прекрасной девушки, а для равновесия его понадобилась «целая тонна могильной земли, какая теперь лежит и давит ребенка». И вот сам Груняхин бросился что-то уравновешивать в чужом, кромешном горе: он делает предложение совершенно ему незнакомой, раздавленной жизнью, ожесточенной, осиротевшей матери и остается с ней жить. Эта женщина, Матрена Филипповна Чебуркова, с «лицом некрасивым и нелепым до жалости», с «бесцветными глазами», «умолкшими от одинокого труда по домашнему хозяйству», опавшими грудями и костистым мужским телом, с неутихающей болью по сыну (в которой, однако, все больше накоплялось «темного упоения своей скорбью»), изживала на своем нечаянном муже «собственное раздраженье и несчастье», была к нему болезненно требовательна и жестка, колотила чем попало, стоило ему чуть опоздать с работы домой. Да и второй, малолетний, но уже видавший виды сын Семен, держит Груняхина в строгости, грозясь ему, что не так, «живот шилом проткнуть». Еще бы, малец был серьезный человек, советскую комедию, которую он однажды в воскресение глядел с отчимом, он «покритиковал — для него были мелки такие проблемы, он сам пережил больше». В состоянии такого добровольного самоуничижения, философской аскезы, в обличии самого скудного и безрадостного человеческого существования и оставляет Платонов своего героя в открытом финале «Счастливой Москвы». Вот и самая последняя мысль-чувство, которой счел необходимым напоследок поделиться писатель со своим возможным будущим читателем и проститься здесь с ним. Иван Степанович Груняхин (бывший Сарториус, а по отцу, мелькнуло еще в начале романа, и вовсе деревенский Жуйборода) стоит над спящей женой и наблюдает, «как она вся беспомощна, как жалобно было сжато ее лицо в тоскливой усталости и глаза были закрыты как добрые, точно в ней, когда она лежала без сознания, покоился древний ангел. Если бы все человечество лежало спящим, то по лицу его нельзя было бы узнать его настоящего характера и можно было бы обмануться». Доброе чувство и грустная мысль, условно ставящие временную точку в этой вещи, части того огромного метатекста, кото-

рым является все творчество Платонова.

Какой значащий перепад начал и концов «Счастливой Москвы», имеющий отношение и к метафизике удела человеческого, и к ценностному освидетельствованию эпохи! Начальный взлет, энтузиазм, планы и дела, затем все большее вторжение и внешних смертоносных сил, и внутренних иррациональных. Все персонажи романа приходят к той или иной форме умаления и падения: калека-Москва, пройдя свои унижения и разочарования, вообще куда-то исчезает, Самбикин замирает в столбняке своей идеи-фикс, Божко женится на мещаночке Лизе, оставленной Сарториусом, сам Сарториус-Груняхин превращается в покорного подкаблучника своей несчастной жены-мегеры, Комягин покупает себе гроб, заранее готовясь к устранению в полное ничто. При всей насыщенности духом и деталями времени своего создания роман Платонова, на наш взгляд, остается прежде всего еще одним формально цельным, отграненным, уникальным фрагментом метафизической вселенной Платонова. Как нигде, в его мотивах прослеживается лирико-поэтическая психотерапия, изживание душевных травм самого писателя того времени, когда в его записной книжке могла появиться такая запись: «Трагедия оттертости, трагедия “отставленного”, ненужного, когда строится блестящий мир, трагедия “пенсионера” — великая мука!»[16].

Тринадцать глав «Счастливой Москвы» спрессовали в себе огромное, далеко нами не охваченное богатство философско-лирических мотивов творчества Платонова, многие из которых, как мы видели, повернуты здесь с бесстрашной глубиной рефлексии и экспрессионистической эстетикой исполнения, с такой стереоскопией взгляда, которая не боится не свести концы с концами своего видения, ибо реальность, жизнь и природа все еще глубже, сложнее и необъятнее любого к ним подхода и любого, самого благого дерзания.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Литературная газета. 1992. № 6. 5 февраля.

[2] «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Вып. 3. / Ред.-сост. *Н.В. Корниенко.* М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 1999. Текст романа «Счастливая Москва» цитируется по его научному изданию, помещенному в данном

выпуске.

[3] А.К. Горский — О.Н. Сетницкой и Е.А. Крашенинниковой. 5 декабря 1938 // *Горский А.К.* Сочинения и письма: В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 594.

[4] Там же.

[5] Цит. по: *Корниенко Н.В.* «…На краю собственного безмолвия» // Новый мир. 1991. № 9. С. 67. Здесь приведены варианты и сокращенные фрагменты романа.

[6] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Правда, 1990. С. 118.

[7] Там же.

[8] *Соловьев В.С.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 540.

[9] Там же. С. 547.

[10] В машинописи статьи эта фраза отчеркнута С.Г. Семеновой и на полях вписано: «Алкание соединения в какой-то неразлучный соборный организм божественного типа» (примеч. А.Г. Гачевой).

[11] В машинописи эта и предыдущая фразы отчеркнуты С.Г. Семеновой и на полях вписано: «амбивалентный импульс слития и неудача и вновь томление» (примеч. А.Г. Гачевой).

[12] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л.: Наука, 1981. С. 146, 147.

[13] Там же. С. 148.

[14] В машинописи эта фраза отчеркнута С.Г. Семеновой и на полях вписано: «Путь к соборности, влезть в шкуру другого» (примеч. А.Г. Гачевой).

[15] В машинописи эта фраза отчеркнута С.Г. Семеновой и на полях вписано: «метаморфоза зрения» (примеч. А.Г. Гачевой).

[16] Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии / Публ. *М.А. Платоновой*, сост., подгот. текста, предисл., примеч. *Н.В. Корниенко.* М.: Наследие, 2000. С. 183.

«ВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ТАЙНУ ВЗАИМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ…» (Тема любви в романе «Счастливая Москва» в философском контексте)

В определенном смысле «Счастливая Москва» — роман о любви, в самом широком спектре и веере этого чувства. Надо сразу отметить, что Платонов мыслит проблемы любви и пола не плоско-эмпирически, а, по существу, в метафизической перспективе, и его по-настоящему можно понять на фоне философии эроса, разработанной в русской мысли: Н.Ф. Федоровым и В.С. Соловьевым, В.В. Розановым и П.А. Флоренским, Н.А. Бердяевым и Л.П. Карсавиным… При этом не столь уж важно, знал ли он все их писания, все повороты размышления на эту тему, главное — логика видения, часто дающаяся самостоятельно или при небольшом лишь толчке влияния. Основой для этой философии любви послужили и древний натурфилософский подход к эросу как источной космогонической силе и энергии соединения, связывания вещей и существ, влечения их друг к другу, и платоновское его понимание как импульса к совершенствованию, к духу и бессмертию, движущего развитием мира, и, конечно, христианская традиция онтологического и этического восчувствия любви. В «Этике преображенного эроса» Б.П. Вышеславцев писал, что платоновский эрос «бесконечно большее объемлет, нежели libido sexualis <…> он означает существенную и несводимую функцию души, *функцию стремления,* уходящую в бесконечность и многообразную по содержанию, но всегда направленную на возрастание бытия, на его “валоризацию”»[1]. При этом даже вроде бы боковое ответвление мысли Платона, связанное с мифом об андрогинах, объясняющим страстное стремление полов к слиянию, за чем стоит глубинная жажда «сделать из двух одно и тем исцелить человеческую природу»[2], было воспринято и развито в христианском духе не только

в немецкой мистике (Я. Бёме, Ф. Баадер), но и в русской религиозной философии (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев).

Кстати, именно древнегреческий логос продумал все тончайшие разновидности любви, дал каждому из них свое отдельное название, а другие языки вынуждены были передавать их уже описательно, с привлечением немалого количества слов. Это и собственно «эрос», и «филия», и «агапэ», и «сторге», используемые и в греческом Новом Завете, и в христианской философии любви. Интересно, что буквально все стоящие за ними типы и склонения любовного чувства и отношения мы встречаем и в романе Платонова, как и во всем его творчестве вообще.

Прежде всего это собственно «эрос», страстное влечение полов друг к другу, стихийное, восторженное, идеализирующее свой предмет. Однако это напряженно-энергетическое чувство, горячее стремление может относиться не только к прекрасной плоти, но и к сфере духовного, выражаясь по-платоновски, может стать алканием Абсолюта, порывом к высшему, горнему, идеальному, к тому, что превосходит несовершенного смертного человека и данность его жизни. И обе эти разновидности эроса есть в романе, находясь в статусе некоего соперничества и взаимозаменяемости.

Сначала о любви собственно половой. В центре ее как главный объект приложения — героиня, Москва Честнова, воплощенное начало влекущей женственности, неотразимой в своей магнетической прелести. По очереди и одновременно ее любят все герои романа: Божко, Сарториус, Самбикин, Комягин. В каком-то смысле она являет собой настоящую богиню любви, причем в обеих ее ипостасях, и как Афродиту Пандемос, пошлую, всенародную: перед ней, действительно, не может устоять ни один, даже едва мелькнувший мужчина в романе, да и сама она «столько раз соединялась», по ее собственному признанию, с разными мужчинами, самым профаническим образом — «только одно наслаждение какое-то». Но вместе — несет она в себе отблеск Афродиты Урании, Афродиты Небесной, острее всех чуя изнутри дефектность, недостаточность существующей формы половой любви, выражая собой стремление эроса в его высшем проявлении — вдаль и ввысь, от наличного — к должному и идеальному. Она враз, самым резким манером покидает своих партнеров, отбрасывая

предлагаемую ими участь как сладкую себе западню, устремляясь куда-то прочь, в свободу, в поиск настоящей жизни и настоящего приложения горящего в ней огня. В ней проблескивает воздымающее начало Вечной Женственности, полярное другой — засасывающей, низменной, а то и демонической женской ипостаси. Но Москва Честнова именно двойственна: она и бежит от стихии пола, и невольно порабощает ею героев романа. И эта двойная природа сюжетно выражается в двух стихиях-сферах, к которым она последовательно причастна — то к небу, где она парит бесстрашной парашютисткой, то к глубинам земли, на строительстве метро, что стоит ей ноги (органодеекция как ощутимый символ падшести земной Афродиты Пандемос). Ее *эрос*, как эрос падшей природы, *земли*, но несущей в себе софийную искру, говоря словами С.Н. Булгакова, «есть томление, искание самой себя в своей идеальной, вечной сущности», «вся она еще не есть то, что она есть»[3].

Платонов реализует свою художественно-мыслительную задачу в поэтике экспрессионистической, на грани гротеска и эстетического скандала: любовная растроганность Сарториуса доходит до того, что он готов расплакаться, «если бы Москва присела помочиться»… В предельно-сгущенном, выразительном градусе письма писатель рисует и страстное алкание предмета любви, мучительную уязвленность самих недр любящего, его всепоглощающую фиксацию на предмете своего чувства, и столь важную для понимания смысла любви идеализацию этого предмета. «Мучение любви к Честновой Москве сразу занялось во всем <…> теле и сердце Сарториуса», «он уже любил ее как живую истину», вся природа «сомкнулась для Сарториуса в одно тело и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых ног». Ничего не меняется, когда герой встречает Москву уже без ноги, в жалкой обстановке, ожесточившуюся, подурневшую, — ничего этого влюбленный механик в упор не видит, для него она «прежняя, любимая Москва, еще более милая и сердечная». Вспомним: Петрарка продолжал воспринимать Лауру как существо высшее, озаренное отблеском божественной красоты и тогда, когда для других она уже была матерью одиннадцати детей, измученной частыми родами, утратившей большую часть своей былой юной прелести.

Наиболее глубоко эта идеализация любимого была понята В.С. Соловьевым: любящие глаза умеют просветить наш истинный, преображенно-божественный, нетленный образ Божий, который есть в каждом, но погребен под грузом черт и обстоятельств пестрого, превратного земного бытия. В идеализации, свойственной именно половой любви, — утверждение абсолютного значения личности другого. В любви-эросе нет ни моральной оценки, ни трезвости, ни снисхождения, а одно восхищение и обожание, то преодоление эгоизма индивидуума, признание в другом, а не в себе «безусловного центрального значения», о котором много рассуждал философ в работе «Смысл любви» («перенесение самого центра личной жизни»[4] в другого).

Тот же В.С. Соловьев отмечал, что все эти качества любви вовсе не нужны для простого деторождения, в чем нередко видели назначение любви. Интересно, что в романе Платонова при всей интенсивности любовных чувств Сарториуса и Самбикина к Москве нет и следа ни разговоров, ни мыслей или мечты о детях. В этом смысле тут классическая коллизия любви в произведениях искусства, где точная интуиция художника чаще всего оставляет идеальные любовные пары вовсе без детей или рано сами эти пары губит. Достаточно вспомнить Филемона и Бавкиду, Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну или Тристана и Изольду, Ромео и Джульетту… В сексуальном акте, коронующем половое влечение, мужчина и женщина — полагают и В.С. Соловьев, и Н.А. Бердяев — словно пытаются слиться в каком-то высшем, совершенном организме, вернуть андрогинический образ, восстановить целостную, неискаженно-божественную природу. (Кстати, Христос в этой мыслительной традиции, идущей от Я. Бёме, представал как Человек в его первоначальной целостности, как Андрогин. «Без понятия андрогина остается непонятной центральная идея религии — идея образа и подобия Божия»[5] — отмечал Н.А. Бердяев.) «Вся сексуальная жизнь человека есть лишь мучительное и напряженное искание утерянного андрогинизма, воссоединение мужского и женского в целостное существо», но «вся сексуальная жизнь, — продолжает Бердяев, — протекает в чуждой природной необходимости»[6], и оттого эта глубинно метафизическая по своей сути попытка обрекается на горький провал.

Конечно, платоновские герои не формулируют столь философски четко, но чувствуют достаточно близко. Вспомним еще раз седьмую главу романа, где явлена физическая близость Москвы и Сарториуса, после которой нагнетается настроение разочарования, стыда, грусти: задание любви не осуществляется в половом сочетании. «Узнав всю Москву полностью, все тепло, преданность и счастье ее тела, Сарториус с удивлением и ужасом почувствовал, что его любовь не утомилась, а возросла, и он в сущности ничего не достиг, а остался по-прежнему несчастным. Значит, этим путем нельзя добиться человека и действительно разделить с ним жизнь». В конечном итоге глубже всего звучит вполне философский вывод героя, какой мы могли бы встретить и на страницах сочинений Соловьева, Булгакова или Бердяева: «Любовь в объятьях ничего не давала, кроме детской блаженной радости, и не разрешала задачи влечения людей в тайну взаимного существования». А вот что писал уже сам автор «Смысла творчества»: «В исступлении сексуального акта есть задание неосуществимое в порядке природном, где все временно и тленно. <…> Мимолетный призрак соединения в сексуальном акте всегда сопровождается реакцией, ходом назад, разъединением. <…> Сексуальный акт по мистическому своему смыслу должен был бы быть вечен, соединение в нем должно было бы бездонно углубляться. Две плоти должны были слиться в плоть единую, до конца проникнуть друг в друга. Вместо этого совершается акт призрачного соединения, слишком временного и слишком поверхностного»[7].

Для В.С. Соловьева любовь как прообраз какого-то нового типа связи существ этого мира присутствует в человечестве зачаточно, как в мире животных — разумное начало. Качества любви предстают некими задатками для восстановления в человеке идеального образа Божия, созидания из двух существ путем взаимного восполнения высшего единства. Реальное дело любви для него в том, чтобы не только в чувстве придать абсолютное значение другому, но «соединиться с ним в действительном создании абсолютной индивидуальности», сообща со всеми[8] выходя к делу борьбы с главным врагом — смертью, к делу увековечивания и преображения личности, вплоть до ее возвращения из небытия. Эта *странная*, сверхъестественная задача преодоления полового раскола

и полового размножения, которая ставится в «Смысле любви», прямо обнаруживает общую, федоровскую перспективу мысли философа: «торжества над смертью», «превращения смертного в бессмертное, восприятия временного в вечное»[9]. И платоновские герои в другой, творчески-преображающей ипостаси эроса более-менее смутно или вполне осознанно влекутся к тому же идеалу.

Но прежде чем перейти к этому второму, преобразовательному эросу героев, отметим, что в «Счастливой Москве» есть и обычная профаническая любовь, без рефлексии неудовлетворенности и порывов к чему-то высшему. Здесь она является как форма бегства от истины скучного, грустного, смертного бытия: это та неутомимая каждодневная любовь до полного изнеможения — чтобы не думать, не вспоминать, не чувствовать, — которой предается Комягин со всякого рода «некультурными, неинтересными женщинами». «Существует Эрос сублимации, — утверждал Б.П. Вышеславцев, — но существует и Эрос деградации, Эрос падения»[10]. Такой извращенный эрос ненависти, злой, патологической радости встречается в творчестве Платонова. Яркий пример — горбун Кондаев из «Чевенгура». В «Счастливой Москве» иначе — у того же Комягина есть явный элемент любви-жалости, своеобразной солидарности с самыми неказистыми, истраченными жизнью женщинами: только с такими имеет он дело, даря им нечаянное внимание и свою жалкую, неутомимую страсть. Вспомним эпизод его любовной близости с бывшей женой, что стала «как брат» и ради которой он просит удалиться от него прелестную Москву. Недаром именно к нему уходит в жены — пусть на время — искалеченная, поверженная жизнью Москва. Тут и любовная связь Сарториуса с пухленькой мещаночкой, машинисткой Лизой, устроенная с великодушной помощью Божко, пытавшегося отвлечь друга от нестерпимой тоски по пропавшей Москве, и случайная любовь, которую изредка вырывал у некоторых податливых ночных кондукторш тот же Семен Сарториус, превратившийся в Ивана Груняхина.

Второй важнейшей формой эроса, точнее превращенного эроса, становится та всепоглощающая страсть героев-искателей Платонова к истине, к раскрытию тайн мира и человеческого естества, к преобразованию природы вещей, которой они охвачены. При этом они чувствуют любовь к женщине как главного тут конку-

рента и помеху, как природную «скверную стихию», берущую их в сладкое и мучительное рабство, затмевающую все и вся. Они чувствуют так, как это формулирует, скажем, Н.А. Бердяев: в природно-смертном, падшем порядке бытия именно «в точке сексуальности» мир сумел «поймать» Адама, здесь и захлопнулся природный капкан, так что «власть Евы над Адамом стала властью над ним всей природы»[11].

Вместе с тем энергетическое сродство этих двух видов эроса, совсем как у автора «Пира» и «Федра» (не будет огнедышащей энергии натурального пола, станет невозможной и восходящая лестница стремлений эроса к небесной красоте и бессмертию — откуда ей взяться?), выражается и лексически. Ум Самбикина наполнен кипящей работой мысли, ее напряжением, порывом, интенсивным усилием, и ему «стыдно от сознания своего тайного наслаждения». «Мысли и фантазии», «открытия и далекие представления» производились в голове Сарториуса, «как в семеннике». Тот же Самбикин, истомившись любовью к Москве, трансформировал свою страсть в мысль о ней, в попытку разрешения загадки любви «в целом».

Кстати, эта форма любви получила свое особое имя у Спинозы; он переосмыслил схоластическое понятие «интеллектуальной любви к Богу» (amor Dei intellectualis), превратив его в центральное понятие своей «Этики»: речь идет о жгучем любовном стремлении к глубинам бытия, восторге познания Бога, т. е. природы, в пантеистической системе мыслителя. Об этом, неистово и всецело охватывающем человека чувстве, направленном на исследование природы вещей, овладение миром, еще до Спинозы писал Джордано Бруно в своей работе «О героическом энтузиазме». Энтузиазм познания и преображения мира прекрасно знаком героям Платонова. Страстная въедливость в мысль, философскую, научную, метафизическую, в счастье открытия и опытного его претворения — все это объемлется понятием «интеллектуальной любви к Богу» в спинозовском смысле слова. Это, может быть, самая сильная и неколебимая страсть, стоящая выше всего, выше всех привязанностей и страхов для тех избранных душ, которые на нее способны. Рассказывают, что, когда на Архимеда набросился с мечом римский солдат, собираясь его прикончить, греческий любомудр перед лицом

смерти испугался лишь одного: как бы этот грубый неуч не стер его чертежа, начертанного им на песке. «Всепоглощающим аффектом» называл такое состояние Спиноза; именно в нем и через него, по мнению Б.П. Вышеславцева, возможна «завершенная сублимация», та, что после себя не оставляет чадящего хвоста невроза.

В поэтике экспрессионистической выразительности Платонов выражает эту страсть героев предельно гротесково: они у него существуют, неотрывно вперившись в свою идею, почти не спят, не едят, изнемогают над загадками бытия, в постоянном возбуждении и лихорадке ищут ключи к тайным замкам природы, изобретают, экспериментируют, стремясь покорить стихийные, разрушительные, иррациональные силы в природе и в самом человеке, дерзая соделать его счастливым и бессмертным. Главная неотступная потребность их не «голод и любовь» (Шиллер), как у обыкновенных людей, а заведенная, как фантастический «вечный двигатель», работа головы, переходящая в творческое действие. «Он думал всегда и непрерывно, его душа сейчас же заболевала, если Самбикин останавливался мыслить, и он снова работал над воображением мира в голове, ради его преобразования». Сарториус стремился найти «мысль, работающую в резонанс природе и отражающую потому всю ее истину», чтобы перевести затем эту мысль в «расчетную формулу», рычаг для преображения самой этой природы. Даже скромные весоизмерительные дела Божко движет «страсть целого сердца». А уж Сарториус и Самбикин с разных сторон решают задачу, связанную — не больше, не меньше — с их «заботой об окончательном устройстве мира», с открытием источников радикального обновления естества человека (обессмертить его, воскресить умершего, как у Самбикина).

Уже отмечалось, что высшим заданием любви Вл. Соловьев считал достижение человеком совершенной, обоженной природы, включающей бессмертный ее статус. При этом забыть умерших, долг перед ними, беспечно наслаждаться на костях поколений, ушедших как бы в перегной будущей гармонии, для Соловьева, вслед за Федоровым, нравственно невозможно. Интересно, что Самбикин в своих исканиях путей бессмертия приходит к такой же логике, питаемой сердечным чувством (толчком к открытию ее для него стали переживания в связи со смертью оперированно-

го им мальчика). Так, в своих опытах с таинственным веществом, содержащим особую жизненную, восстанавливающую силу, которое он научился выделять прежде всего из сердца и мозга только что умерших, Самбикин идет от задачи использовать мертвых как «силу, питающую долголетие и здоровье живых» к решению «мертвыми оживлять мертвых» же.

Кстати, любовь к мертвому телу дорогого человека, часто уже разрушенному, рассыпавшемуся в прах (мотив раскопанной могилы), не раз встречается в творчестве Платонова. Однако эта любовь имеет совершенно особое, совсем не некрофилическое склонение в его обычном сексопатологическом понимании и связана всегда, бессознательно или сознательно, с анастатическим импульсом, т. е. с потребностью в восстановлении умершего. Да и шокирующе-гротескное желание Самбикина «жениться» на мертвой девушке, которую он анатомирует в поисках следов оживляющего вещества, смотрится в истинном своем смысле именно в перспективе его воскресительных поисков. Так что, заключая, можно сказать, что «amor Dei intellectualis» платоновских героев — уже прямой подход эроса к той высшей задаче любви, которую ставил В.С. Соловьев.

Особая энергетика «Счастливой Москвы» создается во многом непрерывной эмоционально-психической и волевой *возбужденностью* ее героев: днем и ночью, объятые беспокойством за всю страну, они готовы немедленно куда-то бежать, что-то совершать, спасать больного, додумывать новую теорию, изобретать новый инструмент, производить очередной опыт… Для Платона эротическая энергия, эротически заряженное поле — первичная и могущественная энергия человека, источник разнообразных, восходяще-культурных форм деятельности человека. Фрейд признавался, что платоновский Эрос в полной мере соответствует его понятию либидо. Так вот либидо (энергия всех первичных позывов, объединяющихся словом «любовь») включает, по Фрейду, все формы любовных чувств, все привязанности к себе, к друзьям, к родителям, к делу и профессии, к отвлеченным понятиям, к Богу… За пределы собственно сексуальности решительно раздвинул либидо и Юнг, определив его как «психические интенсивности», «психическую энергию» (параллельную понятию энергии в физике): «Я назы-

ваю либидо психическую энергию, которая равнозначна степени интенсивности психических содержаний»[12]. Если следовать этому определению, то интенсивность этой энергии, то есть либидинозность «Счастливой Москвы», чрезвычайно высока.

Та разновидность любви, что в древнегреческой и христианской традиции называется *филией,* — это любовь дружеская, нежно-сердечная, проявляющая себя во взаимной приязни в поле то ли личного, парного, так сказать, избрания, то ли определенной общественной группы. У Эмпедокла, автора натурфилософской теории взаимодействия «любви» и «вражды», двух космогонических сил Вселенной, любовь, обозначавшаяся им в этом смысле как филия, являла собой начало центростремительное, интегрирующее, единящее элементы мира. Пик любви-филии в «Счастливой Москве» — в шестой главе романа, где изображен своего рода комсомольский съезд-банкет, на него собираются молодые герои нового, строящегося мира: педагоги и инженеры, летчики и техники, рабочие-ударники и врачи, музыканты и артисты. Их связывает чувство, обусловленное общностью убеждений, работы, молодой симпатии друг к другу, единого порыва в будущее. Нарядные девушки и молодые люди долго устраиваются со своими местами за столом, «ища лучшего соседства, но в конце концов желая сесть сразу со всеми вблизи». Воистину здесь, говоря словами П.А. Флоренского, снимаются «хотя предварительно и условно, грани самостного обособления, которое есть одиночество»[13]. Происходит своеобразное слияние этой избранной молодости страны в некую, на мгновение возникшую, сверхъиндивидуальную, коллективную общность. «Их внутренние живые средства, возбужденные друг другом, умножились, и среди них родился общий гений жизненной искренности и счастливого соревнования в умном дружелюбии». Чудесно растаяли стены, отъединяющие «я» от «ты», — и все как будто уже оказались в новом эоне бытия, где взаимные *открытость* и проникновение рождают то *единосущие* друг другу, что является, по П.А. Флоренскому, высшим стяжанием любви. Москве Честновой, с особым восторгом и самозабвением переживающей это состояние, тут же хочется расширить этот круг филии, родства на весь мир, позвать всех сюда, на эту вечерю любви.

Если желание вырваться из плена своей самости, своей физически-психической отграненности, выйти в другого, стать им, начав тем самым созидание ткани преображенно-«райского» *всеединства*, волнует в романе не только Москву (вспомним Сарториуса и его финальный опыт), то именно героиня обладает удивительным качеством быть не просто человеком и женщиной, а и восчувствовать себя различными стихиями мира, более того — каким-то движущим и одушевляющим его началом: «Она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы сама была не человеком, а огнем и электричеством — волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле». Так же как ей хочется не просто «переживать» жизнь, а «обеспечивать ее», став неким вездесущим агентом «жизни всемирного города», Москвы: «круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза <…> чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным <…> и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем». Эти софийные грани ее образа заставляют вспомнить откровенно символическую Каспийскую Невесту из раннего «Рассказа о многих интересных вещах», вариацию вечно-женственной Души мира (она «говорила не свои слова, а слова мыслей, которые сделало в ее голове солнце»). Правда, если мифологическая Невеста является носителем совершенного целомудрия, которое и предстает в рассказе путем к бессмертию, «живым родником вечной силы и юности», то Москва Честнова — вполне реальная женщина, *замаранная* земной страстной жизнью (но и глубоко ею неудовлетворенная), невольный источник постоянного соблазна и отвлечения мужских героев от того, что они для себя считают более высоким и достойным.

Так и сейчас эротическая к ней любовь вступает в соперничество с любовью-филией. Вот Сарториус тщетно борется с сокрушительно взявшей его в полон страстью к Москве, боясь из-за нее стать «безучастным к всеобщей жизни, наполненной трудом и чувством сближения между людьми». *Одна* вытесняет *всех,* невольно толкая на вполне подростково-злодейские мечтания: «Он даже хотел, чтобы земля стала пустынной и Москва бы не отвлекала никуда своего внимания, а целиком сосредоточилась на нем».

И та любовь к дальнему, какой предается эсперантист Божко, находясь в постоянном эпистолярном общении с собратьями по

любви к международному языку, белыми, желтыми и черными, — тоже разновидность любви-филии, разве что с радиусом единения в дружбе размером с земной шар. Само понятие *любви* к *дальнему* было, как известно, введено Фридрихом Ницше, причем в своеобразном, философском значении. Немецкий философ отверг ту любовь к ближнему, за которой парадоксально стоят одновременно и альтруизм, и эгоизм, как лицо и изнанка одного типа нравственного сознания: «Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасные слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе. Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель; но я насквозь вижу ваше “бескорыстие”»[14]. Проповедуемая Ницше любовь к дальнему идет в паре с любовью к будущему, с тем чтобы и в ближнем любить уже то высшее, великолепное существо, которое он назвал «сверхчеловеком»: «Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему. <…> Будущее и самое дальнее пусть будет причиною твоего сегодня: в своем друге ты должен любить сверхчеловека как свою причину. Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам — я советую вам любовь к дальнему. Так говорил Заратустра»[15].

Логика во многом близкая эпохе, когда живут герои Платонова, и им самим. Та любовь-филия к дальнему, которой Божко, окруженный фотографиями заочных друзей, их посланиями ему, предается больше всего по ночам, сочиняя им сердечные письма, связана самым тесным образом с его любовью к стране советов, «земле обетованной», «рабочей родине» для всех тружеников земли, и с любовью к будущему. Божко «предвкушал близкое будущее и работал с сердцебиением счастья» на строительстве своей мессианской страны, которую любил «скупо, молчаливо», бережно, поднимая «каждую крошку, падающую из ее добра, чтобы страна уцелела полностью». Когда Москва после первой, удручившей ее попытки найти вневойсковика, странного, забвенного одиночку, где-то в «глуши» его района, в заштатном, убогом месте, забредает по контрасту в совсем другое пространство, пространство новой коллективной жизни — в клуб рабочей молодежи, там вновь возникает единящее поле любви-филии: Москва танцует и веселится со всеми и, лишь предельно насытившись впечатлениями друж-

ной, хоровой жизни, засыпает со всеми за кулисами, «обняв по девической привычке временную подружку, такую же усталую и счастливую, какой была сама». И камертоном всего этого эпизода звучит клубный хор, зовущий «силой вдохновенья собственной жизни в далекие края будущего».

Именно советская цивилизация, строителями которой ощущают себя многие герои «Счастливой Москвы», властно и увлекающе внесла в репертуар любовных чувств эту удивительную любовь к будущему. Туда, в будущее, рвутся все мечты, упования, надежды, там видится истина, высшее благо, нетленная красота, там — утоление самых заветных алканий, там — «блаженная страна», гармония, счастье и рай… И страна как бы восходит на дрожжах любви к себе и к своему идеальному будущему, возрастает на превращенной мощи этой любви, «на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте».

Однако «Счастливая Москва» вовсе не является оптимистической утопией нового общества — напротив, при всех ее героях-искателях и преобразователях, при трепетной любви к стране и будущему — общая атмосфера романа включает метафизические струи тоски, скуки, томления, какой-то заброшенности и забвенности, абсурдистского гротеска. Сам идеально-оптимистический результат социального действия при существующем онтологическом фундаменте здесь, как и в творчестве Платонова вообще, ставится под вопрос. Точнее подвергается сомнению то, что это действие может успешно осуществиться при полном игнорировании этого фундамента, включающего и сам несовершенный, *падший* статус материально-природного бытия, и глубинные противоречия человеческой природы («гниль», «язва» ее). Нота подъема и энтузиазма, надежды и коллективного слияния в любви-филии, воздымающаяся в сцене комсомольского пира, сменяется настроением неудачи, упадка, несчастья, какой-то бесплодной заклиненности героев на своих идеях-фикс. Роман постепенно как бы *обезлюдевает,* герои устраняются со сцены действия, и на ней в конце концов остается один Сарториус, дающий возможность автору дорисовать особый художественно-идейный абрис «Счастливой Москвы».

Финальной главе романа, целиком отданной Сарториусу, предшествует взлет и вместе — разрешение эротической любви Сар-

ториуса к Москве. И хотя происходит это в довольно гротескной сцене, на жалком супружеском ложе вневойсковика (при предполагаемом добровольно-принудительном мертвеце Комягине), колорит сцены физической близости Сарториуса и Москвы несколько иной, чем той, за городом, в землемерной яме, похожей на могилу. Там Москва лежала сначала навзничь, как подкошенная глубочайшим разочарованием, и затем уходила в город одна, куда-нибудь вдаль от этой *ненастоящей* жизни. А Сарториус «стоял один на рассвете в пустоте недозревших полей, испачканный и грустный, как уцелевший воин на оконченном побоище» — *грустное животное* post coitum. Здесь же эта прощальная любовь происходит всю ночь до рассвета, и в ней больше нежности и растроганности. Сарториус только пронзительнее любит некогда блистательную и непобедимую Москву за то, что «счастье и слава ее временно остановились». Здесь в любовь-эрос явно прибавляется элемент *каритативной* любви, сострадающей и сочувствующей, — именно ей предстоит развиваться дальше в судьбе и чувствах самого Сарториуса.

Напряжение чувств этой фантастической ночи Сарториуса, его стояние в коридоре под дверью комнаты Комягина, его близость с Москвой стали последним, сильнейшим разрядом его маниакально-сосредоточенной страсти к пропавшей и так долго недосягаемой женщине. П.А. Флоренский писал: «Любовь дает встряску целому составу человека, и после этой встряски, этого “землетрясения души”, он *может* искать»[16]. И действительно, Сарториус сразу же после этой последней встречи с Москвой вступает на путь искания, причем дальнейшего искания как раз в той области, что объемлется любовным «влечением людей в тайну взаимного существования». Любовь с Москвой не могла дать утоления этому влечению — ведь, как мы помним, его глубинный метафизический замах — на соборное *всехъединство* преображенного бытия. За окном двигались, действовали, переживали, думали миллионы людей с их таинственными душами и «разнообразной жизнью», и от них Сарториус, заключенный в свою самость, чувствовал свое бесконечное отъединение. И его тут же у окна комнаты Комягина посещает идея нового опыта: попытаться проникнуть в души других, и проникнуть, превратив «себя в прочих людей». Надо стать как Москва, Москва в ипостаси уже «любимого города», непре-

рывно «отрекающегося от себя, бредущего вперед с неузнаваемым и молодым лицом». Но ведь это основной экзистенциальный импульс и женщины Москвы, все рвущейся в даль, в неизвестность, в обновление… Здесь особенно видна внутренняя соотнесенность образов женщины и города, носящих одно имя. Сарториус как бы расширяет свою любовь к одной Москве на другую, многомиллионную, и в каждую из живых, сознательных и чувствующих клеточек ее он хотел бы вжиться изнутри. Не забудем и тихие метафизические обертоны смысла: этот «город чудный» в дальней перспективе преображения отсвечивает образом Града Небесного, где такая внутренняя *прозрачность* и единство всех предполагается по самой сути. А пока к такой будущей природе Сарториус пытается карабкаться, как может, — хоть на вершок.

То, о чем не раз толковали религиозные философы как о сущности любви, когда «ради нормы чужого бытия “Я” выходит из своего рубежа, из нормы своего бытия и добровольно подчиняется новому образу, чтобы тем включить свое “Я” в “Я” другого существа»[17], в художественном мире «Счастливой Москвы» реализуется буквально превращением Семена Сарториуса в другого человека, Ивана Груняхина. Происходит действительное, говоря словами того же Флоренского, «обнищание», или «истощание» Я, «опустошение», или «кенозис» героя. Но оправданность, внутренняя плодотворность такого самоумаления блестящего изобретателя, почти мировой знаменитости в «работника прилавка», а затем скромного дежурного инженера (помимо чувства — мотива — солидарности с участью пропадающих в забвении «малых сих» этого мира, встречающегося и в других вещах Платонова) выявляется, когда Груняхин в порыве сострадания связывает свою жизнь с до того ему незнакомой, некрасивой, немолодой, несчастной Матреной Чебурковой, оставленной мужем и потерявшей сына, который без отца «заскучал и самостоятельно умер». На своем нечаянном муже она и срывает свое озлобившееся сердце, а он проявляет при этом удивительную кротость и терпение и с ней («свое мучение от этой женщины он не считал»), и с ее вторым, многое уже в жизни повидавшим и весьма дерзким мальчишкой. В таком нисхождении в незначительный, безотрадный и скудный удел этого, пожалуй, наиболее близкого Платонову героя не только вырисовывается

отчетливая кенотическая линия отречения от существования для себя, о которой уже говорилось, но и возникает в его сердце такая любовь, которая была названа агапэ, любовь-жалость, любовь-жертва.

Это, воистину, любовь уже не к дальнему, а к ближнему, причем к ближнему, по существу, в христианском смысле этого слова. В свое время притчей о добром самарянине Иисус установил простой, безусловный и возвышенно-божественный принцип: кто нам ближний? Да всякий нуждающийся в нашем отклике, внимании, заботе, кто бы и откуда бы он ни был (вовсе не обязательно родной, близкий по крови, духу или просто симпатичный нам человек), знаете ли вы его давно или впервые видите, как встреченного совершенно случайно. По такому принципу созидается — в идеале — такое поле общечеловеческой солидарности и родства, из которого не может быть изъят никто.

Для любви-агапэ, любви незаинтересованной, лишенной любой корысти, не существенны какие-то особые физические или душевно-духовные качества объекта любви (как это требуется при любви-эросе), тот может быть любым — некрасивым, недобрым, отталкивающим даже. Такая любовь, воистину, *не ищет своего*: не удовольствие или интерес для себя важны тут, а польза для другого, на кого направляется это милосердное чувство. Любовь-агапэ, принимающая на себя индивидуальные (как в случае с Сарториусом-Груняхиным) и социальные дисгармонии, призвана тем самым смягчить и, возможно, снять их. Об агапэ говорят, что это почти такая любовь, какой Бог любит Свое творение, каким бы озлобленным и падшим оно ни было. Какими удивительными глазами смотрит Груняхин в финале романа на спящую Чебуркову, ту, что днем часто выглядела сущей мегерой, а тут в ней будто «покоился древний ангел».

Вспомним рассказ «Юшка», где герой несет не только отдельному человеку, а целому маленькому социуму такую же любовь. Но если Юшка — чистый тип платоновского «душевного бедняка», то Сарториус до своего экзистенциального опыта переселения в другого человека принадлежал к категории героя-искателя и преобразователя. С ним произошла любопытная мутация типа: из искателя в «душевного бедняка». И этот сдвиг весьма характерен

для творчества Платонова этого времени. Он касается и темы любви: от любви к дальнему, тесно связанной с любовью к будущему и преобразовательным эросом, — к любви к ближнему, к идее прироста (хотя бы малого, но непосредственно ощутимого другими) добра и света. Характерно и финальное смещение в романе акцента с любви как творческого эроса, в том значении, как это развивали В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев (в философской линии, утверждавшей необходимость победы над смертью, онтологическим злом, падшим статусом бытия — с помощью той мощной энергии, которая объемлется словом «любовь»), на любовь каритативную, милосердную, сострадательную, христианский идеал которой в русской традиции был ярко раскрыт П.А. Флоренским. Точнее сказать, в «Счастливой Москве» Платонов представил различные виды одного грандиозного явления любви, различные повороты ее смысла, которые не перечеркивают, а взаимно дополняют друг друга, еще нуждаясь в плодотворном синтезе.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Вышеславцев Б.П.* Этика преображенного Эроса. М.: Республика, 1994. С. 46.

[2] *Платон.* Пир // *Платон*. Сочинения. Т. 2. С. 118.

[3] *Булгаков С.Н.* Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. С. 211.

[4] *Соловьев В.С.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 511.

[5] *Бердяев Н.А.* Смысл творчества // *Бердяев Н.А.* Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1994. С. 187. Ср. у В.С. Соловьева, раскрывающего эту мысль: «Создал Предвечный Бог человека, по образу и подобию Своему создал его: мужа и жену, создал их. Значит, образ и подобие Божие, то, что подлежит восстановлению, относится не к половине, не к полу человека, а к целому человеку, т. е. к положительному соединению мужского и женского начал, — истинный андрогинизм — без внешнего смешения форм, — что есть уродство, — и без внутреннего разделения личности и жизни, — что есть несовершенство и начало смерти» (*Соловьев В.С.* Жизненная драма Платона // *Соловьев В.С.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 619).

[6] *Бердяев Н.А.* Смысл творчества. С. 184, 185.

[7] Там же. С. 185, 190.

[8] Именно эта центральная для Федорова идея общего дела в смысле дела буквально всех и для всех звучит завершительным аккордом рассуждений Соловьева о «смысле любви». «Действительно спастись, т. е. возродить и увековечить свою индивидуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может толь-

ко сообща или вместе со всеми» (*Соловьев В.С.* Смысл любви // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 538), стремясь к идеалу совершенного всеединства (см. федоровское определение осуществленной этики всеединства, или всехъединства: «со всеми и для всех»), где торжествует та нераздельность всех и их личностная неслиянность, та равноценность частей и целого, общего и единичного, составляющая, по Федорову, проективный для человеческого общества идеал Троичного бытия.

[9] *Соловьев В.С.* Смысл любви. С. 529.

[10] *Вышеславцев Б.П.* Этика преображенного Эроса. С. 54.

[11] *Бердяев Н.А.* Смысл творчества. С. 189.

[12] *Юнг К.Г.* Психология бессознательного. М.: Канон, 1994. С. 89.

[13] *Флоренский П.А.* Столп и утверждение истины // Флоренский П.А. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Кн. 1. М.: Правда, 1990. С. 396.

[14] *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 43.

[15] Там же. С. 43, 44.

[16] *Флоренский П.А.* Столп и утверждение истины. С. 395.

[17] Там же. С. 92.

ПЛАТОНОВ И ЕГО ТРАГИЧЕСКИЙ ГИНЬОЛЬ
(Три драматургических шедевра начала 1930-х годов)

1

Драматургия Платонова неотделима от массива его творческого наследия: близкие типы персонажей, одни мировоззренческие загвоздки, общие темы и мотивы… Это наследие — в своем роде гениальная философско-лирическая и саркастически-гротескная «шарманка» — такой образ уже возникал у Натальи Дужиной, исследовательницы пьесы, носящей это название. Платонов — писатель философский, и таковых в русской литературе немало, но в определенном смысле уникальный: в своих произведениях он выразил себя, мыслит в них, я бы сказала, во многом «грамматически», точнее антиграмматически — сплавом неожиданных, каких-то новорожденных слов, вербальных и синтаксических конструкций, казалось бы, алогичных, «безумных», попирающих норму, но пронзительных по смыслу. У Евгения Замятина есть термин «мысленный язык» — больше всего он, причем в наиболее концентрированном градусе, подходит к творчеству Платонова, который, как никто, расширил возможности суггестивно-словесного привоя, стяженного мышления в языке, отбросив всяческую заботу о логической и языковой норме. Понятно, что *зерно* его стиля выросло на почве исковерканной *новой речи*, которую писатель сумел превратить в тонкий диагностический инструмент для анализа народной души революционной и послереволюционной эпохи, что делал в литературе не он один. Но чудо платоновского текста не состоялось бы без редко-драгоценного *гена* самого посеянного *зерна*. Без того, что писатель называл главным для себя: тех его *постоянных* и *неизменных идеалов*, которые не так легко вместить в горизонтально-привычно ориентированный и социально-политически раздраженный «нормальный» эвклидов ум. Недаром сам Платонов вынужден

был «опошлять и варьировать», «именно опошлять», настаивал он, эти свои идеалы, прятать по заветным художественным углам и складкам, под покровом странного, гротескного образа, слова и поведения персонажей, проигрывать в своих навязчивых мотивах, размывать в атмосфере (иначе печатать не будут!). «Платонов вычеркивает фразы, смысл которых слишком очевиден. И это не было мотивировано цензурными соображениями. Платонову больше импонирует отсутствие всякой тенденциозности и даже однозначности. Свою мысль он скорее прячет, чем открывает»[1], — заметила Дужина, основываясь на анализе авторской правки текста «Шарманки». Все же совсем отметать «цензурные соображения», на мой взгляд, нельзя, особенно в широком смысле учета писателем реакции на ошарашивающую непривычность своей мысли (недаром так часто его критики в открытых и закрытых, внутренних, отзывах не стеснялись называть его «юродивым» и психически серьезно сдвинутым человеком). В любом случае, тексты и подтексты его вещей — многоэтажны и *многоподвальны*, в них — масса своих построительных контаминаций, намеков, хитро- и остро*умных* ходов и дверей, сдвигов смысла, служащих чаще всего наведению на глубинные, философские слои значения…

А вот некоторые нынешние наши авансценные *интеллектуалы*, которые при всем пиетете к автору «Котлована» читают или, точнее, когда-то читали его, там-сям и кое-как, до сих пор не могут уйти от куцего образа сердечно-пронзительного гуманиста и критика «одиозного» режима. И удивляются, почему его любят все, и правые, и левые. Да пожалуй, потому и любят, что и правые, и левые, и все люди вообще *лучше, чем они кажутся* (согласитесь, убеждение самого Платонова), что, читая его, резонирует в них душа на некую, для них пока непроясненную вибрацию его чувства и мысли, которые глубинно касаются всех. Платонов — тот редкий, драгоценнейший случай, когда человек (художник, творец, ученый…) достаточно безумен и упорен в своем великом безумии, чтобы быть гениальным.

2

Платоновский язык выступает как копатель сокровенных смутных народных глубин, разоблачитель того поворота, какой приняло строительство новой жизни. Вспомним, какие мессианские надежды возлагал на революцию как начало эона радикального преображения мира и человека молодой Платонов. Серьезный слом происходит ко второй половине первого послереволюционного десятилетия, когда уже создается «Чевенгур», в какой-то мере кристаллизуясь из густого творческого бульона уже написанных повестей, рассказов и статей. Еще в 1927 году в рассеянной по редакциям, похороненной в архиве статье «Питомник нового человека» — «Человек, который будет…» Платонов продолжает развивать свои излюбленные активно-эволюционные идеи о новом человеке, венце *цефализации*, о новом сознательном ее этапе, отнесенном им к социалистическому идеалу и обществу: «Что объективно характеризует нового, социалистического человека? Несомненно мозговой прирост, т. е. изменение в мозгу, в сторону его усиления, и связанные с этим органические перемещения» (II, с. 376). Но какие там в действительности «открытые шлюзы для потока сознания», ведущего к «сотворению нового человека», когда «сознание в камеру шлюза пройдет, а пороки защемятся и отвалятся в верхнем плёсе» (там же)? (Кстати, заметьте — *пороки*, а не живые их личностные носители, как получилось.) В чем причина: дефекты идеала, его искажение, плохой учет мощного *сопротивления материала* реальности и человеческой природы, роковая путаница со сроками исполнения (несоизмеримость короткодыханного *малого времени* человеческой жизни и *времени большого*, планетарного, со своей далеко не столь спешной эволюционной поступью)?

Горькая внутренняя издевка над произошедшей подменой особенно насмешливо, *наоборот* всем чаяниям, вылезла в обострившейся ситуации фантасмагорических политических процессов и голода в стране начала 1930-х годов, когда были созданы пьесы «Шарманка» (1930), «Высокое напряжение» (1931) и «14 Красных избушек» (1933)[2]. Но звучит эта издевка вовсе не в прямом высказывании, тем более не в гневной риторике. Разве что, как отмеча-

ет Елена Роженцева: «В рукописи трагедии, в заметках на полях, в черновых набросках к пьесе проскальзывает авторское отношение к происходящему: “От боли (?) дрожало сердце”; “в страшном внутреннем неверии, подозрении врагов всюду”»[3]. Да иностранный устало-скептический, умудренный долгожитель Хоз походя бросает свой вердикт: «Я вижу. Вы запутались. Вам есть нечего будет». Степень разочарования писателя выражает себя в атмосфере дикого абсурда, разлитого в «Шарманке», крепчающего до запредельной степени к концу пьесы, со вкушением там научной пищи, от которой всех выворачивает наизнанку. Здесь без директивки, спущенной сверху, без помочей высшего руководства одурачивается ум, обессилевает всякая воля возглавителей и организаторов снабжения народа продовольствием. Притом что нет тары ни на что (включая на задарма прущий поток птицы и рыбы из соседнего совхоза), когда придерживают даже всякую малосъедобную, испорченную дрянь, дикие пищевые суррогаты («Люди всё могут съесть. Пускай материализму побольше будет, а людей и так хватит»). В идеологической стране, догматически непоколебимо стоящей на *материализме*, обнаруживается фатальная недостача *материи*, той самой главной — в виде *пищи*, без которой сама человеческая жизнь обречена на исчезновение. И мечтает Щоев враз население *со снабжения снять*, взяв «курс на безлюдие», переведя республику на умные механизмы — какая, мол, прелесть: «Сидит и крутится какое-нибудь научное существо, а я им руковожу». Непрерывно вдалбливает массе и непосредственно подотчетным единицам свое генеральное предназначение: всех и всё «возглавить надо», без чего всему — стоп и конец. О том, насколько у самого Платонова «чесались» его творческие руки — приложить, как следует, «коммунистических» руководителей, обнажить в них носителей нередко оголтело-нигилистической *установки* по отношению к народу, свидетельствуют откровенно-беспощадные сцены и диалоги, которые писатель намеревался вставить в текст (но так этого и не сделал, еще как-то, очевидно, надеясь на напечатание и постановку когда-то своей пьесы). В диалоге с Евсеем Щоев декларирует: «Приурочь-ка смерть поближе к населению! <…> Дружественные элементы — это величайшая опасность <…> Население, это классовый враг <…> Ты пусти директивку сквозь

всю **едоцкую** массу, что мы их начнем **скоро** рассеивать в **мировом** пространстве, в бесконечности. <…> Организуй мне [*смерть*], ужас смерти среди масс — ликвидируй этот [*мещанский*] оппортунистический всеобщий аппетит! <…> Поступим, Евсей, [*как всегда*] по-большевистски! <…> Побольше непримиримости! Вперед, Евсей, к новым достижениям — [*среди разгара*] в дальнейший разгар классовой борьбы!»[4]

3

Глубинный взгляд Платонова на мир и задачу человека в нем, на происходящее в стране выражает себя в сюжете, в композиции, героях, в навязчивых мотивах, ну, конечно, в речах персонажей (а пьесы из них почти целиком и состоят, в них-то прежде всего и воплощают себя эти темы и мотивы). Надо при этом заметить, что в пьесах особую конструктивную, *наводящую* роль играют кусочки его прозы, вкрапленные в них в качестве авторских реплик, где в окружающей стихии пестрого, забавно-гротескного и темно-глубокомысленного словоизвержения персонажей фокусируется авторский взгляд.

Речи персонажей, часто на первый взгляд причудливо-полубредовые, сочетают драгоценные сердечные выплески с директивной фразеологией, слоганами газет и плакатов, накрепко внедренным ценностным примитивом эпохи. Эта лексическая гротескная какофония и диссонанс, весьма многозначительные, обнажают смятую, изуродованную *психею* народных героев, переходя и в нередко дикие их реакции и действия. Сплетаются гроздья, казалось бы, несовместимых вещей: куцего актуально-политически облученного ума, точнее *недоумка*, и *сердца*, сохранившего родниковую струю чистоты и растроганности. Сердце у героев — большое и тоскливое, в чем-то глубинно детское. Вот на театральные подмостки, изображающие пустое место «светлого мира», является первая пара «действующих людей» — юная эманация знакомого нам по прозе Платонова импульса странничества, бесконечного движения по родной пространственной горизонтали ради обретения вертикали некоего неопределенно-прекрасного высшего иде-

ала, чего так чает душа и без чего ей непрерывно «скучно». Себя эти молодые культработники Алеша и Мюд аттестуют «пешими большевиками»: бредут они «по колхозам и постройкам» к цели, «детски-задушевно» выдыхаемой Мюд, — в… социализм, «далекий прекрасный район», подхватывает «задумчиво» Щоев. Даже этот начальственный монстр местной кооперации, время от времени наподобие механического Кузьмы изрыгающий свои приказы и призывы, гротескный апофеоз безжалостной нелепости по отношению к «массе», «настроенья» *хочет*, ему «скучно чего-то сейчас на свете», и он плачет от пронзительно грустных шарманочных народных мелодий и песни Мюд.

4

В своих пьесах писатель не раз изображает встречу, столкновение двух различных ментальностей, двух цивилизаций, новорожденной, советской, и устоявшейся уже в своих ценностных основах, западной, используя один сюжетный ход: явление в СССР неких иностранцев. В позднем «Ноевом ковчеге» в буффонном параде персонажей-масок значащих фигур западной цивилизации живописно представлены главные параметры ее фундаментального потребительского, «неоязыческого» выбора: идеал комфорта и *удовольствия* на краткое *время живота*, культ эффектно упакованных «мануфактурных игрушек», самодовольный эгоизм в широком диапазоне, от индивидуального до геополитического, жестко-экспансионистский оскал… Отношение к СССР и советскому человеку с какими-то прущими против их уклада идеалами равенства и коллективизма, восхождения к некоему братскому коммунизму тут пронизано страхом, ненавистью, истерическим желанием стереть их с лица земли.

В датированных же началом 1930-х годов пьесах персонажи иностранцев в России — еще своего рода чудаковатые европейские маргиналы, с исследовательским интересом к советскому эксперименту, к его нынешней предполагаемо подъемной фазе, к заявленному заданию создать нового человека. Наиболее яркий тут образ Иоганна-Фридриха Хоза, престарелого всемир-

но известного ученого, председателя Комиссии по разрешению Мировой экономической загадки в «14 Красных избушках». В «Шарманке» — это приехавший в сопровождении дочери Серены датчанин Эдуард-Валькирия-Гансен Стерветсен — сколько в его имени упаковано образных западных «концептов»: расхожеромантического Эдуарда, вагнеровской воинственной напористости, намека на *сказочную* национальную гордость, но с русским ругательным припечатыванием в фамилии! (Вполне законен, интересен и вариант истолкования Н. Дужиной его второго имени «Валькирия» в контексте темы *заготовки душ*.) Приехали они сюда купить «ударную душу» строящегося социализма, нечто неощутимое, но «идеально»-воздымающее, что выветрилось из материально благополучного Запада. Впрочем, *душу*, отмененную в «эсесере» как религиозный пережиток, им тут же помогают определить как *надстройку*, а ее уже сократить до более мелкой дроби в виде того, чем направляется сейчас советская жизнь, — бумажно оформленной установки или директивки. Ее-то им, как воображаемое платье королю, подсовывает Щоев за вполне реальные костюмы и еду. Стерветсен — профессор-пищевик, а наших сорок восемь пищевиков, кстати, в реальности только что, в сентябре 1930-го, без суда благополучно расстреляла родная власть. Так что на фоне приобщающихся вместе с ним и «высшим» начальством (Щоевым и Евсеем) к заграничной колбаске и сыру, особенным уморительно-зловещим гиньолем выглядит сцена приготовления и коллективного вкушения работниками конторы «великой еды будущего», «новой светлой пищи», от «котлет из чернозема», «каши из саранчи и муравьиных яичек» до «сладкого из клея и кваса», от которой вскоре начинается солидарная нутряная, извивающаяся мука с неприличными извержениями сверху и снизу. А простое население, взрослые и детки, за стенами учреждения, прильнув к окнам, взывают и молят *мусорными голосами*: «Дядь, дай кусочек! <…> Нам хоть невкусное… Хоть мутного … Дозвольте жижку жевнуть! Я тоже был член». А какая замечательная авторская ремарка, рисующая кульминацию «великого» принудительного эксперимента: «танец все же продолжается», официальное веселье идет, и «одичавшие тела в мучении обнимают друг друга», пока «под напором желудочного вещества» «танцующие *ни* откидываются один от

другого»… И когда к финалу все же пошел торг Щоева со Стерветсеном за советскую энтузиасмическую душу, недаром нашлись горячо желающие продать ее с напичканными туда установочными директивами и, разумеется, со своим измученным телесным их вместилищем, под предлогом *разложения Европы*. Даже Алеша, соблазнившись на реализацию своей давней мечты, дирижабля для страны, предложенного Сереной (Сиреной) в обмен на его *бушующую* «идейную душу», готов ехать к буржуям («Я согласен сгореть в Европе за такую машину!»).

5

Бред происходящего взметывается к концу «Шарманки» зловещими и вполне актуальными языками для времени процессов над «правыми» и «промпартией». Абсурд тогдашних обвинений явлен здесь в случае с Алешей. Его жест по разрушению робота Кузьмы с неосторожно вырвавшимся словом «оппортунист» в его отношении был тут же бдительно истолкован Щоевым: ах, он сознательно соорудил железного идейного извращенца для *порчи масс*! И пошла гениальная *хоровая* массовая сцена, где и инквизиторская демагогия начальников, быстренько подсуетившихся и слепивших «дело», и дружный ансамбль злорадно бичующих голосов, идущий крещендо в своих требованиях покарать вплоть до смерти «изменника», «вредителя», «фашиста», в призывах сплотиться «в высшей ненависти <…> в общей груди», «следить друг за другом», *не доверять себе самому*, *считать* «себя для пользы службы вредителем», *карать* «самих себя в выходные дни»… В эту замечательно перекрученную психопатологию эпохи включается и сам сокрушившийся от своей роковой идейной «ошибки» Алеша: кем только в покаянном сладострастии не признает он себя: «ошибочником, двурушником, присмиренцем и еще механистом», вплоть до «маски классового врага»… Как много всяческой, в том числе психологической реальности, зачерпывают, казалось бы, юродивые реплики персонажей, в том числе Алеши («Я жалкий заблужденец, а вы вожди…<…> Я присмиряюсь под фактом, Мюд»), который в конце концов плачет от своей сломленности.

И тут уж только человек с чужой стороны, каким бы он ни был *Стерветсеном*, приходит к нормальной констатации: «Я отказываюсь от сделки на эту (*указывая на Алешу*) психологию. Это брак, а не надлежащая надстройка». Эту надстройку он чует разве что только в той, что единственная несет в себе настоящую искру новой души, — в «девушке-подростке» Мюд. Вообще в пьесах Платонова чаще всего именно юная девушка более всего воплощает естественность, близость к истокам жизни, чутье истины, особое сердечное *воодушевление*, то есть качества вообще драгоценные, но особенно редкие в мире навязанного извращения, я уж не говорю, идеала, но простого здравого смысла. В «Ученике Лицея» это — «отроковица-подросток» Маша (и чуть постарше Даша), светлые явления *прелести* жизни, наивно-доверчивого, поэтического восчувствия мира. В наиболее чистом, незамутненном качестве — глухонемая Ева из «Ноева ковчега», *ясновидящая* и *яснослышащая* сердцем, к ней в силу ее физического недостатка никакие внешние *научающие* веяния не проникают, как в других молодых героинь, Суениту из «14 Красных избушек» или Ольгу Крашенину из «Высокого напряжения», которые не избегают дефектной, искажающей их реакции идеологической прививки. Инстинкт высшей правды в Мюд (пусть пока непроясненной, еще темной для нее), выявляющий себя в корявых и экспрессивно-ругательных терминах времени, все же по своей интенции, по энтузиазму *жить и*, не останавливаясь, *искать* выражен наиболее цельно, как бы *эмблематически*. Покидая Алешу, своего прежнего неотлучного спутника, как «гада присмиренца», уходит она с песней от всех *вдаль* — «в страну далекую» своей мечты. И глубоко в нее иконно-плакатно пока впечатан лишь избранный образ ее любви — товарищ Сталин… Не соблазняет ее даже обещание датчанина подарить молодой стране целую эскадру дирижаблей, «воздушных кораблей». «Не хочется что-то. Мы пока пешком будем жить», — путь ее, родины и народа еще далек, во многом предстоит еще разобраться, главное, свой идеал испытать, понять и принять его «без брака», целостно и конкретно-делово…

6

Внимая последнему финальному аккорду «Шарманки», ловишь себя на восхищении мгновенно промелькнувшей, скорее всего бессознательной, платоновской вещей интуицией, как бы «футурологической». Если условно понять ликвидацию «Песчано-Овражной коопсистемы», снос населенного пункта под чистое место расширительно-символически как разрушение советского этапа существования страны, причем в соответствии с новым «перспективным планом» — для «промышленной эксплуатации подпочвы, в которой содержится газовый угар», то можно увидеть тут в смутно-тревожном «творческом сне» *русского Платона* явившееся «невольно»-точное предведение будущего России. Газовые разработки и газовая труба для откачки природного уже, не *душевного*, богатства на тот же Запад (за костюмы, еду, удовольствия для стоящих поближе к трубе, контролирующих ее) с тем же «курсом на безлюдие» вокруг — будущее не менее дурное, чем предыдущее «щоевское» настоящее. Но и конечно, тоже не вечное, а столь же преходящее…

Хотя самому Платонову из-под глыб душившей его эпохи сроки могли казаться и подлиннее. Вот одна из фраз в его записной книжке за 1935 год: «Человек, захотевший победить СССР, — и питающийся научно, химически, чтобы прожить 500 или 1000 лет, — пережить всех»[5]. Каким далеким казался возможный прерыв советской истории, выход из СССР — до тысячелетия, так глубоко-безнадежно сидели в своей эпохе, так крепко было всё схвачено строем. А как легко и быстро оказалось все порушить! СССР прожил среднюю продолжительность жизни всего лишь отдельного человека: 70 лет! Как-то оскорбительно мало для гордости рабоче-крестьянской, народной, изначально родной для Андрея Платоновича власти! К этой его записи можно добавить оказавшуюся хронологически более точной пророческую мысль Василия Розанова, высказанную, правда, еще до свершения революции: «И “новое здание”, с чертами ослиного в себе, повалится в третьем-четвертом поколении»[6]. Повалилось даже раньше. Вот эти ненавистные и Платонову *ослиные черты* и уши так и торчат как объект ядовитого осмеяния и в его пьесах. Вместе с тем для глубинного восчувст-

вия Платоновым революционной эпохи, возможно, ближе другие слова Розанова: «Явились как будто “безбожники”, а работают как ангелы, посланные Богом»[7] — вот она, диалектика истории, ее деятелей, обнаруживавшаяся не раз на нашей родной ниве.

7

«14 Красных избушек», примыкающих рядом тем и мотивов к «Шарманке», — вершинный драматургический шедевр Платонова: по захватывающему сюжетному разворачиванию, композиционной выстроенности, остроте схваченного человеческого, социального, идеологического, столичного и провинциального материала, по пронзительности трагедийной атмосферы, душевных интонаций, густоте метафизических мотивов, высшему *платоновскому* пилотажу языкового самовыражения персонажей… В их репликах под покровом как бы простых юродивых парадоксов свивается сложно-противоречивый, амбивалентный, как сама жизнь, «философский» и экзистенциальный клубок индивидуального или классово-типового взгляда и судьбы. Приведу некоторые из этих реплик. Вот высказывается проницательный Хоз, «интеллектуальный авторитет Европы»[8], почти уже «вечный жид», уставший от существования, его вечных коллизий, от своей славы и возложенных на него мировых задач, от бесследного исчезновения близких, но при всем своем скепсисе все еще чувствительный к редкой прелести юного, чистого существа (тут это Суенита). О новой стране: «Да, мне ваш эсесер понравился: кругом противоречия, а внутри неясность»; о состоянии народных душ: «Бога нет даже в воспоминании»; о всё понимающих и не бесталанных советских писателях, сумевших комфортабельно, *играя* «в свою славу», вписаться в режим: «Вам хочется рассмеяться в своей стране, а вы стараетесь мыслить»; о Суените: «…у тебя сердце бьется умнее моей головы»… С ним в мир Платонова особенно густо входит метафизический лейтмотив «пустяка». Пустяки *господствуют в мире*, в который сам человек вносит свои эмоции и переживания: «Какое всемирное, исторически организованное жульничество!.. И ветер, дескать, как

будто грустит, и бесконечность обширна, как глупое отверстие, и море тоже волнуется и плачет в берег земли… Как будто все это действительно серьезно, жалобно и прекрасно! Но это бушующие пустяки!»; «Мне известно с точностью всемирное устройство. Оно состоит сплошь из стечения психующих пустяков»; «Я давно потерял себя и живу в пустоте ясности и отчаяния»; «Займемся пустяками для утомления души»; «…текущие пустяки всех событий»; «Я такой же пустяк, как всё живое и мертвое»… Мотив *пустяка*, *пустяков* — это уже последний, безнадежный, *равнодушный* предел ощущения *скуки*, столь связанной у Платонова с подсознательным переживанием *смертности*, дурной бесконечности бессмысленного, обезбоженного бытия, но в скуке всё же есть еще остатки подъемного чувства: стряхнуться и бежать из этого падшего, серо-пыльного, смертно-унылого состояния мира!..

Суенита, входящая в действие с ощущением своей безграничной веры, чудесной, светлой дали впереди: «У нас всё может случиться, чего только захочет наше сердце!», по мере вторжения иррациональных, непреодолимых сил (противоборство ущемленного социального слоя, похищение ребенка и колхозной собственности, голодный ужас и ожесточение, смерть ребенка…) проходит свой душевно-метафизический, трагедийный слом: «Опять мне скучно стало. Сердце мое болит, и телу жить становится стыдно», стыдно по сути за энтузиазм радикально, от главных, тоскливых бедствий не спасающей, а значит обманной новой веры. Автор оставляет ее рядом с трупиком младенца на берегу моря, где появляется рыбачье судно, везущее им спасение, но она сначала и не замечает его, вся в тоске по потерянному сыну: «Ребенок мой не дышит. Дедушка Хоз ушел… Скоро уже вечер — как скучно делается мне одной!» А когда все же «*видит парус*», то «*равнодушно*»: «Вон корабль наш плывет, хлеб и овцы едут домой… Один ребенок мой не чувствует ничего…». И на этом трагическом фоне лежащий пластом рядом с ней сморившийся от голода главный идейный фанат большевизма Антон со своими резкими вскакиваниями, уверениями «Я с тобой один остался до полной победы — кто кого — на эн-количество веки веков!» и призывными выкриками смотрится как ненужная, докучная, марионеточная аппликация. Суенита, конечно, ничего

не формулирует, но в ней уже сдвинулись какие-то тонкие внутренние балансы, стесненная душа уже тихо-неразборчиво, но что-то сказала ей о бессилии такого идеала, который *не вмещает* в себя главных чаяний ее сердца, не вмещает, говоря уже осознанным платоновским словом, в себя главного — онтологических задач «выхода из положения смерти», «взыскания погибших», преображения человека и мира.

Вершков — из сохранивших здравый проницательный смысл народных платоновских героев, вынужденных приспосабливаться к гнету железных обстоятельств. (В «Шарманке» таким, только в более прагматически-корыстном варианте, типа Прошки Дванова, является заместитель Щоева Евсей.) Из уст Вершкова мы слышим ироническое: «Я живу от сознания, разве у нас от пищи проживешь?», «А чем ты накормишь его (народ. — *С. С.*)? — только политически! Лозунг выпустишь из ума!» А как точно формулирует он, отвечая Хозу, за колхоз он и социализм или нет: «Я за него, Иван Федорович, и напротив. Я считаю одинаково: что социализм, что — нет его. Это ж все несерьезно, Иван Федорович, одна распсиховка людей».

8

Гнетущее впечатление оставляют «14 Красных избушек». Перед нами — славные, взыскующие идеала простые народные русские люди, наученные классовой борьбе, беспощадности к врагу, вплоть до его физического устранения с лица земли, вот и Суенита враз, моментальным кинжальным ударом в сердце, убивает Вершкова. Да и сточетырехлетний Хоз воспринял такие радикальные реакции — вдруг взял и задушил как «классового врага», как чуждый элемент молодую свою подругу, Интергом, сразу после любовного с ней акта, а та всего лишь по-женски, как *душечка*, лишь вербально-безобидно индуцировалась от писателя Уборняка модным марксистским шармом с установкой на сознательность и бдительность. Стоит несколько остановиться на диком, недаром кавказском по стилю убийственном жесте Суениты. Именно здесь, как мы помним, подзатесался товарищ Ста-

лин. Умный Вершков в качестве резолюции Западу, пославшему в «эсесер» Хоза за решением мировой загадки, написал своей рукой на письме в Европу: «Да здравствует товарищ Сталин», отменив тем самым самое наличие таковой загадки. Всё, приехали! — в качестве живого земного бога высочайший, всеразрешающий, непогрешимый абсолют налицо, какие могут быть еще загадки, какие поиски вариантов ответа?! Скорее всего Суенита почувствовала тут иронию своего каверзного колхозника. И тут же оскорбилась, что Хоз принял как свой ответ какого-то сомнительного Вершкова, хотя тот по сути выразил истину, какой жила она сама: «Мы здесь бедные, у нас нет никого, кроме Сталина. Мы шепчем его имя, а ты его срамишь. Вы богатые, у вас много ученых вождей, у нас — один». И когда Вершков попытался встать в один ряд с Суенитой в принятии ее идеала («Я тоже социализм!»), та с резким отторгающим приговором: «Социализм, как и Сталин, у нас один. Два не нужно», тут же всаживает ему в грудь кинжал. Как будто само энергетическое поле, включающееся при имени Сталина, мгновенно твердо *насталивает* ее руку, направляя в сердце «врага».

Как всё перекручено, сбито с панталыку, извращено, *распсиховано*! И утешающий пассаж о научном воскрешении заученно-холодно декламирует Антошка Концов, бессмысленный и никчемный горячечный адепт науки и коммунизма, фигура страшновато-гротескная (недаром при «апокалиптической» фамилии!). Высказывается он курьезными гроздьями лозунгово-газетного сленга эпохи, в потенции скор на рациональную расправу с «врагом», предельно суров в исполнении железно, слепо понятого долга, строг к любому прегрешившему, даже если это арестованная на время за убийство Вершкова Суенита. Неистово кричит в трагическом финале: «Пора вперед!» и тут же исчезает. Сам этот повторяющийся в пьесе момент внезапного появления, превентивного, невпопад грозного рыка или энтузиасмического захлёба и тут же исчезновения персонажа (этот момент постоянен именно в отношении Концова) — черта эстетики театра кукол: только марионетки так же мгновенно исчезают под ширмочкой, проговорив свой ролевой спич.

9

Конечно, в пьесе немало от театра марионеток. За убийством персонажей стоит яростное уничтожение «вредных» идей — впрочем, видим-то мы вполне живых людей. И вместе — шевелится в главных героях чуткое сердце, и тщетно давит его порывы дурная, идеологически запрограммированная голова. Скучно им, тоскливо, что-то *не то* творится. Измордована народная душа революционным стрессом, установками на ненависть, правом на убийство, причем быстрое, самосудное, с первого же ударившего в голову пылу-жару, может быть и ошибочного — как тут же пересматривает Суенита свое отношение к тому же заколотому ею Вершкову, с одной стороны «ударнику», с другой — невоздержанному на язык умнику, в том числе с «контрой» Ашурковым, угнавшим их овец, прихватившим их домик и заодно невольно двух сонных детишек. Они-то, «бантики», тут никого не убили, а когда их нагоняют и забирают предводителя, то он, привязавшись к грудным деткам, плачет над ними. Когда-то любил маму одного из них, Сунениту, — в другую, нормальную эру.

Еще ранее, после монолога Хоза об антропоморфизации природы и ее стихий как «организованном жульничестве», реакция Суениты более чем характерна: «А кто такие жулики, почему их не расстреливают, чего они думают?» В сознание внедрен тотальный и якобы единственно верный принцип уничтожения всего «не того» — и Платонов в своем творчестве постоянно наводит на понимание: в этой установке на физическую ликвидацию целых социальных слоев, неудобных, ершистых людей, а с ними и мощных концентраций энергии, ума, умения и лежит один из главных роковых просчетов новой идеологии и практики. Николай Федоров, чья мысль глубинно коснулась сокровенных идеалов Платонова, считал, что «наши пороки лишь извращенные добродетели», они часто концентрируют в себе особенно мощный психический, действенно-волевой потенциал. Изолировать и уничтожать на корню даже предполагаемо злые силы, существа, людей — значит терять этот потенциал, вместо того, чтобы перенаправить их на дело благое, преображать «темные» качества и свойства, а носителей этих качеств духовно и физически *излечивать* и присоединять к обще-

му единству. Этот забытый и забитый евангельский дух любви и всеобщего спасения все же еще сумеречно дремлет в каких-то генетических глубинах народной души. Та же Суенита, когда речь идет о Федьке Ашуркове, кого она чувствует изнутри, не отдает его в карательные клещи ГПУ, намереваясь взять «на воспитание»: «Я из него колхозника-ударника сделаю, он годится лучше наших, я знаю. Он кроткий будет!»

10

Этот же дух пытался Платонов внести в идеологическую атмосферу страны своей пьесой «Высокое напряжение», когда, несмотря на некоторое помягчение с июля 1931 года отношения власти к старой технической интеллигенции, вовсе не исчезло недоверие к ней, преследование производственного «вредительства» и «вредителей» с самобичеванием классово и идейно «нечистых». Именно с этой пьесой он упорно и тщетно бился почти десять лет, шел на обсуждение ее в писательской среде, посылал в журнал и издательства, предлагал театру, переделывал, пробовал новые редакции, то длиннее, то короче, прятал под другим названием… С одной стороны, вроде *близок локоть* — как же, передовая, самая востребованная производственная тема, героика жертвы за общее дело, да и Горький сразу одобрил… С другой, тот самый неприемлемый, *против шерсти*, дух не мести и подозрительности, а прощения и доверия, когда, по сути, снимается вообще каноническая тогда в литературе фигура «вредителя» как такового. А главным вредителем оказывается собственная низовая дурость и малахольство в лице, казалось бы, случайной проходной фигуры — недаром мелькала у Платонова мысль так и назвать свою пьесу «Почтальон», иронически указав тем самым на образный адресат самого явления «вредительства».

Сравнение первых набросков пьесы об инженерах (1929), проанализированных Д. Московской[9], с окончательным вариантом «Высокого напряжения» конца 1931 года обнаруживает характерный сдвиг: вначале предполагалось ввести образ «вредителя-спеца», конфликт между инженерами старой и новой школы… Однако, по

мере всё большего обнаружения абсурдной логики и бедственных результатов такой селекционно-карательной политики, с переживанием на самом себе в 1931 году, после публикации «Впрок», чего стоят убийственные обвесившие его этикетки («классовый враг», клеветник и литературный вредитель, одновременно правый оппортунист и левый троцкист…), в написании первой редакции пьесы (начало августа 1931 года), носившей название «Объявление о смерти», пошел четкий процесс: не радикализация конфликта, усугубление его до ужасной нелепости, а смягчение его, и не просто смягчение, а снятие вообще. Это был процесс, обратный происходившему в реальности, по крайней мере, вплоть до выступления Сталина в конце июня 1931 года на совещании хозяйственников с призывом борьбы со «спецеедством» как новым перегибом. Так в какой-то степени Сталин становился как бы опорой (точнее, «соломинкой» спасения) гонимому писателю в окончательном воплощении своего *актуального* драматургического замысла, на который им возлагалась прежде всего надежда на свою социальную и писательскую реабилитацию. Но это была попытка, заранее обреченная на провал: по самой своей творческой природе, как бы ни старался Платонов ее согнуть и «исправиться», он органически не мог соблюсти нужных хитро-конъюнктурных балансов в своем мировоззренчески и стилистически непокорном творчестве.

11

Первое действие «Высокого напряжения» экспонирует главных персонажей, вокруг которых кристаллизуются три тематических ее блока. Это сорокапятилетний Сергей Дмитриевич Абраментов, «худой и бедный человек», инженер-механик — особо сомнительная для эпохи фигура: бывший белоэмигрант, мыкался по разным странам, вплоть до Австралии, «хотел оттуда победить Советский Союз», но в результате, если и не полюбил его, то «заинтересовался им», вернулся на родину, отсидел в тюрьме, и вот его выпустили оттуда «жить и работать». Рассказывая о себе сначала своему бывшему другу инженеру Машкову, потом директору завода Девлетову, он сразу же притягивает к себе убеждающей аурой своей

настоящести: в нем чувствуется человек умный и сильный, искренний и честный, личность *с идеей*, умеющая выразить себя в тонких градациях самооценки. Он не боится сознаться, что советская власть его «еще не победила» — признает ее «только мыслью, искусственным напряжением», отказываясь принадлежать к какому бы то ни было стану: «Теперь я одинокий <…> в сердце своем — я ничей, там я свой». И дает директору тонкое объяснение такой своей сердечной автономии, поднимая ныне попранные, но святые для него права незабвения, памяти о прошлом, прошлых людях и поколениях: «Просто в сердце еще долго остается теплота того класса, который уже погиб…» Хотя он готов вместить в него, возможно, и *социализм* — уже и «чувством, и действием».

Иван Васильевич Мешков, «утомленного вида инженер», несколько за сорок, являет собой довольно разработанный в литературе того времени тип — особенно ярко у Леонова (ко времени написания пьесы уже вышла его «Соть»). Существует он в ощущении своей классовой неприкаянности, душевной ветхости, ненужности для нового времени («Я мелочь, прослойка, двусмысленный элемент и прочий пустяк…»), живет равнодушно, по инерции, стараясь увиливать от излишних трудовых напряжений, живет в постоянном страхе обнаружить себя в таком плачевном качестве и в ожидании суровой за это кары… Его раздвоенные, жалкие рефлексии прошивают первое действие и вообще каждое его появление в пьесе. И так нестерпимо взметывается в нем внутреннее мучение, что он уже «принципиально подготовился» к самоустранению из бытия — с написанной заметкой в газету о своей кончине. И тут же два эти инженера контрастно реагируют на громкий звук взрыва, аварию в компрессорной: Абраментов бросается, «но без паники» на помощь в ее устранении, а Мешков, мучаясь — бежать, не бежать, собственно зачем, «там есть сменный инженер», в конце концов, жалея себя, засыпает в «ворохе вещества» своей неубранной комнаты.

Возвращается Абраментов, а за ним достаточно еще молодой, 35-летний директор Девлетов, видевший его в деле, в ходе ликвидации поломки, и предлагает ему в ходе прощупывающей краткой с ним беседы пост заместителя главного механика. Своими точными реакциями и жестами он сразу же производит впечатление

разумного руководителя, проницательного и щадящего людей. Сюда же, на квартиру Мешкова, является и шатающаяся от усталости, спящая на ходу молодой инженер Ольга Крашенина. Сутками не отрывается она от заводской авральной работы, просит Абраментова хоть ненадолго сменить ее и проваливается в беспокойное забытье на чуть расчищенной им хаотической постели Мешкова. Вырывает ее из сна вторжение разъяренного, бешено ее ревнующего мужа, то ли к всепоглощающей ее работе, то ли ошибочно к случайным ситуациям, как сейчас, когда не удерживается он даже от рукоприкладства. Но Ольга — как стрелка компаса — нацелена на одно: *моя смена*! — вся в одержании трудового энтузиазма.

12

Второе действие — растущая крещендо, вплоть до трагического пика, кульминация темы, с которой входит в пьесу Ольга: работа как священный аврал, предельная мобилизация, подвиг, какое-то самоотверженное, почти религиозное свершение — то, что уже ярко выплескивалось в советской поэзии и прозе, и у Маяковского, и у того же Леонова в «Соти»… Тут — фанатическая одержимость, высокий долг, аскетизм, редукция человека до эффективного работника, когда всё для страны, для дела, для будущего, когда ничто не щадится — ни время, ни личные, семейные чувства, ни здоровье, ни жизнь своя и других… И вот, безостановочно снабжая электричеством какой-то окружный кусочек производства и страны, выполняя промфинплан, неукоснительно, несмотря ни на что, как будто берут высоты окончательного, великого счастья, когда нельзя сорваться в его стяжании ни на час, ни на метр… В этом явно сквозила какая-то смещенная, плохо осознанная, подменная экзальтация и эйфория.

Среди мечущихся ударников и инженеров, затыкающих дыры какой-то перманентной аварии, сажает Платонов за пульт управления станцией сорокалетнего, полненького инженера Жмякова, весело-ироничного, инкрустирующего свой огромный монолог, прерываемый сообщениями о новых бедствиях, главным образом песенными припевочками, поэтическими обрывками и сентенци-

ями с пародийными изможденными воздыханиями *высокого регистра*: «Боже мой, Боже мой, почто ты оставил меня… в таком веке? В каменном тихо было. <…> При большевизме я среднего ничего не видал…» Замечательно, как они с Мешковым посреди галопирующих катастроф высчитывают, что их ждет: за сожженный генератор — «нам будет лет десять», за отсутствие тока — «до пяти лет изоляции» — «Да, это дивная пора»… Да, жить «героически и скучновато, — подытоживает Жмяков. — Где мы теперь, кто нам сжимает пальцы?..».

Среди общей неразберихи и упрямо-судорожных действий Крашениной и рабочего-ударника аварийной службы Пужакова только Абраментов трезво оценивает гиблую ситуацию, но постоянно напарывается на безумно-алогичный энтузиазм. На его «Машины ведь нейтральны в классовой борьбе — генератор сейчас сгорит» — Пужаков: «…мы их заставим сочувствовать…». А когда он все же сгорает — «Машины мертвы, к сожалению, Ольга Михайловна», та бросает ему едкое: «Когда они в мертвых руках, инженер Абраментов». И он действительно *вспыхивает от обиды*, но всё же разумно парирует: «А генератор — не большевик». То, что техника — «не большевик», не действует *как надо* в магическом поле большевистской воли, страшно демонстрирует финал этого действия: жуткая гибель в огне одного из ударников Распопова и самого Абраментова, ринувшегося его спасать. Перед смертью им достает сил выйти из огня, держась за руки друг друга, «черными, обгорелыми, почти неузнаваемыми», с выжженными глазницами.

13

Третье действие, при том что здесь разрешается и загадка каскада производственных катастроф, и умиротворяется общая обстановка на заводе, — наиболее острое и «сомнительное» по своему духу, возможно, более всего ответственное за безнадежную издательскую и постановочную судьбу пьесы. Здесь Платонов наиболее прозрачно выражает свое отношение и мысль. Здесь концентрируется заветный мотив, связанный в творчестве писателя с переживанием смерти, с отношением живых к умершим. Недаром

открывающий действие текст авторской ремарки так тонко ажурно ведет свою партию, за которой следует единственная любовная сцена… между молодой женщиной «в длинном платье, в весенней шляпе, с маленьким букетом цветов» и черным, безглазым трупом, лежащим в гробу заводского клуба. Ольга Крашенина «гладит обугленную голову Абраментова», «робко целует его в губы», обращаясь к нему тихо и проникновенно: «Я и полюбила вас, и заплакала» (а то, что между нею и погибшим инженером, несмотря на некоторую пикировку, сразу же скрыто пробежала искра сердечной симпатии, хотя и остается в подтексте, но вполне очевидно). А Пужаков, «в костюме, в галстуке, убранный, с громадным букетом красных роз», пришедший погоревать прежде всего над своим другом Сеней Распоповым, произносит над его гробом «речь» вполне «идейную», из тех, что лейтмотивно («совесть перед умершими», «греховный стыд перед умершими», «отработать» свою вину перед ними) звучали и будут звучать в платоновском творчестве, вплоть до военных и детских рассказов: «… нам, брат, без тебя тоже стыдно оставаться. Ты, значит, сделал, а другие жировать будут, — это ведь неверно. <…> Вот дай управиться — природу победим, тогда и тебя подымем…».

В финал пьесы вдвигается приехавший из Москвы директор Девлетов: он и сообщает, что им, оказывается, уже давно послали и «особый диспетчерский радиопульт», и специальную депешу об их включении в высоковольтную общесоюзную электролинию. Каким же образом всё это, вызвав такие трагические последствия, до них не дошло, выясняется через почтальона, который, не придав особого значения присланному аппарату, оставил его при себе, соорудил из него радиоприемник, музыку слушать от скуки, а все телеграммы, вследствие поломки, вообще опоздали на несколько суток… Девлетов тут выступает как идеальный, мудрый, *всеразрешающий* руководитель. Он разумно распределяет иерархию ценностей: главное сбережение людей, а не жертвенное геройство на производстве: «Справились бы потом, не очень страшно… А то ведь вы людей пожгли, и каких людей…». Он готов и брать на себя вместе с другими суровую ответственность за случившееся, и не упираться при этом в отчаянный тупик. Развязывает психологические узлы в обочинных по отношению к генеральной линии душах:

хорошенько «пропесочив» потенциального самоубийцу Мешкова, вливает в него бодрость и чувство причастности к общему делу, отсылает в отпуск, на курорт на два месяца — радоваться жизни, приходить в себя; ободряет жизнерадостного и гибкого Жмякова, готового наперед принять «историческую необходимость»: «…все равно ты нашим будешь — кому ты нужен? Кто оценит или поймет твою тревогу и твой характер?.. Социализм велик!» Чеканит принципиальную формулу преображения и спасения: «**Мертвых сохранить, живых вылечить**». Кого напоминает нам эта фигура платоновского директора, тот дух, который она несет? Кто-то может сказать — идеального монарха в классицистической пьесе, в тогдашних условиях ясно кого. Может, Платонов и желал такой расшифровки для издательских медных лбов, и то, пожалуй, с опаской. Но, по сути, директор воплощает позицию, близкую к практически-учительному пафосу некогда осмеянных гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями», где подробно расписаны советы, как руководить людьми тем, кто поставлен на это место, как искать пути настоящего обустройства и преображения жизни в России. Где с полной убежденностью утверждается воспитательная установка не на уничтожающие человека обличение и кару, а на взращивание в нем ростков добра и ценных деловых качеств. Гоголь призывал *не отчаиваться в человеке*, «не верить по слухам никаким неизлечимостям», почувствовать «в уроде <…> идеал того, чего карикатурой стал урод»[10]. Уж кто лучше Платонова-инженера и Платонова-активно-эволюционного мыслителя понимал капитальное значение как сбережения и умножения энергии материальной, так и синергического совокупления умственно-психических, человеческих сил, а не расточения их в часто надуманной, искусственно взбитой борьбе, в уничтожении целых фракций носителей «мозгового вещества». Можно сказать, что только на таких путях видел он выход из реального гиньоля, жутковатого абсурда, который развернулся в его произведениях стыка первых двух послереволюционных десятилетий и начала 1930-х годов: от «Чевенгура» и «Котлована» до «Шарманки» и «14 Красных избушек»…

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Дужина Н.* «Действующие лица» (Проблемы текстологии пьесы «Шарманка» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. С. 564. Далее — Страна философов. См. также статью Н.И. Дужиной, освобождающую от рассмотрения здесь функции многочисленных аллюзий и пародийных цитат (от фольклорных, литературных до актуально-политических), важных для понимания полноты смысла пьесы: *Дужина Н.* Мелодии шарманки (Цитата и аллюзия в пьесе «Шарманка») // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 514–531.

[2] Замечательно разносторонний и тщательный реальный комментарий, раскрывающий пестрый контекст конкретных политических, общественных, идеологических, культурных, бытовых ситуаций и событий, к пьесам Платонова, как и к другим его произведениям (в причудливом их сплетении в текстах писателя) представлен в работах Н. Корниенко и ее школы (Е. Антонова, Н. Дужина, Д. Московская, Е. Роженцева, Л. Суровова, Н. Умрюхина). Новой глубине прочтения Платонова способствует скрупулезная при этом реконструкция рукописных вариантов и черновых автографов его произведений и работа над ними.

[3] *Роженцева Е.* Преодоление «кризиса гуманизма» («Король на площади» А. Блока и «14 Красных избушек» А. Платонова) // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. С. 537.

[4] Новые материалы к истории текста произведений Платонова 1930–1931 гг.: «Котлован», «Шарманка», «Ювенильное море». Статья и публикация *Н. Дужиной* // Архив А.П. Платонова. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 247–248.

[5] *Платонов А.* Записные книжки. Материалы к биографии. С. 159.

[6] *Розанов В.В.* Уединенное. М.: Русский путь, 2002. С. 117.

[7] *Розанов В.В.* Homines novi… (Новые люди — лат.) // *Розанов В.В.* Когда начальство ушло… Собр. соч. / Общ. ред. *А.Н. Николюкина.* М.: Республика, 1997. С. 17.

[8] Так характеризуется он в черновом списке действующих лиц. См.: Реконструкция чернового автографа пьесы «14 Красных избушек». Статья и публикация *Е. Роженцевой* // Архив А.П. Платонова. Кн. 1. С. 275.

[9] См.: Первая редакция пьесы «Высокое напряжение»: «Объявление о смерти». Статья и публикация *Д. Московской* // Архив А.П. Платонова. Кн. 1. С. 178–236.

[10] *Гоголь Н.В.* Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. 8. М.: АН СССР, 1952. С. 317, 319.

КОНТЕКСТЫ ГЕОПОЛИТИКИ В ПЬЕСЕ «НОЕВ КОВЧЕГ (КАИНОВО ОТРОДЬЕ)»

Платоновский «Ноев ковчег» — по жанру гротескно-сатирическая мистерия; приуроченная к буффонно, фантастически заостренной ситуации середины XX в., она разыгрывает, по существу, сюжет планетарный, связанный с глобальным противостоянием, составляющим, по мнению представителей различных школ геополитики, основной сюжет и узел мировой истории. Начиная с немца Фридриха Ратцеля (1844–1904), автора фундаментальных сочинений «Антропогеография» (1882) и «Политическая география» (1897), шведа Рудольфа Челлена (1864–1922), собственно введшего термин «геополитика», англичанина Хэлфорда Маккиндера (1861–1947) с его концепцией «географической оси истории», Евразийского континента и особенно России как «сердца мира», до немцев Карла Хаусхофера (1869–1946) и Карла Шмитта (1888–1985), автора книги «Земля и Море» (1942), защитников «континентального блока», до американцев Альфреда Мэхэна (1840–1914) (две книги которого, посвященные «Морской Силе» в истории, были изданы в 1940 и 1941 году в СССР), Николаса Спикмена (1893–1943), утверждавшего гегемонистскую роль США как «Морской Силы» в мире, до современных их последователей, включая Генри Киссинджера и Сэмюэла Хантингтона, геополитики полагают в основу своих исторических и политических построений *географическое* начало, фактор пространства[1]. При этом мировая история рассматривается как борьба *континента* и *океана*, *суши* и *моря* и стоящих за ними (сформированных в конечном итоге географическим положением) различных принципов и ценностей жизнеустроения: океанические страны — оплот торговой городской цивилизации, демократии, индивидуализма, либерального релятивизма, культа потребления и жизненных удобств (их древнейшим образцом является Карфаген), континентальные страны

длительное время созидали культуру традиционно-аграрную, не торговую, не демократическую, склонялись к автократии, идеократии, коллективистским, религиозно-нравственным ценностям (их исторический архетип — военно-авторитарный Рим, находившийся в непримиримой борьбе с Карфагеном).

Платонов мог знать русскую вариацию геополитики в евразийстве 1920–1930-х годов с его идеями «месторазвития», «географической личности», срединной России-Евразии (противостоящей западному, атлантистскому миру), с его концепцией идеократии, типа правления, нацеленного на неутилитарный, духовный прогресс народа и нации как соборной «симфонической личности». Но прежде всего Платонову было хорошо знакомо и близко то грандиозное видение драмы мировой истории, которое развернул Н.Ф. Федоров в третьей части его «Вопроса о братстве…», предвосхитившее основные коллизии будущей геополитической мысли, правда, с другими созидательными выводами. Важное место в этой части федоровского основного труда занимают не только подробно прослеженные перипетии противостояния Запада и Востока, вековой «борьбы океанического мира с континентом», разворачивающиеся в нынешней прискорбной истории, занятой «взаимным истреблением, истреблением друг друга и самих себя» и «ограблением или расхищением чрез эксплуатацию и утилизацию всей нынешней природы»[2] (ее мыслитель называет *историей как факт*), но и перспективы мирного схождения «двух частей мира, океанического и континентального»[3], которые русский мыслитель видит в объединении против единого, общего всем врага: стихийных, разрушительных сил, смерти, рукотворного апокалипсиса (*история как проект* и *как акт,* история «священная, христианская»). «История есть “Восточный вопрос”, вопрос об ополчении Востока на Запад, или Запада на Восток, есть борьба между Востоком и Западом не на живот, а на смерть; разрешение же Восточного Вопроса будет примирением Востока с Западом, объединением их и уже не на смерть, а на воскрешение и живот», в «ополчении общем, друг за друга, против извне действующей и в нас действующей слепой силы природы»[4]. Если в «Вопросе о братстве…» Федоров пишет об Англии, *владычице морей*, как о тогдашней твердыне океанической, торгово-промышленной цивилизации, то уже незадолго до смерти,

в 1902 году, он обращает внимание на «необыкновенное усиление Северо-Американских Штатов», на то, что западное лидерство переходит и скоро окончательно перейдет к ним: «Всемирным Карфагеном», «Карфагеном 3-го Рима (т. е. России. — *С. С.*) будет уже не Англия, не Германия, а Америка (которая из должника Европы стала кредитором, т. е. уже приобрела экономическое господство над нею, превратила в своего должника…)»[5].

В «Ноевом ковчеге» Платонов художественно зафиксировал и образно сгустил тот знаменательный (предсказанный Федоровым) момент современной истории мира, когда Америка уже реально захватила руководящее положение в атлантистском мире, явив в своем лице *талассократию* (власть посредством моря), противопоставленную *теллурократии* (власти посредством земли) СССР — эта источная полярная геополитическая комбинация в годы холодной войны, особенно выразительно в ее начале, приобрела классическую четкость и резкость контуров.

Символический диапазон пьесы раскинулся широко — от предела до предела: от древнейшего библейского события, всемирного потопа, когда спасенные избранники Божии из праведного Ноева рода вместе с образцами земной живности («каждой твари по паре») собственно и положили начало нынешнему послепотопному человечеству, до негативной прогностики нового, уже рукотворного потопа, свершившегося в середине XX века в результате взрыва американцами «в международных водах Атлантики» серии атомных бомб, а этот взрыв из акции демонстрации силы и устрашения противника (под пропагандистским видом «разоружения») обернулся планетарной катастрофой — взрывные волны пробили базальтовый слой земного шара и оттуда хлынули мощнейшие потоки «девственных вод», неудержимо заливая материки, грозя гибелью всему живому на земле[6]. Мистериальный характер «Ноева ковчега» задавался в самом зерне его замысла: первоначально среди персонажей предполагался и Бог Отец, и его человеческие первосоздания — Адам и Ева, и Ной. Но остался брат Господень («Я Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, только я порочного зачатия»), и появляется к концу действия легендарный Агасфер, Вечный жид, наказанный уныло-бесплодным бессмертием за черствость сердца по отношению к голгофскому Христу. В мир исто-

рии и политики, представленный в пьесе марионеточно-гротескными персонажами атлантической стороны, они, по самой своей сути соотнесенные с вечностью, — пусть подспудно и необъявленно — вносят координаты совсем другого, метафизического сюжета фундаментального греха человека и его искупляющего спасения. К ним примыкает и двадцатилетняя глухонемая Ева — она не только носит имя прародительницы, стоящей в начале начал чреды человеческой на земле, но и обращена к натуральным сторонам и основе жизни, к земле, ее тварям, тут же безошибочным инстинктом чует простое и честное в людях.

Недаром Ева открывает первую же сцену пьесы рядом с другой значащей фигурой, Эдмондом Шопом, руководителем археологической экспедиции на Арарат, на деле служащей ширмой для другой, военной цели — создать в недрах горы «сверхмощную американскую крепость, неуязвимую для противника и постоянно громящую его всеми видами оружия». Шоп глядит в бинокль в разные стороны света, осматривает мировое хозяйство. Ева же стоит на коленях, упершись в землю, отдав все свое внимание какому-то незаметному существу, кормит его крошками, нежно трогает пальцами (Шоп, оставив бинокль, гладит девушку по волосам, чует и он ее прелесть, но сама она безучастна и безразлична к его ласке). А когда Шоп давит каблуком скорпиона как бесполезного «гада», Ева хоронит его, укрепив на холмике крестик из двух палочек. Так сразу являются как бы два конкретно воплощенных символа, две эмблемы: один, скептически-циничный представитель великой мировой морской державы, почти как конквистадор — пусть без особого личного удовольствия — озирается на нынешние и потенциальные владения, а другая — что ей большая геополитика, господство, противостояние лагерей, она в *своем*, первоосновном, вечном, в матери сырой земле, хоронящей в себе все сознательные и бессознательные твари, в своем микрозрении и малых драмах недолго дышащей и бесследно гибнущей разнообразной земной жизни. За ней — глубокая и немая правда сердца, тут же каким-то мгновенным невидимым сигналом собирающая вокруг малый круг *настоящих*, не замороченных «цивилизационной» идеей и миссией людей: тут это и брат Господень, и актриса Марта, и радист Полигнойс, и турок Селим.

Тогда как представленный в остром памфлетном гротеске парад основных персонажей-масок пьесы являет в каждой из них тот или иной поворот, ту или иную грань одного фундаментального выбора западной, прежде всего американской, торгово-потребительской, экспансионистской цивилизации. Так, ученый Шоп (в самом имени откровенно несущий одну из основных ее идей) выступает воплощением идеала комфорта и ублажения себя на краткое время живота как единственной реальной цели эфемерного, смертного существования. В речи его навязчиво звучит один лейтмотивный импульс: «Я чувствую необходимость немедленно доставить себе какое-либо удовольствие. Иначе я не могу <…> Что такое американец без удовольствия? Нужен ли он кому-нибудь и самому себе?» И влечет его этот импульс скорее-скорее под разгоревающе-циничный напев: «Весь мир — трактир, Веселые мы янки» то в духан Селима с двумя прелестными турчанками, его помощницами, то за наслаждением в объятья голливудской кинозвезды Марты Такс («Я так много добра сделал человечеству, я так устал, что мне теперь необходимо счастье, просто для здоровья необходимо»), то уж, когда совсем скучно становится на этом заливаемом потопом свете, хоть башмаки особого фасона и расцветки себе заказать, слегка утешиться полезной *мануфактурной игрушкой*. Но своего буффонного пика его служение принципу удовольствия достигает в сцене третьего акта, когда «вопящий звук» летящей сверху бадьи с «хозяйственной, житейской жидкостью» (сорвалась сверху, куда переместились спасающиеся от воды турки) в общей апокалиптической атмосфере принимается жителями лагеря за атомную бомбу. Шоп и в этот предполагаемо последний миг существования верен себе — ежеминутно и до конца ловить крохи наслаждения, хватает Марту и лихорадочно уговаривает:

> «Шоп: Мы умрем сейчас. Отдайтесь мне. Я не могу.
>
> <…>
>
> Марта: Мы не успеем.
>
> Шоп: Успеем. Бомба еще летит. Пока она взорвется, пока волна ее нас достигнет, пока мы умрем, туда — сюда!.. Успеем!»

Шоп — археолог, но в нем начисто отсутствуют чувства и отношения, органично, казалось бы, присущие такому особому ученому занятию: я уж не говорю о благоговении к священным останкам и праху веков, нет простого честного интереса к материальным следам былого[7]. Более того, он тут же готов с неподдельным азартом совершить самое кощунственное для своей профессии: пойти на подделку, на то, что позднее в западном постмодернизме назвали *симулакр* (псевдовещь). Вашингтон по радиопередатчику интересуется, нельзя ли найти на Арарате останки Ноева ковчега — и тут же немедленная реакция руководителя экспедиции: хотите — нате, мы и так уже успели их открыть, опередили, можно сказать, пожелание, заказ-приказ, вот вам и все параметры места находки!.. И сколько тут же замечательных плюсов новоиспеченной научной сенсации восторженно просчитывает заокеанский шеф; гонит он великолепное, гуманно-культурно-религиозное пропагандистское облако — «новое торжество американского гения, великое деяние самого мирного, самого боголюбивого народа на земле…», а за ним торчит простой расчет — привлечь поток разноязыких туристов, компенсировать собственные военные расходы «путем небольшой оплаты другими народами тех величайших культурных ценностей, которые им дарит Америка». Шоп, мастер точных, откровенных формулировок *для своих* (типа: «А какие у нас замыслы? — Всем по зубам, и всё — весь замысел! Его и воробьи знают»), выдает такой перл, сверкающий бесстыдной, разящей элементарностью: «Под землей крепость, а на земле бал-маскарад и касса наша». А в том ответе шефу, который посылает Шоп в американскую столицу, неизвестно чего больше: наглого надувательства, цинично-высокомерной демагогии или вполне для него серьезного противостояния большевизму, стоящему на каких-то основах, противных принципам комфорта, удовольствия, утилитарности, гедонизма, которые глубинно исповедует его цивилизация и он лично как ее часть: «Останки корабля нашего праотца Ноя открыты нами, американцами, не случайно. <…> Они есть знак и прямое руководящее указание бога на пути Америки. Америка, подобно Ноеву ковчегу, должна вторично спасти человечество от потопа большевизма, уничтожающего радость, удовольствие, всю светлую легкую сущность жизни».

Под торжественный колокольный звон армянской церкви, заказанный Шопом в честь Америки, ученый-археолог находит в справочнике нужную ему, гарантирующую анонимность фирму с подходящим названием «Иван Ной и Компания», специализируется она на производстве любых исторических предметов, возрастом «от ста до ста тысяч лет» — вот и доставляет эта фирма на самолете сюда, на Арарат, по срочному заказу Шопа, некий загадочный груз, который уже в экспонированном виде являет «несколько бесформенных неопределенных предметов, вроде лесного бурелома или домашних поваленных стульев», но задрапированных «золоченой церковной парчой, огороженных посеребренными столбиками с цепью из разноцветных ярких звеньев». Китчевый туристский объект готов — не забыто и главное: указание, *что́* перед вами, табличка с надписью: «Священно. Не прикасаться». С гротесковой настойчивостью нагнетает Платонов плакатно броскую мысль: фальсификация, симуляция, видимость — из каких-то интимно неотъемлемых, построяющих черт этой торгово-рекламной цивилизации.

Другую черту — дух превосходства и гегемонии — с брутальной откровенностью и наивным самоупоением непререкаемой убежденности и силы выражает сначала член экспедиции, разведчик Иезекииль Секерва, затем Конгрессмен, официальные ее рупоры в пьесе. Их страшновато-комическая роль-маска собственно совпадает с изрекаемыми силлогизмами, пародирующими тип самоуверенной американской логики с чеканно-примитивными формулами великого значения и мировой роли Америки. Вот из возглашений Секервы: «Я думаю — да, я предполагаю, что так, я предвижу — именно так: нам все ясно!»; «Это разумно-правильно и правильно-разумно! Точно так, а не иначе! Это правильно, как Америка!»; «Америка все смеет!»; «Прекрасна жизнь, Америка всесильна!»; «Вся забота о всем мире лежит на нас!»… Конгрессмен — наиболее жестко-болванистый, резко-гротесковый выразитель американского мессианизма: в своей мировой роли как бы нового Израиля, великого пастуха народов земли, Америка сакрализуется — она превыше всего, всемогуща и всемудра, все знает-ведает и ведет к должному благому устроению всю планету. «А что нам вопросы, когда у нас на все есть ответы? Велика Америка, велика, все у нас есть <…> одного не хватало: вещи или предмета бога, ка-

кого-либо имущества прямо из библейского хозяйства, из божьего инвентаря. <…> Слава науке, открывающей все, что нам нужно <…> бог говорит: Америка, строй новый ковчег, спасай человечество!» — это из вступительной речи Конгрессмена, явившегося на Арарат в числе прочих знаменитостей Запада, столпов его порядка и уклада, на всемирный чрезвычайный культурно-религиозный конгресс по поводу открытия останков Ноева ковчега, с тем чтобы тут, у этого нового «священного» символа мессианского единения, обсудить пути и судьбы всего мира.

Здесь, во втором действии пьесы, разворачивается уморительная мировая тусовка, парад-алле *священных монстров* мондиалистской цивилизации: на фоне массовки конгрессменов, священников, красавиц, молодых людей, журналистов, могучих стариков и старух (среди которых подзатесался и *неизбежный* вор Грегор Горг) выделяется несколько особенно значащих фигур. Тут и Черчилль, и 75-летняя герцогиня Винчестерская (в костюме летчика), представители недавней державы-лидера; только-только они, аристократы, держали в руках руль господства в океанической зоне мира, а сейчас отдали его плебеям-американцам, вот и брюзжат у них за спиной («Америка — шпана!»); и папский нунций Климент[8], со своей «религиозной» тарабарщиной, то он освящает груду мусора, предполагаемый ковчег, то обращается по приказу Конгрессмена прямехонько к Господу Богу с просьбой, учитывая потоп и острую материальную нужду, поскорее отсортировать свою тварь, прибрать отсюда на небо всяких ненужных, «старых, больных и прочих разных» людишек; и Саул Абрагам, еврейский цадик, униженно выпрашивающий у американцев «очень маленький» кусочек ковчега «нашего родного еврея» Ноя для своего государства; и Леон Этт, «урод-карлик-вундеркинд, универсальный мудрец», возвещающий скорую войну, нападение большевиков и конец их мира, «все мы будем там же, где бывает мясо, пожранное псом»; и супруга Чан-Кай-Ши, требующая большой Китай своему мужу; и кинооператор Алисон, жрец визуально-рекламной массовой культуры, все-то он на первом плане со своим аппаратом и просит дать погибнуть ему последним («Мне нужно заснять самый последний момент жизни человечества, последний взор последнего человека. Вы понимаете? Это великолепно, этому кадру цены нет!»); и зна-

менитая «международная старуха» Агнесса Тевно, захлебывающаяся от ненависти к красным («В Москву меня, я в Москву хочу! Я бомбу брошу в нее, — мне бог велел! <…> Я здоровее бываю, я моложе себя чувствую, когда вижу большевиков и ненавижу их. <…> Вперед! Вперед!»)… Собственно, эта ненависть, доходящая до истерики и абсурда, объединяет всех: большевистский СССР с какими-то *дикими* идеалами коммунизма, коллективизма, какого-то преобразования жизни — главное препятствие на пути к по-своему отрегулированному миру, к глобальному порядку. Чуждый, отталкивающий красный континент, сейчас на неотвратимой волне исторического подъема («Русским теперь все на пользу!»), вызывает какой-то утробный ужас как враждебный, несущий опасность для существования животный род. Гремучая смесь страха и ненависти выплескивается в пьесе в бурлескные сцены сладострастного предвосхищения гибели могучего врага, в картины комически-гротескного беснования, когда тот же Черчилль заходится в исступленных криках, теряет при этом челюсть и завершает беззубым шипением: «Большевиков надо уничтожить трижды, чтобы они погибли один раз <…> Нет лучшей жизни, как их смерть, их горе, их кровь, последний возглас их потомков! Боже, дай нам их теплые трупы! Боже, бей их! <…> Восславим бога перед битвой! Объединимся вокруг святыни!» Конгрессмен призывает всех утешиться в ситуации нависающего конца тем, что «вместе с нами погибнут и большевики»… И Черчилль радуется новому потопу по той же причине: «Прекрасно, отлично!.. Еще несколько дней — и ни одного большевика не будет на свете! Итак, оправдался смысл моей жизни <…> О, да! о, да! Лучше у бога в могиле, чем на земле у большевиков».

Впрочем, поскрести этот «идейный» энтузиазм, и за ним — это явлено автором укрупненно, выпукло, гротескно, как в площадной комедии масок — вылезает любовь только к *себе единственному*, самодостаточный эгоизм, культ удовольствия, все то, что непрерывно и беззастенчиво демонстрирует Шоп. Особую роль в этом обнажении глубины и сути персонажей играют развернутые авторские ремарки. Вот главные протагонисты конгресса выпустили атлантистско-патриотические пары, разбрелись по площадке, отведывая напитки и яства, превратившись в «парад людей, ко-

торые заняты тем, что показывают себя друг другу или любуются сами собой <…> ковчег им уже не нужен, да и ничего им не нужно, кроме того, что обещает им личное удовольствие или наслаждение». Еще ранее, в эйфории «всемирного успеха» их затеи вслед за Шопом, требующим немедленной себе награды в виде какого-нибудь наслаждения, и железный рыцарь борьбы с коммунизмом, разведчик Секерва, расслабляется и выворачивает интимное: «Я чувствую это. Я давно это чувствую. Я всю жизнь сам себя хочу поцеловать». На что все более прозревающий радист Полигнойс реагирует так: «А я думал, что вы Америку хоть немного любите. А вы любите только самих себя». Всполохи нелепых перепалок, а то и буффонной потасовки вокруг куска ковчега, украденного вором Горгом, спадают и, как знаменательно отмечает автор, «Конгресс снова приобретает вид парада эгоистов». А уж как круто закипает этот эгоизм в экстремальной ситуации надвигающегося потопа, бытовой разрухи, безобразной толкучки у все убывающих материальных и особенно съестных благ, панической внутренней дрожи! Само возведение принципа эгоистического удовольствия в личный и общественно-цивилизационный абсолют (об этом совпадении Шоп говорит так: «Я же часть Америки! Как вы не понимаете? Я обязан себя любить! Самого себя!») стоит в конечном итоге на онтологической безнадежности, на принятии человеческой природы, какова она есть с ее вытесняющей самостью и смертностью, на принятии неизбежности конца всех вещей и самого мира, по сути — на тонком, скрытом нигилизме. Вот и Черчилль, политик-идеолог такого фундаментального выбора, радуется, что выпало ему оказаться в мировом финале, в последней сцене, в подведении окончательной черты, за которой уже никого и ничего не будет: «…хорошо, что весь мир кончается при мне, на моих глазах».

Особый идеологически насыщенный персонаж пьесы — радио, тогдашнее главное средство массовой информации (телевидение еще не вступило в полосу своего триумфа), массовой манипуляции сознанием. Через радиопередатчик держится связь экспедиции с центром, который просит-диктует, одобряет-направляет, через радиоприемник доходит сюда, на Арарат, вещающий на весь мир Глас Америки — от напыщенной государственно-политической риторики, приправленной громкими «религиозными»

и «гуманными» словесами, до масс-поп-дешевки, грубой, пошлой развлекаловки, по-своему точно отражающей фундаментальный выбор цивилизации. Лейтмотивом проходит сквозь все «Каиново отродье» некая популярная песенка, которая каждый раз врывается по радио как увертюра к серьезным правительственным сообщениям: «Бук-бук-бук! Где твой зад, где перед? Вот и муж твой идет. Привет, идиот… Бук-бук…» То же американское радио приносит весть об атомных взрывах в океане — естественно в своей пропагандистской, успокаивающей версии. И только с трудом *пойманное* радио *Москвы* (как объясняет радист Полигнойс: «Америка забивает все станции, она слушает только самое себя» — тут явная платоновская инверсия, лукаво-острая для любого тоталитаризма, ведь именно СССР в реальности глушил *вражеские голоса*), где звучит сначала трио баянистов, а потом официальное заявление о произошедшем, которое рисует катастрофические, воистину, апокалиптические его последствия: «Наступил всемирный потоп. Низменные части материков уже покрываются первым слоем воды. Расчет показывает, что через месяц вода достигнет вершины таких гор, как Альпы, Арарат и им подобных. Советское правительство направляет свои корабли и продовольствие в районы наибольшего бедствия. Советское правительство примет решение, направленное к спасению человечества, в том числе и американского народа». Между тем американское радио все с той же увертюрой «Где твой зад, где перед…» доносит до обносившихся, оголодавших араратских сидельцев, окруженных змеями, лягушками, жабами, бабочками, тоже спасающимися на горе от потопа, такие замечательно-сенсационные новости: «Выясняется, что значительное количество воды, затопляющей весь мир, обладает щелочными, лечебными свойствами: она может быть использована для лечения желудочных и нервных заболеваний», на что Полигнойс ядовито замечает: «Вот она — Америка, жирная дура! Лечите понос водой всемирного потопа!», а Конгрессмен объявляет его арест «с исполнением служебных обязанностей» («Вы близки к измене Америке, мерзавец!»). Как же, столь необходимый им радист подрывает те устои, которые до последнего момента, пока она еще жива, блюдет их цивилизация: реклама, торговля, выгода… И уже к концу пьесы, когда является спасительный выход (советскими

инженерами и рабочими строится корабль), приободрившийся Конгрессмен, по врожденной мыслительной привычке, пытается вывернуть ситуацию в свою пользу — заставил большевиков работать на себя! — и даже пускается в мечтания нового *солидного* величия («Не спасти ли мне человечество от потопа?»): «Тут дело, тут карьера! Упустить всемирный потоп мне нельзя, как бы он не просох, я что-то должен получить за него…» Гротесковые приемы автора здесь неизменны.

Ситуацию мирового бедствия, устроенного руками Америки, трезвее и острее других резюмирует брат Господень: «… весь мир топит и себя самое. Эко дура, откуда такова?» Тут и лежит глубокий символический ключ к последней пьесе Платонова. Что выходит? Атлантическая цивилизация напускает на всю земную *сушу* и *твердь* не что иное, как то, чем она первично определяется, — *воду*. И тогда — по гениально-чуткой наводке художника — она и сама от этой самой воды встает под угрозу неминуемой погибели. Иначе говоря, океаническая торгово-промышленная, потребительская цивилизация, стремясь подвести под пяту своих принципов весь остальной мир, организует предприятие весьма рискованное не только для того же континентального пространства, но и для себя самой — в таком тотальном овладении планеты ценностями атлантизма Платонов видит угрозу онтологического конца для всех. А разве что-то иное — в более-менее далекой перспективе — может ждать род сознательных, чувствующих существ, призванных, по глубинному убеждению писателя-мыслителя, вести мир и самих себя к эволюционному восхождению, к новой, более совершенной, бессмертной природе, если он намертво замыкается принципами *свободного* индивидуализма, комфортабельного потребительства (пусть в самом широком ассортименте, включая и «духовные», культурные потребности), уверенностью в своей абсолютной правоте, единственно годной для всего мира?!

К тому же — не забудем — еще об одном капитальном сюрпризе, который таит для прочего мира этот идеал. В его розах лежит беспощадный шип, называемый: «не для всех». Его-то весьма бесцеремонно и обнажает автор «Каинова отродья» — и это оказывается самой обыкновенной селекцией, скрываемой или прикрываемой благородно-объективными резонами. Я уже не говорю ни

о большевистском человечестве, на которое поголовно готовятся такие «воины авангарда», начиненные смертоносной блохой, как Чадо-Ек, ни о всяких там ничтожных Евах или «несерьезных» персах, курдах, турках, «Востоке, что отдыхает и сказки слушает», — великая держава по радио, своему мировому рупору, призывает «любыми средствами приобрести, построить или конфисковать за границей корабли и немедленно направить в Америку без лишних пассажиров — для спасения цвета нашей науки». И вот Полигнойс, обещая показать Секерве, как *не страшно* и *не больно* можно стать героем Америки, подводит его к пропасти и сбрасывает туда — к ликованию Конгрессмена, узнающего от радиста о первом подвиге «самопожертвования» и готового тут же составить список добровольных жертв, лучше всего менее «ценных» наличных граждан, кто самоустранится в смерть ради сохранения и спасения самых важных и необходимых для страны людей. Но что-то никто не спешит туда записываться — даже в обещанной перспективе посмертного увековечения. И только когда Конгрессмен пробалтывает план захвата советского корабля, истребления спасателей и добровольно-принудительного «самопожертвования» в океане Евы и Марты, Полигнойс опять не выдерживает («Зачем ты из Америки, из моей родины, делаешь воровку, убийцу?..»), наносит первый удар Конгрессмену, тот отвечает, завязывается смертельная драка, кто кого сбросит в пропасть, остальные тут же делают на них ставки, но оба скатываются вниз — выигравших нет. И хотя так завершается третье действие пьесы, в четвертом, неоконченном Платоновым, вновь появляются и Конгрессмен, и Полигнойс (значит, спаслись как-то, неуничтожимы, как кукольные маски!), и единственной финальной жертвой становится тот, кто готовится истреблять сотни, тысячи и миллионы, *спецсолдат* и *спецчеловек*, без роду и племени, уверенный, что скоро все «будут такие», как он.

Мировая геополитическая конфигурация, фантастически испытуемая в пьесе ситуацией пограничной, смертельной, наивно-точно передана в размышлении актрисы Марты: «Я теперь понимаю! Теперь понимаю!.. Большевиков захотели одних погубить, а погибает человечество. Они в середине жизни! Вот что такое!» (ср. федоровское «материк, т. е. основа земного шара», Россия-Евразия, «Срединное Государство» евразийского идеолога — Петра Савиц-

кого или «Heartland», «земля сердцевины» Макиндера). Марта выступает тут голосом прозревших простых людей («Я дурочка. Мы все бедные, дурные и умираем от вас…»), кто попадает в объекты массовой манипуляции со стороны тех, кому они *доверяют* свои *жизни* («Конгрессмены, нунции, архипастыри, ученые мошенники, шпионы, политики, и все вы одно и то же — убийцы, теперь ясно!»). Именно она обращается с просьбой к Москве и Сталину прислать за ними корабль, прочный кусок *тверди* среди губительного разлива волн, и получает благоприятный ответ от вождя континентальной — *срединной* — империи. Платонов рисует некий идеальный вариант, когда главная представительница материка, суши, *земли* хочет спасти мир от катастрофического бедствия, развязанного авантюристическими действиями претендующей на мировое водительство океанической державы (здесь конкретно спасти небольшую часть ее граждан), то есть по существу переводит извечный геополитический конфликт двух частей мира в «федоровское», спасающее от стихии и смерти (общего всем врага) русло. Именно в такой идеальной перспективе получает некоторое объяснение, казалось бы, невозможный и нелепый факт, озадачивающий и западных персонажей «Ноева ковчега»: невмещаемая в сознание, какая-то чудесная неуязвимость, фантастическая изъятость самой красной материковой империи из общего водяного смерча. Эта империя с ее священной вершиной в виде Москвы и Кремля выступает в той логике *желаемого* и *должного*, которая открывается не столько в реальность текущего дня, сколько в проективное пространство «общего дела», когда, возможно, далекое будущее мистериально сгущается в *здесь* и *сейчас*.

Залогом возможности такого дела, предполагающего мирное, творческое схождение двух пока полярных, враждебных сторон оказывается и раскол в стане атлантистов, финальное обезвреживание Мартой, Полигнойсом, турком Селимом, герцогиней Винчестерской и Братом Господним крайнего зла: «солдата-космополита, нового человека всемирной нации, бесстрашного солдата», изощренного бактериологического убийцы Сильвестра Чадо-Ек — готовился он для начала погубить советских строителей корабля, как только они закончат работу, а уж дальше — задача простиралась до последнего обезображенного трупа по-

следнего врага. И если в этой пьесе Платонов выступил против всегдашнего своего идейного противника — анти-эволюционного, буржуазно-потребительского выбора (который тогда для него олицетворялся Америкой, лидером океанического, торгово-промышленного, либерального Запада), то великая континентальная советская держава явилась скорее в идеальной потенции, которая, увы, в реальности не только представала в дефектном виде, но и искажалась до наоборот, до смыкания с фундаментальным западным выбором. И хотя эта вторая, советская сторона фактически в «Ноевом ковчеге» отсутствует, автор не раз, обнажая скрыто *тоталитарные* черты американской цивилизации, выразившиеся главным образом в особой пропагандистской дрессуре масс, манипуляции их сознанием, метил и в государство открыто тоталитарное, каким была тогда большевистская Россия: это и мгновенная запретительно-карательная реакция на инакомыслящих (случай с Полигнойсом), и система взаимной тотальной слежки и сыска («А за ним, за братом, тоже следят, а за тем, кто за ним, тоже… Это великая система!»); и пропагандистский примитив, рисующий отталкивающий образ врага и свой — прекрасно-благородный; и экспансионистские, мировые задачи, работающие на дефектный идеал… Глубокие искренние симпатии автора — на стороне того народного большинства, которое сумеет освободиться от пропагандистского зомбирования, с какой бы стороны оно ни осуществлялось, кто поверит в человеческий разум, в то, что на земле никак не должна торжествовать только одна корыстная «глупость и смерть».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. подробнее: *Дугин А.* Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. Изд. 4-е. М.: АРКТОГЕЯ-Центр, 2000. К книге приложены переводы некоторых важнейших текстов классиков геополитики.

[2] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. 1. С. 138.

[3] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. 2. С. 300.

[4] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. 1. С. 147, 148.

[5] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.: Традиция, 1997. С. 382, 383.

[6] Цитаты из пьесы приводятся по первому ее изданию: *Платонов А.* Ноев ковчег (Каиново отродье). Комедия / Публикация *М.А. Платоновой*. Подготовка тек-

ста, сопроводительная аналитическая статья *Н.В. Корниенко* // Новый мир. 1993. № 9. С. 97–140.

[7] На первом черновом листе в папке с рукописью платоновской пьесы с первоначальным перечнем действующих лиц есть два персонажа, затем явно слитых в один, Эдмонда Шопа: «Эдмон Стивенсон — ученый-мошенник (открыв<ает> и закр<ывает>, что удобно) и Фарч Теодор — ученый-дурак, циник, жизнелюб…» (*Корниенко Н.В.* «…Увлекая в дальнюю Америку» // Новый мир. 1993. № 9. С. 130).

[8] Русская мыслительная традиция *религиозно* увенчивать папством западный тип цивилизации существует давно, наиболее ярко и концептуально выразившись у славянофилов и Достоевского. Интересно сравнить совсем по времени близкие Платонову оценки. Вот что пишет М.А. Шолохов в очерке «Свет и мрак», опубликованном в «Правде» в мае 1949 года, отражая в нем момент острого идеологического, геополитического противостояния двух лагерей времени холодной войны: «А в далеком Ватикане уже воздета немощная рука главы католической церкви: со слезами умиления благословляет “святейший” римский папа этот ведьмовский шабаш на очередной “крестовый поход” против нашей Родины, против коммунизма — единственной надежды трудового человечества во всем мире» (*Шолохов М.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1986. С. 162).

РОССИЯ И РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В ПОГРАНИЧНОЙ СИТУАЦИИ (Военные рассказы Андрея Платонова)

В ситуации войны, а тем более такой, какой была Вторая мировая и Великая Отечественная война, перед лицом смерти, возможного для себя конца поставляется уже не отдельный индивидуум, а то целое, чем он крепится в бытии, из чего он произошел, что он длит в потомстве, что по сравнению с ним, кратковременным существом, обладает относительным бессмертием, во всяком случае несоизмеримо большим долголетием, — его народ, его страна. Причем их реальное и потенциальное долголетие и бессмертие в пограничной ситуации войны, когда враг ищет уничтожить это общее и целое, начинает зависеть от каждого его защитника, от каждого индивидуума, жертва которого становится необходимой и священной. «Была бы родина, родное место, где могут рождаться люди», «большая вечная родина», — выражает личное самоотречение перед ней политрук Фильченко из «Одухотворенных людей». В рассказе Платонова «Офицер и солдат» есть такой диалог между капитаном Артемовым и полковником Пустоваловым:

«— А ты, капитан, вот что! <…> Дурни мы будем, если отцовское наследство, сердечную свою натуру расточим…

— Не расточим, товарищ полковник… Казак-боец не даст расточить, он даром не умрет, отец не напрасно его на свет родил… Бойцы это понимают! Напрасная смерть оскорбляет отцов…

— А не напрасная?

— Не напрасная? Не напрасная смерть соединяет детей с отцами и освящает их память…»

Военные рассказы Платонова — в большинстве своем рассказы о *ненапрасных* смертях воинов, защитников «родного места»: каждый стремится свою жизнь подороже, на бóльшую пользу

отдать, а здесь эта польза — поверженный, уничтоженный враг, носитель смерти самому дорогому — народу и родине. Такая *ненапрасная* гибель продолжает усилие и жертвенный подвиг предков и отцов, строивших, расширявших, защищавших, отвоевывавших страну, положивших родовое наследство в своих потомков, «в сынов своих» — «доброе сердце», «сердечную натуру».

Военные рассказы Платонова — особая страница в его творчестве; рождена она самой жизнью, непосредственно коснувшейся каждого, жизнью, вставшей под знак смертельной беды и предельного испытания. Может быть, впервые писатель так прямо обратился к той общности, которой грозил конец, — к народу, к его *лицу*, неизменному и бесконечно разнообразному в сынах и дочерях его, к глубинному его характеру. Под определенным углом зрения эти рассказы — этюды о русской душе в ее извечных и сокровенных измерениях. На первый план вдруг вышла Россия деревенская, сельская, вышел крестьянин и воин, тоже чаще всего из тех же крестьян. Как никогда именно сейчас, перед лицом смерти, Платонов почувствовал родотворную, жизнеохранительную и жизнеспасительную крестьянскую основу русского народа. «Народная сила рождается в деревенской материнской земле, и войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретой солнцем и орошенной дождем» («Крестьянин Ягафар»).

Как только солдатскими сапогами протопали Россию в боях, в отступлении и наступлении, обнаружилось, что несмотря на все штурмовые городские пятилетки, их индустриальные плоды страна родная — все равно преимущественно деревенская (*лес да поле*), и желанная победа в постепенном сложении малых и больших одолений врага рождается из глубинных ресурсов этой вечной основы русского народа, русского характера, русского сердца. А кто, как не крестьянство, наиболее консервативный слой нации, сохраняет и охраняет глубинную, душевную конституцию народа! Как только речь пошла об образе Родины, то всплыл деревенский пейзаж, его бесконечно милые предметы и приметы: полковник Бакланов из «Штурма лабиринта» «любил плетни, полевые дороги во ржи, закаты солнца за далеким горизонтом в орловской степи, он любил видеть женщин-крестья-

нок, стоящих за штурвалом комбайна, и ему нравился шум ветра в березовых рощах Подмосковья: он вспоминал теперь с грустной улыбкой и деловых сельских воробьев, и белых бабочек над желтыми цветами…», и конечно же, русские избы как «самое лучшее архитектурное произведение». Куда делись городские агломерации, заводы, вагранки, гудки, рабочие коллективы, героика и «поэзия рабочего удара»? — они-то как раз интернациональны по своей сути, национально обесцвечены. Исконной священной матрицей народной жизни предстает крестьянская ойкумена: родная природа, поля, леса, пашня, изба, где центр ее — *печь* как завязь жизни (осталась после военного пожара одна печь, пусть и наполовину порушенная, — есть с чего, как из семени, вновь возродиться!), вековечная одухотворенная утварь и убранство избы: красный угол, пожелтевшие фотографии лиц своего рода, лавки, стол… Не клюевская это, конечно, богатая священными предметами изба, но как бы ее, пусть скудный, но неуничтожимый остаток: «Это было обыкновенное жилище, в котором рождались, проводили детство и проживали жизнь в старину почти все русские крестьяне» («Никодим Максимов»).

Утверждается срощенность человека и его родного места, которое он обиходил, куда себя вложил, свой труд и любовь, где прахом близких и скорым своим уже смешался и смешается именно с этим куском земли. Приближается враг, крестьяне покинули деревню, остался один старый дед Тишка — ан, выходит, не один: шуршит в траве всяческая местная «кроткая тварь», копошатся воробьи, птица, с которой особенно отождествляют себя крестьяне в мире Платонова, и главное, никуда не делась, так сказать, *психосфера* жившего здесь народа, «думы ушедших крестьян, их сердце и устоявшееся тепло их долгой жизни осталось здесь, вблизи дедушки Тишки» («Рассказ о мертвом старике»). Удержали его в опустевшей деревне те, кто лежал на погосте и двинуться никуда не мог, его родители и деды, родные кости и прах, вросшая в *эту* землю родовая вертикаль. Есть у Платонова такие избранные фигуры, в чистоте представляющие русскую суть, народное сердце, — *старики*, терпеливые, смекалистые и радостные несмотря ни на что (в военных рассказах их немало), и *дети*.

И о чем же более всего думают внутри себя и размышляют вслух герои военных рассказов? Конечно же, о ней, Родине, которую они спасают сейчас личной осмысленной жертвой, и о самих себе, о типе человека, вспоенном ее стихиями, ее историей… «Всю-то ее враз не оглядишь, не опознаешь», а то вдруг «станет она возле тебя всего в одном человеке» («Офицер и солдат») — такое тонкое видение макро- и микромира Родины, такая внутренняя логика родственного целого, когда часть, казалось бы, малая, может вместить в себя это целое, встает в коллективных раздумьях солдат. Поднимается самое глубинное и прекрасное в русском характере: особая сердечная связь с Россией, с ее несказанной тихой прелестью и хрупкостью, пронзительно высвеченными смертной ситуацией, непоказная, молчаливая внутренняя жизнь, душевность, томление тоски в сердце, неприятие смерти, умение превратить беду и напасть в источник внутренней мобилизации и повышения — в перспективе — качества народного и своего личного бытия. Писатель выделяет также «разнохарактерность и своеобразие» русского человека, его тягу к «разнообразию», «перемене жизни», усматривая ее даже в странной любви к разного рода стихийным разрушительным явлениям, вроде пожаров и наводнений, в легкой съемности с места, наконец, в капитальном историческом факте неудержимого землепроходчества на Восток, к океану, когда закладывались глубокие складки национальной психологии, «особый порядок чувств и свое представление о действительности» («О советском солдате»).

«Изо всех этих свойств натуры и характера русского человека, из особенностей его исторического развития рождается отношение к войне как к творческому труду, создающему судьбу народа» («О советском солдате») — таков вывод писателя, касающийся непосредственно военного времени и поведения в нем русского бойца. Под определенным углом зрения военные рассказы Платонова — своеобразные *производственные рассказы*, где производством является оборона, нападение, строительство укреплений, мостов, планирование операции, ее «расчет и умысел», ее выверенное осуществление, а конечной продукцией — уничтоженный враг. Лексическая и образная система рассказов

неуклонно работает на это впечатление: «начинался рабочий день войны», «мастеровые войны», «сноровка», «хозяйственный расчет» бойцов, сражение как «работа мастерской», «как верное производство», «расклепать врага на части», «работать огнем», «быть щедрым на трупы врагов», на «поверженное, мертвое злодейство земли»; «На войну Сычов смотрел как на хозяйство, и он аккуратно считал и записывал труд своей роты по накоплению павшего врага». Генерал аттестует подполковника Ивана Иннокентьевича Простых как вдохновенного «технолога войны», для кого она «как бы научно-исследовательская работа», пронизанная «силой своей постоянно действующей творческой мысли», а бой — «творчество и творение его — победа». И солдат своих воспитывает он как «людей подвига, людей, творящих смерть врагу» («Рассказы об офицерах. Сын народа»). Писатель рисует самозабвенное исступление боя («Хорошо в бою: ничего не хочешь!», ни есть, ни пить, ни спать, «а надо лишь быть живым» и нести смерть врагу! — «Одухотворенные люди»), особую ярость, вдохновение ратного труда («Тут злоба во мне стала сильной и увлекательной, будто вся жизнь в ней» — «Полотняная рубаха») и радость свершения перед плодами этого труда — мертвыми телами врагов, материализацией уничтоженного зла («радость войны», «счастье уничтожения зла»). Вот обобщенная формула сути ратного труда русских борцов, мгновенно сформулированная связистом Мокротяговым в ответ на вопрос командира: «Что, по-вашему, война?»: «Война — это высшее производство продукции, а именно — смерти врага, оккупанта, и наилучшая организация всех взаимодействующих частей» («Смерти нет!»). Да, недаром старший лейтенант Агеев приучил своих солдат к постоянной работе ума и сердца, к удержанию высшего смысла их дела и жизни!

Два главных национальных типа героя обнаруживаются в пограничной ситуации войны: крестьянин, пахарь, основа народного характера и силы его, и солдат («Хорошо быть крестьянином, — думал Щербинников. — И красноармейцем» — «Домашний очаг»). Но сейчас «солдатское дело выше — оно подобно отцовству и даже важнее отцовства», ибо его задача — сохранить рожденное, оградить народ от смерти. В солдате Платонов

вычленяет особую, высоко жертвенную, священную касту, чья жизнь принадлежит родине («Солдат начинается с думы об отечестве» — «Никодим Максимов»), чья смерть — «за други своя» («Солдат умирает за нетленность всего своего народа» — «Размышления офицера»). Солдаты, рыцари Родины, предстают у Платонова в высоком мистериальном ключе как люди метафизические, имеющие в чистом виде дело с жизнью и смертью, — недаром глаза их отмечены «особым выражением», где сквозит, «быть может, то знание жизни, которое дается лишь страданием, войной и чувством много раз приближавшейся к человеку смерти» («На Горынь-реке»).

Но никакой безрассудной храбрости настоящий солдат не признает. Высшая ценность для него — жизнь: постоянно вспоминается и поминается мать, что рождает своих сынов на бессмертие, дает им завет «не умирать». И то, что враг хочет эту жизнь у них отнять, чувствуется прежде всего как оскорбление их матери — таков чисто платоновский аргумент ненависти против захватчиков, утверждающийся лейтмотивно. И тем более ценна и осмысленна готовность на жертву своей жизнью ради «защиты нашего общего отчего крова», ради бытия целого. Важный урок нам и сейчас постоянные ощущение и мысль бойцов: «А без смысла на войне нельзя» («Иван Владыко») — ни воевать, ни тем более побеждать. В рассказе «Одухотворенные люди», создававшемся писателем в тональности высокого реквиема[1], перед смертным подвигом бойцы целуют друг друга, вбирая лица каждого на вечную память, пронзительно ощущая смысл своей отдаваемой «правде, земле и народу» жизни, жизни, данной «не для пустого наслаждения», а для родовой задачи, для увеличения «смысла существования людей». Без этого одухотворения смыслом как своей гибели, так и, казалось бы, ужасного занятия — убийства других людей, просто храбрости, ума, хитрости, терпения, воли, чисто материальных средств вооружения ну никак недостаточно для одоления неприятеля. Ужасу битвы, рукопашного неистовства, всесокрушающего огня, танков, перемалывающих и растирающих в кашу и прах живое и неживое, картинам агоний, калечеств, надругательств над землей и плодами мирного труда людей — придает высший смысл

одно: «действующее сердце нашего солдата, умерщвляющего близкое, в упор надвинувшееся живое злодейство» («Офицер и солдат»). А когда этот смысл теряет или не видит сам писатель, берущийся за тему войны, даже такой, как Виктор Астафьев, тогда торжествует бессмысленный кошмар, рукотворная апокалиптическая жуть.

Закаляется сердце бойца к такой жестокой работе, к такому жуткому *производству* через невыносимую боль от конкретных злодеяний врага, от содеянного им пейзажа смерти, когда все порушено, сожжено, расточено, рассеяно, через святую ненависть и ярость… В рассказе «Броня» здоровых мужиков и баб немцы из деревни угнали, а малых детей поморили печным газом (устроили самодельный Освенцим), и вот пожилая крестьянка носит их из яслей (немцам не нравится пошедший дух разложения) на покой, в овраг хоронить, где поет им воскресительную колыбельную, выражающую высшее сердечное чаяние народа: «Все прошло-пропало. / Одно сердце стало / Жить на свете вечно, / Умереть не может, / Потому что плачет, / Плачет-ожидает, / Мертвых вспоминает. / Мертвые вернутся, / Спящие проснутся, / И тогда что было — / Сердце позабудет / И любить вас будет / В неразлучной жизни…» Саввин, пожилой моряк, инженер-электрик, который пробирается с рассказчиком в тыл врага за чертежами изобретенной им нерушимой брони, чтобы с ее помощью защитить хрупкое и нежное коллективное тело и душу народа, не выдерживает такой картины и в безоглядном порыве своего «человеческого, внезапного сердца», пожертвовав экспедицией к чертежам, вроде бы *большим делом*, убивает семь немцев гарнизона и сам гибнет. Наблюдая до того за женщиной, терпеливо прибиравшей в мрак оврага мертвого ребенка за ребенком, автор передает такое свое внутреннее размышление-понимание: «Мы следили за ее работой и молча терпели наше горе. Но сколько его можно терпеть, — и не за то ли, что мы терпим наше горе и прощаем мучителям, мы погибаем? Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая погибших и любимых, прощая убийц, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать

хоть вполсердца и есть пищу, какую дадут, лишь бы нам позволили жить хотя бы в вечной муке?» Вот оно, острие уже национальной самокритики: где грань между знаменитым русским терпением и рабской покорностью? Сколько можно терпеть и не надо ли в некоторые моменты тут же последовать «мгновенному решению своего разума и сердца», вырваться из плена только «томительной привязанности к жизни», выпрямиться в акте справедливого возмездия? Именно так поступил Саввин, и недаром последняя мысль рассказчика, готового идти и все же выполнить «завещание о несокрушимой броне», выходит к такому прозрению: «Но самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце этого человека». Самая несокрушимая русская броня — любовь, самоотвержение, «человеческое внезапное сердце». В рассказе «Одухотворенные люди» комиссар Поликарпов, которому оторвало снарядом левую руку, схватил ее правой как окровавленное знамя и бросил отряд вперед на врага «в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ: — Вперед! За родину, за вас!»

Свои побуждения, мысли, действия платоновские герои сверяют с сердцем. Есть такой императив в мире писателя: *учиться у своего сердца*: «А ты подумай, ты опомнись, ты сердцем расположись <…> может и узнаешь, как тебе быть», — советует жена Ягафару («Крестьянин Ягафар»). Сердце у военных персонажей Платонова «болеет смертной жалостью», претерпевает «мучающее горе», но и одолевает тоску и мучение, соображает, решается на поступок и дело, содержит в себе умерших. Немолодой солдат, донской казак Гордей Силин хранит в сердце друга, погибшего еще в Первую мировую войну, испытывая чувство ответственности за свою жизнь как последнее живое убежище другой, давно ушедшей («один я при тебе состою» — «Офицер и солдат»). И в последний миг жизни, перед тем как броситься с гранатами под немецкие танки, герои рассказа «Одухотворенные люди» «словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти».

Сердце (одно из самых частотных слов у писателя) интуитивно чувствуется его героями и выражается в их самосознающих ре-

чах буквально в библейском смысле, когда сердце не только седалище чувства — любви, ненависти, гнева, горести, тоски… но и мысли, решения, воли, и главное, такой таинственной способности человека, как совесть (ап. Павел говорил о законе, начертанном в сердцах). Сердце — камертон истины, особая инстанция различения должного и недолжного. Старик Ягафар следует крестьянскому принципу учиться у природы и ее тварей (у коров, воробьев…), но как упустить самое существенное — собственное сердце: «оно у меня помаленьку болит: это чтоб я не забыл, как надо жить, а как не надо». *Сердечный человек*, «внутренний человек» (Рим. 7, 22), центрированный на своем глубинном, вечном «я», опознанно или неопознанно связанном с Творцом, по существу тождественен *религиозному человеку*. Оттого рождается такое стойкое, сердечное опять же убеждение, что в случае с платоновскими героями мы сталкиваемся с душой по сути христианской. Насколько к ним приложимо то, что писал ап. Петр в своем Первом послании: «…сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Петр. 3, 4)!

Мы знаем, что у Платонова нет разрыва между духовным и материальным, он совсем по-христиански исповедует единую *духо-плоть*, как выражался Мережковский. Погибшего комиссара Поликарпова бойцы не стали зарывать в землю, чтобы видеть его «в свой трудный час» — он и мертвым вдохновляет их на бой с врагом, им нужен его конкретный, уникальный физический вид, его тело, а не просто духовный образ. Необходимость материального, зримого, ощутимого — в этом христианская интуиция Платонова и его героев. Вспомним, как писатель говорил о близком ему, духовно автобиографическом герое Назаре Фомине: «Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе» («Афродита»), к той работе, что как раз одухотворяет материю. Может быть, отсюда это предпочтение понятия и образа «сердца» — понятию «души»: сердце как раз средостение между материальным и духовным, оно, с одной стороны, буквально физично и имеет прямое отношение к телесной стороне нашего существа: его надо подкреплять едой, питьем, давать ему отдых…

с другой — оно наиболее глубокий и таинственный нравственный и религиозный, духовный центр человека. А душа, бессмертная душа, не имеет прямой материальной привязки, своего физического органа…

Если сердце — в центре человека, то святое святых, самое заветное и глубокое в народе, по чувству и мысли Платонова и его героев, — материнское сердце. Образ матери в военных рассказах каждый раз и предельно конкретен, это мать такого-то и такого-то защитника страны (кстати, всегда при полной фамилии, имени и отчестве, независимо от возраста, то есть при полной родовой аттестации), и вместе высвечивает за собой архетипическую фигуру вечной матери, матери-родины, матери сырой земли. Интересно, что у Платонова она не несет в себе обычных для такого образа язычески-природных начал: матери-природы как порождающего лона и общей могилы, производящей на свет своих детей и погубляющей, принимающей всех их в индивидуально неразличимое целое. Напротив, фигура матери софийно преображена, несет скрытые, претворенные богородичные черты. Завет вечной личностной жизни идет именно от нее: «Я никогда не хочу помирать! Сто лет проживу — не захочу, и ты не захочешь. <…> Мне вот мать, родная моя мать, умирать никогда не велела! <…> “А ты живи, ты живи — не бойся! — говорила она мне. <…> Живи долго, живи за меня, за нас всех, не умирай никогда, я тебя люблю”» («Полотняная рубаха»). Как мощи матери, оберегающие его, носит на себе герой этого рассказа истлевающую материнскую нательную полотняную рубаху — хранит она остатки ее плоти, какими пропиталась за жизнь. Мать уральца Ивана Красносельского, «полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь» («Одухотворенные люди»). (Вспомним еще раз удивительное, уникальное переживание платоновских бойцов: ожесточение на тех, кто ищет их убить, даже не из «я» исходит, а из обиды за мать, за наглое попрание ее завета: «раз мать родила его для жизни — его убивать не должно и убить никто не может» — «Дерево родины».)

Из любви, ее неисчерпаемого ресурса рождается желание «вечной жизни» для другого, для любимого (а что сильнее материнской любви?) — без любви и не сдвинуться на осуществление этого желания. Получается, что эта дорогая Платонову идея идет в русском народе от самого корня, от земли, от матери, но уже не языческой матери, и если не Богоматери, то как бы получившей от Нее благодать и дерзновение чаять вечной жизни, вздыхать о ней для своих детей, влагать в них императив бессмертия.

В рассказе «Мать (Взыскание погибших)» из того же смертельно раненого погибелью детей материнского сердца, из стонущей ее души исторгается глубочайше эмоциональный импульс: неприятие вечной разлуки с любимыми, вера в воскрешение и будущую встречу. «Пусть спят, я обожду — я не могу жить без детей, я не хочу жить без мертвых…» — выражает она свое отчаянно-упрямое желание, проговаривая его как заклинание на могиле своих «умерщвленных, поруганных и брошенных в прах чужими руками» детей. Всплывают фольклорные мотивы, связанные со сказочной мечтой об оживлении умершего: королевич Елисей в пушкинской «Сказке о мертвой царевне…» (основанной на записи народного сюжета) спрашивал у солнца, месяца, ветра, где его пропавшая невеста, — мать из платоновского рассказа прислушивается, откуда чудится ей голос убитой дочери: «из тихого поля, из земной глубины или с высоты неба, с той ясной звезды? Где она сейчас, ее погибшая дочь?» Такую же «тайную весть» о пропавшей жене Афродите искал Назар Фомин в природе, у цветка, облаков, ветра, желая найти какой-нибудь «признак или сигнал» о том, жива ли она или нет…

Последнее слово в рассказе о матери остается за человеком, вроде бы посторонним, танкистом, случайно натолкнувшимся на придорожную могилку, украшенную лишь крестом, «сделанным из двух связанных поперек жалобных, дрожащих ветвей», где лежала лицом в землю и сама тихо испустившая дух женщина: «Спи с миром, — сказал красноармеец на прощанье. — Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой». Вспомним, что в статье «Разрушение личности» Горький именно так переда-

вал истинно народное чувство от потери соплеменника, уходящее корнями еще в первобытно-общинное отношение к смерти. Такое же незамутненно-идеальное, первоначальное чувство всплывает в военных рассказах Платонова в ситуации острого восчувствия страны как единого «родового места», вставшего перед лицом смерти.

В рассказе «Дерево родины» писатель создает идеальный, фольклорно-метафизический образ родового древа жизни: оно не только пестует общее, но — перерастая природный закон — не жертвует индивидуальным ради целого. Старики недаром называют его «божьим»: это «одинокое старое дерево» на краю деревни у проселочной дороги «было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине»; его не раз поражала молния, но оно снова воскресало, одевалось густой листвой и заселялось поющими птицами, «и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей — лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым». Листик с него и берет на войну Степан Трофимов, кладет за пазуху на грудь — материальный символический кусочек родины и ее высшей идеи: сохранения всех живыми.

Самое поразительное, что рассказы о войне, об убийстве и смертях, о наиболее эффективном производстве трупов врага как уничтоженного зла, у Платонова становятся рассказами не просто о жизни, а о жизни бессмертной и вечной. Вроде парадокс: надо убить максимальное количество людей, захватчиков, а это чувствуется в глубине глубин как борьба со смертью, понятно, что со смертью своего народа, но, оказывается, не только — Платонов не оставляет своих высших чаяний об индивидуальном бессмертии, более того — нигде, как в военных рассказах, их так прямо, постоянно и как бы даже некстати не выражает герой массовый, народный. Насколько перед лицом смерти как перед ужасным ликом Горгоны Медузы каменеет и обессиливается экзистенциальный абсурдный человек, настолько здесь, в мире военных рассказов Платонова, где утверждается смысл смертельной борьбы и жертвы («подвиг есть высший труд, тот труд, который оберегает народ от смерти» — «Сержант Шадрин»), подспуд-

но живет и обнаруживает себя в патетические моменты своего торжества христианское: «смертию смерть поправ». Столь велик бывает накал высокого жертвенного сознания, такой силы порыв подвига, что, кажется, вот-вот он магически пресечет, уничтожит самое смерть: «…сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного сердца» («Одухотворенные люди»).

Война становится первой заместительной борьбой со смертью — так понимают ее сокровенные персонажи писателя (а тут они — повторим — выросли в своем количестве неисчислимо): речь идет об истреблении зла, стоящего на пути Жизни, жизни разнообразной и личностной. В душе политрука Фильченко образ родины предстает полем с бесконечным разноцветьем людей, где каждый цветик глядится своим неповторимым лицом. Из этого чувства уникальности, незаменимости каждой личности и рождается неприятие ее развоплощения и исчезновения: «…поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя» («Одухотворенные люди»).

Сама война, ситуация смерти, перед которой был поставлен целый народ и ежеминутно стоял каждый ее защитник, дала Платонову реалистическую, *разрешенную* возможность и выразить свое мироощущение, проникнутое тоской конечности, и говорить прямо о том, что для него было сердцевиной его мировоззрения. Усиленная, *усугубленная* смертность военного времени дополнительно мотивировала излюбленную платоновскую образность грустного избывания всего к концу, к смерти, внутреннюю мелодию печалования о всем уходящем и пропадающем, которыми проникнуты картины мира у писателя. Вот только один пример из рассказа «Офицер и солдат»: «Была поздняя осень, день умирал быстро, и ночь наступала долгая, как смерть. <…> Над горизонтом поднялась бледная луна, почти невидимая от немого зарева дальних пожаров, словно безмолвный печальный образ в память всех мертвых». Представляя в

грустном воображении далекий мирный дом, жену, детей, капитан Артемьев вспоминает и «безвестную бабочку», «кроткую жительницу тихого ночного мира», что кружилась над его лампой, когда он «за чтением книги» предавался размышлениям о будущем: «Где она теперь, где лежит в земле ее легкий смертный прах, подобный чистому духу?..» А какие изощренно-экспрессивные, томительно-тяжкие определения обрамляют здесь естественно самые частотные слова: «смерть» и «гибель»: «Но душная, тяжкая смерть уже прессовала над ним грунт и долгая, медленная гибель томила сердце, обреченное на вечное заключение в тесной могиле».

Ничто так разяще, в таком ошеломительном количестве, как война, не демонстрирует тайну мгновенного перехода от жизни, ее кипения, ярости, борьбы, от трепещущей души, работы ума и сердца к недвижному, холодному телу, к чему-то более далекому от живых, «чем самая высокая последняя звезда на небе» («Смерти нет!»). Человек кончается — только это можно зафиксировать: обжигает внутри пуля, и тут же охлаждается грудь, становясь странно пустой, — а дальше непереходимый черный ров, недосягаемость и неразрешимый вопрос… Вот в эту-то кромку между жизнью и смертью особенно въедается писатель, над ней останавливается и размышляет. Сколько последних расставаний, последних всматриваний в утихшее, застывшее лицо друга и боевого товарища рассыпано по страницам военных рассказов Платонова!

Но есть среди этих рассказов несколько особо пропитанных сокровенной мыслью и чувством писателя, сфокусировавших глубочайшие грани его мировидения. И быть может, центральным из них является рассказ «Смерти нет! (Оборона Семидворья)», напечатанный впервые 26 мая 1943 года в «Красной Звезде», но, увы, с изъятием главной его мыслительной нити, связанной с мотивом научного воскрешения. «Вперед, ребята, смерти нет!» — таким удивительным кличем поднимает в бой своих солдат старший лейтенант Агеев, беря штурмом Семидворье, а затем рассчитанно-тактически заманивает основные силы противника «к себе на смерть своим сопротивлением», удерживая до последнего патрона и гранаты, до последнего бойца эту дере-

веньку, малый, но бесценный квант Родины. И чем напутствует он подразделение на такой смертный подвиг? «Перед фронтом своих людей» он выносит глубинное свое убеждение, воскресительный идеал, освещая высшим смыслом и надеждой их жизнь и возможную скорую гибель: «Труден наш враг, товарищи бойцы. Смертью он стоит против нас, но мы не страшимся смерти. После фашиста мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знание будущих поколений получат высшее развитие». Если и лягут в землю бойцы, как легли туда уже их предки, отцы-матери, то на вечность, надо думать, *условную*, как догадывается и для убедительности вопрошает «сознательный, обо всем размышляющий боец»: «До самого воскрешения убитых, что ль, пока наука за силу возьмется?» Для самого Агеева это «высшая, правильная истина», да и в сердце Афонина (так зовут «размышляющего бойца»), где неотлучно живет «память и тоска по убитым товарищам», рождается тот основной нравственный императив воскрешения, который утверждал в свое время Федоров: «…живому должно быть стыдно, ведь мертвый-то за тебя умер, сукин ты сын, а ты хочешь жить только за одного себя; это, брат, не выйдет! — а если выйдет, тогда печально станет, тогда грош нам всем цена в базарный день в воскресенье…»

Агеев, этот солдатский пророк воскрешения, идеальный командир и главный духовный герой военных рассказов Платонова, недаром в самом своем облике и типе являет идеальное сочетание, синтез *дитя* и *старика*, двух метафизически-избранных фигур платоновского мира. «Пухлое лицо Агеева имело постоянно кроткое, доверчивое выражение, отчего он походил на переросшего младенца, хотя ему сравнялось уже двадцать пять лет» — сохранил ту необходимую евангельскую детскость чувства, родственность отношения к миру и людям, из которых только и рождается неприятие окончательной разлуки и чаяние вечной встречи. И вместе: «Маленькие карие глаза его, утонувшие под лбом, светились тлеющими искрами, тая за собою внимательный и незаметный разум, опытный, как у старика» — детское чувство в нем уже поднято на разумную ступень, требующую опыта и дела. В своем боевом коллекти-

ве Агеев — высшая инстанция живой памяти и печалования о павших, «помнит их неразлучным сердцем», каждого отмечает, отличает, слагает в сердце, обнаруживает в своем погребальном слове так и неосуществленную потенцию их *стать* и *быть* кто поэтом, кто ученым, а кто простым добрым сыном родины… «Нельзя без них счастливо жить, товарищи. Без них для нас — весь мир сирота. Зачем же нам позволять смерти уносить от нас самое необходимое добро».

Хотя именно в этом рассказе писатель углубляет свое размышление, как бы пробуя на прочность идею бессмертия и воскрешения. Все тот же рассуждающий Афонин выставляет свои сомнения: мол, можно теперь спокойно и в земле поспать, «раз потом советский народ войдет в свою полную силу и своей наукой нас снова к жизни подымет. А можно и повременить помирать — вдруг потом ошибка случится». На что Агеев укоряет бойца: «У тебя всегда ум идет, как задние колеса в чумацкой телеге: одно колесо по колее, а другое по целине». Но тот упорствует в своей народной трезвости — как можно без осторожности и опытной проверки любых идеи и плана, тем более таких дерзновенных? «Так оно так и должно быть, товарищ старший лейтенант, — одно колесо везет, а другое землю щупает. У человека то же: одно тянет, а другое окорачивает». Однако и у самого проповедника исцеления от смерти на тонком переходе от жизни к небытию в его «предсмертном изнемогшем духе», готовом «и в гибели рассмотреть истину и существовать согласно с ней», мелькают последние сомнения в законности воскресительного проекта, ставящего человеческую личность в самое острие смысла мира, в цель его развития: «У него явилось предчувствие, что мир обширнее и важнее, чем ему он казался дотоле, и что интерес или смысл человека заключается не в том лишь, чтобы обязательно быть живым. И в отречении своем от уходящей жизни Агеев доверчиво закрыл глаза. Из-под века правого глаза у него вышла одна слеза и осохла, а на другую слезу у Агеева уже не было жизни». Но в финале другой подхватывает душевную эстафету дорогой идеи погибшего командира — сухой, деловой старшина Сычов впервые плачет, «не смог стерпеть в себе грустной любви к умершим», да и остальные пока еще жи-

вые бойцы, готовые *стерпеть* и бой, и собственную смерть, тут с ним солидарны: «сердце их не могло привыкнуть к разлуке с тем, что оно любило и что ушло от него безответно навеки». Так что как ни сомневайся, ни подвергай испытанию на прочность сокровенное свое чаяние, пока есть человеческое сердце и любовь — права их безусловны и неоспоримы. Это поразительное чувство «греховного стыда перед умершими — за то, что те лишены жизни, а живущий имеет ее»[2] («Пустодушие»), «совести перед умершими» («Сампо») — и есть драгоценная эмоциональная основа воскресительных надежд и проектов в мире Платонова («отработать» свою вину перед ушедшими). И вместе — выражение незамутненных, детских, в евангельском смысле, глубин народного сердца.

Уже отмечалось, что в пограничной ситуации войны платоновские герои выходят к национальному самосознанию, упорно раздумывая о родине, ее судьбе, о типе русского человека, его психологии и метафизике, особенном лице и особой задаче среди других народов. И в исторический момент, когда народное и личностное существование русских роково скрестилось с германским фашизмом, с немцами, это самосознание часто выстраивает себя в отталкивании от врага, в оппозиции к нему. Причем именно здесь особенно чувствуются у писателя ценностные ориентиры, образные модели, элементы поэтики фольклора Отечественной войны[3]. Русскому бойцу, *герою*, жертвенно отстаивающему право на жизнь и идеал своего народа и всего мира, противостоит гитлеровский солдат как *антигерой*, как недочеловек и даже античеловек. Если русский человек, как мы помним, укоренен в сердце, отмечен тайной глубиной совестливой душевной жизни, то фашиста отличает как бы полное отсутствие сердца, пустота его, *пустодушие*. На вопрос восьмилетнего сына, отца которого убили немцы: «Мама, а какие фашисты?» — та именно так дает им сущностное определение: «Немцы <…> они пустодушные, сынок» и далее объясняет, отчего, по большому счету, те таковыми стали: «Они за свои грехи чужую кровь проливают, оттого и пустодушные» («Пустодушие»), т. е. сняли с себя вину и ответственность за свой грех, свое несовершенство и преступления, садически сместили на других свои комплексы, смертный страх

и скрежет зубовный… Аналогичную формулу немца предлагает бойцам и лейтенант Агеев: «Ум растет у человека из сердца, а у немца сердце пустое, и туда Гитлер свою начинку положил» («Смерти нет!»).

В рассказе «По небу полуночи» действуют персонажи фашистской Германии 1930-х гг.; здесь обнаруживается, как под жестким облучением ложной идеологии и идолопоклонства выветривается «священная сущность» человека, уходит душа с ее тайной жизнью совести, жалости, любви и создается образец выдрессированного фанатика, освобожденного «от сознания и от усилия собственной мысли» («Неодушевленный враг»), «интеллектуального идиота», самодовольного одномерного рационалиста, не допускающего «в жизни тайны и глубины» («Пустодушие»), который затем так убийственно злодейски действует против русского и других народов.

Итак, центральная оппозиция *русский — немец* строится на контрасте качеств душевности и пустодушия, ума, питаемого чувством, ума сердечного, и надменной, холодно рационалистической логики, сердечной мечты о высшей, вечной жизни и беспощадных селекционных иерархических схем устроения мира, в конечном итоге — живой органики и жесткой механистичности, *живого* и *мертвого*. «У немца ум заводной, а у нас хоть иногда дурной, да живой» («Смерти нет!»). Вот уничтожающе-обобщенное видение фашиста как своего рода злобно-беспокойного зомби-убийцы: «И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве» («Одухотворенные люди»). В философском рассказе «Неодушевленный враг», где создается стяженная, символическая ситуация (под землей, словно в пещере, «похожей и на жилище и на могилу», оказались рядом погребенными взрывной волной «русский рядовой стрелок» и немецкий унтер-офицер Рудольф Вальц, ведут они там на немецком языке и идейный поединок, и буквальный, рукопашный, кто-кого удушит…), этот контраст выявляется и на самом, так сказать, животно-физиологическом уровне:

«…от Вальца пахло не так, как от русского солдата, — от его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной».

Это отталкивание по запаху («химический мертвый запах немецкого солдата»), усугубленному до «чуждого зловония» врага-хищника, как бы зверя другой породы, лейтмотивом проходит через рассказы Платонова, обнаруживая свою фольклорную основу. Как отмечает Е.А. Самоделова, в народном творчестве времени войны немец не удостаивается лица, индивидуального портрета, зато отмечается «духом фашистским», тлетворным запахом. Герой рассказа «Седьмой человек», убиваемый в фашистском застенке, почувствовал немецкого офицера «по чуждому дыханию, по смрадной нечистоте его внутренностей». Этот животно-природный мотив чужого и чуждого запаха как бы выводит внутривидовую борьбу (крайней манифестацией которой в мире людей, единственных земных существ — кроме крыс — предающихся такой борьбе, является война, массовое убийство себе подобных) в план межвидовой: фашист, органически изуродованный человеконенавистнической доктриной, приводимой им в действие, как бы уже не-человек. Более того, в соответствии с теми же фольклорными оценками, фашист «хуже зверей», как бы ниже их по лестнице тварей. Действительно, в животном даже его хищническая *зверскость* умерена природной целесообразностью, тогда как в человеке убийственная жестокость, изощренная его холодным разумом, идеологической дрессурой, может принимать какие-то демонические склонения. Такими не-человеческими, сатаническими существами выглядят фашисты в зверствах над мирным населением, детьми, стариками, калеками («Девушка Роза», «Седьмой человек», «Броня»).

В военных рассказах Платонова возникает и фольклорно-сказовый образ немцев как скопища нечисти, какой-то низшей, паразитарной твари: «Вот мошкара какая из болота», — подумал боец о немцах, нескончаемо ползущих из-за холма («Никодим Максимов»); «…я знаю вас, комариная куча! Ишь ты, они пугать нас тут пришли! Ишь ты, они народ побить захотели!» («Рассказ

о мертвом старике»). Более того, настоящий природный комар, сосущий лоб Рудольфа Вальца, представляется герою существом более достойным, чем умерщвленный им немец, отдавший себя без остатка на горе всего мира в «волю фюрера»: у насекомого есть свое усилие и своя мысль, у него «нет Гитлера», и в конечном итоге «и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший Рудольф Вальц». Недрогнувшей рукой русский стрелок отправляет фашиста в лоно земли, в царство «могильной энтомологии» (как выражался французский публицист Жан Фино), в работу природных сил разложения и созидания новых вещественных комбинаций, «чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветлился и стал обычной влагой, орошающей корни травы» («Неодушевленный враг»).

Это как бы лучшая, бесследная природная утилизация поверженного земного зла. Даже в устах солдатского апостола воскрешения и бессмертия, старшего лейтенанта Агеева звучит угроза самой страшной бытийственной кары фашистским врагам: «Ничего, сейчас они помрут и не воскреснут!» С точки зрения вечной сути, полноты исповедуемого писателем идеала воскрешения умерших и преображения мира такая выборочность, невсеобщность спасения выглядит весьма ущербной. Но этот разделительный — надо надеяться, временно действующий — принцип находит свое эмоциональное, историческое оправдание в той жестокой схватке, где решалось — быть или не быть народу, стране, в той точке развилки, где выбиралось будущее мира. Недаром именно такой подход соответствует установкам фольклора военного времени — здесь индивидуальное бессмертие (особенно в избранных фигурах отца-командира) достается только защитникам родины и исключается для вражеской нечисти.

Правда, у самого Платонова мелькают и другие, более углубленные интонации в подходе к образу немца. В лице первого поверженного его штыком врага красноармеец Степан Трофимов усматривает на миг некое человеческое отражение самого себя: «…засветилось бледное незнакомое лицо со странным

взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха» («Дерево родины»). К концу войны, утверждая «близкую духовную катастрофу противника», Платонов пишет о необходимости понимать то, что «происходит “внутри” противника, — в его духе, в его сознании, в мотивах его поведения, в его надеждах», утверждая ту мощно корректирующую «силу действительности», что «с жестокостью рока меняет мысли, поведение и обычаи людей, вразумляя им спасение, или, если они уже неспособны к разумению, толкая их к гибели» («Внутри немца»). Сам писатель попытался войти *внутрь немца* в рассказе «По небу полуночи», исследовав и закваску страха перед всесокрушающей, подавляющей под свою пяту идеологией, и «инстинктивный, радостный идиотизм» одержащей веры вкупе с рожденной ею «проницательностью и подозрительностью», — представил, по существу, психологию тоталитарного человека, имеющую в своем анализе более общие и близкие, а не только конкретно немецкие виды.

Ситуация войны, массовой гибели, неимоверного, предельного испытания сил народа, духовных и физических, переживается и как очистительный этап, с которого должна начаться совсем другая, чем прежде, «более высшая жизнь» («Афродита»), отбросившая взаимную борьбу, отвлекающе-развлекающую игру («начать жизнь всерьез и без всякой игры»), «вековую томящую суету» и вставшая на путь самопревосхождения и восхождения, правя, как выражается Агеев, к «высшей, правильной истине». О том, каким должен быть этот принципиально новый фундаментальный выбор генерального направления жизни, размышляет и немец Эрих Зуммер, духовный брат того же русского Агеева: «А мы хотим подняться над самими собой, мы хотим приобрести то, чего не имеет сейчас и самый лучший человек на земле, потому что это для нас самое необходимое» («По небу полуночи»).

В рассказе «Размышления офицера», где автор представляет читателю отрывки из записной книжки погибшего подполковника Ф., рисуется идеальный, я бы сказала, сакрализованный уклад жизни нации в существенных, необходимых звеньях се-

мьи, трудового коллектива, общества, наконец, «океана народа, общего отцовства», скрепленных глубинно народным принципом *родственности*, серьезного отношения к делу жизни, единым мироощущением и мировоззрением, «общей задушевной истиной», которая и ведет «наш корабль» «в бесконечную даль истории, в сияющее пространство». Здесь эта истина — в соответствии с идеалом эпохи — называется «коммунистической», но она вовсе не охватывается той доктриной, которая носила тогда в своем дефектном практическом осуществлении это имя. «Дух общественной свободы, высокое чувство личной независимости и одновременно впечатлительное, страстное уважение к личности другого человека есть необходимое условие для успеха общественного воспитания» («Размышления офицера») — может быть, сами эти столь неуместные для сталинской эпохи требования и привели к нарочитой, как бы осторожной редукции полного имени героя (единственной в мире военных рассказов Платонова) к почти анонимной букве Ф. Недаром именно в этом рассказе автор записной книжки, настоящий философ солдатского труда, его священной сущности, видит для будущего другие, не военные, не убийственные способы защиты истины, качественно новые пути гармонизации человека и мира, те, которые исповедовал сам писатель в сокровенном ядре своих убеждений: «…на место солдата явится великий труженик другого рода оружия, смиряющий врагов не посредством смерти».

В своих размышлениях о русском человеке Платонов нащупывает ценное чувство и убеждение народа, которое позволило ему выстоять в самых страшных испытаниях и смутах, казалось бы, буквально на краю гибели: это стремление обратить «катастрофическую силу», обрушившуюся на него, «в творческую энергию для преобразования своей мучительной судьбы» («О советском солдате»). Здесь залог не просто его выживаемости, но и качественного рывка со дна несчастья и унижения в созидательное восхождение — и эту высшую надежду писатель оставляет своим читателям, сынам и дочерям страны, на сегодня и завтра.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В одном из писем с фронта (10 августа 1942 года) Платонов писал жене о своей работе над этим рассказом, запечатлевшим реальный «великий эпизод войны», подвиг севастопольских моряков, подорвавших себя под немецкими танками: «Я пишу о них со всей энергией духа, какая только есть во мне. У меня получается нечто вроде реквиема в прозе. И это произведение, если оно удастся мне, Мария, самого меня хоть отдаленно приблизит к душам погибших воинов…» (*Платонов А.* «…Я прожил жизнь»: Письма. 1920–1950 гг. С. 520).

[2] См. у Федорова подобный сгущенно эмоциональный аргумент, такое же радикально-исключительное чувство: «Если между сынами и отцами существует любовь, то переживание возможно только на условии воскрешения; без отцов сыны жить не могут, а потому они должны жить *только* для воскрешения отцов, — и в этом *только* заключается *все*» (*Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. I. С. 418).

[3] См.: *Самоделова Е.А.* Фольклор Великой Отечественной войны // «Идет война народная…»: Литература Великой Отечественной войны (1941–1945). М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 319–375.

II
МИР АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА: ДВА ОПЫТА ОПИСАНИЯ

«В УСИЛИИ К БУДУЩЕМУ ВРЕМЕНИ…» (Философия Андрея Платонова)

Мир Платонова пронизывает вступающего в него токами постоянных, почти навязчивых мотивов, образов, настроений. Даже не угадывая до конца их значения, нельзя не почувствовать, что определяет их какая-то единая мысль писателя. «*Мои идеалы однообразны и постоянны*. Я не буду литератором, если буду излагать только свои неизменные идеи. Меня не станут читать. *Я должен опошлять и варьировать* свои мысли, чтобы получились приемлемые произведения. *Именно — опошлять*! А если бы я давал в сочинения действительную кровь своего мозга, их бы не стали печатать»[1]. Сила влечения и читателей, и исследователей к прозе Платонова во многом определяется той загадочной глубиной смысла, которая мерцает за поражающей всех вязью его мыслеслов. Не опознав «однообразных и постоянных идеалов» художника, мы будем обречены оставаться в поверхностном слое текста, довольствуясь невнятным мерцанием его глубины.

Вспоминая о нем, близко стоявшие к нему люди подчеркивают, что он был одержим одной идеей, «идеей жизни», как он сам ее называл. «“Идея жизни” была главной идеей всего, о чем писал, говорил и мыслил Андрей Платонов»[2]. Здесь как раз делается попытка обнаружения «постоянных» и «однообразных» идеалов Платонова, просвечивающих в многообразных «вариациях» его художественных произведений, раскрытие его «идеи жизни». Мы идем путем, обратным тому, каким шел сам автор: не от философских «идеалов» к «опошлению» их в художественном воплощении, а от оставленных им текстов к тем «постоянным» и «однообразным» идеалам, которые он считал для себя основными. Такой анализ представляется необходимым для более точного понимания идейно-философского содержания творчества Платонова. Предполагаемый подход также имеет прямое отношение к важной те-

оретической проблеме соотношения мировоззрения автора и его художественного творчества, к проблеме философского «ключа» к произведению. Не ставя своей задачей рассмотрение идейной эволюции творчества Платонова, мы стремимся выявить некоторые постоянные составляющие этого творчества, его глубинный философский пафос.

«ИДЕЯ ЖИЗНИ»

«Самый метафизический советский писатель» — можно услышать о Платонове. Что значит «метафизический», обычно не объясняют. И так ясно: всматривается он в какие-то заповерхностные разрезы человеческого существования. Причем очень настойчиво и даже как-то маниакально.

Откройте любой его рассказ или повесть, или почти любой. Вас вскоре пронзит печальный звук, томящийся над землей Платонова. На этой земле всё умирает: люди, животные, растения, дома, машины, слова, краски, звуки. Всё ветшает, стареет, тлеет, «сгорает», «падает» — вся неживая и живая природа. «Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, *замученную смертью* былинку» («Корова»)[3]. Тут поразительно точное платоновское выражение: на всем в его мире лежит печать замученности смертью.

«Песок стал *стары*м от пребывания в вечном месте». «Это пели пески, мучимые ветром, когда одна песчинка *истиралась* о другую» («Джан»).

«Затем Никита обошел весь знакомый родной город, и у него заболело сердце от вида *устаревших,* небольших домов, *сотлевших* заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже *умерли*, *засохли* навсегда» («Река Потудань»).

«Дом, где двадцать с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, *убитый* и *умерший*, выдуваемый ветром в пространство <…> поздний *посмертный* ветер веял в руинах умолкших жилищ». Тут же спиленный тополь, «пень, *умерший* с *истлевшей* корой» («Афродита»).

«Деревянная крыша той избы сопрела и поросла ветхим мхом, нижние венцы *погреблись* в землю, точно возвращаясь обратно в глубину своего родного места, — и оттуда из самого нижнего тела избушки, росли уже две новые слабые ветки, которые будут могучими дубами и *съедят* когда-нибудь в своих корнях *прах* этого *изжитого*, *истраченного* ветром, дождями и человеческим родом жилища. <…>

Эта огорожа уже не держалась — камни разваливались, колья накренились, издавна *изморившись* и *сотлев* в почве» («Среди животных и растений»).

Естественное изнашивание и гибель неживого Платонов всегда описывает как *умирание.* И так обо всем, от звука до цветка. «Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей *замедленной смерти*, стояли через каждые полметра, и от них исходило *посмертное благоухание*» («Скрипка»).

В произведениях Платонова на мир смотрит человек, мучительно раненный смертью. «Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об интересе смерти». Сосредоточенность «любопытного разума» рыбака на этой загадке приводит его к самоубийству, он бросается в озеро: «Втайне он вообще не верил в смерть, главное же он хотел посмотреть — что там есть» («Чевенгур»).

Непостижимость перехода от чуда живой жизни к бездыханному телу, мертвой падали притягивает, почти завораживает автора. «В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с пришпиленной к штырю головой». «И каждый лег на рельсы, на путевой балласт или на ржавый болт, некогда оторвавшийся с поезда на ходу. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы» («Сокровенный человек»). Тут же сценка умирания Афонина: медленно отплывает мир, сознание охватывает все более узкий круг, наконец, сосредоточивается в одной сверкающей точке, вот оно «начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность». Дух жизни покидает человеческое

тело, выцветают глаза, обращаясь как бы в некий минерал, «кусок прозрачной горной породы», отражающей небо и «осиротевший одним человеком мир». То ли человек возвращается в природу, то ли природа в человека, и начинают в нем бродить «лишь мертвые вещества».

Куда в один миг девается вся рабочая фабрика тела, изощренность инстинкта, расчет ума, трепет души, кишение памяти, вместившей целый мир? Эта загадка заставляет Платонова бесконечно представлять мгновение перехода от жизни к смерти и животных, и особенно людей. (А как много, бесконечно много таких моментов в военных рассказах Платонова!) Тем она, конечно, не решается, но настойчиво ставится перед чувством и размышлением читателя.

Герой повести «Джан», отправившись через пустыню на спасение своего маленького народа, встречает по пути ослабевшего, умирающего верблюда. «Потеряв способность двигаться, верблюд уперся передними ногами и привстал, чтобы видеть былинки трав, нагоняемые на него ветром, и поедать их. <…> Опуститься и лечь он не мог — тогда бы он снова приподняться уже не смог, и так оставался сидячим постоянно — то бдительным, то дремлющим, пока смерть не склонила бы его вниз или пока любой ничтожный зверь пустыни не кончил бы его одним ударом маленькой лапы». Чагатаев сочувственно «понимает» этого верблюда, его уже почти ушедшую жизнь, но которая не сдается и все еще стремится не упасть окончательно и продлиться дальше. Такую полужизнь часто описывает Платонов в своих рассказах. Ведь и вся человеческая жизнь есть нескончаемое умирание, дыхание на ладан, полужизнь.

Чагатаев медленно и терпеливо выхаживает верблюда — как позднее свой бедный народ — едой, сном, теплом: раздувает погасающий огонек жизни. Среди «яростных», враждебных сил мира жизнь предстает как постоянное усилие продлиться («напряжение удержать себя живой»), чудо его осуществления. «Сколько раз я кровью весь исходил, да напоследок сожмусь в последний остаток, разгневаюсь весь, сберегу одну живую каплю крови и от нее опять согреюсь и отдышусь» («Полотняная рубаха»). «Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. *Он трудился день и ночь, чтобы жить*

и не умереть. <…> Но он нуждался в жизни и *превозмогал терпеньем* свою боль от голода и усталости» («Неизвестный цветок»).

Люди счастливых классов и эпох забывают, что все богатое «имущество» души и культуры может состояться лишь когда устроены первоусловия их тела: дыхание, сон, еда. Это само собой разумеется и не замечается. Голодающий человек, дошедший до животного состояния, когда надо только одно: что-нибудь съесть, чтобы не умереть, — такая ситуация, заданная в «Джане», упирает Платонова в исследование, которое можно назвать *философским* (хотя реализуется оно как художественное), самого главного механизма природного способа существования. Жизнь живет только за счет другой жизни, в непрерывном пожирании друг друга.

Народ джан сведен до *тела,* «последнего имущества неимущих». А тело — такое имущество, которое надо постоянно питать, иначе оно рассеется до последней молекулы. Еда — акт связи человека с миром, через который притекает вещество для продолжения существования. *Еда,* борьба *за еду* — становится глубоким «натуральным» сюжетом «Джана».

Центральные сцены этой повести: умирающий Чагатаев, заблудившийся в песках. Дикие птицы, прилетевшие терзать его почти труп. Питающиеся падалью стервятники описываются автором с сочувствием как красивые и умные существа. «Они походили одновременно и на степных орлов-стервятников, и на диких темных лебедей; клювы их были, как у стервятников, но толстая, могучая шея длиннее, чем у орлов, а прочные ноги высоко носили нежное, воздушное, лебединое туловище». Они смотрят «дальновидными разумными глазами», «с мыслью и вниманием». Чагатаев убивает самца, прилетает самка «с самыми верными друзьями мужа — его детьми». Они начинают выклевывать куски тела обессилевшего, спящего Назара, им надо уничтожить своего врага, убийцу их мужа и отца. Когда и их подстреливает Чагатаев, чтобы самому жить и дать по кусочку пищи своему народу, этих орлов жаль как людей. У них свой способ справляться со страданием, свой закон жизни: «Чагатаев <…> знал с детства чувства диких животных и птиц. Они не могут плакать, чтобы в слезах и в истощении сердца находить себе утешение и прощение врагу. Они действуют, желая

утолить свое страдание в борьбе, внутри мертвого тела врага или в собственной гибели».

На животном уровне существования люди ничем не лучше этих орлов. «Самка почистила клювом когти ног и выплюнула изо рта какой-то давний объедок, может быть, остаток расклеванного Назар-Шакира». Люди делят и съедают мертвых орлов, а с ними и того же «расклеванного Назар-Шакира», своего соплеменника. Потом убивают, выпивают кровь, пожирают мясо и сосут кости доверившихся им овец. А орлов сосут блохи. Платонов недаром подчеркивает эту деталь. «Чагатаев заметил даже сбоку у самки мелкие черные точки: это блохи впились в живот птицы сквозь пух». У писателя не раз возникает образ такого многоступенчатого убийства — пожирания. «Камень попал в голову воробья, воробей упал на тропинку и перестал дышать, а во рту его осталась непроглоченная бабочка, тоже мертвая теперь» («Разноцветная бабочка»).

В истории русской философии был мыслитель, который не только глубоко задумался над «природы вековечной давильней» (Н. Заболоцкий), но все свое учение сфокусировал на цели ее предоления, преодоления человечеством «последнего врага» — смерти. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова, по свидетельству М.А. Платоновой, с многочисленными пометками ее мужа долго хранилась в их домашней библиотеке. О влиянии идей Федорова на творчество Платонова заговорили и наши исследователи, и зарубежные[4]. «Идея жизни», которой был так проникнут Платонов, уходит в глубокое и сложное усвоение учения «общего дела». Сокровенные грани этой идеи — бесконечная ценность каждой, даже самой скромной и забвенной жизни; резкое неприятие смерти, порождающей ситуацию «сиротства», которая требует своего преодоления трудом и творчеством (у Платонова нередок и мотив «научного» воскрешения); неразрывная связь поколений, живых и умерших, в «общем отцовстве»; детское чувство как критерий нравственности…

Федоров был первым философом, который беспощадно прямо поставил вопрос о глубокой безнравственности для человека, существа чувствующего и сознающего, природного способа существования, стоящего на взаимном пожирании, борьбе, вытеснении предыдущего последующим. Человек, как и все в природе, существует за счет другой жизни — растений, животных и себе

подобных. Дети, рождаясь, подрастая, истощают силы родителей и неизбежно вытесняют их, чтобы быть вытесненными в свою очередь своими детьми. «…Во все время вскормления, воспитания он (ребенок.— *С. С.)* поглощает силы родительские, питаясь, так сказать, их телом и кровью (конечно — не буквально, не в прямом смысле); так что, когда окончится воспитание, силы родительские оказываются совершенно истощенными, и они умирают или же делаются дряхлыми, т. е. приближаются к смерти. То обстоятельство, что процесс умерщвления, — писал Федоров,— совершается не внутри организма; как, например, в клеточке, а внутри семьи, не смягчает преступности этого дела…»[5]. Медленное изможденне, постепенное омертвение матери, многократной роженицы, буквально отдающей свою жизнь детям,— один из самых личных и сильных образов в творчестве Платонова. Вот как описывается приемная мать Саши Дванова сразу после очередных родов: «…Сама Мавра Фетисовна ничего не чуяла от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвелых страданий и синие толстые жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу; по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела» («Чевенгур»). Тут луч авторской любви, любви беспощадной, исследующей — ибо не пассивна она, — сосредоточенно направлен на небольшой участок тела, укрупняя его до целого пейзажа постепенного «обвала» в смерть всего организма.

Писатель не раз выводит и федоровскую мысль о том, что, извлекая пищу из почвы, плодородного слоя, образованного прахом предков, человечество тем самым питается этим прахом, еще не вышло из стадии скрытой антропофагии. «Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность» («Сокровенный человек»).

Но — и Платонов любит это подчеркивать — в человеке живая плоть мира, которую он убивает и пожирает, должна идти на высшее: на рост его ума, творческих сил, согревание души, чтобы

в конечном итоге сделать его способным на самое дерзновенное: спасение мира от закона всеобщего пожирания. Даже в «Джане» для умирающих с голоду людей «кусочек птичьего мяса <…> послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом <…> Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтобы опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле». В рассказе «Среди животных и растений» отец-охотник показывает сыну «лица убитых зайцев и птиц — они были кроткие, и иногда даже умные, и есть их не хотелось, но потом приходилось. Отец ел добытых животных и птиц экономно, разумно, приучая к тому же детей, чтобы погибший дар природы превращался в человеке в пользу, а не пропадал напрасно. Он советовал приобретать из мяса и костей убитых не одну лишь сытость, но и хорошую душу, силу сердца и размышления».

У Платонова есть взгляд на реальность мира, природу как на прекрасную картину и вечный, слаженный спектакль жизни. Это одно. Но есть и другое: природа не как картина и спектакль, предстающие человеческому созерцанию, а как принцип существования, открывающийся нравственному чувству и умному проникновению человека. (Именно такой подход к природе как к определенному способу бытия был последовательно осуществлен в «Философии общего дела».) *Как принцип* — это сила слепая, пожирающая, действующая не только вне, но и внутри нас. *Как принцип* она воплощается у Платонова в образе сосущего изнутри глиста или червя — могильной прорвы: «…во мне глист громадный живет, он во мне всю кровь выпил». «Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая тьма» («Чевенгур»). («У! У! У!» Черная дыра, как в «Смерти Ивана Ильича».) «Тогда Джумаль подошла и попробовала ее; она подняла на ней одежду и увидела грудь, похожую на два темных умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища» («Такыр»).

Но сама эта природная сила, губящая человека в голоде, болезни и смерти, в себе самой как будто неуверенная и жалкая, как идущий без поводыря слепой. У Платонова есть замечательный *образ этой мысли.* «Ему приснился страшный сон, что его душит

своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, *слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий*, и скрылся в темноте своей ночи» («Река Потудань»).

«Гада бестолковая!» — как «философски» поносит природу «сокровенный» народный человек Фома Пухов. Такая же ругательная энергия и в слове «стервец», каким Фома в сердцах награждает другую природную стихию — ветер, тут же выразив уверенность, «что и ветер со временем укоротят посредством науки и техники» («Сокровенный человек»). (Ср.: «Жара?! — удивился бобыль. — *Ишь ты, ведьма какая*!» — «Чевенгур».)

В рассказах Платонова выглядывают оба эти лика природы: изредка прекрасный и благоуханный лик мгновенного созерцания; чаще лик томящейся, перемогающейся, «призрачной», «скучной» стихии («обща всемирная невзрачность»): «вид этой земли, серой и равнодушной» («Сампо»), «бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями» («Река Потудань»), «пустая, поздняя природа» («Сокровенный человек»), «…*мутное, измученное* небо, точно природа тоже была лишь *горестной, безнадежной* силой («Джан»). «Но что-то *тихое и грустное* было в природе, какие-то силы действовали *невозвратно*» («Чевенгур»).

Но бывают — редкие — мгновения, когда даже этот серый и больной лик вдруг темнеет, наступает полное затмение солнца иллюзии и майи и врывается какое-то черное клише, страшный моментальный негатив реальности мира (глисты, черви, пустые трубки). «Наблюдая городские дома, Захар Павлович открыл, что они в точности *похожи на закрытые гробы, и пугался* ночевать в доме столяра» («Чевенгур»). «Прогнав петуха, бабушка оглядела улицу и дорогу, ведущую в ржаное поле, — может кто-нибудь покажется. Но не было никого, лишь волнами плыла жара по земле, да старые привычные избы стояли по деревне, и копались пыльные соседские куры в дорожной колее, и бабушке стало вдруг *скуч-*

но и жутко, точно она посмотрела не на белый свет, а в кромешную тьму» («Июльская гроза»).

У Платонова есть рассказ про удивительную девочку Улю, в прекрасных глазах которой отражалась сокровенная правда, тайная суть людей и вещей. Так мужик «Демьян увидел в далекой глубине Улиных глаз самого себя, и не такого самого себя, каким он всем казался, а такого, каким он был по правде: с алчной пастью и с лютым взором — скрытая душа Демьяна была явно написана на его лице». Этой девочке как будто постоянно явлен этот страшный негатив мира, печать разложения, смерти на вещах, животных и людях. Она приходит в крайний ужас от вида всего и всех, но недаром ее больше всего пугает старенькая, уже совсем близкая к смерти бабушка. Платонов не описывает, что именно видит Уля, он только сильно и убедительно выражает, *как* это должно быть страшно, раз так ведет себя ребенок: душераздирающе кричит, закрывает лицо от страха, забивается в темное место.

Возможно, она видит, как ангел из притчи Л. Толстого «Чем люди живы». Он наделен особым, проницающим внешнюю оболочку, истинным зрением. Изгнанный Богом на землю приять человеческую судьбу, ангел замерзает в снегу у церкви. Проходит мимо сапожник Семен. Человеческий глаз, скользнувший по нему, заметил бы, что Семен тепло одет, еще молод, полон сил и чем-то озабочен. Но ангелу страшно лицо его, видит он в нем смерть. И еще страшнее стало, как опасливо, весь во власти своих мелких корыстных расчетов, прошел было мимо окоченевшего, голого человека, каким был сброшен ангел на землю. Жена Семена, встречающая их обоих, являет, казалось бы, привычную картину разгневанной бабы, осыпающей яростными проклятиями своего мужа: все-то он не так исполнил, как надо, не сумел соблюсти своего интереса, да еще чужого в дом привел! И если выражение «она буквально поедом его ест» или «буквально едят друг друга поедом» создано народом как метафора, то ангел умеет «видеть» это взаимное человеческое пожирание буквально в его смертоносных результатах, которые за их внешней скрытностью, растянутостью во времени обычному глазу не доступны: «Женщина была еще страшнее человека — *мертвый дух* шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть *от смрада* смерти».

Правда, Уля потом исцеляется от своего страшного, нечеловеческого дара: ее глаза теряют способность видеть «тайный образ правды». Но автор, который придумал эту необыкновенную девочку, недаром так усиленно подчеркивает нежную, почти безумную любовь к ней всех, пока она была такой странной, а кончает рассказ словами: «Она стала красивой девушкой, столь красивой, что была лучше, чем нужно людям; и поэтому люди любовались ею, но сердце их оставалось равнодушным к ней».

Отношение человека к природе у Платонова определяется именно тем, с каким из ликов природы он вступает в отношение. Это замечательно сжато показано на одной страничке «Сокровенного человека». Пухов гуляет босиком за городом «в один день, во время солнечного сияния». Он «чувствовал землю всей голой ногой <…> шагал почти со сладострастием <…> Ветер тормошил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья. Эта супружеская любовь цельной, непорочной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства». Случается и в других рассказах Платонова, что природа вот так впускает в себя человека как на ласкающий праздник, ошеломляет контактом мгновенного свидания со всем живущим. Но это редко. А чаще всего, как у Пухова, который тут же вспоминает свою умершую жену, и сердце его «тревожилось и трепетало от гибели родственного человека и хотело жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность. В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханием землю, смачивая ее редкими неохотными каплями слез».

Платонов пристально исследует жизнь на ее самом элементарном уровне поддержания самой себя. Для этого существовал вполне реальный материал: все силы до изнеможения класть на то, чтобы пропитать и согреть свое тело, не умереть — так жили массы народа в дореволюционной России, так было и в страшные годы гражданской войны и разрухи. Но у Платонова тут есть еще особый (можно сказать, философский) интерес. Он видит в предельной бедности, голоде, болезни, телесной нищете, душевном изнеможении обнажившийся лик человеческого удела.

Позволим себе небольшое отступление на тему, которая получила право на философское достоинство в новой западной мысли от Ницше до Томаса Манна. Речь идет о болезни. Там она предстала подмешанной в гениальность, расширяющей пределы понимания в сторону смутного и проблематического в жизни человека. Болезнь встала в пару к гениальности и демонизму. Попробуем увидеть другие ее смыслы. В чем особое качество болезни? В том, что она ежедневно, часто ежеминутно, не просто отвлеченно-умственно напоминает о конце, а непосредственно, физически ощутимо дает чувствовать умирание и смерть, как реальность основную, в тебе живущую, ждущую или, вернее, уже и отхватывающую, кусок за куском, свое. Здоровый человек весь отдается жизни с ее требованиями и желаниями. Смерть отрезает его жизнь резко, как гильотина голову. Пестрый сон жизни прерван и канул. Был ли он или нет, жил ли, нет ли? Тут уж, действительно, по мудрому античному рецепту, пока жил — смерти не было, смерть пришла — меня нет. Больной глубже знает удел человека, удел смертного — отсюда его большая метафизическая *истинность* (знает, как оно есть). Больной переживает смерть в самой своей жизни, страдая из-за нее. Значит, глубже осознает ужас смерти, *не-должность* ее для человека. Тут и медитация над ней — болью в кишках, стянутым черепом, коликой в сердце, тошнотой во рту — тут и протест. Что в человеке главное зло — в болезни раскаляется до впечатляющего образа. Ведь с самым здоровым человеком то же будет или в глубокой старости, или сразу же за внезапной агрессией смерти, когда — при уже выключенном сознании — пойдет безобразная вакханалия разложения.

Платонов вскрывает именно эти смыслы того мучительного тления скудной жизни, которым полны его произведения. Как в болезни ощутимо проступает та участь, которая уготована всем, смерть показывает свои когти, так и в материальной нужде — вся непрочность, ветхость и тяжесть бытия.

Эпохи войн, революций, разрух также несут в себе — помимо всего прочего — естественную «метафизику»: испытание голодом и смертью как широким, рядовым явлением. «Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад

смутного отчаяния и терпеливой грусти» («Сокровенный человек»). Голодный, оскуделый человек, который чувствует только «свою усталую сырую кровь», стоит перед одичавшим пространством мира, угнетаемым «злобой и скукой». Точнее, именно *такой* человек обнаруживает *такую* сторону мира («общая беспризорность огромной порожней земли»). Это его открытие.

В повести «Джан» характерно перетолкована известная зендская легенда об Ормузде и Аримане. Мифологический Ормузд, космическое начало света и добра, становится у Платонова «богом счастья, плодов и женщин», покровителем богатых стран, где люди упиваются роскошью и негой жизни. Дух тьмы и зла, Ариман, теряет все свое державно-самостоятельное, демоническое значение, превратившись в бедного жителя тех бесплодных «черных мест Турана, среди которых беспрерывно тоскует душа человека». «Может быть, одного из старых жителей Сары-Камыша звали Ариманом, что равнозначно черту, и этот бедняк пришел от печали в ярость. Он был не самый злой, но самый несчастный». Всякая радикализация зла Платонову чужда. Глубокий исток зла — в фундаментальном несчастье участи человеческой и безысходном ожесточении, отчаянии, циничном вызове, порождаемом ею. «Чагатаев вглядывался в эту землю — в бледные солонцы, в суглинки, в темную ветхость измученного праха, в которой, может быть, сотлели кости бедного Аримана, не сумевшего достигнуть светлой участи Ормузда и не победившего его. Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и других жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не влекла его сердца — иначе он, терпеливый и деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то же самое, что было в Хорасане, или завоевал бы Хорасан». Земное довольство и блаженство тела не ответ на крайние, тоскливые запросы сердца. Тучные сады не упраздняют «темной ветхости измученного праха». Речь идет о том, чью сторону выбрать: тучных садов или праха. Ариман глубже Ормузда: сады тоже рано или поздно превращаются в прах, и если остановиться только на тучных садах, значит, совершенно — навсегда — не допустить даже мысль, а тем более дерзание — воссоздать из праха сад вечной, неумирающей жизни.

Райская птица «тучных садов» нежится в холе, упивается своей песнью и забывается в вечности мгновенья: в исступлении наслаждения она не помнит ни своей телесной *протяженности* в мире, ни самой своей *длящейся* жизни. Голод и стужа не дают забыть воробью о самом себе; от постоянного усилия выдержать свою жизнь он наживает себе и ум, и мудрость («Путешествие воробья»). Человек у Платонова не райская птица, а воробей. *Пространство* тела и *время* жизни даны ему в остром ощущении мучения существования. Он превозмогает жизнь, значит, чувствует и знает ее. В клетке, даже большой, золотой и сладкой, воробей ложится и умирает: он хочет чего-то другого от жизни, о чем не успели узнать *самозабвенные* райские птицы.

«Будь же ты все проклято: значит, я вроде воробья! — сказал Яков Саввич.— Либо опять мне тронуться куда-нибудь» («Глиняный дом в уездном саду»). И народ джан — вроде воробья. В конце повести, когда Чагатаев вывел его к лучшей доле, он тоже «трогается куда-нибудь»: его не заманишь просто на сытую довольную жизнь. Он знает, что такое жизнь в ее первичной сути, какие жестокие и страшные законы управляют ею, те законы, которые маскируются на более высоком уровне организации общества, когда еду привозят в консервах, а не добывают в прямом убийстве другой жизни. (Народ уходит как раз на следующий день, после того как ему впервые за все его столетнее мучительное существование привезли готовенькую консервированную пищу.)

Народ джан — идеальный бедняк, философский концентрат всех тех «душевных бедняков», которыми полны произведения Платонова (реалистически приуроченные, как уже отмечалось выше, по преимуществу к дореволюционному времени; один из ярких примеров — Филат из «Ямской слободы»). Платоновские «душевные бедняки» мучаются чувством, но не могут довести его до ясного сознания. У них большое сердце, но не просветленное умом и знанием. Они принадлежат к тем «неученым», от имени которых Федоров обращался к «ученым» как раз за их умом и знанием с призывом вместе взяться за дело спасения от всеобщей «неродственности», тоскливой смертной судьбы, которую особенно глубоко, всей своей мучающейся от голода, болезни, страданий плотью, чувствуют они, «неученые», «душевные бедняки», «сыны Аримана».

Оригинальность Платонова в русской литературе, всегда страдавшей за мучительную жизнь народа, в обнажении всеобщей человеческой судьбы в этом мучении. Больной, сирый и убогий достоин не только жалости и готовности помочь. Он ближе счастливых стоит к оборотной стороне жизни; его темное, не дошедшее до членораздельного выражения душевное переживание жизни таит знание, касающееся всех и каждого.

Одним из самых частых слов, наряду со «смертью», «умирать», «умирающий», у Платонова встречается определение «скучный», «скучно», «скука». «Всемирная бедная скука» разлита у него повсюду: в природе, которая «исполняла свою скуку», в «скучных стихиях», в пыли, которая «так скучно лежит», в «скучной избушке» и «скучном голосе», в «скуке старости», выходящей при дыхании… Как ощущения запаха, вкуса, тепла, цвета, форм и т. д.— реакции человеческих рецепторов на явную, *физическую* реальность окружающего, так *скука* у Платонова — тягостная *метафизическая* реакция человека на скрытый, темный, *смертный* лик мира. Вот образное сопряжение, дающее ключ к этому изобилию определений «скучный» и «скука» в произведениях Платонова: «…пустой свет туркменистанской равнины, *скучной как детская смерть*» («Такыр»). Скука — от смерти, от ее фатальной неизбежности — детская смерть вдвойне томит сердце своей нелепостью.

Чувство скуки всегда вызывалось именно зрелищем дурной бесконечности, бессмысленным кругооборотом жизни («пустоворотами бытия», по выражению А. Белого). «Скучища неприличнейшая» — оценивает черт в «Братьях Карамазовых» бесконечно повторное вращение колеса существований во вселенной. Жизнь оборачивается «пустой и глупой шуткой», от которой «и скучно, и грустно», потому что все в ней безвозвратно утекает («в себя ли заглянешь — там прошлого нет и следа», «а вечно любить невозможно»). Когда человеческое чувство останавливается на сознательной или чаще всего бессознательной констатации *безнадежности* такого порядка вещей — возникает это странное, тяжелое ощущение скуки. Когда внутренний смысл, ценность вещи, человека, бытия объявляется равной нулю, то именно этот нуль удручает до скуки.

У Платонова появляется нечто новое: скука, скучный — как определенный момент онтологического самоопределения всякой

твари, живой и неживой. Она *скучна в себе,* т. е. не несет в себе высшего смысла, как будто внутренне ощущает собственную недолжность. Но скука — лишь безнадежное ощущение своего недостоинства, в ней есть тягостное покоение в самой себе. Скука — нравственный штиль, мертвая нулевая точка, от которой не может начаться движение и превозможение. Но неужели скука — это вся реакция, на которую способен человек?

Природа в произведениях Платонова как будто мается в тяжелом душном сне. Все в ней томится и ждет чего-то, ждет как будто изменения своей участи. В ней — «печаль дремлющего разума»: природа тоскует по сознанию, стремится к нему и усилилась дать его в человеке. В человеческой тоске за все погибающее — сознание несчастья самой природы, ее смутный порыв превзойти самое себя. Платонов пишет о «великом немом горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность» («Афродита»).

В душе человека природа породила нечто принципиально для себя новое, небывалое: *чувство грусти* и *тоски.* И не только за человека, но и за весь мир. Грусть от всеобщего умирания, грусть — как жалость и печалование о таком порядке вещей. «Старик играл дальше, скрывая в себе жалкое чувство печали по небольшой усердной птичке, которая жила сейчас где-то и изнемогала» («Путешествие воробья»). «Саша смотрел на измененные тьмою, но еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней, и ему было жалко их, что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут» («Чевенгур»).

В чувстве грусти для Платонова большой залог и обещание, *грустно* — значит, нехорошо все происходит, не должно так быть. В грусти и тоске — в отличие от скуки — выход за себя, начало движения, стремление к идеалу, находящемуся вовне и выше. Это очень важное для Платонова чувство, он его лелеет так, что оно становится у него, можно сказать, важным *нравственным чувством.* Это чувство зовет спасти все живое. «Мы тебя одну не оставим!» — говорит Чагатаев черепахе. «Хивинский осел глядел на Чагатаева знакомыми глазами и кричал по-скучному, беспрерывно, точно напоминая ему, что он должен освободить и *спасти* его» («Джан»).

Но и неживое: ветхие плетни, разрушающиеся дома, старые, негодные инструменты и прочая уже потерявшая осмысленный облик мелочь — вызывает у Платонова огромную нежность и боль. Все эти забытые, ненужные вещи, «последние бедняки» утвари, когда-то служившей людям, хранят следы бывших жизней, в них еще остатки тепла и дыхания ушедших людей, это все разбазаренный, анонимный федоровский «музей».

Мальчик Митя Климов «любил ходит в этот темный угол *сарая-старика* и трогать там *ненужные вещи*. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: "Его дедушка в руках держал и я держу". Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такое… Митя нашел там еще колесо от домашней прялки… Там же валялся кочедык: он был нужен дедушке, когда он плел лапти себе и своим детям. Там еще много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая» («Сухой хлеб»). «Никого и ничего у меня не было на свете, все было чужим вокруг нас; не было у меня ни одной игрушки; помню какой-то пустой пузырек, его я нашел на дворе, и еще обглоданную сломанную деревянную ложку — я не играл ими, а держал их в руках, перекладывал их и думал что-то» («Полотняная рубаха»).

У Платонова постоянно подчеркивается и странная склонность его героев собирать всякие забвенные пустяки, «вещественные остатки потерянных людей» будто в какой-то сохраняющий «музей» всего тленного, погибающего мира. В свое время Достоевский видел особое качество национального самосознания, выработанное идеальным дворянством, во всемирном болении за всех (Версилов в «Подростке»). Платонов — в более глубинном, народном понимании и чувстве — как бы расширяет это качество до всемирного *боления за всё*.

Всё в природе, в огромном космосе есть *вещество,* вещество, кочующее по существованиям. Что было когда-то человеком, превращается в землю, в прах, из него растут травы и деревья, из них делают разные вещи; вещи стареют, разрушаются, превращаясь в те бесполезные пустяки, те незаметные, скудные мелочи, к которым так странно бывает привязано сердце в мире Платонова. «При расставании с местом Джумаль всегда долго и грустно про-

щалась с тем, что остается одиноким: с кустом саксаула, у которого она играла, с куском стекла, с высохшей ящерицей, служившей ей сестрой, с костями съеденных овец и разными предметами, названия которых она не знала, но любила их в лицо. Джумаль мысленно тосковала, что им будет скучно и они умрут, когда люди уйдут от них на новое кочевье» («Такыр»).

Человек живет от рождения до смерти, «срабатывая *вещество* своего *тела*», «теряя в терпении и работе свое существо» («Джан»), Пыль, сор, прах, «темная ветхость измученного праха» — отработанное, последнее вещество, конечный пункт кочевья. У Платонова какая-то горькая нежность к этому праху: играть, пересыпать его в руках, ласкать мириады растертых в нем жизней. Девочка Уля, та, что, сама не понимая, обладала даром видеть тайную суть людей и вещей, оборотный лик жизни, «цветов… не любила, она никогда не трогала их, а, набрав в подол *черного сору с земли*, уходила в темное место и там играла одна, *перебирая сор руками и закрыв глаза*» («Уля»).

У Платонова всегда было живое ощущение того для большинства лишь отвлеченного факта, что нас окружает прежде всего минеральный, каменный, неживой мир[6]. «Едва зеленеющий» — как он любит отмечать. Человек и мир — это не только человек и природа («едва зеленеющая» часть мира), но человеческое «я» и этот непроницаемый мир плотного, косного вещества. У Платонова есть рассказ «Скрипка», где он как будто заглядывает во внутреннюю жизнь этого вещества. Скрипка, изготовленная из материала, обретшего в экспериментальной мастерской особую природную полноценность, обладает чудесной силой извлекать «голос пространства и дикого окружающего вещества, бывшего мертвым и безмолвным всегда». Скрипка в игре — одновременно человеческое томящееся «я», душа, отличающая себя от этого мира «не-я», поющая за него и отталкивающаяся от него. Скрипка ведет какую-то темную, первичную мелодию вибрации чувствующей сердечной плесени на жестких камнях мира. «Весь мир вокруг него стал вдруг резким и непримиримым — одни твердые, тяжкие предметы составляли его, и грубая жесткая мощность действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова

эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, каменного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность» («Скрипка»). Тут явная антропоморфизация косного вещества, приходящего в отчаяние от собственной непроницаемой тяжести и действующего с какой-то злобой от безнадежности этого отчаяния. Тут, как и в случае с природой, внутри самой материи существует как бы недовольство своим собственным жестким, темным, «небратским» принципом бытия. Ничто не изъято из общего «грехопадения» мира: вещество также участвует в нем.

«Недолжность» того закона, на котором стоит мир, в человеке острее всего переживается через невозможность принять *смерть*, уничтожение каждого единственного человека. Детское чувство становится у Платонова, так же как у Федорова, образцом и критерием для всех. Мальчик Вася любит смотреть на проезжающие поезда, замедляющие ход у его полустанка. Однажды он увидел у окна незнакомого человека, который улыбнулся Васе, сказал: «До свидания, человек», — и помахал рукой на память. «До свидания,— ответил ему Вася про себя.— Вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, *не умирай*!» («Корова»). «Не умирай!» Не надо! — нестерпимость, недолжность смерти сильно переживается в детской душе. Дети особенно дрожат за самого близкого человека, давшего им жизнь. Боязнь смерти матери проникает каждый платоновский рассказ, в котором живут дети. «…Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснет, как уснули дед и отец». А Митя очень скучает «о тех, кто спит», его умерших дедушке, бабушке и всех других («Сухой хлеб»).

Дети хотят прямо видеть *лицом к лицу* (как любил говорить Федоров) всех родных, всех умерших, «уснувших», а родные у них — все живущие люди и даже вообще всё существующее, живое и неживое. Но и взрослые, «сокровенные» герои Платонова остались в этой потребности детьми. «На снегоочистителе было написано: “Система инженера Э. Бурковского”. “Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает!” — с грустью подумал Пухов, и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского» («Сокровенный человек»).

Мы привыкли к духовным формам представления дорогих умерших, душевной памяти о них. У Платонова поражает нежность к буквальным, телесным остаткам мертвых, даже не нежность, а какое-то исступленное стремление удержать нечто действительно, *физически* им принадлежавшее. «Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины» («Чевенгур»). Мотив раскопанной могилы не однажды возникает в произведениях Платонова. И то, что он может появиться, казалось бы, совершенно не к месту, глубже выдает его философскую навязчивость.

«— А? Какого Пашку? — спрашивал Захар Васильевич и моргал от внимания.

— Да Пашку-то! Сестра у него Липка! — кричала жена Настасья Семеновна.— Мать-то он в прошлом году *из могилы раскапывал — волоса да кости нашел*! Вспомнил теперь?» («Ямская слобода»).

Этот мотив — вовсе не странный плод творческого воображения только одного Платонова, который можно было бы истолковать в противном случае как его личный психический сдвиг. Возьмем для сравнения два примера из французской литературы: «Даму с камелиями» Дюма-сына и рассказ Мопассана «Могила». *Невозможность* уже *никогда* и *ни за что* вернуть ушедшего из жизни человека, который еще совсем недавно был рядом, дышал, улыбался, составлял все счастье и жизнь, потрясает до умопомрачения двух любящих героев. *Увидеть ее,* пусть мертвую и в могиле — хотя бы на один раз обмануть эту страшную невозможность — таково непреодолимое желание обоих, которое они и осуществляют. И у Мопассана, и у Дюма предстает подробная, подчеркнуто натуралистическая картина разложившегося тела некогда прекрасной женщины, нагнетающая чувство ужаса и отвращения. Именно с этого момента начинается для обоих французских героев выздоровление от безумной страсти, не покинувшей их со смертью любимой.

Платонов не раз сосредоточенно останавливается — понять! — на физиологии смерти. Он умеет подчеркнуть ужас и тлетворность разложения. В рассказе «Такыр» лошадь почти не может пить воду, отравленную гнилостными испарениями истлевшего

трупа, который она везла на себе. Запах гниения трупа, падали невыносим для человека. В этом отвращении есть и своя надежда. Раз отвратительно, значит, *неприемлемо.* Ведь запахи, восприятие их, отношение к ним субъективны. Что для трупных червей — амброзия, нектар, то для человека — жуть и *стыд.* Именно стыд: этот удивительный «нравственный» обертон всегда есть перед запахом разложения. Стыдно, стыдно за попущение такого.

Но — что еще поразительнее — у Платонова чувство любви оказывается сильнее отвращения перед миазмами тления. «Усопший лежал неглубоко под нами, и из земли явственно шел запах его тела, смешавшегося с почвой. Женщина глубоко дышала этим воздухом, в котором были частицы тела любимого ею человека, довольная уже тем, что хоть таким образом она общается с ним и чувствует его близость. У нее не могло быть отвращения к покойному; она даже боялась того, что скоро уже не ощутит его тления, когда он вовсе смешается с прахом. Кто не поймет ее чувства или кем овладеет брезгливость, тот не знает простых свойств человеческой натуры, и брезгливая осторожность отделяет его от мира и его понимания.

— Давай, мама, откопаем папу! — сказал сын матери.— Пусть он дома лежит» («Пустодушие»).

Платоновская тоска по умершим не помирилась на красивой грусти призрачного образа, хранящегося в памяти. Через крайние эксцессы этой тоски — «давай, мама, откопаем папу!» — в ней пробивается кажущееся безумным, но *реальное* чаяние. Только любовь к конкретной неповторимой телесной форме, забывшая «брезгливую осторожность», может руководить познанием мира в его смертных глубинах, делом его преображения, *действительного* возвращения умерших к жизни.

Федоров писал: «В чувстве скорби первого сына человеческого, сожаления о потере отца зародилась та мировая скорбь о тленности всего, о всеобщей смертности, в которой природа впервые дошла до сознания своего несовершенства и с зарождением которой положено начало обновлению мира, начало эпохи человеческой, в которую мир должен быть воссоздан силами самого человека… скорбь есть сокрушение о розни (о вражде, о ненависти, со всеми ее последствиями, т. е. страданиями

и смертью); сокрушение или печалование есть покаяние, как нечто активное, заключающее в себе надежду, чаяние, упование; т. е. покаяние есть признание своей вины в этой розни и своей обязанности в деле воссоединения во всеобщей любви, устраняющей все последствия розни»[7].

Федоровским печалованием по умершим, нескончаемым плачем исходит душа живых над отошедшими. «Где теперь, спустя целый человеческий век, тот дед у деревянного сельского моста? <…> Кто жив еще из людей, завивавших венки на высокой поляне во времена детства Акима?» («Свет жизни»). *Где, кто* — звучит вопрос и зовет найти. И тревожатся смутным желанием сердца, и трогаются в путь особые люди — платоновские странники. Весь мир они чуют как умирающий и бегут по нему всё вдаль и вдаль, превращая «тишину и погибающие звезды» в «настроение личной жизни» («Чевенгур»). Много их в мире Платонова, тех, которых томит «сильная, грустная мечта о безвозвратном бродяжничестве». И однажды: «Э, да будь ты все проклято! — сказал Яков Саввич. — Пойду жить по своей жизни» («Глиняный дом в уездном саду»). И вот бредут эти бедные рыцари какого-то бесконечного похода в даль расстилающейся земли. Какой Грааль манит их, какое «отечество»? (по слову: древние праведники «говорили, что они *странники* и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут *отечества*» — Евр. 11, 13–14).

«Его сильно тронуло горе и сиротство — от какой-то неизвестной совести, открывшейся в груди, он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами» («Чевенгур»). Слово сказано: зов дали рождается из тоски по умершим, из подсознательного желания их вернуть[8]. Печалованием, нескончаемым плачем исходит душа живых над отошедшими. В платоновских странниках как будто возрождается та наивная, «детская», безутешная скорбь по унесенным смертью, которая в далекие, первоначальные времена направила легендарного Гильгамеша на поиски своего умершего друга Энкиду.

В рассказе «Сампо» кузнец Кирей приходит на пепелище родной карельской деревни. До войны он работал в колхозе «Добрая жизнь», в котором «жить было тогда сытно, свободно и рукам нетрудно». Нестерпимая тоска гнетет Кирея по его погибшей се-

мье — жене и четверым детям. Он вспоминает, как его жене — при всей их достаточной жизни — «все будто чего-то недоставало, неизвестно чего». Как-то давно жена читала Кирею отрывок из «Калевалы» о сказочной мельнице Сампо, которая сама молола хлеб. В деревне было электричество, «искусней сказочной силы». Но само по себе электричество оказалось бессильно против вторжения тех темных, разрушительных сил, от которых «вся жизнь в Доброй Пожве, бывшая сильнее и разумнее, чем написано в сказке, погорела, исстрадалась и погибла, как не бывшая никогда». Можно опять все восстановить, рассуждает Кирей, и даже лучше прежнего, и люди новые придут — весь народ убить нельзя — и снова наладить разумную и счастливую жизнь. «Опять будет хорошо, но только убитые и умершие никогда не возвратятся в свои избы и лучшая жизнь им не достанется. Что же это такое? Кирей перестал трудиться, почувствовав мучающее горе в сердце, которое уже не может зажить в нем ни от какого добра или счастья». Он начинает понимать, что одного добра мало, что «добрая жизнь податлива на смерть». Надо думать и всем работать над будущей «Сампо», способной размолоть саму смерть. Возникает характерно платоновский мотив: мы сами нашим бездействием виноваты в смерти наших близких и в смерти вообще: «Он понимал, что и другие люди тоже погибли по слабости его рассудка и по его вине, и по вине таких, кто подобен ему. И совесть перед мертвыми давала ему теперь силу для жизни». Его задача сейчас — отработать перед ними свою вину. Сердце человеческое не хочет, не может, не должно быть «порушено… горем вечной разлуки».

Так печаль по ушедшим, скорбь становится тем чувством, которое ведет к действию. Это отчетливо выражено в ранних научно-фантастических рассказах Платонова. В «Потомках солнца» яростно взвихрилась картина радикальной перестройки всего земного шара, а затем и всей вселенной. Миллионы машин, целые трудовые армии в неистовстве труда покоряют природу. «Зубы сознания и железа врезались в материю и пережевывали ее». «Еще год — и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки». Как тут не вспомнить К.Э. Циолковского с его «Будущим земли и человечества».

Преобразование природы, ее законов — и не только в пределах земли, но и всей вселенной, как это происходит в «Потомках солнца», — требует титанического сознания, колоссальной концентрации человеческой энергии, предельной, безумной одержимости. В сражении с яростными силами природы человечеству «нужно родить из себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце». Это происходит с героем Вогуловым, руководителем работ. Вырабатывается «новый совершенный тип человека — свирепой энергии и озаренной гениальности». Сознание и сердце, разум и чувство разводятся. Рождается внутреннее противоречие, столь же яростное, как сама регуляция. Ведь этот отчаянный вызов «самой себя жрущей вселенной» рождается именно из сердца, мучительно раненного утратой, смертью. «И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он 22 лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства. Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске…» В нем происходит катастрофическая трансформация: вся сила его безумной любви и скорби по умершей приливает в мозг, образовав сознание невиданной мощи. А в детстве маленький Вогулов больше всего любил слушать плач церковных колоколов, и ему казалось, что «колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется». Вся его жизнь становится восстанием против этой невозможности, безумным походом за абсолют вечности.

Из самой высокой любви и глубочайшей скорби вырывается «нет» порядку вещей в мире, но само чувство сознательно умерщвляется, чтобы в неотвлекающемся, колоссально умноженном — за счет душевных, сердечных сил — потоке интеллектуальной и рабочей энергии победить этот порядок. Добиться «невозможного», «какие бы пути ни вели к нему»! В «Потомках солнца» это пути яростные, жесткие и жестокие. Высочайшая цель преображения падшего мира в благолепие нетления — вечной встречи, любви, творчества — корежится судорогой нетерпения, пароксизмом отчаянного «скорее», «лишь бы как».

Платонов попадает в плен схемы, в которой неизбежны диалектическое разделение и борьба, порочный дуализм цели и средств.

Нельзя идти против смерти, за воскрешение всех умерших и погибших, за вечную жизнь, насилуя других и убивая свое сердце. (Кстати, мертвому сердцу само это дело становится непонятным, ненужным, как глупая детская сказка.) Новое, невиданное и великое *содержание* этой задачи не может осуществляться в старых, известных человеческой истории *формах* утверждения идей и учреждений — борьбе и насилии. Средства тут должны быть на уровне цели.

Каждый из ранних научно-фантастических рассказов Платонова реализует одно и то же сопряжение: фундаментального несчастья человека, «жалкого и скорбного устройства его тела» и титанического дерзания превозмочь это несчастье, преобразить все законы мира, проникнув в последнюю из его тайн, вскинуться к звездам, стать вечным и бессмертным творцом и хозяином мироздания.

В «Маркуне» мозг героя лихорадочно одержим идеей турбины, которая, как Архимедов рычаг, должна перевернуть всю вселенную. Но недаром горение мысли героя, его душевное воодушевление, работа его инженерного расчета вводится в рассказ зачином мучающейся человеческой плоти: «По полу бегали тараканы, ребятишки бормотали во сне и плакали. Гуни сползали с них, и пухлые животы дышали туго и тяжко, как у храпевшего отца». У самого Маркуна дрожат ноги, а тело после болезни тряпкой висит на костях.

В «Лунной бомбе» инженер Питер Крейцкопф изобретает снаряд для полета на Луну. Не любопытство или чистый исследовательский интерес движет инженером: этот полет им мыслится в русле преобразования жизни самой Земли. «Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые девственные источники питания для земной жизни, провести от этих источников рукава на земной шар и ими рассовать зло, тягость и тесноту человеческой жизни. И когда откроются безмерные недра чужого звездного неба, человек будет больше нуждаться в человеке». Полет на Луну — весьма традиционная тема научной фантастики. Но и здесь Платонов организует ее сопряжение все с той же человеческой тоской об утратах, все с тем же безумным чаянием победы над смертью. Он вводит в действие трагический случай. В ожидании решения правительства Крейцкопф идет работать испытателем новых автомашин и в первый же день на повороте дороги сбивает мальчика. Маленького кудрявого мальчика в фуражечке

«Океан»: «Крейцкопф оледенел от ужаса и страдания, он громко закричал, выпрыгнул из автомобиля и припал к трупу ребенка, терзаясь и борясь с обступившим его отчаянием…

— Я тебя не забуду никогда, милый, теплый мой,— шептал Крейцкопф…

Засыпав яму, он затосковал по мальчику так, что захотел его откопать.

— Я искуплю свою вину перед тобою, милый. Тут будет теперь моя вечная нежность».

Человек создал машину, господствующую над пространством, сжимающую время. Но сам остался хрупким и предельно уязвимым: погасить его дыхание непостижимо легко. Свой полет, все дело своей жизни Питер внутренне посвящает убитому им мальчику (при защите своего проекта «он спорил и доказывал отчаянно, и мертвый мальчик постоянно был в его памяти»), а через него победе над смертью, над той самой, что слепо косит людей и дальше в рассказе (при постройке «лунной бомбы» погибает сорок человек рабочих; пытаясь покончить самоубийством, Крейцкопф выпрыгивает из окошка тюрьмы, падает на часового и убивает его).

Только эта будущая победа может *искупить всё.* Иначе для чего вся техническая мощь, все чудеса покорения звездных бездн? Это лишь шаги к той, окончательной победе, единственной, которую страстно, безумно, невозможно жаждет сердце человека у Платонова.

Еще одна инженерная судьба, вскользь промелькнувшая в рассказе, выявляет ту же мысль автора: неприятие смерти является самым глубоким побудительным импульсом к преобразовательному действию в мире. «Вечером Крейцкопф обедал у производителя работ по магнитной добыче руды, инженера Скорба. Пожилой, спокойный человек, один из конструкторов мощных добывающих электромагнитов, Скорб имел тихий нрав и лютую трудоспособность. Скорб был одиноким: его семья и две дочери утонули в весеннем паводке горной реки двадцать лет назад. Скорб (Скорб-скорбь: ведь не случайно так его называет Платонов. — *С. С.)* потом отомстил этой реке: он построил на ней регуляционное сооружение, сделавшее невозможным никакие паводки». Питер Крейцкопф потому так добивается осуществления своего проекта,

что понимает его как один из шагов к той регуляции природы, что предельным своим заданием ставит возвращение к жизни всех, в том числе и кудрявого мальчика.

Для понимания мысли Платонова вспомним еще раз его военный рассказ «Пустодушие». Русский мальчик остается один с матерью. Его отец убит фашистами, как непригодный для работы калека. Мальчик хочет, нестерпимо хочет только одного — исправить совершившееся, возвратить отца к жизни. Он просит привести к нему фашиста, убившего его отца. « — Зачем он тебе? — спросил я у сироты. — Ты убить его хочешь? — Мальчик со странной грустью поглядел на меня. — Нет… Пусть он сперва отца нам отдаст. А потом он пусть сам умрет в землю… — У ребенка было правильное желание. — Фашист только убивать умеет, — объяснил я ему, — а мертвых он не умеет живыми отдавать. — А кто умеет? — спросил сирота. — А зачем он тогда умеет убивать?

Неосуществленная истина была в словах ребенка. Он размышлял, что убивать может лишь тот, кто умеет рожать или возвращать обратно к жизни. В нем жила еще первоначальная непорочность человечества, унаследованная из родника его предков».

«Убивать может лишь тот, кто умеет рожать или возвращать обратно к жизни» — какая странная на первый взгляд мысль! Зло, даже самое крайнее, может быть искуплено возвращением жизни, которую погубило это зло. Ведь зло потому и зло, что оно так или иначе губит жизнь. Появляется какая-то светлая брешь в наглухо замурованной, неприступной стене зла. Осуществленный труд воскрешения может ее и совсем взорвать.

Мысль о неискупимости зла, мысль отчаявшаяся, нашла себе выражение в мстительном представлении о вечном аде. В народной книге о Фаусте исковерканное наслаждение обиженного злом сердца родило такой образ: если бы проклятые Богом бесы, обитатели преисподней, имели хоть малейшую надежду на спасение, они поднялись бы на небеса по лестнице из остро отточенных ножей; но холодом и ужасом звучит: никогда и ни за что! Никогда! — это слово-враг: в нем мучительное отчаяние в спасении, но искренность этого отчаяния поспешно замешена на темном сладострастии погибели. Никогда! — с этим не может смириться любящее сердце и высокое сознание. «Только любящий знает

о невозможном и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему» («Потомки солнца»).

В «Эфирном тракте» общество будущего уже сознательно стремится к достижению этого «невозможного». Рядом с крематорием стоит Дом Воспоминаний, здание-сфероид, образ космического тела, с телескопической вышкой «в знак и в угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, любимых у любящих, — в надежду, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвратятся к живым». «Над входом в Дом висела арка со словами: “Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце”». Здесь в дальнем углу зала рядом с урной Кирпичникова, бившегося над созданием «эфирного тракта» (выращивание материи), Платонов собрал урны двух других своих героев — Андрея Вогулова и Питера Крейцкопфа. Все урны пусты: прах троих рассеян неизвестно где «яростными и враждебными силами мира», с которыми они начали схватку.

Будущее преображение мира может быть только тотальным: новый принцип бытия должен пронзить всё, начиная с мельчайшей частички материи. Внести свет человеческого познания в тьму «небратского» вещества, внутренние недра материальной массы, овладеть происходящими в ней процессами, чтобы в конечном итоге высветлить, одухотворить саму материю, — становится всепоглощающей жизненной потребностью героев-исследователей из «Эфирного тракта». Но такое дерзание вовсе не столь безопасно и триумфально, предупреждает Платонов их судьбами. Тут — свои «революционные» перекосы, своя боль и страдание. Радикальное вмешательство в интимную жизнь веществ, установившуюся природную взаимосвязь — при недостаточно полном овладении ее тайнами — может обернуться неожиданной, чуть не апокалиптической катастрофой.

Еще глубже эти сомнения пробиваются в написанной в 1934 году повести «Ювенильное море». Главный герой ее инженер-электрик Николай Вермо — из той же породы излюбленных писателем искателей и изобретателей. Более того, он своего рода маньяк переделки и приспособления к немедленной человеческой

пользе всего, чего бы ни коснулся его физический или умственный взор: от ничтожных мелочей до всего земного шара. Но уже с первой страницы автор сообщает внимательному читателю тайну такой фанатичной устремленности: «лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца». А сердце у него, как у всех его собратий, — грустное, приходящее в «отчаяние от тоскливого действия природы», от «густого бреда» существования, где отсутствует немедленное исполнение самого необходимого: высшего смысла и цели жизни.

Не успевает Вермо прибыть в мясосовхоз «Родительские дворики» (какое нежное, своему сердцу и уму дорогое имя выбирает Платонов для этого хозяйства, словно напоминая по контрасту о ценностях, забытых в атмосфере разделения и борьбы!), как автор испытывает его своей «излюбленной» мизансценой: «Тут же в сенях общежития, на большом столе для кружковых занятий, лежал мертвый человек». А потом на похоронах покончившей с собой доярки Айны он в бессильной ярости желает «отомстить всему миру за беззащитность человека, которого несли мертвым следом за ним». Но, утоляя свое сердце непрерывным переустройством мировой наличности, он словно забывает своей «головой» о самом ценном, о чем страдает его душа. Вермо в плену идеала времени — даешь продукт, немедленную пользу, вал! — при забвении главного: для кого конкретно-личностно и этот вал, и техника, что «решает всё». Да и в свои отношения с явлениями и предметами физического мира он вносит понятия другого, социального круга. Вермо «начал порочить естественное самотечное устройство природы и потворство этому оппортунистическому устройству со стороны администрации совхоза». Мстительную ярость чуть ли не классовой борьбы, или, как выражается сам Вермо, «борьбы диалектических сущностей техники и природы» прилагает он к своим разметкам судеб всего окружающего, всех стихий, существ и вещей. Вроде нужные вещи придумывает и организует: ветряк, особую силосную башню для животных с электрическим убойным стойлом, добычу «ювенильной» воды из недр земли. Однако при всех своих симпатиях к герою автор доводит этот образ моментами до гротеска, а мучающее его неистребимое желание все исправлять и утилизовать — до абсурда. Таких разоблачительных

пиков его перманентно преобразовательного пафоса немало в повести. Вот какие рационализаторские идеи могут посещать его при взгляде на любимую женщину, председателя их совхоза: «Вермо глядел ей вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой. «Зачем строят крематории? — с грустью удивился инженер.— Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования!» Это юмор уже вполне черного цвета! А сколь примечательна последняя реплика повести, принадлежащая Умрищеву. Проводив Вермо и Босталоеву в Америку, где они собираются развернуть опыты по извлечению электричества прямо из «пространства, освещенного небом», он изрекает любопытную мысль, обращаясь к старушке Федератовне, бывшей активистке, а ныне его супруге: «А что, Мавруш, когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света делать свое электричество,— что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда сумрак?» Да, как бы не стал наш белый свет черным от ретивости таких глобальных преобразователей, что одним своим воодушевленным сердцем и жаждой пользы рвутся тут же и радикально тронуть *здесь,* а уж как *там,* а то и повсюду может отозваться — об этом задуматься забывают.

Такая опасность не останавливает Егора, сына погибшего Кирпичникова, из «Эфирного тракта», хотя он и сознает ее. Прежде чем действовать, он стремится к возможно более полному познанию мировых законов, избирая «темой своей жизни конечную разгадку вселенной». Ни более ни менее. Ибо, как писал молодой Платонов, «со смертью надо спешить, родился другой враг». Какой же это враг? Это — «тайна мира, тайна всего», всего сущего, которую должен познать человек, чтобы построить «истину — общую, последнюю; завершающую» («Культура пролетариата» — I(2), с. 99, 100). Герои научно-фантастических рассказов Платонова воплощают того человека будущего, о котором он писал в той же статье: их душой становится *сознание*, средоточием всего их существа — страсть к познанию, «борьба с окружающими тайнами» — смыслом и «благом жизни» (там же, с. 99).

Воскрешение мертвых самими людьми, мощью науки, силой любви — эта федоровская тема постоянно возникает в творчестве

Платонова, и не только в научно-фантастических рассказах. Она прямо выражена в его поэзии. Революция и в ранних стихах Платонова, и в его публицистике воспринимается как грандиозный катаклизм, призванный пересоздать не только общество, но и жизнь человека в его натурально-природном виде. Это не обычная политическая или социальная революция, а глубочайший перелом всей жизни, подобный тому, какой происходил в первом столетии новой эры, в эпоху зарождения христианства, «когда человечеству была дана новая душа, в корне изменено его миросозерцание, весь психический порядок». «Человеческий мир сейчас стоит перед великим и коренным изменением внутренней сущности самого человека, которое будет идти параллельно изменению внешней социальной формы человечества» («Культура пролетариата» — I(2), с. 96).

«Настоящей жизни на земле не было, и не скоро она будет. Была гибель, и мы рыли могилы и опускали туда брата, сестру и невесту» («Жизнь до конца» — I(2), с. 180). Двумя путями, рассуждает молодой Платонов, спасался человек от ужаса своего уничтожения. Первый — развитие чувства пола, культ женщины, любви, продолжения себя в детях, через которых человек пытался найти единственное «противосмертное, хотя и условное, оружие» («Культура пролетариата» — I(2), с. 98). Второй — искусство, как выхлопной кран, куда уходила та же нестерпимая тоска смертной жизни. Но «пол работал на одном месте. Дело борьбы с великим врагом — смертью вперед не подвигалось. Найдя благо в половом чувстве, люди окаменели. <…>

Пол стал устарелым недействительным орудием за укрепление бессмертной жизни и требовал смены» (там же, с. 99). Что касается искусства, то, являясь облегчающим для человеческого духа суррогатом истинного бессмертия, оно «тоже гарантия природы против неисполнения человеком ее требований и тоже наслаждение» (там же), как и пол. Наслаждение — та ловушка, в которую захлопывает человека природа, расслабляет и примиряет с собой.

Революция для Платонова — порог того «царства сознания», которое должно преобразить самого человека. «Сознание победит и уничтожит пол и будет центром человека и человечества» (там же). Искусство выйдет из узких пределов духовного, идеального бытия и станет силой, формирующей и претворяющей саму действитель-

ность. «Отныне наша жалость и кипение души будут остывать не в форме искусства, а в форме работы, преобразующей материю, скручивающей мир, закабаляя и охлаждая враждебные силы, которые могут стать нашей волей, нашими помощниками и товарищами по жизни в одной вселенной» («Жизнь до конца» — I(2), с. 180).

Происходящая революция для Платонова предвещает другую, «космическую интеллектуальную революцию», новый вселенский эон, когда «мысль легко и быстро уничтожит смерть своей систематической работой — наукой» («Культура пролетариата» — I(2), с. 100).

Предельные дерзания, которые обнаруживает мысль молодого воронежского поэта и публициста, не были исключением для эпохи, казалось бы, всецело, до изнеможения, занятой прямыми, практическими заботами дня: разгромом контрреволюции, разрухой, голодом, элементарной организацией жизни. Стремление определить конечные идеалы, установить высшую цель, всегда необходимые человечеству для его совокупной осмысленной деятельности, неизмеримо возрастает в эпохи взрыва постепенного развития, радикального обновления мира. Тут на голом месте без всяких помех ставятся вехи «идеально» спроектированных работ, рационально спрямляется путь к самой далекой цели.

Новой надеждой осветились сердца многих героев платоновской прозы, повествующей о самых первых годах революции. Как в рассказах о дореволюционном времени главная тоска, «сердечная нужда» его «душевных бедняков» — от бессмысленности существования, обреченного на смерть, так и в революцию они недаром уверовали как в конец света и начало «будущего века». У Платонова оживают эсхатологические народные чаяния, но с той существенной поправкой, что «будущий век» предполагается построить самим, а не получить сверхъестественным образом. «Александр не обижался. Он чувствовал *сердечную нужду* Захара Павловича, но верил, что *революция — это конец света*. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец-рыбак найдет то, ради чего он своевольно утонул (т. е. разгадку смерти. — *С. С.).* В своем ясном чувстве Александр уже имел тот *новый свет*, но его можно *лишь сделать*, а не рассказать» («Чевенгур»).

В 20-е годы гимн вселенскому труду, гигантской космической стройке громко раздавался со страниц поэтов «Пролеткульта» и «Кузницы». Своеобразие платоновского поэтического сборника «Голубая глубина» (Краснодар, 1922) — в прямом смыкании воспеваемого будущего преображения мира с победой над смертью, воскрешением умерших. Именно этот гуманный, вечно человеческий источник как бы гармонизировал его позицию, ибо вводил ту высшую ценность — уникальную человеческую личность и ее права, о которых так часто забывала эпоха и ее идейные выразители с их культом машинизированного, обезличенного «Мы», идеально роботизированного коллективного рабочего агрегата, как в «Поэзии рабочего удара» Гастева. Познание, труд, космос, воскрешение — основные темы ранней поэзии Платонова, внутри стягивающиеся в одну и единую.

Овладение миром возможно только через всеобщее познание: покинув узкие, специально-научные пределы, оно должно стать основным занятием всех, осуществляться всегда и везде: «Это не будет теперешней наукой, тлеющей в университетах, лабораториях и библиотеках. Это будет бушующее пламя познания, охватившее все города, все улицы, все существа планеты. Познание станет таким же нормальным и постоянным явлением, как теперь дыхание или любовь» («Слышные шаги. Революция и математика» — I(2), с. 147). Такому знанию Платонов-поэт посвящает свои горячие «Оды к радости»:

Нам радость незнакомая
В тебе горит, познание!
В груди живет истомою
Тоска, от тьмы отчаянье…

Душили мир страдания,
Но жизнь светла надеждою —
И ты пришло, о знание,
Под красною одеждою…
(«Знание»)

Тут же возникает характерный для творчества Платонова мотив странничества как поисков по пространству земли, а затем и всего космоса ключей от тайн мира:

Мир рожден улыбкой человека,
Он вселенную невестою назвал.
Смерть рука влюбленная рассекла,
Вечный посох странник в руку взял.

Мы пройдем тебя до края,
Небо, тайна голубая,
Мы — любовь, мы — мысль вселенной,
Звезд зовущих странник пленный.

Уже самые первые стихи Андрея Платонова, написанные им в 13–15 лет, отражающие впечатления раннего детства деревни, которые он включил в третий раздел своего сборника, проникнуты тоской от природной, смертной жизни и надеждой на ее преодоление:

Когда же дойдем до дома
И в нем до утра отдохнем.
Сойдемся, *увидим умерших,*
Забытых, далеких вернем.

Когда ж эту смерть вместе с жизнью
Сожжем в яме скорби своей,
И встанем с соломы детями
У матери в доме родном!
(«Домой»)

В своеобразной балладе «Сын земли» герой направляется в дальний поход против смерти, вдохновляемый скорбной памятью об умершей матери и братьях:

До конца сын будет *со смертью, с тайной биться,*
И его поманят звездные венцы <…>
Это *мать убитая*, брошенная с неба,
Через горы бросила сына к небесам.
Все птенцы подохли с голоду, со слепу
И лежат на камнях черной кучей там. <…>

Это мать убитая в Нем летит и ищет,
Никогда не кончит своего пути…
И *живых*, и *мертвых* с гор высоких кличет
На дороге дальней *всех птенцов найти.*

«Сын земли» написан Платоновым 7 ноября 1920 года, в годовщину Октябрьской революции. С этой даты для него начинается «всемирный подвиг человечества», включающий исполнение «надежд всех людей», преодоление «великого немого горя вселенной» («Афродита»), в которой царит слепой закон пожирания и смерти.

Льем мы новую железную вселенную,
Радостнее света и нежней мечты,
В ней надежды наши оживут безмерные,
Глаз я поцелую сестры моей звезды.
(«Вечер мира»)

Пар — гудок!
Громче, резче раскаляйся,
Рви на клочья, распыляй
Туман низкий — пасть могилы
Жуть бессилья!

Пробивайся сквозь пространства
К мертвым звездам,
И столкни их, и смети их
Своей силою земли…
(«Гудок»)

Конечный прицел всеобщего подвига познания, гигантского космического труда в «Голубой глубине» — именно «пасть могилы». Обретение бессмертия, богоподобной власти в преображенном трудом и творчеством мироздании постоянно звучит здесь как высшая цель этого подвига:

Бессмертье заработали мы смертью и могилой,
От наших глаз не скроется небесное лицо,
Жизнь раскаляется до дна глубокой тайной силой.
Работа — наш отец, мы не расстанемся с отцом…
Летит звезда к звезде, *никто не умирает*,
У человека навсегда задумались глаза.
(«Последний шаг»)

Мы все воскреснем, живыми встанем,
Родился новый сильнейший бог.
(«Мысль»)

Мы — сознание, свет и спасенье,
Никто после нас не придет.
(«Вселенной»)

Мы — бессмертны, мы неведомое любим,
Мира мало, чтобы насытить нас…
(«Вечер мира»)

Идея «научного воскрешения» не исчезает и из последующего творчества Платонова. От «Родины электричества» до поздних военных рассказов она пересекает его «трассирующим» мотивом. Фома Пухов «находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость» («Сокровенный человек»). Делопроизводитель Жаренов, поэт, болеющий за всё «дело мировое», поднимает заснувшего героя звучным призывом: «Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать» («Родина электричества»). Хирург Самбикин делает на вечере доклад «о последних работах того института, в котором он работал. Темой его доклада являлось человеческое бессмертие» («Скрипка»). Лейтенант Агеев призывает своих бойцов бить врага ради будущей победы над смертью: «Труден наш враг, товарищи бойцы. Смертью он стоит против нас, но мы не страшимся смерти. После фашиста мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знание будущих поколений получат высшее развитие» («Смерти нет»). Сраженные бойцы ло-

жатся в землю на долгий, но не вечный сон «до самого воскрешения убитых… пока наука за силу возьмется» (там же). Лейтенант Агеев верит в это свято: сердце и совесть человеческая не могут позволить смерти уносить близких и любимых людей. Для него это «высшая, правильная истина», и именно ради будущего ее торжества уничтожается фашистское варварство. В душе одного из бойцов, слушающих командира, рождается «правильное» рассуждение, то, на котором в свое время автор «Философии общего дела» строил свой нравственный императив воскрешения предков: «…живому должно быть стыдно, ведь мертвый-то за тебя умер, сукин ты сын, а ты хочешь жить только за одного себя; это, брат, не выйдет! — а если выйдет, тогда печально станет, тогда грош нам всем цена в базарный день в воскресенье» (там же).

Чаяние воскрешения всех умерших идет из глубин народного сердца. Вот неизвестная женщина, «Великая Матерь» России, в военном рассказе «Броня» отпевает сказкой убитых малюток:

Жили-были люди,
Померли все люди,
Нарожались черви,
Стали черви люди.
Черви все подохли,
И осталась глина.
А на глине корка,
А на корке травка,
В травке той росистой
Сердце наше дышит,
Сердце наше плачет
Об умерших детях.
Все прошло — пропало.
Одно сердце стало
Жить на свете вечно,
Умереть не может,
Потому что плачет,
Плачет — ожидает,
Мертвых вспоминает.
Мертвые вернутся,

Спящие проснутся,
И того, что было,—
Сердце позабудет
И любить вас будет
В неразлучной жизни…

Платонов *принципиально* отдал себя «убогой, слабой жизни», которая мается, превозмогает себя, пытаясь пробиться к уму и силе. «Человек вышел из червя. Гений рождается из дурачка. Все было грязно и темно и становится ясным. Мы идем снизу» («Голубая глубина»). Снизу идут все герои Платонова, такие, которых и в фамилии унизили, как Дерьменко («О потухшей лампочке Ильича»). С той же силой, с какой их гнули люди и обстоятельства тяжкой жизни, они выпрямляются. Толчок к этому выпрямлению дает революция.

Только «недостаток», неполнота, несовершенство рождают порыв к их превозможению и к достижению полноты и совершенства. «Кто был ничем, тот станет всем» понимается Платоновым не только как перемена социальной одежды, но как дерзание на крутой взлет человека, единственно *работающего, творящего* существа космоса. «*Человек — не царь природы, а существо обделенное, и все богатство его заключается в его лишениях, недостатках, в его бедности; что животным дано даром, то человек должен выработать трудом, и область дарового для него все более сокращается и требует расширения трудового, т. е. нравственного*»[9] (выделено Федоровым. — *С. С.*). «Чем *меньше* человек *по рождению*, *тем больше*, тем выше и могущественнее он *по делу, по труду*»[10], — писал Федоров. Человек создает самого себя (начиная с первого акта самодеятельности человека — принятия вертикального положения): в нем не все рожденное, природное, но и сотворенное им самим, трудовое. В пределе перед человеком ставится задача рожденное заменить сотворенным, даровое — трудовым.

Рожденное природой подвержено ее законам борьбы, вольного и невольного вытеснения, изнашивания, старения, смерти каждой отдельной особи. В рожденном для человека — тьма, бездна непонятного, которая хотя и требует исследования, но сопротивляется показать самое свое донышко. Трудовое создается по разумному

плану, подчиняется благой цели. Оно может и должно стать воплощением той высшей ценностной мечты, на которую способен человек. Тут — воплощение целесообразности, ясности, света, разума. «*И только тогда, когда все, как в человеке, так и вне его, станет делом труда, т. е. когда все даровое обратится в трудовое, когда слепая сила, вносящая вражду, будет управляема разумом, только тогда не будет пожирания* <…> *труд* и *есть всеобщая добродетель, которая внесет в мир согласие, любовь*»[11] (выделено Федоровым. — *С. С.*).

Революция и последующее строительство были восприняты Платоновым и его героями как начало эры *трудового*, сознательного преображения мира. «Как великое странствие и осуществление сокровенной думы в мире осталась… революция» в памяти чувства Евдокима Абабуренко, героя раннего платоновского рассказа «Бучило». Этот рассказ тесно заселен чудаками, народными мыслителями, такими как Федор Крюйс с его «генеральным сочинением о земле и душах тварей, населяющих ее». Горячим, «нутряным» словом он ищет в нем для человека выход из «окрестного зверствующего мира», мира, где безраздельно царят законы размножения, пожирания и взаимного вытеснения. «Ты жил, жрал, жадствовал и был скудоумен. Взял жену и истек плотию. Рожден был ребенок, светел и наг, как травинка в лихую осень. <…> Но ребенок стал мужем, ушел к женщине и излучил в нее всю душевную звездообразующую силу. Стал злобен, мудр мудростью всех жрущих и множащихся, и так погиб навеки для ожидавших его вышних звезд».

В слове народных героев, впервые выходящих к мысли и ее выражению, царит детское обновляющее косноязычие. Тут нет места речи гладкой, выученной, автоматизированной, оглядывающейся на длинную культурную традицию. Но в этом случае для читателя есть опасность поверхностного, эстетского смакования такого стихийного, новорожденного слова. Ошарашась впечатлением от терпкой, низовой вязи речи героев Платонова, читатель часто пропускает ее глубину. Отцеживает эффектно жужжащего комара необычной формы и процеживает целого верблюда ее смысла. А между тем в уста этих героев Платонов влагает свои самые смелые мысли.

На страницах рассказа «Бучило» широко представлен мастеровой, ремесленный люд, среди которого рождаются искатели *правильного плана жизни.* Таков Демьян Фомич, первым заговоривший из всех своих предков-сапожников, работавших и молчавших четыреста или пятьсот лет: «В этом роде скопилось столько мозговой энергии, что она неминуемо должна взорваться в последнем потомке рода». А уж как один заговорил за всех, то сразу ни больше ни меньше как о «всем мировождении по направлению к праведному веку». И это не случайно: среда, к которой он принадлежит, поколениями мастерила всякие нужные изделия. Такое занятие научает определенному подходу к миру и человеческой жизни: как к сырому, несовершенному материалу, из которого нужно изготовить «правильную», умную вещь. А сначала надо ее представить в ее будущей целесообразности и красоте: план, схему соорудить. Вот Демьян Фомич и вычерчивает план «правильного вождения жизни человека».

Отсюда тянутся и позднейшие герои Платонова с их трепетным отношением к человеческим изделиям и машинам. «Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству» («Происхождение мастера»). Трудом создает человек из разрозненных веществ и предметов мира полезные вещи, заставляет «бесполезные» стихии мира работать на него. Таких людей писатель видел в строящейся действительности своего времени. Первоиванов, механик земледельческого коллективного хозяйства имени Исаака Ньютона, предстает в очерке Платонова «Первый Иван» как «великий безвестный эконом и ключник природы»: «Дальше Первоиванов унылым голосом говорил о своей общей скорби. Эта скорбь ощущалась им от расточения имущества природы бесхозяйственным человечеством»[12]. Свою деятельность реальный Первоиванов понимает в духе идей регуляции природы, примыкая к вымышленным героям научно-фантастических рассказов Платонова: «Но Первоиванов еще не додумал всех своих мыслей, еще не сделал из стихийной природы искусственного советского творения»[13].

Горячим чувством своих героев Платонов любит убеждать читателя, что машина не уступает самым великим плодам творческого напряжения человека. «Машина «ИС», единственная тогда

на нашем участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления, я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве, при первом чтении стихов Пушкина» («В прекрасном и яростном мире»).

Восторг перед машиной в произведениях Платонова всегда в значительной степени — *философский* восторг. Людям труда, мастеровым сработанная ими машина дарит утешение, подобное тому, каким пытаются обеспечить себя люди умственных занятий, оставляя после себя книгу или научное открытие. И то, и другое — форма относительного, культурного, «мнимого», как сказал бы Федоров, бессмертия. Правда — в первом случае анонимная, во втором — личная, а потому и более завидная.

Факт, что в машинах человек выходит больше себя «и по размеру и по смыслу», остается поводом для радостного потрясения и постоянной работы мысли героев Платонова. Среди них есть настоящие философы машины:

«— Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается: потому что они не работают! Видал ли ты труд птиц? Нету его. Ну по пище, жилищу они кое-как хлопочут, ну а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может <…> в труде каждый человек превышает себя — делает изделия лучше и долговечней своего житейского значения» («Чевенгур»).

Машина вызывает особое, бережное к себе отношение, настоящую нежность. Это нежность к существу *совершенно особому*, нерожденному, отличному от всего природного. Оно беззащитно, в отличие от природных тварей со всей их изощренностью инстинкта и наученным опытом живого: в нем есть ровно столько, сколько вложили в него ум и руки человека. «К металлу и механизму нужно относиться гораздо более чувствительно, чем к зверю или растению. Потому что живое можно действительно перехитрить, и оно тебе сдастся, его можно ранить, и на живом заживет. Машина же или рельс на хитрость не даются, их можно взять лишь чистым добром и ранить их нельзя, на них не заживет: они лопаются насмерть. И потому Пучков вел себя на службе чутко и осторожно: он даже дверь в свою будку закрывал не с размаху, а бесшумно и

деликатно, чтобы не тревожить железных петель и не расшатывать в них шурупов» («Среди животных и растений»).

Машина — качественно новый вклад в наличность мира, средство все растущего умножения изначально ограниченных природой сил человека. Машина принадлежит к той все более расширяющейся области *искусственного,* создаваемого человеком, через которую осуществляется одно из направлений *сознательной* эволюции человека и человечества. Не будем повторять того, что уже было сказано, в том числе самим Федоровым, об ограниченности и противоречиях чисто технического прогресса, не затрагивающего физическую природу самого человека[14]. Платонов же подчеркивает именно то ценное и новое, что дала машина человеку. Ведь в машине человек *материально* воплощает свой разум, смекалку, расчет, умение построить целесообразную систему. Упражняя свою творческую способность создания целенаправленно *работающих* предметов, человек познает закономерности творения вообще, его важнейшие составляющие. Так именно через конструирование умных машин возникла кибернетика, обернувшая свои открытия на весь мир. Научившись влагать в машину идеальную программу реакций и действий, современное научное знание открыло для себя третье начало в самой природе, кроме материи и энергии, и назвало его информацией. То, что человек *сам* сотворил, оказалось важнейшим инструментом понимания реально существующего.

Машина, *искусственное* создание, у Платонова нередко сравнивается с произведениями *искусства* по силе эмоционального воздействия, ставится с ними в один ряд: «Втайне и неясно он улавливал соответствие или родство между музыкой, книгой и паровозом; ему казалось, что машины и музыка выдуманы одним сердцем, и это сердце было похоже на его собственное» («Среди животных и растений»). Но — в определенном смысле — машина может быть для него «выше» художества. Если последнее преображает, гармонизирует мир, *обессмертивает* летящие в «хаоса бездну» существа и мгновения жизни в замкнутом пространстве *идеально существующей* вещи, то умная машина — *реальный* плод человеческой мечты о расширении своих возможностей действия в мире. Как отдельная вещь, великое художественное творение — уникально и вечно; отдельная машина стареет, изнашивается, за-

меняется другой, такой же или более совершенной. (Она — как и все существующее — смертна, отсюда такая к ней, конкретной, данной, всегда жалость у героев Платонова. К тому же, как сотворенная трудом, а не рожденная природой, машина в некотором роде «без мамы»: «У них не было понятия, что машины и механизмы — это сироты, которых надо постоянно держать близ своей души, иначе не узнаешь, когда они дрожат и болеют, и не успеешь ничего сделать, пока в стрелке не раздастся треск и смерть».— «Среди животных и растений».) Машина, в которой нетрудно представить ожидающую ее участь груды железного хлама, как будто не может идти в сравнение с симфонией или поэмой. Но как воплощенный в ней принцип *самоосуществления* человека машина для Платонова принципиально значительнее искусства.

В поэтическом мире самого Платонова машина обернулась по преимуществу паровозом, великолепным и почти одушевленным у него существом. Ни для кого и ни для чего не находится таких трепетных слов: «Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного, высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг» («Чевенгур»). Для этого были причины, относящиеся к личности самого творца, сильным формирующим впечатлениям детства и юности. (Известно, что сам Платонов работал помощником машиниста.) Но в паровозе для русского человека всегда была еще и особая магия. Поезд — железный конь, покоряющий основную российскую стихию — *пространство*. Недаром русская музыка в «Попутной песне» Глинки родила такую взрывную юбиляцию по поводу паровоза, казалось бы, такой индустриальной прозы:

Веселится и ликует весь народ.
И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле.

Поезд мчится по пространству земли, в будущее, «в убегающую даль». У Платонова — он железный брат его странников. Как платоновские странники — бедные рыцари пространства, посвященные его ордена, так и паровоз — тоже странник, но на колесах. «Ворота депо были открыты в вечернее *пространство* лета — в смуглое *бу-*

дущее, в жизнь, *которая может повториться* на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи, риска и нежного гула точной машины» («Чевенгур»). Паровоз, как все создаваемое людьми, как сами люди, идут в один, все тот же великий поход за жизнь, «которая может повториться».

Самые свои заветные философские идеи, те, что «для иудеев соблазн, а для эллинов безумие» (1 Кор. 1, 23), Платонов часто развивал через детский взгляд, воплощал в детское пространство жизни. «Большие — только предтечи, а дети — спасители вселенной»,— утверждает молодой Платонов в статье «Знамена грядущего» (I(2), с. 124). А в одном из своих стихотворений он писал:

Правду знают только дети.
Никто больше не вместит.

Печалование по умершим, грусть о каждом человеке как смертном настолько сильна у платоновских детей, что она избыточно выплескивается на весь мир, всех ее тварей, всех соседей и братьев по одновременной жизни. Подобранная букашка, упавший к ногам лист, выросший на дороге цветок встречаются детьми как неповторимая личность, к которой тут же привязывается сердце. Платонов как будто дает урок взрослым, часто не умеющим сохранить в мире человеческих отношений эту основную установку *на личность* другого, которая так щедро, сказочно растекается в детском чувстве.

И именно в детской душе рождается горячая, рыцарская воля к действию — сразиться с «железной старухой», губящей людей (рассказ «Железная старуха»). Мальчик Егор не может заснуть, его мучают вопросы «кто», «зачем», «почему», и главный — что это за «железная старуха», которой пугает его мать. Он тихонько убегает в овраг, где, по словам матери, эта старуха живет, «страхом пугает, и у людей сердце отымается» в очередную ей жертву. В овраге мальчик незаметно засыпает, и продолжение следует во сне. «Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей». С ним и появляется старуха, хрустящая высохшими костями. «Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда помрешь»,— отвечает она на вопрос мальчика, «кто она такая». Егор

вглядывается в нее и понимает. «Я знаю, я знаю тебя. Мне тебя не надо, я тебя убью».

«Убить», пусть «околеет» — решительно звучит в сознании ребенка после пробуждения, когда наутро его находит мать. «Перестать бояться» старухи, «дознаться» до нее, а для этого, может быть, на время, нарочно самому стать «железным стариком» (вспомним убитое «теплокровное сердце» в «Потомках солнца») и, наконец, окончательно *уничтожить* проклятую «железную старуху» — такова логика чувства, мысли и воли ребенка, поистине железная.

А вот другой, также незамысловатый с виду, рассказ «Никита». Пятилетнему мальчику весь окружающий его неодушевленный мир кажется живым: колодец, пень, бочка, плетень, избушка, стол, лопухи представляются какими-то злыми существами, готовыми ощетиниться против Никиты и самого главного человека, его мамы. «Под плетневую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и *мать умрет*». (Как всегда у Платонова, детское сердце трепещет за жизнь матери.)

Этот таинственный, кишащий людьми-оборотнями мир пугает ребенка, у него нет над ним власти. «Но незнакомые, злобные лица людей отовсюду неподвижно и зорко смотрели на Никиту <…> и лопухи сейчас угрюмо покачивали большими головами и не любили его». «Никита издали робко посмотрел на пень в огороде. Сумрачное, нелюдимое лицо, обросшее морщинистой корой, неморгающими глазами глянуло на Никиту». «Никита наклонился через сруб колодца и спросил:

— Вы чего там?

Он думал, что там живут на дне маленькие водяные люди. Он знал, какие они были, он их видел во сне <…>. Ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые и вредные, они, должно быть, хотели у Никиты выпить глаза, когда он спал».

Мальчик переживает в своем развитии ту стадию, которую прошло все человечество в своем далеком детстве: первые, анимистические представления наших предков оживают в нем. На солнышке, добром, дающем тепло, живет его умерший дедушка, а на луне — бабушка (то, что Федоров называл первобытной па-

трофикацией неба, небесных светил, т. е. населением их душами умерших отцов). «Дедушка, иди опять к нам жить!» — просит Никита у солнца.

Неожиданно возвращается с фронта отец, а с ним мир умных инструментов и сделанных человеком вещей. «Отец был в сарае. Он осматривал и пробовал руками топоры, лопаты, пилу, рубанок, тиски, верстак и разные железки, что были в хозяйстве». Все магические страхи Никиты рассеиваются. Начинается работа: отец ремонтирует дом, Никита выпрямляет кривые гвоздики. И сработанный им гвоздик впервые из всех вещей показался ему добрым, улыбающимся человечком. Следует характерная, идейная концовка рассказа.

«Он показал его отцу и сказал ему:

— А отчего другие злые были — и лопух был злой, и пень-голова, и водяные люди, а этот добрый человек?

Отец погладил светлые волосы сына и ответил ему:

— Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого они и злые. А этого гвоздя-человека ты сам трудом сработал — он и добрый.

Никита задумался.

— Давай всё трудом работать, и все живые будут.

—Давай, сынок, — согласился отец. Отец верил, что Никита останется добрым на весь свой долгий век».

Так через наивное умозрение ребенка — «Давай всё трудом работать, и все живые будут» — проводится у Платонова одна из фундаментальных федоровских идей: человек только тогда будет вечно живым, бессмертным, когда сам себя создаст, станет причиной самого себя, все в себе рожденное, даровое заменит на трудовое, творческое. В простенькой детской модели гвоздя ставится целая философская проблема, и даже не одна. «Они непрочные, оттого они и злые» — тут мимолетный отголосок убеждения в том, что зло — от «непрочности», от смерти, что путь к добру — через труд, спасающий от «непрочности», от смерти.

Именно таких художников, как Достоевский, которые ярче других видят великое в человеке, сильнее верят в его высокое божественное предназначение,— так зачарованно, почти болезненно влечет въесться до конца, до нестерпимой сердечной боли в темное,

зверское, безобразное в человеке. В свете их идеального предела раздвоенность человеческой природы — мучительная тайна для переживания и понимания.

Особое место среди подобных писателей занимает Платонов. Редко кто умел так насыщенно представить ужасы «окружающего злобствующего мира». Но у него при этом господствует особая *аналитически-кроткая, святая интонация*, чуждая всякого сентиментального отчаяния, надрывного расчесывания язв. Он никогда не преминет спокойно показать, что за злом стоит несчастье, а еще глубже — отчаяние в спасении от окончательного уничтожения, которое и ведет к извращенно-мстительному стремлению мучить ближнего, сорвать на нем бессильно злобствующее сердце. «До войны он держал большую лавку и прочно богател, но лавка сгорела вместе с домом. Спиридон Матвеич выдержал нужду, продал половину земли — спешно отстроился заново и купил колодезь. Говорят, что на пожаре у него задохнулась дочка от первой жены и он сам преждевременно бросил тушить двор, не видя смысла в имуществе без дочери. С того же года у него затмилось сердце — и к людям он стал относиться резко и невнимательно, как к личным врагам.

Теперешнюю жену Спиридон Матвеич любил — Филат видел его скрытые заботы о ней, — но никогда не мог сдержать безумного нрава и бил ее неожиданно и чем попало, мучаясь и сжигая себя. Причина этого лежала не в виновности жены, а в глубоком затаенном горе, превратившемся в болезнь» («Ямская слобода»).

В военных рассказах проблема зла ставится Платоновым несколько в другом повороте. Зло получает свое конкретное воплощение в фашистском варварстве, угрожающем дальнейшему, «правильному» развитию мира. Война, как постоянно подчеркивает писатель,— это работа, расчетливая и самоотверженная, по уничтожению зла. Произведения Платонова о войне — своеобразные «производственные» рассказы, подробно описывающие ратную работу солдат и офицеров, во всей последовательности продуманных «трудовых» операций, направленных на возможно большее производство конечной продукции: мертвого, поверженного зла — фашистских солдат и их техники.

В военных рассказах Платонова меняется угол оценки. До этого высшей ценностью для него была *жизнь,* причем жизнь каждого

уникального, уносимого смертью существа. Выдвигалось глубокое чаяние сердца вернуть утраченное, преодолеть тоскливый, смертный удел человека. На войне речь тоже шла о жизни, но не конкретного человека прежде всего, а о жизни всего народа как целого. Стал другим отсчет, масштаб — более общим, родовым, а не индивидуальным. Главной заботой стало сохранение *родового,* народного, национального. Ради этого себя, каждого, единственного человека, забывали и не жалели.

Точно так же стало невозможно и кощунственно всматриваться в отдельного немецкого солдата и видеть в нем человека. Он стал безликой частью единого и целого *зла*. Немецкий солдат, фашист у Платонова — не человек, частичное и духовно искалеченное существо. Убей его, пусть истлеет! — и не могло быть иначе даже для писателя, основной идеей которого была идея жизни, жизни бессмертной всех живущих и живших людей. Платонов не отделяется от родины в решающий, смертный ее час. Он выбирает ожесточившееся от страдания сердце своего народа, как свою мать, роднее и любимее которой не может быть чужой, дальний народ, а тем более звериный, мучающий и убивающий. Любовь трепетна и выборочна, ей оскорбительна мудрая прохладность. Спасти тело своего народа, родники серых глаз, в которые прямо выходит душа, чувство любви к умершим, которое не брезгует тлением, «идею жизни» и воскрешения жизни, «моих бессмертных» лейтенанта Агеева — перед всем этим отступает всякая философская последовательность. Отступает на время, на время страшных, крестных испытаний народа.

МЫТАРСТВА ИДЕАЛА

В наши дни Андрей Платонов переживает особый, не часто случающийся даже посмертно с писателем момент, когда чудесно кристаллизуется новый его облик (для нас, для искусства, для истории и будущего): от странного, обочинного, даже «юродиво»-вредного литературного явления при жизни, от замечательного, своеобычного мастера на взгляд последних тридцати лет он поднимается в избраннейший и ответственный круг классиков,

классиков русской советской прозы. Восхождение — да! И сколь трудное и долгое, и в каком колоссальном перепаде и разрыве оценивающих начал и концов! Посмертный Платонов пришел к нам рывком 50-х — начала 60-х годов, на два десятка лет стабилизировавшим объем допускавшихся к печати текстов. Почти половина из них тогда впервые покинула рукописную форму существования, многие вещи увидели свет в полном и неизуродованном редактурой виде. И тем не менее до последнего времени несколько центральных произведений писателя оставались не изданными на родине. Без «Чевенгура», без повестей «Котлован» и «Ювенильное море» живое тело платоновского творчества было ущербно неполным, как бы насильственно «ампутированным» (представьте для аналогии Шолохова без «Тихого Дона»). Те сомнения, в которые упирается здесь Платонов, — неизбежны при отважном углублении в те убеждения, на которых он стоял. Пережитая история помогла ему в этом необходимом исследовании.

«Чевенгур» (1927–1928) начинается с многоточия и последнего слова несуществующей на бумаге фразы «… из города»[15]. А дальше мы узнаем о хитрости учителя Нехворайко, обувшего лошадей своего красноармейского отряда в лапти, чтобы не потонули в болоте, и неожиданно ночью выбившего казаков из Новохоперска. Через несколько абзацев мы уже слышим печальную музыку: несут «остывшее тело погибшего Нехворайко (в фамилии, а может, и в жизни не хворал, да что из того? — *С. С.),* которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в огромном селе Песках». С Нехворайки начинают погибать люди в романе: их убивают, или они болеют и умирают, или сами кончают свою жизнь, как Саша Дванов на последней странице книги.

А пока Саша уезжает из Новохоперска. Его вызывают в губернию. Но вместо поездки с объявленной целью начинается странное блуждание героя. Очень быстро возникает ощущение какого-то смутного, бредово-горячечного сна, в котором все происходит. Главное, что видится в этом сне, — дорога; по ней движутся, останавливаются, вдруг судорожно несутся вперед, петляют, возвращаются и снова пускаются в путь герои. Кому снится этот сон? Очевидно, не одному Саше, поскольку он одно из обличий этого сна.

Но вначале мы как будто видим его сон. Все случающееся и мелькающее вокруг пропитано бесконечно печальным чувством. На мгновение врываются безымянные люди, места, слова, вещи, разная мелочь жизни и исчезают безвозвратно. «Встретился какой-то безлюдный разъезд под названием Завалишный; около отхожего места сидел старик и ел хлеб, не поднимая глаза на поезд», из которого на него смотрит Саша. Какие-то неведомые, «сторонние, безвестные люди» мелькают из вокзалов, забытых жизнью углов. Такую пронзительную боль рождает людская разъединенность в мире, что душа готова разделить участь каждой пропадающей забвенной пылинки: «пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни».

Каждый знает с трудом передаваемое освещение, в котором происходят наши сны. Может быть, точнее всего, как у Платонова: «серая грусть облачного дня». Ровный, бессолнечный, серый, тихо-тоскливый свет заливает то особое место, тот странный пейзаж, который пригрезился в «Чевенгуре». Как во сне отдельного человека, возможно, действует его душа, здесь — в большем пространстве — живет в какой-то томительной одури русская душа. Поднимается ее глубь и дно. (Пожалуй, точнее всего призрачно-ирреальную атмосферу «Чевенгура» передает тютчевское: «В каком-то забытьи изнеможенья / здесь человек лишь снится сам себе». Недаром в романе так много буквального сна, куда то и дело проваливаются, обессилев от своих мечтаний и дел, его персонажи. А переходы от сна к яви и обратно часто стерты».) И постепенно все больше начинает казаться, что и Саша Дванов, и другие, главные и едва промелькнувшие люди в романе— не обычные герои, литературные персонажи, а как будто различные воплощения народной души. А сам Платонов, как русский Платон, — созерцатель и выразитель основных «идей» душевной реальности своего народа.

Вот в ее сон, уголком, на миг вдвигаются приметы чужой души, яркой, жизнерадостной краски. Но ей-то самой так и видится та трухлявая доска, которую эта краска поверхностно скрывает. «Командир лежал против комиссара и тоже спал; его книжка была открыта на описании Рафаэля; Дванов посмотрел в страницу — там Рафаэль назывался живым богом раннего счастливого человечест-

ва, народившегося на теплых берегах Средиземного моря. Но Дванов не мог вообразить то время: дул же там ветер, и землю пахали мужики на жаре, и матери умирали у маленьких детей».

Эти «теплые берега Средиземного моря», хотя и никогда не виданные Сашей, — нечто вроде тютчевского «юга», что сияет самой прекрасной частью «покрова златотканого», наброшенного на дневной лик мира, сердцевиной его роскошной иллюзии. А вот та родная «страна», та природа, которая предстает чувствам героев «Чевенгура», напоминает философски насыщенный образ уже «северного» пейзажа, созданного тем же Тютчевым: обладает мглистое, сумеречное, туманно-серое освещение, царит какое-то «изнеможение» в душе природы, сияет «кроткая улыбка увяданья», созидается пространство пустоты, однообразия, тоски. Выписывать из «Чевенгура» можно бесконечно: тут и «преждевременные сумерки над темной грустной долиной», и «бледный вянущий свет, пахнущий сыростью и скукой нового нелюдимого дня», и ночь «мутная и скучная», и в «степи, казалось, находилась одна пустота», и река не столько течет, сколько «умирает», «расплывается болотами», а над ними стоит «осенняя тоска». «Дванов загляделся в бедный ландшафт впереди.. И Земля и небо были до утомления несчастны…» У Тютчева в сером сумраке русского ландшафта ближе к «ночи», здесь сквозь редкую нищую природную ткань («Лишь кой-где бледные березы, кустарник редкий, мох сухой») словно зияют прорехи в «ночь», явственнее просвечивает истинный лик, изнанка мира, его хаотическая, «ночная» подоснова. И переживание метафизической доли смертного — оголеннее, тоска ее острее, чем у жителя Юга, оглушенного веселым шумом жизни, ослепленного роскошью ярких форм, цветов и звуков.

Саша просыпается на рассвете в стоящем вагоне. И тут же вынужденный сам повести поезд — сталкивает его с встречным составом. Смерть, много смертей: «Сорок человек уложили у нас и у них». Дванов, избежавший гибели, двигается дальше пешком. «На его дороге лежал опрокинутый человек. Он вспухал с такой быстротой, что было видно движение растущего тела, лицо же медленно темнело, как будто человек заваливался в тьму, — Дванов даже обратил внимание на свет дня: действует ли он, раз человек так чернеет». Умирает красноармеец, тщетно пытаясь заговорить

вытекающую из него кровь: «Перестань, собака, ведь я же ослабну!» Опять и опять: дух покидает тело, выцветают глаза, «превращаясь в круглый минерал», отражающий небо. То ли человек возвращается в природу, то ли природа в человека, и начинают в нем бродить и «беспокоиться лишь мертвые вещества».

Так бредет Саша через смерть, трупы, тоску. Добирается к приемному отцу, Захару Павловичу. Тиф, воспаление легких — чуть не умирает. Жизнь каждого висит на волоске. И снова знакомая нам тема гроба и раскопанной могилы: «Перед Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб — прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу, — если не живым, то целым для памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним».

У Платонова поразительное отношение к телу. Как уникальное целостное устроение человека оно свято. Ощущение его — интимно и глубоко. Именно ощущение (свернуться, уйти в теплоту тела) и какое-то проницающее, рентгеновское видение его внутреннего устроения, где работающее *сердце* — пульсирующий центр человека, средоточие его чувства и жизни. Тело — лицом и внешней формой — видимый носитель неповторимой индивидуальности, а внутри, невидимо и неисследимо, каждый орган и клетка также несет печать этой особности. И как в свое последнее прибежище, в темноту тела, в его «жалкую одинокую темноту» уходит у Платонова человек в болезни и смерти. Вместе с тем через тело, завещанную в нем материнскую теплоту, бьющуюся в сердце, и осуществляется включенность человека в единую людскую цепь: «Своим биением сердце связано с глубиной человеческого рода, зарядившего его жизнью и смыслом». Ибо *тело* — пересечение огромного количества бывших жизней, их скрытая актуализация в тебе, живущем, и надежда через тех, кто произойдет от тебя, выйти — снова родиться — в новое, преображенное бытие.

Все, что происходит с телом, у Платонова прекрасно и жалко, как прекрасен и жалок сам человек. Тут нет и следа брезгливости, отбора того, о чем можно и о чем нельзя говорить. Вот характерный эпизод из романа. Выздоравливает Саша, влечет его дальше

дорога, где еще не совсем стихла кровавая феерия гражданской войны с ее большими и малыми вождями, пулей утверждающими свою идею. «По мошонке Исуса Христа, по ребру Богородицы и по всему христианскому поколению — пли!» — разряжает в Сашу винтовку молодой бандит Никиток из команды анархиста Мрачинского. Раненый Дванов ложится на землю, обнимает ногу лошади, и «нога превратилась в благоухающее живое тело той, которую он не знал и не узнает», знакомой девушки Сони Мандровой, его соседки. Никита готовится добить Сашу, содрать с мертвого одежду. Кладет руку на его лоб, чтобы узнать, теплится ли в нем еще жизнь. «Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающуюся ладонь». А дальше, рассудив, Никиток решает сначала снять одежду еще с живого, а потом «уж его прикончить — так сподручней будет. Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого действительно без порчи платья не разденешь. Правая нога закостенела и не слушалась поворотов, но болеть перестала. Никита заметил и товарищески помогал». Господи, какие низины жестокости, но никакой ненависти! Рука, убивающая тебя и готовая надругаться, становится последним теплым прощанием с людской родиной, рукой бедного брата по этой жизни, ее путанице, несчастью, искореженности. Брр — скажут многие — как некрасиво, какое юродство! Да, надо сразу сказать это слово: русская душа в «Чевенгуре» — юродивая, если не Христа ради, то смерти ради юродивая.

Платонов — визионер этой души. «Чевенгур» — рассказ о том, что случилось с ней в революцию, когда совершилась попытка осуществить некоторые ее чаяния. В Саше Дванове — самое глубокое ее содержание, метафизика смерти. Русская душа заворожена смертью, уперта в нее. Это — в крови, в клетках, в сердце, в сером воздухе, грустном изможденении природы. Это опьяняющая способность от всей души отказаться, «Эх, чёрт побери всё!», в которой прозревается: все на этой земле причастно «чёрту», ядовитой смертной черте; так зачем очень просто оседать, строиться, украшать «как игрушечку» свое временное жилище, лезть в службу и чины, серьезно, так смехотворно-серьезно и торжественно-чинно вершить свой жизненный путь, коли «хаоса бездна» под ногами

ждет неумолимо. Конечно, есть у русских и прекрасные, прочные дома, и карьера, и чинность, но врывается и другое — лучше на диване лежать всю жизнь, чем делишки делать, когда Дела нет; бросить все и бежать, все дальше, дальше, катиться по земле странником, каликой перехожей: петь да плясать да слезы лить — и всего этого, наверное, в больших количествах, чем у других народов, и, наверное, просачивается и к самым твердым и чиновным более, чем у других. Постоянное истечение тоски, не-отмирность, юродство отчаянного смертника, то, что выделяла народная душа в определенное поведение, создавало то общее впечатление, которое давно уже застыло для чужих в «загадочной славянской душе». Загадочность там, где теряется оценка, летит вверх тормашками всякий прогноз, когда поведение непредсказуемо искривляется какими-то странными, то буйно-шальными, то грустно-запевающими вихрями, неизвестно откуда налетающими, из глубины ли души или из сосущего бесконечностью пространства. Почти все заражены какой-то бациллой бледной тоски, излишней юродивой душевностью — некрасивый треск разрываемой на груди покаянной рубахи прорезывает воздух, а потом долго тянется струйка стыда. Такими эманациями полон русский воздух. Вообще как-то себя стыдно! — это ощущение постоянно у героев Платонова. Что же ей надо, этой душе? Как-то нелогично выходит: если она — язычница, то полагается ей по-земному, прочно-практически устроиться; если христианка, тоже чего мается, когда обетования даны; если восточная она душа, то должна быть поравнодушнее, пожестче, пофилософичнее. Что еще за путь она ищет?

Только среди своих, ученых и утонченных, об этом было немало сказано в свое время. Возникла вера в народ-богоносец. Темные струи неизбывной, смертной тоски принимались за лучи отрадного обетования, лучи Того, Чьим именем несколько веков крестился русский народ. И проглядели легкую податливость на самые отчаянные, крутые исторические эксперименты — ведь терять, по самому последнему счету, нечего. А опыт готовился лихой и сыгран был на второй заветной идее русской души, идее всеобщего равенства. Но об этом речь впереди. Пока же что произошло: народ-богоносец сходил в красную революционную баню и вышел оттуда атеистом и богохульником. Но это не значит, что он смыл свою ме-

тафизику, ту, что в крови, жилах, клетках, в сердце, воздухе и природе. Ту, что нашла себе уже к концу прошлого века выражение в учении Николая Федорова, достаточно незаметно прошедшего по русской земле и сказавшего слово, которому еще суждено таиться для будущих времен. В этом слове Благая весть была понята как призыв к реальной всеобщей борьбе со смертью, к воскрешению всех умерших, к активному преображению природного порядка существования в бессмертный божественный тип бытия, как повеление всему человечеству соделаться действенным орудием «Бога отцов не мертвых, а живых».

Лишь немногие по-настоящему услышали его, и среди них Андрей Платонов. Услышал как сын своей эпохи, отбросив Бога как высшую сотрудничающую во «всеобщем деле» реальность, хотя бы идеально-проективную, утвердившись в том человекобожестве, о котором как об искусе предупреждал ряд мыслителей. Услышал и отзвуки передал своим героям. «Направо от дороги Дванова, на размытом оползшем кургане, лежал деревенский погост. Верно стояли бедные кресты, обветшалые от действия ветра и вод. Они напоминали живым, бредущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Дванов поднял крестам свою руку, чтобы они передали его сочувствие мертвым в могилы». В Саше — душа его отца-рыбака, отправившегося в воды озера Мутево искать разгадку смерти. Глубинная связь с отцом всплывает в навязчивых мотивах снов Саши («во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле»): «Маленький Саша вместо себя оставляет отцу палку — он зарывает ее в холм могилы и кладет сверху недавно умершие листья, чтоб отец знал, как скучно Саше идти одному и что Саша всегда и отовсюду возвратится сюда — за палкой и за отцом». Его томит чувство долга перед отцом, «первым утраченным другом», оно-то и приводит его в Чевенгур.

В хоре голосов русской психеи, который звучит в романе, голос Саши самый авторский. Идеи «Философии общего дела», но напоенные энергией революционного насилия, вслед за философом «Воронежской коммуны» повторяет такой же народный интеллигент Дванов. Самым глубинным из всех разделений, царящих в мире, Федоров считал отрыв мысли от дела, разделение на «ученых» и «неученых». Саша, который «не мог долго выносить про-

вала между истиной и действительностью» («у него голова сидела на теплой шее, и что думала голова, то немедленно превращалось в шаги, в ручной труд и в поведение»), начинает преодолевать в себе этот извечный антагонизм знания и действия, чувства и воли, теоретического и практического разумов. Высшая цель и движение к ней выписываются им одной стремительной параболой: «Эти люди хотят потушить зарю, но заря не свеча, а великое небо, где на далеких тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее потомков человечества. Ибо несомненно — после завоевания земного шара — наступит час судьбы всей вселенной, настанет момент Страшного суда человека над ней». В безумно разогретом энтузиазме человек занимает место Бога, и Страшный суд, узурпированная привилегия последнего, угрожает слепым силам материи.

На сцену романа выступает новый человек, Степан Копёнкин, освобождающий Сашу из рук бандитов, бывший командир полевых большевиков, а ныне одиноко скитающийся паломник к могиле Розы Люксембург. «Его международное лицо не выражало сейчас ясного чувства, кроме того, нельзя было представить его происхождения — был ли он из батраков или из профсоюзов — черты его личности уже стерлись о революцию. И сразу же взор его заволакивался воодушевлением, он мог бы с убеждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища». Копёнкин, как затем чевенгурцы, — пламенный рыцарь идеи всеобщего равенства и полного душевного товарищества.

Вот оно, глубочайшее чаяние русской души. Но как возможно осуществление абсолютного и всеобщего равенства, какая нелепая и вредная идея! — восклицает любой здравый взгляд. Против нее восстает сама природа человека и вещей этого мира. В природном и социальном мире равенства нет, и этот мир всячески противится лечь в гроба его установлений. Неравенство, физическое, умственное, духовное — без всякого обидного оценочного суждения, ибо каждый чем-то превосходит другого,— совершенно естественно, без него невозможно никакое развитие и жизнь.

Но в том-то и дело, что в своей метафизической сути идея равенства именно сверхприродна и сверхъестественна. Ее идеальный образец, по Федорову, — в троичном божественном бытии, где

каждая ипостась равноценна, равновелика, абсолютно равна одна другой (автор «Философии общего дела» видел в Троице образец для бессмертного человеческого общежития). Идея равенства — величайшая проективная идея; мучение ею говорит об истинном алкании преображенного, не-природного бытия. Но как все самое великое эта идея в нетерпении исторического действия, в темной страстности и тупой самонадеянности совершающих его падает ниже всего, в грязь и кровь, где, жалкая, неузнаваемая, юродиво корчится в Копёнкине, Чепурном и его товарищах.

Пожилой воин Степан Копёнкин, личность которого удостоверяют лишь карманные «хлебные крошки и прочий сор», едет в далекую Германию освобождать от «живых врагов коммунизма» мертвое тело Розы Люксембург. Бумаг и документов при нем нет никаких, только в фуражке зашит плакат с изображением немецкой революционерки — как святыня в ладанке. Его сердце горит безраздельной любовью и жалостью к замученной Розе. Как пушкинский рыцарь бедный («Lumen coelum, sancta Rosa! Восклицал в восторге он»), Копёнкин вскрикивает, шепчет, вздыхает, исходит слезами: «Роза, Роза!» — и верный его конь Пролетарская Сила ускоряет шаг, напрягая свое мощное тело.

Копёнкин и его конь — самые мифологические персонажи романа, пролетарская травестия и Дон Кихота с Россинантом, и рыцарей-паломников ко гробу Господню, и искателей Святого Грааля. А Пролетарская Сила к тому же как будто вышла из богатырской былины, храня в себе тепло Ильи Муромца. «Однако, чтобы достаточно наесться, конь съедал по осьмушке делянки молодого леса, а запивал небольшим прудом в степи. Копёнкин уважал свою лошадь и ценил ее третьим разрядом: Роза Люксембург, Революция и затем конь».

Как Дон Кихот сражается с ветряными мельницами, Копёнкин сечет саблей «вредный воздух»: вносит неразбериху в сигналы, которые буржуи по радио пускают. Нет рядом немедленного врага, на которого можно излить свое исходящее бессильной и потому яростной жалостью сердце, и он рубит придорожные кусты за то, что они недостаточно тоскуют по Розе. «Если Роза тебе не нужна, — приговаривает он, — то для иного не существуй! Нужнее Розы ничего нет!» Могила Розы — центр земли, к ней ведут все

дороги, и едет Копёнкин куда глаза глядят, куда верный конь вывезет.

В этих безумных действиях и речах — своя мистическая правда. Роза Люксембург — не просто Прекрасная Дама помешанного рыцаря революции: «…он считал революцию последним остатком тела Розы Люксембург и хранил ее даже в малом». Не Роза — от революции, а революция от Розы. Роза — как тело Господне и Граль, а революция — лишь кусочек его мощей, капля из святого сосуда. В Копёнкине — высокий религиозный пафос, но наполнение его совершенно смехотворное. Энтузиазм борьбы за обретение Абсолюта неизбежно облекся в псевдорелигиозные, псевдохристианские формы. Причем в жалкой эпопее Копёнкина сохранены структуры рыцарской христианской мистики, героического крестового Средневековья. Небо всеобщего блаженства берется штурмом, истреблением неверных. «Он неугомонно шагал и грозил буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты». «Все люди для него имели лишь два лица: свои и чужие. Свои имели глаза голубые, а чужие — чаще всего черные и карие, офицерские и бандитские; дальше Копёнкин не вглядывался».

Вот тут и главная загвоздка, то совращение, на которое поддалась темная народная душа. Убей всех буржуев и разную остатнюю сволочь — они и не люди вовсе, объединились все пролетарии, товарищи, босота, и упадет социализм сам собой с неба, как благодать. А уж что такое социализм и коммунизм, об этом на протяжении всей книги мучаются герои. Что-то сияющее и прекрасное, «новое небо и новая земля», где сердце обретает желаемое и не тоскует. Ведь Копёнкин, как и Дванов, чает одного. «Он снова предвидел, что вскоре доедет до другой страны и там поцелует мягкое платье Розы, хранящееся у ее родных, а Розу откопает из могилы и увезет к себе в революцию». Как и у Дванова, самое глубокое всплывает в воспоминаниях детства и снах Степана. Мы узнаем, что более всего мучило его страдание другого человека и как он «мальчиком плакал на похоронах незнакомого мужика обиженной им вдовы». В смутных глубинах его души умершие мать и Роза сплетаются неразрывно. Вот ему снится, что хоронят Розу, а это и не Роза вовсе, а его мать. «Копёнкин любил мать и Розу одинаково, потому что мать и Роза были одно и то же первое существо для

него, как прошлое и будущее живут в одной его жизни». Мать — его *прошлое,* его природные корни, самая близкая причина его самого. И на сыне, как всегда у Платонова, лежит вина за ее смерть, и мучает его чувство, что надо что-то делать, чтобы искупить эту вину. Роза — богоматерь, богоматерия, начаток будущего искупления, претворения смертной плоти в нетленную, разделенности, «неродственности» мира в вечное братство. Для чего же еще к ее гробу длится *мистическое путешествие* Души в Копёнкине?

Но как ни усиливается Душа поверить в уже готовый источник спасения — в последнем, самом честном усилии Она его не находит. «Постепенно в его сознании происходил слабый свет сомнения и жалости к себе. Он обратился памятью к Розе Люксембург, но увидел только покойную исхудалую женщину в гробу, похожую на измученную роженицу». Роза — мертва, она лишь женщина, и ее тоже надо спасти из могилы. Прежде чем черпать в Граале живую кровь преображения, его, оказывается, надо создать самим. А как самим, таким жалким, темным и так легко срывающимся в зло? Как самих себя поднять за волосы? Тут весь порочный круг человекобожеского Предприятия, из которого как будто нет выхода. В него-то и уперся Платонов в «Чевенгуре».

А Копёнкин с Двановым все едут по равнине к дальнему горизонту своей мечты, который встает «как конец миру», «где небо касается земли, а человек человека». По пути — «ветряные мельницы» вражеских радиосигналов; человек, который катится лежачим им навстречу: ноги устали, второй год к дому поспевает; деревня Ханские Дворики, где уполномоченный переименовал себя в Федора Достоевского, а за ним и весь актив окрестился в Христофора Колумба и Франца Меринга. Сколько веков пропадали они в «безмолвном большинстве», в темной для памяти и истории массе! Сколько боли и ущемленной зависти накопилось у этих бедных детей жизни, лишь глядевших через забор на блестящие игрушки других, нарядных и счастливых! И вот совсем как дети, магическим «понарошке», произвели себя в Достоевских и Колумбов, в тех избранных «ученых», которых единственно пока человечество выделило и «спасло» от смерти в культуре.

В коммуне «Дружба бедняка», куда после Ханских Двориков попадают путешественники, все члены ее правления занимают

должности и носят длинные и ответственные названия. Та же трогательная и жалкая, детская компенсация прежней своей униженности: никто не пашет, не сеет, чтобы себя от высокой должности не отнимать.

С «Федора Достоевского» разворачивается в романе гоголевский парад-алле типов и установлений революционного времени. Вот попадают наши путешественники в «Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма», как значится при въезде в бывшую помещичью усадьбу с добавлением: «Вход друзьям и смерть врагам». Пашинцев — безумец идеи сохранения «революции в нетронутой геройской категории». Как первохристианин, спасающийся от преследований мира сего в пещере, Пашинцев в средневековых доспехах сидит на бомбах в погребе, устрашая ими всякое возможное нападение врагов и властей, наводящих будничный мирный порядок. Кавалерийская атака на будущее, безумная попытка одним волевым усилием и горением нетерпеливого сердца преобразить людей и мир захлебнулась и задохлась. «Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас все кончилось — пошли армии, власти и порядки, а народу — опять становись в строй, начинай с понедельника…» Рыцарь военного коммунизма — в жалких латах, дырявой кольчуге, с бутафорскими бомбами, тоже Дон Кихот идеи — декретирует губернской босоте вечное воскресенье пролетарского счастья; пятый год идет даровое разбазаривание бывшего помещичьего имения. «Население ревзаповедника ничего не сеет, а живет за счет остатков фруктового сада и природного самосева». Проклятая объективная действительность с ее необходимыми законами и принуждениями вызывающе выносится за скобки — на то он и заповедник.

Права этой действительности хранит и выражает целый пласт персонажей, проходящих фоном в романе. Это — и лесник, и простые горожане, и крестьяне, протестующие против дотла разоряющих народ крайностей продразверстки, против декретивных увлечений собственных и наезжающих активитов. Хор народных голосов — в набитых поездах, в переполненных постоялых избах, в разоренных деревнях — вплетается в горячечные грезы, призывы, рассуждения неистовых мечтателей, звучит отрезвляющим

диссонансом. «Эх, горе мое скучное!» — вздыхает неизвестный мужик, а другой рассказывает, как семью от холеры схоронил, а последнюю коровенку продотряд отобрал. «“Господи, да неужели ж вернется когда старое время?” — почти блаженно обратился худой старичок, чувствовавший свое недоедание мучительно и страстно, как женщина погибающего ребенка». А в деревне Старая Калитва, где Дванов с Копёнкиным громят крестьян, организовавших отпор продотрядам, их глава так отвечает на вопрос, кулак ли он: «Нет, мы тут последние люди. <…> Кулак не воюет, у него хлеба много — весь не отберут… Дванов поверил и испугался: он вспомнил в своем воображении деревни, которые проехал, населенные грустным бледным народом». Крестьянин из Ханских Двориков так убедительно развернул нелепость уравнительного дележа скота, что «народ окаменел от такого здравого смысла». И кузнец Сотых, проницательный народный аналитик, так припечатал главу чевенгурцев: «Ишь ты, человек какой… хочется ему коммунизма — и шабаш: весь народ за одного себя считает!»

Но на все суждения трезвого народного сознания наши преобразователи отвечают одним: слепой верой в некую мгновенную и чудесно достижимую осиянность всей жизни социализмом и коммунизмом. «Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет!» Сконструировать жизнь как осуществленную идеальную схему! — и механики новой жизни напряженно думают над ней. Дайте нам голое место, с которого все можно начать сначала, где нет сопротивления среды и человеческой природы, — крик души всех рыцарей идеи в романе. И заповедник Пашинцева, и Чевенгур — попытки осуществить такое голое место в романе. Можно уничтожить физически, дотла всех, кто сопротивляется или может сопротивляться идее, но себя-то не уничтожишь. Собственная бедняцкая натура темна и тосклива; идея воплощается в наличном людском материале, в наличной действительности и застывает в смешной и страшноватой карикатуре. Смех тут горький, над самим собой. Смех, и жалость, и бессилие. И понимание железной неотвратимости еще более страшного будущего.

Единодушие, быть как *одна душа* — разве это не великая, божественная идея! А что выходит: все механически тянут руки друг

за другом — как можно не со всеми, против родного коллектива и собственной власти? А потом для разнообразия и усложнения жизни члены правления «Дружбы бедняка» закрепляют навсегда одного человека, чтобы был «против», а другой — чтоб сомневался и воздерживался.

«Как такие слова называются, которые непонятны? — скромно спросил Копёнкин. — Тернии иль нет? — Термины,— кратко ответил Дванов». Все опутаны «терниями» слышанных на митингах и спускаемых сверху идеологических терминов, опутаны, но и сами научились при случае ими в столбняк вгонять. Как обессилевают бедные чевенгурские лбы над циркулярами губерний — и, наконец, разрешаются замечательными превратностями своих толкований. При всей пронизанности токами идеологии она толком и не понята, лишь отдельные, ухваченные там-сям лозунги приспособлены к собственным душевным побуждениям.

Что же означает «коммунизм» для чевенгурцев, какой идеал они вкладывают в него? Всего чевенгурцев двенадцать человек, и Платонов недаром останавливается на таком «апостольском» их числе, речь идет о провозвестниках своего рода мессианской идеи. А осуществляется она в полном разрыве с тем, что в это время происходит в стране, где начинает утверждаться НЭП, обратившийся к задачам первой жизненной необходимости: расширить производство, накормить и одеть народ. «Жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь». Устроители немедленного коммунизма по существу бросают вызов такому обороту событий. «Ты думаешь, пища с революцией сживется? Да сроду нет — будь я проклят!» — восклицает один из городских коммунистов Гопнер, чуть позднее примкнувший к чевенгурцам.

В Чевенгуре не следует искать ни утопии земного рая, где разливаются молочные реки «полного удовлетворения материальных потребностей» и кисельные берега «всестороннего развития личности»; ни антиутопии тоталитарного, технократического устройства общества, которой столько расплодилось в литературе XX века. Чевенгурский «коммунизм» совершенно особый, это юродивый «коммунизм» русской народной души. «Тут целый ком-

мунизм лежит в каждой душе, и каждому хранить его охота». Осуществить душу и ее чувство — так поняли коммунизм чевенгурцы. Устраивается обитель *душевного товарищества,* монастырь *абсолютного равенства.* Никакого преобладания человека над человеком, ни материального, ни умственного; никакого угнетения, ни малейшего, ни на волосок: для этого изничтожается все — собственность, личное имущество, даже труд как источник приобретения чего-то нового, «происхождения имущества», всё, кроме голого тела товарища. Разрешены только субботники, когда рвутся с корнем сады и дома, приросшие к родной почве, и переносятся на другое место, идет «добровольная порча мелкобуржуазного наследства».

Глава чевенгурцев Чепурный, вслед за Двановым и Копёнкиным, — еще одна ипостась русской души или, точнее, ее выплеск на поверхность из глубин своей подпочвенной жизни. Из широкого и смутного разлива в темном народном чувстве эта душа как будто протискивается через тело платоновских героев, чтобы выйти к своему воплощению и осознанию. Другого, лучшего пути ей нет. Беременность эта тяжела и тосклива: не то еще это тело, чтобы родить светлого младенца, совершенно соответствующего своей великой завязи. Матка душевного чувства — тепла и питательна, но впереди корежащий проход сквозь теснины слабого ума под команды «идейной» повитухи. Тут этот Прокофий Дванов, хитрый мужик, что «своей узкой мыслью» «ослабляет» «великие чувства» Чепурного и быстренько соображает, как пристроить несуразного новорожденного к своей личной выгоде. А сам Чепурный заранее смертельно тоскует, как будущая мать, предчувствующая уродца.

Прокофия Дванова читатель знает еще по первой части романа, печатавшейся под заглавием «Происхождение мастера». В многодетной семье его родителей какое-то время жил приемышем Саша (их фамилию он и носит), пока в голодный год его не выгнал из дома тот же маленький Прошка, уже тогда отличавшийся хитрым природным умом, жестоким оборотитым характером. Трудная жизнь отточила и эти его качества, усугубила корыстность и житейский цинизм, научив их умело скрывать. В Чевенгуре Прокофий воссел грамотеем и умником, «идеологическим» помощником при Чепурном. Его основное занятие — растолковывать дышащие

непонятным «высшим умом» циркуляры губерний, готовить из них резолюции и переводить смутное ощущение и «темное, неотвязное, безошибочное чувство» Чепурного в мысль, в лозунг к немедленному действию. «Прокофий, имевший все сочинения Карла Маркса для личного употребления, формулировал всю революцию, как хотел — в зависимости от настроения Клавдюши (единственной утехи в этом аскетическом городе. — *С. С.*) и объективной обстановки…»

Именно Прокофию принадлежит «гениальная» мысль оформить тотальное уничтожение «густой мелкой буржуазии», населявшей Чевенгур, «на основе второго пришествия». Дело в том, что город изначально был весьма своеобразен, его жители составились из волн осевших здесь в разное время странников. Превратившись в мирных обывателей, они объединялись одним: ежечасным ожиданием второго пришествия и конца света. Это — важная деталь в романе, смысл которой станет ясен далее. И тут мы подходим к страшному парадоксу, распялившему «идею» чевенгурского коммунизма: горя идеалом «душевного товарищества», всемирного братства, его адепты заключили тотальным разделением на «чистых» (пролетариев, босоту) и «нечистых» (буржуи, полубуржуи, разная «остатняя сволочь). Уже в этом пункте Платонов начинает ряд тонких аналогий. И богобоязненные коренные жители представляли «конец света» как заключительную сортировку людей на «овнов» и «козлищ» и окончательную выбраковку последних. Чепурный, решившись на грандиозное избиение всех чужих «младенцев», тех, что не рвутся обнять товарища и затихнуть в счастье полного душевного коммунизма, объясняется так:

«— Ты понимаешь, — это будет добрей! — уговаривал он Пиюсю.— Иначе, брат, весь народ помрет теперь на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к чему же буржуазия? Это прямо некрасиво».

И вышибается жизнь и душа из всех буржуев Чевенгура: выходит из пробитой головы «тихий пар» и проступает «наружу волос материнское сырое вещество, похожее на свечной воск». В тоске расставания с жизнью купец Щапов просит подержаться за человека, хватается за руку чекиста (как Саша Дванов за руку бандита)

и обнимает лопух. «Чекист понял и заволновался: с пулей внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — любили одно имущество».

Проектирование и созерцание схемы легко наполняет уверенностью и воодушевлением, но осуществление ее не дает сердечного комфорта. Внутри так решительно действующих героев ворочаются страх и сомнение, их душевная подпочва курится тоской. Взяли на себя такую громадную ответственность, самим — без всякой опоры, всякого обоснования — создавать себя, решать за людей, за весь мир. А обоснования, действительно, нет настоящего — все время подчеркивает Платонов. Маркс, в суровой бороде плакатов, — непонятный, чуждый бог Саваоф. Есть, правда, Ленин, но представление о вожде — какое-то детски сказочное, наивное и несколько «юродивое»: сидит «в далеком тайном месте где-то близ Москвы или на Валдайских горах», в чудном Кремле, пишет письмо Чепурному, чтобы он «сторожил коммунизм в Чевенгуре» и обещается в гости. Так что «Чепурный должен был опираться только на свое воодушевленное сердце и его трудной силой добывать будущее».

Вот ночь перед ожидаемым пришествием коммунизма, «сочельник коммунизма», как неслучайно выражается Платонов. Вроде все для него сделали, всех гадов перебили, имущество уничтожили, «голое место» готово, остались одни товарищи и ждут первое утро «нового века». По вере, коммунизм должен прийти как чудо, озарив все вокруг. Солнце и то должно ярче жечь. «Дави, — заклинает Пиюся, — чтобы из камней теперь росло». Но откуда такая тоска? Никто не спит. «Дождь к полночи перестал, и небо замерло от истощения. Грустная летняя тьма покрывала тихий и пустой, страшный Чевенгур». Все эти страницы «Чевенгура» читаются как художественное подтверждение сартровского анализа «тоски», произведенного через пятнадцать лет. Самоуправство человека, пытающегося предлагать и утверждать свою систему ценностей в мире, лишенном обоснования, ощущается человеком через особое чувство *тоски.* И стыда — добавляет Платонов. Чевенгурским большевикам «неловко и жутко», ими владеет «тревога неуверенности», «беззащитная печаль», «бессмысленный срам». (Сама эта метафизическая тревога и стыд

уже удостоверили бы для Сартра их глубинную «моральность», в отличие от «подлецов», самодовольно верящих в необходимость и обоснованность своих действий.)

В «Чевенгуре», а позднее в «Котловане», как нигде в других произведениях Платонова, густым, нерассеивающимся облаком стоит тоска обезбоженного мира, в котором на чисто людских началах пытаются устроить рай на земле. При всем неистовстве новой веры, при всех подвигах во имя ее — навылет пронзает та потерянность, заброшенность, которая обволакивает Предприятие и его деятелей («уединенное сиротство людей на земле»). Читая чевенгурскую утопию, где бедные, сирые и убогие прижались друг к другу в обожании товарища и служении ему, трудно отделаться от впечатления, что Платонов почти буквально разворачивает то видение будущего мира, отказавшегося от Бога, которое явилось Версилову в «Подростке» Достоевского. (Там звучат те же слова «великое сиротство» и далее: «Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют всё друг для друга»[16] и т. д.)

Чтобы «обнять в Чевенгуре всех мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни», Прокофий Дванов командируется на поиски чистейших пролетариев и приводит самых несчастных людей земли, даже не пролетариев, а «прочих», бездомных бродяг, без отца выросших, матерью брошенных в первый же час своей жизни. «Они нигде не жили, они бредут». Без всего можно обойтись — без отца и матери, без богатства и культуры, но без тела нет жизни. Как у народа джан из одноименной повести, у «прочих» единственное достояние — тело, они живут, «не ощущая ничего, кроме своих теплящихся внутренностей». Другие обволоклись семьей, классом, положением, а для этих мир — одно сопротивление, холод и одиночество. Натуральную участь человека они претерпевают в чистом виде. Когда Чепурный увидел массу «прочих» на холме при въезде в Чевенгур, почти голых, в грязных лохмотьях, покрывающих уже не тело, а какие-то его остатки, «истертые трудом и протравленные едким горем», ему кажется, что он не выживет от боли и жалости. Раз есть *такие,* нельзя быть счастливым. Сердце пронзается участью таких крайних бедняков

жизни и готово все отринуть, чтобы их прежде всего спасти. Ибо уровень благополучия мира должен измеряться по ним, а не тешиться средней цифрой, обманной и безнравственной.

«Прочие» как будто идеальный материал для монастыря товарищества, ибо «создали из себя упражнение в терпении и во внутренних средствах тела, сотворили… ум, полный любопытства и сомнения, быстрое чувство, способное променять вечное блаженство на однородного товарища». Вот и сгрудились малые, душу другого соделали своим главным занятием, а потом и богом. И вышла формула Фейербаха для мира, в котором умер Бог: «Человек человеку бог».

И запрет трудиться переступается, но только для того, чтобы все делать не для себя, а для товарища. Дванов, как когда-то молодой Платонов, занимается работами по искусственному орошению, чтобы сохранить от превратностей природы единственный капитал, своих товарищей, коллективное святое тело чевенгурского коммунизма. «Он хотел жить тише и беречь коммунизм без ущерба, в виде его первоначальных людей». Существование оправдывается, получает смысл от другого, каждый «запасся не менее как одним товарищем и считал его своим предметом», «своим таинственным благом». Доходят до того, что начинают делать друг другу памятники из глины, молитвенных идолов для излияния своего чувства любви и благоговения.

Имущество — главное зло, по принятой вере: собственников уничтожили, обнялись в проникновенной «классовой ласке», затихли в ожидании чуда, полного преображения всего мира. Ибо в коммунизме увидели высшую эсхатологическую идею, и как большинство христиан пассивно ждет разрешения конечных судеб мира, дня последнего, который неожиданно свалится на головы, так и чевенгурцы, псевдохристиане коммунизма. Платонов неуклонно подводит читателя к мысли, что революционные обитатели Чевенгура являют собой какую-то карикатуру на прежних правоверных жителей города. О последних в свое время было сказано, что они «ничем не занимаются, а лежа лежат и спят <…> сплошь ждут конца света». Лежат, ждут преображения всего мира, который должен наступить в коммунизме, и ревнители новой веры, впрочем, скорее перелицованной старой. «Теперь жди любого

блага, — объяснял всем Чепурный. — Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, — коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление!»

Но оказывается, что накал одной веры не может вызвать чуда, приостановить действие природных законов, отменить болезнь, горе, смерть. Яков Титыч, старейшина «прочих», болеет животом, мучается в бурьяне, «забыв обо всем, что ему было дорого и мило в обыкновенное время». По дороге в город его мучения по звукам обнаруживает Чепурный и тут понимает свои непереходимые пределы: «Проверив, Чепурный поехал дальше, уже убежденный, что больной человек — это равнодушный контрреволюционер; но этого мало — следовало решить, куда девать при коммунизме страдальцев». А когда Яков Титыч в конце романа чуть не кончается, весь чевенгурский райком — в полной растерянности и удручении от невозможности чем-нибудь ему помочь.

«Ты, Яков Титыч, живешь неорганизованно, — придумал причину болезни Чепурный. — Чего ты там брешешь? — обиделся Яков Титыч. — Организуй меня за туловище, раз так. Ты тут одни дома с мебелью тронул, а туловище как было, так и мучается». Так народный человек, лежа на смертном одре, указывает на сбившую с пути мелкость того «ученого» анализа зла, который приняли на веру чевенгурцы; дело не в имуществе, главное зло — в слепом, смертоносном природном законе, живущем и в «туловищах» людей. И сам Чепурный начинает это осознавать, но ему труднее Якова Титыча, его понимание сопровождается мучением: ведь на нем ответственность за просчет. «Чепурный чувствовал стыд больше других: он уже привык понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло стоимость, пролетарии прочно соединены, но туловища живут отдельно — и беспомощно поражаются мучением, в этом месте люди нисколько не соединены».

И наконец, последнее, роковое испытание: провал судорожной, гротескной попытки воскресить, хотя бы на мгновение, умершего ребенка одной из «прочих». «Пока Чепурный помогал мальчику пожить еще одну минуту, Копёнкин догадался, что в Чевенгуре нет никакого коммунизма — женщина только что принесла ребенка, а он умер <…> Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, това-

рищ Копёнкин, отсюда — вдаль». Радикальное «не то» оказалось в Чевенгуре, не удовлетворил он той веры, которую исповедовал этот метафизический поклонник Розы Люксембург (а с ним и Саша Дванов, и по существу, полубессознательно, все герои): веры в «недалекую страну социализма, где от дружеских сил человечества оживет и станет живою гражданкой Роза Люксембург», а за ней и все умершие, «последние угнетенные».

Разрушение Чевенгура каким-то странным вражеским отрядом — лишь внешнее выражение внутреннего его краха. Погибают все. В живых остаются только двое Двановых, Саша и Прокофий. Оседлав осиротевшую Пролетарскую Силу, направляется Саша туда, где «последний и кровный товарищ Дванова томится по нем», в воды озера Мутева к отцу. Только так может он пока утолить стыд неисполненного долга перед ним. Чевенгурское товарищество не сумело указать ему другого, действенного пути, забрело в тупик: коммунистическую идею напоило своими смутными эсхатологическими чаяниями, а они в нее не вмещались, да и сами чаяния — слепок с пассивно-христианской апокалиптики. Раз из труда выходили до сих пор только мануфактурные игрушки, разъединяющие людей, — то долой труд! Что новый преображенный порядок бытия «силою берется», упорным творческим трудом добытою властью над законами природного мира, над собственной животной природой, до этого чевенгурцы не довзрослели.

И да позволено будет предложить, что мистический шквал, начисто сносящий город и всех его жителей, мог мыслиться Платоновым, столь всегда глубоко проникавшим в федоровскую мысль, как Страшный суд, финальная катастрофа, которая неизбежно ждет человечество, если оно не придет в «разум истины», не созна́ет необходимость действенного трудового пересоздания природного порядка в иной, братский, бессмертный строй бытия (в романе Платонова: бессилие воскресить умершего «карается» всеобщей погибелью).

В самом финале романа Прокофий Дванов, один среди всего того имущества, которым он мечтал владеть безраздельно, плачет над ненужностью этого имущества теперь для себя. И как когда-то в далеком детстве Захар Павлович посылал маленького Прошку

на поиски сироты Саши Дванова, наградив за труды рублем, так и сейчас просит он Прокофия вернуть ему приемного сына. И самая последняя строчка: «Даром приведу, — пообещал Прокофий и пошел искать Дванова». Искать умершего, для чего? Открывается новая дорога, по которой надо найти всех умерших, погибших, умерщвленных — и вернуть их обратно, к преображенной жизни, из которой уже не может быть ухода.

«Чевенгур» — великий роман. Здесь весь Платонов в момент бесстрашной, трагической истины своей идеи. «Котлован» возник как пристройка, точнее, «приройка» к «Чевенгуру». Еще одна сгущенная парабола, еще одно вынесение на свет, рождение в слабую, мучающуюся жизнь русского душевного пейзажа. Персонажи повести погружены в «переломную» действительность. Чего стоит само время ее написания: декабрь 1929 — апрель 1930. Вспомним одну из фраз «Котлована»: «Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации». О всех ее нелепостях и преступных перегибах, больно отозвавшихся и тогда, и позже на народе, Платонов сказал в этой повести даже не по следу события, а одновременно с ним. Его способность создавать гротескно-абсурдную атмосферу здесь оказалась особенно впечатляющей. И об этой стороне произведения критика говорит и скажет еще немало.

В «Котловане» мы как будто снова встречаемся с тем же больным, наталкиваемся на признаки одного страдания, одной мании. Бедная, неизбывно греховная материальная жизнь, которая будто сознает свое недостоинство, несовершенство и стыдится его. Именно *стыд* — это разлитое по людям и по природе чувство — здесь особенно высказано Платоновым. «Вощев… увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья». Не просто стыд, а *тайный,* самый глубокий, тонкий, жгучий. Сгореть от стыда, вспыхнуть факелом очистительного самоуничтожения своего несовершенства — платоновский мир уже на пороге такого покаяния, внутренне готов к отказу от ветхой природы и принятию новой. Пока же он бесконечно мается и грустит, ему уже невмочь терпеть «предсмертную, равнодушную жизнь», произрастать на миг на земле, «набитой

костьми», в «общей всемирной невзрачности», дышать «воздухом ветхости и прощальной памяти».

Вощев — главный авторский человек в повести, как Дванов в романе. Вощева увольняют с производства «вследствие роста слабосильности и задумчивости среди общего темпа труда». Прибивается он строить котлован под дом будущего окончательного счастья. Через его сердце особенно пронзительно проходит мука от этого мира. Как можно просто жить, устраиваться прочно, сыто и утробе довольно, когда весь мир существует как собака «благодаря одному рождению», пропадает в «тоске тщетности», тлении и смерти?!

Как можно блаженствовать праведникам горé, в райских кущах, когда их подножия лижут языки адского пламени, прорезаются извивающимися тенями мучеников под вечный вопль, стон и скрежет зубовный? Такое низменное видение, которым с каким-то извращенным сладострастием педагога с хлыстом не перестают потрясать называющие себя христианами, невозможно для сердца, желающего всех спасти. В свое время Достоевский видел русскую идею — в самосознании нации, осуществленном через идеальное дворянство — как всемирное *боление за всех.* Платонов — в более глубинном, народном понимании — расширяет ее до всемирного *боления за всё.* Поразительная деталь, небывалая ни в какой литературе, странность и тик, за которыми величайшая из идей: Вощев не расстается с особым вещмешком, в который собирает забвенные «пустяки», «всякую несчастную мелочь природы». Так и носит с собой Вощев федоровский «музей» тленного, погибающего мира, «вещественные остатки потерянных людей». Пока хоть *сохранить* — движет им вещий инстинкт.

В «Котловане», как и в «Чевенгуре», с особенной пронзительностью — до вибрации последнего нерва — передана тоска, тоска смертного, обезбоженного мира. Обмануть эту тоску — исступленным трудом, неистовством работы. Строить и строить, авось да выйдет «хрустальный дворец». Платонов далеко не заходит в сюжетном развертывании своей утопии. Казалось так соблазнительно показать постройку новой Вавилонской башни, штурмующей небо окончательного счастья, этапы и крушения. В «Котловане» дело не доходит и до первого камня. Только все роют, роют

яму под фундамент. Яму, в которой будет похоронена сама идея. Котлован становится буквально могилой Насти, того светлого детского явления, в которое все угрюмые, тоскливые строители поверили как в воплощение грядущего. Вот она слезинка — трупик — младенца, который кладется в фундамент «хрустального дворца». А за этим трупиком — штабеля трупов вытесняемых поколений, идущих на перегной будущей гармонии. Тут — камень преткновения, который ни обойти, ни объехать. Никакой социальный рай невозможен на земле, пребудут тоска, тщета, несчастье жизни, пока преображение натуральной основы мира не станет «путем, истиной и жизнью» для всех.

И «Чевенгур», и «Котлован» кончаются мрачно, как будто безысходным тупиком идеи. Но это скорее тупик пока избранного и оказавшегося ложным пути. Ведь что становится последним словом «Чевенгура», где надежда? Дорога, открывающаяся впереди, выводит из саморазрушения Чевенгура. *Дорога* — высшая ценность в романе, в ней — преодоление себя, очищение, в ней — открытость, надежда на обретение новых средств и возможностей. Вот герои пытаются прочно, оседло устроить свою идею и тут больно ударяются о пределы возможного, тоскуют, стыдятся жалких результатов своей ретивости и все рвутся в путь. Только здесь сердцу легко. Есть среди чевенгурцев человек Луй, который для облегчения своей натуры — которой бы все в дорогу — служит «штатным пешеходом», ходячей пешей почтой. Утилизирует свою неистовую страсть. «…Луй убедился, что коммунизм должен быть непрерывным движением людей в даль земли. Он сколько раз говорил японцу, чтобы он объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с вечной оседлости».

В путь — зовет Платонов: «…а полусонный человек уезжал вперед, не видя звезд, которые светили над ним из густой высоты, из вечного, но уже достижимого будущего, из того тихого строя, где звезды двигались, как товарищи, — не слишком далеко, чтобы не забыть друг друга, не слишком близко, чтобы не слиться в одно и не потерять своей разницы и взаимного напрасного увлечения». В путь, к такому строю бытия, где каждая личность одна от другой «не слишком далеко» (нераздельность) и «не слишком близко» (неслиянность), к будущему звездному строю настоящего братства и любви.

Творчество Платонова все вышло из одной идеи, «идеи жизни», как он сам ее называл. Мы попытались понять эту идею и ее конкретный исток. Платонов не был ни чистым мыслителем, ни ученым. Неприятие ситуации «сиротства», порождаемой смертью, чаяние будущей встречи, работа над преображением страждущего природного мира в новый, бессмертный статус бытия — главные раскрытия его «идеи жизни».

Растет она из сердца, непререкаемых требований сердечного чувства. Это и стало собственно платоновской областью художественного исследования. Сила А. Платонова — в обнажении нелепости, «ненужности» смерти на таком первично-эмоциональном и вместе с тем глубоко нравственном уровне, о котором говорил А.М. Горький: «Потом я думаю, что когда-нибудь люди победят смерть. У меня нет иных оснований верить в победу над смертью, у меня только одно основание — вот умирает человек — и это так просто, так ненужно»[17].

Говорят об эмоциональном тоне речи, музыке прозы. Есть произведения, в которых звучит большой оркестр, разыгрывающий целую симфонию в сложном переплетении голосов, тем и их развитии. Платонов — писатель по преимуществу одной мелодии, одного тона. Звучит, томится жалейка; бесконечно варьируется мелодия печалования об умерших, увлекающаяся в своей тоске до чистого и высокого плача обо всем мире как «погибающем». «Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром» («Сокровенный человек»). Это та внутренняя музыка всех его произведений, которой нельзя не проникнуться, читая Платонова. Тоскующий, скорбный голос то звучит явственно, то даже в самых светлых вещах уходит в скрытый эмоциональный фон. Для доказательства надо переписывать Платонова страницу за страницей. Вот буквально одна из них — из рассказа «Офицер и солдат». Здесь отчетливо слышно, как автор ведет свою мелодию. «Была поздняя осень; день умирал быстро, и ночь наступала долгая, как смерть». Офицер Артемов вспоминает далекий дом, жену, троих детей, тихое раздумье при вечерней лампе, вокруг которой кружилась «безвестная бабочка <…>

кроткая жительница тихого ночного мира». Звучит привычная платоновская интонация тоскливого призыва вдаль, в пространство, в мир, бесследно поглощающий живые его создания: «Где она теперь, где лежит в земле ее легкий смертный прах, подобный чистому духу?» И следующая завершающая, скорбно патетическая фраза пассажа: «Над горизонтом поднялась бледная луна, почти невидимая от немого зарева дальних пожаров, словно безмолвный печальный образ в память всех мертвых».

Стиль речи Платонова — глубоко аналитический. Писатель не озабочен объективным переносом окружающего, природы или человека как они есть. У него *мысль о мире* формирует сам окружающий мир. Эта мысль рождается на глазах через рождение слова. У Платонова поразительная способность мыслить в самой фразе, словами, их сочетанием и столкновением. Мысль идет наикратчайшим путем, ярко и точно, как вспышкой молнии, сваривая любые слова, самые нужные, не обращая при этом внимания на необходимые логико-грамматические швы. «Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась ради радости вслед за затейником» («Фро»). Каждое предложение у Платонова — не фотография или образ кусочка мира, а именно *мысль* о мире, но мысль, *мучающаяся чувством.* Точнее, эта мысль еще не покинула «детского места» своего созревания, богатого кровеносными сосудами сердечного питания. Она не успела иссушиться головной средой ее обычной дальнейшей жизни.

Со всей силой своего душевного и художественного таланта Платонов разработал то основное *чувство,* которое питает мечту о бессмертии и воскрешении. Еще и еще раз ощутимо дать почувствовать смертный удел человека, сосредоточить на нем свое восприятие мира, не отвлекаясь в наслаждениях земли до ошалелого забвения самого себя. Увлечение только земным — при внутреннем согласии на данные природой пределы — становится той пеленой, которая скрывает фундаментальное несчастье, истину смерти. Платонов отказывается накидывать этот обманчивый покров: черви сосут человека изнутри, стоят гроба, в безумной тоске раскапываются могилы, жизнь тянется как медленная смертная агония. Если экзистенциалисты с их «помни о смерти» как должном камертоне каждого мгновения жизни остановились на инди-

видуальной, разобщенной тоске, конечном бессилии перед столь жестоким миром, то у Платонова звучит не только неприятие такого положения вещей, но и надежда на его преодоление. Там — болезненная судорога презрительной усмешки несущему смерть миру, здесь — плач и печалование и о человеке, и обо всем мире, как умирающем.

Если попытаться найти внутренний аргумент Платонова на законное сомнение: как же можно идти против природы и ее законов? — то он окажется исключительно сердечным, лишенным всякой логически-научной убедительности: *я не могу иначе, я хочу.* Но если вдуматься, это мощнейший аргумент, который в конечном итоге двигал человечеством в его трудном пути от первобытного, беспомощного состояния к современным чудесам его научного и технического могущества. Ведь, так сказать, первая «причина» самолета та же: я *не могу* только ползать по земле, *я хочу летать*!

Платонову был близок мир сказки и мир детства. В нашем представлении они неразделимы. Дети читают сказки, сказки написаны для детей. Но ведь сказки сочинили не дети, и, возможно, вначале вовсе не для детей. Сказка и дети связаны глубже. Они на самом деле написаны детьми, вернее, *детским чувством и детской логикой.* Сказки составлялись тогда, когда народные чувства и ум были еще детскими.

В сказки шел окружающий человека мир: природа, деревья, птицы, звери; персонажи и отношения человеческого общества: бедняки, цари, солдаты; причудливые порождения фантазии, одним словом — вся жизнь, ее заботы, радости, страхи и надежды. Сказки кишат конкретностью. Но главное в сказках — *нерв,* движущий всеми ее членами, *сердце,* несущее кровь ее смысла, *мозг,* оправдывающий ее существование, — одно: *реализация чаемого, осуществление мечты,* пусть самой невозможной и самой безумной. Я *хочу* — и это получаю. Хочу есть — к услугам скатерть-самобранка; хочу вмиг пересечь пространство земли — сапоги-скороходы; хочу летать — ковер-самолет; хочу красу-девицу — на тебе!

Условия: доброе, расположенное к миру сердце героя и ключи к разным тайным его замкам, отпирающие невозможное, чудесное, которые поочередно даруются герою самим этим миром в лице его существ и стихий.

В пространстве сказки воплощается принцип: *невозможного нет, все возможно,* принцип *детский,* не испуганный еще жестким сопротивлением мира, на которое напарывается взрослый. Но только преодоление этого испуга, взлет на крыльях мечты, чающей невозможного, и бросало человечество вперед.

В рассказах Платонова дети *хотят,* сильно и горячо, разбудить «спящих», вернуть умерших («Сухой хлеб»), превратить кратковременную встречу всего существующего, каким является сейчас жизнь, в вечное свидание, ликующий хоровод всего живущего и жившего. Детское чувство по-детски сказочно: я так хочу! так надо и хорошо! пусть будет так! Дети — провозвестники пришествия той великолепной страны невозможного, о которой А. Платонов писал так: «Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть. Невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души»[18].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Живя главной жизнью» (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках) // Волга. 1975. № 9. С. 166. (Републ.: А.П. Платонов — М.А. Платоновой. 26 января 1927 // Платонов А.П. «…Я прожил жизнь». Письма. 1920–1950 гг. С. 205).

[2] *Миндлин Э.Л.* Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний. М.: Советский писатель, 1968. С. 421.

[3] Здесь и далее курсив в цитатах мой. — *С. С.*

[4] Так, в Англии в 1982 году вышла книга А. Тески «Платонов и Федоров» (*Teskey A.* Platonov and Fyodorov. The Influence of Christian Philosophy on a Soviet Writer. Amsterdam, 1982). А вот как пишет М. Геллер: «С удивительным упорством, несмотря на все превратности, сохраняет Платонов “единство идеи”, свое мировоззрение, основу которого составляет философская система Николая Федорова» (*Геллер М.* Об Андрее Платонове // Платонов А. Чевенгур. Париж, 1972. С. 17.).

[5] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. 1. С. 278.

[6] Ср. у А. де Сент-Экзюпери, которому его профессия летчика открыла новую точку зрения на землю: «Да, конечно, самолет — машина, но притом какое орудие познания! Это он открыл нам истинное лицо земли…

Мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша — влажная и мягкая.

А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие… Только теперь, с высоты прямолинейного полета, *мы открываем истинную основу на-*

шей земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь» (*Сент-Экзюпери А., де.* Планета людей // *Сент-Экзюпери А., де.* Сочинения. М.: Художественная литература, 1964. С. 203–204.

[7] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. 1. С. 93.

[8] Федоров считал, что древними переселениями народов, их передвижением по пространству двигало глубокое, непроясненное стремление найти страну мертвых.

[9] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. 2. С. 369.

[10] Там же. С. 211.

[11] Там же. С. 369.

[12] *Платонов А.* Первый Иван. Заметки о техническом творчестве трудящихся людей // Октябрь. 1930. № 2. С. 166.

[13] Там же. С. 160.

[14] См. подробнее: *Семенова С.Г.* Преодоление трагедии: «Вечные вопросы» в литературе. М.: Советский писатель, 1989. С. 266–268.

[15] Главка о романе «Чевенгур» писалась С.Г. Семеновой в 1977 году. При ее создании она использовала первое издание «Чевенгура», выпущенное в 1972 году в Париже с предисловием М. Геллера. Текст в нем не включал начало романа, изданное Платоновым в 1929 году как повесть «Происхождение мастера», и начинался именно с оборванной фразы (примеч. А.Г. Гачевой).

[16] *Достоевский Ф.М.* Подросток // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 13. С. 378.

[17] *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. Т. 16. М.: Наука, 1973. С. 396.

[18] «Живя главной жизнью» (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках) // Волга. 1975. № 9. С. 16.

ФИЛОСОФСКИЙ АБРИС ТВОРЧЕСТВА ПЛАТОНОВА

Уникальность — качество художественного мира каждого выдающегося творца, но степень ее бывает разной. У Андрея Платонова она высочайшая, как у немногих гениальных новаторов в мысли и искусстве. Он не просто писатель с философскими интересами. Платонов обладал редким по цельности и убежденности мировоззрением, прямо связанным с традицией активно-эволюционной, космической мысли.

Обочинный, странный, поносимый и гонимый писатель при жизни, крупный своеобычный мастер на взгляд 1960–1970-х годов, в наши дни Платонов уже занял место классика русской литературы. Не так просто осознать весь объем художественного и идейного, критического и пророческого, гротескного и лирического *послания* писателя нам, его сегодняшним и будущим читателям. Многое для этого уже сделала исследовательская, критическая мысль, раскрывшая творческую биографию писателя, историю создания его главных произведений, эволюцию и заветные константы его творчества, эстетику и стилистику его художественного мира[1]. Наша задача лишь выявить некоторые постоянные *философские* составляющие этого мира, его глубинный мыслительный пафос. В случае с Платоновым можно говорить об особом мотивном мышлении, ярко запечатленном в его творчестве. Художественно-философский мотив — излюбленный, стяженно-поэтический способ выражения авторской мысли, различных сторон его мироощущения.

Наверное, самой верной ариадниной нитью в нашем очарованном блуждании среди поражающих и озадачивающих персонажей и речей, мотивов и образов платоновского мира может служить та «идея жизни», которую сам писатель считал как бы генетической программой всего своего творчества в многообразии его живых по-

бегов, больших и малых. И связана эта «идея жизни» с тем новым сознанием, стремящимся свести человечество с орбиты дурной бесконечности рождений, вытеснения и смерти, с тем онтологическим заданием преобразить природу мира и самого себя, которые ярко обнаружили себя и в активно-христианской мысли Н.Ф. Федорова и Вл. Соловьева, и в прометеистском варианте пролетарской идеологии. И к обеим традициям тесно причастен Платонов.

Творец предельно сознательный и аналитичный, Платонов сумел воплотить свои намерения, свои «однообразные» и «постоянные» идеалы (как он их сам называл) в глубинно-*клеточном* слое текста, не греша ни на йоту риторикой, даже самой утонченно-художественной. Можно сказать, что он мыслит в грамматике, передавая многомерный взгляд, парадоксальную, антиномичную логику, сверхумное видение неожиданным подбором и сочетанием слов, лексических и синтаксических конструкций, взрывающих норму, но разящих по смыслу. Этому способствовала и единственная в своем роде послереволюционная языковая ситуация, когда народное, «неученое» сознание (а носителем его и являются многие герои писателя), атакованное устрашающе «ученой», директивной, мнящей себя непогрешимой (так и воспринятой этим сознанием) идеологией-фразеологией, тем не менее не отключилось от *темного* сердечного питания, от забитых, вроде бы забытых, вековых душевных, нравственных представлений. На сшибке этих двух потоков и высекается искра авторской мысли и отношения. Платоновский текст искрится, блещет, буквально горит этой мыслью. Приведу только один пример. Даже один из самых замороченных персонажей «Котлована» Сафонов, со вкусом строящий из себя руководящее лицо, выражается о мужиках так: «Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов». Какие грамматически и стилистически вылизанные просторы понадобились бы для того, чтобы выразить то, для чего достаточно одной этой нечаянной проговорки: «осиротели от врагов»! Тут и подсознательная глубь отношения народа к тому братовытеснению и братоубийству, которое он сам же творит, и позиция автора, которую он таким же способом многократно являет и в «Чевенгуре», и в «Котловане», и в «Ювенильном море»,

и в других вещах конца 1920–1930-х годов. Только надо вполне серьезно отнестись к юродивым хохмам его персонажей, там — наглядная диагностическая вивисекция эпохи, идей, людей. Диалоги героев также дают россыпь важных для Платонова мыслей, представлений, задач, но само их то ли странно-юродивое, то ли детское облачение (последнее возобладало в позднем творчестве писателя) лишает их всякой рассудочности, хотя по сути они глубоко философичны.

Итак, где у Платонова искать его философию? Да в самой фразе, в определениях и сравнениях, в речах его персонажей, часто на первый взгляд полубредовых, в героях, сюжете и композиции, в упорно навязчивых мотивах. Причем именно эти мотивы концентрируют в себе философские заботы автора, его заветные убеждения, во многом созидают особую, удивляющую всех атмосферу его творений.

Человек у Платонова встает как перед лицом природы, своего натурального удела, так и перед миром межчеловеческим, социальным, находящимся в процессе бурного переустройства, участником которого является сам человек. Причем оба эти отношения глубинно связаны. В русской прозе XX века Платонов, может быть, единственный (как Заболоцкий в поэзии) привлек такое пристальное внимание к натурально-природной основе вещей, к самому онтологическому статусу человека и мира, который обычно полностью игнорируется во всяком историческом и общественном действии. Позднее этой проблемой по-своему занималась западная экзистенциалистская литература. Мы знаем представленный ею обезбоженный, непроницаемый и темный мир природы, в который заброшен смертный человек. Какие-то схожие обертоны встречаем и у Платонова, но совершенно в другой перспективе. В картинах природы его *философское* письмо особенно густо и непрерывно, каждая фраза, каждый поворот ее сочится смыслом, мировоззрением, тенденцией.

У Платонова есть взгляд на природу как на прекрасную картину и вечный, слаженный спектакль жизни, как на *собор* всего живого. Это одно. Но есть и другое: природа как *принцип существования*, открывающийся нравственному чувству и умному проникновению человека. Как принцип — это сила слепая, по-

жирающая, вытесняющая, воплощается она у Платонова в образе сосущего изнутри глиста или червя — могильной прорвы. Но сама эта природная сила, губящая человека в голоде, болезни и смерти, в себе самой как будто неуверенная и жалкая, как идущий без поводыря слепой. «Гада бестолковая!» — как *философски* поносит природу сокровенный народный человек Фома Пухов. Такая же ругательная энергия и в слове «стервец», каким Фома в сердцах награждает другую природную стихию — ветер, тут же выразив уверенность, «что и ветер со временем укротят посредством науки и техники» («Сокровенный человек», 1927). Отношение человека к природе у Платонова определяется именно тем, с каким из ее ликов он вступает в отношение. Это замечательно сжато показано на одной страничке «Сокровенного человека». Пухов гуляет босиком за городом в сияющий солнечный день. Он «чувствовал землю всей голой ногой <…> шагал почти со сладострастием. <…> Ветер тормошил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела <…> и Пухов шумел своей кровью от такого счастья». Случается и в других вещах Платонова, что природа вот так впускает человека в себя как на ласкающий праздник, ошеломляет контактом мгновенного свидания со всем живущим. Но это редко. А чаще всего, как у Пухова, который тут же вспоминает свою умершую жену, и сердцу его хотелось «жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность»: «В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханием землю, смачивая ее редкими неохотными каплями слез». Или вспомним то прозрение оборотной, жесткой, губящей стороны природы, которое касается падающей с горящим парашютом Москвы Честновой: «Вот какой ты, мир, на самом деле!» («Счастливая Москва», 1933–1936).

За прекрасным, благоуханным ликом природы, данной в мгновенном созерцании или переживании, встает лик томящейся, перемогающейся, «призрачной», «скучной» стихии. Писатель неутомим в обрисовке природного хода вещей, «счастливого на заре, но равнодушного и безотрадного впоследствии», «тоскливого действия природы», «пустой, поздней природы», «всемирной бедной скуки». Человек и мир в соответствии друг другу: и здесь, и там —

скука, тоска, работа сил разрушения, падения. То ли мир настраивается по человеку, то ли человек по миру, то ли, скорее, оба отражают один искаженный, *падший* модус бытия. Бедная, неизбывно греховная материальная жизнь будто смутно сознает несовершенство, недостоинство своего послегрехопадного статуса и стыдится его. «Вощев <…> увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья» («Котлован», 1929–1930). Не просто стыд, а *тайный*, самый глубокий, тонкий, жгучий. Сгореть от стыда, вспыхнуть факелом очистительного самоуничтожения своего несовершенства — платоновский мир уже на пороге такого покаяния, внутренне готов к отказу от ветхой природы и принятию новой. Пока же он бесконечно мается и грустит, ему уже невмочь терпеть «предсмертную, равнодушную жизнь», произрастать на миг в «общей всемирной невзрачности», на земле, «набитой костьми», где свежие трупы «перерабатываются почвой в удобрительную тучность», дышать «воздухом ветхости и прощальной памяти».

Конкретным, касающимся всего и всех выражением основного зла существующего порядка бытия является смерть. Мотив *умирания и смерти*, пожалуй, самый всепроникающий у Платонова. В его мире все умирает: люди, животные, растения, дома, машины, слова, краски, звуки. «Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку». Тут поразительно точное платоновское выражение: эта печать *замученности смертью* лежит на всем. И на мир смотрит человек, мучительно раненый смертью. «Созерцая озеро годами, рыбак думал об одном и том же — об интересе смерти» («Чевенгур», 1927–1928). И он добровольно отправляется в конце концов в его воды, чтобы разгадать тайну этого явления. Непостижимость перехода от чуда живой жизни к бездыханному телу притягивает, почти завораживает автора, заставляя его бесконечно представлять мгновение перехода от жизни к смерти. Тем, конечно, загадка не решается, но настойчиво ставится перед чувством и размышлением читателя. Молодой воронежский публицист в свои двадцать лет изъяснялся прямо: «Настоящей жизни на земле не было, и не скоро она будет. Была гибель, и мы рыли могилы и опускали туда брата, сестру и невесту» («Жизнь до конца» — I(2), с. 180). Но сколь изощренно

зрелый писатель внедряет свое мироощущение уже в саму *атомную* структуру образного текста! И тут для доказательства можно переписывать Платонова страница за страницей. «Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром» («Сокровенный человек») — это та внутренняя музыка его произведений, звучащая то явственно, то скрыто, в эмоциональном подтексте, которой нельзя не проникнуться, читая Платонова.

Тесно к мотиву смерти у Платонова примыкает мотив *скуки*. По частотности употребления слова «скука», «скучный», «скучно» в платоновском словаре — среди лидеров, тут писатель не боится повторяться и пестреть. «Всемирная бедная скука» разлита у него повсюду: в природе, которая «исполняла свою скуку», в «скучных стихиях», в «скучных» дождях, в пыли, что «так скучно лежит», «в скучной избушке» и «скучном голосе», в «скуке старости», выходящей при дыхании. «Надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в сердце». А вот образное сопряжение, дающее ключ к изобилию этих слов у Платонова. «Пустой свет Туркестанской равнины, скучной, как детская смерть». Скука — от смерти, от ее фатальной неизбежности, детская смерть вдвойне томит сердце своей нелепостью. Как ощущение запаха, вкуса, тепла, цвета, форм… — реакции человеческих рецепторов на явную, *физическую* реальность окружающего, так скука в произведениях писателя — тягостная *метафизическая* реакция человека на скрытый, темный, смертный лик мира. Это — метафизическое чувство, обличающее маяту, тягостность, недолжность падшего, смертного бытия. Но в реакции скуки есть некое безнадежное онтологическое самоопределение человека, всякой твари, вещи этого мира, словно покорно принимающих себя вечными жертвами дурной бесконечности смертного порядка, «пустоворотов бытия».

Плодотворная трансформация «скуки» в «грусть», «тоску», «печаль», «скорбь» обнаруживает уже другой уровень отношения к миру: неприятие существующего положения вещей и порыв к его преодолению. *Грустно* — значит, нехорошо так происходит, не должно так быть. В грусти и тоске — в отличие от скуки — выход за себя, начало движения, стремления к идеалу. Это очень важное для Платонова чувство, можно сказать, нравственное чувство, ко-

торое не ограничивается миром людей, зовет спасти все живое. «Хивинский осел глядел на Чагатаева знакомыми глазами и кричал по-скучному, беспрерывно, точно напоминая ему, что он должен освободить и спасти его» («Джан», 1934). «Мы тебя одну не оставим!» — говорит Чагатаев и черепахе… Все в природе как будто томится и ждет чего-то, ждет изменения своей участи. В ней — «печаль дремлющего разума», смутный порыв превзойти самое себя. Платонов пишет о «великом немом горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность» («Афродита»).

Единое мироощущение связывает разнообразные платоновские мотивы. Среди них и лейтмотив *сиротства*: большинство героев Платонова — буквальные сироты («сироты земного шара»). Все взрослые — или готовые, или потенциальные сироты, на пороге вечного разрыва с самыми близкими людьми. Здесь же — порывы *любви к матери*, как правило, уже покойной. Даже яростные преобразователи мира, скажем, в повести «Эфирный тракт» (1926–1927), разбухшие мозгом головастики, с иссушенным сердцем, терпя фиаско в своих проектах, в самые глухо-безотрадные часы и миги жизни пронзаются воспоминаниями о матери. «У Фаддея Кирилловича явилась еще страшная и неутомимая тоска по матери, хотя она умерла пятнадцать лет назад. Он ходил по комнате, вспоминал ее обувь в гробу, запах подола и молока, нежность глаз и всю милую детскую родину ее тела». Тоска по умершим родителям, загнанная в глубь души, прорывается в снах и внезапных воспоминаниях героев «Чевенгура» и других произведений Платонова. Эти воспоминания вызывают волну жалости, в которой всегда стыд за какой-то главный, не исполненный перед ними, вытесняемыми детьми, природным ходом вещей, долг. Собственно, из этого чувства, из желания искупить вину перед умершими родителями, из желания «невозможного», из чаяния новой встречи и возникает импульс их преобразовательной деятельности, их поисков путей воскрешения и бессмертия. И тут Платонов оказывается ближе к Н.Ф. Федорову, чем к В.С. Соловьеву. Если автор «Смысла любви» видел именно в половой любви, умеющей преодолеть эгоизм индивидуума, признав за другим, за любимым абсолютное значение, «основание всего дальнейшего совершенст-

вования», то Федоров такое основание усматривал тоже в любви, но не половой, а сыновней и дочерней. Действительно, любовь к родителям есть еще большее преодоление эгоизма, ибо не предполагает никакой материально-чувственной награды, как первая.

Тут же и мотив *странничества*, зова дали и пространства: туда, туда, «в глубь, в далекую страну», в путь-дорожку, «без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами» («Чевенгур»). В «сильной, грустной» мечте платоновских героев о таком скорбном странничестве как будто возрождается та наивная, *детская*, безутешная скорбь по унесенным смертью, которая в далекие, первоначальные времена направила легендарного Гильгамеша на поиски своего умершего друга Энкиду. По Федорову, в этом зове проступает архаичный пласт психики человечества, запечатленный в древних мифах о поисках «страны умерших» с целью их вызволения оттуда.

Самые странные и уникальные из мотивов произведений Платонова связаны с наиболее *безумными* его чаяниями, идущими от идей Федорова о борьбе со смертью и воскрешении умерших. Все в природе, в огромном космосе есть вещество, вещество, кочующее по существованиям. Что было когда-то человеком, превращается в землю, в прах, из него растут травы и деревья, из них делают разные вещи; вещи стареют, разрушаются, превращаясь в те бесполезные пустяки, скудные мелочи, к которым так странно привязано сердце в мире Платонова. Человек живет от рождения до смерти, «срабатывая вещество своего тела», «теряя в терпении и работе свое существо» («Джан»). Пыль, сор, прах, «темная ветхость измученного праха» — отработанное, последнее вещество, конечный пункт кочевья. У героев Платонова какая-то горькая нежность к этому праху: играть, пересыпать его в руках, ласкать мириады растертых в нем жизней, как то делает странная девочка Уля, бессознательно обладающая даром видеть оборотный, страшный, смертный лик жизни. Вот бродит по сухим, заброшенным полям Яков Титыч из «Чевенгура» и собирает забвенные остатки прошлых существований, тоскуя, что «все пропадает и расстается в прах». А Вощев из «Котлована» не расстается с особым вещмешком, собирая в него забвенные «пустяки», «всякую несчастную мелочь природы». Так и носит с собой Вощев федоровский *музей*

тленного, погибающего мира, «вещественные остатки потерянных людей». Пока хоть *сохранить* — движет им вещий инстинкт.

Мы привыкли к духовным формам представления дорогих умерших, душевной памяти о них. У Платонова поражает нежность к буквальным, телесным *остаткам* мертвых, какое-то исступленное стремление удержать нечто действительно, физически им принадлежавшее. «Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины» («Чевенгур»). И та же тема гроба и раскопанной могилы возникает в этом романе в связи с угрозой смерти Саши Дванова: «Перед Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб — прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу — если не живым, то целым для памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним». И что поразительно — у Платонова чувство любви оказывается сильнее отвращения перед миазмами тления: «У нее не могло быть отвращения к покойному; она даже боялась того, что скоро не ощутит его тления, когда он вовсе смешается с прахом. <…> Давай, мама, откопаем папу! — сказал сын матери. — Пусть он дома лежит» («Пустодушие»). Платоновская тоска по умершим не помирилась на красивой грусти призрачного образа, хранящегося в памяти. Через крайние эксцессы этой тоски — откопать папу! — в ней пробивается кажущееся безумным, но реальное чаяние. Только любовь к конкретной неповторимой личности в ее единстве духа, души и обязательно тела, забывшая «брезгливую осторожность», может руководить познанием мира в его смертных глубинах, делом действительного возвращения умерших к жизни.

Мотив уже собственно *научного воскрешения* проходит через все творчество писателя вплоть до военных и поздних детских рассказов. Зачинается он в ранних статьях и стихах воронежского мечтателя. Уже в стихах сборника «Голубая глубина» (1922) возникает мотив странничества как поисков ключей от тайн мира. Причем конечный прицел всеобщего подвига познания, гигантского космического труда — именно «пасть могилы». В балладе «Сын зем-

ли» герой направляется в дальний поход за возвращение к жизни умершей матери и братьев; написана баллада 7 ноября 1920 года, в годовщину Октябрьской революции. С этой даты начинается для молодого Платонова «всемирный подвиг человечества», включающий исполнение «надежд всех людей» преодолеть «великое немое горе вселенной», в которой царит слепой закон пожирания и смерти. До этого, рассуждает молодой Платонов в своих статьях, человек спасался от «страха за жизнь», от ужаса своего уничтожения двумя путями. Первый — развитие чувства пола, культ женщины, любви, продолжения себя в детях, — и так человек пытался найти «противо-смертное, хотя и условное, оружие». Второй — искусство, как выхлопной кран, куда уходила та же нестерпимая тоска смертной жизни. Но «пол работал на одном месте. Дело борьбы с великим врагом — смертью не подвигалось. Найдя благо в половом чувстве, люди окаменели». И искусство, являясь облегчающим для человеческого духа суррогатом истинного бессмертия, «тоже гарантия природы против неисполнения человеком ее требований и тоже наслаждение», как и пол. А наслаждение — та ловушка, в которую захлопывает человека природа, расслабляет и примиряет с собой. Революция для Платонова — порог того «царства сознания», которое должно преобразить человека: «Сознание победит и уничтожит пол и будет центром человека» («Культура пролетариата» — I(2), с. 99).

В ранней публицистике писателя мессией грядущего творческого активно-эволюционного этапа, носителем новой души, откуда будет вытеснен пол и воцарится сознание, становится пролетариат. Происходящая революция призвана начать коренной перелом самой натуры человека, который сравним по своей грандиозности с потрясением, внесенным в мир христианством. «Воцарение царства сознания на место теперешнего царства чувств — вот смысл приближающегося будущего. Искры мысли мы сольем в один сплошной огонь и сожжем им землю, зажжем космическую интеллектуальную революцию» («У начала царства сознания» — I(2), с. 143). Вот оно, яркое выражение прометеистской апокалиптики! Правда, то, что в христианстве является как последний этап эсхатологической катастрофы, предшествующей созданию «нового неба и новой земли»: сгорание этого греховного мира, падшего порядка вещей, — здесь мыслится как титаническое деяние людей: *сами устроим!*

Истинное чувство Платонова обнимает всех: «Человечество — одно дыхание, одно живое, теплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все» («Равенство в страдании» — I(2), с. 203). «Усиление», «обессмертивание своей жизни» как высшая цель предполагает расцвет и преображение каждой личности — в этом гуманный, вечно человеческий источник, который гармонизировал позицию Платонова на фоне культа машинизированного, роботизированного «мы», коллективного рабочего агрегата. Хотя и Платонов в эти годы доходил временами до повторения лозунгов Пролеткульта и «железного Гастева» (см. его статью «Нормализованный работник» (I(2), с. 131–132)). В этой статье — крайний уклон в мысли Платонова, находящийся во взрывном противоречии с глубинными чаяниями его Идеала. А когда в рассказе «Потомки солнца» («Сатана мысли»), 1922, во имя умножения мощи «беспощадного» сознания, пересоздающего порядок вещей, дело доходит до убийства сердца, «теплокровного божественного сердца», — тут уж самоубийственный для *идеи* предел: само дело теряет смысл, ведь его источным импульсом является как раз сердце, не приемлющее утрат, мира, где царит страдание, вытеснение, смерть. Добиться «невозможного», «какие бы пути ни вели к нему»! Платонов попадает в плен схемы, куда просачивается порочный дуализм цели и средств. А как можно идти против смерти, бороться за вечную жизнь, насилуя других и убивая свое сердце?! Высочайшая цель преображения мира корежится судорогой нетерпения, поддаваясь пароксизму отчаянного *скорее, лишь бы как*.

Вскоре сам Платонов увидит тут главную опасность. Уже в повести «Эфирный тракт» (1926) это становится очевидным. Здесь общество будущего уже сознательно стремится к прекрасному и великому «невозможному». Рядом с крематорием стоит Дом Воспоминаний, здание-сфероид, образ космического тела, с телескопической вышкой «в знак и угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, любимых у любящих — в надежду, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвращены к живым». Если в скоропалительной юности казалось, что жизнь, вселенная, человек быстро и послушно устроятся по разумному преобразовательному чертежу,

то время такого поистине легкомыслия прошло. Здесь инженер-агроном Исаак Матиссен, научившийся мыслью непосредственно влиять на материю, приступает к прямому воздействию на весь космос, но получает вместо желаемого «управления миром» катастрофические возмущения в действиях небесных сил и тел, что приводит — среди прочего — и к гибели главного героя Михаила Кирпичникова, другого искателя и преобразователя. Матиссен уже отчетливо осознает новую страшную власть — «власть ученых». Еще не разобрались они толком в строении мира, а уже рвутся действовать, крушить и переделывать — наскоком, неистово и исступленно. В отрывке середины 1920-х годов «О любви» писатель отходит от крайностей ранней публицистики, но остается верным своей глобальной идее развития человечества, высказывает мысли о роли сознания в эволюции, близкие утвердившемуся позднее ноосферному видению Вернадского. В этом отрывке Платонов уже настаивает: сначала надо исчерпывающе понять и исследовать, а потом преображать. Да и сам человек — сложнейший микрокосм, он родственен и большому космосу, и микромиру с их силами и энергиями, не говоря о психической и духовной его специфичности, — так что исследование должно идти в обе стороны: и вовне, в беспредельность мира, и в такую же глубину внутренней *вселенной* человека. А вот радикальное вмешательство в интимную жизнь вещества, в установившуюся природную и космическую взаимосвязь — при недостаточно полном овладении ее тайнами — может обернуться неожиданной, не исключено — глобальной катастрофой, — предупреждает Платонов судьбами своих героев-преобразователей из «Эфирного тракта».

Но это понимание нисколько не отменяет для писателя самого идеала победы над смертью и преображения мира. Еще в «Рассказе о многих интересных вещах» (1922) он изображает «Мастерскую прочной плоти», где идут опыты по достижению бессмертия, и главный идеолог и практик этих работ знакомит нас с новой наукой *антропотехникой*, которая научит всех трансформировать источную родотворную, эротическую энергию в мощности творческие, преобразующие: «Силою целомудрия перестройте и усильте сначала себя, чтобы перестроить затем мир». Молодой Платонов подключается здесь к древней традиции, искавшей пути

подобной трансмутации половой энергии, в той же надежде, что она приведет к преображению человека, достижению его бессмертия, невиданному усилению сознания: это в известной степени и Платон с его учением об Эросе как «стремлении к бессмертию», и христианские гностики, и китайские даосы, и восточные тантристы, и, наконец, уже близко к нам и к мысли самого Платонова, идеи «положительного целомудрия» Федорова и «смысла любви» Вл. Соловьева.

Трассирующим мотивом через все творчество Платонова идет чаяние воскрешения. Фома Пухов «находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость» («Сокровенный человек»). Делопроизводитель Жаренов, поэт, болеющий за все «дело мировое», поднимает заснувшего героя звучным призывом: «Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать» («Родина электричества»). Саша Дванов надеется, что чевенгурский коммунизм позволит ему исполнить завет и родного отца, данный ему во сне: «Делай что-нибудь в Чевенгуре: зачем же мы будем мертвыми лежать…», и приемного, наяву: «Сделай что-нибудь на свете, видишь, люди живут и погибают». И Саша уходит в Чевенгур, как раньше в революцию, чтобы разрешить загадку смерти и тогда вернуться за отцом. «Направо от дороги Дванова, на размытом оползшем кургане, лежал деревенский погост. Верно стояли бедные кресты, обветшавшие от действия ветра и вод. Они напоминали живым, бредущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Дванов поднял крестам свою руку, чтобы они передали его сочувствие мертвым в могилы». «Подавленный скорбью устройства человеческого тела» хирург Самбикин из романа «Счастливая Москва» одержим идеей и практической задачей бессмертия. Работая с трупами, он обнаружил на срезах некоторых органов (прежде всего сердца и мозга) следы некоего таинственного вещества особой жизненной силы, которое, как он полагает, организм хранит про запас с младенчества и выделяет как «последний заряд жизни» в момент смерти, но, увы, уже как «безуспешный выстрел» внутри умирающего. Найти источник этой девственной и могущественной «младенческой влаги», выделить ее из трупа и этой «творящей

силой» омолодить и обессмертить еще живущих — такова суть его открытия, с которого маниакально не сходит его ум и опыт.

Первоначальный вид его идеи поражает характерным извращением: речь идет о том, чтобы «превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых». В таком сугубо гротескно-физиологическом виде повторяется логика, в которой живет ветхий природный мир (против которого ведь и ополчаются герои Платонова), «питающийся» прахом умерших, использующий их жизни и достижения как подножие для своего возвышения. Какие-то истинные понимания и высокие дерзания Самбикина подспудно искажаются полем ценностей революционного, классового времени, отношением к прошлому и когда-либо жившим как к материалу и удобрению для будущего. Но интересно, что именно сердце хирурга, пронзенное смертью оперированного им мальчика, производит затем существенную коррекцию своей идеи: он понял, что исследуемое им жизненное вещество, «неистраченный заряд живой энергии» надо попытаться направить на восстановление самих умерших («мертвыми оживлять мертвых»).

О мотиве раскопанной могилы, за которым стоит любовь к мертвому телу дорогого человека, уже писалось выше. Однако эта любовь имеет у Платонова совершенно особое, вовсе не некрофилическое склонение в его обычном сексопатологическом понимании и связана всегда, бессознательно или сознательно, с анастатическим импульсом, т. е. с потребностью в восстановлении умершего. Так что и шокирующе-гротескное желание Самбикина «жениться» на мертвой девушке, которую он анатомирует в поисках следов оживляющего вещества, смотрится в истинном своем смысле именно в перспективе его воскресительных поисков. Надо учесть капитальный факт: некрофилия движима импульсом к разрушению и смерти, а тот же Самбикин — к воскрешению, к преображению человеческого тела.

И разве всякое любовное, сострадательное внимание к трупу является признаком некрофилии? Вспомним — при всех понятных бесконечных дистанциях и пропорциях — высочайший Богочеловеческий образец: слезы и скорбь Христа при виде уже засмердевшего Лазаря, прежде чем Он совершил Свое воскресительное Дело Дел из чреды тех Его дел оздоровления природно-смертного по-

рядка бытия, о которых Он говорил: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14, 12), явив их тем самым как задание вставшему на путь обожения человечеству. Правда, в случае с платоновскими преобразователями тут вся и загвоздка; у Христа сказано: «верующий в Меня», т. е. действующий в потоках Божественной благодати, в соработничестве с Богом, а тут Божественная инстанция вовсе выпала (точнее, была выбита из сознания научением эпохи) — отсюда то скучное томление, тот тоскливо-безнадежный фон богооставленности, бытийственной безосновности, почти экзистенциальной заброшенности и абсурдности, на котором взмывают и опадают онтологические дерзания героев.

И в «Чевенгуре», и в «Котловане» густым, нерассеивающимся облаком стоит тоска обезбоженного мира, в котором на чисто людских основаниях пытаются устроить рай на земле. При всем неистовстве новой веры, при всех подвигах во имя ее — навылет пронзает та потерянность, заброшенность, которая обволакивает Предприятие и его деятелей («уединенное сиротство людей на земле»). Читая чевенгурскую утопию, где бедные, сирые и убогие прижались друг к другу в обожании товарища и служении ему, трудно отделаться от впечатления, что Платонов почти буквально разворачивает то видение будущего мира, отказавшегося от Бога, которое явилось Версилову в «Подростке» Достоевского. Там звучат те же слова «великое сиротство» и далее: «Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга…»[2].

В чевенгурской эпопее осуществился корежащий стык глубинных сердечных чаяний его героев и новой, принятой на веру идеологии, замешенной на тотальном разделении и ненависти. В наученной логике чевенгурских преобразователей вся вина за несовершенство бытия лежит на буржуях, кулаках и разной «остаточной сволочи». Дерзкие проекты овладения миром сводятся потому лишь к их истреблению, а уж затем, вне всякого сомнения, необходимо наступит внезапное преображение мира, и избавленная от эксплуатации природа станет другом человеку, сознательной работницей на коммунизм. «Пора нам всем великолепно

жировать. Долой земные бедные труды, Земля задаром даст нам пропитанье» — увлеченно декламирует Пашинцев. Аналитическая мысль Платонова работает на постоянных гротесках, использует аналогии предельные, апокалиптические. Чевенгурцы берут на себя прерогативу «страшного суда»: буржуев ссылают в геенну огненную вечных мук и вечной смерти (даже душу им прострелили, чтоб наверняка), а пролетариату декретивно объявляют коммунистический рай, где те будут покоиться без труда и забот в непрерывном «обожании товарища» (некоторая параллель с немудрящими представлениями о «блаженной» жизни для избранных христианского рая).

Вот они в своей обители душевного равенства, монастыре абсолютного товарищества обнялись в проникновенной «классовой ласке» и затихли в ночь перед ожидаемым пришествием коммунизма, чудесного и мгновенного преображения мира. Ибо в коммунизме увидели высшую эсхатологическую идею. И как большинство христиан пассивно ждет разрешения конечных судеб мира, дня последнего, так и чевенгурцы, псевдохристиане коммунизма. «Теперь жди любого блага, — объяснял всем их глава Чепурный. — Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, — коммунизм дело не шуточное, он же светопреставление».

Но чуда не наступает. Натуральная основа жизни, природный ход вещей не могут быть ни отменены волевым субъективным актом, ни внезапно преобразиться в лучах магической апокалиптики. Постепенно бессилие чевенгурского коммунизма перед естественными бедами начинает нагнетаться в романе. Заболевает Яков Титыч, старик из «прочих», их ум и совесть, упрекает Чепурного: «Ты тут одни дома с мебелью тронул, а туловище, как было, так и мучается». Не получилось в «Чевенгуре» и «отживевших детей». Умирает больной ребенок. Мать его безумно тоскует и молит, чтобы он хоть на минуточку еще ожил и взглянул на нее. И начинаются страшные манипуляции Чепурного над трупиком, яростные, тщетные попытки совершить чудо как подтверждение коммунизма. Коммунизм, осуществление высшего блага, — и вдруг смерть?! «Какой же это коммунизм? — окончательно усомнился Копёнкин и вышел на двор, покрытый сырой ночью. — От него ребенок ни

разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копёнкин, отсюда — вдаль».

Вот тут, со смертью ребенка, и пришел конец чевенгурскому коммунизму, а нападение каких-то непонятных врагов — завершение этого конца. Погибают все, остается Саша Дванов, отправляется в последний путь к озеру, где утопился его отец, где хранятся его последние остатки, «его кости, его живые вещества тела, тлен его взмокавшей рубашки», «теплеющий след существования отца». И в этот след, в расстелившуюся волну уходит Саша. Другого пути воссоединения с отцом, реального, живого не открыл ему чевенгурский коммунизм, что забрел не туда. Раз из труда до сих пор выходили только мануфактурные игрушки, разъединяющие людей, — то долой труд! И не дошли чевенгурцы до мысли, что труд можно оборотить на самое смерть, на стихийные силы, на пересоздание себя и мира.

В «Котловане», как и в «Чевенгуре», с особенной пронзительностью — до вибрации последнего нерва — передана тоска смертного, обезбоженного мира. Обмануть эту тоску тут же пытаются исступленным трудом, неистовством работы. Строить и строить, авось да выйдет «хрустальный дворец». Забываясь в своих планах и работе, они терзаются сомнениями: «Неужели внутри всего света тоска, а только в нас пятилетний план?» Потому-то так гнетуща, томительно-мрачна атмосфера этой повести. А как же может быть иначе, если даже сам проектант Дома, куда должен войти на вечное поселение пролетариат города (а в его воображении уже встает и башня общемирового счастья посреди земли), сам страдает от той же общей «тоски тщетности», пуст, одинок и готовит себе самоубийство. Вот такими контрастами, неожиданными движениями в сюжете, а не только мотивами и образами мыслит Платонов. Писатель далеко не заходит в сюжетном развертывании своей утопии. Казалось так соблазнительно показать постройку новой Вавилонской башни, штурмующей небо окончательного счастья, этапы и крушения. В «Котловане» дело не доходит и до первого камня. Только все роют яму под фундамент. Яму, в которой будет похоронена сама идея. Котлован становится буквально могилой Насти, того светлого детского явления, в которое угрюмые тоскли-

вые строители поверили как в воплощение грядущего. Вот она, слезинка — трупик — младенца, который кладется в фундамент «хрустального дворца». А за этим трупиком — штабеля трупов вытесняемых поколений, идущих на перегной будущей гармонии. Тут — камень преткновения, который ни обойти, ни объехать. Сюжетно роковым испытанием для Предприятия чевенгурцев стала смерть ребенка. И здесь тот же ход: детский трупик в фундаменте стройки отравляет самые источники веры в возможность построения «рая на земле», если не будет отменен закон вытеснения и смерти. Так и пребудут тоска, тщета, несчастье жизни, пока преображение натуральной основы мира не станет «путем, истиной и жизнью» для всех.

Понять тип платоновских героев можно, если учитывать не только социальный пласт их образов, будь то «неистовые ревнители» эпохи военного коммунизма или коллективизации, техники-изобретатели первых пятилеток, но и сокровенное ядро «душевных бедняков» (тип федоровских «неученых»), мучающихся чувством. Попав в мощное силовое поле идей своего времени, его задач и дел, они привносят в него свои полусознательные сердечные стремления и сами этим полем деформируются. В результате создается абсурдный конгломерат, когда, с одной стороны, жаждут братства и преображения Земли, а с другой — приравнивают к обезьянам, подлежащим уничтожению огнем пролетарской селекции целые классы и группы; готовы и скот распустить по природе, подтянуть меньшую тварь до человека (как в поэтических мечтаниях Заболоцкого) и вместе — устраивают зловеще-комфортабельное «фашистское» убойное стойло для того же скота, тоскуют по умершим и высчитывают, сколько полезных химических продуктов можно получить из утилизированного трупа возлюбленной.

На таких сгущенных гротесках работает аналитическая мысль писателя в его вершинных творениях 1920 — начала 1930-х годов. Нелепая смесь идеалов и суррогатов, душевного света и темного невежества, наскоро оснащенного и запутанного лозунговым примитивом («*терниями*» — *терминами*), чистоты сердечного чаяния и идейной замороченности определяет и характеризует в разной степени его героев и их эпоху. Сатира Платонова облекается в форму фантасмагории, даже иногда какого-то театра абсурда

с марионеточными персонажами-идеями. В «Ювенильном море» (1931–1932) старушка Федератовна, боец против стихий природы и классового врага, не спит: такой «по всей республике громовень, стуковень» идет, стоит густой чад трудового энтузиазма, а она, словно ведьма какая, всю Федерацию слышит и восчувствует, как свою избушку на курьих ножках. Главный герой повести инженер-электрик Николай Вермо — из породы излюбленных автором искателей и преобразователей, но тайна его фанатичной устремленности все переделывать та же: «лишь бы занять сердце бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца», приходящего в «отчаяние от тоскливого действия природы», от «густого бреда» смертного существования. Но, утоляя сердце непрерывным переустройством мировой наличности, *головой* он словно забывает о самом ценном, о том, о чем страдает его душа. Он в плену идеала времени — даешь немедленную пользу! — при забвении, для кого конкретно и эта польза, и техника, что «решает все». Да и в свои отношения с явлениями и предметами физического мира он вносит понятия другого — социального круга, заряженного в это время электричеством противостояния и насилия. Мстительную ярость чуть ли не классовой борьбы, или, как выражается сам Вермо, борьбы «диалектических сущностей техники и природы», прилагает он к своим разметкам судеб всего окружающего, стихий, существ и вещей.

В «Ювенильном море» прослеживаются психические процессы эпохи, давление тотальной подозрительности, доводящей до того, что «невыясненный» человек сам начинает в себе сомневаться, кто он такой и существует ли вообще. Созидается железная империя бюрократизма, в которой на вечное поселение устраиваются уже не люди, а бумаги, а с ними разыгрываются запутанные и почти «мистические» истории.

В «Ювенильном море» к излюбленным платоновским «скуке» и «тоске» добавляются «бред» и «бредовый», побивающие здесь рекорды словоупотребления. «Классовая ласка» чевенгурцев, устроителей «душевного коммунизма», обнявшихся в обожании товарища, здесь, где провозглашается уже «механический большевизм», доходит до пародийного градуса: Босталоева, доставая гвозди, все обнимается с ответственными работниками, а был

случай, абортом расплатилась за кровельное железо. (В эпопее с гвоздями блистательно нагнетается бред «планового» руководства отсутствующими материальными ценностями.) Дикая замороченность тяготит сознание: директор леспромхоза давит в себе умиротворяющее чувство к природе, заподозрив в этом «натурфилософию, мировоззрение кулака, а не диалектику».

Герои «Чевенгура» и «Котлована», творя «из лучших побуждений» свои дикие и нелепые дела, тем не менее охвачены постоянным чувством *тоски* и *стыда*: это «тревога неуверенности», «беззащитная печаль», «душная, сухая тревога», «бессмысленный срам», «жжение стыда», «стыд и страх перед наступающим коммунизмом». Тут писатель неистощим, как всегда, когда хочет нечто вбить в душу и сознание читателя. Кстати, этот настойчивый эмоциональный мотив для философски образованного читателя воспринимается как удивительное художественное подтверждение анализа «тоски», произведенного Ж.П. Сартром через пятнадцать лет. Самоуправство человека, пытающегося предлагать и утверждать свою систему ценностей и учреждений в мире, лишенном высшего обоснования, ощущается человеком через особое чувство тоски. И стыда — добавляет Платонов. Причем сами эти метафизические тревога и стыд героев уже удостоверили бы для французского философа их глубинную *моральность* в отличие от «подлецов», самодовольно верящих в необходимость и обоснованность своих действий.

В «Ювенильном море» этот стыд, удостоверяющий какое-то творимое *не то*, пропал. Так же как пропали и сны, когда, на время «прекратив свои убеждения», герои уходили в детство, на родину своих самых затаенных воспоминаний и чаяний. И это был дурной симптом. Круто пошедшая эпоха не оставляла надежд многим элементарно-человеческим требованиям, не говоря уже о каком-то осознании онтологических задач. «Регуляция природы», имевшая в виду новый, сознательно направляемый этап эволюции, одухотворение природы, обернулась насилием над ней, всякого рода проектами ее технизированного покорения, которыми до абсурда кишит голова Николая Вермо; «братотворение» — неистовством все усиливающейся классовой борьбы (согласно верховной теории). Свет разумного и свободного развития, которого так не

хватало *душевным* чевенгурцам, так и не воссиял, а сталинские «Вопросы ленинизма» утвердились альфой и омегой знания и понимания.

А какой знаменательный перепад начал и концов романа «Счастливая Москва», имеющий отношение и к метафизике удела человеческого, и к ценностному освидетельствованию эпохи! Начальный энтузиазм, планы и дела — пробивалась радостная, подъемная нота: молодые строители страны, непочатая энергия преобразования, мечты, взгляд вдаль, *все сможем*! Даже завоевать «воздушную страну бессмертия», где человек станет крылатым, «а земля останется в наследство животным», — как о том мечтает один из участников комсомольской ассамблеи, самолетный конструктор Мульдбауэр. Затем идет все большее вторжение и внешне смертоносных, и внутренне иррациональных сил, разворачивается процесс избывания себя, ухода от активной деятельности, разочарования, упадка. Все персонажи романа приходят к той или иной форме своего *умаления* и *падения*: великолепная, неотразимая Москва Честнова, став калекой, пройдя унижения и разочарования, вообще куда-то исчезает, хирург Самбикин замирает в столбняке своей идеи-фикс, «полной задумчивости по поводу всех важнейших задач человечества», эсперантист Божко, энтузиаст весоизмерительного дела, женится на хорошенькой мещаночке, а гениальный изобретатель, инженер Семен Сарториус, почти на пороге мировой славы, сначала уходит с видной авансцены в скромный служебный угол, а к концу романа и вовсе перевоплощается в чужую тусклую судьбу и имя.

Мотив выхода в другого, солидарности с участью самого маленького, забвенного человечка организует сюжет финальной главы романа. По содержательному наполнению этот мотив непрост, намешано в него много: и столь важный в свете соборных чаяний преображенного мира импульс выхода в ты-бытие, восчувствие другого как самого себя, но вместе — в радикальном варианте Сарториуса — бегство от себя, желание спрятаться от своей экзистенциально-смертной трагедии, от собственной задачи, и элемент личной, проигрываемой на персонаже, платоновской психотерапии в годы, когда, возможно, безопаснее всего было исчезнуть и пропасть в какого-нибудь Груняхина, как его герой.

Довольно зловещий подтекст — огромной тенью бдительного Командора — сквозит как раз в том месте и моменте, когда бывший великий изобретатель воображает, в кого бы ему нырнуть, в кого перевоплотиться: «Улыбающийся, скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются». Но все же самый глубинный метафизический смысл этого мотива обнаруживается в сцене посещения Сарториусом Крестовского рынка для покупки себе нового паспорта, в сцене, вылившейся в целый гротескно-лирический этюд. Писатель представляет барахолку как последний жалкий сток ушедших в неразличимость человеческих существований, что оставили после себя лишь разрозненные, прошедшие через множество рук вещи. В системе воскресительного и жизнетворческого идеала писателя уход блестящего Сарториуса в ничтожного «работника прилавка» Ивана Груняхина несет в себе элемент внутреннего бунта, подсознательно осуществляемого героем романа, против единственно пока принятого и почитаемого идеала культурного бессмертия, выносящего из забвения лишь немногих выдающихся и избранных (на что имел полный шанс обласканный страной инженер-изобретатель). Удивительный порыв — взять и соскочить с поезда своей жизни, может быть, мчащего тебя к славе, к избранной судьбе, на каком-нибудь заброшенном полустанке и кануть там бесследно — этот порыв с постоянством возникает в творчестве Платонова. Такую пронзительную боль рождает и в Саше Дванове людская разъединенность в мире, что душа его тоже готова разделить участь каждой пропадающей забвенной пылинки человеческой: «пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни».

В состоянии добровольного самоуничижения, философской аскезы, в обличии самого скудного и безрадостного человеческого существования и оставляет Платонов своего героя в открытом финале «Счастливой Москвы», где Сарториус-Груняхин становится нечаянным мужем раздавленной жизнью, ожесточенной, немолодой женщины. В таком *нисхождении* в незначительность, почти анонимность этого, пожалуй, тут самого близкого Платонову героя не только вырисовывается отчетливая кенотическая линия отречения от существования для себя, но и торжествует любовь-

жалость, любовь-жертва, любовь-агапэ. Это, воистину, любовь уже не к дальнему, а к ближнему, причем к ближнему, по существу, в христианском смысле этого слова, т. е. ко всякому нуждающемуся в нашем отклике, внимании, заботе, кто бы и откуда бы он ни был (вовсе не обязательно родной вам и близкий по крови, духу или просто симпатичный вам человек).

Вспомним рассказ Платонова 1930-х годов «Юшка», где герой несет не только отдельному человеку, а целому маленькому социуму, такую же любовь-агапэ. Но если Юшка — чистый тип платоновского «душевного бедняка», чуть ли не христианского юродивого, то Сарториус до своего экзистенциального опыта переселения в другого человека принадлежал к категории героя-искателя и преобразователя. С ним произошла любопытная мутация: из искателя в «душевного бедняка». И этот сдвиг весьма характерен для творчества Платонова этого времени. Он касается и темы любви: от любви к дальнему, тесно связанной с любовью к будущему и преобразовательным эросом, — к любви к ближнему, к идее прироста хотя бы малого, но непосредственно ощутимого другим добра и света.

Прежде чем переходить к некоторой мировоззренческой коррекции Платонова в 1930-е годы, хотелось бы отметить одну удивительную вещь. Мы не знаем, был ли писатель человеком верующим, христианином в догматическом смысле этого слова. Скорее всего нет. Его эпоха отвергла религию, говоря словами его героя, как «предрассудок Карла Маркса и народный самогон». Но при этом сама его душевная структура, запечатленная в творчестве, оказывается поразительно близкой к тому, что называется христианским сердцем, христианской юродивостью и даже святостью. К Платонову и его героям, выразителям русской народной души, особенно приложима мысль Вальтера Шубарта: «В противоположность прометеевскому человеку *русский* носит в себе христианские добродетели как постоянные национальные черты. Не будет преувеличением говорить о врожденном христианстве русской, а может быть, даже и славянской души.

Русские были христианами до того, как приняли христианство. Они были христианами без Христа»[3] (остается лишь добавить — и оставались таковыми, даже отказавшись от Него в революцию).

В случае с Платоновым я имею в виду и тип отношения к миру и человеку, и особую реактивность на зло прежде всего. Из житийной литературы известны истории про то, как святые и дают себя спокойно убить, жалея своих убийц и молясь за них, и бегут за грабителями, предлагая им незамеченную и неотнятую вещь. Саша Дванов любяще прощается с собственным убийцей, бандитом Никитком, и помогает ему себя раздеть: «Рука была большая и горячая (рука убийцы. — *С. С.*). Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающуюся ладонь. <…> Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого действительно без порчи платья не разденешь». Какие низины жестокости и никакой ненависти! Рука, убивающая тебя и готовая надругаться, становится последним теплым прощанием с людской родиной, рукой бедного брата по этой жизни, ее путанице, несчастью, искореженности… Здесь же и неприятие идеи избирательности, невсеобщности спасения. Как можно блаженствовать праведникам горé, в райских кущах, когда их подножия лижут языки адского пламени, прорезываются тенями отверженных братьев под вечный вопль, стон и скрежет зубовный! Неужели еще и созерцать их страдания, наслаждаясь своей безгрешностью и праведной злобой, как то предлагал Тертуллиан? Разве возможен садизм в Царствии Небесном? Кстати, у самых чутких христианских душ, отмеченных особой праведностью подвижников, можно сказать, заработавших себе райское блаженство, неоднократно встречается желание отказаться от будущего спасения и разделить участь прóклятых братьев, раз таковые будут. Боление *за все* и *за всех*, которым мучаются сокровенные платоновские герои, из этого круга переживаний и идей.

Вот еще признаки этого родства: тут и переживание мира как «падшего», неистинного, недолжного, и печалование о таком порядке вещей, и его «душевные бедняки», воистину христианские «нищие духом», глубоко ощущающие фундаментальную онтологическую *бедность* смертного человека, «всеобщую наследственную нищету», говоря словами свт. Филарета Московского. Оттого они как будто стремятся содрать все обычно маскирующие эту *нищету* покровы: уйти с видного места в самую жалкую участь, не заботящуюся о красоте одежды или жилища, а во внутреннем

самоощущении редуцироваться до «однообразного тела», единственной бренной и временной собственности, и тем самым явить наиболее точно, без всяких иллюзий и прикрас, самую суть нашего *заимствованного*, преходящего, бесследного бытия. И это поразительное самоощущение скучного послегрехопадного статуса бытия у Платонова глубоко и абсолютно серьезно, отнять его у него нельзя, и как ни дистанцировать его героев от него самого (что неверно, если делается радикально), их навязчивые идеи, их преобразовательные порывы не отбросить как сплошную нелепицу; да, они могут искажаться ценностями эпохи, могут быть замутнены, могут принять нелепо-гротескную форму, но импульс, ими движущий, для самого писателя абсолютно законен и истинен.

Христос, как мы знаем, указал на детское чувство и отношение к окружающему как на пример и путь в Царствие Небесное бессмертного, преображенного бытия. «Будьте как дети» — детское чувство становится у Платонова образцом и критерием для всех. Чувством ребенок не приемлет (конечно, вовсе не формулируя этого) основной способ природного самоосуществления: смерть отдельного индивида; для ребенка этот индивид не далек и не абстрактен: это мать, отец, брат, весь мир, в котором все тети и дяди (а ведь это имена родных). Дети — естественные носители родственных отношений, расширяемых на весь живой мир. Дети у Платонова трепетно дрожат за жизнь близких, мамы прежде всего; они готовы, так же как мальчик Вася из рассказа «Корова», махать вслед проходящим и проезжающим людям со страстным призывом «не умирай!». И как маленький Егор из «Железной старухи», они любят как родных каждую былинку и цветок, жучка и бабочку. Юшка из одноименного рассказа сохранил в неприкосновенности детское чувство; у него переживание сиротства распространено на всякую тварь: он буквально каждую минуту сиротеет все больше и больше от каждой индивидуальной гибели в природе. Те задатки индивидуального лица, которые есть во всех тварях природы (о чем, как мы помним, писал тонкий ее наблюдатель и философ Пришвин), платоновские дети — в своем родственном чувстве, своеобразном щедром предвосхищении — поднимают до уровня личности, уникального «я», будь то корова или жук, цветок или лопух. Нисколько не мудря и не рассуждая, а чувствуя и любя, дети — в своем добром

сказочном пространстве — становятся провозвестниками личности как высшей ценности бытия. Именно в детской душе рождается и горячая, рыцарская воля к действию — сразиться со смертью, «железной старухой», губящей людей.

И еще одно: его герои-преобразователи, эти атеисты и поклонники новой системы, как ни странно, оказываются удивительно близки религиозно-философской критике социалистического идеала, преодолевая (по-своему, в своем душевно-юродивом размышлении) то, в чем она упрекала этот идеал, а именно — в мелком, чисто социологическом диагнозе зла в человеке. Социализм для героев Платонова оправдан лишь тем, сумеет ли он не только устроить на более разумных, управляемых началах социальный мир или даже стихийно-природный (в смысле горьковского «права на погоду»), а прежде всего отрегулировать скорбное, жалкое, самоистребительное устройство самого человека. «Ведь и вправду, — рассуждает Божко из “Счастливой Москвы”, — пусть весь свет мы переделаем, и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо девать!» И выясняется, что этот воодушевленный проповедник социалистического мессианского сознания «давно втайне боялся за коммунизм: не осквернит ли его остервенелая дрожь, ежеминутно поднимающаяся из низов человеческого организма!». Платоновских героев, как если бы они были людьми христианского сознания, пронзает глубокая внутренняя «порча» послегрехопадной природы человека («скверное», «язва», «гниль»), фундаментальная противоречивость и несовершенство ее. Сам успех или провал мировой идеи и практики социализма инженер Сарториус меряет онтологическими весами, где гиря успеха предполагает совсем другую антропологию, включающую и требование творческого преображения природы человека: «Теперь — необходимо понять все, потому что либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впиться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком».

Платонов прошел тридцатилетний путь художника трудной эпохи, которая била его не раз. Вот после публикации в 1931 году повести «Впрок» Платонов, объявленный — от Сталина до единодушных критиков — враждебной «сволочью», «кулацким агентом», певцом «дураков и юродивых», на пять лет вычеркнутый из советской литературы, пытается, по его собственным словам, «ломать самому себе кости»[4], хребет своего «ошибочного» мировоззрения и эстетики. Что же вышло из этого прямо объявленного, модного тогда процесса перековки и переплавки? На деле мало из того, чего ждала и требовала от него руководящая общественность. Для себя Платонов так декларировал свою «стратегию перевоспитания»: он «изживает свои ошибки и недостатки», пробиваясь вперед сначала хотя бы одной «публицистической мыслью», чтобы затем продвинуться и всем «туловищем». Но как ни прорывался он будто бы «вперед» в своих литературно-критических статьях, «туловище» его художественного творчества упорно тянуло его назад. Поражает контраст между тем, как Платонов искренне старается «перестроиться», заданно-примитивно отчитывается о своем творческом пути, своих идеологических и стилевых «катастрофах», самоумаляясь до уровня понимания эпохи, и тем, что выражает он в своих повестях и рассказах, где он неуклонно остается верен себе, гениальной *кривизне* взгляда и стиля. Не мог он иначе, иначе у него карандаш не писал, сюжет не клеился, образ не вырисовывался, мотив не выпевался, сравнение не получалось… Начинал писать — и тут же включалось свое, и только свое. Возьмем ту же «Счастливую Москву»: она среди анонсированных им произведений нового его, реконструктивного периода (вот, мол, скоро все увидят, как он исправился!), а вместо этого из-под руки выходит еще один фрагмент уникальной платоновской вселенной, со своими маниями и *тиками*, своим великим *безумием*, знакомыми героями. Судите сами — каждый год кладутся в стол значительные вещи и настоящие шедевры: в 1932 — «Ювенильное море» и «14 Красных избушек», в 1933 — «Мусорный ветер» и первые главы «Счастливой Москвы», в 1934 — «Джан», в 1935–1936 — «Среди животных и растений». Замыкается этот период выходом в 1937 году в «Советском писателе» книги «Река Потудань» (включала семь рассказов и почти все из лучших платоновских вещей: «Река Потудань»,

«Бессмертие», «Третий сын», «Фро», «Глиняный дом в уездном саду», «Семен», «Такыр», написанных в 1934–1936 годах) — и тут же новым ударом по писателю, на этот раз беспощадно точным и особо чувствительным, — в самую нежную мякоть «туловища» (используя вновь слово Платонова). Основательная и по-своему проницательная статья А. Гурвича («Красная новь», 1937, № 10) была сделана в жанре *честного доноса*, она действительно впервые обнаружила сокровенные нервные узлы платоновского мира: глубокую его метафизичность, упертость в проблему смерти и фундаментального несовершенства бытия, «христианскую юродивую скорбь и великомученичество», «религиозный, монашеский большевизм», «религиозное душеустройство» его героев. Но что значили такие констатации для 1930-х годов?!

После этого критически-разгромного упора творчество Платонова, по-видимому, переживает еще одну защитную метаморфозу. До самой смерти писателя, не считая военных рассказов, с того времени вышло лишь шесть его детских книжек, включая пересказы русских сказок. Но удивительное дело: этот вроде бы вынужденный уход в мир детства позволил Платонову в идеальной чистоте и детски наивной мудрости выразить свои заветные и дерзновенные чаяния. Гротескно-лирические *гордиевы узлы* платоновского видения и стиля завязывались там, где высокие, не вмещающиеся в мир сей идеалы скрещивались с карикатурами и эрзацами, мнимостями эпохи. Рассказы, где чувствуют и действуют дети, помещают читателя в атмосферу незамутненного лиризма и тонкой философичности. Детские души Платонова оказались наиболее пригодными «мехами», в которых было сохранено «новое вино» его мировоззрения, его «идеи жизни».

Итак, все развитие Платонова, его отказы и уступки, сомнения и новые понимания не отменяют заветных констант его взгляда на мир и человека. (Их мы прежде всего и стремились показать.) Ничего не вышло и выйти не могло из яростных, технизированно-покоряющих наскоков платоновских героев-преобразователей на природный порядок бытия даже с самыми прекрасными намерениями вывести существующее в свет преображения. Напротив, замаячил ему возможный застенок и конец в результате лихих научных вторжений в непознанную до конца взаимосвязь и це-

лесообразность мировых законов. Но то было лишь мыслительным, художественным экспериментом, несущим в себе ценность отрицательного, предостерегающего опыта. Хотя питался он, конечно, стремительно нараставшим историческим опытом такого же свойства, когда под напором реальности рушились прекраснодушные представления и проекты и на их место устраивались торжествующие циничные суррогаты. Тоталитарно-социальный порядок все туже стягивал естественные ткани человеческой жизни, травмируя и омертвляя их. Ни о каком настоящем преображении природы человека и мира уже не было и речи, такие идеалы и задачи вообще не вошли в круг понятий эпохи строительства социализма. Что касается Платонова, то в нем эти идеалы залегли на дно *несвоевременных*, непóнятых и непонятных, таимых убеждений и чаяний, продолжавших питать многие образы и мотивы странно-упорного, обочинного, *юродивого* творца. Но важным стало — спасти нормальный, натуральный уклад жизни от утверждавшегося царства противоестественности, насилия, *усиленной* смертности. Таковой, на мой взгляд, была одна из мощных внутренних мотивировок тех ценностных сдвигов и поправок, которые происходят с творчеством Платонова в 1930-е годы.

Вот завершающая «Джан» идиллическая картинка — Назар и Ксения над спящей девочкой Айдым: «Чагатаев взял руку Ксении в свою руку и почувствовал дальнее поспешное биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека». От глобалий, провалившихся, искаженных до неузнаваемости, к малому, но истинному и достоверному: к другому человеку, ткать живые островки солидарности и любви — вот тот несомненный минимум, на который встал писатель. Такие его рассказы, как «Юшка», «Река Потудань», «Фро», обнаруживают это в полной мере.

Никита Фирсов, герой рассказа «Река Потудань» (1936), — человек совсем скромный, не ученый, не преобразователь, не спасатель своего народа, а бывший рядовой воин, рабочий-плотник — платоновский «душевный бедняк». Его чувство к девушке Любе напоено бережной душевностью. Когда Никита вернулся в родной город после Гражданской войны и увидел Любу, она была «в кисейном, бледном платье», доходившем ей до колен, и «это платье

заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие платья на женщинах в гробах…». С этого сердечного сжатия начинается его чувство к милой смертной девушке (вот и ее подругу Женю уносит тиф); вокруг такая бренная, дышащая на ладан жизнь — как тут не прижаться друг к другу, пытаясь загородить от постоянной опасности дорогое существо.

Это один из постоянных философских мотивов Платонова. Именно эпохи войн и разрух несут в себе — помимо всего прочего — естественную метафизику: испытание голодом и смертью как широким, рядовым явлением. Писатель видит в предельной бедности, голоде, болезни, телесной нищете, душевном изнеможении обнажившийся лик человеческого удела. Платонов вскрывает именно эти смыслы того мучительного тления скудной жизни, которым полны его произведения. Как в болезни ощутимо проступает та участь, которая уготована всем, *смерть*, так и в материальной нужде — вся непрочность, ветхость и тягость бытия.

Решив претерпевать жизнь совместно, чтобы каждый «не мучался», Никита с Любой послушно вступили в извечный круг жениховства, «терпели, дружили вдвоем почти всю долгую зиму» до весны, когда и вся природа начинает готовиться к брачной поре. Но как тонко и исподволь ведет Платонов свою мысль, доносит ее обертоном до тех, кто может его услышать: шагает Никита к Любе по весне исполнить извечный природный жребий, готов он включиться на правах малой частички в круговерть рождений и смертей, в чреду смены и забвения: «Никита даже не спешил идти к Любе, ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой бесприютной земле, забывшей своих умерших и не знающей, что она родит в тепле нового лета». Идет компромисс с требованиями обычной, обновляющей себя на проверенных природных путях жизни, — но как это безнадежно тихо и грустно!

Возникает и совершенно до того чуждое писателю слово «счастье». Вот и «Никите стало совсем совестно, что счастье полностью случилось с ним». Юная жена кажется ему высшим и драгоценным существом, он благоговеет перед прекрасно-таинственной жизнью, происходящей в ее нераздельных душе и теле, он лишь «робко» обнимает ее, «боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле». Слишком любит и боготворит для сосредоточенно-

точечного, эффективного мужского поведения. Конфликт между его разлитой и нежно-претворенной формой любви и требованиями природного эроса, единственно обеспечивающего детей (по меньшей мере), столь желанных им обоим, приводит героя к «стыду, тоске», помыслам утопиться и, наконец, к бегству из дома.

Его страдание так невыносимо и не утолимо ничем, что остается единственный выход, нечто вроде тихого «помешательства», полного отключения от себя, от человеческого: перестал говорить (приняли за немого), «думать, вспоминать», чувствовать. Чистит на рынке отхожие места, спит в пустом ящике под открытым небом, ест помои. Вырывает его из этого состояния неожиданная встреча с отцом, рассказ его о Любе, о ее горе после исчезновения мужа, попытке утопиться. Вот тут-то он буквально бежит к ней в свой дом и в первом же объятье «пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему, и он узнал бедное, но необходимое наслаждение».

Чтобы обрести эту «норму», и нужен был своего рода отрицательный аскетический подвиг предельного базарного уничижения и прозябания Никиты, направленный не на восхождение духовного и душевного в человеке, как обычно в подвижничестве, а, наоборот, на их умаление и почти изничтожение (ведь именно их переизбыток в любви к Любе и помешал тому, на что способен любой обыкновенный мужчина). В счастливом финале рассказа герой сумел как бы ниспасть из его любви-агапэ (любви-жалости, любви душевной, со своей разлитой по всему существу и излучающейся на другого эротикой, может быть, и высшей, но еще бесперспективной, как бы преждевременной) — в любовь собственно половую, «бедную, но необходимую» человеку и человечеству.

Юношеская вера Платонова в быстрый созидательный апокалипсис, в трансформацию половой энергии в преобразовательные мощности, в то, что еще его поколение успеет и сможет перестроить сам онтологический фундамент мира, выйти в новый бессмертный и творческий эон бытия, иначе говоря, попытка штурма небес провалилась. Единственная надежда — твои потомки окажутся сильнее, мудрее, в «разум истины» придут, для повторения этой попытки. Любовь и деторождение остаются натуральным залогом такой надежды. Поскольку мы сталкиваемся

здесь с трансформированным эсхатологическим сознанием, то любопытно, что схема его развития совпадает с эволюцией христианского отношения к полу и браку. Вначале, когда первохристиане были объяты ожиданием немедленного второго пришествия и преображения мира, торжествовал идеал абсолютного целомудрия. Апостол Павел с его обостренным сознанием чрезвычайной близости «последних сроков» не видит никакого смысла в рождении детей: «время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие <…> и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 29–31). Но вот эти «сроки», чаемое торжество новоскресного Царствия Небесного, «где ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22, 30), стали удаляться в неисповедимую даль времен — и является настоятельная необходимость не просто признать брак и деторождение в обороте жизни, но и заняться их религиозной регламентацией, пойти на компромисс с природной жизнью.

Итак, с 1930-х годов в творчестве Платонова прослеживается попытка компромисса «идеи жизни» (включавшей в себя прежде всего императив эволюционного восхождения и преображения) со счастьем. *Счастье* — понятие совсем другого рода, стоявшее в центре западного моралистического философствования. Это некий высший идеал довольства человека в границах его земного удела, по мерке наличного естества, в рамках того, что дано природой вещей (на эти рамки и пределы никто не посягает): устроиться в них наиболее гармоничным образом, наиболее полно осуществить свое предназначение. Хотелось бы еще раз подчеркнуть: в мире фактической дегуманизации (при обратных лозунгах и уверениях), при господстве противоестественного и противожизненного важнее всего стало спасение естественного, нормы, основного ядрышка жизни, сосредоточение теплоты на островках семьи. На фоне политических репрессий сексуальная репрессия, понятная в совсем другой системе целей и ценностей, была не просто неуместна, а работала бы на общий пафос подавления.

В одном из самых известных рассказов Платонова «Фро» (1936) этот компромисс со счастьем выражен наиболее отчетливо, ибо в нем действует героиня, видящая смысл своего сущест-

вования только в любви и близости с дорогим ей человеком, а сам он по своему типу как будто переселился из произведений Платонова 1920-х годов о героях-преобразователях. С первой же фразы рассказа мы узнаем о нем, что он, как какой-нибудь Кирпичников из «Эфирного тракта», уехал от любимой «далеко и надолго, почти безвозвратно». Весь набор идей излюбленных ранних персонажей писателя здесь налицо. «Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то — жена его точно не знала». Позднее при их свидании Федор подробно раскрыл ей «свои мысли и проекты». Среди них рядом со смелыми техническими идеями о «передаче силовой энергии без проводов <…> об увеличении прочности всех металлов…» мы встретим и самые дерзновенные — о достижении бессмертия и овладении космосом.

В рассказе «Фро» Платонов повторяет и одну из коллизий «Эфирного тракта». Там Михаил Кирпичников получает телеграмму от жены с предупреждением о ее скорой смерти, если он не вернется; здесь Фрося посылает через отца тоже телеграмму на Дальний Восток о своей якобы уже произошедшей кончине. Только такая крайняя угроза и несчастье способны оторвать наших искателей от их страсти к познанию и делу. Но если Кирпичников, рванувшись к жене через океан, погибает в пути, то Федор благополучно достигает своей Фро, сердцем догадавшись в пути о ее обмане, вызванном невыносимостью терпеть разлуку с любимым. Описание их непрерывного, почти двухнедельного любовного свидания было бы невозможно в том же «Эфирном тракте», даже если бы Кирпичникову и удалось добраться до Марии (разве что они вместе окунулись бы в чтение только что расшифрованного «Генерального сочинения» древних аюнитов, где был явлен гибельный финал того изобретения, над которым бился сам Михаил, пропадая в далеких краях). А во «Фро»: «Наговорившись, они обнимались, — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья». Да, Федор «в страсти воображения шептал Фросе» вроде совсем не те слова, которые произносят влюбленные в таких случаях, он шептал

«о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека», но все это сопровождалось тем, что «они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь».

Но для Федора — это все же, пусть необходимый и сладкий, но плен. И он вырывается, так сказать, в даль влекущей идеи: за Дальним Востоком маячит уже и Китай. А за ним еще в более дальней дали и окончательное возвращение к жене, после исполненных подвигов. Все же вместе они как-то плохо совмещаются: очевидно, громадность и величие дела Федора требуют такой сосредоточенной страсти мысли и поиска, которая забирает себе человека целиком. Но и у вечной, любящей женщины остается ее великая, не превзойденная пока никакими «коммунизмом и наукой» роль: «она одна знает, как две копейки» преходящего наслаждения «превратить в два рубля» новой жизни. В финале рассказа недаром появляется «маленький гость», Фро зовет к себе мальчика, играющего во дворе на губной гармони, и любуется им: «этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова».

В пределах *компромиссного* поля позднего платоновского творчества заветные уголки, где «идея жизни» светилась в идеальной, сказочной прозрачности, принадлежали у писателя тем, кого, в отличие от взрослых, от «больших — предтеч», он назвал «спасителями Вселенной», — детям. Конечно, уход в мир детства был своего рода умалением творческой палитры писателя под чудовищным прессом его радикального неприятия эпохой, но зато не предательством. Ибо случилось так, что нигде в такой чистоте и насыщенности, как в детских рассказах, где в незамысловатых сюжетах и диалогах Платонов ставил свои постоянные проблемы: *смерти и бессмертия, дарового и трудового, истины и блага, самосознания, зла, высшей цели,* — не явился совершенно естественно тот безусловный, последний остаток его заветных верований и чаяний, который устоял под шквалом не столько внешней, сколько собственной внутренней критики.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Васильев В.* Андрей Платонов: Очерк жизни и творчества. М., 1990; *Корниенко Н.В.* История текста и биография А.П. Платонова (1926–1946) // Здесь и теперь. 1993. № 1; *Малыгина Н.М.* Эстетика Андрея Платонова. Иркутск. 1985; *Она же*. Художественный мир А. Платонова. М., 1996; *Полтавцева Н.Г.* Философская проза Андрея Платонова. Ростов-на-Дону, 1981; *Чалмаев В.А.* Андрей Платонов (К сокровенному человеку). М., 1989; *Шубин Л.* Поиски смысла отдельного и общего существования: Об Андрее Платонове. М., 1987; Андрей Платонов. Мир творчества. М., 1994; Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии / Сост., подгот. текстов, примеч. Н.В. Корниенко и Е.Д. Шубиной. М., 1994; «Страна философов» Андрея Платонова. Вып. 1. М., 1994; Вып. 2. М., 1995; Вып. 3. М., 1998; Вып. 4. М., 2000; Вып. 5. М., 2003; Вып. 6. М., 2005; Вып. 7. М., 2011. Редактор-составитель Н.В. Корниенко.

[2] *Достоевский Ф.М.* Подросток // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 13. Л.: Наука, 1975. С. 378.

[3] *Шубарт В.* Европа и душа Востока. М.: Русская идея, 1997. С. 169.

[4] Стенограмма творческого вечера Андрея Платонова во Всероссийском Союзе советских писателей 1 февраля 1932 г. // Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. С. 296.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЫТАРСТВА ИДЕАЛА
(Из дневников Светланы Семеновой)

[Из записной книжки 1969–1970 г.] Без даты

Как-то с мужем[1] ехали мы в электричке в деревню Щитово, где мы арендовали дом (тогда была еще одна Настя[2], лет трех), и я ему предложила назвать восемьдесять основных его слов-понятий. И вот они в иерархии мужа:

Изобилие бытия.
Господи помилуй, е… твою мать!
Воздух.
Ерос.
Дерев(о)ня.
Свет, снег.

На этом листочке я проделала то же. Получилось так:

Смерть.
Ребенок.
Дерево.
Небо.
Красота.
Нищета.
Бранное мужество.

12/VI–75. 14 час.

<…> Давно уже подмывает на главное: осознать, что сейчас со мной, как жить дальше. План жизни выработать. Наивно, но помогает, когда вот так, как сейчас, живу в противоречии, в недовольстве собой, в разрухе физической, чей корень в несогласованности того, *что надо*, того, что понимаешь как благо себе, и того, *что есть*. Но вся трудность в том, что то, что есть, вовсе не обязательно результат только моего несовершенства: лености, тщеславия, трусости (это тоже имеется), но и объективно, неизбежно сложившегося статуса жизни (необходимость кормить семью, неуверенность в муже, отчаянно плебейское «полагаться только на себя»). И вот я заведую кафедрой иностранных языков в Лит. институте[2a], ремесленничаю преподаванием французского языка, устаю и опустошаюсь, а рвусь в свободу, погружение в знание, мысль, Федорова. За летний месяц написала двести страниц о нем[3], а всю зиму и весну лишь препарировала уже сделанное

в статьи, ухудшаемые редакторами, начальниками и в конечном итоге так пока и повисшие в воздухе. Муж говорит — все бросай и ныряй, смело, как никто, в одиночество: выдавай женский логос. Совсем уйти с ярмарки. Так надо, так я и сделаю, я это знаю. <…>

21/VI–75. 18 час. Суббота

<…> Вечером позвонил Валя Криндач[4], любопытный человек из новой породы физиков-расстриг. Тянутся к мысли философской, объясняющей мир и себя, учащей, как вести себя мудро. Набор духовный обычно один: восток, йога, буддизм, дзен, сыроядение, вообще всяческие тоталитарные гигиены, манеры есть, отдыхать и т. д., что своей исключительностью обретают особое, почти религиозное достоинство. Вообще весь этот набор становится суррогатом религии, религии современных физиков и математиков, да, обычно из этих интеллигентных ремесел. С полгода назад был у нас, исповедывал тягу к общению дружеских душ, внутреннему — до всего, самого постыдного — обнажения друг перед другом <…>. Да и тягу к гуманитарности. И мы с Гошей выдумывали ему список необходимого культурного чтения, самого-самого, от Гомера до Платонова. И тут только осознали наличие особого *качества* своего образования. Оказывается, вещи, для нас самое собой разумеющиеся, для него слыхом не слышаны. А ведь думающий, образованный молодой человек, кандидат своих наук и уже несколько лет глядящий в дзен и гуманитарию. Читал стихи Бродского как самые любимые, исторгающиеся из души. Господи, какая графомания, как плохо! А мы с мужем немножко пригордились; а то у нас, гуманитариев, филологов нет чувства особой профессии. Вроде что мы знаем, все должны знать. Ан нет, не знают и лучшие.

6 августа 1975 г.

<…> Господи, как трудно, не получается единая светлая лента жизни. Сколько за нее цепляется, как многого хочется! Как многого надо: управиться с элементарным делом жизни, обслуживания себя, выращивания детей, еще двух дополнительных моих тел, в которых ведь еще и души сидят и требуют маминого внимания, любви и руководства. Я сама не справилась до сих пор с важными проблемами: женского самоопределения, социального поведения и т. д. А они еще топ-топ, первые шажки во всем этом. А в деле своем как надолго засела в компромиссной полосе утверждения себя как научного работника, вторично исследующего какой-то первичный предмет. Надо поскорее самой в первичное выходить. <…>

11 августа 1975 г. Понедельник. 11 час. вечера

<…> Вспоминаю о маме[5], как она больше года назад в больнице, когда обнаружился ее рак и ей делали операцию (ложный анус), придя в себя через несколько дней после этого, рассказывала тихо, слабо, закрыв глаза: «Мне хорошо, только

когда сделают укол и я сплю. Сплю и так живу. Все мечтаю увидеть во сне Настю. А вместо этого все время снится одно и то же: работаю, работаю в доме, мою, стираю, готовлю и опять то же и опять, неистово как будто преследую какую цель, а она отодвигается, а надо мыть, стирать, убирать… и снова мыть…» Это меня сильно поразило. Так на пороге последнего ее смертного отрезка встала вся ее жизнь, ее основное содержание, и поняла я глубокий смысл этого. Вовсе не бессмысленной была ее домашняя, все одна и та же служба. Это именно *служба*, *пост человеческий* в океане хаоса, захлестывающего нас: порасти травой, мхом, опутать паутиной, покрыть пылью, разложить в гниль и прах. А мама всему этому падению — порядок, и какой! идеальный *порядок*, на поддержание которого вся жизнь. Анти-энтропийная служба! И сколько миллионов таких же солдат в каждом доме, неутомимо вытирая пыль и ставя чашки на место, все вместе участвуют в создании нашего человеческого островка организации и порядка, который, несмотря на свою малость, имеет — говоря высоко — космическое значение. <…>

9 сентября 1975. 17 час.

Вторник. Единственный день на неделе, когда я сижу дома, нет занятий в институте. Все утро готовила, дальше детей кого куда: кому чай пить, кому играть, кому уроки учить. Урывками читаю «В чем моя вера» Толстого.

Вчера после шестичасовых занятий зашел ко мне Олег Салынский[6], принес мою рукопись книги о Федорове[6а] (попросил почитать), зашли к нему и поговорили. Ему очень понравилось, близко. Дал мне читать последнюю книгу А. Платонова с ранними рассказами. Есть там и «Потомки солнца» — так вся книга и называется[7]. Яростная регуляция земли и космоса — через героя показанная — руководителя и гения этой «общей работы». Все переделывалось, потому что в наличном мире царило неприемлемое для человека: смерть. «Только любящий знает о невозможном и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему». Но вот эти пути у Платонова неистово-отчаянные, жесткие и жестокие. Чувствуется плен диалектической схемы с ее требованиями разделения на противоположности и борьбы. Похоже как в революцию: нельзя, чтобы один человек сосал другого, один за счет другого — голодного и темного — культивировал себя в сложности и изысканности. А потому *все* можно, лишь бы это прекратить: пусть все горит и рушится, надо даже железно стиснуть зубы и даже убивать. Тут же при космическом переустройстве убивается трепещущее сердце и торжествует Работа и Разум. Это что-то не то, у Федорова, как и у героя Платонова, регуляция растет из сердечного требования. Но разве это значит, что сердце дальше устраняется и нужна железная воля и борьба? Вот Олег тоже считает, что нужна. «Это есть наш последний и решительный бой» — те тоже считали, что последний. Нельзя выступать против смерти, за воскрешение, насилуя и убивая. Само невиданное, великое *содержание* задачи не может осуществляться в старых формах утверждения идеи — через

борьбу и насилие. Но ведь и Христово учение зиждется на любви — и вместе — «не мир, а меч принес» и скольких этот меч покосил. И коммунистическая идея братства породила страшную ненависть и разъединение. Но, может, только так и осуществляется любой реальный процесс: любовь через очищающую ненависть, бессмертие через борьбу и смерть? Не умрет — не вырастет! Нет, это именно неустранимая логика земной, природной реальности. А тут речь о том, чтобы ее превзойти, превозмочь, трансцендировать. Надо думать всем существом, искать средства, чтобы они уже были по *качеству* задачи. Это главное. Вместо диалектики, враждующей двоицы, даже если она сулит синтез, но опять же для нового распадения и борьбы… — логика троичности, неубывающего, питаемого любовью синтеза. Федоров и Гегель.

Еще вот над чем подумать: в будущем бессмертном бытии все воскрешенные станут прозрачны друг для друга, а значит и не отъединены. То есть, по существу, уже не может быть границы между людьми (как-то даже язык не поворачивается их так называть) и даже собственной, отдельно закупоренной телесной формы, в которой живет каждое нынешнее «я». Все прозрачны, все друг в друга проникают, проницают и отражаются и как бы сливаются в нечто единое, *нераздельное*. Но на деле не должно быть полного слияния как поглощения, должно быть *неслиянное* — и тогда троичное, божественное бытие, его *тип*, нераздельный и неслиянный, налицо. Воскрешенное, бессмертное человечество, творящее себя и вселенную, станет богом, богом по благодати, как полагает христианское сердце и ум. Точка Омега Тейяра. Это именно синтез всех, но персоналистический при этом, в новое божественное соборное существо.

Разметафоризация мысли, взгляда на мир и человека — вот еще задача[8]. Все колоссальное богатство религий, философий, художественных творений — собрание образов и метафор о реальности, в том числе высшей. Каждая религия, философская теория, роман и симфония представляют из себя завершенную систему *языка*, уловляющую мир своим кодом, своим шифром. Над этими первичными культурными созданиями думают и о них пишут тысячи голов и перьев; разъясняя и толкуя, перелагают один шифр на другой.

Вот мой муж конструирует национальные космоса, выстраивает модели разных народов. Огромный совокупный материал литературы, философии, искусства, форм быта и т. д. выцеживается им еще в одну метафору, еще одно образное знание о народе. A la fin[9], это уже утомляет — игра, закрутившаяся вокруг самой себя! Конечно, все культурное богатство рода людского, создавшее самого человека как человека, обреталось через *символическое* знание. Но, стоп! Не должен ли женский логос своим первым камнем поставить не какой-либо символ, знак, шифр, т. е. элемент знания, а реальность, чистую, простую и дальше оперировать реальностями.

Культура — сны и сказки человечества, сны и сказки долгого детства, его несовершеннолетия.

I/X–98. Сюда же помещу еще один болтающийся без даты листик. Насколько я помню, я его набросала в Дубултах, в свое единственное зимнее посещение этого дома творчества… Дело было зимой 1975? что ли года…

Яркая майя, надушенная похотью, висела над городом.

Запах разложения, трупа, падали невыносим для человека. В этом бесконечном отвращении есть бесконечная надежда. Раз отвратительно, значит *неприемлемо*. Ведь запахи и отношения к ним субъективно избирательны. Для трупных червей амброзия, нектар то, что для нас жуть и *стыд*. Да, стыд! Этот поразительный обертон всегда есть перед запахом разложения. Стыдно за попущение такого! (Позднее этот пассаж я использовала в работе о Платонове.)

15 сент<ября> 1975 г., час. 6–7 вечера

Пришла из института, рассовала детей по делам и в лес — отойти. Взяла с собой сборник А. Платонова. Вчера прочла «Эфирный тракт», какой родной до невозможности человек! Он ведь прекрасно понимает, какие потери ждут людей, если они возьмутся радикально весь мир перекручивать, дерзнут покуситься на самый природный закон, способ существования природы, какие могут явиться «революционные» перекосы, свои боль и страдания. Но вместе с тем *чает* и знает, что иначе человеку нельзя, *не может* он примириться с таким порядком вещей, где неизбежны пожирание, вытеснение, смерть и финальное самоуничтожение такого кричаще противоречивого, несовершенного и отравленного смертным трагизмом существа. Болезненное рождение нового существа! Представим, что улитке или, скажем, обезьяне предлагают стать человеком и, значит, вместить в себя раскол с материнским лоном природы, сознание и сознание смерти, значит, раздирающий трагизм совести, о сколько чувств и желаний, которые не могут найти себе удовлетворения… С ужасом отвергли бы улитка и обезьяна такую метаморфозу — так и сегодняшние люди перед Федоровым и активным христианством с их призывом к неприродному, бессмертному, божественному бытию. Казалось бы, чего бояться: ведь хорошо, всемогуще, вечно. Скучно, говорят, зачем вся эта вечность, чем ее занять? Зачем творить себя и космос? Бедные человеки, как держатся за свое маленькое сладострастие смертных существ, сладострастие, замешанное на случайности, шансе, боли, неуверенности: вдруг пронесет, вдруг выйдет… Тут уж не соскучишься, успевай поворачиваться, отводить удары, хватать крохи! Нет для человека ничего желаннее и ничего непонятнее счастья. А божественное блаженство кажется ему пресным: где соль боли, тоски, сладостного мучительства и мученичества. Надо полюбить человека в его божественном статусе, почувствовать, какой грандиозный переворот произведет жизнь бессмертная и не пустая, созерцательная при этом, а наполненная бесконечными формами бесконечного творчества. Задача в том, чтобы творчество как форму самоосуществления и жизни раскрыть во всем блеске, увлечении и счастьи. (Эти мысли

в более обработанном виде вошли в книгу «Тайны Царствия Небесного». — *С. С.* 2 окт<ября> 1998 г.)

27 сентября 1975 г. 12 час. дня

Опять я после целой суматохи недельной повлекла свое тяжелое, мрачно-томное, с болью в боку (все она!) тело в рощу. Отдышаться. Сижу и думаю, что стыдно плохо себя чувствовать и рано умереть. Поддаться раньше времени разрушению. Надо бороться и средний человеческий век (70–80 лет хотя бы) прожить. Прожить, чтобы больше сделать, сделать для главного дела: спасения человеческой жизни для вечности. А я еще много отдаю себя приличию: службе, мнению людскому, мнению условному.

Какая мань и восторг для человека начать новую жизнь! А какой она может быть для меня? Новой она будет, если тело станет легким, затихнут тревожные звоночки боли, голова станет ясной и готовой к неожиданной связи понимания, все сердечное существо — к пронизанности облегающим миром. А все это может случиться, только если оздоровленное тело осуществится. Вот и не давай ему гноиться в духоте и газе машинной улицы, помещения, спертости нервных мелочей жизни. Простой выход: сколько можно больше ходить по природе, одной, с детьми, с мужем, тренировать тело на физическое усилие. Очищать воздухом и питать простым, живым веществом для поддержания работы. А там посмотрим. И дальше пойдем!

Андрей Платонов — самый родной и учитель думать в самой фразе, ее словами, их неожиданными сцеплениями.

7 окт<ября> 1975 г.

В чем особое достоинство болезни? В том, что она ежедневно, часто ежеминутно не просто отвлеченно-умственно напоминает о конце, а непосредственно, физически ощутимо дает чувствовать смерть как реальность основную, в тебе живущую, поджидающую, или вернее, уже и получающую понемногу свое (твой конец!), кусок за куском. Здоровый человек весь отдается жизни с ее требованиями. Внезапная смерть отрезает его жизнь, как гильотина голову. Пестрый сон жизни прерван и канул, рассеялся в… (нет слова). Был ли он, не был? Жил и нет. Тут уж, действительно, пока жил — смерти не было, умер — меня нет. Больной глубже знает удел человека, удел смертного — отсюда его большая истинность (знает, как оно *есть*). Итак, если для здорового как будто смерти нет вовсе или почти нет (не беру метафизических натур), то больной переживает ее в самой своей жизни, собственно ею, страхом, борьбой, живет и страдает из-за нее. Значит, глубоко осознает ужас смерти, невозможность, неприемлемость, не-должность ее для человека. Тут — медитация над ней, тут — и протест. Медитация болью в кишках, стянутым черепом, коликой в сердце, тошнотой во рту… Это и есть яркое — в болезни раскаленное до впечатляющего образа — свидетельство о том, что есть человек, что в нем главное зло. Ведь с самым здоровым будет то же или

в глубокой старости, или сразу за агрессией смерти, когда уже с выключенным сознанием пойдет безобразная вакханалия разложения. (Эта мысль была мною использована в работе о Платонове, где текст был прочищен. — *С. С.* 2/X–98.)

27 окт<ября> 1975 г. Полдень, воскресенье

Второй день дома. Вчера вечером взялась разбирать завалы своих бумаг: выбросила массу макулатуры по диссертации[9a]. Сколько времени и сил ушло в эту вторичную продукцию! Пришла в удручение.

Сегодня с утра дети ушли в кино, как всегда. Гоша услышал по радио начало трансляции «Ревизора» и решил резать капусту на соленье — совместить! Я под предлогом, что ничего делать не могу, болит сильно ободранный теркой палец — убежала в лес подышать. Тут вот и сижу на скамеечке. Но плохо оделась — подмерзаю, придется вскоре уходить.

Вчера, копаясь в бумажках, подумала: как вся моя молодая жизнь до 33 лет не оставила никаких следов на бумаге; ни дневников, ни личных записей, ни претворений в художественное — ничего, совсем ничего. А ведь были открытия, сколько мыслей клубилось, чувств выглядывало, сколько людей, приключений… Жила — и уносилось все в бездну. А сколько уже было жизней, сколько разных Свет: девочка-подросточек, жадная к знаниям, с потребностью поделиться со всеми, научить-воспитать пустых и потерянных (вспоминаю Кировоград, куда я ездила к дяде Ване[10], доброму и пившему дяде без ног — потерял, отморозил в военном болоте, — и пыталась там воспитать соседского большого «плохого» мальчика разговорами и направленным чтением). Молдавская школа, странная отрава отношений с учительницей Гиндой Михайловной, преследовавшей меня своей дружбой, отдача своей головы, сердца, здоровья до изнеможения и нервного истощения всему классу — всем по очереди помогала, всех тянула (буквально шли ко мне по очереди всю вторую половину дня до поздней ночи, каждому объясняла учебные предметы и вдалбливала).

Бегство в Москву на фестиваль молодежи в 1957 г. — первый порыв-прорыв вольного мирового воздуха в наш советский закрытый мир, tourbillon parfumé[11], итальянские друзья, бесконечные разговоры и споры, приключения, французский язык, по возвращении санкции папы, когда село Костюжаны засыпало разноцветными открытками и конвертами из-за границы (попала в лапы капиталистических шпионов!) вплоть до ремня.

Университет, бред стромынкинского общежития, бессонница и ее уроки, академический отпуск, родители, Бендеры, я, толстая Света с семечками в кармане, гуляющая к кладбищу и по кладбищу каждый день, роман с выгнанным провинциальным филологом, возвращение в Москву, удар от самоубийства Ларисы Годневой, красавицы, отличницы, моей подруги, так сказать второго, более отдаленного круга, Ленгоры, Элла Ахун, большая дружба, ночная жизнь, Света — модная гадалка с колодой карт, раскрывающая чужие ладони <…>

Романы мимолетные, азарт сменяемых ресторанов — шикарно поужинать голодной студентке за чужой счет, потанцевать, поболтать — но, как помню, всегда невинно; работа с французами, поездки и роскошная жизнь <…>. Питер Реддавей, бело-розовый нежный английский зефир, l'amour et la police secrète[12], разбивающая любовь. Бегство из общежития замуж за Юру Андреотти[12a], полуитальянца, полу-перса, тогда плейбоя и авангардного художника и «писателя» (потом, после нашей разлуки ставшего журналистом), работа с мальчиками-кадетами в Военном Инязе. Замуж понарошку, обернувшееся привязанностью к Юре, как к дефективному ребенку. Попытки уйти, частные квартиры, сюжеты и coups de théâtre[13], клочья шерсти и мяса, оставленные на колючей проволоке этого брака.

Гачев — к нему вырвалась решительно и серьезно. Рождение Насти. Битва титанов с мужем: кто кого — насмерть! Длительные тектонические роды нашего — теперь мирного — клочка общей семейной суши. Победили оба: он открыл, что у человека есть, оказывается, душа, и к своему Космо-Логосу прибавил *Психо*-Космо-Логос. Я — что есть серьезный духовный труд и служение.

Что было обретено до этого (т. е. до встречи с мужем): в основном знание и понимание психейной жизни, людей. Клочковатое, но продуманное в этих клочьях образование. Внутреннее ощущение себя — самое глубокое — как пустой трубы, прорвы в смерть. Потом пошла работа над образованием более цельным, философия, диссертация. Попытки любить.

Три года назад — выбор России, отказ от статуса культурного работника по просвещению тем, что наработано Западом. Во мне пронесся такой яростный монолог: какого черта лезть в чужую культуру, что меня французская мать кормила сиськой или я дышала французским воздухом, впитывала французские пейзажи и звуки с детства? Что я могу сделать принципиально нового с их культурой? Западные люди сами так рачительно относятся к своему культурному достоянию, даже самая мелкая его букашка пришпилена булавкой в тщательно описанной, изученной и изучаемой, бесконечно толкуемой коллекции. А у нас такие богатства в хаоса бездну улетели, зияют провалы целых периодов мысли. Надо, даже если скромно подойти к своим возможностям, начать хотя бы делать узелки на прерванной культурной нити. Сначала — узелки, а там, коли хватит дерзания и сил, и самой начать ткать дальше. Стала читать и учиться родному, впервые прочла древнерусскую литературу, пошла дальше, из мыслителей тщательнее остановилась на Данилевском и Вл. Соловьеве. И тут встреча решающая: Николай Федоров. Только с него я, по существу, стала серьезно относиться к своей жизни. До этого нет, разве что, как у Набокова, представляла себя странником по лицу мира и созерцателем его. В то лето, когда исполнилось 33 года — это было год назад, — была первая моя кульминация (тогда писала книгу о Федорове). После этого вот уже год — простой, приспособление уже сделанного, дразнение майи.

Да и сейчас, перед тем как дописать вот этот абзац — а сейчас уже 7.30 вечера, — выдалось у меня свободных полтора часа. Думала сяду и возьмусь за Толстого (статья). Вместо этого позвонила Гуле[14] — в расчете на пять минут. Влипла в ее интриги — пошли, по ее наущению, мои звонки Олегу Салынскому и Севе Сахарову[15], jeune homm'am[16], которыми пытаюсь сейчас меблировать ее одинокую жизнь. На это ушли все полтора часа. Сейчас придут дети, надо их купать, стирать — в жестких я тисках. Нужна дисциплина и самоограничение, иначе изойду желчью на самое себя. Ну пока все.

18 янв<аря> 1976 г. Около часу ночи. Внуково[17]. Постель. Я в ней.

Какая прекрасная вещь — недовольство собой! Как оно заставляет превзойти самое себя и отлететь от той, жалкой, что вызвала это чувство. Я уже шесть дней как здесь. Правда, полтора из них провела в Москве: ездила в библиотеку читать стихи Платонова и переночевала дома. Остальные в основном читала, валялась, немного гуляла (холодно, за 20 градусов), пыталась докончить статью о Федорове и Толстом[18]. Это моя первая ошибка, вызвавшая то недовольство, о котором выше. Нет у меня никакого эроса на эту статью, что должна быть напечатана в конкретном сборнике, а значит во мне уже сидят несколько внутренних редакторов и цензоров и не пущают… А комбинировать и делать научное нет лишних сил. Вот я и трусь все в той же рытвине. А «Платонов» выдыхается. Так я и загублю свое здесь пребывание. Начинаю нервничать.

<…> 1) Завтра еду в Москву. Делаю компактно все дела. Вечером домой и там заночую. Навестить Семена Иосифовича Машинского[19] в больнице!!!

2) Утром во вторник — 20-го — сюда и vita nuova[20].

3) Гоша прав. К черту все лишнее! Успеется Толстой. Берусь за Платонова[20a]. Каждый день 8–10 страниц. Выдать к концу срока минимум 100 страниц. Основной эскиз работы.

Спать, гулять и не засиживаться за разговорами. <…>

22 янв<аря> 1976 г. <…>

<…> 21-го — единственный и первый день посидела за столом. Начала раскладывать Платонова.

25 января. Вечер, часов 9

Люди рассеивают: нет центра в самой себе и достаточности; на того — частицу, на этого — сияние. Весь организм стремится наружу, вне себя: наверное, у него такой закон. В XX веке придумали интенциональность, направленность вовне, и все содержание сознания в этом: в интенции на дерево, скажем (на любой предмет и человека) и захват его внешними щупальцами в себя, в сознание. За собой это качество я знаю как самое сильное и губительное. Я так вся и обращена на человека, который рядом; прямо чувствую даже, сидя на месте, порыва-

ние *туда*, к нему и даже истекание чего-то, какой-то *энергии*, может быть, ибо моя буквально осязаемая материя — тело — вроде тут на стуле.

Я и спать никогда ни с кем в одной комнате не могу: немыслимо, физически невозможно абсолютно прервать это истекание, излучение на соседа, в данном случае… Тут, правда, есть еще один момент, тесно связанный. Лежать перед кем-то с выключенным сознанием, брошенным телом, отлетевшей душой и чтобы на меня можно было *смотреть*, а я этого не знала и не чувствовала, не ответила обратным лучом взгляда, — это страшно, как смерть, и как смерти со мной еще не было, так *и такого положения*.

И тут, в доме творчества, никак не могу выключить все эти лучистые эманации. <…>

23 часа 30 минут

Сейчас вернулась из обхода — импровизированного — соседей <…>. Вдруг стало внутри тихо. Выключились прожекторы на внешний мир. Ночь, все ложатся спать. Сознания других меня забывают, вот скоро совсем перестанут мучить. А не попробовать ли сейчас — разок — ночью посидеть, подумать.

Вот сейчас просматриваю свои обязательства. Зачем уж так чрезмерно-мобилизационно: работать десять часов, 10–15 страниц в день!! Чудо, ура!!! Аврал!! Не надо того, что все равно запланировать заранее нельзя: необыкновенный творческий подъем, фонтан мысли, проникновений, забвение всей майи дразнящей. Это приходит, если приходит, а нет, так нет.

Пока явное нет. Потому давай иначе. Скромно, но неуклонно.

Пожалуйста, дразнись, играй, отдыхай! Но: три страницы в день, всего лишь три, не больше, но *обязательно*, в *любом случае*, днем, ночью. Сегодня 25. Значит с сегодня — а сегодня уже возможно только ночью — 14 дней умножить на 3 = 42 страниц. Значит — 50 страниц. И хватит. И хорошо.

Мне легко и свободно пишется на этих незаинтересованных листках, но сковываюсь и холодею, когда обращаюсь к другим, тематическим и нужным.

Сейчас в работе о Платонове я застряла на сюжете «тело — еда».

Попробую его разработать здесь. <…>

27 января 1976. 10.30 минут вечера

<…> Разбирала до ужина «Улю» Платонова. <…>

Позавчера привез мне Т. М.[21] красный тюльпан. Первый раз в жизни — говорит. Я его поставила в бутылку из-под пива. И он тут же охмелел, бесстыдно раскрылся, а вскоре стал умирать. <…> А наутро я сменила воду, тюльпан поднялся и стал снова жить. Сейчас он спит, закрылся и как будто приготовился на бессмертную жизнь. <…>

28 янв<аря> 1976 г.

Господи, пропадаю! Наверное, час ночи. Лежу уже часа полтора, не могу заснуть. Возбуждение, воображение работает безостановочно, развиваются разнообразные ленты воспоминаний, чего только не хранится в бездонном сундуке нашей памяти. Какое мучение!

А ведь сегодня полгода со смерти мамы. И она мне полночи снилась. Я ее вспоминаю и болею ею среди сегодняшнего пустого серпантина.

Ездила в Москву с Богдановым[22]: сначала в больницу к Машинскому, где оказался карантин и ограничились обменом записочками, потом на ученый совет, где сидела, как всегда, рядом с В.П. Смирновым[23] (потом как-нибудь опишу) и проговорила все два часа. И вообще весь день — сплошные выматывающие разговоры.

Вечером вернулась разбитая. Надо было сразу лечь и возобновляться. А вместо этого: втянулась в общение с женой Богданова, потом возник милейший, маленький, с бородой зав. по культуре здесь — Толя (журналист по образованию, сидит тут с женой, которая работает горничной, и двумя маленькими детьми, пишет какой-то документальный роман о поездке Чехова на Сахалин). <…> И вот заманил он меня на фильм «Мечтать и жить», заявив, что это как «Зеркало» Тарковского, нечто вроде Пре-Зеркала, где уже все было до… И вот два часа шла *претензия* Ильенко[24] на интеллектуальное кино. К тому же эту претензию трещал 16-милл<иметровый> движок и речи почти слышно не было. <…> Вернулась домой, легла спать и вот вам результат: убить себя готова за то, что не убереглась от соблазна, не легла рано спать.

Что у меня за несчастная организация! Ну, пожила, покрутилась, поболтала, поволновалась — и хорошо, забудь! Так нет, я себя съедаю неудовольствием за то, что вместо этого не работала и совсем уже теряю сон и силы, за которыми сюда и приехала.

Еще муж со своей жертвой: один с детьми, чтобы я могла отдохнуть и сделать Платонова. А я ни того, ни другого. Вернее, есть потихоньку и то, и это. Успокойся, сейчас для меня главное спастись вот сейчас, сию минуту, на эту ночь. Спи, душа моя, спи и не терзайся. Все хорошо и правильно. Раз так получилось, значит, иначе ты не можешь. Такова твоя природа, что не можешь ограничиться одним. Надо и той и другой своей стороне давать счастье выявления, а не аннигилировать их конфликтом. И стороне — жизнь, игра, женщина; и стороне — мысль, работа, смысл и долг. А если будешь мучиться, значит *дура*. Радуйся! О радость — подарок за усилие гармонии. Все хорошо, все прекрасно, все так и должно быть — я бы еще долго продолжала, чтобы заговорить себя, успокоиться. Самотерапия. Пассы.

Но не только. Надо постараться, чтобы изгнать *напрочь* пустое возбуждение, скрежет нервов. И всему радоваться. Давай, Светлана, сделаем так, чтобы сейчас у меня была счастливая глубокая ночь, в которой я долго буду жить во снах, а потом счастливый, наполненный день — и прогулки, и рабочий стол, и люди, и

любовь к ним. Приходит еще одна ночь и приходит еще один день моего неповторимого природного детства.

Мама, я всегда помню о тебе, страдаю, печалюсь и буду думать и работать, чтобы приблизить день, когда все пойдут на «общее дело» спасения тебя.

Детки мои, Настенька и Ларочка, я мало отдаю вам себя, и это меня тоже мучит. Стойте передо мной, не покидайте, когда я готова расточиться на других: ведь вам я должна прежде всего!

1 февр<аля> 1976 года. Около обеда. 1 час дня

<…> С утра поехала домой. Солнышки мои, борьба за мамину любовь, домашняя канитель, вечером с Гошей смотрели фильм про женщин в американском кино (нашпилено все на Мэрилин Монро). Монтаж для болгарского телевидения Ханютина и Туровской[25].

Сегодня днем вернулась. Читала по дороге Бочарова о Платонове[26]. Глубоко и серьезно. Многое понял, хотя и без ключика к нему. Устыдилась своей *рассеянной* жизни. Хорошее слово и точное: *рассеяние* себя, сладкая погибель. <…>

5 февраля 1976 г.

<…> Осталось три дня здесь. Надо попробовать аврал. По-русски.

После ужина

Объявила всему обществу, что иду на стахановский рекорд: в три дня — двухнедельную норму. Критическая мобилизация, сверхсосредоточенность, максимум усилия. Все обещали быть свидетелями, помогать сочувствием и не отвлекать.

Сегодня вечером — подготовка: разобрать бумаги, рано лечь спать. Только что с прогулки с Семеном Резником[27]. В разговоре среди прочего коснулись вампирьей складки наших редакторов, особенно тех, которые не реализовались в писателей (через упоминание об Андрее Ефимове, редакторе моей статьи о Федорове в «Прометее»[28], которую он не просто изуродовал, учуяв тут же самые свежие, оригинальные места и обороты, но и в значительной степени просто переписал по-своему. Пришлось долго и изощренно бороться, и, увы, далеко не все было спасено).

20 февраля 1976 г.

3 часа дня. Трудный час, когда тело тяжелеет, тянет ко сну. Сижу в Ленинской библиотеке, пережидаю время между занятиями в институте и поездкой за Ларисой[28a] в сад. Через полчаса поеду.

Нам устроили безобразное расписание: размазали часы занятий на всю неделю по два часа. Дни разбиваются один за другим; стоит только выехать из дома на работу, застреваешь там, влипаешь в разговоры и дела.

La vie se la coule habituellment[29]. Общались с мужем. У него период отдыха и потребности в людях. Ходили к Бочаровым. Сердечно посидели. Одно утро профилософствовали в постели.

Из интересного помню о личности. Что же надо воскресить? — спрашивает Гоша. Сережа Бочаров: Глупая эта идея воскресения. Надо бороться со смертью, пока живешь, не давать опустошаться душе, выцветать в ней дорогим воспоминанием (как у Тютчева). Я на это: Пускай себе выцветают! В конце концов углубимся в себя, вдумаемся: что нам дорого в нас, что должно быть сохранено, наши ли «дорогие воспоминания» только или еще что-то другое. Мы ведь помним очень незначительную часть нашей жизни, целые годы тонут в забвении, раннего детства вообще в сознании как будто и не было (при том что значение его для формирования своеобразного изгиба нашей личности слишком хорошо известно). Нам важно сохранить ощущение преемственности своего «я», которое рвется вперед, проецирует себя в будущее, жаждет нового и непредвиденного. Пульсирующее «я», которое знает, что это оно, то самое «я», что когда-то было смертным человеком, тем-то и тем-то, а теперь существо свободное, вечное, творящее, божественное, — таким должно быть самосознание воскрешенного. Весь вопрос в более точном определении этого «я».

И еще я говорила, что благо выше истины, истина — путь к благу. Истина — это то, что есть, совершенное познание того, что *есть*. Благо — то, что *должно быть* и *будет* создано.

Будущее, благо, блаженство — великие проективные «б», что все исходят из самого великого Б — Бога.

Истина потому путь ко благу, что без совершенного знания того, что есть, нельзя создать того, что надо, что должно быть.

29 февраля 1976 г. 12 часов дня, воскресенье

<…> Нравственные революции в человеке вообще могут быть моментальны. Я об этом много последнее время думала, а вчера говорила по телефону с Т. М. Он стал уныло сетовать на окружающую его жалкую человеческую возню и грязь. Развел этакий моралистический пессимизм. Но при этом сказал одну глубокую вещь. Вот анархист призывает все разрушить, все пустить в тартарары, чтобы построить из обломков старого нечто новое и прекрасное. Я на это: ну и выстроится опять вся былая мерзость.

— Точно. Нужно не только придумать новый мир, *но и новый хаос*.

— Это здорово. Именно новый хаос, как резервуар принципиально иных возможностей быть. А из старых обломков, старой трухи и праха выйдет старая же канитель.

И дальше я уже стала развивать свою мысль:

Стало уже традицией сетовать на драматический разрыв между колоссальным ускорением научного и технического могущества человечества и уровнем

его нравственного развития. Тут нет линейного прогресса, последовательного наращивания. Сократ и современный мещанин. Современный — он и машиной, и самолетом управляет и даже придумывает в них всяческие усовершенствования, включает телевизор, поднимает телефонную трубку, которые изобрели поколения таких же когда-то современных мещан. Но поставь его рядом с христианином II века, буддийским монахом, Пушкиным. Разрыв нравственного, духовного уровня удручит и повергнет в уныние и неверие в человека. А ведь та же история — и общечеловеческая, и частная, личная, отдельного человека — демонстрирует нам поразительные превращения — и такие полярные, как зверя в человека, злодея в святого — и множество более тонких, частичных, реальных градаций. Христос, нравственное возрождение, принесенное христианством, — пожаром охватывающее тысячи и тысячи душ, — один из примеров. Я убеждена, что моральное очищение, вознесение человеческого в человеке (а «человеческое» в таком высоком смысле и есть божественное, в нем светят исходные «образ и подобие») может быть очень быстрым и заразительным. Раздастся великий, воодушевляющий глагол, пробежит новая искра религиозной связи — и загорится человек и род людской, как лес от пожара. Алхимическая возгонка человеческого железа в божественное золото. Но нужен это Глагол, пророк его для всего человечества.

Главным становится религиозное творчество: творение нового хаоса и нового космоса. Все религиозно-нравственные учения приходили с планом своего космоса, а надо с хаоса начинать. Как Федоров и активное христианство: не природными кирпичиками строить, а вовсе их отменить. Неприродные сотворить…

Не удовлетворяет художественное творчество: спасение своей жизни еще одним иллюзорно-нетленным отражением жизни. Сколько можно ее отражать?! Сколько можно продолжать ее дублировать бессмертно-неживым двойником — не выходя из фундаментального несчастья и трагедии?!

<…> В среду в институте был Виктор Астафьев. Потом я была в театре: Вампилов «Прощание в июне». Начала читать последнюю литературу: Трифонова, Белова и т. д. Не работала. Статьи и Платонов стоят.

7 марта 1976 г. 8 часов вечера. Вологда, гостиница

<…> Вчера ездили в Ферапонтово и Кириллов.

Фрески церкви Рождества, действительно, завораживают. Песнь красок и линий, уносящая туда, туда… Символический колорит икон (густота зеленого, красного, коричневого) обычно требует для произведения своего возносящего эффекта еще понимания, подпорки разумения и толкования. Разведенные, растворенные, размягченные цвета Дионисия на бесплотной схеме тела действуют прямо и сразу.

Сегодня с утра возили по Вологде. Днем не пошла в краеведческий музей и спала. Давно уже такого не было. Очень хорошо. Но боюсь, что теперь не смогу ночью[30].

<…> Вернулся в номер муж. Так и скоротали вдвоем вечер. Читали Астафьева и Белова[31]. Он первого куски вслух. Тщательно выделывает на страницы описания малейших трепыханий существ и вещей. Самодостаточные картины воображаемых моментов жизни. Такой огромный тратится образный накал, кружево выдумки. А зачем? Несет Буниным. От него и пошло совращение русской, ставшей советской, литературы, теперешней, безыдейной, но густоживописной, стильной.

А сегодня прочла «Пастуха и пастушку» того же Астафьева. В целом сильно, солдатский, окопный натурализм, трупы, кровь, порванные мошонки, опустелые сердца, которые не хотят больше стучать и жить. Но как тяжело и безнадежно без высокой религиозной идеи, на одном природном круговороте — умру, тюльпан из меня вырастет, травы напитаются, обовьясь, — держаться!

Вот здесь в Кириллове, Вологде, среди храмов, икон и фресок обращаешься к великому опыту христианской жизни. В иночестве, отшельничестве, святом подвиге — а ведь это и есть собственно христианская жизнь — великая попытка созидания нового духовного человека, того будущего человека, который преодолеет, просветит плоть. Ликование духа, блаженство предчувствия божественного состояния… (прервал муж).

Христианское отшельничество, умное делание, духовное высветление, постоянный подвиг восхождения — огромный духовный опыт человечества, осуществленный пока *лабораторно*, в чистых формах отдельными лицами. Но должен быть он подключен к жизни всех. Пока этот опыт лежит погребенным в обычном хранилище, но он неизбежно будет извлечен, оживлен и привит к древу всего рода людского. Сейчас его надо изучить в оставленных следах: писаниях отцов церкви, житиях, словах, поучениях… Как великую алхимическую лабораторию пресуществления грешной, больной, мучимой, смертной плоти в духовное тело, божественный лик. Какое было указание и путь!

8 марта 1976 г. 10 часов вечера

Уже сели в поезд и поехали домой. Поезд — русская машина, железный конь, покоряющий основную российскую стихию — пространство. Потому так опоэтизирован паровоз у Платонова, чуткого русского духа. Чуял даль, ее голос и зов. Странники — бедные рыцари пространства, посвященные его ордена. Именно бедные рыцари бесконечного крестового похода в даль земли, но за каким Граалем? По Федорову, это еще бессознательный период, наивное чаяние найти страну умерших, вернуть их к жизни. У Платонова зов дали сливается с плачем об умерших («идти и плакать над чужими гробами») и есть энергетический (сердечной энергии) выброс в пространство, в даль. Паровоз — веселая машина, недаром в русской музыке получила свое прославление: «Веселится и ликует весь народ…» Взрывная юбиляция — и по поводу паровоза, такой, вроде бы, индустриальной прозы.

24 апреля 1976 г.

<…> Время и вечность

Время — понятие, которое вместило субъективный человеческий опыт начала и конца самого себя и всякой живой и неживой окружающей вещи. Все изнашивается, стареет, уничтожается — существование этого процесса и дает нам переживание длительности, времени. Если все перестанет стареть, меняться (но меняться именно природным способом, т. е. обязательно к индивидуальной деградации, концу, сходу на нет), прекратится природный процесс вытеснения и смены, то кончится и восприятие природной длительности (времени) — время кончится, наступит вечность, состояние сосуществования всего. Вечность — это такое пространство существования, в котором нет деградирующего развития, нет смерти. Вечность — пространство божественного бытия. Пространство реально существует и будет существовать. Время — объективация сознанием смертного энтропийного природно-космического способа существования всех вещей. Времени в этом смысле реально, объективно нет и его не будет и субъективно. <…>

2 мая 1976 г.

Начала читать 2 том Добротолюбия[31a], наставления св. Антония Великого. Какая глубокая и свежая влага для души! Какой грязненькой, «культурненькой», тепленькой, не дающей свежего омовения небу совести водичкой все мы ежедневно пробавляемся! Сюда, сюда, на утоление и оцеломудрение!

«Себя искушайте! — пусть каждый ежедневно дает себе отчет в дневных и ночных своих поступках». «И истязывать самих себя, стараясь восполнять то, в чем мы недостаточны!»

Исповедь, личный дневник — явления христианские, изгнание бесов, прочистка души, работа над ней. Недаром у истока исповедальной литературы, явной и *тайной* (а ее так много: наверное половина живших и живущих смотрела и смотрится в зеркала своих дневниковых тетрадок, хотя бы изредка) — лежит «Исповедь» Августина. *Моя* жизнь, злоключения «я» в телесном плене, именно «я» становится в христианстве одним из главных предметов. «Я» как дух, божественная искра, которую так и гасит тело безликими вожделениями, но что должно возгораться, наоборот, все ярче.

Кстати, вспомнила, как на первой «федоровской» встрече неистовый марксист Боря Славин[32] (правда, за бессмертие), давящий диалектикой и громовой голосом, ехидно возгласил на мои слова о переходе, перелете, трансцензусе человека из природного существа в не-природное, божественное: «А через что, посредством чего, где и как произойдет этот трансцензус?» И я вместе с Ольгой Николаевной Сетницкой[33]: через *сознание*, человеческий дух. Сознание и есть то узкое игольное божественное ушко, через которое произойдет возгонка природной материи. Сверкающая игла, узкий шпиль, которые нача-

ла возносить над собой природа. Или еще: сознание — канал, световой туннель, прорытый в материи, через который и она вся пронесется в духоносное состояние. <…>

* * *

Я уже писала о великом опыте подвижничества, которому принадлежит будущее. А вот как хорошо его суть определяет св. Антоний Великий: «Для этого Он (Дух Божий. — *С. С.*) открывает *очи души* и дает ей узреть *красоту чистоты*, достигаемой трудами покаяния, и чрез то возгревает в ней рвение *к совершенному очищению себя вместе с телом, так чтобы оба стали одно по чистоте*. Ибо в этом цель обучительного руководства Духа Святого, чтобы совершенно очистить их и вознести *в то первобытное состояние, в котором находились они до падения,* истребив в них все примешанное *завистию диаволею*, так чтобы не оставалось в них ничего вражеского. Тогда тело станет во всем покорствовать *велениям ума*» (подчеркнуто мной. — *С. С.*). С. 24–25[34].

«Умерщвлять тело свое и порабощать» (1 Кор. 9, 27) — работа над выращиванием будущего «духовного тела». «Таким образом тело все навыкает всякому добру и, подчиняясь власти Св. Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресение праведных». С. 26–27.

«Прилично же тем, кои одарены разумом, знать сие разумно и возревновать о том, чтобы *самим делом* стать свободными (от грехов) силою пришествия Господа к нам. Те, кои воспользовались, как должно, сим устроением, суть рабы Его. *Но это звание еще не есть совершенство*. Совершенство вводит в сыновство — и есть освящение, приходящее в свое время». С. 27.

«Дух сыноположения» — Рим. 8, 15.

Человек — животное символическое. Вся его культура — от речи, слова до вершинного религиозного творчества — оперирование символами, метафорами, образами.

Передо мной сейчас встало сомнение: надо ли прочно входить в жизнь христианской Церкви, усилиться воцерковленно верить и жить. Я все же маловер в натуралистическом смысле: так-то и так-то представляемый Бог и весь сонм с Ним. Но глубоко убеждена, что Бог — высший идеал и цель человека, что Христианство ближе всего к ним и такая разработанная религия, как христианство, вместившее в себя тысячелетнее творчество, красота неимоверная. Красота и в богословском умозрении, и в опыте подвижников, ну и, конечно, в службе, культе, литургии, иконе и фреске. Та же литургия со своей высокой мистериальной эстетикой — действо глубочайшего символического значения. Необходим настрой на дело, как полагал Федоров, и в значащей, глубокомысленной игре проигрывание «общего дела» в та́инственном театре церковного обряда.

Но надо ли по большому и окончательному счету? И не будет ли самый пафос женской мысли и дерзания (того женского логоса, который требует от меня муж) в *рассимволизации* мира, мысли и дела?

Воскресить всех, стать бессмертными, совершенными, спасти весь природный мир, стать богами, бесконечными творцами себя и мира, осуществившими любовь как внутренний принцип жизни. Стать богами! А что это значит? Богу надо ли слово, символ? Как общаются между собой Три Лица Троицы? Взаимным полным проникновением — пониманием, любовным мгновенным прозрением. Вообще задача: попробовать проникнуть духовно-интуитивным предвосхищением в божественный тип бытия. Мир будет познаваться мгновенным и полным его приятием в себя, вернее, мир и божественное всеединство воскрешенного собора человечества станут едино.

Всеединство — Ты во Мне и Я в Тебе. И мир — продолжение нас. Как мы прозрачны друг для друга, так и мир прозрачен для нас, и значит в определенном смысле слиян с нами.

Люди, прослышав про идеи воскрешения и бессмертия, начинают сомневаться:

1) А я вовсе не хочу таков, какой я есть, с двумя инфарктами, массой недостатков, отвращением и презрением к себе, воскрешаться и вечно жить. А если вы говорите, что я буду преображен или улучшен, то это буду уже не я.

На это можно ответить так: прислушайтесь к себе, разве вас пугает преображение, напротив, вы его страстно желаете, раз настолько недовольны собой, что не хотели бы себя продолжить таким в вечности. Значит, для вас не только не трагедия, а великое событие освободиться от жалкого и недостойного в себе. Главное — сохранить сознание преемственности своего «я» во всех трансформациях и преображениях. Должно быть воскрешено это «я», этот свидетель преображения. Этого нам довольно. Мы готовы и даже алчем стать другими, переменить лицо, характер, положение, эпоху, но только чтобы оставалось сознание, что все это происходит с нами. Иначе говоря, необходима сохранность в памяти своего самосознания и, возможно, основных прошлых своих этапов. Как от детства, когда мы были ближе к раю, в смысле чистоты и открытости миру, ничего как будто не осталось в нас, но мы от этого не ощущаем разрыва в своем «я», так и при преображении состава человека, в воскрешении свернутся целые этапы нашей жизни и целая толпа наших разновозрастных лиц.

2) Как быть с увечными, неполноценными, больными и т. д.?

Ответ см. выше с соответствующими поправками. Все решает преображение и развитие даже малейшей и искаженной потенции личности, которая есть в каждом.

13 июля 1976 г.

<…> Следующей моей работой, после Федорова и Платонова, должна стать Философия бессмертия[35]. Сначала надо будет собрать и понять все то, что чело-

вечество — в религии, философии, искусстве, обычаях — думало о бессмертии. Этим займусь в ближайший год. <…>

22 июля 1976 г.

<…> Последние дни «Бесами» себя заглушала. Великий писатель, но уже появляются к нему претензии. Одной стороной романтик и подросток, то, что на Западе в чистом виде было в первой трети века — жестокое романтическое богоборчество, метафизический ressentiment[36]: ах, раз Тебя нет, то все к черту, все дозволено, рвать, кромсать, цинизм, де Сад, Лотреамон, Петрюс Борель и т. п.

Поразительно, неужели без Бога человек не может, раз Его нет, то и тут же в какой-то малолетнепреступный, безотцовский бунт и безобразие кидаться?! А из себя, из человека встать и крепиться: категорический императив Канта, стоики. Нет Бога, тебе кажется, — значит надо трезво, спокойно, совершеннолетне найти достойный выход и путь. В это гениальный подросток Достоевский не верит. Или — или.

Вчера после обеда долго гуляла и беседовала с Ереминым Михаилом Павловичем[37]. Про русский народ, про ту идею равенства, которая в нем сидит как ни в одном другом народе. Еремин о ней как о русском проклятии, я — как о величии. Конечно, самое глубокое претерпевает и самое глубокое падение в этом мире. Так и эта идея.

Ее и муж мой понять не может. Я пыталась объяснить, как я понимаю ее метафизическую суть. Путь человечества — к обожению, к уподоблению Богу. Какими мы должны быть, можно приближенно представить, созерцать через прозрение во внутреннюю жизнь Троицы. Там идея абсолютного равенства, равносущности — идеально выражена. Так и люди должны быть между собой и по отношению к себе. «Возлюби ближнего, как самого себя». (Таков первый, неясный еще эскиз мысли, которую я позднее развила в главе «Оправдание России»[38]. — *С. С.* 19/X.98).

6 августа 1976

<…> Сейчас я буду дней десять одна в Москве с врезкой в два дня экзаменов приемных в институте. Хорошо одной, надо только бросить разнеживаться сладкой пассивностью чтения и глазения телевизора. Неделю я обязательно — если опять какой диверсии со стороны тела или стихий не произойдет — сосредоточусь на Платонове. А потом — дай Бог — все на недельку с деточками в деревню перед работой.

Очень девочек своих люблю: встают на расстоянии в чистоте как души и идеи, как родные тела. С Настенькой сосущая потребность душевного общения, она мне уже глубокий друг может быть. Ларисонька — еще комочек тепленький, родной, очень детский пока.

Гоша где-то на Алтае ходит, лазит по горам. Вот письмо прислал:

29.VII.76.

Здравствуй, любимая женушка моя Светинька!

Добрались мы наконец до парома через Катунь. Красиво, но все жалею, что без нас всех — и оттого тоскливо и не в полный корм коню. Но не надо людям портить настроение кислым видом и унынием. Все вымечтовываю, как вместе когда-нибудь хоть куда-нибудь пойдем: на байдарках иль как… Добирались долго — 6 суток. Ну ладно… Белуха уж глазеет на нас. Особого энтузиазма не чувствую. Ну… Все на деток глазел в автобусах, в селениях — и свои ворочались под сердцем. Бабы ж все — трансцендентны. Из Воронежа рядом группа (добирались вместе). Человек хороший: Платонова любит. Вот я видишь: я весь в твоей-нашей мифологии. Целую. Несут письма на почту. Твой и наш папа.

Самое дорогое у нас — родство духовное и телесное снисходительное понимание. Хочется всем вместе.

13 августа 1976 г. Утро

Сижу у окна в Гошиной комнате. Три последних дня угрохались на институт: вступительные экзамены принимала и разное всякое. Вчера вечером ходила в ресторан «Пекин» с Сашей Романовым[39]. Мой лучший студент по французскому. Уже говорит почти как я, а был начинающий. Упрямый мальчик, учит сейчас китайский, культивирует китайское, стилизуется под «ветер с Востока» и «председатель Мао сказал, что это хорошо». Мне нравится его интерес к Китаю. Я всегда говорю, что сейчас одна из основных задач — понять нашего соседа, того, с кем мы уже в глубинах мировых судеб, «брачного завитка», как сказал бы Розанов, сплелись неразрывно. А русские все глядят в Европу, восхищаются «страной святых чудес», изучают ее, подражают ей, забывая о своей второй важнейшей восточной составляющей.

Так вот Саша говорит, что с детства его тянул Китай. Приезжал несколько дней назад ко мне домой, загреб целую полку книг по Китаю и китайской литературе. Он удовлетворяет идеально мою педагогическую фибру: прекрасно слушает, а я его развиваю, охотно вкладываю в него, что узнала и поняла. Одним словом, занимаюсь им. Но тут, конечно, и свои неизбежности. Очень мил и пылок.

Домой пришла из «Пекина» поздно, спать не хотелось — ночное остановившееся время, но механическая стрелка идет вперед. Легла часа в 3–4 утра. Встала рано. За окном гремел магнитофон с нынешними песнями. Спать не дал. Сейчас болит голова, села за Платонова, но чувствую, что лучше в таком состоянии не надо вовсе.

<…> Много сейчас надо устроить всякой житейской мелочи. Хорошо бы до занятий и доделать свой опыт о Платонове. Какой пока получился. <…>

19 сент<ября> 1976 г.

Была четыре дня в Калуге на Циолковских Чтениях[39a]. Позавчера, вечером поздно вернулась.

Город какой-то особый, казался южным, может быть еще и потому, что стояла почти летняя, но с осенней пронзительной чистотой погода. Круговерть и экстравертность. Устала и внутри угрюмство и легкий стыд, как всегда, после многочисленных общений с людьми. Как будто тебя поймали на чем-то постыдном и держат в напряжении: сейчас всем расскажут. Делала доклад «Циолковский и Федоров». Был вокруг маленький бум, экзальтированные дамы и ошарашенные, сохраняющие достоинство в ученом скепсисе молодые люди из института, где работает Гоша. Клерки и воображалы. Портили мне «имморталисты» — Авдыкович[40] с хвостом — что «смотрели мне в рот», по выражению Коли Гаврюшина[41], и устроили вокруг меня крамольно-пикантную ауру, как вокруг парапсихолога или чревовещателя. Это и противно.

Прекрасен был Рабинович Вадим[42], поэт и алхимовед, беспрерывный хохмач, оптимист, окрашенный в жизнерадостный цвет вплоть до лица. С ним становилась почти такой же, как он, фонтаном mots[43], веселых непристойностей, свободы. <…>

Сейчас задача успокоиться и забыть. А то крутится колесо лиц, слов, сожалений, событий, только что бывших, крутится довольно быстро и изнуряет. De la discipline[44] и форма, форма, физическая и духовная!! Вот что мне надо. Заняться делами, еще раз попробовать устроить Федорова, довести до конца Платонова. И плюй на то, что в институте всякое там бабье из канцелярий, сидящее праздно сиднем от утра до вечера, всякие сплетни и козни плетет. Ты ведь не цепляешься за место в обществе, и будь себе верна. Чем хуже, тем лучше. И не давай место сожалениям — non, rien de rien, non, je ne regretted rien. Au large[45].

26 сентября 1976

Начался в моей жизни новый перелом. Литинститутский период внутренне совершенно изжит, все: и веселое актерство преподавания, и лепка молодых душ, и l'amour, l'amour[46]. Опостылело до ломоты в висках. Еще год протяну из соображений заботы о семье и детях. И — о как заманчиво — в новые моря, vers d'autres cieux, à d'autres amours[47].

Возможно, уже пора совсем уходить от людей, в полное сосредоточение и одиночество работы души и ума.

Так сейчас мне странно-хорошо-тихо в нашей роще! С утра выпила купленную вчера бутылку «Бычьей крови», детей — в кино, муж — за машинку. Читаю, расхаживая по аллеям, «Сто лет одиночества» Маркеса. Только начала. Люда Комарова[48] сказала, что эта книга стала для нее, после Платонова, главным событием. <…>

12 января 1977 г.

Третий день езжу в Институт философии, где идет к концу мое устройство. Было собеседование, партком, а сегодня ученый совет, где должна проходить по конкурсу.

Интересно, что когда я была здесь, в Голицино[49], три года назад, я также начинала новый этап своей жизни, переход из Военного института иностранных языков в заведующие кафедры Литературного Института. А сейчас прощаюсь с преподаванием, с учениками, с целой утомительной, но и сладкой полосой. <…>

14 января 1977 г. Вечер, часов шесть

В последнее время интересно меня учит судьба. То событие или результат, которые должны, казалось бы, неминуемо произойти, когда нет ни тени сомнения, вдруг неожиданно, громом среди ясного неба, оборачивается наоборот. Перед самым ученым советом подозвал меня партийный секретарь и с явным для себя неудобством стал объяснять, что меня отклонили на конкурсной комиссии. Директор приказал не брать без базового философского образования.

Чушь какая-то, зачем надо было так далеко меня заводить. Расстроилась сначала, потом поехала в родной Литинститут к Пименову[50] просить принять назад блудную дочь и полюбить обратно. Был Галанов[51] (тогдашний проректор), этот меня радостно выслушал.

Осталась до утра дома с Гошей и Настей, чтобы на следующий день припасть к личным стопам.

Все это похоже на вмешательство судьбы. Я рада в конечном итоге. На что мне уходить из вольных стрелков и хоть сбоку припеку приписываться в нашу гнусную регулярную философскую армию. А потом много всякой мелочи невыгодной по сравнению с моим положением независимой grande dame[52] в институте. А вышло так, по-моему, из-за того, что перед самим парткомом, за пять минут стояла я в коридоре и говорила с Пустарнаковым[53]. Он жаловался, что дирекция его не очень уважает, не дает защитить докторскую диссертацию. Ну я и ляпни что-то обычно-утешительное: что, мол, как известно, она невечна, дирекция т. е., а напротив, сильно шатается и вот-вот рухнет. И тут как раз мимо проходил сам директор[54]. Наверняка, он что-то слышал. А при его теперешней подозрительности на такие разговоры в коридорах пока еще его владения, но ненадолго (перед этим не избрали в члены-корреспонденты), он его и по обрывку мог домыслить. И в тот же вечер позвонил председателю конкурсной комиссии и заявил, что не надо брать людей, т. е. меня (которую он до этого благословил) без базового философского образования. Поразительная случайность, и хоть совсем анекдотичная (пострадала за свой язычок!), но судьбоносная. Сектор там сейчас очень волнуется и пытается что-то для меня сделать: добиться переголосования. Но мне уже все — расхотелось, я настроилась обратно.

Хорошо было дома на этот раз. Гоша — любящий и растроганный. Как я говорю: получше пожалеть перед тем, как покушать. Христианское утро: повинилась в грехах своих, желании от него уйти. Вместе ехали в метро. Дал мне взглянуть в «Основы христианства» Тареева[55]. Как все это высоко, прекрасно и не может быть прекраснее. Я ему говорю: понимаю свою главную задачу так — продумать и крайнюю ситуацию, где Бога нет, сохранив при этом все, что было сделано в христианстве, в нравственном его учении, в художестве личности, в предельно-метафизических чаяниях, т. е. найти положительный созидательный выход и в ситуации онтологического отчаяния (а не просто: все позволено и пусть летит в тартарары!). Но как опереться на человека, это неустойчивое равновесие между его животной природой, отягощенной первородным грехом неизбывного пожирания и вытеснения, и духовной его потенцией? Как создать для последней тягу, которая поднимет первую?

Мы тут говорили о первородном грехе с Милем и Гришей Кориным[56]. Я говорю, что он в том, что человек несет смерть постоянно окружающему: пожирает живое, невольно убивает ближних (невольно — это еще в лучшем случае). И это, действительно, неизбывный, внедренный в каждую клеточку нашего существа грех. Ведь мы не можем перестать пожирать и убивать, иначе сами сразу умрем. Но смертью нанесем кому-то еще немножко смерти: ближним, любящим нас, хотя бы. Эта животно-натуральная наша природа внутри самой себя, в своем *яйце* — первородно греховна. И об этом надо всегда памятовать и сокрушаться. Сокрушаться активно, работать и искать выхода к искуплению, преображению. (Эта мысль, как и некоторые другие эскизы мыслей отсюда, вошли в развитом уже виде в книгу «Тайны Царствия Небесного». — *С. С.* 23/X–98)).

2 февраля 1977 г.

<…> Надо сейчас, как во Внуково год назад, последние четыре дня уйти от всех и все же закончить «Чевенгур»[57]. <…>

Меня губит одно интересное качество, которое я уже четко за собой заметила. Когда я живу в обществе, как сейчас, например, у меня такое сильное и мучительное рождается ощущение, что я должна всем помочь не быть одинокими, как будто без меня всем плохо. Надо всех устроить и всем себя отдать. Быть со всеми вместе — наверное, это хорошо. Есть в этом тоска по будущей соборности: ты во мне, как я в тебе и все в каждом и каждый во всех. Но в нашей профанической жизни выходит большой мой расход на других, истечение себя до полного опустошения. Всегда это была главная моя по управлению собой задача: прервать токи интенции на внешний мир, самодостаточно в себе собраться и укрепиться. А то вдрызг рассеюсь. И для меня вот эти бумажки нужны как раз когда я среди людей. Для собирания себя в одну точку. <…>

21 февраля 1977 г. Понедельник, 6 час. вечера

Вот уж, действительно, черный день. Отравлена телефонным звонком какой-то незнакомки, которая уверенным официальным голосом как будто с телефонной станции требовала мой адрес. Я повесила трубку, а когда тут же опять раздался звонок, попросила подойти Гошу, спросить кто это и зачем адрес. И адреса ни в коем случае не давать — повторила убедительно несколько раз. Он подошел и тут же дал адрес. Между прочим, был странный звонок еще несколько дней назад: некая дама, не сумевшая даже объяснить, откуда у нее мой телефон, допытывалась моего адреса под предлогом необходимого языкового урока для ее сына (живет в центре), хотя я сказала, что уроков не даю.

Все это странно и тревожно. Кому-то зачем-то нужен срочно мой адрес, интуиция говорит, что не к добру. Лезет в голову всякий страх и самые абсурдные предположения. А поскольку больше всего все мы боимся за свою жизнь, то один из вариантов — совсем черный детектив. Вползли змеи в меня и начинают сосать под сердцем. Самое неприятное, что кому-то я нужна, не оставляют в покое, другие что-то хотят и могут над тобой, вплоть до — трудно ли — занес нож или наставил дуло и прощай, жизнь. А мне так надо жить. Моя «философия бессмертия», мое, в конце концов, право умереть собственной смертью и узнать от жизни, сколько мне дано. Идея насильственного конца мне нестерпима.

И муж хорош! Положиться на него нельзя. Прошу — значит знаю, понимаю больше его — и надо так сделать. Так нет, своим куцым немедленным умом и реакцией — по-своему! Надо рассчитывать только на себя, в трудную минуту не поможет.

Ну а главное — отнестись к этому по-христиански, люби этих возможных недоброжелателей или злодеев, вплоть до руки, пресекающей твое дыхание. До юродства. Дети проживут и сами, не тоскуй о них. Они полны своей набирающей рост жизнью.

Ну а сама будь всегда готова к смерти. Спокойно, без ressentment к людям и судьбе — вот другие, счастливцы, живут до старости, а ты, так много могла бы сделать, только в разумный возраст, совершеннолетний взошла и так нелепо — от микроба ли, опухоли или какой внешней, случайной, злодейской нелепицы.

Первородный грех человека в том и состоит, что он существо, пожирающее чужую жизнь, не могущее, живя, не губить другой жизни. Он, действительно, во всех и каждом, неизбывен, в самой нашей природе, от него невозможно избавиться никакой святой жизнью, ибо и тут невольно идет убийство. Грех — в убийстве и вытеснении других, в том числе родителей. Рождаясь — убиваем, живем — убиваем, умираем — убиваем других (тех, что плачут и тоскуют по умершим)[58]. Куда ни повернись — *перво*родный тут как тут — пока мы существа природные, рожденные, смертные. Выход — к бессмертию, воскрешению, новым принципам связи друг с другом и в самой материи, к любви, открытости, прозрачности, божественному бытию — это и есть преодоление этого греха. Не сразу, не чудом, а

терпеливым, трудным, всеобщим трудом. Идея обретения автотрофности человечеством (Вернадский) — шаг на этом пути. Христианское «непротивление злу», «возлюби ближнего как самого себя», целомудрие и чистота, созидание в себе духовного человека — на этом же пути.

24 февраля 1977 года. Десятый час вечера

Уложила детей сегодня необычно рано. Гоша ушел в кино, смотреть «Старое ружье»[59], которое я видела сегодня утром.

Вот сижу, у меня час покоя за столом, до этого даже книги не раскрывала, вся — на дом, детей. (Лара дома неделю, чуть болеет.) Никуда не поехала в город, хотя надо было в «Молодую гвардию», взять вышедший «Прометей»[60], в институт на методологический семинар. Не смогла преодолеть уныние и физическую тягу к месту, не оторвалась….

С утра — не выспавшись — решила отправить себя в кино. Но вышло — нехорошо. Фильм страшный, бьет по нервам, особенно в настоящий момент. Впустила в себя страх в связи с таинственными звонками, выманившими мой адрес. Кому он вдруг понадобился? И уже мания услужливо подсовывает пищу: то каких-то, мол, молодых людей видели, поджидающих в темноте у наших дверей, то кто-то звонит в дверь ночью и не отвечает «кто». И все жду следствий. А *подсознание* измордовано безобразием зла, насилия, корежащего мир людей, — книги, фильмы, особенно, *туда* же вгоняют кричащие образы, рассасывающиеся *там* (в подсознании) в общее впечатление страха. Сегодня в кино сжигали женщину из огнемета. Образ уйдет внутрь, растворится там и уже как будто это меня то ли сжигали, то ли сожгут, то ли могут сжечь. Помню, несколько лет назад снился мне и не раз отчетливый, галлюцинаторный сон, как нападают на нашу квартиру какие-то люди, чтобы всех убить, над всеми надругаться, и как я вела себя при этом, исхитрялась, ускользала — иногда вместе с детьми (помню, что и по водосточной трубе). Все-таки самое страшное, до омерзения, до дыбом волосы, до отчаяния, до безумия — это зло в человеческой природе, измывание над человеком человека, убийство. Мучить, терзать его тело, вздымать на дыбу, жечь огнем, медленно убивать — что это такое?! Не вмещается — до проклятия всему этому миру. Когда вот как сейчас — страх в крови, омерзение в каждой клетке — поймешь индусов с их безусловным отрицанием этого мира и алканием полного небытия как высшей награды. Я помню, когда рожала и был ад настоящий, я поняла чаяние абсолютного уничтожения.

Но сейчас надо выходить из этого состояния. (Усугубляется оно, конечно, давящим серым небом, упавшим давлением, головной тупостью и унынием.) Особенно сердце невозможно болит за детей — если им надругательство и гибель, ведь с другими, в войну ли, от рук садистов бывало, значит все равно, что с моими как будто было в идее и висит эта гнусная идея над их нежными головками. Но они и сами запуганы телевизором (фашисты с автоматами), сказками (всякие страшила), Лара боится оставаться одна в комнате, ходит за мной, просит

закрывать все форточки и окна, чтобы какая нечисть в нашу крепость не вползла. Обычные детские страхи — можно над ними улыбнуться. Но, когда в себе, успокаивая их, чуешь тот же нелепый, иррациональный страх, от которого бежать некуда, тогда… Все, к черту, к чертям, отфутболь панику и страх туда, на их родину. Самое главное на все соглашаться и не мучиться, на собственную смерть, потерю близких. Все равно царит смерть. Дольше, меньше ли крутят иллюзию на белом полотне! Но это отрицательная, буддийская программа.

Усиливаться и работать: люби гонящих тебя, мучащих и убивающих, подставь левую щеку и сама руки не подымай, прощай самых злых, крайних жертв природной падшести. И сколько хватит сил, сколько сможешь, работай для будущего воскрешения. Только возвращение жизни умершей, убитой, замученной, погубленной, погибшей для преображения и торжества, вера в это, стремление к этому и работа — дает выход. Иначе адский скрежет, в тупиках, отчаяние и безумие.

А сейчас личная установка: перестань, как ребенок, бояться мира, его темноты и угроз, в большом и малом. Вот мне нестерпимо страшна могила, сырость, черви, склизь, вонь и мрак. А надо к ним спокойно и дружески — будет с тобой все это происходить, бродить мертвые вещества — это твое же, темная могила, земля и черви — из таких же, как ты, братьев, из их останков. И червь — брат твой. И он, как и ты, в жерновах природного закона: пожирает тебя мертвую, как ты пожирала чужую жизнь. А потом — раз нам все это преобразить дано — то надо изучать и понимать: и трупы, и как в них работает смерть, и всю эту гробовую энтомологию…

Да, à propos[61], если бы я делала кино, то я бы впечатала в глаза зрителей такой образ-мысль. Вот человек погибает от руки злодея, от стечения обстоятельств, — одним словом, какая-нибудь трагическая ситуация, от которой разрывается наше сердце, и взглянуть на нее глазами какой-нибудь курицы, которую самый прекрасный, незаслуженно страдающий человек, не задумываясь, убивает, ощипывает с нее перья, отвертывает голову, варит в воде и съедает. Или глазами коровы, которой тот же прекрасный человек устраивает ежедневный Освенцим: везет с собратьями в контейнерах, морит голодом, держит в панике, реве, отчаянии несколько дней в предсмертном забое и ведет на живодерню. Раньше патриархально дорогой хозяин собственноручно рубил дорогую скотину, теперь дело организовано массово, механизированно, как и подобает XX веку. Но еще неизвестно, что страшнее, хотя бы для той же скотины. Самые страшные человеческие бедствия с такой точки зрения уже получают некоторый — в оценке — оттенок кары, «справедливого» возмездия, расплаты за тот самый первородный грех. И никто не изьят из него, ни самый справедливый и добродетельный, ни старец, ни дитя. И их мучения и смерть не должны безумно, безысходно ранить душу. В определенном смысле ни одно страдание не может быть безвинным. (Интересна здесь та личная плацента, в которой созревает и рождается мысль, позднее встроенная

в последовательную книгу[62]. Здесь же видны все ее потроха, кровавая пуповина, связывающая ее с мучающимся нутром автора. — *С. С.* 26/X–98).

1 мая 1977 года. 5 часов вечера

<…> Я думаю, что я не спокойна, нервничаю и как-то жгу время — внутри, в самочувствии — скорее, скорее, отговорить, отделать, *отделаться*, оттого что еще не приступила *к делу*, а ведь уже 36 лет будет. Все еще разрешаю себе в последний раз сделать нечто, пусть нужное, культурное, но не абсолютное. Сейчас опять пережевываю уже сделанное: книгу о Федорове — еще одна безнадежная попытка сделать ее приемлемой для «Современника»[63]. Надо успеть за май-июнь дописать главу о советской литературе (Горький, Маяковский, Заболоцкий и Федоров), Платонов уже готов. Все оформить, снабдить поплавками предисловия-послесловия (тоже тяжкий и глупый труд) и отдать еще на одно поругание. Но это я уж сделаю. Должна в законных рамках себя испытать. И все. Дальше au large, держать на Абсолют, полную свободу и смелость.

Вот сейчас вышла моя статья о Федорове в «Прометее» и публикация в «Контексте»[64]. Сколько ушло на это времени, год — два — три хлопот, переработок, — результат мизерный, а внимание, душа, ум — если не простояли, то работали в низком коэффициенте, проходной ерундой, редакторскими кознями волновались.

8 мая 1977

<…> Сейчас пытаюсь в книгу о Федорове сделать литературный pendant[65]. Платонов уже написан, а сейчас хочу о Заболоцком. Хотя он Федорова, очевидно, не знал, но *человек* и *природа* и пожирание как первородный грех всей природы у него так сильно, как никогда не бывало. В «Столбцах» он уперся в ужас нашего питания, тут часто собственно явлена та точка зрения цыпленка, рыбы, коровы, которых мы пожираем, — о чем я как-то уже писала. И я думаю, что вот никто в XIX веке не смог бы увидеть такого:

Там примус выстроен, как дыба,
На нем, от *ужаса треща*,
Чахоточная *воет* рыба
В зеленых масляных прыщах.
Там *трупы вымытых животных*
Лежат на противнях холодных
И чугуны, купели слез,
Венчают зла апофеоз.

Не мог никто увидеть еще хотя бы потому, что в XIX веке — и прежде — литературу делал такой социальный слой и пол, для которого низовая, собственно

бытовая сторона жизни не существовала. (У последнего разночинца Добролюбова была прислуга, что ходила на рынок и готовила еду.) Как закалывается, разделывается корова, висит ее туша, как цыпленок жарится и наряжается зеленью, извивается рыба на сковородке — с этим буквально писатель и поэт не сталкивались. Пища являлась уже на стол в препарированном виде как роскошная, разнообразная снедь. К ней было возможно, да и культивировалось гедонистически-эстетическое отношение. Было, конечно, и сочувствие к народу, возникали пустые щи и черствый хлеб как знак бедности и показатель сочувствия. Но ни Пушкин, ни Гоголь, ни Белинский, ни Некрасов, ни Достоевский… за плитой не стояли, картошку не чистили, курицу не смолили, рыбе внутренности не вынимали.

Только бедствия революции, уравнение всех, грань вымирания от голода поставила *всех* лицом к натуральной стороне жизни. (В XIX веке — социальные, исторические проблемы, психология — «надстроечные» вопросы. Символизм — туман чаяний, немало многозначительного хлама. Пришла революция — и уперла в натуральную метафизику.) Тут стало возможно и углубление, и такой необычный, новый глаз, как у Заболоцкого и Платонова.

У самого свободного гения есть свои границы и заданность временем. Просто так, по капризу судьбы, Заболоцкий невозможен в XIX веке. Его поэзия — уже следующая ступень понимания и проникновения в вещи, ступень, что определяется и углубившимся нравственным чувством, которое сознает *стыд* за самый онтологический порядок, в котором живет человек и природа, сознает и *вину* перед «несознательными» еще природными братьями, идущими к тому же человеку на пищу. Грандиозный поворот: Гоголь и Достоевский — нравственные проблемы в человеческом мире, а тут нравственные переживания перед натуральным нашим угнетенным, «униженным и оскорбленным», замороженным цыпленком, готовым ко столу. И если нет художественного прогресса в литературе, то прогресс в углублении понимания вещей идет.

21 мая 1977 г. Вечер. Суббота. В роще

Прошли полторы сумасшедшие недели: каждый день, вплоть до субботы — и сегодня также — институт и институт, le français[66] очникам и заочникам. Забалдела совсем. Вот впервые за все время вышла подышать.

В среду вечером ходила в клуб «Факел», rendez-vous[67] ювенологов. Был очередной доклад, на этот раз В.В. Куприянова: «Человек в прошлом, настоящем и будущем»[68]. Он — анатом и свой профессиональный аспект в основном рассматривал. Считает — как большинство ученых — что естественная эволюция человека закончилась, и как курьез приводил различные прогнозы о лысом головастике, без зубов, с хилым туловищем и уменьшившимся позвоночным столбом. Действительно, тут все вроде правильно: человек вырвался из природного, *невольно претерпеваемого* эволюционного ряда. Сам себя преобразует, сам хозяин. И Владимир Соловьев пишет, что человек tel quel[69] прекрасен по своей идеальной фор-

ме и будет в ней восстановлен в новой славе. И христианство, давая обетование воскресения, — в преображении неба, земли и естества — имеет в виду наличную человеческую мифологию. Ведь и создан человек по образу и подобию Божию. И мне это близко.

Но с другой стороны, подумаем… Конечно, невольно, эволюционно образованные интеллектуальные головастики — не по мне. Но ежели новый тип существования, существа не рождающиеся, не жрущие, божественные, бессмертные грядут (в чертоге Отца Небесного), ежели сами будем добывать в трудном «общем деле» то новое тело, что «будет нашим делом», по слову Федорова, то на что ему желудок, темная спутанность кишок, детородные органы, зубы и т. д.

Человек — это прекрасно, и стоит в глазах античная статуя, изображающая существо, меру всех вещей, венец развития, гармоничный микрокосм. Но ведь это *статичное* рассмотрение человека, вырванного из его действительного развития, — прекрасный остановленный миг молодого и расцветшего человеческого тела и лица. Так что в определенном смысле абстракция и обобщение. Но человек не статично, не абстрактно, а *реально*, в его текучести от детства до старости, в избывании к исходу и концу — совсем другой. И тут красота подвергается надругательству — и сильно, бьюще демонстрируется, насколько человек в своем природном качестве несет в себе не меру и гармонию, а отталкивающее безобразие и ужас. Я много езжу в метро, автобусах и наблюдаю людей. Люди, начинающие стареть, пожилые и старые — боже, как они все более отталкивающи по мере продвижения в ограниченном времени своей жизни. Дряблые синюшные тела, складки шеи, красные, слезящиеся глаза, вылезающие волосы, набухшие руки и ноги, жир животов. Их уж не захочешь ласкать и любоваться ими в наготе и лазури.

Самая совершенная красавица неизбежно превратится в омерзительную развалину. Вот и не говори, друг мой, что человек в его теперешней форме прекрасен. Нет, в ней, самой этой форме — той, что создает для нас ослепительную белизну улыбки, округлость бедер, красоту груди, волну волос, привлекательность мужества… — в ней гнездится *червь*, неизбежно разлагающий ее в гнусь и безобразие.

Так что нечего плакать. Будет другая форма, другое тело и другая *красота*. Другое ее понимание, другой идеал и образ, другая реальность.

4 сентября 1977 года

Встретила в лесу на дорожке маленького, около двух лет, ребеночка, с заплывшим глазом, грязного, в красных прыщах от каких-то укусов, в невообразимом для наших цивилизованных забалованных детей костюме, со штанами, настолько полными испражнений, что он двигаться не мог. Стоял кротко. Какие-то люди качали головами, сетовали, указывали вдаль на аллею, где якобы мама скрылась еще с грудным ребенком на руках. — Какой ужас! Что за мать! Наверное пьет. Что делать?

— Пойдем отсюда, — сказал с раздражением муж. Тут же мать. Не для того я вышел погулять, чтобы это видеть.

Действительно, зрелище угнетало сердце. Я взяла девочку за ручку, она мне ее отдала со счастливой охотностью и быстренько засеменила в направлении мамы. Нам предстала странная, молодая крупная женщина как будто под легким дурманом чего-то. Она смеялась. Я предложила ей снять с ребенка грязные колготки и подержала спящего малыша (тоже всего искусанного). Мы пошли вместе по дорожке. Я ее не расспрашивала, но по отдельным ее словам поняла: дети от разных мужчин, теперешний муж пьет, последнему мальчику всего 15 дней жизни. Я ей предложила встретиться через день, чтобы передать детские вещи и игрушки. Она с радостью согласилась. Ее старшая, Оля, освободившись от тяжелых штанов, бегала по лесу и улыбалась всем, ища ласки. Мама: «Она у меня космополитка, как выражается муж. Все ей как родные». Я: «Так в Евангелии сказано: “Будьте как дети”. Нам бы всем такими надо быть». Она: «А вы читали Евангелие? Я вот вчера только покрестила обоих, против воли всех, исхитрившись, и сразу мне стали добрые люди попадаться». Я взяла девочку на руки. Своим грязным личиком тыкается в мое, подпрыгивает от радости, вся из себя выходит, от восторга. Господи, какое лучезарное и бедное дитя. А мать как будто хочет, чтобы кто-нибудь взял себе ее девочку.

И вот распрощалась с ними, сижу на бревне, и не выходят они из сердца. Зацепили нестерпимой жалостью — и оно болит. Какое это целое чувство, как любовь, милосердие и помощь несчастным, оно может всю жизнь повести и сформировать ее. В Боге себя эти люди должны чувствовать.

10 сентября 1977 г.

Ходила день назад на 1-ую Московскую Международную книжную выставку-ярмарку. Книжный мир всей земли. Сидят издатели и рядом явно по одному-два искусствоведа в штатском. Кажется, вот рядом возможность прямого контакта — ан нет, берегись внимательных ушей!

Раздражение. Звонила Палиевскому. У него на рецензии моя книга о Федорове[70]. Как неприятно снизу вверх просительное общение! Говоришь не то, потом переживаешь, так надо было или иначе, или вообще надо ли было. Как глубоко у Фомы Кемпийского: «Всякий раз, когда я бываю между людьми, я возвращаюсь к себе менее человеком». Но ведь и грустно это. В мире, где в общении сталкиваются два смертных самолюбия и тщеславия, — действительно погибель для души. Но ведь должно быть совсем иначе: вместе и в любви. Но это возможно только в деле взаимного спасения от зла и смерти.

Сейчас для меня главное: медленно спешить, набрать содержания, внутренней силы, напора мысли и бросить в них огонь воодушевления, когда начну это выражать словами. Готовиться к своей книге о бессмертии. Читать много и думать. Смотреть в мир, жить и болеть чувством!

Как мне пока видится, *что* надо родить.

Первородный грех — в пожирании чужой жизни.

1) Первая посылка и установка: превзойти этот мир, претворить в «новое небо и новую землю». И главное тут: *убеждение*. Фейербах с его отстаиванием смерти. У него все аргументы, действительные для большинства. Их разбить.

2) Что же это за не-природный, *божественный* статус бытия? Книга должна быть ответом на недоумения и неприятие. Времени не будет. Что такое время? Вездесущность. Победа над пространством. Прозрачность и единое троичное бытие.

3) Христианство как высочайшая проективная реальность. Его опыт созидания духовного человека. Самое высокое. И вместе — попытаться *все сохранить*, даже если Бога нет. Так чтобы не было разницы. Жить и действовать, как будто Он есть.

4) И, конечно, Россия. Ее метафизика, ее идея, ее пророк. Федоров. Что такое революция? Советская Россия. В чем ее будущность? Государство — все еще форма без истинного содержания.

Ну и открытость… Надеюсь, что жизнь и вдохновение, Бог подадут.

В христианстве появилось очень сильное и новое чувство: сторона духа, сознания, самосознания и самоопределения ощутила себя как главное в человеке. Возникла тоска по будущему духовному человеку. То, к чему был до сих пор привязан род людской, — чувственность, плоть, ее радости, — было поставлено под сомнение и отвергнуто. (Впрочем, так было и у стоиков, и в платонизме, и в великих восточных религиях.) Мешает все это новому человеку, проросшему, взошедшему уже тонким стебельком духа, который легко может погибнуть в тучном черноземе плоти. Целые поколения людей — подвижники, иноки — жили и выделывали в себе нового человека.

См. «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, которого сейчас читаю. <…>

18 октября 1977 г.

<…> Произошел в моей жизни резкий поворот, тот, который для меня раньше — в силу слабости и инерции — уходил в далекий горизонт мечты. Я, наконец, бросила институт и службу. Резко, в один день. Не спала ночь и решила.

Мне уже 36 лет. Еще несколько лет — и от меня ничего бы не осталось. Организм уже и так обваливается со всех углов. Выйти из игры! Объясняю всем так: перегруженную свою телегу уже тащила из последних жил — гляди, вот-вот так оборвутся и они. Чем я могу облегчить эту телегу? Муж, дети, дом — вещи абсолютные, которые не сбросишь. А службу — можно. Теперь главное организовать четко дом и высвободить *на каждый день* время для себя и главной работы — безоглядной, существенной, без расчета на печать.

Денег будет совсем мало. Гоша говорит, как океан переплывают в лодке, чтобы доказать, что можно спастись после кораблекрушения, питаясь одним планктоном, так и мы идем на эксперимент. Копеек 40 на человека на еду (в день).

Но какая свобода! Снялись все общественные напряжения, усилие игры: надо учить, надо ходить на собрания, собирать кафедру, делать вид и т. д. Итак, au large! (в открытое море!)

27 октября 1977 г. 11 час. вечера

Сегодня утром ездили к отцу Николаю (Николаю Степановичу Педашенко[71]). Просвещенный, мягкий. Любовь, личность и без процессуально-прокурорских уклонов катехизической вульгаты (догма, авторитет, ад, вечные муки…). (Отец Николай нас крестил, вскоре после рождения Лары — всех; всю семью, шестилетнюю Настю, младенчика Лару, я ее держала еще на руках, Гошу и меня, крестил у себя на дому, он был священник уже на покое, помню, дома ходил босиком, окормлял обочинную к режиму интеллигенцию, читал и знал русскую религиозную философию и сам тянулся откуда-то из начала века, его ценили в Церкви, помню его торжественное долгое, проникновенное отпевание. Помню еще, как я с ним советовалась по комментарию к публикации федоровской статьи о Фаусте. А сейчас больше всего им интересуется наша молитвенница Лариса, раздобыла его фотографию, узнает живые о нем детали от знавших его. — *С. С.* 3/XI–98.)

Читаю некую кучу: тут и Гулыга о Канте, и публикации Чекрыгина, и сб. «Переселение душ», где представлен весь цвет религиозной философии, и Евгения Трубецкого, и Циолковского о космических эрах, на подступах еще и мемуары Берберовой по-английски и т. д.[72] Конца нет сей сласти, даже и самой вроде нужной — как себя оправдываю.

Завтра забираем Ларису. Конец недели уйдет на дом. А со следующей — ça suffit (довольно!). Начну писать.

16 ноября 1977 г.

<…> Вчера еще раз переделывала статью о Федорове для «Лит<ературной> энциклопедии», где она уже двумя ногами в могиле[73]. Отвозила к вечеру. В редакции встретила несколько старых знакомых: Володю Харитонова, Костю Черного (с ними в университете училась), Люсю Щемелеву (аспирантка Литературного института)[74]. Сначала рядили с Розиным[75] (подвижником культурного дела в нашей безнадеге), а потом со всеми. Все меня расспрашивали, и я поймала себя на том, что уже начинаю вещать и слушают.

Приехала домой, а тут Эрик Соловьев[76] на кухне сидит, ужинает с мужем. Раззадорили мы его: на свободе, мол, творим или собираемся. Ну вот и решил показать, что он тоже не только марксистско-партийным лыком шит. И выдал свой замысел: развенчать Маркса и на его обломках водрузить свою философию — правосознание, Кант, спасение уже наработанных ценностей. Маркс у него — тотальный нонкомформист, для кого самое одиозное — существующий порядок. Нашел для себя чернь, охлос, плебейство и подонство рабочего класса как армию партии, оружие своей философии. Говорит, что презирал Маркс свою

армию, хоть и льстил ей, курил фимиам теории и сам в нем дурел. И революция произошла в России, потому что здесь были эти деклассированные массы черни (как в Китае сейчас). Встает в Эрике аристократически-жестокий, высокомерный идеолог: знайте свое место, закон, работный дом!

А у меня другая революция, та, что у Платонова. Его «прочие», безотцовщина — вот он люмпен, разлюмпен и перелюмпен. Но ведь и на них надо христианский взгляд бросить и души их утишить и спасти. Дать им «отца» (Ленина, Сталина у Платонова). Русская революция — революция, рожденная и состраданием к мучениям этого люмпена и шире всех, кто внизу.

26 ноября 1977

<…> Вот сейчас часов 10 утра. И вышла я из гнуснейших суток. Вчера утром встала ничего, можно было бы сесть за стол, так подцепил телевизор, сначала английский язык (по учебной программе), потом пошло, потом мне звонили, и я ввязалась в дела вокруг издательства «Мысль»[77]. Надо забрать рукопись — бесполезно ведь! — а редактор — не надо, давайте заявку, там посмотрим… Начинаю ввязываться в социальность — чувствую свою теперешнюю взвешенность, и вот пришла мысль поковырять опять ин<ститу>т философии, раззвонилась, ангажировалась на новые звонки и сотрудничество с ними (внештатное), а на что оно мне, потом — в «Мысль», потом за Ларой, а она полубольна и рекомендуют подержать дома и обследовать, потом — магазин и с ней домой. И маразм крепчал. Дети не засыпали, меня держали рядом, потом я, ожидая их крепкого сна, включила телевизор, завязла, легла спать в 12, заснуть — несмотря на отчаянные способы — не смогла часов до 3-х, а в шесть с половиной уже Лара бежит, дрожит, не спит, ко мне под крылышко. Вот образец, вот безволия достойные плоды!

Что мне остается? Спасать этот год, как единицу моего немногого оставшегося времени жизни. Какое мучение бегущим и ускользающим временем мне выпало! Все-таки в этом году были хорошие островки. Зимой, в Голицыне — статья о «Чевенгуре», весной — в мае-июне — Федоров и пролетарские поэты, Заболоцкий[78]. И вот сейчас, в декабре, лечусь, гуляю, отдыхаю и начитываю для работы зимой, когда установится погода, станет лучше физически и можно будет писать. Сбросить этот год достойно! — последний месяц, то самочувствие, которое он даст, решит вкус всего года. (Здесь же, на обороте странички, моментальный — в секунду — рисуночек Лары: некий прямостоящий разумный котик. Сидит рядышком, не отходит, все боится неожиданного вторжения какой-нибудь нечисти.) (Как она сейчас радикально забронировалась от этих страхов, и метафизических, и социальных — всегда боялась и людей, их суда и мнения, «Тише, тише, мама!» — ее вечные предупреждения на улице — в своей такой тотальной воцерковленности, нашла себе самую защищенную приветную гавань от всех ветров жизни и от внутренних смущающих, мучительных вторжений!.. — *С. С.* 5/XI.98.)

Читаю «Жизнь Иисуса» Ренана. Вернее, еще только во введении, но мысль бежит к центру. Главное для меня (для всех) Христово воскресение, что стало осью человеческой истории. Если представить, что его в действительности не было, поражает, какая огромная религиозная потребность в нем двигала всеми участниками мистерии похищения тела, последующих восторженных видений, подготовленных экзальтаций, ожиданием, чаянием женских душ. Буквальность *воскресения*, даже если она подверглась сомнению, ничего не убавляет в самой метафизичности факта, более того, если его не было, но в него поверили, это еще большее свидетельство страстной жизненной необходимости для человечества поставить перед собой на века эту лучезарную икону своего идеала, этот символический проект своего глубочайшего чаяния.

1 декабря 1977 г. Метро. 10 час. вечера

Возвращаюсь с телецентра, где участвовала в записи передачи наших ювенологов. Впечатление и настроение не блестящие. Я там была как заплата из крепжоржета на мешковине. Несколько докторов наук, практиков — продлить жизнь до ста лет — вина не пить, не курить, есть правильно и живи, выполняй планы пятилеток! А я, как вакханка и пророчица, все пыталась о трагизме смерти, о Федорове, о Купревиче[79], бессмертии и воскрешении. Один из участников — самый прагматический дуб — так совсем рассердился. Не знаю, что они сделают из записи, как ее обрежут и смонтируют, пойдет ли в эфир, пока предполагается для молодежной ленинградской передачи «Лабиринт». Но ощущение у меня четкое: напрасно согласилась и в это дело влезла. Потеря нервов, голова болит — а в результате пшик, даже если выйдет — скверный анекдот. Ведь я восклицала там нечто фантастически-невмещающееся, к тому же не дали ни развернуться, ни тем более не было никакой возможности — сказать и сделать *по-настоящему*. А раз нет, то и вовсе не надо. Надо мне чистую и крайнюю идейную позицию занять. Иначе — себя не узнаешь, сам себя оболгешь.

30 января 1978 г.

В это время я всегда последние годы была в каком-нибудь доме творчества. В этом году иначе. Должна была поехать на две недели, но уступила мужу. Сама захвачена была суетой по поводу юбилейного вечера Федорова в клубе «Факел» под патронажем ювенологов[80] и впервые в обозримом космосе. Пришлось все делать самой: собирать аудиторию, вводить новых выступающих, ездила за город к Ольге Николаевне Сетницкой, сама несколько нервничала: уж больно всякого значительного люда собиралось придти. Ну вот все и произошло. Народу было столько, что многие и в клуб зайти не могли (в том числе не пробился кто-то из выступающих), стояли битком, в дичайшей духоте, в пальто, как в церкви на Пасху, — сказал Бочаров. Форточки снаружи были усеяны слушающими головами. Я чуть не падала, но собралась и минут 30–40 кричала в зал (не было

микрофона). Со стороны все очень хвалят. Муж говорит: как пророчица. Наш ветеран-ювенолог Маслова[81]: после Луначарского ничего такого талантливого и вдохновенного не слышала! (Помню, что выступали еще Карякин, Костя Кедров[82], Боря Славин, вылез и какой-то ивановец со словами о близости учения Федорова к тому, что проповедывал Порфирий Корнеевич Иванов[83]. Атмосфера была необыкновенная[84], разогнала всех только пожарная инспекция какая-то: мол, опасно такое перенаселение, надо бы добавить вкупе с искрами энтузиазма, что так и пронизывали душный тот воздух. Был портрет Федорова, написанный какой-то художницей, знакомой Кедрова, за ночь, была в нем какая-то мистическая выразительность, несмотря на возможно плохую живопись. Мне его после вечера подарили, он у меня долго висел в комнате на Волгина. Когда Саша Романов[84a] у меня останавливался, то жаловался, что не мог уснуть в моей комнате, все ему казалось, что Николай Федорович с портрета так и пронизывает его взглядом. У меня тоже было такое впечатление часто по ночам, особенно при луне, но я отгоняла подступавшую жуть бесконечной любовью к оригиналу. — *С. С.* 10/XI–98). Но хвост потянулся муторный: как все в публичном обнаружении искажается! По совсем полной истине сказать с советской трибуны нельзя. Да и то, что говорится, вкривь и вкось понимается. Молчание, молчание и труд. <…>

31 января 1978 г.

Я делаю новый выбор. Отмечу сегодняшний день как день поворота, кончается мой «легальный» период, как всегда короткий в России. Пошли гонения. После федоровского вечера в «Факеле» Кривилев Иосиф Аронович[85], наш доктор и профессор антирелигиозной пропаганды <…> пошел с доносом. И, может, не он один. (Вспоминаю, как меня вызывали компетентные товарищи и расспрашивали-допрашивали, требовали объяснений, в качестве вещественного доказательства предъявляя мне магнитофонную запись моего же выступления, каких-то там крамольных мест. Происходило это на какой-то квартире, куда пригласили — очевидно, обычная конспиративная квартира органов. Отбивалась, как могла, апеллируя и к Циолковскому, и еще к чему-то «актуальному» и «прогрессивному» в учении Федорова. Отстали… — *С. С.* II/XI–98.)

Что заставляет меня трепыхаться, где завяз мой коготок, в чем моя «страсть», не дающая мне свободы и покоя? Конечно, в этой книге о Федорове и Платонове, которую я надеюсь издать и которая ходит сейчас по мукам бесконечного рецензирования[86]. Все боюсь ей вреда, страдаю, предвосхищаю ожиданные и неожиданные удары. Вот еще один, и он может быть окончательным.

Что же надо? Отказаться от «страсти», вытащить коготок и сделать смелый выбор. Писать по самой доступной мне истине и правде, собирать и обрабатывать материалы Федорова и его последователей. Единственные святые тут люди — Сетницкая и Крашенникова[87]. С ними и только с ними пока — в тесный союз. И безоглядное слово убеждения — людям. Отказаться от надежды на компро-

миссное протаскивание в печать. Объяснять — и власти в том числе. То есть не замыкаться в келье — вернее, замыкаться настолько, чтобы незамутненно думать и писать об еще неясном и нерешенном — а наружу нести слово. Серьезно — к России, людям и миру. Надо жить и служить абсолютно серьезно, с полной отдачей и верой. Изгнать скепсис одинокого мудреца — против толпы обывателей и злостных невежд. Ты знаешь свой путь и спокойно, уверенно — несмотря на все возможные препятствия и муки — иди!

15 февр<аля> 1978 г.

Несколько дней назад приехала в Малеевку, в третий раз. <…>

Тут народу много, затеряться в одиночестве легко, большинства я не знаю, в комнату никто ко мне не вламывается, в этом смысле спокойно. Появилось несколько знакомых. Семен Иванович Шуртаков[88], «деревенский» писатель — ничего его не читала — шестидесяти лет, но это номинально, на вид гораздо моложе. С первой минуты подхватил мои вещи и донес, гуляем, он из «русской партии». Несколько скучный, за линию не выходит. Для оживления — цапаюсь.

Игорь Золотусский[89] — очень мил, похож на Эрика Соловьева, интеллигент, мягок и независим. Немного гуляла и говорила с ним и его приятелем Юрой Томашевским[90].

За столом Исаак Наумович Крамов, пишет о Платонове среди прочего. В свое время вытащил из забвения Ларису Рейснер, он мне интересен своими знаниями фактической стороны жизни Платонова[91]. <…>

Начала писать. Кое-что получается. Но большого подъема — особенно по утрам, как вот сейчас, пока нет. Не очень сплю <…> «Болтанка» в погоде, то совсем уже к нулю задавило небо, а сегодня резко к 12–15 градусам, но небо бессолнечное и по-прежнему нелегкое. <…>

Чуточку заглянула в дневники Пришвина. Как спасается письмом, ежедневными, отточенными упражнениями, и часто так истово, так жречески.

16 февр<аля> 1978 г. После 11 час. вечера

Какой же ответ в своем дне можешь ты дать? Встала утром с больной головой, с начавшимися menstrus[92] — такая была физика. Выпила таблетку после завтрака, крепкого чая и написала письма домой. И пошла — malgré «les anglaise» (несмотря на «англичан», во французском есть идиома: «англичане высадились», так древним историческим событием назвали женские месячные — метко и остроумно. — *С. С.* 11/XI–98) на лыжах. Это, наверное, был самый чистый и прекрасный момент дня. Висела дымчатая мгла, прорезаясь белыми хлопьями снега, шла через поле, вдали деревни, потом лес — чудный, с тяжелыми, осевшими от белого груза соснами и елями, потом — березки, тонкие, рассеребренные красавицы — и я одна, совсем одна. Потом обед, немного полежала и часа два посочиняла. Это

тоже было хорошо. Хотелось продолжить. Но впереди был ужин и совсем другой стих. Оделась, накрасилась и сменила, увы, кожу на блестяще-суетную и беспокойную и куда-то, с кем-то, о чем-то… Пошла в кино, ушла оттуда через 10 минут. И тут — забавно. Одновременно со мной ушел старик, которого я еще раньше замечала. Такой сановный, лицо грубое и сильное, старого разбойника. Вышли, сказали несколько фраз и пошли по дорожке.

Я: — Да лучше уж почитать, чем глазеть всякую дрянь.

Он: — А что вы читаете?

Я: — «Кащееву цепь» Пришвина. А вы знаете эту вещь?

Он: — Нет, не читал. Я вообще читаю только детективы. «Сержант милиции»[93], Коллинза, Честертона и т. д.

Я: — А мне времени на них жалко. И интереса нет. Даже более художественная литература и то не привлекает.

<…>

Он: — А на что вам времени не жалко?

Я: — На умную литературу.

Он: — Ну мне все это скучно. Иногда лишь по долгу службы читал…

Я — А чем вы занимаетесь? Тоже пишете?

Он — Видите ли, вы вряд ли меня знаете, я — литературовед. Книг у меня вообще-то много, но сейчас служу в основном, а не пишу. Щербина[94] моя фамилия.

Да, уж здравствуйте-простите, как не знать! Щербина, советский столп и столб, душитель и мастодонт!

Погуляли. Забавно, про себя не объявляюсь, тем более что жена Гачева, его-то он гнал изо всех сил… Рассказывает о себе. Из кубанских казаков, еще дальше — из Запорожский Сечи, атаманы. <…> Не от земли, почвы, тяжкого, благородного труда, а из лихого, разбойного, хитрого народца занесло вот одного из Щербин — говорит, известные в роду были ухари-прижималы — атаманствовать на литературу, кого грабить, кого шельмовать-убивать, кого, из своих, выводить в большие люди. И, Боже мой, какой тип человека! Интересует его только плоть и сласть жизни, и власть, чтобы кусок достался побольше и посочней. Какой там дух, и культура, и вкус, и идеалы! Все ему скучно. Детективы! Про начальство много рассказывал, директоров своего института (ИМЛИ, где я сейчас уже дослужилась до главн<ого> научн<ого> сотр<удника>. — *С. С.* II/XI–98.) Анисимова, Сучкова, еще про Самарина[95] — и с той лишь стороны, кто как пить умеет и тянет ли их на баб. И сам намеки делал, что он, слава богу, обделен пылом и возможностями не был и не пропускал смазливых девочек и бабенок. И единственный идеал, служилый, да чтоб человек был большой, крепкий, внушительный… Служу, служу — все повторял. И не страшно большого хочу, мол, будет пенсия, что бы ни случилось, рублей 1500 ежемесячно. Хватит, академика не надо, а в член-корр. прошел, темной лошадкой, пока более крупные и видные бились, сшибались. И еще, Солженицын все наврал. Не так уж и плохо в лагерях было. Сучков

рассказывал и издевался над «Архипелагом». Случайно о Платонове зашла речь, небрежно и презрительно: «Знал я его, ходил ко мне в издательство, пьяненький вечно, что-то упрашивал». Я: «Но ведь сломленный был человек, потому и пил». Он: «Знаем мы их — сначала пить начнут, потом и ломаются. При туберкулезе — говорят — и то пил». Как о жалкой скотине, брезгливо.

А мне как раз до этого Крамов читал небольшую работу о Платонове[96]. Как он пить стал после того, как вдруг сын пропал, несколько дней искал его по больницам и моргам, а потом узнал, что посадили его. Утонченно, садистски — в отца метили, всадили кол и заворочали во внутренностях — такое без наркотика не снесешь! И еще как последние годы с постели не вставал: открытые каверны. «Семья Иванова» в «Новом мире» — и посыпались удары, страшные, в самое мягкое место, первый Ермилов[97], а за ним все: бить его, ату, ату! Жена прятала погромную статью Фадеева[98], оставалось у Платонова к нему тепло, так занес приятель. И тут пошла горлом кровь, сильно. Этого уже не снес. Кончаться стал вовсе.

Гляжу на Щербину: вот чума на российский дух, удушение народными кулаками. Попанствовали всласть и продолжают последние капли долизывать и кого-то еще гробить склеротическими клешнями.

25 февр<аля> 1978 г. Около 12 часов дня

<…> О Платонове (из общения с Крамовым)[99].

Не входил ни в одно объединений. Только «Конотопские вечера», собрание нескольких писателей, читавших друг другу свои вещи. Тут и Гайдар, и Платонов. Слово Платонова ценилось. Знал его Иг<орь> Сац.

На экземпляре хроники «Впрок», который читал Сталин, его резолюция: «Сволочь!» Перед войной (примерно в 37–38 годах?) забрали сына, 16 лет[100], прямо на улице. Андрей Платонович искал его несколько дней по больницам, моргам, городу, пока не узнал, что сын арестован. С этого момента стал пить. Пил по «деревяшкам» (как сейчас бы по «стекляшкам»), не закусывая. Редко выходил во двор, среди студентов Лит<ературного> института ходил как дворник, мастер. Последние годы не вставал. Только родившуюся дочь к отцу не подводили, чтобы не заразить, не давали трогать.

Рядом — жена, ночами просыпался, все ее окликал, боялся, что умрет, не простившись с ней. (С женой познакомился в Воронеже. Гуляли часами.) Открытый туберкулез с войны. Умер в 1951 году. Несколько человек всего провожали покойного.

4 марта 1978. Около 7 часов вечера

Сегодня встала часов в семь утра. До завтрака посидела за столом. Вторгся Пришвин, и надо его обдумать. В главной своей работе[100a] поняла, как мне двигаться, и остановилась поэтому. Надо дальнейшее развитие своей мысли дать как толкование на евангельское обетование «нового неба и новой земли», через са-

мое глубокое определение конечного идеала, в Евангелиях, Посланиях ап. Павла и Апокалипсисе — идти к Федорову и к себе. Здесь у меня «Новый Завет» только по-французски, начну эту работу дома. Как хорошо, сладостно предвосхищаю свое погружение.

А сейчас тогда надо сообразить «пришвинский хвостик»[100б]. Тут библиотека, есть шеститомное издание. Жалко, конечно, отрываться от своего. И, может, напрасно, есть у меня сомнение. <…>

[18 апреля 1978]

<…> Стала думать над Новым Заветом. Схожу в себя, в чистоту. Всякие внешние неприятности — вроде «философской» комиссии из Горкома, что нас, всех выступающих, вызывает на предмет строгого ответа за федоровский вечер, — меня не волнуют. Укрепляюсь и утверждаюсь; от книги, которой меня может держать социум в некотором страхе и повиновении, внутренне отказалась. Сейчас сижу на солнышке на соседском дворе и вот уже раскрываю «От Луки святое благовествование».

Примерно 19 апреля 1978 г. 11 час. 30 мин. утра

<…> Институт международного рабочего движения мне рецензии не дает. (А дело было так, что оттуда мне под новый год звонил их директор с восторгами по поводу моей статьи о Федорове в «Прометее». Первое время был увлечен идеями и хотел чуть ли не в идеологию института вносить. Там же работал и Карякин. — *С. С.* 5/1–99.) Забоялись. Скорее всего, пойдет назад белый бланк с отказом. Скандал. Сама сюда издательство («Современник», где мурыжилась моя книга, окружаясь множеством рецензий. — *С. С.* 5/1.99) натравила. Выходит, что сферы трепещут и не рискуют, что уж говорить об издательстве. Много это требует моего времени и приводит к головной боли и разрушению. «До последнего кодранта» — по слову, отымут, раз вступила в зацепление. И вот уже внутренне совсем готова рукопись вообще забрать и окончательно сделать выбор: никаких соглашений с истиной и страстью веры. Хотела послужить народу, дать ему — пусть не в самой полной истине — учение его пророка. Но и так я не уверена: если с искажением, пусть малейшим, то неизвестно, туда ли увлечешь «малых сих». Федорова легко свести к новой коммунистической казарме, большевизму бессмертия. И получается это, как только прямо и громко не говорится, что это христианство, активно понятое. А такое — в любом случае — в советской книжке не скажешь. Потому:

1) Еще немного и «как бы в рассеянности» пошевелюсь, чтобы закончить дело с рецензией. Так или иначе.

2) Объяснюсь в издательстве. И никакого просительства, никаких нажимов. Как сами хотят. А я уже отказалась.

Если не выйдет, то, может, к лучшему. Если для истины и блага точно к лучшему и это я пойму, то сама брошу. А если иначе, то окажется, что только для

собственного тщеславия. И откажусь. Не мой это путь, а я на него как будто все поглядываю и шаг туда сбивается. Главное, Светик, спокойно.

[22 апреля 1978]

Samedi, 10 heures du matin, jour de naissance de Lenine, tout le monde participe à ce qu'on appelle «субботник», 22 avril, je crois. Moi, je me dirige vers la bibliothèque pour lire le 3-ième volume de Fedorov (Суббота, 10 часов утра, день рождения Ленина, все участвуют в том, что называется «субботник», 22 апреля, я полагаю. Я же отправляюсь в библиотеку читать 3 том Федорова[101].)

Вчера была комиссия горкома, два советских философа из Академии общественных наук. Уровень — просто смехотура! Один — в серьезную шутку, от которой волосы дыбом: «Мы люди партийные; если прикажут, то готовы жить хоть до 300 лет, а то и вообще стать бессмертными». Вся крамола — в моем выступлении на вечере. Прослушивали пленку, запись была из зала. Голос у меня там почти как у старой Анны Ахматовой, читающей свои поздние стихи. Прильнули коммунисты к магнитофону и старались уловить состав идеологического преступления. Сидели четыре часа, вышла с головной болью и с мрачной решимостью.

Потом был день рождения у Миши Эпштейна[102]. Сегодня спала часа четыре с половиной. Встала в шесть утра и вот — malgré tout[103] — оставив Ларку одну во дворе ждать до 12 Настю из школы, поехала начать переписывать 3 том «Ф<илософии> о<бщего> д<ела>».

Собственно, что у меня уже есть? — Две книги и пишется третья. Первая — о Федорове. Ее надо очистить от ржавчины всех компромиссов, кое-что переделать, тоньше выписать христианско-религиозный слой. 250 с. Вторая — Платонов. 150 с. Третья — «Философия бессмертия» пишется[104] и за лето я ее в главном окончу. За весну — перепишу основной массив 3 тома, можно будет публиковать. И au large, на волю в пампасы!

Tout en restant ici, essayer de publier loi-bas.

(«Оставаясь здесь, пытаться публиковаться там» — франц. — 3 августа 2000).

Научиться переживать неопределенное время, которое труднее всего дается моим нервам. Мне хорошо только когда или — или. На качающемся канате — туда-сюда — не выдерживаю и лучше уж бросаюсь вниз головой на любой твердый пол.

24 апреля 1978

Шестой час вечера. Сижу перед кабинетом директора Института Международного рабочего движения, жду Тимофеева[105]. Намаялась до предела со своей рецензией (на рукопись первого варианта книги о Федорове «На пороге грядущего», что маялась уже не один год в издательстве «Современник». — *С. С.* 3 августа 2000). Все тут боятся, не подписывают, вот — очевидно, зря — последняя надежда. Книги с собой нет, сижу, скучаю. Решила хоть пописать. А как начала, то — связь с расслаб-

лением от моих записулек — спать захотелось, морда вытягивается — тоже ни к чему перед встречей. Вот уже и слезы из глаз потекли и с ними остатки краски — за весь день обшелушилась, что от меня останется, когда предстану пред очами?

Господи, какая ужасная, убийственная, не-правильная, не-моя идет жизнь. По казенным учреждениям скитаюсь, какие-то бумажки сочиняю, нервничаю и ношусь по городу. Ну что ж, это последнее мое *дело*. Больше такой пошлости, такой недостойной суеты *не будет*! Сейчас есть пафос — доделать, пусть уже почти мертвое дело — но уложить его в папочку, и больше дел не будет, не будет!

Ну вот уже и полночь, я дома. В десять часов приехал муж, пожаловалась на жизнь. Измождена не только до предела, но и далеко за предел, si c'est possible[106]. Тимофеев подписать отказался, оставил все у себя еще мурыжить. Кто-то услужливо ему объяснил, что тут дело патриотическое, национальное, славянофильское и т. д. <…> Ну и урок мне вся эта история! «Не верь, не бойся, не проси!» — золотые слова: все тебе перекрыто на советчине. Тут вроде проскользнул, так нет, на этом повороте или на другом, но вляпаешься. Обложилась она прочно. «И нет ли где трещины: щели?» Нет и не надейся. Себя не ругай, что, мол, могла сделать то, а не это, и все было бы иначе… Иллюзия!

7 мая 1978 г. 2 часа дня

<…> Мое безумие — в переживании времени как уходящего, которое я недостаточно плотно и осмысленно заполнила делами. То, что просто выражено: *времени жалко*, а мне жалко до нестерпимого самомученичества за якобы его разбазаривание. У мужа другая несколько форма «болезни»: ему хочется одновременно пережить несколько судеб, осуществить разные возможности — в сущности тоска по недосягаемой вездесущности божественной. Есть люди, которым хорошо в шкуре человека, а мы страдаем, что не боги.

14 мая 1978 г. 12 час. дня

<…> Да, вот что еще для себя давно пора твердое правило ввести в работу. Как у мужа. Одно, но обязательное. Оно меня держать будет, опора и для нервов, ибо удовлетворенность и порядок от него произойдут. Ведь как получается: все подбрасывается мне литературка, то одна, то другая, то менее, а то и совсем важная, вот как сейчас работа Горского «Огромный очерк»[107]. Я начала ее читать, а собственная работа стоит. Вот и надо, как муж, обязательно, лучше сразу с утра, каждый день, не менее 2–3 часов, пусть двух, — заниматься своим, а потом уже, как выйдет, тем же чтением, обогащением себя чужим. <…>

8 июня 1978 г. 15.30 мин.

Ну что ж, открываем новую жизнь. Еду в деревню, в брюках, в летней шляпе, с рюкзаком — и чувствую себя как в кино, героиней Гайдара, «старшей сестрой»[108]. Так она мне представлялась.

Несколько дней была одна, Настя — у дедушки, Гоша с Ларисой уже отбыли в деревню. Я осталась рукописи дочитывать, допереписывать, дом убирать, стирать. Этим и занималась, ну, конечно, ничего не кончила: ни рукописей, ни дома, хотя то и другое делала честно. <…> Четыре года назад, когда мне летом исполнялось 33 года, я также ехала в деревню <…> ехала на «большие дела», на осуществление. Это было важное лето, когда я написала своего «первого Федорова»; и очень хорошо изнутри чувствовала себя. И сейчас у меня очень похоже, но еще *крепче*. Будет *37 лет*. Цифра — не рядовая. Так же празднично, провиденциально переживала свои «33». И еду уже осуществлять свою «Философию бессмертия». <…>

12 июня 1978 г.

Вчера вечером уехала на несколько дней в Москву. Рукописи еще подписывать, отдать на машинку материалы для публикации из 3-го тома Ф<илософии> О<бщего> Д<ела>. <…>

Сегодня 19 августа, 6 по-старому. Преображение Господне

И послал Бог такой чудный день. До этого, совсем недавно, и пасмурно, и холодно, и ветер. Сегодня же — тепло и главное — удивительно тихо и благостно. <…>

Боже, как хочется жить в такой день, долго, долго… Вот сейчас, когда уже к сорока идет, через четыре дня исполнится 37 лет, главная задача — выжить и жить и так стараться, чтобы еще возрождаться, и не раз. А страх смертельной болезни охватывает уже реально, а не юношески-метафизически. Надо силы беречь, не доводить себя до изнеможения и вместе с тем развивать эти силы, расширять и поднять все возможности, чтобы не ушли они в смерть неиспользованные.

Работу дописала я до точки, перед которой все, что надумала еще раньше в последний год и что мне как-то изложить. Эти уже готовые результаты помешали мне начать свободное, широкое продумывание, наступательный охват темы. Что же теперь здесь, в деревне, еще делать целых 10 дней? Очевидно, надо вернуться к началу, переписать все окончательно и оставить как готовый кусок. Что еще надо? Надо дать самый для меня возможно краткий и глубокий пересказ федоровского учения, а не ссылаться на предыдущую работу. Здесь уже все должно быть ясно. Далее, надо написать главу: «Божественное бытие» и заново продумать Троицу. Как быть с Россией? Очевидно, «Оправдание России» надо в отдельную книгу, а не во 2-ую часть. Впрочем, посмотрим.

А сейчас уже немного осталось лета, укрепись телом, успокойся и готовься на долгое жизненное и творческое дыхание! Не поддавайся природному, наследственному року!

Сегодня я с Ларисой одна, Гоша пошел за 12 км, к деду Никите[109] в Вороново. Жив ли еще добрый деревенский гений нашей первой деревни (Щитово), начала

нашей семьи, маленькой еще Настеньки — Лары тогда еще на свете и не было. Пойдем сейчас с Ларкой в барский сад, впустим еще благодати солнца и тиши. Сейчас около пяти вечера. А потом за крыжовник, обрезать хвостики, готовить для варенья — такова сегодня жизнь.

20 августа 1978 г. 10 час. утра

Вчера ночью долго не спали. Говорили с мужем. Планы, я про то, что чувствую себя призванной вывести на свет незнаемый пока миром, теряющийся в русском тяжком историческом грунте ручеек федоровского духа, всех следовавших за ним, думавших, писавших, погибших… Сколько имен, судеб, рукописей! Нужен и фонд, и журнал, и публикации особой библиотекой. Помечтали о Швейцарии, свободе, деятельности. *Надо!*

(А вот сейчас вроде нежданно дожили до формальной свободы образовывать и фонды, и журналы, и любые книги за свой счет издавать, да общество поманили морковкой сиюминутных удовольствий и разнузданности, к тому же ограбив всех почти поголовно и лишив всякой духоподъемности и идеализма. Пожалуйста, издавай, кричи, да кто тебя услышит и прочтет, кроме все той же узкой кучки, да и она скорее потянется отвлечься на газетку, на клубничку, на ужастик! Вот и я на несколько лет ушла в литературоведение — конечно, литературу просвечивала все той же федоровской оптикой, но все равно это не самое главное. Есть и Федоровский музей-библиотека, но опять же при детской библиотеке с заданным правилом *умаляться* под их нужды. Но все равно чувствую, что, может, и я виновата в некотором охлаждении коллективной температуры семинара, надо по новой самой мне энтузиастически разогреться и других зажигать, вообще с нового года, что начнется в сентябре-октябре, принять ближе к сердцу музей, бывать там больше, заняться новым сборником Чтений, вторым изданием книги о Федорове, и как выйдет последний подготовленный Настей том, самим привлечь к этому эпохальному изданию внимание газет и журналов. — 9 августа 2000.)

Встали рано, вот сейчас Гоша рвет крыжовник, будем топить печку, варить варенье и т. д.

16 октября 1978 г. 7 часов вечера

Прошло около двух месяцев жизни. В деревне неделю еще заново переписывала готовый кусок книги, но больно большой получился, за 100 страниц, потом нагрянули жить к нам Соловьевы, вместе не выдержали и тут же сбежали сами раньше намеченного в Москву. Весь сентябрь был сугубо домашний, Лара сидела дома и меня «мучила». Переделала вступительную статью и комментарий к публикации 3-го тома «Ф<илософии> о<бщего> д<ела>» для «Контекста»[110]. Выступила в самом начале месяца в «Обществе охраны памятников» с лекцией «Федоров и Толстой» для секретарей местных отделений. В основном они хлопали ушами, некоторые делали рожи. Но пришли из Рукописного отдела некоторые

мои доброжелатели, был Борисов[111]. С ним после лекции зашли к Гуле — протоптанная уже траектория столичного удобного центра. Согласилась в декабре выступить о Федорове, его идеях «отечествоведения» у них на Чтениях[112]. Это с афишами и народом. Как Николай Федорович в свое время радовался и надеялся, когда узнал о предстоящей лекции Пясковского в Историческом музее на тему «Как мыслил себе воскрешение Вл. Соловьев»[113]. А тут уж прямо о нем и его идеях и проектах. Но разве мир так просто сдвинешь? Кипит, волнуется несметным множеством мнений, азартов, учений, «пророков»… Еще из дел: довершила переписку готового куска и стоп! Надо надумывать, наживать дальше! <…>

Была у Ольги Николаевны Сетницкой, ездила к ней в Любимовку, приезжала и Катерина Александровна, дала читать «Смертобожничество» и поэмы Сетницкого[114]. <…>

19 октября 1978 г. 12 час. ночи

Вчера Гоша уехал в деревню. Интересно, как вырастает во мне волевой импульс, когда я одна и больше сама собой, а не под сенью «папочки». Вот я включаюсь в ритм дела, осуществления. На сейчас, на какой-то период — выведения в свет того, что уже сделано, надумано и написано. Вчера вечером долго не спала, раскидывала… заснула часа в три ночи. Утром переборола себя и поспала подольше.

Днем написала письмо зав. отделом критики журнала «Север»[115]. Звонила по телефону и соображала, как действовать. Для меня в моей ленивой опущенности сейчас это необходимо. Вот некоторый план волевой мобилизации:

1. С Болгарией поддержать отношения. Написать Цветкову[116], узнать, как дела со статьей «Толстой и Федоров».

2. Написать в «Литературну мисль», предложить им статью о Платонове. Передать ее можно через Бригитту[117].

3. Сделать газетный дайджест о Толстом и Федорове для «Лит<ературного> фронта»[118].

У нас:

1. Прощупать тям-сям. Можно ли что в «Новом мире», завтра с Камяновым по телефону. Сходить в «Москву» и «Октябрь», позвонить Кожинову, посоветоваться, куда пристроить статью о Платонове[119].

2. Все же сделать вариант статьи о Заболоцком для «Литературной Грузии»[120]. Если у них не пойдет, еще куда-нибудь.

3. Позвонить Михайлову: что можно предложить для «Лит<ературной> учебы»[121].

4. Позвонить Селезневу насчет ЖЗЛ о Федорове[122].

5. Лощицу о Чекрыгине для следующего номера «Прометея»[123].

Посуетиться, посуетиться, неделю-две-три, месяц, а потом в «Голицыно» — продолжить основную работу. Да, еще забыла: для Еревана тезисы доклада «Федоров и Брюсов»[124]. Несколько дней в библиотеке поработала на этот сюжет.

24 октября 1978 г. 12 часов ночи

Выстраивала последний раз список дел, кое-что начала, другое — сразу провалилось. Последние дни были неплохие, крепкие. Стала регулярно ходить в бассейн, плавать. Это несколько держит мою голову.

Читаю Брюсова. Со стороннего взгляда так легко человека хулить, осуждать, уничтожать. Стало bon ton[125] ругать Брюсова: и не поэт истинный, и человек жесткий, по трупам ступал, и все это смехотворное обращение в коммуниста и деятеля Наркомпроса. А когда внутрь войдешь, проникнешься, совсем по-другому человек встает: серьезнее, глубже, трагичнее — так и с ним. Готовлю тезисы к Чтениям в Ереване.

Сегодня мирно с Гошей перед сном смотрели по телевизору инсценировку «Двух помещиков» Тургенева. <…> А потом ворвался в разгар телепостановки Борисов. Выложил короб деятельных новостей: и афиша моего выступления в Знаменском соборе у него уже дома висит (а я и совсем о нем забыла). Должно быть 19 декабря[126], и билеты есть, и он со Светланой, авторшей фильма о Федорове, которая меня в нем снимала[127], планируют на два года цикл лекций, чтения по теме «Федоров и русская культура». К себе зовет, прикидывать, темы соображать, распределять и т. д. Опалил мое спокойное уединение горячкой, лихорадкой. Стала тут же волноваться, как мне выступать предстоит, что говорить, кого звать… Нехорошо это. Голова заболит опять, начну впустую прогорать. Вот и взяла этот листок, чтобы успокоиться. До начала декабря я *не должна* вообще думать об этой лекции. Так потихоньку собрать по «отечествоведению». А само содержание буду соображать только в *декабре*. И — спокойно — только дело, о себе не думать, как ты будешь выглядеть, как и что скажешь, какое впечатление и на кого произведешь… Все эти недостойные эмоции кинодебютантки задушить в зародыше! Как самого Федорова *точнее*, *ярче* донести — только это Дело, дело трудное и суровое. Аудитория — кого пригласить, как перед вечером в «Факеле», на что ушло столько сил и волнений, — меня не волнует ничуть. Перед самым выступлением приглашу несколько человек — и все. <…>

25 ноября 1978 г. Около часу ночи

Сегодня день хозяйственный, с утра написала два письма, деловых: одно — Рогощенкову, другое — Валерии Дмитриевне Пришвиной[128]. Потом отправила бандероль с книгами, ждала, пока вставят молнию в старые сапоги (втридорога, «налево»), по магазинам и домой. Вечером — Лара из сада, носила всем под телевизор еду, час — пока они глазели очередной шпионский ужас, почитала «Незабудки»[129]. Потом звонил Борисов, приглашая завтра на плов отметить годовщину смерти Ник<олая> Фед<орова> Будут Барановы[130]. Пойду, и потому пришлось до половины первого стирать себе тряпки. Не в чем и «выйти». Засела совсем дома, уже ряской и тиной затянуло, только домашняя затрапеза в ходу. Сердце чуть держится после ангины, вот от стирки затрепыхалось и останавливается слегка. Ну, ничего, не сосредоточивайся! Сейчас спать. Еще почитаю полчаса.

Пришвин не дотянул до «безумия», как Платонов. Горький на первого реагирует восторженно, перед вторым — в тупик и только лепечет: «язык интересный». Это я письма его к обоим перечитывала в «Лит<ературном> наследстве»[131].

Пришвин — прекрасен, но слишком писатель, «клерк», профессионал, оригинальный и отличный, а Платонов — гений и действительно, новое слово безобразно, не вмешиваясь, лезет из его горла. Впрямую, самую глубокую русскую метафизику выволок. А Пришвин все выделывает из себя — мастер «moments parfaits»[132], «сердечной мысли». <…>

25 ноября 1978 г. Около 5 час. вечера

Через час уезжаю к Борисову в гости. День сегодня с Ларисой, постольку — особенно домашний. Утром поспать не дали, обед, более тщательный, чем обычно, и т. д. Где-то в промежутках продолжала читать «Незабудки» и кое-что насоображала. Первый комок будущего развития уже сложился, спрессовался и стал понемногу обрастать.

Гоша мне пересказал за обедом свои уразумения насчет Пришвина. В общем, точно ухватил его христианизацию природы, т. е. ее очеловечение, в смысле оличнивания. Личностный принцип и начало вносится любящим и болящим сердцем в природу, где, напротив, торжество рода, беззастенчиво-прекрасное.

И еще у Пришвина, добавила я, пестуется и предлагается путь разрешения трагедии, выход из безысходности зла, обратные революционному. В революции добро пыталось торжествовать через борьбу со злом, подавление «зла» — в его революционном понимании, конечно — сшибку со злом и радикальную вышибку его. А со «злом» и всю жизнь вышибли. Так переплетено в природе человека, вообще в природе вещей этого природного мира добро и зло, что нельзя их четко разделить и направить друг на друга: кто кого насмерть. У Пришвина добро должно помочь злу самому стать добром, увидеть в зле его всегда таящуюся возможность двинуться к добру, или даже обратиться в него. Это путь — бескровный, путь любви, христианский. <…>

20 декабря 1978 г. 9 час. 30 мин. вечера

Возвращаюсь из Ленинской библиотеки, куда ринулась на вечер почитать Кареева (федоровский адресат его критики «прогресса»[133]) и о Сеченове.

Приехала в 5 вечера. Всего часа на три. Сейчас я в русском аврале, до конца декабря надо сдать в редакцию рукопись книги о Федорове[134] и каждый час — на учете. <…> Позавчера было мое выступление в «Обществе охраны»[135]. Народ собирался медленно и вначале казалось, что зал не будет полон. Я никого не звала, на стихию понадеялась. <…> Я была поначалу удручена, что зал не ломился от народа. И с трудом в процессе импровизации (такой я стиль избрала в устных своих выступлениях) взнуздала себя, как профессиональная актриса. В общем говорят (звонят), что было «как откровение». Народ взволновался. Потом меня

окружили и не отпускали, до этого было много записок с вопросами. Отвечать я люблю. Тут простор. Борисов говорит, что это у меня получается лучше всего. (Так было и у наших «левых» художников на Малой Грузинской, в профкоме графиков, где выступала за неделю до этого. Успех!) Вечер — знаменательный, в траурный декабрьский месяц (75 лет назад, Мариинская больница, конец)[136]. Так что рождение — в «Факеле», смерть — в бывшем Знаменском соборе. Год все же «выдали». Федоровские литургии!

Несколько дней назад человек в бороде ввалился прямо в дом, говорил слова, оказался федоровцем, сидел по студенческой истории (искали «истинный» марксизм) шесть лет в лагере и тюрьме, там прочел «Философию общего дела». Просидел допоздна. Зовут Саша Романов[137]. Понравился. Следовал он к себе домой в Саратов. Остался для федоровского вечера специально. «Недоразумение» с моим мужем (лечебно голодающим сейчас и особенно жестким, с замедлившимися еще более обычного реакциями) вышло у этого Саши. Пришел за полчаса до вечера с рюкзаком (меня уже не было). Хотел оставить и, очевидно, переночевать. Муж не понял, тот обиделся и сгинул в холодной ночи. На вечер не успел, не пришел. Переживаю. Мне этот Саша Романов полюбился. <…>

19 января 1979 г. Около 8 часов вечера

Еду в метро к Бригитте в гости. Приехал ее сын Ричард[138]. Должны быть Кожиновы[139]. Последние полтора месяца — в аврале, дополняла рукопись для издательства. Уже сдала. Последние два дня переделывала для журнала «Север» статью «Толстой и Федоров». Уф! Только что отвезла на перепечатку. Опаздываю в гости, еду без книг, вот и занимаю себя. <…> Скоро, недели через две, дай Бог, поеду в Малеевку. Все же устала от непрерывного двухмесячного напряжения, там и отдохну и, наконец, возьмусь за прерванный еще летом свой «вольный» труд.

Уезжают Юз с Ириной, Берта с Димой[140]. Моя публикация из 3 тома в «Контексте» заваливается[141]. Предыдущий сборник Палиевский перегнул, разошелся в свободе, бьют его теперь и перестраховываются наперед.

29 января 1979 г. 1 час ночи

Сегодня в кинолектории Музея архитектуры был — среди прочих дипломированных любительских фильмов — показ «Московского Сократа»[142]. Часть фильма, где меня снимали (по моему настоянию) Барановы, слава Богу урезали, правда за счет тех кадров, где я — хороша, а оставили, где мымра. Двойственные чувства! О, природа человека! Как всегда бывает плохо после того, как покажешься на людях! Так было и вчера на проводах Алешковского в Штаты <…>, так и сегодня. Русское чувство — стыд и срам за себя — кстати, Монахов был особенно чуткий гений такого стыда. От него и в пустынь бегут. Только без людей можно обрести покой. «Две силы есть, две роковые силы… Одна есть смерть, другая — суд людской»[143] — на обе и покусился Федоров, на вторую — через достижение

внутренней «прозрачности». И пьют те, кто, возможно, больше других стыдится. Залить стыд и скрежет и еще залить — до отупения и развала физического, чтобы после запоя оставалось только на то, чтобы себя собрать для жизни.

Раздергалась я, еще одна лихорадка со статьями. И тоже стыдно, особенно за моего скороспелого Пришвина. С Валерией Дмитриевной тяжело, поскольку от Пришвина меня несколько тошнит, а у них — кумирня и только благоговение…

Можно переносить жизнь, только каждый день работая на Абсолют, остальное — необходимая дань. Когда этого нет, непереносимо. Теперешнее мое ощущение именно таково. И чтобы из него, для физического просто спасения, надо срочно внести это главное в жизнь. Не дождусь своей поездки в Малеевку, где и собираюсь, наконец, всю эту пропорцию занятий и забот соблюсти. Читаю мало и не вижу, не слышу ничего (театр, музыка), расширяющего его, а эти общения — такие, как сейчас — только возбуждают и сушат одновременно.

Еще уроки:

1. Всегда иметь главную, «безотносительную» работу как стержень.

2. Искусства, потрясения, выхода из себя нет совсем. А так надо!

3. Не спеши! Не надо такого «Меа», которое, как у Брюсова, продается в день похорон[144].

4. Хорошо планировать следующий день и выполнять. Так — сам творец, конечно, по мере возможности, по попустительству случая и обстоятельств, своего дня и меньше слепой стихии.

Итак, на завтра: поспать сколько выйдет, хоть полежать с утра для отдыха бедных моих нервов, доделать Пришвина, поехать к Кедрову, вечер — дома, хозяйство, как уж выйдет… Во дню можно и оставлять для стихии кусок. Но хоть часть дня должна быть абсолютно сознательной, строящейся по плану. На послезавтра: отослать в Болгарию Платонова (с утра приготовить), звонить в Литфонд насчет путевки… Ну что ж, спать!

19 февраля 1979 г. 11 час. утра

<…> Думала читать русскую литературу sub specie отношения к смерти. Но что-то сейчас противится во мне такой работе. Хотя вот сейчас, желая объясниться почему (потому что недостаточно «абсолютно», собьешься на тематическое исследование, зависимое от множества чужих текстов), вместе с тем и обратный внутренний голос поднимается. Но все же отталкивает, что надо много доказывать, выписывать, цитировать (академический аппарат, en un mot[145]). Хотя может получиться интересно. Прямо вот так и делать по самым крупным именам, а может, даже вытянуть именно ту линию, которая ведет к Федорову. Сразу разграничить: была «языческая», ординарная («И пусть у гробового входа…»), было острое переживание и философская вперенность («Где стол был яств, там гроб стоит»), но была и такая непроясненная линия, в которой уже рождалось Слово, но так и не родилось (гениальные выкидыши его — Лермонтов, Гоголь…),

и было совсем уже предСлово (Достоевский). А Толстой синтезировал и пушкинское «пусть у гробового входа», и державинское, экзистенциальное переживание тщеты ряда, ежели в конце его *гроб*. Так что может получиться так: языческий ряд — тут, наверное, не так уж много (Пушкин); сильнейшее переживание абсурда смертной жизни (тут много поэтов, с Державина), бунта тут особенного нет, философское приятие; и, наконец, бунт против смерти, тоска по невозможному с прорывами темной еще безумной мечты (Лермонтов). Итак, две главные линии: приятие и бунт и через бунт прорыв к невозможному. Да и Христово обетование всегда было. Есть ли у Гоголя бунт? Некрофилия, у него надо из «комплексов» выкапывать (утопленницы, панночки…)

23 февраля 1979 года. 17 часов 30 минут

Заснула вчера поздно после двух. Сначала читала рукописный роман Латынина «Гример и Муза»[146], потом не могла заснуть. Я в таком расслабленно-нервном состоянии еще с болезни, когда весь день валяешься без воздуха и движения — и ни сна, ни настоящего бодрствования. С 7 утра встала и стала собираться, чтобы вернуться в новый корпус, «домой». Тут я больная в «изоляторе», на всеобщем проходе, виде и шуме. «Изолятор» мой был чем-то обратным своему названию и предназначению. Перебралась и пережила несколько мрачных часов. Холодина, 14 градусов в комнате, розетки не работают, даже камин не включишь и свет погас, замыкание от этих же сломанных розеток. Выбралась, пошла звонить Елене Михайловне[147] в Литфонд, в результате трех звонков и двух часов я сейчас на четвертом этаже, в божественной, солнечной, теплой комнате. После обеда погуляла с Леней — идти все навстречу солнцу (стоит весна света!) — какая нега! Пришла к себе, почитала, полежала, не заснула (ибо все в той же физиологии), но все равно… Пойду на ужин и вечерний разговор с Крамовым. Он уже ангажировал, взял читать мою статью о Платонове, говорит — «очень нравится». Пойду, пока светло, гулять на здешние круги, одна и тихохонько.

27 февраля 1979

<…> Крамов читал мне свои очередные вещи из его главной книги[148]. Интересны записанные им воспоминания Зискинда[149], ответственного товарища, работавшего с Орджоникидзе. Тут и самоубийство Серго, и арест, и Колыма, и о Мирском[150], который был там им встречен. Много бесед с Мильнером[151], рассказы его о жизни «высших сфер», о нашей разваливающейся экономике, анекдоты… Леня[152] все тут же, буффонный «наш гений». Вчера уехал в Москву, сегодня уехал и Мильнер совсем.

Меня сегодня за завтраком Чалмаев познакомил с Викуловым и Овчаренко[153]. Вышло все неловко и неудачно. Викулов вроде поначалу зажегся: давайте статью о Платонове, но тут же внедрился Овчаренко, да так яростно, как будто всю жизнь только и ждал этой минуты разоблачения: «Федоров — реакционер!

Темный, непонятный, враждебный текст! Есть отдельные прозрения…» В коридоре я подошла к Овчаренко. Боже, какой нагальванизированный, напичканный поверхностным знанием мертвец и так и тянется своей мертвой хваткой тут же задушить любую жизнь. «Бороться надо!» — шипит. И на меня уже как на классового врага: «Ваша статья в Литературной энциклопедии — тоже проявление борьбы и размежевания». Тьфу ты, чума «марксистская»!

И полдня было отравлено всякими отпорами, доводами, подходами, внутренне сочиняемыми по отношению к моим новым знакомым. Куда суешься, голубушка? На что тратить время живота? Все равно бесполезно, отойди, успокойся и не пытайся пробиться среди этих манекенов куцых идей. <…>

12 час. ночи

<…> Еще один никчемный день окончен. Ну какая же я неврастеничка, как и мой муж. Чуть высунулась в общество, стала пристраивать своих духовных детенышей, как тут же хочу их назад из грязных, оскорбительных рук. После ужина отдала статью[154] Викулову, он взял ее двумя пальцами, обработан уже Овчаренко, что с ним все под руку, тесненько ходит и наговаривает на ушко. Как представила я, что повезет в редакцию, покажет Владимиру Васильеву[155], что у него ответственный секретарь в «Нашем современнике», к тому же платоновед, одним Платоновым кормится — больно я ему тут нужна со своими коперниканскими переворотами. Сдерет почище только и в свою статью вставит. К тому же юбилею писателя. (Как в воду глядела. И пастушок Чалмаев тут же срочно, вернувшись в Москву, тиснул статейку о Платонове в «Огоньке», где объявил свое открытие о влиянии на него Федорова — как же, читал здесь мою рукописную статью. И потом я должна была для подкрепления своей позиции на его же публикацию ссылаться. Да и Васильев внес в издание своей книги о Платонове федоровские влияния. И кстати, его рецензия на много лет лежавшую в «Современнике» книгу о Федорове решила плачевно ее участь. Написал, предварительно буквально ее законспектировав, что слишком она хороша для современного читателя — тот еще не дорос! Каков маккиавелизм, однако! — 14 августа 2000.) Как-то все это мне так противно стало. <…>

Ладно, извлечем урок! Ты не лезешь в центральные московские журналы, где мафии и братии. На сочувствие и чудо надеяться нечего. По обочинкам, где почище, по возможности без личных контактов, а деловито, как сейчас в «Севере», что-нибудь распечатаешь. (Кстати, так и получилось с серией моих статей в «Литературной Грузии», в «Волге»[156]. — 14 августа 2000.) Нет, так и не надо!

Я сейчас в кризисе, это явно — дошла до точки, исчерпалась. Приеду домой, надо опять погружаться в Федорова, в текст его — тут без его духовной поддержки, без «крепости» развинтилась. Ладно, утро вечера… Сейчас очередной, третий за здесь тупик, завтра всегда было лучше. Дай Бог, и опять так… И еще давай, как когда во мраке, вдруг — наперекор — радоваться и начинать новую жизнь, вот

прямо с этой сейчас входящей в меня минуты существования. Я счастлива! Все было так, как только и могло быть. Все хорошо. А я начинаю жить. Я только что родилась. У меня ничего не болит, вокруг тихо, я одна, сейчас лягу в постель и буду какие-то часы спать, спать еще живой и теплой, еще не разлагаться в могиле, еще не кричать в агонии, еще быть в свете, с живыми детьми, мужем… Боже, как хорошо!

И крепись все время образом Учителя! Главная моя слабость — жизнью, поведением не уподобляюсь, впрочем, как я смогу это буквально, когда, как минимум, жена и мать… Вот предвосхищающе страдаю, что Васильев сопрет у меня мысли, а Николай Федорович сам отдавал!

1 марта. 12 час. дня

<…> Вчера после обеда гуляла и говорила с Саней Великовским о Христе, обетовании и долге преображения нашего смертного, природного мира в бессмертный, божественный, о Федорове, воскрешении и бессмертии. Он признается язычником и ничего такого не хочет… И сколько их таких, как много, может быть, большинство. И начинаешь понимать, какая страшная правда в том, так возмущавшем мое сердце видении Иоанна, когда только у немногих тысяч печать жизни на челе. Смертопоклонников — миллионы, а с печатью жизни — тысячи. К ней и надо прежде всего обращаться, с нее начинать. Должно произойти мирное разделение человечества: в одну сторону эта «тысяча», стремящаяся вон из природного закона, в другую те, которым, как им кажется, хорошо в этом законе. Но как же тогда главное: возвращение к жизни умерших, среди них ведь та же пропорция? Воскрешение того, кто без печати, — некоторое уже насилие над его свободой. Да и можно ли будет осуществить этот высший акт власти и любви только «тысяче», не всем? Боже, как хорошо, если бы Ты был (есть изначала и будешь) Такой, каким в Тебя верили и верят, Кому молятся, плачут, на Кого надеются! Я плачу и люблю с ними! Как неимоверно трудно иначе! (Т. е. очевидно, имелось тогда мною в виду: если Ты — только мечта, проект, энтелехия человечества. — 15 августа 2000 года). Но все равно — в любом онтологическом случае и варианте — надо!

18 час. 30 мин

<…> Села за стол. А за окном моим на небе встала такая предвечерняя красота, что только плакать. И я как подлая писака взяла этот листик — попробовать выразить, но пока предварительно объяснялась выше, что за момент жизни, взглянула в окно, прошло-то всего одна-две минуты, а солнце зашло, небо поблекло и миг торжествующей красоты исчез. Вот такие миги ловят эстеты, как снежинку на руку, знают, что тут же потечет серой водичкой. Некоторые экзальтируют только звездочку эфемерной прекрасной формы, благо, что она постоянно возобновляется, а на водичку закрывают глаза. Для других грязненькая водич-

ка — натуральная основа их собственного грязненького демонизма. А вот чтобы навечно остановить красоту, войти в нее, стать ею, а восторг, рождаемый красотой, возжелать в стократ усиленной степени и сделать его вечным для всех — это, наверное, дано только святым, которые и плачут, и умиляются, и любят весь мир, и видят его уже в этой нетленной красоте или наоборот пока в разрыве с нею…

А за окном опять чудо: после краткой нерешительной, переходной блеклости такая насыщается синь, и на ней узенький загиб серповидной луны, — и все застыло, и все храм.

[2 марта 1979]

1 час ночи

<…> Получила письма от Саши Романова[157], от Сетницкой, отзываются на идею 3 выпуска «Вселенского дела»[158]. Возможен только самиздат, и в моем утомленном мозгу за проваленными глазницами зашевелились среди прочего маленькие кошмарики: преследования, КГБ, психбольница, шантаж, а какой у вас моральный облик и т. д. Вот замордовали психику. И еще чистая, голубоглазая инстанция детки, перед которой оболгут и испоганят. Так и загонят в угол безумия… Ничего не боись, матушка! Конечно, надо трезво потянуть года на три этот сборник — хочу, чтобы вышла моя книга о Федорове в «Современнике», это для нас всех важно. Так прямо и сказать соратникам. <…>

3 марта 1979

<…> В последний день туда (в Малеевку. — *А. Г.*) приехал украинский поэт Павло Мовчан. Так он мне понравился! Красивый, умный, близкий по духу.

Посидели у него с Леней. <…> Потом они меня проводили до автобуса (Павло был простужен), а Леня до станции. Оставила Павло статью о Платонове, попросил. Должен приехать в Москву 15 марта и привезти. (Какие метаморфозы с людьми! Сейчас Мовчан вдарился в украинскую политику, член парламента и очень большой правый националист, ненавистник России. — 15 августа 2000.) <…>

23 марта 1979 г. 12 час. дня

Села было переписывать набело, слегка подправляя при этом, работу о «Чевенгуре» и «Котловане» (для машинистки), но стоп! — ежели не в форме для работы, голова неясная, то займись, голубушка, лучше чем-нибудь механическим, «неученым». Вот и займусь сейчас перекладыванием своих бумаг в ящики, что смастерил в средней комнате Гоша.

Два дня гостил Саша Романов, читал рукопись книги и «Мечты о бессмертии»[159]. Ему понравилось. Много говорили. Тут еще его горячо любимый приятель, Валя Княженцев[160], по соседству живет у своей подруги, тоже саратовец, похоже, Саратов — место заряженное, сошлись там какие-то силовые поля. (Позже, где-то в конце 80 — начале 90-х Княженцев постригся в монахи. — 17 августа 2000.)

Сегодня утром Саша уехал, он жил в моей комнате, а я спала — не спала (по своей нервности) в комнате с Настей, вот и подразваливаюсь. Гоша уехал в баню. А тут звонят — должна быть панихида по Ильенкову[161]. Мне два дня назад звонила Алена, соседка Ильенкова по квартире. И рассказывала, что вначале стоял в их квартире шум, ругался с женой, потом он выскочил с ножом и полоснул себя по горлу. Насмерть. Был он такой унылый русский человек, из талантливых философских людей, скрученных на марксизм. Вот и докрутил себя. Да еще все Вагнера слушал — любил наяривать себя на атмосферу трагизма и титанизма. Я уж и картинку выстроила: жена у него крепкая, бессовестная, нацменская стерва, доктор философских наук, наверняка с его буквальной помощью. Еще и б… наглая. Так я сразу это и просекла, когда, сидя у них за столом в одно из посещений их с Гачевым, наблюдала, как лицемерно-елейно изображала она подчеркнутую заботу и нежность: «Миленький, да съешь, да возьми…». Другой какой, инородец, жену бы убил, вовне свой скрежет и злобу вынес, а этот, русский, унылый, в депрессии, на *себя*.

Позвонил Соловьев, я ему рассказала об этой версии, идущей от соседей. Официально — инфаркт. Эрик и Женя[162] говорят, что так оно и есть, если бы самоубийство, было бы следствие. Возможно. Мог и не резать себя по горлу, достаточно волны возмущения и ярости, что захлестнет сердце. И скорее всего таки на лестничной площадке — микро-толстовское бегство, рывок «куда-нибудь, но вне этого мира», этой квартиры, этой жены… Но далеко не ушел…

В людей встрянешь, и нехорошо внутри. Освобождайся, отряхайся от боязни чужого мнения: не так поняли, извратили, сплетню пустили! «Гонют люди» — и пошли фобии и преследования. Так и Ильенков — говорит Соловьев — боялся в депрессии, что с работы выгонят. Не бойся, Света, препроводи себя в руки Божьи и гони уныние, упадок, что душили тебя в дни перед приездом Саши. А на улице, действительно, самоубийственная погода: такое изнеможение природы, туман, серость, вялость, еще не проглядывает, не началось «усилье воскресения» — весенне отряхнуть с себя эту мертвенную одурь. Так и людей тянет кончиться вместе с природой. Да не забывай, что длятся еще «дни печальные Великого Поста».

Еще раз: не бойся ничего! Что самое страшное: мучения, боль, смерть… Такие вползают ужасы от смутной угрозы чего-то враждебно-большого, черного, Государства, его подвалов, его стражей. Вот, скажем, мелочь: конечно, вся переписка с Сашей Романовым просматривается как с бывшим политзаключенным. И он прямо об этом говорит. Значит, уже где-то на заметке и тебя просматривают. Брр! А ты не боись! Пусть! Нельзя, на них оглядываясь, жить. Самой только не мошенничать, быть честной перед собой, стараться не делать людям подлостей — и тогда не страшно. Хуже всего, когда сам человек запутается и ему есть в чем себя корить. Но и тут дан выход: исповедь и покаяние.

4 апреля 1979 года. 10 часов утра

Несколько дней назад был у меня в гостях утром Олег Лукьянов[163], инженер и писатель-фантаст, друг Саши Романова из Саратова. Радостная была по совпадению встреча. Для него Федоровское учение, т. е. активно раскрытое христианство — истина в высшей инстанции. Совпали даже в моей кощунственно-дикой идее будущего китаеросса, вернее в необходимости такого типа. Вместе они дали бы ту полноту, в которой порознь одна половинка, русская — эсхатологична, глядит в будущее, а другая, китайская — в прошлое, в культ предков вперена. Действительно, попробуй выпестуй сверхприродную, сверхъестественную любовь к отцам, к ушедшим предкам. А у китайцев это уже давно в крови, в клетках, в генах. Какая важнейшая, необходимая прививка!

Уехал Гоша в Переделкино, Лару — в понедельник отвезла в сад.

Понедельник 2-го — видела Чалмаева; чуждый тип «духовности» и, кажется, очень хитрый. Стелет мягко, но веры нет никакой в его слова. Простейших вещей, о которых я просила: познакомить с редакторами из «Волги» и «Севера» — «Да, да, вот сейчас, завтра…» — определенно делать не хочет. Днем — раззвонилась по телефону, вспоминала людей. Вечером считала с машинки кусочек о «Чевенгуре».

Вторник, 3-го — с утра почитала В.В. Шульгина «Дни». Дал Чалмаев, это ему близко. Русский националист, сотрудник черносотенного «Киевлянина», член Думы и т. д. Потом подправила чуть статью о Платонове. Сегодня отнесу читать сотруднику из журнала «Знамя», приятелю Володи Смирнова. Вечером, нагрузившись пакетами картофеля и овощей — Настя волокла львиную долю при моем сейчас страдающем сердце, — отправилась в гости к Пришвиной. Настя — солнышко и дружочек!

Сегодня с утра встала рано, вскочила заряженной пружиной, прибрала и за стол. И тут вражина — телефон — зацепил и поверг опять меня в уныние и рассеянность. Стыдно, Света, стыдно! Чем ты угнетаешься, что за химеры тебя мучат, где твое бесстрастие к укусам и зацепкам мира сего, царственность и достоинство? Выпрямись и крепись! Ты уже и забыла в последнее время, что есть Воля и ее надо призвать и заставить работать. Гони все мелкие соображения, освобождай свой сосуд от налипшего сора и учись не спешить в главных, больших постижениях, наполняй сосуд медленно каплями густыми, полновесными, чистыми!

26 апреля 1979 г. Около 2-х часов дня

<…> Возвращаюсь из издательства «Наука» (благо, что рядом с домом), где мучил меня последний месяц Строков, бывший зам. Кочетова по «Октябрю»[164], один из последних идейных кащеев. Сначала он совсем зарубил публикацию из 3-го тома[165], вострубил идеологический вред и подрыв. Вступился Палиевский[165a], и вот ценой вырезок лучшего живого мяса из статей Федорова, жалких фраз в предисловии и т. д. — пока еще задержались. А дальше должен еще — в верстке — смотреть директор института и Храпченко с правом пустить под нож. О, Голго-

фы наших изданий! Стоит ли на них класть силы и драгоценное, все убывающее время живота?! <…>

6 мая 1979 г. Часов 12 дня. Наша роща

Последние дни было непривычно жарко, а в конце апреля шли какие-то солнечные пертурбации — от них ли… но сильно болела голова. Я пыталась изгнать ее бассейном, баней, исключением чтения, но, увы! Было довольно мрачно, но сегодня стало полегче. Кстати, и на дворе — похолоднее. Вчера вечером заходил Валя Княженцев, проводила его перед сном, погуляла, как-то взбодрилась и вчера начался перелом.

Несколько дней назад я с ним ездила к Ольге Николаевне Сетницкой, там же была Катерина Александровна Крашенинникова. Долго говорили, точнее, нас со своим французским темпераментом в основном заговаривала Катерина Александровна. Гуляли по местам, где они когда-то бывали с Горским. Рассказывала много интересного и о Горском, у которого был обрученнический, целомудренный брак, и о том, как она носила на передачу Сталину на Новую площадь работы Горского и Сетницкого в 1942 году[166] и потом писала Сталину раз в год.

В теории разошлись по поводу будущего прославленного тела воскрешения. Она считает, что будет та же телесная форма, остаются все органы, но функции их преображаются. Я — как в своей рукописи. Тут застопорились.

Очень люблю этих женщин, особенно кроткую, серьезную, по-русски склонную к унынию Ольгу Николаевну.

Господи, неужели выхожу из «головной» напасти и будет жизнь!

Сейчас на скамеечке даже кое-что добавила в рукопись[166a]. Правда, вот уже подмерзла и иду домой.

14 мая 1979 г. Часов за 7 вечера

<…> Сейчас на бревне перед лесом, на поляне. Сегодня хорошо: началось думать, сегодня о «детском критерии», о «второй свободе» промыслила. Открылись возможности следующей части моей книги «Тайны Царствия Небесного». Вроде, выхожу из тупика и тупости. Господи, благослови! Снова выхожу к смыслу своей жизни, что было совсем затерся, поблек, перестал мною ощущаться: оставить свои семена понимания, снабдить перышками печатных листов и бросить в мир, к кому-то когда-то, к другим, неожиданным, дойдет, поможет, разбудит, побудит…

18 июля 1979. После 11 час. вечера. Деревня

<…> Сегодня вечером как-то вдруг *залетело* и зацепило из радио обычное, то, что и так знаешь: очередные подсчеты, какие страшные истребительные средства накоплены, так что и тысячной (а может, и меньшей) доли их достаточно, чтобы все взорвать, а тем, кто уцелеет, позавидовать уже мертвым. А я тут сижу,

соображаю, пишу и надеюсь, что все это — где, когда? — увидит свет и сможет кого-то заставить повести прозревшими очами на «языческий» праздник кругом и очнуться… И все это надеется на пороховой бочке. Мир сотрясается ненавистью, ложью, разделениями, войной… Почему так? Тысячелетия уже развиваемся, «прогресс» — неуклонный, Бог знает, чего уже достигли, что умеем, а сами оказались на этой самой пороховой бочке? Как так? А ведь так и должно выходить, пока господствует и направляет деятельность людей языческий ценностный выбор: развитие во все измерения человеческой природы, так что развивается она и будет развиваться и к Богу, и к черту, и в духе так уж усложнились, тонкие волоски перегрызаем, и темное в себе, злое, убийственное, звериное до такого же изощрения и мощи, что и хорошее, пестуем и доводим — и будем мы, с одной стороны: до луны летать и хромосомы разгадывать, а с другой — ядерные бомбы и ракеты сооружать и в ход пускать… Все логично и остановиться не можем: языческий путь — всему в природе человека выдана carte blanche[167].

19 июля 1979. 12 час. дня

С утра, как всегда, повозилась хозяйственно: деток, мужа накормила, убрала, сварила варенье. Мужу, что засел на огороде, за пишущей машинкой, наконец, входить «в дух», прочла до того свой конспект работы С. Булгакова «Душа социализма», где проницательная и высочайшая оценка Федорова[167a]. Все хочу только сбить с него ту небрежность, с которой он иногда говорит о Федорове и цапает его. Конечно, тут есть и недостаточное знание, и пристрастие ревности. Прочла, поговорили. Муж было запел о богатстве развития человека, нельзя, мол, его ограничивать: обычные интеллигентские мелодии! Я ему о языческом характере такого идеала развития во все измерения человеческой природы: а во все — значит нарастание и созидательных, и разрушительных качеств и сил идет в одной степени, а может, вторых, в силу их большей «натуральности», и в усиленном градусе. Так что все наши духовные достижения, очеловеченная созидательным трудом природа, мы сами, облагороженные, умные, тонкие, гуманные, полетим к черту, когда взорвутся накопленные мощные, изощренные злые, сатанинские силы. К полному саморазрушению и пустыне, к ироническому нулю придет развитие по такому языческому идеалу, по тому пути, на который встал мир.

Или вот: почему всех так отпугивает идеал «научно построенного» человечества», почему видят в нем ловушку «сциентифичного ада», включающего на своих подступах генетические манипуляции, роботизацию личности, куцую рационализацию жизни? Эти страхи тоже оттого, что наука работает в том же языческом выборе развития во все измерения человеческой природы, без разбору, а чуть что — вопит, что посягают на свободу научного поиска. Да, пусть она себе рыщет, исследует — может, это бы и хорошо, но она не только исследует, а пользуется в своей прикладной части результатами раскрытых тайн природы для господства над людьми, для фабрикации орудий уничтожения, «игрушек» раздора и

расслабляющего, а то и извращающего комфорта и наслаждения, обслуживая все якобы натуральные и искусственно вызываемые потребности. Выход — христианизация науки, вступление ее в высшую свободу избрания благой, преображающей мир и человека цели.

19 июля 1979. После 11 час. вечера

Вот и в наше столь однообразно бессобытийное существование — наперед на дни можно было высчитать, что в какой час будем делать — вторглись сильнейшие переживания, настоящая буря чувств, драма. Дети плачут, Лара все повторяет, хотя бы вовсе этой деревни не было, в Москву, в Москву, все забыть и не видеть, у меня и у Насти разрывается сердце, я тоже хочу бежать, *не переношу* сложившегося. Развернулись наши страсти вокруг кошки, в сюжете душераздирающего детского произведения, вроде «Бима, черное ухо». Уперлись натурально, в природу, лишенные здесь людей. Очень мы полюбили кошечку Машу, она у нас второй год на лето пригревается. А у нее оказались на этот раз три котенка, не ее (родных отдали на сторону), а сибирских, взятых у другого соседа. Она их так трогательно кормит, моет, зовет к себе и в обнимку спит. Устроились все у нас на веранде. А тут является раздраженный их хозяин, местный патентованный злыдень Федор Артемьевич Быков[168] и шипит: «Зачем вы тут моих котят приманиваете?!» И вышвыривает их: «Не давайте им есть, гоните, а кошку (Машу) я убью». «Зачем убивать, если она вам не нужна, мы ее с собой возьмем». Он что-то невнятное на это. Когда ушел он, мы все впали в транс, слезы, в душе — ужас! Нашу Машу сейчас убьют! Побежали к Быкову умолять: «Не надо!» Он ничего толком не отвечает. А вечером пришла сама Маша. (А до этого мы все старательно бедных котят отшвыривали, выгоняли, а они все к нам…) Принесла Маша большую мышь и сложила как трофей у нас на веранде. Пропищала, собрала детей и всех опять к нам. Выгонять надо, чтобы спасти Машу и забрать ее в конце августа в Москву с собой — так я решила. Начали гнать, Маша в недоумении, всегда такая любовь, а тут брысь и палкой. Все это проделывал Гоша, я не могла, уходила, страдала, и, о Боже, как еще сильно. Они все равно кружились где-то возле дома. Настя — вся на грани истерики. Я свалилась от головной боли и скрежета душевного. Лара спать не может, страшно ей. Как же обманули доверие! Что должна чувствовать наша Маша от такого жестокого предательства. Непереносимо, хотя бы ее совсем не было. Вот так, наверное, страдание из-за какого-нибудь человека может быть столь нестерпимо сильным, что пожелаешь, чтоб его и вовсе не было….

В общем, разверзлась бездна мучений… И что дальше будет? Вот сейчас слышу, как наши кошки взламывают окна на веранде и стремятся в свой дом. Уже вроде проникли (судя по звукам). Мир, спокойствие пропали. И так трудно, времени на работу мало, а тут и вовсе непонятно, как завтра перенесу, когда будет приходить моя «милая девочка» Маша со своими детушками, а я ее буду гнать и есть не давать. Боже, помоги!

Да, это вполне коллизия для детского переживания, для детского рассказа или кино. Для детей это так же серьезно, как драматические отношения с людьми, а может, еще серьезнее — тут меньший, слабый, трогательный. Для взрослых это уже стыдно, глупо. А ведь в этом детском отношении та же метафизика, что в их неприятии смерти и любви ко всем как родным (я как раз об этом пишу). Более того, тут еще более глубокая и трудная метафизика: к животному миру, «меньшим братьям» тоже «возлюби» и тоже все всерьез, как к людям. У взрослых такое отношение только у святых или у некоторых поэтов: Заболоцкого, Хлебникова… Я на такой же уровень детский сейчас поднялась (именно поднялась, а не опустилась), «стала как дети» не умозрительно, а в живом чувстве. <…>

29 июля 1979. Часов около пяти вечера

Вчера все ездили к папе[169], уже четыре года, как нет с нами мамы, были на могиле.

Гоша уехал в деревню до вторника, а я с детьми — в город. Собрать их в школу, купить необходимое, постирать и самим отмыться от деревенской грязи. Сегодня с утра вместе с Настей стирали. Сейчас она с Ларисой ушли в кино, снова смотреть «Белого Бима»[170], надрывать сердце.

Я села разобраться в бумагах. Гоша высоко оценил мою работу[171] и пока даже говорит, что ему надобно подаваться в эту сторону в своих духовных усилиях, идти в послушники маммушкиного[172] монастыря. Просветлел как-то физически, вызывает нежное чувство. <…>

Продумываю не спеша направления второй части книги, которую уже начала писать, но хочу остановиться, чтобы сделать в конечном результате глубже. Конечно, можно было бы округлить сейчас *начисто* всю главу, но тогда многие вещи были бы названы, но не раскрыты. Так для первой подглавки об язычестве надо вникнуть в мусульманство, иудаизм и буддизм. Мне хочется внести все многообразие религиозных выборов высшего идеала в два основных: *языческий*, обоготворение природной данности, земного царства, и *христианский*, точнее *активно-христианский*, алкание не-природного, божественного, бессмертно-личностного бытия, Царствия Небесного, созидаемого на земле и в мироздании творческой синергией Божественных и человеческих сил. То есть рассмотреть в религии то, что мне кажется самым в ней главным, — творчество высшего идеала и под этим углом их понять. Итак, не надо спешить, по существу за эти две недели в деревне я написала развернутый план, схему, местами уже почти целиком воплотившуюся в текст второй части книги. Теперь надо уж каждый пункт (т. е. подглавку и главку) обогатить сколь можно глубже и шире. Начинаю с первой и изучаю Коран. Далее — углублю вопрос о свободе. Потом — найду в истории все умственные поползновения к «автотрофности». Наконец, самое деликатное, что пока и не снится даже мне, *как преодолеть пол*, претворить энергию рождения в творческую энергию воскрешения и преображения. Тут надо осмыслить все пока

бывшие религиозно-мистические попытки, *тантризм* особенно. Это работа надолго.

А сейчас — скомпонуй-таки себе предисловие к изданию Федорова[173].

19 августа 1979. 17 часов 30 минут

Позавчера после обеда, когда «мои» ушли за грибами, несколько часов начисто переписывала, доделывала главу об «автотрофности». А вчера впали мы с мужем в сласть читать «Записку от неученых к ученым»[174] вслух, т. е. он читал, а я слушала. Так втянулись, что все утро и после обеда — на пруду — продолжали. При этом и беседовали. Сильно и свежо, неожиданно звучит вслух Учитель. Гоша оценивает и восхищается. Кстати, я «по мелочам» кое-что заметила нового для себя, досоображала. Постоянно Федоров соединяет философское, логическое (пусть в своей необычной логике) развитие мысли с выкладками, соображениями самого практического плана, обнаруживает такие знания, которых обычно не встретишь у чистого мыслителя: конкретные, прикладные, например, по агрономии, экономике, географии и т. д. Он может думать по поводу возможной эффективности тех или иных земледельческих, агрономических мер. (Кстати, недаром же он учился на камеральном, практически-хозяйственном отделении Ришельевского лицея.) Это и создает какой-то народный синтез, он не только призывает к синтезу знаний и наук, но и сам его постоянно осуществляет в своих писаниях.

Глубочайше у него трактована заповедь любви к родителям. И тут в меня вошла ранее не столь замеченная мысль Федорова. Он пишет в связи с самоубийствами, что жизнью мы часто потому не дорожим, что она нам дана даром, а все даровое ценится менее всего. Когда жизнь станет произведением нашего усилия и труда, станет «трудовой», она обретет для нас большую ценность. Родители любят своих детей еще и потому, что в них вкладывается огромный труд поднятия их на ноги, выведения в люди, одним словом, воспитания и образования (а не только в силу природного инстинкта, на чем я всегда настаивала). Дети для нас, если и «даровые» вначале, да и то сколько с ними физической тяготы вынашивания и особенно родов, — то потом очень даже «трудовые». А для детей вовсе не так, разве что в старости поддерживают они тающие силы родителей, но — пронзает верным словом Федоров — делают это уже в ситуации *безнадежной*. Действительно, когда родители для нас, их сынов и дочерей, станут предметом труда изучения, а затем труда воссоздания и преображения, тогда они станут бесконечно дороги детям — дети выкупят их трудом из пучины тления и рассеяния.

Значит и воспитание детей надо так организовать, чтобы они больше о родителях заботились, вкладывали в них свой труд. Это надо развить в главке о долгожительстве как пути к нравственному прогрессу. Сейчас, когда жизнь так коротка и надо — дай Бог — пройти свой цикл, урвать, что отпущено, некогда по-настоящему думать о родителях, заботиться о них и, следовательно, любить. Ну в детстве еще туда-сюда, светятся ответной благодарностью за любовную укутанность и бе-

режение родительские. А после — когда уж. Долгоживущесть даст время на изучение ушедших близких, вникание в их прошлое, их личности, страсти и надежды, дела и неудачи — тем самым и растет потенциал любви к ним. Начнут отрабатывать себе родителей назад из прорвы — матки, тьмы забвения и смерти, «рожать» их назад в жизнь, обретая при этом такую же, если не большую, к ним любовь, как мы к детям. Беспомощных, рассыпавшихся в прах, последних угнетенных, самых бедных и оскорбленных *смертельно* (смертью) воссоединить в живой, чувствующий, мыслящий организм — воскрешенные отцы станут трудовым произведением сынов и дочерей. Но — самая трудная загвоздка — как сейчас сдвинуться с природного инстинкта любви к детям, а не детей к родителям? Возвращаясь назад: в частности, через долгоживущесть, когда не надо будет так яростно вытеснять с жизненной сцены предыдущее поколение и жадно хватать свое.

Еще я подумала (и сказала Гоше), когда он читал место об отыскании «новых землиц» в космических пространствах: задача и в том, чтобы подтянуть наши органы чувств или, точнее, органы действия, к самому передовому из наших органов чувств — к зрению, опровергнуть пословицу, в которой природная, житейская «мудрость» — «видит око, да зуб неймет». Глаза наши, а еще усиленные приборами, видят мир широко и далеко, обшаривают удаленное, залетают на звезды, а дотянуться туда руками не можем, наше действие, одним словом, далеко не на высоте зрения, ока, видящего и рисующего картину прекрасной мечты. Действие должно следовать за ви́дением, осуществлять виде́ние.

И еще одна, уж право, мелочь. Федоров спрашивает, почему грозит нам все больше извращение природы в энтомологическую форму, т. е экспансия и торжество насекомых, и насекомых-паразитов. Да и сейчас ученые и фантасты мрачно прогнозируют расцвет на пережившей самоубийственную, ядерную или какую еще катастрофу земле, на одичавшей земле расцвет насекомой жизни, пережившей и вытеснившей другие формы. Я так объяснила Гоше: в пределах природного порядка существования, в природном законе насекомые самые приспособленные к нему, ибо особенно эффективно используют его главный механизм поддержания жизни рода: *размножение*. «Сладострастие» насекомого, «плодится как муха, как таракан» — никто в природе не воспроизводит себя в таком фантастическом обилии. Насекомые в этом смысле больше всех служат природе, выжимают все из ее закона, им естественно и преобладать в естественном природном порядке.

Начинаю думать уже о следующей своей работе «Оправдание России», в которой одной из центральных линий станет то, как проклевывался «Федоров», идея активного строительства не-природного, бессмертного порядка бытия в русской душе и уме. «Выкидыш» Федорова, уже близкий к нормальному рождению, этак на 5–6 месяце, — Гоголь. Завороженность смертью, художественная некрофилия, болезненная, до раздирания, вперенность в пол как начало природно-демоническое, наконец, «мертвые души» извращенного, природного порядка, низких страстей, стяжания, бессмысленного фанфаронства, в которых уродливо кривятся какие-

то часто высокие метафизические стремления. Чего стоит Плюшкин, собирающий «музей» погибающих ненужных вещей, или мечтательная (но расслабленно-гедонистически-прекраснодушная) способность Манилова, все эти личностные реестры мертвых душ, запечатленные именем и выдающейся чертой, все эти «лирические» порывы и предчувствия о русской дали и ее задаче. И, наконец, идея *службы всех* государству, нравственного практического делания, не просто нравственного усовершенствования (как обычно у моралистов), а активности на прямом, жизненном, практическом поприще. Но не преодолел трансцендентного понимания основных христианских обетований и сгинул в судороге распяленности и вины.

И эпилепсия Достоевского: вначале будто захватывающий дух взлет, вот-вот скажется главное слово, молнией ударит окончательное прозрение, ан нет — не вышло, не взорлило золотое слово, а пеной, шипением слюны, мгновенным отключением истекло бессилие схватить это откровение, сломалось телесной корчей… Горский так объяснял болезнь великого писателя и мыслителя, так и не дошедшего до кристальной ясности идеи имманентного воскрешения и преображения. Похоже.

Лермонтов — тут же. С шестидесятников — целое движение, которое перешло с метафизических задач, радикального зла смерти на социальность, соскользнуло в мелкоту анализа причин зла. Пошло — поехало. Семитический марксизм тут подоспел с его «градом земным» на непреображенной природной основе и пролетарским мессией…

Надо продумать, что дала революция и советчина. Конечно, есть *формальные* (в высоком смысле) достоинства — форма в России всегда блюлась для будущего великого, проективного содержания (хотя бы форма государства и идеократии). И общество строилось не совсем по типу организма — были декретивность и волевое устроение, по плану, и понимание ценностей Долга, Кодекса, Воспитания, Идеала, не-материальных богатств… Но, увы, все так содержательно мелко и уже фальшиво для многих, если почти не для всех.

11 октября 1979 г.

Приехала сегодня в Малеевку на 20 дней. Выпустили, ибо уже в начале ноября надо отдать рукопись в издательство все той же многострадальной книги о Федорове. Опять требования — опять ухудшать! Сокращать еще надо, а я взамен хочу написать новое (о Горьком, Есенине, Клюеве). Последние полтора-два месяца готовила том Федорова для издания в «Мысли». La belle aventure Гулыги[175]. Напряжение работы было страшное, голова отяжелела и заболела, дошла…

16 октября 1979. После 12

<…> После обеда пошла опять гулять надолго, к реке, в Дороховский санаторий с тем же Олегом Чухонцевым[176]. Ноги несли не замечая, но много взвинчивающих разговоров. Забавно, ходили по висячему, раскачивающемуся мосту над

Москвой-рекой, никогда бы одна не пошла, не выношу высоты, а тут с мужчиной откуда такое бесстрашие? Большая стерва природа, на вершинах любовного экстаза вводит в полное бесстрашие, и погибнуть — раз плюнуть! Тут, конечно, никакого экстаза и сама ситуация в миллионном разведении, а туда же!

Вернулись уже после пяти, встретила по дороге Яковлева[177], рассказал об апофеозе своей половой политики: женился на негритянке. Сюда привозил, конечно, Малеевка легла… После ужина ввязалась в телефонный разговор, познакомилась тут же у будки с удмуртом. Такой очень русский, простой, со стертым смиренным лицом, похожий на Платонова и, кстати, любящий его. <…>

17 октября 1979. 12-ый час дня

Вчера после обеда работала, после ужина до половины одиннадцатого гуляла с удмуртом, таким милым и умненьким (он тут с женой). Рассказывал мне про финно-угров и про свой народ. Я испытываю нежность к этим народам, которые так кротко любовно приняли славянскую переселенческую волну из Киева на Северо-Восток, влились в нашу кровь и дали нам, русским, многие свои черты, конечно («чудь» — чудинку!)… Вот он говорит, что его народ недооценивает свое национальное начало, с готовностью идет навстречу другому. Высший комплимент, что на русского похож. А эталон красоты: «Ну совсем как русская кукла!» Выносливость, неброскость, способность к приятию чужого, некоторое самоумаление — это у нас от них, конечно. Я ему рассказала о Федорове, попросил. И дала читать главу о Платонове[177а]. <…>

25 октября 1979. 12 часов дня или чуть больше

Вчера вечер был хороший, замкнулся на себе, в десятом часу уже как вернулась домой, отдышалась от… что-то для утишения постирала, легла в постель и долго читала, сначала «Чукоккалу», потом Шафаревича о социализме (из сборника «Из-под глыб»)[177б].

Статья, вызывающая на мысль. Увидел в социализме глубокий инстинкт самоуничтожения, подсознательного стремления к смерти, выражаемого уже в плане историческом, общественно-политическом, больших народных движений. Это, конечно, так.

Значит (я соображаю) капиталистический строй — организация по типу организма, в наиболее чистом виде, строй *органичный* и в этом смысле по естественной *мерке человека*. Эффективно функционирует, обеспечивает максимум удовлетворения языческих потребностей. Больше всего отвечает языческому идеалу. Социализм — попытка построить общество *по типу механизма*. Механизм — он не природен, создан по человеческой целесообразной схеме — и в этом смысле он более «светел», разумен, чем организм, но лишен того объемного «инстиктивного» ума, который не расчисляет, а чует целое мира и к нему подлаживается. Человек в своем конструировании, социальном, механическом, органичен, он не

может учесть всех связей, закономерностей жизни целого. Потому *тип механизма* может стать не эффективным, даже губительным.

Общество христианского дела — это общество *по типу Троицы*. Это не механизм, это «организм» в определенном смысле, но высший и духовный.

Идет трансформация самого человека, его питания, воспроизводства, воскрешение и обессмертивание, творчество самой жизни. Это, если хотите, эсхатологический социализм, или вернее социализм в области конечных метафизических начал и концов, в области онтологического преображения. (Активно-христианский социализм, как я его сейчас называю. — 7 сентября 2000.)

Главная ошибка социализма — предполагает создать счастье в пределах природного языческого порядка. А раз в этом порядке торжествует смерть, то социализм и становится подспудным ее выражением: во-первых, он широко использует *смерть*, убийство как расчистку территории, средство единомыслия, т. е. как одно из средств в работе «строительства» нового мира; во-вторых, не понимая и не принимая высшей цели борьбы со смертью, настоящего жизнетворчества, выходит по Шафаревичу, отравлен подсознательным к ней влечением.

Вот представьте себе: вам предлагают некое блаженство и тут же рядом строят виселицу, говоря, сразу после блаженства, пожалуйста, на виселицу (совершенную неизбежность такой последовательности надо открыть, вдолбить людям). Найдутся такие «чистые» сердцем, бескомпромиссные (конечно) экземпляры, которые плюнут вам в рожу за такую подкачку «блаженства»: и сразу же всунут голову в петлю… а другие, уже заранее бессознательно чувствуя великий обман, который пока клубится энтузиазмом, горланят:

И как один умрем
В борьбе за это…

Главное тут — *умрем*, а что это за неопределенное *это*… что-то явно неполное, не утоляющее до конца, какое-то блаженство с финальной виселицей, — лучше мы еще раньше *умрем* «в борьбе за это». Ведь как не задумываются социалисты: зачем такой огород городить, убивать, расчищать, поровну делить, строить, строить, строить, чтобы каждому умереть, пойти на корм червям… Вообще-то в социализме есть, конечно, алкание и пафос преобразования, но не настоящего, не онтологического, а какого-то материально-потребительского и куце-«гуманного». Это уж вовсе уродливый выкидыш активно-христианской идеи, выживший и шествующий по миру на кривых ножках.

26 октября 1979

<…> Надо браться мне за «Вселенское дело». Поеду к Ольге Николаевне, позвать туда же надо Крашенинникову. Может быть с Гошей. Сетницкая может дать свои биографии отца и Горского. Крашенинникова — монтаж писем или отрыв-

ков из них[178]. Надо бы найти Никитина. И съездить к Дорогову[179]. Чухонцев, даст Бог, напишет стихи. Я могу кусок из «Тайн Царствия Небесного». А вот наука до чего доперла в этом направлении к 1980-му году — этого у нас нет. Может, Валя сделает подборку печатных материалов хотя бы. Раз нет среди нас ученого. Саша (Романов) — отрывки из писем-анкет о Федорове, которую он и так собирает. И библиографию, может быть[180].

Надо еще попросить статью у Олега Лукьянова. И вступление — манифест напишу я или с Лукьяновым вместе.

Может быть, нам тоже, как в первом одесском выпуске 1914 года, сделать анкету среди писателей, ученых, что они думают о борьбе со смертью, о воскрешении, о Федорове, если его знают[181].

И, конечно, самого Федорова (из 3-го тома, «Величание Пасхи»[182], письма, некоторые статьи и отрывки). И еще о последователях, памяти Муравьева, Горского, Сетницкого[183].

28 января 1980 года. 12 час. ночи

Сколь давно не бралась я за дневник! Работа лихорадочная над переделкой книги, над томом Федорова и т. д., жизнь, так-сяк при этом катящаяся, — чего уж тут писать! Можно, конечно, всякую мелочь напяливать на булавочку, увеличивать стеклом анализа и философствовать.

А сегодня я получила большой удар. Уже до сверки дошла в «Контексте» публикация из 3-го тома «Философии общего дела». И вот Храпченко[184] ее — как выражаются — *снял*. Два года труда, ожидания, перегрузок и пшик… один дым разочарования. Труднее всего пережить: кажется, уже довели до выпуска — и с какими сюжетами и хитроумием, никаких уже сомнений не было. А пережить надо.

Взялась писать, чтобы из беды, из накатывающегося уныния, опускания рук претворить в обратное, в победу. А главное победа ведь над собой. Я хочу, я могу, я *назначаю* сегодняшний день для себя, для памяти не днем поражения, а началом новой, упорной, спасительной для себя полосы.

Вот сейчас вечером, уложив детей, пошла на улицу чуть разгулять тоску, головную боль, физическую тяжесть. С мужем погуляли. А мороз градусов под тридцать. И я со своим позорным нетренированным телом, закисшим в доме, расшатанным, больным сердцем и сосудами, конечно, тут же опростоволосилась. Вернулась домой, и так меня схватило от перепадов температуры, что пульс почти совсем исчез, вся грудь в обруче, пробегают болевые спазмы — так и отойти недолго! Еле-еле от лекарств, горячей ванны для рук и т. д. прихожу в себя. Ну и дошла, вернее, довела себя своей «чемпионской гонкой» — как несправедливо в сущности укоряет меня муж.

Всё! Кончено! С завтра — клянусь Федоровым! (Это Лара требует от меня клясться самым святым: скажи «честное федоровское».) Тьфу, ведь сказано:

«Не клянись!» Ладно, без клятвы, даю просто слово честное, благородное: начинаю оздоровление — обязательная утром гимнастика дома, если на улице холодно, или на улице, если не очень. И после обязательно душ (хоть через день) — бодрить себя, не валяться лишнее! Два раза в день, как минимум, быть на воздухе, часа два-три в целом, три часа — работать, четыре часа — хозяйство. Спокойнее еще и еще с детьми и мужем! Ничего не форсировать! До завтра!

Как у Федорова с годами явно ухудшается почерк, начинает нести на себе печать личных неудач и разочарования! Это меня поразило. Но так и у меня, все больше наступает энтропия и на почерк. Не сдавайся! Надо бороться, сколько можно, с надвигающимся распадом. Тут учиться — *у мужа*.

Завтра никуда не еду и *восстанавливаюсь* (как он выражается). Некуда спешить, разве что в пасть к Смерти!

А главное — позорно угрызаться (это раз!) и страдать от неудач и ударов судьбы (это два!). Добиться истинно христианского расположения души! Кому-то не нравятся твоя деятельность и убеждения — надо научиться и их понимать и «прощать». Ты, как всякий живущий в природе, греховный человек вольно и невольно вытесняешь других, в порядке вещей, что и тебя. Другое дело, что убеждения и деятельность твои как раз обличают это вытеснение, зовут к их преодолению в корне.

12 февраля 1980 года. 4 часа дня

Разочарованный организм так любят микробы! Я, конечно, не преминула заболеть, тут же прилипла зараза от кашляющей и чихающей Ларисы. Вот вторую неделю маюсь: то-се вылезает. Так ничего еще я за всю зиму путного не сделала. Собралась читать (и вдумываться) вокруг темы следующей своей главы о трансформации половой энергии в творческие, воскресительные и преображающие мощности[185]. Но пока еще не начала. Вот только сегодня, только сейчас села у Гоши в комнате, укуталась пледом, под солнечный, уже вечерний, матовый луч, за дверью учительница занимается с Ларисой музыкой, начну читать те письма Горского, которые у меня есть[186]. Кедров обещает достать книгу о тантризме, если нет, чуть станет лучше, начну заниматься в библиотеке. Оздоровительно-физкультурная моя программа пока только на бумаге, в призывах к себе, восклицаниях. Но буду!

Житейская дребедень: обменялись письмами с Палиевским (я ему на его открыточку, где была изображена деревянная скульптура *барыня-дура* с надписью от него: «C'est moi» откатала en francais: «O'Palievsky. Vous me faites pâlir à la seule idée…»[187]. Он доволен!), видела Алену, Чалмаева, была в гостях у Иосифа[188] и его молодой жены-художницы, живут в доме профкома графиков, послала статью о Платонове (мою, что вышла в «Литературной Грузии») Турбину[189], подписала договор с издательством «Мысль»[190] (пока только я, директор еще нет), возилась несколько с болгарским переводом большой статьи о Платонове для «Лит<ературна мисъл»[191] и — прислала переводчика — действительно, обнаружился ряд ляпсу-

сов, принимали дома два раза молодых американцев, пару, он — аспирант Майкла[192], Гоша хочет заразить его своими идеями, чтобы тот ими занялся «в предмете». (Это были Боб и Молли[193], с которыми мы подружились. Позднее Боб прочел мою книгу о Федорове «Николай Федоров. Творчество жизни». Сов<етский> пис<атель>, 1990, увлекся и начал ее перевод сам, без всякого понукания или намека с моей стороны. Почти закончил; некоторое время назад (года 3 назад) уже после его ранней смерти от рака мозга, Катя Кларк[194] привозила мне какие-то главы этого перевода, которые, вроде, кто-то из памяти к его последней работе собирался окончить и издать. Но все заглохло, не помню, куда и эти бумаги делись, может, где и завалились. Удивительно открытые, замечательные люди, осталось двое детей у Молли, мы так и не переписывались, Катя привозила новости, а сейчас и вовсе все оборвалось. — 20 октября 2001 года.)

3 апреля 1980 года 18 час. 30 мин.
Четверг Страстной недели

<…> Позавчера были с мужем на панихиде по нашему священнику отцу Николаю (Николаю Степановичу), что нас крестил на дому, когда Ларе было несколько месяцев, около года. Праведник, обломок религиозно-философского возрождения, незаметный как бы в наше время, но скольких вокруг себя собрал! Полхрама к нему пришло: и старые, и молодые, лица такие значительные, духовно проработанные. Отпевали же священника — более трех часов! Местами службу знали плохо ее проводившие (не так часто приходится), и в этом была особая трогательность. Вели ее с вдохновением. И все делали общую работу в молитве за душу усопшего, воспомоществляли ей в предстоянии Тому Свету и суждению о ней. <…>

14 апреля 1980 года. 13 часов дня

<…> Два дня читала то, что мне принес Карякин: его инсценировку «Бесов»[195] и полемическую статью против одной книги о Достоевском. В инсценировку вложил он уж и Федорова: Кириллов читает перед самоубийством его рукопись и излагает прочитанное якобы как следующий этап за своим шагом. Это, конечно, «клюква». Ибо случай Кириллова — как раз еще нащупывание самим Достоевским чего-то «федоровского», неудачный, уродливо-кособокий выкидыш его идеи. Как быть, раз Бога нет, а надо быть Богом? Федоров дает выход для Божеского дела и неверующим. Они будут делать что Христом заповедано как идеал — под другим названием. Если бы Кириллов мог прочесть рукопись Федорова и озариться ею, он бы не самоубивался, ибо нелепо-магический это какой-то его вариант пробиться в «человекобога», «в иную природу» через уничтожение себя — да еще для неверующего, пустое место останется, а до того немного разлагающейся плоти, прах и кости, и все тут. Иную природу надо добыть трудом, творческим усилием, всеобщим делом — если бы ему такое открылось — он пошел бы за, и пошел… Магия, вроде самоубийства для преображения — действи-

тельна, пока нет настоящего Слова, реального пути, лишь как выражение Алкания.

Ну а Карякин чем оправдан?

1. Хотел Федорова запихнуть куда уж можно. Ладно, и это хорошо.

2. Сумел почувствовать в Кириллове Жажду преображенного человека, другой, богоподобной природы, а Бога для него нет и что делать тогда? Не знает и тогда вот таким фортелем, волевым, дерзнул (как у йогов отчасти, только в импульсе, ибо у них все же идет индивидуальная тоже, но серьезная и длительная практика работы над телом, в попытке управления бессознательных в нем процессов и достижения невиданных возможностей, преодолевающих материально-природные ограничения).

27 апреля 1980 года. 9 часов утра

Все эти три часа ушли на одну уборку и готовку. Пришел Алеша Ивин[196], сидели до 12 часов, разговаривали обо всем, себе, жизни, людях, Федорове. <…>

Алеша вчера говорил, что ему принесли мои статьи из «Литературной Грузии» и «Севера»[197] как нечто выходящее из ряда… среди всякой неофициальной, нелегальной, религиозно-философской литературы. На таких правах ходят…

Конечно, в Алешу это все же посев, но сам он признается — как бы не «в терние». Важнее все же аскеза, чтобы смочь ко многим обратиться через печатное слово. <…>

Копия письма Олегу Лукьянову (без числа)

Ты, знаешь, Олег, я к тебе, почти тебя лично не зная, отношусь как-то удивительно сентиментально. В том одиночестве — духовном — в каком я сейчас, ты далекая, единственная родственная, живая вселенная.

Кстати, я прочла твой сборник[198], и он мне понравился. У тебя, безусловно, есть литературный талант, не говоря уж об Уме. Но хотелось бы от тебя *впрямую* и о *главном*.

Посылаю две свои статьи[198a], особенно люблю о Платонове, это кусочек большой о нем работы, в том числе и непечатной (цензурно) никак. В статье о Толстом и Федорове посмотри важную для меня идею о культуре и жизни (правда, здесь она разжижается и вьется, так «надо» для печати, стр. 125–126).

Напиши мне о себе, я буду очень рада. Сумашедше была занята, сдается том Федоровских сочинений, работала за всех, только что из издательства, ох-ох… Собираюсь и еду в деревню отходить.

Моя книга в «Современнике» застряла. Хотя к ней написал предисловие Севастьянов[199], космонавт, зав. редакции ударом ножа в спину, тихонько сейчас заслал ее в Академию общественных наук еще на рецензию (в этом месте ей, по-моему, будет полный…), хотя уже полтора года назад она была уже одобрена и должна была по всем планам уже выйти.

Ладно, может, таков Промысел. *Я очень надеюсь видеть тебя осенью!*

Передавай привет ребятам[200], они меня совсем забыли.

Твоя Светлана С.
9/VI — 80 года

(Ошиблась, не посмотрела в конец копии письма, дата все же есть. Лукьянов — саратовский писатель-фантаст, был самым сильным и творческим федоровцем, его присутствие в мире одновременно со мной меня поддерживало и укрепляло. Погиб — под влиянием детей и чтения «Розы мира» — на том, что стал всматриваться в черную, демоническую силу вокруг, стал взвешивать ее мощь и можно ли ее одолеть и вообще есть ли шансы на реализацию федоровской идеи, хотя признавал ее Истиной и Благом… как-то отпал, ушел в какие-то свои переживания и, очевидно, несколько оккультные опыты и умер, будучи мужиком крепким и почти одного со мной возраста, лет 7–8 назад. — *С. С.* 31 октября 2001 года.)

(Какой-то приблудный листок с недатированной записью. — 31 окт<ября> 2001):

В ребенке прекрасна его «утопичность». Это замечал каждый родитель и воспитатель. Скажешь ребенку о чем-то прекрасном, добром, он тут же реагирует: «Давайте так и сделаем!» Взрослый на это начинает свою трезвую нуду: увы, так не выйдет, мы не сможем, нам не позволят, так не бывает… Взрослое знание и ум должны научиться корректировать детское мечтание, мягко указывая на пока лишь, пока не осуществимое (а может, вот он-то как раз и начнет его осуществлять, станет изобретателем чего-то пока неожиданного), не убивая в детях порыва к мечте и практической ее реализации в жизни.

1 июля 1980 года. 11 час. вечера. Нахожусь в Нарской электричке, которая все не тронется в Москву из Нары. Вот так неожиданное место! Только сегодня вечером гуляла после первого настоящего рабочего дня в деревне, сегодня — вторник, Гоша уехал в город, я осталась одна и удачно начала писать свою очередную главу «Метаморфоза пола», так вот гуляла я вечером по полю на подъеме и в некотором сиянии мечты о будущем: вот том Федорова выходит, а там, глядишь, и из Академии общественных наук ничего страшного на мою книгу о Федорове не напишут… И как все пойдет… Возвращаюсь к дому, а тут, оказывается, мой двоюродный брат Борис[201] на своей машине прикатил, приемник взять на починку. Через час и Гоша подоспел с дурными вестями: письмом от Литвиновой из «Мысли»[202], что я ей очень нужна и большие неприятности. И Гулыга, оказывается, звонил, Иовчук[203] заваливает том Федорова — все останавливается. Гоша ему меня отбил, что, мол, нечего мне ехать из деревни. А тут Боря с машиной как перст какой: мол, сбирайся и вперед, довезет до Нары. Но на что он перст, еще вопрос: на растрату и погибель скорее всего.

Вот уже сижу в вагоне, схватило голову, спазмы, боль, а что еще будет — одна беготня пустая и растрата нервов, будет Литвинова требовать 2-ой экземп-

ляр тома, к ней придется ехать, какие-то ей справки давать, небось, под мою личность, ее общественный и философский вес начнут подкапываться… Тут Иовчук не один, за ним много помельче, всяких злопыхателей и завистников (вроде какого-нибудь Пустарнакова, Когана[204] и т. д.). А пока уже горю, в Наре сижу уже больше часа, а электричка все не трогается с места. Ну теперь уже хода назад нет, как-нибудь до Москвы доберусь. Главное — успокойся, считай, что ты едешь в библиотеку перечитывать «Смысл любви» Владимира Соловьева, есть шанс побыть две ночи одной, да и дома в Москве писать можно, взяла свои бумаги. <…>

Сейчас задача — сохранить самообладание и физическую форму. Завтра с утра начнешь звонить туда-сюда, а до того — обязательно на зарядку и постарайся среди дел — в библиотеку. Надо решительно на советские возможности кое-что, у меня не имеющееся (но у мужа зато во!!), положить. Ох, и сволоту вырастили! Не пролезешь ни в одну щель. Четко уяснить, что статьи, может, публикации там-сям еще можно с трудом, но вряд ли больше. <…>

19 августа 1980 года

Встала довольно бодрой, погода холодновато-свежая, дует ветер, солнце изредка ярко прорывается; детей собрала, запросились уйти по малину. Все утро убирала после завтрака, сейчас уже половина 12-го дня, села немного в комнате. Гоша стучит на машинке, промышляет болгарский космос по Ботеву[205]. Работает, как зверь, дней 4–5 назад, как начал, и уже 66-я страница. А я за все лето написала на машинке 50 страниц и то до конца недовольна, уже неделю ничего дальше не пишу, забеспокоилась, что не успею переделать рукопись к 15 сентября (очевидно речь идет о многострадальной книге о Федорове, носившей тогда название «На пороге грядущего», еще какие-то требования из «Современника». — *С. С.* 14 декабря 2001), ведь приеду в Москву, начнутся, наверняка, беспокойства с изданием Федорова, надо будет срочно, в какую-нибудь неделю делать комментарии. Когда две недели назад уезжали из Москвы, под занавес мне вонзили отравленную железку в сердце. Иовчук, видя всеобщее сопротивление и забоясь прослыть полным ретроградом, стал, естественно, спасать «внешность», faire bonne mine au mauvais feu[205a] и цепляться ко мне, в чем ему с радостным злорадством подкинут угольев Коган и компания из «русского» сектора Института философии. Собираются на Ученом совете обсуждать мое предисловие и комментарии, ясно с умыслом вообще спихнуть. Сделан мною огромный труд, сроки поистине невиданные, и теперь пойти под серп… очень обидно. А главное, сколько еще нервушек повытянут. Я тут забыла за две недели обо всем этом (плохо стерпимо! мучительно!), но скоро накинутся. Вот пишу, напрасно вспоминаю, подползает к сердцу змейка пососать… Ладно, тьфу!

9 декабря 1980 г. 5 час. утра

Бессонная, позорная ночь. Бредовая, больная голова. Последняя отравленная капля — редактор «Нашего современника» (Юра Селезнев, на деле зам. главного, но тогда замещавший первого. — *С. С.*), который сократил мою статью[206] вдвое, в лучших местах, обстриг все когти, по которым ты «лев», кое-где и сам по-своему, по гладенько-арифметическому подутюжил. А я и не сопротивлялась, не было времени ездить, когда требовалось, усечь все безобразия, бороться по фразам, — занята по сей день изданием Федорова. А тут предъявлено уже набело, как готовый, непререкаемый факт. Вот и мучусь, что сама виновата и что делать. Ведь потом не вырубишь топором. <…>

Среда 11 февраля 1981 года

<…> Повалилась верстка тома Федорова, надо было срочно доделывать — а фактически по огромному пространству текста — комментарий. Два месяца, может, чуть больше — до середины декабря — я много, в традиционном смысле слова, работала: библиотека, машинка, библиотека, машинка — часто до изнеможения. Сделала! <…>

Вчера была в музее Скрябина, где читал по поводу дня рождения «папочки» Евгений Борисович Пастернак его письма к сестре в Лондон и переписку военного времени с Н.Я. Мандельштам. Проникновенно вошли в душу эти строки, люди, их жизнь и усилия. Виделась там с Катериной Александровной Крашенинниковой, которая жила во время войны в одной из комнаток музея[207] — «А тут, — показала она на угол, завешенный иконами, — о, сколько, я тут молилась!» <…>

9 марта 1981 года. Очевидно 12-ый час дня. [Малеевка]

Спала хоть и меньше, чем вчера, часов шесть, но встала бодренькая и веселая, погуляла, позавтракала, написала письма домой, сходила в библиотеку, пыталась взять лыжи, пока нет моего размера, и вот готова начать трудовую жизнь. Передо мной папки, avanti[207a]!

За столом — сосед, старый, с выдубленным лицом, бритый наголо, à la Fantomas, дикобраз из первых большевиков, громко рассказывает о деятелях гражданской войны, очень патетически о махновских бандитах, о смерти Пархоменко, которого бойцы, мертвым, возили за собой целый месяц, полагая, что он по-прежнему отдает им приказы…

Потому так люди и стремятся к разжиганию вражды между собой, особенно «правой», что войны, революции, борьбы, перевороты и т. д. дают сюжет для умирания и смерти, оправдывают ее романтически-красиво, а попробуйте — тихо, мирно, братски пожить, не убивая друг друга, и станет ясно, кто враг, кто все равно вас убьет — природный закон. Но ему, как говорил Федоров, нельзя дать почувствовать своей злобы, лучше затуманить ситуацию и перенести врага на ближнего и дальнего и вот: «пал от злодейской руки палача, предателя, захватчика, классового

врага…», а не оттого, что «смертен», по природе. И горюют, льют слезы, разжигают «святую» ненависть к палачу, предателю, захватчику, классовому врагу…

Правда, и в мирной жизни, как показал Толстой, люди полагают, что гибнут «от почки», «от сердца», от несчастного случая, а не от смерти….

* * *

Я должна поставить себе уже точные сроки завершения своих «Тайн Царствия». Сейчас, т. е. за март, *напишу* (!) главу «Богодействие Ф.»[208]. Затем апрель, май — дома, до деревни, буду готовиться летом завершить «Метаморфозу пола». И к осени, к моему сорокалетию, работа должна быть готова. Не стоит сюда пихать «русскую тему». «Оправдание России» я напишу отдельно. Это — следующая работа.

Когда я ее завершу, начну давать ее читать, Бочарову, Турбину и т. д., и искать путей для напечатания anywhere[208a].

11 марта 1981 года. 6 часов вечера

<…> Познакомилась с Володей Маканиным[209], посидели в холле, поговорили, погуляли, еще поговорили. Дал свою книгу читать. Пришла, даже начала уже. Неплохо. <…>

12 марта 1981 года.

Письмо Сетницкой

Дорогая Ольга Николаевна!

Я сейчас нахожусь в Малеевке до 1 апреля, выпустили меня из дома немножко поправить здоровье и поработать. Последние недели в Москве были очень нервные, и мне было плохо с сердцем. Остановлен том Федорова. Очередной демагогический и очень сильный наскок «темных сил». Пока все так и остается. Что-то пытается делать Севастьянов. В издательстве тоже переполох, выбрасывают какие-то куски из текста (в общем глупость и безобразие). Типография может просто в рабочем порядке рассыпать набор. Много волнений, а надежды на хороший исход пока мало. Не надо, Ольга Николаевна, никому пока об этом говорить, кроме Екатерины Александровны. Руки опускаются!

Я здесь уже несколько дней, стараюсь побольше гулять, читаю и уже начинаю понемногу работать. Но общая спертость атмосферы, в которой мы пытаемся что-то делать, мало способствует радостному полету мысли. Надо, конечно, крепиться мученическими образами нашей духовной семьи, примерами Николая Александровича и Александра Константиновича и Вашей с Екатериной Александровной трудной судьбой. Напишите, если получится, *сюда* или в Москву, как Вы в последнее время, как себя чувствуете, что делаете, кого видели. Как Екатерина и Мария Александровны? Им огромный привет!

Обнимаю, всегда Вас помню и люблю.

Ваша Светлана С.

14 марта 1981 года

<…> Маканин взял читать «Тайны Царствия», надо проверять на людях, ему очень нравится, после первых 40 страниц ворвался ко мне со словами, что я гениальная женщина. Вечером сказал: жаль, что это не может быть доступно многим, нужна художественная, ассоциативная форма, разжевать, засюжетить местами. Я: нет, так нельзя, я добываю мысль, а не популяризирую, украшаю, расчленяю и искусно драматизирую ее. Он: если бы я владел как ты, *такой истиной*, верой и так в сердце, то положил бы всех к своим ногам.

16 марта 1981 года. Почти 6 час. вечера

Вчера утром на несколько часов приезжал Алеша Ивин, мой когдатошний ученик во французской группе. Полгода назад виделись, в Москве никак у меня не получалось. Он рассказал с желанием совета свои проблемы. Я этот совет, естественно, ему искусно плела. Гуляли, он читал летом первый том Федорова, и я ему объяснила ту глубину пророческой мысли, которую для него, как для многих, заслоняют *выстрелы по облакам*.

К концу было некоторое неудобство. Он еще молод, 27 лет, для него жгуче все с женщиной, а тут эта самая ситуация: мужчина и женщина наедине, витала и, не реализуясь, оставляла недостачу, неудовлетворенность. Но, слава Богу, не было никаких лишних жестов и натужных попыток. Спокойно и даже — как бы ускоренно — расстались: в 4 часа он уже ушел.

День для работы был загублен. Доживался он в прогулке с Маканиным, ох, как много — до 10 вечера гуляли. Ноги аж загудели, заболели. Но встала, заснув в 12 часов, рано, уже в 6 утра, валялась в попытках уснуть часа полтора, и пошло сегодняшнее утро. Соблазнилась, выходя с завтрака, поехать с экскурсией в Бородино. Никогда там не была. Тряслись с Маканиным на заднем сиденье, все внутренности у меня отбились.

Само Бородино оставило горестные впечатления. Сконцентрированная дикость и ужас: бились, убивали, повалили с обеих сторон десятки тысяч, неимоверная густота схлестнувшихся тел и их повержения. Тут наглядная эмблема, острый выплеск «нормального» развития общества и истории: самцы поражают друг друга в ярости, в пене, в исступлении убийства — тело к телу — жестокий, дымящийся мужской бранный эрос, ощетинившийся фаллами пушек и штыков. А какими красавцами выряжались армии, готовясь к опьянению смертной брачной схватки, почище чем к мирному браку. Шитье, галуны, какие-то опахала петушиные на головах. И среди них одна мужеподобная дура, кавалерист-девица Дурова, спрятавшаяся под тем же воинственным, блестящим оперением. Птицы одеваются так для любви, а люди-недоросли для убийства, для доблестной кончины — «кончили», кончились.

Но тут же среди этого широко раскинувшегося славного и жалкого позорища — монастырь, Спасо-Бородинский, *женский*, вдова Тучкова IV[210] на месте ги-

бели мужа, так и не найдя его тела, основала часовню, потом монастырь, и чистые девы, невесты Христовы, на этой политой кровушкой, усеянной костьми земле замаливали грехи полегших — затеплили тут очажок искупления. (В 1929 году, заявила экскурсоводша, прикрыли монастырь, как все подобные религиозные *заведения*. Что за слово! А произносит: как какое-нибудь «заведение Телье», веселенькое.) Из этого соседства высекается патетика, а у нас — у меня — слезы.

И недаром, видно, вдова этого Тучкова IV, а не какая-нибудь другая вдова или невеста или сестра, совершили это Божье дело. Вглядываясь в портреты героев — а все они почти такие брутальные, тяжелые, да, *были мужики в наше время*! — этот самый Тучков IV ударяет своей особенностью, так и выпадает из этой мясистой, грубоватой галереи. Излом в лице, подобие романтической судороги, большие глаза, духовность начала века, немецкой «прекрасной души», кладбищенской лирики…

Вернулась только в 4 дня. Ох и тяжела дорога по русским ухабам, голова раскрутилась и кружит, пообедала, чуть сама погуляла 15 минут, подремала, сходила за горячей водой, выпила кофе (полутеплое, слабенькое, другого не получается из такой воды), вымыла голову и вот села, еще есть час до ужина, сосредоточусь над Федоровым. <…>

21 марта 1981. 1 час дня

<…> Важно, кем хочет (выбирает) себя человек считать: происшедшим ли от обезьяны, только частью природы, понявшим ее закон и решившим его для своего максимального наслаждения эксплуатировать (крайний циничный вариант — де Сад), или от Бога, от другого, высшего, идеального начала бытия. Всякая идеологема, философская (и не только философская, но и научная) конструкция о человеке, его происхождении, его сущности, его будущем никогда в строгом смысле не объективна, а направляется, по сути, идеалом мыслителя или ученого, являя в определенном смысле ценностный миф. Федоровское видение начала человека, как бы первого, чистого обнаружения его сущности и задачи, — возвышенно, более того, благоговейно. У Федорова человек происходит и от природы, и от Бога, точнее «Творец создавал человека чрез него самого»[211]. Принятие вертикального положения — первый акт самосозидания, сознания и искусства, высекаемый эмоцией неприятия смерти, сильнейшей скорби по умершему отцу. Истинная, должная сущность человека определяется у него противоприродно — из импульса не половой любви и привязанности к детям, а к родителям (семья как родственная ячейка, поддерживающая силы дряхлеющих родителей)…

«Оттолкнув труп умершего, отвратив взор от неба, человек обратится в животное»[212].

24 марта 1981 года

Возвращаюсь с похорон Нины Васильевны Чекрыгиной[213], Царство ей Небесное! В электричке трясет. Всё, отпели, сожгли, помянули в «Праге». И нет уже ее

в теплом физическом облике, а стоит перед глазами. Отпевание было тихое, пели две божьи старушки-прислужницы растреснутыми, но всеотдайными голосами. Церковь была уже закрыта, еле нашли священника (какое-то недоразумение вышло).

Крематорий — чудовищен, владение Сатаны. Ни за что! Меня только отпевать, ночь в церкви и в землю! <…>

В согласном хвалении покойного на поминках черты его личности, даже те, что могли вызывать при жизни раздражение, злобу, тут встают своей положительной стороной. Если «пороки есть извращение наших добродетелей», то тут из пороков уже выжимают добродетель. Лицо заменяется ликом, уже в наших душах готовится ему преображение. Смерть как необходимый момент отрицания этой грешной, больной, дурной плоти и прозревание в ней новой.

29 марта 1981 года. 12 час. дня

Вчера был проникновенный вечер с Лилей Проскуриной[214], она, конечно, умственно плохо подготовлена, в том смысле, что никогда не бралась за философскую культуру, но главное, сердечное удивительно схватила. Сидели у нее и говорили. Она сумела внутри себя установить такой царственно спокойный ритм, он и внешне во всем: улыбке, голосе, жестах. Пока был невнятный энтузиазм по поводу «Тайн», не знаю, будет ли действительно помогать, как она это хочет сейчас. Но такая готовность и ее восторженное принятие мне сейчас очень дороги и даже чуть кружат голову.

Сегодня утром она подошла за завтраком и сказала, что очень плохо спала: поздневечернее возбуждение… Не надо больше так, — решили, — надо себя щадить. А когда мы с ней в двенадцатом часу вышли, стоял на дороге Маканин: прочел мою статью о Платонове и очень хвалил. Чуть тогда прошлись и погоревали о только что скончавшемся Трифонове. Царство ему Небесное!

После завтрака гуляла с какими-то старыми писателями, неудобно, подхватили, упросили… Говорили о Гитлере сначала, я о том, как он хотел на природно-селекционных путях выращивать прекрасных будущих сверхчеловеков (как скот выводят), как губителен философ (ложной идеи) на троне. Кстати, для себя вот, пожалуй, еще один аргумент к гитлеродицее. Обычно я опираюсь на свт. Григория Нисского: на новом уровне сознания воскресят, вся гнусь своя, все зло явлено будет, помучается в аду мук нравственных, выжигая из себя прошлые грехи и преступления дольше других, une petite éternité[215]. А тут ведь даже очевиднее: он — жертва ложной идеи, конечное стремление даже где-то может быть понятно: убрать с земли нынешних жалких, несчастных, никчемных обитателей и произвести на ней род здоровый, сильный, великолепный. Не озарен был христианским светом, не видел уникальности и бесценности каждой, даже вроде самой убогой, душевной свечечки, запутался еще в исторических счетах с евреями, в тенетах доктрин о неполноценных расах; наконец, весь 19 век с его торжествующим дарвинизмом, легко переносимым

на общество и человека (естественный и искусственный отбор, улучшение видов, выведение отборных, совершенных пород, борьба за существование и т. д.) подготовил Гитлера. И Восток с его личностным нигилизмом и совершенствованием единиц тоже надул свое. И вот Гитлер восстает в новом сознании, и весь бред его прежней головы, положивший к алтарю Идеи столько жертв, так жалок и так страшен ему является. Но вокруг встали из гробов эти жертвы, все живы, все тут… Искуплены результаты убийственной активности. Какая радость, какой свет, какие страшные слезы должны пролиться у одних (у того же Гитлера), какие радостные и умилительные у других. На колени, к ногам своих бывших жертв — и слезы, и стоны, и раскаяние. Должны понять, должны простить и уврачевать постепенно геенский огонь его совести. Для меня с Гитлером в чем-то проще, чем с такими людьми (если они, конечно, возможны — впрочем есть же сексуальные маньяки, серийные убийцы!), как libertins[216] де Сада или сам де Сад. Главная его загадка: мог ли бы он в полном объеме, как его герои, или это какой-то продукт исступленного предела сатанической мечты. А Федоров, как я уже не раз отмечала, — сияющий предел мечты Божественной. Свобода ведь дана: и в ту, и в другую сторону может человек помыслить (а может, и должен, раз может) до конца, представить, явить, страшно сказать, и попробовать (этого, правда, я никак не приемлю). Надо ли, прежде чем выбрать Бога и Его Свет и Чистоту, искуситься Сатаной, Тьмой и Грязью? Во всяком случае так произошло в плане Общего Домостроительства: отпал первый, светоносный Ангел (и ему в перспективе апокатастасиса брезжит спасение и восстановление), человек грехопал, стал убийцей и пожирателем (и к нему явился с Вестью искупления Сын Божий)…

Мне пришла замечательная мысль написать катехизис активного христианства, Дела Дел, Царствия Небесного. В виде вопросов и ответов, где будет последовательность ввода в Идею, и большая маневренность, без теоретической дискурсивной систематики, и ответы на все сомнения и боковые наивности, и доступность, и простота, яркость, сшибание со стереотипов. Тут должно быть все и, к примеру: Что такое первородный грех? Есть ли Бог? Что делать, если Бога нет? Зачем живет человек? Как полюбить родителей? Что делать прямо сейчас, пока еще все не собрались? А если так и не соберутся? Как быть со злодеями, с Гитлером тем же? С неандертальцем? С любимой умершей кошкой? Чем мы будем заниматься в вечности? Будет ли мужчина и женщина? Какой у нас будет вид? С чего начинать? Что уже удалось науке? Как ее спасти? и т. д. и т. д. Надо начать заводить карточки и на них главные вопросы собирать и искать краткие, впечатляющие ответы. Я все говорю, что хочу написать «Евангелие», убеждающее, страстное, входящее в душу и ум. Но там опять нужна последовательность проповеди.

14 час.

Тут я прервалась, вышла в коридор, а из-за двери Карякина звучит Высоцкий. Душу пронзило, постучалась и час у него слушала, вначале не выдержала,

задушили слезы, вышла, пришла в себя, выпила воды и вернулась, уже держась, дослушала. Боже, какой вопль и хрип на русской равнине, в русской зоне, какое неистовство в тоске и взрыв преград в согласных, взрыв, который не освобождает, но с которым погибаешь сам. Трагизм русской души, понимающей, что «не то оно, не так», не желающей приспособиться к уютному petit train-train[217], но и не видящей другого выхода, как только изойти в тоске, в разгуле, в вопле. Нету белого света, дайте!!! А если и есть, то он белый, как саван, в саван укутать так и ждет, в снег, в пургу разнести — ууу… и нету. А ты ведь еще дышишь пока и упиваешься *белой*, чтобы заалело и зачеркнуло внутри, чтобы *живым* и биться, и *чувствовать*, пока, пока…

14 апреля 1981 года. 11 час. утра

За десять дней этих что же было? Ходила к зам. министру Госкомиздата Чикхишвили. Опыт мрачный: долгое сидение в приемной, предварительное измочаливание, затем уже лицом к лицу чиновничьему — все тщетно, все слова, как от бетонной стенки. Но поняла, что мне социальная крышка: если и будем издавать Федорова, — сказал важно, — то с другим серьезным, критическим предисловием и такими же комментариями.

Итак, все, что я городила семь лет, — рушится, и книга в «Современнике», что сцепилась с изданием Федорова.

Вышла и тут же на улице — случайно! какие сценарии судьбы! — встретила моего редактора из «Современника» Асанова[218] и все ему — какой у меня провал! — тут же с пылу с жару самоубийственно рассказывала. <…>

Нестерпима вся эта не разрешающаяся до конца ситуация с Федоровым. Уехать бы на год в путешествие, забыться, обновиться, подвести черту и начать новый этап жизни, — сказала я Гоше. Он-то чувствует, как все это меня разрушает, предложил сейчас все бросить и уехать с Ларкой в Коктебель. Никогда там не была. Помру, так и не увижу: южной весны, цветения… Может быть, еще и поедем. Сегодня зайдем с ним в Литфонд, а до этого надо еще раз в «Наш современник», все мучают статью.

Письмо Олегу Лукьянову от 3 мая 1981 года

Дорогой Олег, я уже даже не извиняюсь, что отвечаю не сразу, установился в нашей переписке свой неторопливый и верный ритм. Значит, так и надо, чтобы через месяц-два взяться за перо и сосредоточиться душой на тебе. Были очень тяжелые времена, связанные как раз с книгой, которую ты просишь. Нашлись темные силы, которые под занавес (уже шла вторая верстка) сыграли свою демагогическую, точно рассчитанную игру. Где-то перед съездом нашли (точнее, нашел такой Иовчук — кстати, его национальность читай в корне его фамилии) момент замутить воду, напугать, измыслить дичь, вроде того, что Федоров — антисемит и издание расистское (и это при том, что был он, как тебе известно, за международ-

ные и межрасовые браки, чтобы «обнимитесь миллионы» и всеобщее сродство; я не говорю уж о том, что был он христианином).

Но когда эта наглая кавалерийская атака захлебнулась — ибо мы тоже не сидели при этом сложа руки, и главное, Виталий Иванович[219] помогал — начали с другого конца то же дело потопления, мол, издавать, может, оно и можно, но *как*, классово, партийно, критично — не те люди делали, хотя при этом те, кто это говорит, не видели в глаза ни строчки ни предисловия, ни комментария. Приемы известные: дискредитировать решительно, что-то да останется в ушах и мнении. Я страшно измучилась от всех этих борений и сейчас на 20 дней с младшей дочкой дезертировала в Крым, в Коктебель.

Пока издание приостановлено и исход не ясен. Ты никому об этом не говори до времени, не нужно лишнего шума и махания крыльями. Я тебе напишу, когда что-то определится. Моя книга в «Современнике» тоже застряла, не идет в производство, раз тут остановка. И вообще не выйдет, если завалится том Федорова. А за ним и вся инициатива издавать русских мыслителей. Остановлен 1-ый том Вл. Соловьева, который должен был уже идти в производство[219a]. Тебе объяснять, конечно, не надо, кому так хочется лишить нас наследства, памяти и будущего. А представителей русской общественности, бодрых и готовых послужить не только лично себе, практически нет, так что самая аляповатая фальсификация и грубая демагогия моментально достигают цели. Стыдно, руки, бывает, опускаются, хоть в «кантон Ури», как Ставрогин.

Надо идти на углубление, меньше или вовсе не питать надежд на социальную реализацию. Буду этим летом завершать свою — пока — главную книгу (условное, очень условное у нее название «Тайны Царствия Небесного» — дальнейшее продумывание все Того Же).

Надеюсь, ты все же найдешь жанр для высказывания созревших в тебе видений и картин. Начни, как выйдет, плюхайся in medias res[220]! Это было бы чрезвычайно важно. Ты со своей яснейшей и какой-то очень мужески весомой головой мог бы дать — как мне кажется — *очень убедительный взгляд*. Вот именно в тебе, в твоих рассуждениях — я хорошо помню впечатление от них — есть особая *убедительность* и резкая глубина мнений.

Напиши мне, когда соберешься, как ты сейчас. Но особенно хочется тебя снова увидеть.

Что происходит с Сашей Романовым? У него какая-то беда?

Пиши, дружочек, не ленись!

Целую. Твоя Света.

5 мая 1981 года. Около 6 час. вечера

26 апреля приехала в Коктебель с дочкой, с Ларочкой. Муж придумал: спасайся от коршунов, расклюют дотла, не из чего и возродиться будет для нового периода жизни. Сейчас я вот-вот должна уже определенно оказаться у разбитого

корыта. Все мое дело последних семи лет, дойдя *почти* до реализации, рушится: и издание Федорова, и связанная с ним моя книга в «Современнике».

Сейчас главное набрать страсть для завершения «Тайн Царствия». То, что набросала в Малеевке о «Богословии общего дела», надо развить, а сейчас, если буду здесь еще дней десять, продумать, как завершу «Метаморфозу пола». И готовься, читай к «Оправданию России». Это мое сейчас Дело, к осени завершить «Тайны», и еще 2–3 года на «Россию»[221]. <…>

Вчера ночью Ларе как résumé: человек должен поставить себе категорический запрет — *нельзя убивать другого человека*, ни при каких обстоятельствах. Если он выработает такой «инстинкт», то станет уже другим существом. Много запретов себе уже наложил человек и органически уже теперь, без всякого принуждения, *такого не делает*: не спит с сестрой или матерью, не нюхает и не любит дерьма, не съедает человечину и т. д.

Воспитывать с детства: нельзя, не убий!

Письмо Е.А. Крашенинниковой

Дорогая Екатерина Александровна!

Большое спасибо за письмо и добрые слова — Вы меня как никто вдохновляете — и особенно за Вашу статью, бесценный, духовный подарок. Основные ее мысли чрезвычайно мне близки: выделены и развиты они сильно, убедительно, смело. Раскрытие *смысла Голгофы* и ее соотношения с Евхаристией — гениально. А когда тут же *и человеческая активность*, и поразительное, свежее подчеркивание значения земной *Жизни* Бога, Которому мы поклоняемся в нашей церковной деятельности и Который для нас единственная форма и условие Богопознания, — то, право, слов нет, так прекрасно. Спасибо!!!

У Федорова есть — как всегда простое, конкретное, нацеленное на переход в проект, а затем и Дело — толкование Евхаристии как постоянно повторяющегося в Храме акта воскрешения. Из частиц хлеба и вина, материальных элементов, воссозидается нетленное, божественное Тело Христово — как бы прообраз, мистериальное предвосхищение той грандиозной внехрамовой евхаристии, когда из праха отцов, идущего нам сейчас в пищу, мы будем созидать их преображенные тела. Вкушая в Храме Тело Господне, мы как бы уже причащаемся той будущей светоносной природы, которая не только у воскрешенных и воскрешающих, истинных Сынов Божиих. Престолом внехрамовой литургии уже становится вся земля, все мироздание, акт воскрешающего пресуществления хлеба и вина (как символов материальных элементов, может быть, праха, мощей) в живое пречистое тело распространяется на всех живших. Как, по-Вашему, может ли Церковь принять идею внехрамовой литургии как реального осуществления Дела Божьего и человеческого?

В недавно прошедший светлый праздник сердечно вспоминала Вас, Марию Александровну[222], Ольгу Николаевну.

С Ларисой я здесь в Коктебеле живу хорошо, главное, ребеночек свежеет, ну и я, наверное, хотя отдыхать я не умею. Гуляем, даже загораем, хоть и сильные, холодные ветры, много читаю. Сейчас душа особенно повернулась к Блоку, снова и снова читаю его стихи, статьи, письма.

Надеюсь, что, как вернемся, перед летним расставанием — уедем в деревню — можно будет Вас увидеть. Очень этого хочется. Большой привет Марии Александровне и Ольге Николаевне. Целую. Ваша Света.

Письмо Линнику Ю.В.[223]

Дорогой Юрий Владимирович!

Извините, что не буду извиняться за задержку ответа; это было бы с моей стороны некоторой манерностью. Я вообще не умею сразу отвечать на письма, на что почти всегда еще накладываются всякие срочные обстоятельства, житейские и деловые. Но какой-то свой ритм переписки всегда есть, который Вы — если она у нас с Вами продлится, *чего мне очень хотелось бы*, — вскоре почувствуете.

Я Вам очень благодарна за присланные книги и материалы. Вашу книгу стихов я с наслаждением прочла, как только у меня образовалось здесь, в Коктебеле, свободное время. Вся она очень цельная, замечательно построенная и талантливая. Ее идеи и общий пафос мне чрезвычайно близки. Художественно она высока, некоторые вещи — пронзительны. В целом Ваша поэзия — особое явление в нашей литературе. Отрадно было с ним познакомиться, обязательно, если возможно, посылайте мне Ваши работы, все это родное, *одной семьи*, не так уж пока многочисленной.

К сожалению, не могла взять сюда Вашу прозаическую книгу[224], был строжайший режим килограммовой экономии, прочту сразу как вернусь в Москву.

И, конечно, в высшей степени интригует меня Ваша коллекция, надеюсь когда-нибудь с ней познакомиться. Я вообще впервые услышала о существовании такой группы художников. (Очевидно, имеется в виду «Амаравелла», произведения художников этой группы Линник собирал. — *С. С.* 24 марта 2002.) Не могли бы Вы мне немного о ней рассказать, также как о биософии Кроля и лимитизме Жакова[225] (еще двух явлениях, о которых я узнала, чисто назывательно пока, из Вашего письма).

Теперь же моя очередь отвечать Вам на вопросы.

1. Неизданные вещи Горского — это довольно много стихов и больших поэм, несколько *очень важных*, но относительно небольших философских работ. Однако распоряжаться ими может только Ольга Николаевна Сетницкая, то, что у меня есть, — от нее, но без свободы распространения. Эта замечательная, уже пожилая женщина — дочь Сетницкого, у нее главный архив работ Горского, в том числе *поразительных по глубине* писем Горского к ней и ее подруге, Катерине Александровне Крашенинниковой, уникальному по душе и уму человеку (тогда, в 40-х годах, они были еще совсем молодыми, «дочерне-творческий актив», как называл их Горский, да они и сейчас, и вообще, и в вечности идеальные федоровские «дочери

человеческие»), это не письма, а целые щедрые, философские трактаты[226]. Так вот можно что-то получить только у самой Ольги Николаевны. Перед отъездом она была у меня, я ей показала Ваше письмо, она хочет Вам написать, но просит, чтобы Вы это сделали первым. Можно начать с того, что Вы попросите ее подобрать стихи Горского для «Севера». Это должна делать она, кстати, Ольга Николаевна пишет биографию Горского, сама она по профессии библиограф, сейчас на пенсии, у нее обширная библиография по Федорову (возможно, тоже не меньше 200 названий). Сразу просить читать не надо, она человек осторожный (в такое уж время жила), я ее подготовлю, а лучше всего, когда Вы будете в Москве, лично с ней познакомиться. В конце концов, конечно, Вы эти тексты получите, — я уверена. Но терпение…

2. От Сетницкого тоже осталась пара неопубликованных интересных работ, они тоже у Ольги Николаевны.

3. Я читала 4 номера газеты[227] «Биокосмист. Креаторий российских анархистов-биокосмистов» (все, что вышло), там манифесты и программы, в центре — Святогор, и еще две их брошюры (Иваницкого)[228]. Немного о биокосмистах есть в моей статье о Заболоцком («Литературная Грузия». 1980. № 9). К сожалению, я не могу Вам прислать журнала, нет экземпляров и нет возможности сделать ксерокопию сейчас. Присылаю Вам статью о Платонове, тоже из «Литературной Грузии»[229], вряд ли она Вам попадалась. Эта статья мне дорога, кусочек большой работы о Платонове. Мне интересно Ваше мнение.

Если Вы действительно были в Москве в мае — страшно обидно. Я возвращаюсь с дочкой 20 мая, до начала июня в Москве, а затем все лето буду под Москвой в нашем деревенском доме, буду регулярно наезжать в Москву. Пишите по московскому адресу. А где Вы будете летом?

Спасибо за все дары! Хотелось бы увидеть эти картины в оригинале. Кому принадлежит «классификация НЛО»? Очень остроумно! Но мне ближе идея уникальности жизни и разума на Земле, христианская онтологическая интуиция Земли как центра творения, через которую, говоря сегодняшним языком, проходит ось космической эволюции.

Желаю Вам удовлетворенности собой! А у меня сейчас очень тяжелая полоса! Ох!

9 мая 1981 года. Коктебель. Ваша Света.

13 мая 1981 года. 11 часов вечера

Вчера с Ларочкой перед сном выкинули четыре карты, что с нами завтра будет (понравилось ей так гадать). Вышла дама пик с валетом же пик: пустые хлопоты. Так и случилось, недаром 13-ое. Звонила два дня назад Гулыге, попала на его жену, она мне сообщила, что заседание Дирекции института философии по поводу издания Федорова будет 20-го, вот и решила я, так и не дозвонившись лично Гулыге, поехать в Феодосию поменять билеты на день раньше. А сегодня как раз по плану автобус туда. Вскочили рано, подготовились, но пико́вые штучки начались сразу:

автобус отменили. Мы же, все уже настроенные, стали добираться сами: с билетом тоже перекомпостировать не удалось, пришлось один сдавать, другой покупать. Болтались никчемно по городу, приехали на автостанцию, автобус в неисправности, рейс переносится, уехали с Ларкой на такси. А сегодня вечером звоню Гулыге, наконец, он есть: «Заседание вообще отменяется»! Вот тебе и испорченный день, пустые хлопоты в образцовом виде, а теперь неизвестно, как и добираться, автобуса не будет, надо на городском, намучаемся и день теряем. <…>

А ведь какая умиротворяющая, древняя здесь красота! Что вот со мной сейчас? Гуляли, гуляли, а болит голова, нервы… Успокойся, успокойся, за этим и взялась записать, чтобы себя утишить. Ладно, так уж вышло, что ты кусаешь свой хвост, позволяешь недостойным, пустым сожалениям разъедать себя?! Ложись-ка спать, матушка, а с утра не валяйся, делай зарядку, и если голова будет с утра в порядке, садись не просто сибаритски читать, а доделывать то, что начала, переложение взглядов Вл. Соловьева[230], это скучно, не хочется, но надо — Москву, деревню освободи для вдохновляющего тебя Горского[231]. И обязательно! — это тебе *эпитимья* на оставшиеся четыре дня: доделать Соловьева. Успеешь и находиться, день велик, завтра просят еще рассказывать о Федорове знакомые Чухонцева, которым он «напел», и я, памятуя завет Александра Константиновича, высказанный в его письме к «Оле и Ляле»[231a], не уклоняться от беседы и разъяснения, когда искренне просят, — согласилась с ними завтра поговорить. Будем гулять и беседовать. Все ясно — и так держись.

14 мая 1981 года. 11 час. 30 мин. вечера

<…> После обеда и отдыха два часа у знакомых Чухонцева шло федоровское собеседование, прочли мою статью «Толстой и Федоров» и с этого «алфавита» пошли меня допрашивать. Я работала с отдачей и воодушевлением, на совесть. Когда мы вышли, то Чухонцев, проводив меня чуть, заявил, что он недаром это делает, оторвавшись от всех помчавшихся в столовую. «Вы знаете, — сказал он, — я видел у вас над головой свечение, что-то вроде нимба в самый ваш разгар». <…>

<…> Ладно все, Ларка включила свет, не спится ей, посоветовала взять ей книжку, перечитывает «Волю к жизни» Лондона, я тоже почитаю томик Волошина, в понедельник, в день отъезда, Чухонцев обещает сводить в дом Волошина, договорился с живущим там «монополистом» Купченко[232].

15 мая 1981 года

Сегодня с утра неожиданно оказался автобус в Старый Крым, и мы поехали. Домик Грина, малюсенький, саманный, здесь жил он не больше месяца и умер. Вдова писателя Петельникова[233] — заведует им сейчас — в домашней затрапезе набирала воду из колодца, когда подъехал наш автобус, еще какая-то молодая, невыразительная женщина посадила нас перед домиком на скамеечке и рассказывала скучно, чисто назывательно о последних годах писателя. Были и на могиле, где

поставлен памятник «Бегущая по волнам» и висят на случайно выросшей сливовице пионерские галстуки, как «алые паруса». Тут они впервые для меня зазвучали выразительно. Жену с тещей куда-то откопали и запрятали отдельно (нам и не показали), первая «запятнала» себя с немцами. Вот блюстители нравственности!

Как милы эти дальние, малые, провинциальные музеи, домы… Вот и мне так хотелось бы — если уж служить — работать в музее, архиве Федоровском и при нем жить, как вот здесь этот затворник Купченко.

23 мая 1981 года. 9-ый час вечера

<…> Позавчера приезжал ко мне Олег Лукьянов со своим другом Валерием (Байдиным), работает внештатно в «Технике — молодежи», директор Международной художественной выставки на космическую тему, путешествующей по стране[234]. Очень внешне красивый (даже Лара застеснялась), тонкий и умный человек, рассказывал о группе «Амаравелла», показывал и оставил слайды картин этих художников. Говорили почти до часу ночи, глубоко, о самом существенном. На следующий день виделась с Олегом на Ваганьковском кладбище, там гуляли, он мне поверял свои «страшные» мысли, что у меня самой давно развиты в «Тайнах», о том, что по-настоящему Федоров не вписывается ни в одну из монистических систем, в том числе и ортодоксально христианскую, и «работает» только в концепции становящегося Бога (приблизительно то, что у меня в главе «Две реальности Бога»[235])…

Позвонила сейчас Гуля, прервала меня на полчаса, уж пора и Ларису укладывать. Надо развить следующие мысли (на память):

Кроме критерия старца Силуана для различения добра от зла[236] еще одно можно добавить: всякая аристократическая модель, ценностный идеал, основывающийся на иерархическом принципе («по типу организма», фактически — масонство (например), избранные ли жрецы, правители, «совершенные» держатели истины и манипулируемое быдло, масса, недоросшие, недостигшие, нестремящиеся), — ведет *к злу*, царству Сатаны. Эксплуатация и сверхэксплуатация, чаще всего корыстная, природного принципа. Христианское и федоровское (особенно): *все*, для всех, самого махонького и убогонького заметить, развить, возвысить — Божеское, *добро*. Тут подтягивание каждого к верху пирамиды; а там, в первом случае, утверждение и укрепление их, всех ее составных частей в их данности — все служат для элитарного верха, нижние сознательно оставляются как подножие, попираются и *используются*.

Олег высказал такой красивый миф: та точка, из которой взорвалась нынешняя вселенная и пошла расширяться, — Бог, произошла какая-то катастрофа в Его недрах; материя и дух — осколки Бога, распяленность Его, они и стремятся к новому соединению, воссозданию Бога, которым будет уже весь мир сознательно обоженных существ. Земля содержит зародыш Бога, вынашивает, рождает Его — в ней идут эти космические родовые муки. (Надо думать долгие, такая вселенская слониха вынашивает и рождает, счет идет не на годы и столетия, а на тысяче-

летия и эоны. — *С. С.* — 26 марта 2002 года.) Я: Может, точнее не катастрофа, а желание Бога осуществить Себя не в сингулярном состоянии свернутости, а в развернутом многообразии жизни, и истинная Его природа может осуществиться только в Соборе бессмертных, божественных существ, которых и выращивает эволюция, точнее, по-настоящему может их создать только сознательный ее этап.

Но миру нужны не наши развернутые ученые рассуждения, многотомные попытки объяснить, убедить и подвигнуть, а сюжетное, выразительное, пронзающее сердце, зажигающее ум и волю Новое Евангелие. К нему надо готовиться.

13 июля 1981 г. Москва, полдень

Почему столкновение не на живот, а на смерть, война в малом и большом, все расширяющемся виде, вплоть до мировой — по мере умножения самого состава человечества сопровождает его неотвязно? С какой-то неизбежностью роковой! Тут, действительно, *рок*, т. е. фатальность эта вытекает из самого природного порядка вещей. *Смертный* человек не может не воевать. Смертность как фундаментальное качество природы человека проникает и в большие, чем индивидуальная человеческая жизнь, но состоящие из смертных человеков, структуры — семья, общество, народы. То, что неотвратимо довлеет над каждым человеком, не может не нависать над коллективно-соборной головой народов и государств, — смерть, уничтожение, которое осуществляет как раз война. Она-то и показывает когти смерти, то задушит до обморока, то поцарапает, ранит, а кого и вовсе сотрет с карты земли… Меня всегда удивляло, как это сосуществует: страшные военные приготовления, накопление орудий уничтожения и все более тотально-сокрушительных, нагнетание напряженности — вот-вот все лопнет и полетит в тартары — и вместе с тем всюду спокойно строят новые города, заводы, дома, разбивают сады, огромные усилия и средства идут на все это. А вот так же как и отдельный человек, который, хоть и знает, что обязательно умрет, хорошо еще если в пределах видового срока, а то и в любую минуту от любой случайности или микроба, а все же живет, и делает, и строит…

Борьба против войны — это, в конечном итоге, обреченная вещь, война — неизбежна, как неизбежна смерть отдельного человека. Эта борьба — дело хорошее, как хорошее дело борьба со смертью даже в пределах природного срока, не посягая на него. Но «вечный мир» возможен только при борьбе *за индивидуальное бессмертие*. Тут и должна пролегать главная магистраль *борьбы за мир*. Качество бессмертия будет проецироваться от индивида на сообщества их, от малых до самых больших, вплоть до рода людского в целом.

16 июля 1981 года. 12 час. дня

Пора, пора, дружочек, собраться воедино, лето уже выходит на последнюю прямую, месяц с небольшим — и надо будет сворачиваться и в город. Июнь тянулся очень медленно, казалось, впереди нескончаемое деревенское лето. А сей-

час уже вступаю во второй том «Волшебной горы», где, уже набрав инерцию и привычность, время полетело, не разбирая дней, месяцами, сезонами, годами.

Необычно жаркое лето, 25–30 град<усов>, а было и больше. Июнь был тяжел временами, доходили за домом в тени, сердце еле волоклось. Но все же за июнь напечатала главу «Богословие Общего Дела» и в «Метаморфозу пола» о Федорове, Соловьеве, Горском[237]. При этом несколько раз пришлось выезжать (на три-четыре дня, не меньше каждый раз) в Москву для улаживания каверз, хлопот по все еще тянущемуся делу с изданием Федорова. Не хочется даже и вспоминать все зигзаги. Что-то должно вскоре, очевидно, решиться.

Вышла статья в «Нашем современнике»[238], опоганенная, униженная редактурой, купюрами, а в последний момент и вставкой Ю. Селезнева, не могущего примириться с мыслью, что Федоров мог как-нибудь влиять на Достоевского, — вставкой о том, что не только не было этого влияния, а учение самого Федорова развивалось под воздействием творчества Достоевского. Вот тебе и раз! А теперь отвечай за такие неожиданные «открытия»!

Писалось мне вяло, наверное, еще потому, что приходилось в основном излагать чужое и готовое. Вот и бросила эту нудность и решила как окончание работы дать эскиз «Оправдания России»[239]. Но только начала, как опять уехала с детьми на неделю в Москву, вернулись 13 июля, два дня читала неотрывно «Блока в воспоминаниях современников»[240] — с огромным интересом подсматривала в замочную скважину чужой жизни. А Блоковская меня особенно забирает! Но уж эти советские издания: все тыкаешься носом в купюры — в самых ответственных местах. Но сколько тончайшей душевной энергии распылили так в никуда все эти «блоковцы» и вокруг ищущие интеллигенты, декаденты, теурги, аргонавты, мистические анархисты, вихрясь около главного, часто почти в нем, но брезгливо-великолепно не желая точности, ясности, практики, отталкиваясь от них как от чего-то низменного, прагматичного. Как ответственен первоисточник символистского идейного вдохновения — Вл. Соловьев за то, что сам смазал острие федоровской мысли, прямо не сказал о ней! Видите ли, А. Белый пишет, что это было время, когда он особенно изучал статью Соловьева об Огюсте Конте[241], т. е. где Соловьев писал, что никто из знаменитых философов не подошел так близко к идее воскрешения мертвых, как Конт[242]. А по сути как еще метафорически-культурно и отдаленно подошел… и при этом Соловьев ни слова, что у нас в России есть мыслитель, тот самый «дорогой учитель и утешитель»[243], который поставил воскрешение как долг и высшую цель роду людскому, вставшему на пути Божии. И ведь ни разу Соловьев печатно не намекнул о существовании и значении такой фигуры.

Вообще я много здесь и с наслаждением читала. Это самое сладкое занятие — только бы его и длить. Прочла последний роман Айтматова «И больше века длится день», Одоевского «Русские ночи» (чудесная, единственная у нас книга, какая роскошь мысли и ее выражения и точнейшее ее направление!), ряд его статей и «Сильфиду», читаю «Ветхий Завет», какая жестоковыйность евреев, поражает, как

относятся они к другим, окрестным, соседним народам, ни крупицы сочувствия, *общечеловеческого* инстинкта (все ведь дети Божии, Адамовы), уничтожают эти народы как враждебный животный отряд, которых надо вытеснить с места обитания и самим его занять, а уж в границах своего народа — чудесное чувство рода, семейственности, поименного любовного знания каждого в ряду предков (вот и перечисляют страницами кто от кого). Как писал Николай Федорович, главный, великий грех евреев — ограничение культа предков только своим народом, забвение всемирности этого культа. Начала читать и том Добротолюбия, где поучения св. Феодора Студита, очищающее и возвышающее чтение, читаю и том Киреевского, и привезенный сюда и взятый у Люды Черняковой двухтомник немецких романтиков[244].

В последний приезд в Москву я с Ларисой были у Ольги Николаевны Сетницкой и Катерины Александровны Крашенинниковой. Ночевали в Ашукинской, я спала — не спала на постели Дорогова — рядом купила его сестра комнатку, пустовавшую за его с сестрой отъездом. На следующий день, под «Петра и Павла», съездили в Загорск. <…>

22 июля 1981 года. 12 часов дня

Вот уже неделю я в Москве вместе с Ларочкой. <…> Вызвали переделывать вступительную статью к тому Федорова. Туда-сюда крутила, отдала Литвиновой, она сейчас помещает это в верстку, собирается показать Ойзерману[245], и ежели он (вот кто у нас, на Руси, главные авторитеты! Он же и был против, а сейчас Литвинова на личном обаянии и его зависимости от изданий по ее редакции пытается выбить из него одобрение) скажет «так, можно», то я смогу уехать в деревню до следующего этапа «мытарств». Здесь очень тяжко: 31–35 градусов жары. Никак не могу уйти на тихую сосредоточенную рабочую глубину, только начну писать, как снова — в Москву.

31 июля. Девятый час утра. Москва

Всю ночь сегодня здесь страшно, как никогда, было душно, мало и дурно спала, перед сном вечером, когда вчера приехали из деревни, позвонила домой Литвиновой, и она влила мне очередную порцию удручающей дряни: как Ойзерман в очень многих местах вступительной статьи вычеркнул и написал свое, как в ЦК внедряют мнение, что моя статья не философская, а историко-литературная (придумали новенькое), что Егоров[246] против и т. п. К тому же, может быть, напрасно приехала, Щипанов[247] не вернул экземпляра со своими пометками, придется ждать до понедельника-вторника, а сегодня суббота, если так получится, поеду хоть на день в деревню, но сейчас очень тяжка сама дорога. Я укрепляюсь, отсоединяюсь, в хорошенькое же я влезла савейское «философское» болото. Читаю отрывки из дневников Блока, как стыдно за тот уровень, в котором нас так сокрушающе, всеми средствами стремятся держать. Вчера перед отъездом говорили об этом с Гошей, его удручает Сизифова работа духа у нас: вот уже до чего дошли, додумали, до-

чувствовали, а потом прошел бульдозер, срезал весь пласт культуры, и начинай сначала ликбез. «Блока вначале захватила музыка стихии, но очень быстро все уже в ростке вылезло, вся будущая раскладка. Умен в понимании этого по-пушкински». Я в ответ, что в революции он (как и Хлебников в «Ночи перед Советами») принимал разрушение порядка *богатый-бедный*, *униженный-наглый*, месть за бесчисленных «тупейных художников», тут говорило сердце, надо было быть необыкновенно умным, и даже скорее необыкновенно твердым человеком, чтобы иметь жестокость остановить свое сердце, как Достоевский, стать консерватором, провидя с полной ясностью, что утоление жажды социальной справедливости приведет к еще большей несправедливости и тирании против того же самого в конечном итоге народа. Белинские, чернышевские, революционные демократы, социалисты, коммунисты — тем вообще не хватало ума и глубины проникновения в природу человека, они искренно верили в возможность так просто — через уничтожение неравенства, несвободы и несправедливости — установить лучший порядок, исправить натуру человека, прийти к счастливой общественной гармонии.

Блок — тот понимал, но сердце, оскорбленное зрелищем страшной и противной жизни, принимало ее разрушение. Хотя ведь когда обращался к тем, в ком не было сомнения (Маяковскому), писал: «Не так, товарищ!.. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть… Разрушая, мы все те же рабы старого мира: нарушение традиций — та же традиция. Над нами — *большее проклятие: мы не можем не спать, не есть*. Одни будут строить, другие разрушать, ибо “всему свое время под солнцем”, но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и разрушение»[248].

2 августа 1981 года. 12 часов дня

Сижу у того же забора, пять минут назад вырвалась, отлипла, отлетела от домашнего сладчайшего и благоуханного «варенья» — так облипают, влипают, расслабляют, что только бы и оставаться тут в ласканиях, нежностях. Меня не было два дня, ездила опять в Москву, детки особенно соскучились и особенно «утопляют». В Москве — ужас и кошмар. Щипанов общипал мою статью[249], не оставив без надругательства ни перышка. Как с классовым врагом! Непонятно, что и спасать. Отдали этот изнасилованный до предсмертной синевы текст главному редактору, пусть решает, что делать. Добивают меня. Куда вступила, в какую трясину погубительную! Сегодня с утра за завтраком пересчитывали с Гошей все удары, синяки и шишки, полученные мною за время высовывания в печать, еще с Камю и Сартра[250]. Признался, что его так не били. Действует иммунологическая система защиты савейского организма, чистоты и однородности его идеологических клеток. Отторгает все чуждое, как оно ни облачалось «под свое» — тонко, точно и беспощадно работает.

Вчера приехала сюда, начала меняться погода, прорезались энергии Ильи пророка, чей сегодня день: пасмурно, и дождь все идет и погромыхивает. Ночью было тоже, но моментами, когда назревало пролитие с небес, становилось не-

стерпимо душно, свинцом затекали руки, еле их отживляла, утром — вялая, руки болят, не выспалась… Тут рядом появилось двое парней, похмыкали на меня издалека, отошли к остановке, и вот получила «приветик», пульнули вслепую через заброшенный дом большим камнем. Я крикнула: «Кто это кидается, что за хамство?!» Пока утихло. Но вдруг и солнце вылезло горячее, надо куда-то убираться…

Подошла незаметно почти к дому, уселась на территории нашего соседа Быкова, под липой. Надо выводить — malgré tout[251] — положительный итог.

1. Благодаря нашим борениям, организованным письмам и звонкам все же идея издания Федорова пока победила. В худшем случае, если еще надолго затянется, уберут меня из издания, но сам текст, пусть в любом сопровождении, на которое все будут привычно закрывать глаза, — выйдет. Я полягу жертвой. Это ничего и даже хорошо.

Моя книга — издательство от нее окончательно отказывается, ну что ж, забираю экземпляр, еще через несколько лет попробую в другом издательстве. Но — «без души», в смысле *бесстрастно* на все препоны.

Что на внешний мир? — почти ничего пока: несколько лекций, может быть, в том числе в Профкоме (имеется в виду Профком литераторов при издательстве «Советский писатель», куда я только что поступила, после отсутствия «службы» нескольких лет — хоть какой-то статус свободного художника. — *С. С.* 7 апреля 2002 г.). Статей не надо, публикаций тоже, буду доделывать старые издательские дела. Главное — завершить книгу[252]. Гоша уедет на сентябрь в Болгарию, без него я лучше сосредоточиваюсь.

А сейчас за август главное — закалка и упражнения, выправить кровообращение, бегать и купаться. И каждый день: утром после обеда по полтора часа хотя бы уходить в себя. Эти две вещи: физкультура, движение и работа — область волевого усилия. Все остальное: дети, Гоша, хозяйство, любовь, чтение — идет самой собой и готово занять весь день допоздна, надо буквально вырывать на первое, волевое, куски дня.

8 августа 1981 года. За полдень

<…> Начинаю сомневаться, надо ли оканчивать книгу «Оправданием России» и вселенскую тему пропускать напоследок через столь страстное национальное жерло. За это только и ухватятся, скажут — очередной рассейский мессианизм.

Утром за завтраком говорила Гоше свои соображения, почему война неизбежна. Принимаете индивидуальную смерть, соглашаетесь с ней, оправдываете ее (говорите «а») — то нечего прекраснодушно «не желать войны», «не верить в войну» и т. д. (говорите «б»). Смерть неизбежна для каждого из составляющих народ индивидуумов, значит в порядке природы и целое — народ, состоящий из суммы смертных единиц, — неизбежно должен поставляться перед такой же ситуацией смерти. Народу на земле все больше, и в такой же — небось, математически четкой пропорции — растут и средства эту ситуацию разрешить. Пиками,

дрекольем, даже пушками с нынешними миллиардами не справиться. Человек — существо во всей природе смертное по-преимуществу, ибо только он осознает смерть и эффективно эксплуатирует ее как инструмент социального подавления, территориальной, национальной, религиозной экспансии, защиты и т. д. Борьба с войной, за мир должна начинаться с корня, с борьбы со смертью, вообще, признания ее недостойным человека фактом, высшим оскорблением личности.

Как внедрить запрет «не убий»? Вчера как раз говорила об этом с Настенькой и Ларой. Человек постепенно вырывался из животности, законов животного стада. Когда-то был антропофагом, был поставлен запрет — и дико представить себе сейчас, как можно есть человечину, вытошнит, так и выворачивает при одной мысли. Так когда-нибудь будет и с животной пищей. Действительно, если долго ее не есть, стать сознательным вегетарианцем, то от убитой и сваренной коровы или курицы вполне стошнит — «душа не принимает», говорят. Значит, с души начинается: понятно, решено, запрещено, и не приемлет уже не просто душа, но и «бессознательное» тело.

Когда-то в первобытной орде царил свальный грех, промискуитет; а сейчас разве отец насилует дочь? Бывает, но сколь редко, как пример регрессии в раннюю животную стадию. (Кстати, у де Сада это сознательно культивируется, все, что подверглось эволюционно-нравственному запрету, вытеснению, существует для нормального человека в области отвращения, невозможного, — все это откуда-то из-под спуда запрета изымается как источник похотения и наслаждения: копрофильные части либидо, испражнения «всех размеров, всех сортов», жестоко-убийственные порывы, инцест и т. д.) Сумело же человечество, осуществило эти скачки. И следующий, *важнейший запрет*, который радикально продвинет человека к новой природе, — исполнение библейского «не убий», для начала «не убий» такого же человека, как ты, в пределах своего человеческого рода. То есть вслед за «не ешь человеческое мясо», «не насилуй дочь»… — «не убий человека» — ЭТОГО НЕЛЬЗЯ, НЕЛЬЗЯ, И ВСЕ ТУТ!

И внедрять этот запрет с нежного детства, с божественной «tabul'ы ras'ы»[253] ребеночка. А сейчас, говорю я детям, с раннего детства смотрят по телевизору, читают в книгах, в сказках об убийствах, мести, благородных поединках, войнах — и все пиф-паф, льется кровь и валится бездыханным человек… Так вроде бы и надо, и все детство по дворам игрово готовятся к войне, к убийству. Но что делать с мифологией, литературой, религиозными книгами, где все на коварстве, убийстве замешано и движется? Благоуханная греческая мифология чудовищна по своей жестокости, «безнравственности», горам трупов. И «Ветхий Завет» — тут достойный преемник. Страшная книга! Только вот полчаса назад давала Гоше почитать эпизод из 34 главы «Бытия» о мести братьев Дины кротким ханаанеянам, готовым взять ее в жены (полюбил ее Сихем), мирно жить с евреями, отдать им землю в пользование, даже пойти на обрезание. И когда все же обрезались, на третий день, «когда они были в болезни», истребили весь мужеский

пол сыновья Иакова, разграбили город, а жен взяли в плен. А что делать даже с классической литературой, не надо ли будет ее уничтожить, ведь нет соблазнительных памятников антропофагии и инцеста, а в этой литературе, о, сколь многое крутится вокруг дуэли, соперничества, убийства недруга, классового и прочего врага, «гада»…? Останется как памятник ушедшей эпохи или народится новое искусство, творящее другую жизнь, другого человека и другие ценности? Когда я Гоше такого накидала, он: «Это может быть опасно. Оруэлл. Соцреализм, это — можно, это — нельзя!»

Я: Какой там соцреализм? Он и социалистическое общество как раз стоят на убийстве «буржуя», идеалах Павлика Морозова и Мальчиша-Кибальчиша, народных мстителях… Половину своего народа, да и человечества записали в «расход», в строительную стружку, в опилки бытия.

Эта проклятая интеллигентская боязнь «скуки», если отнимут свободу испытывать себя во все измерения своей «сложной» натуры, развивать все потенции и возможности! То же мог возопить и антропофаг и любитель инцеста: «Ах, какая несвобода, какая пресность и скука ждет нас без…!» Интеллигенты со своим идеалом безбрежной свободы очень ответственны за нынешний безумный мир.

16 августа 1981 года. 11 час. утра. Новоселки. У моего забора

Почти неделю таки была в Москве, вызвали телеграммой, переделывать по щипановским замечаниям предисловие. С большой затратой энергии, до сильнейшей головной боли ухудшала, *поганила* свою работу. Тоже далеко не творческое и не положительное провождение времени. <…>

13 октября 1981 г. 12 час. дня

<…> Урывками читала Тургенева, произвели впечатление впервые целиком и подряд прочитанные «Стихотворения в прозе». Уникальное в нашей литературе произведение: по оголенному переживанию приближающейся смерти. Есть замечательные философские разделения: красоты и благодати явленной природы и Природы как принципа существования, а также различение истины и правды. Тут он большой молодец.

Мелькнула у меня мысль: перечитать и продумать «последние, предсмертные произведения русских писателей»: что и как сочинялось уже под сенью надвигающегося конца. Люде Черняковой, с которой у меня за это время установились ежедневные разговоры по телефону, эта идея понравилась: сама, говорит, хочу то же сделать! Начала читать «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина (последняя его вещь!), у него очень точный, умный и увлекающий своей *истинностью* тон, и какой поднимается пласт жизни, важнейший для понимания заложенных бытом поколений *складок* нашего народного характера.

Тут я, дописывая «Эскиз к Оправданию России», *испугалась* дать и развить свои давние (лет шести назад) фантазии насчет китаеросса: за сумасшедшую при-

мут (пока только Олег Лукьянов меня одобрительно понял в этом пункте!), вложу сюда, в дневник, тут стихия *почти* полной свободы, пусть тут и лежат эти листочки. Когда же я их точно написала? — Вроде, после просмотра у нас в «Витязе» «Калины красной» Шукшина, какой же это год, лет 5–6 назад.

17 октября 1981 г. 22 час. Суббота

<…> Люде рассказала о Сухово-Кобылине[254], разогрела в ней энтузиазм написать о нем пьесу, разгадать его загадку. Сама собираюсь в ЦГАЛИ, посмотреть его философский архив, взяла в «Современнике» просительную бумагу, вчера была там; в кабинете у директора, который хозяйски-расслабленно-великодушно делал вид, что распоряжается моим «вопросом», сидел и Фролов[255], главный редактор. Затягивают очередной тур «белого бычка», снова читать рукопись книги, «надо бы погодить», до декабря и т. д. «Светлана Григорьевна, дорогая, и, смею сказать, очаровательная, да, да, я это искренне, комплиментов не люблю. В другом издательстве вас бы, возможно, уже давно издали, но нигде вы бы не встретили такого душевного, понимающего отношения!» Это после того как три директора и столько же редакторов, каждый, кланяясь мне, что считает делом своей совести и чести издать мою книгу, семь лет морочат мне голову… Ну же и…! <…>

6 декабря 1981 г. 9 часов 30 минут вечера

Приехала в Малеевку. <…> Встретила пока только одного знакомого: Асанова, редактора моей книги в «Современнике», он уже там стал начальником, заведует новой редакцией, а книга моя все на нуле. Советует и вовсе забрать и потребовать 100% гонорара. Здесь — на семинаре молодых критиков. Неделю будут сладенько трекать вокруг «Мастера и Маргариты».

Перед отъездом Гоша прочел «Тайны Царствия». Оценивает высоко: «Такого еще не было», «Нужна всем, всему миру», «благовествующая», «поход по сверхценностям», «родилась из уникального, провиденциального сочетания» и т. д. Вдохновляет меня, учит отрешаться от более низких уровней пропаганды, просветительства, архивистики. «Это смогут другие, а ты — сосуд избранный». <…>

7 декабря 1981 г. Около часу дня

<…> Читаю перепечатку некоторых воронежских статей А. Платонова («Лит<ературное> обоз<рение>», № 9, 1981). Напечатаны: «Но одна душа у человека» (о постановке «Идиота») // Воронежская коммуна, 17 июля 1920; «У начала царства сознания» // Воронежская коммуна, 2, 18 января 1921; «О культуре запряженного света и познанного электричества» // Искусство и театр, № 2, 1922; «Пролетарская поэзия» // Кузница, № 9, 1922. Что мне самой здесь делать? Первое — продумать и расписать те мои заметки на 2 стр., которые я привезла с собой. К финалу книги. И, наконец, попробовать оформить мои давнишние интуиции насчет «разметафоризации» представлений о мире и человеке, точнее,

замене представления, всегда образного, приблизительного, метафорического, задачей прямого контакта с действительностью вещей для их преобразования. Наука и искусство у Ф.: первое для познания *истины* мира, второе — созидание благого мира, вместе с наукой (в синтезе).

Письмо В.Е. Львову[256] от 24 февраля 1982 г.

Дорогой Владимир Евгеньевич!

Прежде всего извините, что я так неловко передала Вам просьбу М.Б. Митина[257]. Я его поняла так, что, поскольку у него сейчас сейчас нет с Вами прямых отношений плюс то обстоятельство, что он уезжает в санаторий на месяц (и это для него было главным), то удобнее Вам послать книгу на мой адрес. (Речь идет о книге В.Е. «Загадочный старик»[258] о Н.Ф. Федорове, первой, но, увы, весьма кособокой беллетризованной ласточке на тему Федорова и его идей, где он предстал сугубым материалистом и чуть ли не атеистом, сочувствующий революционерам, в тесной обнимке с Циолковским — одним словом, с большим элементом необходимой для того времени «клюквы». Хотя сам В. Е. был безусловно привержен задаче обретения бессмертия. — *С. С.* 18 сентября 2003.) В том, разумеется, случае, если Вам это захочется сделать.

Аксенов[259] тут, конечно, ни при чем, ибо с Митиным — самым далеким и косвенным образом по случаю издания тома Федорова — связана именно я. Конечно, мне очень и очень недостает дворянского воспитания (в хорошем смысле, без всякой иронии). Сама я человек совершенно неприхотливый в смысле affaires d'honneur[260], но это нисколько не позволяет мне распространять подобное требование на других.

Но совершенно честно говоря, Митин — человек, действительно, совсем немолодой, больной и очень занятый и, очевидно, хотел как попроще и побыстрее для дела, ни на секунду не подозревая, что Вас такой способ передачи может покоробить. Это я, Матрена, впутала сюда еще Аксенова и, действительно, получилось «не тае», по универсальному mot[261] старика Акима из «Власти тьмы».

Мне очень приятно, что Вы знакомитесь со всеми моими публикациями, спасибо за внимание! Конечно, мне очень интересна статья этого Антипова[262], я о ней впервые слышу от Вас и была бы Вам чрезвычайно благодарна за присылку сборника.

Напишите, пожалуйста, какое у Вас сейчас настроение, работаете ли, как дела с переизданием «Старика»[263].

Я сейчас в некотором упадке и унынии — по-настоящему с нашей федоровской темой трудно, ничего серьезного и большого не проходит, да и все тяжелее давит le poids des années vécues[264].

Не забывайте!

Всего Вам самого хорошего!
Ваша Светлана С.

(Хотелось бы здесь прокомментировать историю моих кратких отношений со старой идеологической акулой, акад. Митиным, когда-то в тройке борзых — вместе с Юдиным и Ральцевичем[265] — потопивших твердой рукой верного сталинского молодого поколения Деборина[266] и деборинцев вкупе с механистами и воссевших на философско-идеологический олимп. Я с ним встретилась как раз в январе-феврале 1982 года, на последней стадии выхода федоровского тома в печать. Нужна была его последняя подпись. К нему меня отправил Гулыга, зная склонения сладострастного еврейского старика. Пришла к нему в огромную, плохо ухоженную, заваленную газетами, журналами, бумагами, книгами квартиру, посадил, чуть поговорили о деле. Потом он, глядя мне глубоко в глаза, глубоко — до гениталий, вздохнув: «У меня недавно умерла жена. Но мне еще нужна женщина». Сам он такой маленький — мне до грудей, еврейский старикашка… Но я баба — психологическая, тут же о своем муже и детках и о том, что есть у меня хобби свахи, так что я ему присмотрю… На этом лично-интимном фоне с размывами моих обещаний ему помочь он и подписал нужную бумагу… Потом несколько раз звонил мне домой, объявляя подходившим к телефону: «Говорит академик Митин», я с ним любезно болтала и так мягко спустила на тормозах мои обязательства… Вот и все. Но тип более чем характерный для эпохи, такие сначала молодые, потом зрелые и наконец старческие советские евреи держали в своих когтях философскую мысль, притом что на уме у них всегда была только земная сласть, какой там эрос к мысли и идеям, шел он по прямому профаническому назначению, остальное плоско и верноподданнически долдонили, украшая свои «труды» разве что фактическими ссылками и цитатами, набираемыми их референтами… — 18 сентября 2003 года. — *С. С.*)

27 февраля 1982 г., точнее уже 28, ибо перевалило уже за 12 ночи — пошло течение времени на «прощеное воскресенье». А с понедельника — Великий пост. «Прощеное» — и меня «отпущающе». А то болею уже вторую неделю, простыла, въелся кашель, спать не дает, зуб — анекдотически — страшно разболелся — «мрак, морока и позор», которые отчасти, а может и во многом (если судить по наставшему вот-вот облегчению) от сосавшего меня червя: вынь да положь для АПН статейку о пророчествах русских космистов. Но у меня уже такая глубокая реакция отторжения от подобных поделок, недавно еще Юрченко[267] все мастерила статью — и в корзину, а до этого сколько — не счесть! И вот сейчас, когда уже под самую весну, под пост организм и так не в лучшем виде, а тут еще и болезнь, и общая апатия от задушенности социальной, никак не могла я себя заставить сесть за эту заказную работу. С души воротит! И делать что-то чистое и безусловное, что может увлечь и преодолеть уныние (да хоть 3 том ФОД[268] в порядок приводить, в рукописный отдел снова записаться и что еще не скопировала — доделать, да и в «Тайнах Царствия» кое-что подчистить), — так вот и этого не могу, ведь не время, надо срочно, срочно, подвожу! — эту статейку сочинять. Так и заклинилась…

И вот сегодня вечером резкое решение: вовсе отказываюсь, передаю задание Аксенову. И, Боже, какое сразу освобождение, и хочется жить и Дело вести дальше! А то на такой, казалось бы, ерунде до полного отвращения к собственному существованию дошла, до презрения к себе: вот, мол, какая стала никчемная, простенькой вещи не заставишь себя сделать! Нет, матушка, тут посерьезнее: я могу или только по самому главному счету, в ориентации на Истину, Благо и Абсолют, или вовсе уже ничего не могу! А от насилия на суррогат — и вовсе физически уничтожаюсь. Вот и урок на будущее. Завтра встряхиваю своей заплесневевшей гривой — курс на выздоровление, бодрость, легкость и «сладкий труд» (по выражению Сухово-Кобылина), т. е. такой труд, который увлекает и несет. Хватит насилия над собой, уже не выношу, состарилась, только чистое дело! <…>

4 марта 1982. Около 2 часов. По дороге к дантисту. Метро

О, недельное страдание от одного или двух воспалившихся зубов! Практически ничего другого. <…> Но еще и другого типа тихая, угнетающая ярость охватывает меня. Какое уже девятилетнее издевательство с неизданием моей книги в «Современнике». От такого длительного напряжения, уже разъевшего меня, может спасти только резкий освобождающий жест: забрать вовсе рукопись и больше никогда не видеть тамошних мурл. Но Гоша не разрешает, приказывает терпеть до выхода тома сочинений Федорова. Бежать куда-то, в прямом или переносном смысле на это время ожидания надо, у меня système nerveux[269] уже не в состоянии так долго выносить. Бежать в прямом смысле (отъехать в Малеевку, например) сейчас нет возможности. Тогда в поглощающее занятие. Вот оно: привести в порядок 3 том Федорова, чтобы у меня целиком лежал. Взять отношение и au travail[270] в рукописный зал (и за машинку дома) на всю весну. В воскресенье пять дней назад был в гостях Валера Байдин, долгий разговор с участием Гоши. <…>

Завтра или в понедельник — в издательство «Современник», возьму направление в Рукописный отдел. И начинаю свое бегство, внутреннюю эмиграцию в 3 том «Ф.О.Д.».

9 апреля 1982 года. 1 час дня (летнее время)

С утра общаюсь с Гошей, все разговариваем. Стал перечитывать Платонова, восхищен, я ему дала и свою работу о «Чевенгуре». Хвалит, поощряет на дальнейшие духовные подвиги. «Душевный ум» в моих писаниях видит, какого еще не встречал, в преувеличении энтузиазма даже сказал, что это как если бы Богородица, которая ведь всегда несказанно глубоко молчит, вдруг заговорила. <…>

Позавчера ходила с Гошей в кино. Смотрели «Тайну мотеля “Медовый месяц”», ФРГ, отравляюще страшно, убийство людей для доставления полуфабрикатов из отдельных органов — на пересадку больным миллионерам. Раз вообще разрешили себе из якобы уже точно умирающего нечто вырезать для спасения другого — то какая тут при человеческом несовершенстве и корысти — щель и

прорва для злоупотребления. Началась из пафоса свободного исследования, идеала знания — а ведь уже тут — при всем кажущемся высоком благородстве — мелькают копытце и хвостик. Что значит идеал знания ради знания? Многознание как умение, как *власть* в конечном итоге. Знание надмевает, превозносит над толпой невежд, непричастных, отделяет от них рвом, за которым те, большинство, уже почти не люди, с которыми легко и манипулировать, и идти на всякие эксперименты ради того же идеала знания и власти знания.

И другой распространенный вариант «ученого» мироощущения: от обилия вытесняющих друг друга гипотез, теорий, представлений, от концепта *относительности* всякого знания — скепсис, сомнение во всем, цинизм: того же сатанинского поля ягода. Как будто для затравки, для камуфляжа, для обмана бросает наука человечеству добрую кость, но тут же такие ужасы фабрикует, неотступно от «кости», что ой-ей-ей: печечки, бомбочки, идиотиков и Бог знает каких еще монстров жди. Только в суровой нравственной узде, «служанкой богодействия» может достойно существовать наука.

Было так гнусно после просмотра этого фильма. Сколько в себя образов этого лежащего во зле мира принимаем и как ничтожно мало питаемся предчувствием, предпразднеством Иного строя бытия. Такое отрадное место — в Церкви, в отдельных взлетах искусства, в человеческих актах душевности и добра. А поток массового искусства, особенно кино, и западного, только зло и живописует, только вгоняет в страх, дрожь и безнадежность. (А уж сейчас этот кроваво-издевательский, садистский поток как разлился и на наших больших и малых телевизионных экранах! — *С. С.* 19 сентября 2003.) Загнан человек, затравлен со всех сторон силами, личными, безличными, давящими, которых ничто не берет, и царапины не остается, как на железобетонной до неба глыбе.

И я так уныла, увяла последние три-четыре года неудач, общественной невостребованности. Стоять из себя самой — ух, как силы тяготения вниз, в инертность, тупость, примирение тебя корежат, шатают, извивают.

Гошу в Болгарию не пущают. Может, и летом не удастся (выплыли отъехавшие за границу Берта и Дима[271]), как хотим всей семьей, имея уже приглашение. Ну и хорошо бы: лучше всего мне летом в деревне работается, самое мое плодотворное время. Надо только за весну себе задание надумать. Но как душат нереализованные еще рукописи, и опять продумывание и писание в никуда. <…>

16 апреля 1982 г. 21 час. вечера

Я, где бы вы думали? В Костромской области, в заповеднике А.Н. Островского, в доме творчества ВТО «Щелыково». Так, раз-два, позвонили из профкома, горит путевка, стоит 33 рубля, тут же на завтра выезжать, я и соблазнилась вырваться из домашне-московской инерции не в светскую, романную Малеевку, а в глушь, в леса, в Заволжье, безлюдье — кто туда поедет?.. А мне шанс уйти в себя, в созерцание, в душевно-умственную работу. (Объяснюсь, что за профком тут имеется в

виду. Где-то в конце 1980 г. поступила я в Профком литераторов при издательстве «Советский писатель». Пусть и не Союз еще писателей — но давал профессиональный общественный статус при красной книжечке, возможности брать оплачиваемые медицинские бюллетени по болезни, чем я, правда, ни разу не воспользовалась, вот еще и путевки… — *С. С.* 21 сент<ября> 2003.) И вот бросила все дела, налаживавшиеся отношения с Межировым[272], должен был звонить для договора о встрече как раз сегодня утром, когда я уже в группке старушек и каких-то простых парней — трое их из Баку — вот занесло! — ждала пароходика для переправы на другую сторону Волги, где нас ждал автобус. До этого бессонная ночь в поезде, Гоша чудом урвал место у самого туалета в плацкартном вагоне, где беспрерывно хлопали дверями, окуривали табачным дымом, а рядом всю ночь резвился, звучал годовалый ребенок, перевозимый из Владивостока (для него шел день). Час везли по русским ухабам на автобусе, и вот полдня здесь. Доплатила 30 рублей, чтобы получить законный одноместный номер, хотя весь дом не заселен, я, кстати, одна в целом огромном современном корпусе, где в пустых, закрытых на ключ номерах ревут включенные на всю мощность радио и действуют на нервы (вот и сейчас, как спать?), некого попросить их выключить, только завтра утром.

Вокруг еще гуляла мало, плохо осмотрелась, но должна быть чудная красота, когда зазеленеет и расцветет. А сейчас еще природа в летаргии, застыли голые деревья, снег, грязь, солнца нет, серо, уныло, омертвело. Ждет воскресения, «она б и Пасху проспала под чтение Псалтыри»[273]. Великая, скорбная Пятница, а завтра в ночь — Пасха.

Жаль, что вдали от храма, отсюда выбраться немыслимо даже в Кинешму, отрезаны. Начала читать «Свет невечерний» Серг. Булгакова. Надо попытаться заснуть, чтобы завтра же начать работать. Я внутренне собрана, готова на труд оздоровления, на духовное усилие, на сосредоточенность для словесного выражения. Гоше и девочкам моим, Ларочке и Настеньке, посылаю лучи любви и постоянного памятования.

17 апреля 1982 г. 11 час. 30 мин. вечера

Через тридцать минут «Смертию смерть поправ…» По летнему ли, условному времени в храме?

Несколько слов о сегодняшнем дне, уже в постели. Встала в 7 утра, делала зарядку, после завтрака была долгая и занудливая экскурсия в театральный музей Островского и более проникновенная в его домик. Погуляла, почитала С. Булгакова, после обеда болела голова, спала (вот и боюсь за сегодняшнюю ночь!), потом до ужина погуляла по деревне, посидела на поленнице дров и на закате читала «Свет невечерний». После ужина еще гуляла до реки, потом полчаса говорила со сторожихой нашего корпуса: уже припасла узелок на похороны, 200 руб. на книжке на ту же надобность (как загодя прибираются для последней заботы о них русские старушки, переживающие, как правило, своих пьяниц-мужей, — и тут точно так).

И опять до сей минуты читала то же, что весь день. Завтра буду всем писать письма, читать и радоваться Великому Дню. А с понедельника начну и сама писать главу о воскрешении для «Тайн Царствия»[274]. Так буду заполнять пасхальную неделю, церкви близко нет, лучшее, что могу, — вникать в воскресение.

Письмо О.Н. Сетницкой

18 апреля 1982 г.

Дорогая Ольга Николаевна!

Со Светлыми Вас днями!

А я как раз к Пасхе совершенно неожиданно оказалась далеко от Москвы на территории музея-заповедника А.Н. Островского в Щелыково (около Кинешмы, в Заволжье). Предложили в профкоме «горящую» соцстраховскую путевку (за 33 рубля), я и соблазнилась. Вроде, кстати вышло, я болела гриппом и ослабела и давно уже в работу не погружалась.

Живу в комнате одна, это удобно, вокруг тишь и благодать, но погода пока унылая: серо, дождь, холодно, природа еще в полу-зимней летаргии, но все равно гуляю, читаю и собираюсь начинать работать. Народу вокруг немного: в основном рабочие, служащие разных предприятий, и хотя это дом творчества ВТО, театральных работников, конечно, сейчас нет.

Том Федорова, если какой гром не грянет, должен выходить в мае, я рада, что сюда сбежала от томительного и тревожного ожидания: вдруг опять сорвется, когда же, наконец? Приеду 10 мая, уже окажется нечто определенное. Если у Вас будет настроение сразу мне ответить, можно написать сюда. Я уже так давно Вас не видела, очень соскучилась и не знаю о Вашей жизни. Как со здоровьем, настроением, делами? Кого видите? Что пишет Линник, удается ли публикация? Как живут Крашенинниковы? Им большой привет!

Сердечно Вас обнимаю!
Всяческих Вам благ!
Ваша Светлана С.

21 апреля 1982 г. 20 час. 30 мин.

День чудесный сегодня, теплый; солнце, с утра ходили организованно в Николо-Бережки, к могиле Островского, там и церковь конца 18 века. Место особенно отрадное. Все ушли, осталась там одна до обеда. Походила по кладбищу, посидела на солнышке, медленно вернулась домой. После обеда часок полежала, потом к своей поленнице, читала Григория Нисского «О душе и воскресении», выписывала и продумывала. <…>

24 апреля 1982 года 6-ой час вечера

Сплю мало, часов 5, больше не могу, и хотя чувствую себя неплохо — здоровая воздушная среда — но психически эта частичная бессонница меня угнетает,

я хуже выгляжу, под глазами синяки. Надо стараться не тянуть поздне-вечерние и ночные часы, которые в одиночестве комнаты и уже при отсутствии дела и сосредоточения внимания — дают ощущение чистого *бытия* или *не-бытия*, почти нирванического.

Мешает, конечно, та домотдыховская стихия развлекательной жизни, которая плещется за стенами моей комнаты и бьется о порог: люди пьют, поют, играют в карты, флиртуют, дерутся, стучат настольным теннисом, гремят гитарами и проигрывателями. Хорошо отшельнику в пустыне, в лесу одному, не надеется на свои силы, не воздвигает своего столпа среди шумного, наслаждающегося Вавилона. Мне же мешает эта развлекательная стихия тем элементарным, что создает соблазны, рядом лежащие, обступающие: пойти на танцы, сыграть в теннис, вступить в разговор, в отношения, в игру. Вот и я, возложив руки на свой духовный плуг, оглядываюсь…

Сейчас параллельно читаю булгаковский «Свет невечерний» и 4-ю часть «Записки» Федорова (мою самую любимую)[275]. Как хорошо, глубоко, вдохновляюще со вторым! Первый же, конечно, умница, но есть на его страницах утонченный душок той мертвечины, о которой писал Николай Федорович, разбирая бедственные результаты развития аналитического, расчленяющего, «городского» знания: «Словом, чем далее идет анализ, тем мертвеннее продукты его. Выше всего, казалось бы, стоит в этом отношении метафизика, эта мертвеннейшая из мертвых, отвлеченнейшая из отвлеченных. Однако есть еще онтология, наука о самом отвлеченном бытии, равнозначущем уже небытию»[276]. Несколько раздражает та уверенность, с какой Булгаков излагает основы этой онтологии, процесс разворачивания творения и т. д. Конечно, он опирается на традиции богословия, философии, мистики, оперирует христианским откровением. Но ведь сколько и сам измысливает и домысливает! А почему его измышления, отвечающие каким-то его внутренним душевным и логическим цепях и каналам, — есть то, что есть на самом деле? А *тон* такой, что только так и есть! Каждый может по-настоящему уверенно утверждать только то, что *должно быть* по его мысли и чувству. А вот строить умозрительные концепции не-бытия, бытия, Бога, твари, Софии и т. д. и еще, как это делают визионеры и мистики, представлять их как результат своего опыта, данного в сверхчувственном проникновении, но не останавливаться на этом (так мне было явлено!), а предлагать как единственную *истину*, раскрытие того, каково в действительности бытие, — есть во всем этом, на мое ощущение и вкус, легкое (иногда и тяжкое) интеллектуальное мошенничество, духовное самозванство. И каждый при этом уверенно утверждает свой онтологический вариант…

В этом смысле насколько неизмеримо чище и скромнее даже Ветхий и Новый Заветы. Их сердцевина — *заповеди*, *призыв к должному бытию,* к превозможению греха природной жизни, величественные упования преображенного бытия. А остальное — творение мира в Бытии — рассказано, и никаких спекуляций, далее история богоизбранного народа и пророчества о конце

греховного, самопожирающего мира. А какой у него может быть иной конец, у такого мира, не сходящего с путей греха, убийства, смерти, кроме страшного, кроме гибели… Должное, должное, благое, благое — только это промысливается у Федорова, к нему зовется. А истина мира, каков он есть, похоже, вернее всего познается в любовном и действенно-преобразовательном проникновении всех, всеми способностями, возможностями, методами и инструментами, а не одним метафизическим галлюцинированием. У Федорова уже началась та разметафоризация, размифологизация, разсимволизация познания и понимания мира и человека, к которой я стремлюсь как к идеалу. Возможно, это и есть женский логос, все tel quel[277], это путь уже к Божественному проницанию всего в единократном, всем существом акте, без словесной, логической, временной дискурсии.

Два письма к дочерям

Настенька, дочь моя хорошая, дочь моя любимая, звездочка моей надежды! От тебя, от Лары, от Гоши писем нет. А мне так хочется знать, что у вас происходит. Я сейчас сижу, читаю Федорова и думаю о тебе, как ты сама скоро познакомишься с его текстами, а какое в них богатство и что за счастье, что тебе внятен высший долг человечества! Вот сколько раз уже его читаю и каждый раз поражаюсь и вдохновляюсь!

Расскажу о своей жизни. Она уже вступила в свой ритм, с утра обычно делаю зарядку, завтракаю, потом немного играю в настольный теннис, а затем до обеда сижу в своей комнате, потом обедаю, после обеда немного валяюсь, первые два дня удавалось заснуть, теперь уже не получается. Потом до ужина занимаюсь, а после ужина час между 8-ью и 9-ью часами вечера, до кино (куда я хожу редко, идет всякая дрянь, как правило) двигаюсь под музыку на танцах — кавалеры самые смехотворные, но танцы в основном быстрые, все танцуют без индивидуального партнера. Народ тут простой, рабочие парни и девушки, пенсионеры, первые в основном пьют, играют на гитарах и в карты, забавляются кто как может. Погода дождливая, холодная. За первые десять дней было только два солнечных дня. Кормят гадко, я стала собирать крапиву и сырой добавлять в еду. Хожу через день с чайничком за родниковой водой.

Ложусь после 12, засыпаю в 1–2, в семь просыпаюсь, под окном движется вереница рабочих из соседней деревни и шумит, ругается, разговаривает. Хотя, как видишь, сплю не так много, но на воздухе этого хватает. Хорошо отдохнуть от телефона, от всяких московских сюжетов <…> от ожидания (выйдет не выйдет вот-вот федоровский том).

Настенька, напиши мне о вашей жизни, о всех новостях. Как Гоша и Лара? И о себе побольше. Кто мне звонит, есть ли что срочное? Ты спрашивай и можешь записать, если что важное.

Целую много раз, обнимаю свою сладчайшую Тепочку[278], которая уже такая большая, стройная, красивая девушка.

Твоя мама Света.

25 апреля 1982 г.

Кусеныш мой милейший, Запазушник всей моей жизни, здравствуй, дорогая доченька!

Соскучилась по тебе уже страшно. Как ты там без меня? Письма от тебя пока не получила, и это мне очень грустно. Я здесь живу, как бы ты сама сказала, «нормально», жаль только, что тебя нет рядом. Я Насте описала подробно свой режим дня, повторяться не буду. Она тебе расскажет, что в общем я веду бодрый, спортивный образ жизни, гуляю, играю в настольный теннис, делаю зарядку. Только плохо кормят и иногда болит желудок от этого.

Ларочка, больше всего я волнуюсь, как ты ешь, не болит ли у тебя бок, не простыла ли. Следи, пожалуйста, за своей одеждой, нижней, верхней, за колготками, стирай все, гладь, чтобы быть аккуратной девочкой.

У нас последнее время все шли дожди и было холодно. А вот сегодня вроде бы поворачивает на весну. Сейчас соберу свои бумажки и пойду в парк, там посижу, позанимаюсь. И заодно возьму с собой чайник, наберу родниковой воды.

Пиши, не забывай меня! Бегу на почту, чтобы успеть к 11 часам, когда ее забирает машина. Папе большой привет! Я ему отдельно напишу завтра. Целую, целую, нежу, люблю бесконечно. Твоя Хрозапа[279].

26 апреля 82 г. Щелыково.

29 апреля 1982 г. Около часу дня. Балкон

<…> Читала снова критические статьи А. Платонова. Вот мне нужный кусочек, который хорош был бы в статье к публикации в «Литературной учебе»: «… Гоголь не мог окончить и решить тему “Мертвых душ”», потому что он был только гениальным учеником Пушкина и схватил тему учителя лишь за один ее конец; действительно, окончить “Мертвые души” мог только сам Пушкин. Гоголь написал всего лишь большое введение к пушкинской теме мертвых душ человечества, потому что центр темы заключался в выходе из положения смерти, во взыскании погибших» (ст. «Пушкин и Горький» // Платонов А. Размышления читателя. М., «Современник», 1980).

Может быть, мне книгу свою назвать не «Тайны Царствия Небесного», что несколько залихватски и вульгарно на современное, евангельски необразованное ухо (в нем эхом: «Парижские тайны»), а «Взыскание погибших (Мечты и мысли о бессмертии)»[280]. <…>

19 мая 1982 года

<…> Позавчера было мое выступление в нашем профкоме. Говорила о главном, о воскрешении, прямо, без оговорок, без страха. Поднялся после страшный

шум. Масса вопросов, споров, но и поддержки. Некоторый шок у устроителей: не ожидали такого метафизического шабаша. Много возражал художник Отари Кандауров[281] как будто с христианской точки зрения: расхожие псевдодоводы — как, мол, можно против замысла Божия о мире, который весь стоит на смерти и природном порядке, вплоть до того, что федоровское раскрытие христианства — сатанизм. (Вспоминаю, как благородно-манерно лепетала и Ольга Седакова насчет того, что мир создан Богом, включая смерть в природе, на что я ей о послегрехопадном статусе смертного бытия. — *С. С.* 4 октября 2003.) Забывают, что «имущий державу смерти»[282] — это и есть сатана, Бог же смерти не создавал, Он — Бог «не мертвых, а живых»[283], и всякие опустошения в его державе смерти, державе сатанинской, а тем более полное устранение ее («последний враг истребится — смерть») есть самое прямое и точное служение Богу.

Потом — Валера Борисов, Саша Старостин[284], я поехали с Валерой Байдиным к нему домой (живет рядом, на Кировской), там ждала нас его милейшая жена Марина; все вместе очень весело загуляли, пили, танцевали под народные мелодии и собственный аккомпанемент, во весь (несуществующий) голос орали песни; домой приехала в 4 часа утра, Саша свез на такси. Спала часа полтора, но чувствовала вчера себя весь день очень легко.

Сегодня к часу договорилась заехать к Гуле, а к 7 вечера ко мне приедет англичанка Бриджит (я ее уже видела, занимается Платоновым). С утра, за завтраком объясняла Гоше последовательность эсхатологических операций, их смысл, что мне ясно предстал в Щелыково. Сейчас слышу — стучит на машинке, записывает, развивает. «Кормилица моя телесная и духовная» — величает. <…>

Письмо О.Н. Сетницкой

Дорогая Ольга Николаевна!

Получила Вашу открытку. Пожалуйста, не стесняйтесь, когда Вам надо будет что-то из лекарств, я постараюсь достать. Меня волнует Ваше состояние здоровья, и если можно чем помочь, ради Бога…

Мне кажется, не надо себя пересиливать, *отдыхайте побольше*, притом что, конечно, не забывайте показываться врачам. Вы и так уже много-много, бесценно много сделали и можете спокойно отдыхать, жить и радоваться (если получится, хоть малым).

Я тоже себя чувствую неважно, особенно отказывает нормально работать сердце, бывает страшновато. Но, слава Богу, хорошие растут дочки, помогают в физическом труде, и *сердечно* — большая отрада.

Сижу в деревне безвыездно, занимаюсь хозяйством, немного и работаю, довершаю свою рукопись. Сейчас пошла клубника, будет и крыжовник, дети ходят за грибами, вот-вот начнутся заготовки. Хлопот много, я не успеваю, слабовата.

Раз в неделю, по вторникам, в Москве бывает муж, если ответите мне, то пишите лучше по московскому адресу, Гоша привезет письмо.

Как Вы сейчас? Какое здоровье и дела у Крашенинниковых? Им, Екатерине Александровне и Марии Александровне, большой от меня привет! Мне интересно мнение Екатерины Александровны о томе. Осенью я ей подарю экземпляр.

Вам — большое спасибо за добрые слова!

Пишите, не забывайте!

Любящая Вас Светлана С.

Храни Вас Господь!

10 июля 1982 г. с. Новоселки

(Единственное оставшееся свидетельство времени, когда вышел том «Сочинений» Федорова, не помню точно когда, в конце мая — начале июня 1982 г., еще когда мы были в Москве. Помню только огромный читательский ажиотаж вокруг, ругательно-горячечные мне звонки каких-то людей, кому не достался где-то в очередях и записях том, с требованием что-то сделать, как будто я была виновата в том, что им не хватило… Доходили первые отклики из церковных кругов, особенно на комментарий, невиданный по тем временам по своей добросовестности и вникающе-уважительному тону в отношении богословских и церковных реалий. Конечно, приятно ошарашивала и большая буква не только в имени Бог, но и во всей к Нему атрибутике. Текст чисто графически высился… Увы, жертвенным агнцем, спасшим в целом текст и комментарий, была вступительная статья, которую мне приходилось сопровождать по последним жестким требованиям *сверху* всяческими оговорочками — «консервативно-патриархальные иллюзии» и проч. — *С. С.* 5 октября 2003 г.)

Запись от десятых чисел (может быть, 12-го) августа 1982 г.

Бог — душевный центр мира, проницающее Око понимания, любви и восценения каждого живущего. Каждый на Него выходит *прямо*, с Ним соединен, в этой связи — бесценен, *замечен навек*. Сколько погибает на земле, казалось бы, сирых, убогих, далеких, чужих, мало кому знаемых: что нам какое-нибудь палестинское дитя, погибшее при операции возмездия, замерзший бомж, пронзенный сарацинской стрелой в крестовом походе крестьянин, да и сам сарацин, как-нибудь тоже сгинувший, задушенный в гареме евнух, вспыхнувший факелом камикадзе, съеденный свиньями крепостной младенец, утонувший в пруду подвыпивший работяга, мирно усопшая старушка!.. Бог — великое утешение пропадающего в безвестности множественного мира личностей, которых никто другой не чувствует как *единственных* и *невозможных* для окончательной пропащести. Бог — та инстанция, которая всех их *ведала*, *ведает* и содержит *в вечности*. Каждый для Него, Отца Небесного — *сын*, *дочь*, дорог, как для нас узкий круг близких. Без такого объединяющего центра мир бы распался и завихрился глубинным абсурдом. Смогут ли сами люди когда-то создать такой центр, любовно, бережно, жалостливо регистрирующий *всех*, *всех*?

16 августа 1982 г. Около 12 час. ночи. Новоселки

Через неделю — день рождения, кончается наше здесь летнее сидение. Ничего не записывала, Гоша, на свой лад переиначивая, осмысляя, ведет дневник нашей семейной жизни, состригая с нее свой урожай жизнемыслей. Я так-сяк перемогалась, доводила рукопись, еще осталось — как раз на последние дни. День в день вкладывался, похоженький. С девочками — проникновение и любовь. Настенька прочла «Тайны», глубоко, с сердцем, с умом. Надежда моя вырастает, крепчает духом, убежденностью, соратница, Друг. С Ларочкой — свое, трепет, любовное мученичество, но и вечернее, предсонное покаяние и душевное слияние…

Сегодня бах!.. Женя Фролова (жена Эрика Соловьева) ворвалась: Андропов[285] заглянул в Федорова, возмущенно ахнул, как допустили, спустил вопрос Федосееву[286], тот собрал совещание всех директоров академических гуманитарных институтов, редакторов журналов, выступало 7–8 академиков, все заклеймили издание, меня, опять к тому ж вытащили статью мою в «Нашем современнике»[287] как безобразно-апологетическую и славянофильскую. Это, конечно; акция: Ойзерман, Микулинский, Иовчук[288] писали Андропову, я почти уверена, что тот же Эрик им материалец, аргументики подбросил, то-то вдруг в три дня аврально том прочел, сделал свою жалкую логическую раскладку, «разоблачил», все мимо, как Цельс[289] христианство, но как самовольно важен и надут умом, «совопросник» и доносчик! Сегодня зашли к ним в Зинаевку, по-соседству снимают дом, зашли я, Лара и Гоша (Настю не взяли, больно непосредственно горяча, боялись, взорвется и выдаст наши подозрения).

За столом все про Федорова, я в какой-то момент взорвалась на полное непонимание главного: что у Федорова задача — преодоление природного порядка существования. Нет, все у него в природе и в ее круге — Эрик утверждал. «Дурак ты, а еще сильный философ называешься, читал, и мимо, и так уверенно вульгаризируешь. За три-то дня всего, небось, Канта не имел бы наглости постигнуть!» Вспылила, зарделась, спора спокойного не вышло, нет и задора с моей стороны убеждать, а с той — и слушать бы не стали… mauvaise conscience (дурная совесть) и полная предвзятость.

Устала, голова сейчас болит, не буду развивать… Хорошо лишь что «размочила» свою лень отчет о жизни давать. Надо мне сейчас на сон к себе воззвать. Учиться вести себя в социально трудные времена. Власть *заметила* тебя, в отрицательной ты колонке, неприятно лишение свободы «жить незаметно», возможны еще всякие осложнения, и Бог знает, какой контур поведет Судьба. А ты так *нервно и физически* хлипка. Как суму, да тюрьму, да подвал сырой с мышами вынесешь… Последнее для меня — ад, уже *тут*. Закаляйся, воительница!

И нырнуть поглубже, забрать рукопись из издательства, для себя приготовить, очистить от всех компромиссных мест и держать дома, и вторую — тоже. Не вылезать: дом, детки, некоторые лишь близкие люди.

17 августа 1982 г. 1 час дня

Вот впервые за все пребывание здесь ушла, как и в прошлом году, от дома к заброшенным каменным домам, к забору, где писала тогда «Оправдание России».

С Настей у нас уже клятва, обет быть Соратниками — как хорошо и легко быть не одной! Решили *трансцендировать* уровень *мать — дочь*, уровень природный, со всей его амбивалентностью, «люблю — ненавижу», юношеским отталкиванием в утверждении своей самости, и перейти на высший, возродиться в небесный счет: братские Личности, соединенные в едином Деле, апостольши, Светлана и Анастасия. Называет меня уже и так, кроме *мамы*, от которой тоже отказаться не хочет.

Спала сегодня совсем мало, как легла, так и встала с больной головой и все утро крутилась по хозяйству, переваривала клубничное варенье. Сильную дозу яда вчера с Гошей приняли у Соловьевых — пока переработаешь и избудешь!

Ах, как тут хорошо: выйти из поля облучения своих, дорогих; но сильны там психейные шумы, смущают, не дают воцариться тому душевному покою и сосредоточенности, что нужны для творчества. Что же это я и не пыталась за все лето вырваться из этого так сильно держащего магического круга (вот хоть сюда, к забору)?! Ну на остаток (4–5 дней) начну сюда сбегать. Сейчас надо довершить странички про «чертог брачный» у гностиков[290].

23 октября 1982 года Москва

<…> Федорова забили, на совещании гл<авных> редакторов сов<етских> печатных органов Зимянин[291] отрекомендомендовал его как «мракобеса», всякое даже упоминание его имени начисто изгоняется с печатных страниц; на сколько лет вперед теперь мне стена? Боже, дай мне терпение! И что теперь делать? Печатать здесь не будут, надо *чище, смелее и бескомпромисснее* определиться. <…>

19 декабря 1982 года. Около 12 час. дня

Напрочь за всю эту осень и начавшуюся зиму утеряна инерция усилия, работы. Продолжалась лихорадка «по Федорову»: телефонные звонки, встречи, бумаги. Последний всплеск на 3–4 недели вокруг готовящейся к печати рецензии Микулинского[292] на том: разгром, поход, подметное, доносное письмо. В первом варианте (уже было набранном) — такая наглая демагогия, дешево, в клочья, разносный тон, что по результату — блистательная реклама Федорову, изданию и мне лично. Я там вырастаю в таинственно могущественную фигуру, супервумен, экстрасенса и вамп, совратившую советскую печать, обрушившую своими публикациями на наивные головы страшную идейную артподготовку. Жаль, что этот вариант оттолкнул своей грубостью даже членов редколлегии «Вопросов философии», но все же утвердили к печати — с доработкой. Должны сильно прилизать, как — скоро увидим. Устала от бесплодных попыток, на которые меня толкает Гулыга (не могу ему отказать); среди этих трепыханий видела Евтушенко и гово-

рила с ним на «Мосфильме», где он в энтузиазме творит свой первый фильм[293]. Много разговоров и волнений вокруг Гошиного института, там Микулинский — директор и сейчас охотится за антипартийными ведьмами, т. е. за теми, кто подписал письмо-рецензию в защиту издания Федорова[294]. Морок вокруг Федорова сгустился и висит, в его тумане все бессильны, как в параличе: сломили людей за десятилетия, если кто сверху вроде бы цыкнет, никто не находит мужества на слово правды, жест защиты.

В начале ноября на неделю ездили семьей в Ленинград. Я и Гоша выступали в музее Достоевского на конференции, я: «Федоров и Достоевский»[295]. Был народ, поглощенно слушали, многие сразу же после моего выступления ушли — значит только на Федорова. Пришел и Львов. Видела его еще раз. Начал с «мы по разные стороны баррикад». Ездили к митрополиту Антонию в Комарово. Пыталась его отговорить подписывать статью Гаврюшина в «Богословских трудах»[296], но моя апология Николая Федоровича как христианского мыслителя билась о скалы сильнейшего предубеждения.

(Сейчас, в связи с Борисом Кнорре[297], молодым человеком, ракитинского, карьеристского плана — Настя с ним возилась-возилась, помогала разобраться с Федоровым, писал кандидатскую диссертацию о федоровском движении и выдал все равно предубежденную халтуру, Настя выступила на его защите, обнаружив все его вопиющие ошибки, конечно, все равно защитился, хотя, вроде, готов что-то в тексте еще исправить, — Настя попросила меня подробнее осветить историю с гаврюшинской статьей, вышедшей в конечном итоге под псевдонимом *А.М.* Так вот, эта редукция митрополита Антония до двух букв, где *М.* означала его мирское имя Мельников, все же была результатом моего к нему визита, кстати, как помню, устроенного с помощью Юры Селиверстова[298]. Что-то в нем поколебалось, несмотря на то, что защитницей Федорова была женщина, тогда довольно молодая и эффектная дама, к тому же упрямая, убежденная, горячая и знающая, — приходилось монаху поддаваться на аргументы «бабы», случай трудный, к тому же, как он мне сразу заявил, на моем докладе в музее Достоевского были его «уши», и они учуяли некий «гностический» уклон в моих речах (сидел какой-то очередной секретарь «Аполлов»[299])… И когда позже вышла статья Гаврюшина под этими двумя таинственными буквами, как только не гадали, кто это: не Александр ли Мень — хотя ясно, что он-то никак не мог, при своем достаточно адекватном, заинтересованном отношении к Федорову, написать такую злобную «клюкву», одним словом, эффекта с подписью иерарха Православной Церкви не вышло, понял он сам, что такого делать *не надо*, а ведь Гаврюшин, тогда весьма приближенный к «телу», надо думать, сильно нажимал, принеся ему свою псевдоученую статью, устроив целую кампанию, чтобы вырвать полную и недвусмысленную официально-авторитетную подпись для основательного, лучше всего — окончательного прихлопа федоровского активного христианства.

Не вышло, слава Богу, да и выйти не могло! Вскоре митр. Антоний почил, а его преемник, митр. Алексий, ставший затем патриархом, напротив, очень сочувственно отозвался о главной идее Федорова[300]. Настя все боится какого-нибудь официального отторгающего определения Церкви по поводу учения всеобщего дела — напрасно, уверена, такой глупости она не совершит. — *С. С.* 30 дек<абря> 2003 г. Это я вернулась к уже сложенным по папкам отпечатанным кускам, через час Настя с Верочкой приезжают на зимние каникулы, закружусь с внучкой, навалится еще верстка «Pro et contra»[301]. Да, помню еще, что митр. Антонию (как рассказывал мне Юра Селиверстов) понравились мои комментарии к тому Федорова, был удивлен их богословским уровнем, в те времена неслыханным серьезно-вдумчивым обсуждением в светском издании богословско-церковных тем, упрятанным в те же комментарии.)

Одновременно в Ленинграде с нами два дня был Толя Черняков[302], очаровал моих девчонок.

Приезжал неделю назад на несколько дней Михаил Хагемейстер из Марбурга. Пишет диссертацию о Федорове и его последователях 20–30-х годов[303]. Провела с ним довольно много времени. Был удивлен тем, что увидел и узнал, он, западный профи и слегка киборг, — и мы, федоровцы и душа наружу. Некоторые планы насчет «Вселенского дела», № 3. <…>

Письмо В.Е. Львову (без точной даты)

Дорогой Владимир Евгеньевич!

В оценке рецензии Микулинского я с Вами совершенно солидарна, и надо сказать, далеко не я одна. Масса народа, самого разного, от сугубо ученого до представителей просвещенной общественности и т. д., — возмущена и тоном, и демагогией, и всеми примитивными хитростями автора. К сожалению, труднее всего Федоров дается пониманию именно наших «философов». Прежде чем вынести свое суждение о Гегеле, Спинозе или Сартре, они их штудируют годами, а тут готовы с единого наскока, нахватав, не разобравшись, цитат с поверхности текста. И потом какая глупость! Если — «воскрешение», тогда ничего другого позитивного быть не может. Тогда бы, раз у Гегеля вся система устремляется к апофеозе абсолютного Духа, то надо выкинуть, не заметив, и его диалектику, и эстетику, и мысли об истории…

Но впрочем — не буду. Можно легко оспорить каждую запятую в этом тексте. Ругает вроде бы как сделан том, а весь свой полемический пыл направляет на статьи по литературным вопросам и т. д. и т. д. Кстати, у Циолковского его «животное космоса» — тот же будущий самосозидаемый, автотрофный, способный к безграничному перемещению человек. Никто и не говорит, что Федоров предвосхитил формулу ракеты Циолковского, речь идет о «космической философии», которая совсем уже не по зубам Микулинскому.

У нас целый ряд людей готовит письма — реакции на эту публикацию, направляет их в редколлегию «Вопросов философии» и копии — в отдел науки и отдел

агитации и пропаганды ЦК. Если бы Вы могли то, что изложили мне в письме — с некоторым при желании большим раскрытием нелепостей критики ученого мужа — послать по тому же адресу, Вы бы очень помогли всей теперешней ситуации с Федоровым. Как говорят сведущие люди, для нас вовсе не конец войны с поражением, а скорее Сталинград. И от нашей оперативности (умения быстро, четко и убедительно реагировать) будет зависеть исход этой битвы. Тем более, что *вся правда* на нашей стороне и к ней надо только присовокупить мужество и отсутствие лени (писать, действовать и т. д.). Микулинского, кстати, на открытом партсобрании у него в институте истории естествознания и техники, где он директор, здорово уже потрепали по поводу его рецензии[303]. Но это локальный успех пока, и надо, надо… Все дурные слухи чрезвычайно преувеличены и даже просто выдуманы все теми же враждебными людьми. Подрезать крылья надеждам, создать атмосферу безнадежности — вот их задача. Кстати, никаких партвзысканий ни Гулыга, ни кто бы то ни было по поводу издания Федорова не получал. В редколлегии «Философского наследства» и в издательстве все спокойно. Был даже федоровский вечер в одном подмосковном клубе[305] и, думаю, через некоторое время, к весне, может быть, удастся и Вам, как Вы этого хотели, устроить специальное, хорошо подготовленное выступление в Москве. Все зависит от нашей собственной активности сейчас, от сопротивления быть «овцами». Ибо при отсутствии отпора эта беспардонная, наглая и демагогическая публика впадает в сласть крушить, бить и дальше. Аргументированный отпор — тут же сбивает и заставляет метаться и оправдываться (это показало и вышеупомянутое партсобрание*).

Так что — если есть у Вас желание — напишите письмо в инстанции. Сейчас такое положение, что мы можем все обернуть совсем неожиданно «в нашу пользу».

Пишите, всех Вам благ!
Ваша Светлана С.

Письмо Галине Егоренковой[306] (без точной даты)

Дорогая Галочка!

Мои девочки получили твою посылку, очень рады, а мы все восхищены твоей обязательностью. Напиши, как идут дела, как семья, настроение, планы. Когда собираешься еще в Москву?

У меня сейчас полоса нелегкая… в 12 номере «Вопросов философии» Микулинский обрушился на том Федорова. Буквально несколько человек: Иовчук, Микулинский, Ойзерман провели свою акцию, когда вышел том, настрочили какой-то догматический пасквиль наверх, а когда оттуда в Академию наук при-

* Кстати, и сама рецензия. Первый, набранный ее вариант, был совсем зубодробительный для Федорова. Но под давлением — стали защищать мыслителя — Микулинский, чтобы добиться той же цели дискредитации, вынужден был сместить свое критическое жало в сторону все той же беззащитной женщины и «узкого круга авторов», в который, естественно, в первую очередь входите Вы.

шла резолюция «разобраться», они под видом поддержки оттуда (хотя ничего, кроме этого «разобраться» и не было) разобрались по-своему. Так на них круг и замкнулся. Эта рецензия в первом варианте была и вовсе изничтожающей, но в самой редколлегии народ вступился и критические снаряды сместились и полетели в сторону все той же Семеновой, которой в награду за все ее труды последнего десятилетия даровано право стать козлом отпущения.

Если всей этой наглой публике не давать отпора, то она приходит в садистский азарт и крушит все — вычеркивает фигуры из истории, гробит новые инициативы, вроде издания Владимира Соловьева[307] и т. д., отпугивает мороком безнадежности. Больше всего боятся светильников разумного, аргументированного ответа. Тут уже был ряд фактов, доказавших, как они мечутся в таком свете. В общем «еще не вечер», и их можно свернуть. У нас здесь для этого пишутся письма в редколлегию «Вопросов философии» с копиями в отдел науки и в отдел агитации и пропаганды ЦК с разбором рецензии, в которой все — злопыхательство, глупость, передержки и подтасовки. Вплоть до того, что фокусническим движением рук и вашего уважаемого С.И. Сухих[308] сделали своим «соратником». Было бы очень хорошо, если бы он тоже мог отреагировать: написать такое письмо, выразив в нем свое мнение о Федорове, его издании и этой рецензии. Если же мы окажемся не способны защищать свои культурные богатства, мы будем вполне достойны той судьбы, которую хотят нам уготовить Микулинский и К°.

Мне бы хотелось и самой ему написать, но нет ни адреса, ни его имени-отчества в памяти. Ты с ним, пожалуйста, поговори, выясни его отношение и готовность помочь. И если он хочет, пошли его адрес. А как зовут: Станислав Иванович?

У меня еще сейчас болеет Лариска. Пишу после бессонной ночи, чувствую сама себя премерзко.

Пиши. Целую.

Твоя Света.

7 января 1983 г. Около 9 час. вечера

<…> Вернулась с прогулки, перечитала свой конспект неопубликованной статьи Волынского о Федорове[309]. Да, надо мне сейчас, когда мне вернули рукопись, — ее переписать глубже и взволнованнее, особенно биографическую часть. Вообще тянет меня написать подробнейшую — на сегодняшнее мое знание и понимание — биографию Н. Ф. Начну по новой собирать материалы, перечитывать его письма и тексты, следуя его собственному наказу за произведением видеть автора, восстанавливать его из его мыслей, поворотов фразы, образов, из духа и души, исходящих из написанного. Это меня увлекает, а надо делать и могу я делать сейчас только такое.

Итак, есть впереди сейчас два занятия: прочесть внимательно Шри Ауробинду[310] и дать свое проникновение в его учение и второе — новые страницы

о Федорове и новые главы об учении, у меня нет, к примеру, его критики мировой философии[311].

15 февраля 1983 г. 9 час. вечера. Малеевка

<…> Собиралась *за неделю* написать ответ на рецензию Микулинского, просил Саня Огурцов, который вместе с Вадимом Рабиновичем[312] сочинили контррецензию. (Как вспоминаю, у Рабиновича были какие-то свою счеты с Микулинским, тот его теснил, наверное, в связи с его работой над «Алхимией», вот он и стал временным союзником, что вскоре с него сошло; Огурцов выступал по принципиальным убеждениям. — *С .С.* 31 октября 2003.) <…>

17 февраля 1983 года. Седьмой час вечера

<…> Что мне сейчас, прямо сейчас делать для федоровского «всеобщего дела»? Что делать и другим, готовым встать на этот путь?

1. Изучать, читать, понять как можно глубже.

2. Изменить ценностные установки, полюбить Идеал; если ты художник, то вырываться в мечте и провидении к новому типу бытия, промедитировать его, вообразить во всем многообразии красок и силе увлечения.

3. Все этические христианские заповеди остаются в силе, их упражнять.

4. Любить прошлое, изучать, выбирать такие профессии, которые могут этому служить, — археология, история.

5. Важное значение биологии, христианизированной, личностно, преображающе направленной.

6. Впрочем, все и любые занятия одушевить этой целью, работать в них, имея в виду высший идеал.

7. Возобновить идею катехизиса активного христианства и своего рода евангелий.

Задачи так велики, что требуют огромного спокойствия и любви к людям, но без лично-неврастенической вибрации (мой уклон). И брось «ахавить»! (В смысле безумного капитана Ахава, в его охоте за белым китом. — *С. С.* 1 ноября 2003.) Не супервумь!

Идти без страха, без оглядки, отстаивать Идею прямо, без лукавства! <…>

Что нам делать сейчас и немедленно?

Это первый вопрос, который возникает у тех, кто принял идеал построения не-природного порядка бытия, но как человек, живущий только *сейчас* и только сейчас действующий, он желает знать, что ему конкретно и сразу делать. Традиционно христианские требования к человеку понятны и тут же выполнимы: любить Бога и ближнего, помогать ему, в себе растить духовность, вникать в литургийную жизнь Церкви, честно жить и готовиться к праведной кончине. Все это можно делать и самому даже в наиболее страшные, черные годы, даже сре-

ди не́-людей или среди равнодушных, циничных, чужих. А исповедуя «всеобщее дело», как быть? Ждать предварительным условием вроде надо общего согласия, общественного и государственного поворота в эту сторону, конкретной научной работы над материей и телом. Так разве дождешься; два человека договориться не могут, мир кроваво раздирается абсолютной непосредственностью; отчуждение и ненависть сочатся из всех пор людских.

Что я могу сказать на это? Я, которая столь много дани несет привычным действиям, реакциям мира сего, столь часто теряет себя, исходя вся на людей, но не в лучшем лучистом и очищающем качестве, а в плотском лукавстве, в человекоугодничестве. Да, вот мое главное зло: *человекоугодничество*, угодничество подлой двоящейся натуре ближнего, потребность всем угодить, чтобы и тебя все любили. Да, конечно нас манит такое состояние, такая бесконечная и облегающая любящая, нежащая среда, которая и должна нас ласкать в Царствии Небесном. Ее бессознательный чувственный начаток был в утробе матери и должен быть сознательно обретен во всеединстве проницающей любви. А сейчас эта потребность не удовлетворяется столь жалко, столь стыдно и столь оскорбительно! А ведь было уже указание выхода: сам люби всех, никого не порицай, не оправдывайся, не бойся осуждения. По крайней мере, Света, в твоей власти высвободиться пока из-под власти одной из двух роковых сил, указанных Тютчевым: от «суда людского». Кроме того, что я продумываю и уношусь мечтой Туда, я должна и в своем каждодневном поведении быть ближе к Туда и строже, строже к себе. Моя замечательная уловка с эпизодом природного детства, которому надо же воздать свое, — может быть ловушкой. Мне, очевидно, надо идти на Большую Жертву. А как страшна та тяжесть и косность домашней моей жизни, когда воля почти бездействует и только, как вол, тянешь дом и детей и хочешь разве что послаще и поленивее заполнить немногие временные прокладки между бытовой суетой: забыться за едой, в кино, у телевизора, в книге, в детских ласках. Боже, помоги!

Что же можно прямо сейчас делать? Пока мне не открылось нечто совсем простое и блистательно-убедительное. Надо распространять идеи, рассказывать, давать читать, убеждать, чтобы все большее число включилось в «шедше, научите»[313]. И для тебя самой надо совершенно освободиться от остатков авторского тщеславия: неприятно, что растаскивают идеи моего труда, неопубликованного, беззащитного, но ведь и хорошо это — пусть каждый несет дальше и сеет, как свое… Действительно, надо скорее дать Валентину[314] на перепечатку, сделать ксероксы и пока пусть так и распространяется.

Всюду пропагандировать и поддерживать все, что работает на «всеобщее дело»: изучение прошлого, предков, новую христианскую, нравственную ориентацию науки, на развитие биологии, работающей на преобразование тела и вечную жизнь.

Все занятия одушевлять этой высшей целью.

Творцы должны прорываться в медитации, мечте, предвосхищении к новому типу бытия, стать его разведчиками, нести нам его искры, учить нас его любить, страстно затомиться по нему.

Детей воспитывать — не принимающими смерть, не разрушать их раннего ощущения своего могущества, их веры в чудо.

Письмо Сухих С.И. от 1 марта 1983 г.

Здравствуйте, Станислав Иванович!

У меня еще не было возможности лично Вас поблагодарить за Ваши изумительные, столь глубокие статьи о Горьком и Федорове, которые я, получив экземпляр, многим давала читать[315]. Все их очень высоко оценивают. Спасибо большое! Они тоже во многом подготовили почву для издания тома. Эти статьи знают и те несколько ученых из Института истории естествознания и техники АН СССР, где директором как раз автор рецензии в «Вопросах философии» С.Р. Микулинский, и о которых я хочу Вам сейчас рассказать.

Когда года полтора назад по милости доносов Иовчука том на стадии второй корректуры встал на полгода, Госкомиздат обратился в некоторые научные учреждения с просьбой разобраться в идеях Федорова и целесообразности издания его текстов. И из Института философии, и из университета пришли положительные отзывы: да, явление значительное, надо издавать. А вот Микулинский коротко ответил «нет». Тогда его возмущенные сотрудники (5 человек — П. Гайденко, Б.Г. Кузнецов, А. Огурцов, В. Рабинович и А. Ахутин[316]) написали развернутый, аргументированный отзыв «за». (Кстати, то же сделал академик Кедров[317], бывший директор этого института, т. е. тоже «за».) Так вышел некоторый научный конфликт и отсюда тоже особая активность Микулинского, который после выхода тома (очевидно, не один) стал создавать атмосферу травли вокруг Федорова и людей, серьезно его исследующих.

Сейчас ситуация такова: или мы будем активны и все же отстоим наследие Федорова как положительную национальную культурную ценность, или «они» задвинут его в тот самый «темный тупик», где его желает видеть наш рецензент. Трое из вышеназванных ученых: Огурцов, Рабинович и Ахутин написали контррецензию, выставив всю демагогию, искажения и передержки Микулинского. Так что текст есть. Его авторы считают, что Ваша подпись под ним прозвучала бы сильно, ведь Микулинский пытается сделать Вас чуть ли не своим соратником. К Вашей подписи — если Вы согласитесь на это — можно присовокупить и кого-то из авторов. Неважно даже, опубликуют ли эту реакцию на рецензию (имеющую название «Осуждение вместо обсуждения»), она все равно будет обсуждаться на редколлегии и сделает свое дело в общем балансе нынешней борьбы.

Да, еще забыла один существенный аргумент: важна подпись именно литературоведа, поскольку связь идей Федорова с литературой кажется рецензенту, как Вы помните, «дурным сном».

Я со своей стороны тоже написала некий «Ответ», который скоро отправлю[317а]. Сейчас я нахожусь в Малеевке, в писательском Доме творчества, а с 5 марта буду уже в Москве.

Напишите мне, пожалуйста, сразу, готовы ли Вы сделать то, о чем мы Вас просим, и если да, то авторы вышлют Вам текст их работы[317б]. Единственное, тянуть время — сейчас уже нельзя. Прошу Вас написать мне сразу.

Мой адрес: 117485 Москва В-485 ул. Волгина д. 7 кв. 85

Семеновой Светлане Григорьевне

Всего Вам доброго!

С уважением С. Семенова

26 мая 1983 г. 10 час. вечера. Пицунда

<…> Какой несчастный начался год-гад: сначала рецензия Микулинского, разгром Федорова, теперь вычеркивают его имя и цитаты из всех книг, идущих в печать, «Современник» мне книгу вернул, а в рукописи не хватает 100 страниц, когда я хватилась, перелистывая рукопись в метро по возвращении — с неделю назад это было, — то как я застрадала, застонала, замучилась! И в деревне дом сгорел, Гоша забегался, пытаясь его восстановить, крышу навесили, а все остальное будем сами доделывать все лето <…>

Взялась — чтобы совсем не отчаяться от ненужности — за книгу о «вечных вопросах» в литературе[318], куда хочу внести уже наработанное в книге о Федорове, но, увы, по нынешним цензурным рогаткам, его не упоминая. Вот уже, наверное, месяц читаю поэтов, имея в виду написать о философской лирике 19 в. И тут взяла в библиотеке Пушкина, Веневитинова, прочла томик Батюшкова, привезенный из Москвы. <…>

23 июля 1983 г., деревня, около полдня

Наконец-то, окончательно на месяц водворились в нашем горевшем, еще совсем неустроенном доме! Очень много, до изнеможения, без конца — потребен здесь физический труд. Как долог, труден, требующ терпения путь восстановления!

Хочу оставшийся месяц начать писать первую и вторую главу «Преодоления трагедии». Вот сегодня первое утро, когда, уйдя за дом, сосредоточиваюсь, собираюсь с мыслями, прогоняю в сознании, что я уже надумала на эту тему. С чего начать, с общей ли главы о вечных темах в литературе или с поэзии 1830-х годов, второе — конкретнее и уже предварительно наработано. Наверное, надо для начала хоть немного дать общую панораму, которую уже осенью, в Москве я населю фактами и заполню образами и идеями, а начисто надо писать о русской поэзии, для чего у меня сюда вывезены сами тексты, все под рукой. <…>

14 августа 1983 г. 10 час. 30 мин. утра. Москва, балкон

<…> Я не должна сейчас колебаться: не делаю своих абсолютных федоровских дел, взялась за философствующее литературоведение. Ну и что — и здесь надо максимально выразить явившуюся тебе истину и сделать для себя из этой книги упражнение в созидательной воле: я *делаю* цельную, завершенную книгу. Строить ее неуклонно, изо дня в день, как это ни трудно! А самое позднее к весне, когда завершишь, — снова вернешься к своим собственно федоровским работам, переделаешь монографию о Н. Ф., доведешь ее до нынешнего твоего абсолюта понимания, «Тайны» тоже доредактируешь. А дальше… жизнь подскажет, дойдет очередь и до «Евангелия» всеобщего дела. <…>

17 августа 1983 г. 17 час. 15 мин. Деревня. Забор

<…> Надо подвести итоги этого года, ибо у меня он не с Нового календарного года начинается, а от 23 августа до 23 августа? Что же это был за год?

Сначала федоровская буря или, точнее, критическая буря, что начала с ускорением бушевать как раз с конца прошлого августа-сентября. На что силы ушли? На всякого рода отпоры, планы действий; всю осень и начало зимы — я ничего нового не сделала, в Малеевке за февраль написала письмо в редакцию «Вопросов философии», и все. С весны стала читать поэтов, сочинила заявку на книгу в «Советский писатель»[318а]. И вот с начала лета стала потихоньку приступать к написанию ее первой главы. Правда, было несколько лекций о Федорове, выступлений, колыхавших людей, по числу больше, чем обычно: в ЦГАЛИ, в одном из отделений Общества охраны памятников (где-то гуляет пленка с записью), в Музее космонавтики у ВДНХ, в Институте высоких температур в Троицком. Да, и традиционный юбилейный вечер в начале января (приблизительно ко дню смерти, на этот раз чуть запоздали, ибо перекрывали все пути) в Доме культуры под Москвой. Всего — пять. Неплохо!

Но не вышло за год ни одной статьи, книгу вернули, само мое имя, как говорит Латынин, «засвечено», боятся всего, что из-под «ее» пера. А главное — фактически ничего не создано; только редактировала какие-то куски «Тайн». Вытянуть этот плачевный, удручающий итог может лишь нынешняя моя работа, даже остающиеся 5 дней здесь что-то могут. Преисполнись ответственностью перед уходящим годом и за все упущенное — хоть кусочком отплати! И больше так нельзя! Ладно, ударили обухом, год — на некоторый шок, и хватит! В грядущем году надо все же сделать книгу о вечных темах. А уж к весне-лету опять впрямую с Абсолютом.

3 сентября 1983 г. 11 час. утра

<…> Позвонили из «Современника», где нашлись мои недоданные 100 страниц рукописи, и к Никитину надо было заезжать за № 24 «Богословских трудов», где статья Гаврюшина о Федорове. Была у него в редакции ЖМП[318б], комфорт и благообразие.

Растеряна, за что браться немедленно. Спала сегодня очень мало. Продолжать надо о поэзии, но возникла идея сделать им статью о богословии Федорова, у меня есть глава, но надо препарировать. Обессиливает сразу же чувство безнадежности, никакое церковное издание не выдержит *свободной*, даже и христианской мысли. <…>

(Это с запропастившихся среди бумаг двух листиков, вырванных из блокнота. Относятся к семинару на Пицунде, без четкой даты).

Je viens de prononces un discours que personne n'a compris[319].

Юродство проповеди. На пицундском семинаре, посвященном языку, — под духовной эгидой Гумбольда. Я сделала крен в сторону родственного ядра языков, в противовес Гумбольду выдвинула сравнительно-историческую школу, глубину общих корней, федоровский «панлингвистический корнеслов», «филологическую пятидесятницу» и даже рискнула зачитать, отрываясь от бумаги, свою «Рассимволизацию (разметафоризацию) мира»[320], которая здесь упала как странный, загадочно-нелепый метеор с неба. Никто не понял. Лишь Скуратовский[321] написал мне записку: «Тяжела работа Господня». (Да, как вспоминаю сейчас, Женя Сидоров[322] с восхищением сказал, что это блестящая философская эстрада, как была поэтическая у нас. — 5.12.2004.) Тут сидят еще очень природные зверушки, тем более отстаивающие все истовее и истовее свою особую физиономию. И вдруг — как если бы Циолковский вылез и стал говорить о будущем эфирном человечестве. Напрасно, может быть, пошла я на такой высший пилотаж, дав им то, что мне уже явилось, а у них еще ни единого мыслительного проблеска, ни капли подобной активно-религиозной логики, — не было с моей стороны необходимого кенозиса. Детскому саду я вещала как ареопагу пророков, призывая их взглянуть еще дальше, за грань времен. Интересно, что эта реакция отторжения наполнила меня энергией и силой — сходить надо с этих жалких, пустых, эмпирических путей и уходить узкой тропой своей мысли, своего предназначения. Прочь все эти дразнящие пестрые тряпки юга, «divertissements»[323] всякого рода. Положила руку на плуг Господня служения и оглядываешься назад. Не сюда, в эту растленно-уютную, terra terr'ную[324] писательскую среду, надо идти, а к открытым, ищущим, практическим *крылатым* метафизикам.

16 декабря 1983 г. 7 час. утра

<…> Открытием стал Отар Чиладзе. Его роман «Всякий, кто встретится со мной…», а за точками в названии подразумевается: «убьет меня». И в ширину, и в глубину внедрился в «неродственность» мира, в *бедность* нашей злобы и ненависти, опустил ее в гнилостный корень смертности, ее тоски. И так тонко вьет слово, раскидывая сеть сравнений (его излюбленный прием), уловляющую дальний и ближний мир, соседствующий по бытию с прямо происходящим.

Какие дела ждут меня дома? Читать и допечатать «Т. Ц.»[325] Начитывать и надумывать для главы о Толстом и Достоевском в книгу о «вечных вопросах». Идет святой, федоровский конец декабря. Одно-два выступления. Одно — на квартире у Гали Корниловой[326], собрать людей, таких, которым интересно будет «богодействие Федорова», раскрыть его учение с христианской стороны. Второе, если В. Борисов останется верен идее поминального декабрьского вечера, — больше для нынешнего уровня сознания, для «материалистов»[326а].

А на зимние каникулы детей, если они уедут в Малеевку с папой (хотя вряд ли, нет денег!), — буду писать о Толстом и Достоевском[326б].

10 февраля 1984 года. Около 6 часов вечера

Внизу, в буфете Ленинской библиотеки. Огромная очередь. Сижу за столом, жду. (Слава Богу, были такие невольные остановки в жизненном течении или полете, тогда открывала папку, брала бумагу и что-то фиксировала о происходящем. Вот ведь почти два месяца ничего не заносила, а теперь и не вспомнить, что было, чего не было. — *С. С.* 10 ноября 2003 г.) Приехала в Дом ученых по приглашению Г. Аксенова смотреть фильм о Вернадском, а там — суровая и довольная своей властной категоричностью баба в дверях объявляет: «Все мероприятия отменяются». Да, вчера умер Андропов, и я как раз перед отъездом, уже вымыв голову (единственный мой туалет с головой, постричься и вымыть, мыть и дальше, чем чище, тем больше «прическа»), услышала по радио… Ждали с Гошей известия, Гуля по телефону уже преуведомила, что Кто-то умер, может быть, даже Главный. И вот в половине четвертого, через сутки после смерти, раздалось: «Дорогие товарищи…» и т. д. Ну что ж, будем теперь надеяться на некоторые перемены, хотя бы в силу некоего исторического автоматизма: попирать то, что было при ушедшем правителе. А что было, меня лично здорово тряхануло. Федорова забили, все, что идет в глубь истории и мысли, заклеймлено как «патриархальщина», «богоискательство», «идеализация»… Цензура выбрасывает стихотворение, если в нем есть слово «монастырь» (сообщил Роберт Винонен[327], ныне заведующий отделом поэзии народов СССР в издательстве «Советский писатель»), вычеркиваются «святые узы дружбы» и т. д. — до полной комики. Подряд две статьи Гоши сняла цензура. Это я про узенький участок. А в мире сбитый «самолет» и почти на грани войны. Да, ждет нас, что поглядеть: массовые и многозначащие мизансцены — будут еще похороны, новый Генсек, новая ситуация… Увы, только смерть, высокая, конечно, подбирающая первых Начальников, — двигатель изменения, прогресса, регресса у нас нередко. Интересно будет и телик в ближайшие дни позырить, и газетки почитать.

Что было за последнее время, после приезда из Грузии? Два федоровских выступления, и особенно удачное, триумфальное — последнее (вечер памяти, приткнулись в одном научно-исследовательском институте, «Гипромесе»)[327а]. Естественно, потом пошли репрессии: кто-то накапал, а было очень свободно,

сама была на подъеме, говорили по абсолюту. Валя Никитин обращался даже к верующим прямо, толкуя об условном характере апокалиптических пророчеств. Стали после меня всюду приглашать, была у «йогов» на квартире, за чаем рассказывала, зовут еще в институты и т. д. Но я простудилась, ожидая Ларку два часа с елки в Кремле под открытым морозным небом. И вот болела почти месяц, сейчас уже вроде ничего, ногу лечу утром гимнастикой, собираюсь писать главу о распутинской «Матере»[328], но уж это, наверное, в Малеевке в марте, ежели пустят. А пока — читаю, хозяйством занимаюсь, вот как раз только что прочла «Козлиную песнь» Вагинова, мне понравилось.

13 марта 1984 г. Малеевка. 13 час. 30 минут

Вчера водворилась. В корпус «А», в комнату на 2-ом этаже. Мне нравится, намного тише, чем в главном, изолированнее, глуше. Приехала на 26 дней, доделывать свою книгу о вечных вопросах. Главное — написать главу о «Прощании с Матерой». Вчера была очень усталой, после почти бессонной ночи и дикой московской гонки. Приехал Михаил Хагемейстер, много у меня просиживал, надо было для «Кавкасиони» написать свое «выступление» на круглом столе на Пицунде[329], выдумала небывшее, ибо реально была лишь проповедь об «общем деле». Гия Сартавия гостил в Москве дней десять, и с ним — общения, ездили к Вале Никитину на день рождения в Зеленоград, по дороге гостили у Германа Плисецкого[330], собирались также у Гали Корниловой… На дне рождения познакомилась с рыжим человеком, симпатичным, но отъевшим себе на церковный радушный манер пузо (чтецом в церкви работает, а бывший математик и действующий поэт), — Валерием Шленовым[331]. С ним тоже виделась, и по телефону говорить оказался большой любитель. Устанавливались дружеские, сердечные отношения. Захотелось на нем именно, воцерковленном, богословски образованном, проверить свои «Тайны Царствия», начал читать, но очень пристрастно и ущемленно; не хочет понимать принципиального *простодушия* этой вещи, открытости мысли, прямолинейно цепляется в «богословских» местах, где ему положено быть Маэстро. Читает, одним словом, с установкой критики, уловить автора и *себя показать*. Мне чрезвычайно важна критика, но когда без вникания в замысел и истинное содержание — ценности почти никакой и поселяется между людьми что-то похожее на раздражение и счеты. А жаль… Тяжело с нереализовавшимися, незнаемыми публикой литераторами, поэтами, философами, люди они могут быть очень замечательными (а неосуществимость их — только в невозможности себя обнародовать в наших условиях, а бывает, что только одно «предисловие» к великим трудам и свершат и держат его за многозначительной пазухой), но им свои тексты показывать нельзя, а только ими самими интересоваться, облегчать вниманием их неутоленное и неистребимое *желание славы*.

Думала приеду, как в ноябре, в пустую от знакомых литераторов Малеевку. Не тут-то было. Все завсегдатаи сместились по фазе на месяц, и кого только нет:

и Мовчан, и Колунцев, и Шкловский, и Чухонцев, и Карякин, и Лиля Проскурина[332], что налетела облаком из французских духов, поцеловала и улетела, обещав, что вернется через неделю, и прочие и прочие… Отделяться и крепить одиночество. Но вчера уже не смогла отказать выпить чашечку кофе бедняге Тодику Колунцеву: в депрессии, в груди встает ком, все вокруг отвратительно и хочется ему кричать всем «спасите»! Глушит какие-то таблетки. Рассказывал о своей жизни. Была недолго, час… Сегодня после обеда и отдыха начну работу. Надо с основного: делать главу о «Матере», а потом уже начну редактировать старые, уже готовые главы, что-то убирать и переписывать. Да, а до этого еще и первую главку о вечных вопросах в поэзии надо довершить. План ясен, avanti!

20 марта 1984 г. 11 час. 30 мин. утра

<…> Все знаю наперед, что надо прописать про «Матеру», давно продумано и размечено, скушно вить фразы и выстраивать красивое, логичное целое. Сумма самых легких касаний с другими набирает часы. И дают к тому же читать свое. Шкловский — очередные свои документальные новеллы, по-своему интересно. Только что Алла Гербер принесла пишущуюся ею книгу о любви к родителям[333]. Полистала, много из того, что она получила из моих статей и разговоров еще в Коктебеле. Даже эпиграф взяла из «русского философа Николая Федорова». Читала чудные статьи Лорки и его стихи. Считываю свою диссертацию, сокращаю для главы в нынешней книге[334]. Получила еще одно письмо от Шленова, третье по счету, второе — не дошло. Может быть, кто из любопытства прихватил с общего стола, где почта лежит на обозрение.

Хочется, чтобы приехал Гоша, соскучилась. Вот сейчас, кажется, уже решительно поняла: надо приготовить какой-то завершенный кусок для машинистки, чтобы не прерывался конвейер, а то к маю не успею книгу выложить на стол в «Сов. писе». Брошу пока «Матеру» (тем более, так хочется!) на последнюю неделю и займусь всей «советской» частью (20-е годы, Заболоцкий, Платонов, Пришвин), так будет разнообразнее и веселее. А приедет кто из дома, Гоша ли, детки — отдам для машинистки. Как хорошо сменить работу, вливает некоторый энтузиазм!

29 марта (утро) 1984 г.

Читаешь мыслителей, писателей — все-то им кажется, вот-вот, после этой (текущей, при их жизни) катастрофы, этой войны, этой революции, этого… этой… наконец начнется другая жизнь: то или иное одностороннее течение или идеология будут отвергнуты, обнаружили ведь свою несостоятельность, должен произойти правильный синтез в мозгах и начать строиться новая действительность. Вот такие же надежды у Бердяева после 1-ой мировой войны («Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности». М., 1918). Не может быть уже и славянофильства, и западничества, и национализма, все это уже было и *не состоялось* как цельная истина. Значит, будет *новое*. Но не тут-то было… Ничего

принципиально нового не настает. А снова пробуксовывается — и часто столь мелко, или реставраторски, или грубо-опошленнно-воинственно — старое; и национализм и все прочие ветхие измы. И германская идея, и фашизм впереди, и римская советская государственность, и страшные терроры, и угроза новых войн, уничтожения, и таки новые войны… Разрешение — глубже. Оттого, что та или иная идеология обнаружила свою слабость и исчерпала себя для одного-двух поколений или для избранных умов этого поколения, — не значит, что новые, начинающие в определенном смысле «с нуля», не повторят, и с размахом, и с глупостью невиданной старые, вроде бы пройденные ошибки.

В революцию изгнали свою интеллигенцию, вырвали и выбросили духовный цвет культуры на Запад, туда, где высшей ценностью и является как раз идея культуры. Вначале был порыв радикально отвергнуть путь культуры, начать жизнь творить — так, кстати, чувствовали на самом идеальном гребне предназначение так называемой новой культуры, в том числе и пролетарской. Она должна быть универсальной и, по слову Федорова, *спасти жизнь от культуры*. Спасти жизнь, преобразить ее личностно, обессмертить и гармонизировать. Так что факт удаления на Запад русской культуры в ее достигнутом высочайшем развитии, буквально в ее физических носителях — жест глубоко значащий. Не вышло в метрополии Большого Дела Жизни, вернулись к старому пути, вернее, так с него и не сошли, стали наращивать свою жиденькую интеллигенцию, покрывать содранные национальные бока кожицей культуры. Работать надо глубже, чем идейный, духовный уровень в чистом виде. Короткодыханность, дробность поколений преодолеть, материю просветить.

3 апреля 1984 г.

<…> Я все же здесь и прочла кое-что для себя важное: Бердяева, например, современных поэтов, приготовила для машинистки главу о Сартре и Камю, чуть подчистила о Платонове и Пришвине. Не убивайся, а то вот лежу и буквально как оса сосет сердце мой вечный враг: недовольство и раскаяние-сожаление. Le ver du Remord[335]. И люди были интересные, в каждом — свое богатство, и Ковда[336], учащий меня растворяться в пейзаже, и Куприянов[337], рассказывающий о верлибре, и старички с Какой жизнью! А сейчас спать, чтобы пораньше встать, позавтракать и, избежав всех, скорее к себе и сделать-таки «вещь» из главки. Еще мучаюсь с мнением: надо ли передавать сейчас рукопись книги через Димку *туда*[338]. Может, надо несколько лет еще погодить.

13 августа, понедельник, 1984 г. Новоселки. 12 час. 30 мин. утра

<…> Задумала этим летом переделать свою книгу о Федорове, что в «Современнике» 10 лет валялась, довести ее до абсолютного (сколько возможно) градуса, дописать, местами переписать. Да и за это время многое мне открылось и нового… Но пока вышло работы мало, в основном перечитывала Федорова, де-

лала новые выписки с собственными соображениями по ходу, особенно пыталась восстановить личность и основные жизненные линии Н. Ф. из его собственных писаний. Это единственный, самый достоверный и глубокий источник: черпай и провидь! Кое-что уже начерпала. Может быть, удастся за оставшуюся неделю написать вчерне его до-московский период жизни, самый скудно освещенный. Понять, как он формировался, что определило уникальность, когда и как сделал он свой фундаментальный выбор… Многое, вроде, уже уяснилось, пора это уже ввести в текст. Хотя все равно еще нужна библиотека, надо порыться в Гагариных, осенью съездить в Тамбов и по городкам, где он учительствовал. Хорошо бы и Одессу, но вряд ли выйдет. Да и во Фрунзе к внучкам Петерсона. А потом в Воронеж, Ашхабад, Новый Иерусалим… — сколько мне еще необходимых маршрутов предстоит… Хочу пройти по его следам, вчувствоваться, вжиться, поглядеть, куда и он глядел. Ближайший год-полтора сделаю эту книгу, тут мне горячо, влечет. <…>

30 ноября 1984 г. 11 час. 30 мин. утра

<…> По телевизору показывали фильм об Литинституте. Сильно защемило — зачем ушла и так себя оголила? Без подпорок самой *стоять*, из себя держаться, когда общество не подает никаких сигналов на тебя, твои способности и работу, а только душит. И как дальше жить? Надо себе создать какой-то новый статус жизни, который дал бы некое равновесие душевное. 3–2 года назад работала еще программа: вот выйдет твоя книга о Федорове, том его сочинений, возьмут тебя в Союз писателей, даже хотела пойти на работу в академический институт (философии или ИМЛИ), начнется естественное прорастание твоего Дела и дальше и дальше… После разгрома год держалась книгой, которую весной, т. е. ровно полгода назад, отдала в «Сов. пис.». Ну и надеялась на западный вариант (через Диму). Теперь все рухнуло и продолжает рушиться. Книгу послали под верный нож рецензировать Книпович[339], Дима тоже ничего не сделал (не его жанр деятельности).

Собирала новые материалы для переделки книги о Федорове, но тут нет никакого энергетического нажима ни со стороны времени, ни со стороны кого-то интересующегося. Можно и не спешить, все равно слагать на хранение, на *непроявленность*, долгую или вечную летаргию — в стол, в шкаф. Значит надо искать помимо моих вечных и главных занятий Федоровым что-то, что прямо стимулирует деятельность буквально каждого дня, то есть некий аналог федоровской *библиотеки*. У меня не хватит ни уверенности (что так именно надо), ни сил найти какую-либо службу. Лучшее — пробиваться в литературу: идти в «Сов. пис.», говорить, звонить, взяться писать еще одну книгу, ну хотя бы о Распутине[340]. На это будет уходить какое-то количество *служебных* часов, остальное — любовь и призвание. Правда, парализует выкладка: вот ты будешь тут писать, мимикрировать, пусть под самый высокий допустимый потолок, а вдруг пойдут западные

дела — и все тут встанет, все будет зря. Ну так что ж. И умереть можно в любой момент, а мы строим планы и работаем.

Так и мои федоровские писания, и Запад должны быть sub specie[341] смерти: выйдет что-то, получится — и прекрасно, такая, значит, пойдет игра и судьба, точно же рассчитать *будет — не будет* с соответствующими выводами насчет поведения нельзя. Как было хорошо, когда недели две работала «на заказ»: написала для журнала «Soviet life» статью к их вкладышу репродукций из серии Отари Кондаурова «Русский космизм» и с Гошей вместе для «Лит<ературной> газеты» — защищали «Железный театр» Отара Чиладзе[342]. Выйдет — не выйдет — дело другое.

Но главная моя слабость сейчас: полная атрофия социальной «наглости», умения себя подавать, защищать, утверждать, совсем впала в *стыд* себя, почти как Федоров — *стушеваться*! физически внедряться не могу в кого-то, начальственного тем более. <…>

1 января 1985 г. Около 9 час. вечера. Малеевка

<…> Вчера к нам за столик, где мы с Рюриковыми[343] сидели, — подошел Николай Константинович Гей[344] и очень приветливо выпил со мной и Гошей. А потом говорил уже одному Гоше, что, мол, твоя жена в своих писаниях тебе еще фору дает. Значит, начал читать рукопись и пока нравится. А Гоша ему уже привычную байку, как одна моя знакомая, будучи у нас в деревне на моем дне рождения, в тосте полушутливо, полусерьезно, что будет здесь лет через пятьдесят музей Гачева, а через пятьсот — Семеновой. «Вот-вот!», — поддакнул якобы Гей. Такой лучик надежды на понимание проблеснул. Но, правда, полагаю, что он только первую часть о Тютчеве прочел, последнюю мою работу (по времени написания). А вторая — о Сартре и Камю, конечно, похуже, а последняя, где и Андрей Платонов, хоть и самое лучшее, но может не прийтись. (Гей вместе с Книпович были рецензентами моей книги «Преодоление трагедии» в «Советском писателе» — 22.11.2003.) <…>

2 января 1985 г. Около 2-х часов дня

Как тяжел был прошлый год! Папа умер, не дождавшись Нового года. Дотянул до своего семидесятилетия (так ему хотелось этот этап отметить, невероятный для него, скажем, на войне, молодого и потенциального смертника на каждый день), о себе за столом много рассказывал, о детстве, как из дома убежал в 14 лет от мачехи и срывавшегося в рукоприкладство отца, как выбивался в люди, потом, отдыхая от воспоминаний, жаловался на невестку Любу, которую так трепетно в последние годы полюбил, но, как ушла вся в ресторанную жизнь, официантка она и со вкусом это делает, из нее эгоизм, жестокость и расчет — последнее для папы ледяное веяние этого мира. На следующий же день после этого юбилея (праздновали на два дня раньше, не 20 ноября) увезли его в больницу с приступом. Там через две с половиной недели и умер, легко, во сне, после переливания

крови. Оказывается, эта процедура колоссальной нагрузкой — чужую жидкость переработать! — ложится на сердце. И тут оно уже и не выдержало. Правда, начались уже и сильнейшие болевые приступы в селезенке (где у папы была раковая опухоль), так что Господь сократил возможные финальные страдания.

Похоронили, и тогда особенно стали мучить вины перед ним, страдание от произошедшего. Я была в Братцево, когда он умер, так и не увиделись еще раз. Только на 9-ый день я и Гоша заказали отпевание в церкви (решились, это от нас, наше действие, хотя сам папа был по внешней раскладке наученный советский атеист). С Настей съездили на могилку, в Селятино, рядышком с мамой закопали землю освященную, зажгли свечки, почитали молитву за усопших. Стало легче после… А как грустно, когда умирает человек вдали от тех мест, где основная жизнь прошла, где многие любят, ценят и помнят (уехал и он, и мама за детьми на север) и по существу некому достойную человеческую черту подвести, люди все в большинстве были чужие, Любины знакомые. Постоял его гроб перед подъездом… и все, с музыкой что-то напутали, и оркестранты не явились, только взвод автоматчиков ехал с нами и грохнул в небо, когда гроб опускали…

5 января 1985 г. 12 час. ночи, т. е. уже пошло 6-ое

<…> И завершить свои главные книги, их пока три: одна написана («Путь к древу бессмертия»[345]), вторая — довести монографию о Федорове до возможного совершенства и свободы (на это уйдет год-два), третья — готова, та, что в «Совписе», — «Преодоление трагедии» о «вечных вопросах» в литературе, в нее для свободного варианта добавить уже «Чевенгур», ввести изъятого Федорова как одну из точек отсчета и, может быть, дописать о Достоевском (и Толстом)[346]. Эти три книги и есть главный мой вклад в культуру, их надо только опубликовать и думать уже сейчас, как это осуществить. Впереди, *прекрасном, сильном впереди*, еще «Евангелие»… А дальше, даст Бог жизни и силы, дела явятся новые, надеюсь и уверена, вокруг все Одного и вглубь него. <…>

19 января 1985 г. Очевидно, около полудня

<…> Ах, как мне было — да и все еще — тяжко[347]. Надо было вырулить из этой ямы, да так чтобы «чем хуже, тем лучше»; да, яма, но для большего, значит, разбегу! Иначе — распад! Ночью решила, что надо самой сейчас собраться, «еще не вечер», надо жить, работать, сделать себя для литературы нужным человеком. Да, главное будет таиться для будущих времен, но и *сейчас* я должна быть слышна. Надо найти свой род деятельности. То есть меня обуревает такое чувство, такая необходимость выбора и усилия его осуществить, как это обычно бывает раньше, после годов учения, когда человек начинает пробиваться к своей избранной стезе. А я как бы начинаю профессиональную жизнь сначала, в 43 года, когда другие уже выходят на ровную прямую и пожинают плоды. Попросту говоря, надо сделать себе ныне профессию — раньше у меня было преподавание, потом

я хотела совместить любовь, призвание и профессию («общее дело», его продумывание, внедрение). Это и сейчас остается самым важным, но, чтобы держаться, нужна еще и более узкая профессия, которая, конечно, будет освещаться (прямо, скрыто) идеалом этого Главного. У Федорова была библиотека, и ею он всегда и оправдывался, когда ему указывали на химеричность и чуть ли не «опасность» его идей. А он недоумевал, чего же в них вредного, хотя сам был убежден, что они, напротив, единственно спасительные для мира. Вот из его письма к неизвестному адресату: «Впрочем, безвредность еще не оправдание. Я заслуживал бы обвинения не только в том случае, если бы на это безвредное дело употреблял служебное время, но и в том случае, если бы употреблял на него и время внеслужебное, которое употребляется обыкновенно на разные развлечения»[348]. А я, доказывает он далее, и вне службы служу Музею….

Так вот решила я: начинаю делать из себя настоящего литератора: другой службы, в научном институте или учебном мне сейчас не стяжать (уже не возьмут), я формально в Профкоме литераторов — оправдывай свое название! Итак, пробиваюсь активно в критику, пойду по редакциям, войду в заботы сейчас созидаемой литературы, попишу о текущем (да и им, писателям, полезно будет, ведь начнет пробиваться в моих исследованиях другой им счет, высшие ценности). На такого рода активную работу можно положить года два — три — пять. Как если бы то время, что на это понадобится, я бы угрохала в службу, хоть в тот же покинутый мною Литинститут. А в золотое, свободное, драгоценное время — тем интенсивнее, как это происходило и раньше, буду делать свое заветное.

Кстати, о слепом столкновении атомов… Так ли, сомнение берет — в мире таких знаменательных совпадений и указаний живем… А мы на *случай* тупо материалистически при этом обычно отсылаем. Вычернули из статьи пассаж о том, что в самом существенном укорении *со-весть* у Чиладзе уходит в весть, знание о предках, в попытки понять полный объем долга по отношению к ним…

Вчера были папины сороковины, за день — эта статья, а, может, я в оценке каких-то высших сил недостойна таких мыслей (вычеркнутых из статьи. — *С. С.* 26. XI. 2003), точнее — у меня они, возможно, звучат декларацией, по-настоящему не подкрепленной жизнью. И мне это указание и наказание. В связи с папиной смертью сколько мне такого было дано! Перед самой его смертью и в самый день смерти чем я занималась? Читала, вчувствовалась в чужое, литературное умирание из повести Распутина «Последний срок», а сама папу не успела навестить в больнице перед смертью, все казалось, вот-вот его опять выпишут и приеду к нему перед Новым Годом домой. (С другой стороны, вспомнила, как уже после того, как вышла моя книга о Распутине, однажды мне позвонила жена Воропаева[349], теперь уже покойная, и с чувством благодарила меня за эту книгу: как она ей помогла перенести смерть матери, как раз ее читала в этот скорбный период с душевным для себя утешением. — *С. С.* 26.XI.2003.) И вот так сошлись уникально дела, что несколько дней перед вчерашним посещением кладбища и сорока-

дневными поминками занималась я в библиотеке погребальными обрядами для предполагаемого выступления в конце этого месяца в Институте славяноведения на сессии о погребальных обрядах у славян (я буду с темой «Смысл погребения в философии Н.Ф. Федорова»).

19 ноября 1985 г. Москва. 6.30 вечера

<…> Доготовила «Преодоление трагедии» для «Сов. пис'а», ходила к Банкетову[350] (зав. редакцией), а его дело только оттягивать и книгу, сколько можно, не пущать, еще на одну рецензию собирается заслать. Я вначале огорошилась, застрадала, но вот и совсем утихла — в порядке вещей!

Прочла «Роман об одном романе» Томаса Манна, как он «Доктора Фаустуса» вынашивал и писал. В каком себя высоком интеллектуальном тонусе держал в свои 70 лет! А сейчас и сам роман перечитываю.

Изучаю и тетради Порфирия Корнеевича Иванова, зовут в зале на 300 мест выступить ивановцы, хочу сравнить его с Федоровым, а то они только прикладную часть системы берут, да Учителя обожествляют, а мало понимают, для чего он старался, с какими идеалами пришел (так упоительно косноязычно их излагает, любыми словами, любой связью слов, как народные мудрецы у Платонова). <…>

5 января 1987 года

<…> Взяли меня, наконец, в Союз писателей. Через три дня должны вручить билет, и почувствую себя *полноправной.* Книжечка, вроде, выходит в «Сов. России» о Распутине, а в план 1988 года поставили большую книгу в «Сов. писе»[351]. И несколько статей должно появиться (тьфу! тьфу!) в этом году. Вообще поголовно наблюдается вера в новый год, всем он представляется какой-то отдушиной, потом, может, и будет очень плохо, но пока последний шанс, belle époque[352].

А мне надо попробовать книгу о Федорове предложить кому-нибудь… Но все же главное — самой завершить новый ее вариант sub specie aeternitatis[353], без оглядки и расчетов. <…>

30 января 1987 г. 12 час. 30 мин.

Но вот вроде вынырнула из полосы не-абсолютности: занятий в сторону, забот раздробляющих, *рабочей* суеты. Что значит рабочей в данном случае? Но ведь для мира, профессионально, так сказать, определяю я себя как литературоведа, критика (как еще относительно недавно была преподавателем высшей школы), и полагается мне писать, откликаться, печататься. Последней заботой была статья в новом сборнике в «Сов<етском> писателе» о зверях и людях в современной литературе[354]. С Латыниной[355] договорилась о ней: стала читать «от яйца», о тотемизме, «Физиолог», бестиарии… до Пулатова и Кима. Довольно много надумала уж. Но писать по существу не начала. На неделю уезжала в Переделкино — на «хвостик» Гошиной путевки, а там оказалась в тесном кольце общений, разговоров:

бесконечный Марк Поляков[356], самодовольный, упоенный собой, даже на пути в туалет ставил свое кресло (так ему надо всё являть себя свету) и тут же ловил — *туда* на 40 минут, *назад* — то же; Сергей Семанов[357], старый пахан «русского дела», что мне подробно рассказывал о своих политических эпопеях и их фиаско (от этих прогулок на морозе и простудилась, до сих пор еще не избавлюсь окончательно); Арсений Гулыга; А. Латынина и, что меня окончательно доконало, — Евгения Таратута[358], старушка, у нее такая была насыщенная жизнь, с массой интересного народу сталкивалась, ссылка до войны, а после — лагерь… и так ей хочется об этом рассказывать (а уж никто и не слушает, надоела, одна я была новенькая и добренькая). Так что в ужасе, не досидев дня, бежала оттуда домой. А сейчас позвонила Алла Латынина, мол, твоя статья о зверях напарывается на сопротивление заведующего редакцией; не актуально, и много Гачевых, семейственность… так что не гарантирую. С одной стороны — облегчение, не писать, с другой — жаль времени и работы. Но надо с себя это ярмо профессии сбросить, погасить зуд постоянного утверждения себя (а тут, как у актеров и актрис, которым надо непрерывно сниматься, играть, мелькать, действовать…) и засесть за свое глубинное, единственное дело — за Федорова. Так и буду. Жертвую зверьми.

Вчера был первый семинар по изучению наследия Федорова в Народном музее Дзержинского района. Может быть, из этого нечто единственное в своем роде, серьезное и выйдет. <…> Задача — перейти от лекционного вещания (и каждый раз почти с нуля) к углубленной проработке тем, так чтобы создать какой-то круг способных к самостоятельной работе в миру.

Письмо В.Г. Распутину 19 июля 1987 года

Здравствуйте, Валентин Григорьевич!

Рада послать Вам книжку о Вашем творчестве[359]. При ее написании я старалась прежде всего вдумываться в созданные Вами произведения — и тут уж, как могла, не взыщите! Правда, если бы у меня была в свое время какая-нибудь нечаянная возможность встретиться с Вами и послушать Вас, это могло помочь написать по-настоящему первую, условно говоря, биографическую главку, требуемую устоявшимся трафаретом этой серии. Я вышла из положения, разыскав максимум Ваших статей и интервью. Но неудовлетворенность таким отраженно-световым источником (при живом-то современнике!) у меня осталась.

Мне лично Вы уже сделали особый подарок (не тот, который принадлежит всем и о котором я тоже так-сяк толкую, — имею в виду «Пожар»), когда Вы сказали в телевизионной передаче, что читаете Н.Ф. Федорова. Дело в том, что это мой Учитель, и его мысль — основной предмет моих занятий, смысл и цель жизни. Так уж случилось, что ныне федоровская ось проходит через мою комнату, где хранятся и неизданные еще произведения Н. Ф. (переписанные из его архива в Ленинке), и работы его последователей, целая федоровиана… В 1982 году

я подготовила в «Мысли» издание избранных текстов Федорова, но оно шло с трудом, на грани срыва и обрыва, и, увы, жертвенным агнцем под корежащий нож легло прежде всего мое предисловие, особенно его начало и конец. Внутри же его, обернувшись грубой, вынужденно-защитной корой, осталось нечто живое и истинное. Я написала и две книги о мыслителе «всеобщего дела», одну, выстраивающую целостный «храм» его учения (с *приделами* о его связях с Толстым, Достоевским, В. Соловьевым, о влияниях на литературу, вплоть до А. Платонова)[360], другую — развивающую далее его идеи, безоглядную уже, ориентированную только на Истину и Абсолют[361]. Ею я особенно дорожу, но на публикацию пока не надеюсь. Время для издания первой книги уже пришло вполне, нужны, конечно, сильные, влиятельные люди, которые поддержали бы сейчас саму идею такой работы….

Может быть, я не права, и простите тогда, но у меня возникло чувство, что корневой запас Ваших глубинных, творчески-*порождающих* (детских, условно говоря) впечатлений как бы иссякает или Вы скорее нуждаетесь в действительно новых, *кастальских* источниках.

Мне кажется, что таким *ключом* может стать для Вас мысль Федорова, но понятая в ее глубинах как поистине великая и пророческая, идущая в авангарде Эволюции. А часто просто чтение одних текстов Федорова без подключения всей традиции современной федоровской мысли, а также близкой мировой, не говоря уже о сокровенном христианском течении, забиваемом поверхностной ортодоксальной «вульгатой», — оказывается недостаточным. При потребности я могу Вам в этом освоении помочь.

Конечно, мне прежде всего хотелось бы узнать Ваше мнение о присланной книге. Будет желание и время — напишите. Еще раз мой адрес: 117485, Москва В-485, улица Волгина, д. 7, кв. 85. Семеновой Светлане Григорьевне

Телефон: 336-77-13

Будете в Москве, при условии тех же желания и времени, позвоните, пожалуйста, я смогу Вам дать кое-что для чтения, для работы ума и сердца[362].

Валентин Григорьевич, спасибо! Мне было действительно интересно жить какое-то время в Вашем мире. Радости Вам и подъема! Поклон Вашим близким!

Воскресенье, 19 июля 1987 г. Малеевка. Семенова С.

21 июля 1987 г. 6 час. 30 мин. вечера

Как же сложилось пока моя здесь жизнь?[363] Наверное, все же отдыхаю, каждый вечер после ужина подолгу гуляю с Беном Сарновым[364], человеком талантливым, ему хочется понять про Федорова, про воскрешение, про активную эволюцию, дала ему читать две свои статьи о Платонове, что были с собой здесь[365], уже сегодня перед обедом сделали круг и начали говорить. Ему понравилось, высказывает общие, обычные сомнения, касающиеся именно федоровских идей. Приглашает сегодня после ужина «медитации продолжить»…

Я единственное, что сделала, прочла «Ювенильное море», сделала из него выписки; Софронова, для журнала которой («Москва») должна сделать обобщающую статью о Платонове[366], просила включить эту вещь.

Она, конечно, продолжение его «Чевенгура» и «Котлована» — проход по новому уже историческому моменту (1934 год). Те же герои строят социализм, находясь в фазе, когда «техника решает все». Все тот же общий абсурд, густой бред жизни. Какие-то дикие понятия внедрились в голову: *классовый враг*, *оппортунизм*, и прилагаются они к совсем, вроде, неприличествующим явлениям. От федоровской идеи не осталось главного: ни личности, ни борьбы со смертью и преображения натуральной основы жизни и природы самого человека. А только технизированное покорение природы, ее сил на потребу производства, тут — мяса. Главный герой Вермо (Дерьмо) беспрерывно соображает, к какой еще пользе можно приспособить все, чего касается его взор. Казалось бы, хорошие вещи организует: ветряк, извлечение воды из недр земли, готовится на будущее извлекать электричество прямо из солнечной энергии. Но есть в повести явно гротескные разоблачительные пики его преобразовательного пафоса, увы, сплошь утилитарного (в брюхо в конце концов — побольше пищи мясной произвести); а вот он, глядя на любимую женщину, представляет, как и сколько из ее мертвого тела можно произвести полезных веществ. Это уже черный юмор, как у Альфонса Алле[367], когда один из его героев завещал свое тело на световой газ. И у Достоевского подобное есть — как признак какого-то одичания, не вмещающегося в нормального человека.

Да уж какие тут нормальные люди? Юродивые, да; но свихнулись и в какое-то идейно-спокойное зверство: уничтожение классового врага, ничего не стоит стукнуть по черепушке какого-нибудь Священного (есть такой персонаж). Дичь городится! Не то, свихнулись в какую-то страшную карикатуру, хоть и есть в ней, может быть, и какие-то чистые и нужные линии… Насчет «Вопросов ленинизма» сталинских, я не вижу иронии — сам Платонов как бы колеблется: с одной стороны, чад и муть абсурда, с другой — вдруг как бы и принимается такое видение, план жизни, это, правда, на 1934 год: героизм, воодушевление, к нему привели бедствиями и кормят его веществом своего тела. Хорошо и юродивое сомнение последней реплики Умрищева: как бы не познав достаточно, не просчитав до йоты, не наломать таких дров с «регуляцией природы», что вместо *белого* станет свет *черным*.

Лебядкинская «новая» литература выразила тот абсурд мира и абсурдик человека, его жестов и желаний под условием «грозящего нуля», который как бы и не замечала благородная, большая литература, даже, можно сказать, своими «цветиками и вздохами», культурным оперением камуфлировала его. Развитая культура была оправданием этого смертного типа бытия; когда ее (культуры) тонкая пленка была слизана, осталась жизнь, т. е. нелепость. Лебядкин — это шутовской, гаерский поворот того же, что понимает Ставрогин и Иван Карамазов.

8 октября 1987 года. 0 часов 50 минут

<…> 20-го еду в Одессу на неделю с Турбиным на выступление по Платонову. Итак, у меня всего 12 дней, из них надо половину потратить на срочную рецензию на «Феномен человека» для «Нового мира»[368], а другую половину — освежить Платонова и сделать хотя бы первую прикидку статьи о нем для «Москвы». <…>

12 ноября 1987 г. Малеевка

<…> Подошла тут поездка в Одессу, на платоновскую конференцию, уж и билеты купила, вместе с Турбиным собиралась и Леной Шубиной[369], а там и Ленинградская по Достоевскому маячила, но тут явился «царевич мой спаситель, мой могучий избавитель» из Болгарии[370] и помог рассудить правильно, все бросить и бежать в Малеевку, чтобы чуть отойти, да все давящие меня долги спихнуть: статью о Платонове, рецензию на Тейяра, на книжку Великовского[371] (вызвалась, несчастная, сама, чувствуя вину за то, что только что подаренную книгу вроде потеряли, потом нашлась, но обещание уже дала), доделать окончательно рукопись «Преодоления трагедии» для редакторши, в декабре сдавать и т. д. <…>

<…> 19 век — в почете общие понятия: Человек, Человечество, Разум, Прогресс, Наука. Религия человечества — Конт, Спенсер. Еще та же наука не обнаружила своей убийственной, демонической потенции, человека еще не распяливали так, что вся его жалкость и подлость вонючей жижей из него выходила. Тогда же естественно было, напротив, ратовать за конкретный христианский гуманизм против абстрактного, который любит человечество вообще, зовет всем жертвовать на благо Человека, зовет на борьбу, в подполье, кружки, на каторгу за его будущее счастье, а рядом живущему любви не находит, ни жалости, а одно отталкивание и презрение. Тут особенно красноречив и убедителен был Достоевский. И его разоблачительная логика метила и в будущих победоносных революционеров.

А в 20 веке ситуация полярно изменилась. Конкретного человечка еще можно и понять, и пожалеть, и полюбить, а вот сама идея человека, сам человек как тварь пал низко, затоптан в презрении. Кстати, и такие злодейства, что стали возможны, к примеру, в сталинизме, да и сам Сталин — от предельного презрения к человеку вообще. Давить такую мразь, злобно наслаждаться ее животно-паническими тараканьими бегами, устраивая и подстраивая их.

Я убеждена, самый глубокий завиток демонизма и злодейства — неверие в человека, отчаяние в спасении, в возможность восхождения природы человека.

А Сталин — и вектор ко благу, к Богу не то что отринул, а не верил в него вовсе. И коммунистические «религиозные» чаяния — мгновенный пожар мировой революции, гармонизация мира — провалились за год-два. На двух *отчаяниях в спасении*, на двух *провалах* и исходящем оттого нигилизме воссел сей Навуходоносор. И занялся делами спокойно и жестко отчаявшихся: империю строить, интриги плести, врагов и людей самостоятельных, со своим норовом и гордостью, разить….

Сейчас надо мне писать очередное «Оправдание человека», а не России. Цефализация — нить Ариадны, показатель объективного стремления жизни к духу, к Богу, положительная основа Большой Надежды.

Сталин — эстетичен, инфернален, располагается в измерениях культуры и истории, пусть и самой жесткой и жестокой (Калигула, Иван Грозный, Гитлер). Недаром наши культурники, эстеты — и Булгаков, и Пастернак, и Мандельштам все же имели к нему некое чувство эстетического восхищения, как, скажем, перед образом леди Макбет. А Платонов, что чаял преодоления культуры, вознесения природы человека, спасения Жизни как интеграла спасения всех без изъятия живших и живущих людей, все же фигурой Сталина особенно не обольщался. Как в «Усомнившемся Макаре» — Великий человек на горе, а на деле — пустой идолище.

Фашизм более онтологичен, чем коммунизм, и в силу такого замаха, но предельно извращенного, и более страшен. Чаял преображения Земли, заселения ее могучей и прекрасной расой сверхчеловеков, но на путях, по сути, огромной планетарной зверофермы, где осуществляется четкая, «разумно» направленная селекция. Тут разум должен был стать орудием дальнейшей эволюции — вроде вполне по ноосферному постулату. Но цель была — дефектна и неистинна — не отвечала объективному биологическому закону единства всех людей и их равенства, о котором так убедительно говорил Вернадский[372]. Коммунизм в своем утопическом зародыше намного более стар, даже древен по сравнению с фашизмом и одушевлен братскими чувствами — классовая борьба была привнесена значительно позже. Фашизм — явление качественно новое, стал возможен только после Дарвина.

4 декабря 1988 года. Около часу ночи

<…> Что за новости у меня за последние полгода? Осуществилась мечта идиота, стала сотрудником ИМЛИ, правда, со скромной на мне этикеткой: *научный сотрудник*[373], и купили всего за 240 руб. в месяц. Сейчас в секторе русской советской литературы. Уже даже весьма с пиететом обсуждали мой проспект (включилась в делание «ничего»), утвердили… Еще вот-вот выступления на двух отдельских конференциях грядут.

Были с Гошей полтора месяца в Италии, из них — 10 дней в Париже, несколько — в Швейцарии и день в Вене[374]. Первый комплекс перед заграницей угасили — утолили. Как-нибудь на днях кое-что вспомню, пока неохота. Маячит возможная поездка в конце января во Францию на несколько дней (круглый стол женщин-писательниц), насчет того, что меня возьмут — не уверена.

Какие у меня ближайшие дела? Надо до конца января: 1) сделать статью о Платонове для «Писателя и жизни» (это на следующей неделе); 2) выступление по теме «Космизм и русская литература 20 века» для конференции, будут публиковать; 3) и главное (это уже в январе) — книгу о Федорове доделать для «Совет-

ского писателя» и брошюру «Этика “общего дела”» для издательства «Знание»[375]. В декабре же еще одно выступление на круглом столе в Институте истории естествознания и техники по теме того же русского космизма и две конференции в ИМЛИ.

Дел, как вот осознала, много, к тому же каждый день еще что-то подкидывает, звонят, приглашают, от всего отказывалась и дальше так надо, дай Бог уже наваленное на мою телегу вывезти. Так что, душа моя, надо мобилизоваться на аврал, единственную возможную форму русской рабочей эффективности.

Да, еще забыла, что предстоит мне доклад на семинаре по русской философии в Институте философии, где-то тоже в конце месяца (это уже ответственно) с большим присутствием «умных и разумных» совопросников. Им и тезисы предварительно подавай. Так что сдюжить достойно — вот задача, а все остальное, лишнее решительно оставлять и себя не загнать.

Уходящий год был для меня — по количеству публикаций — пока самый-самый. Две большие статьи о Платонове в «Москве» и «Новом мире», о Вернадском и активно-эволюционных мыслителях в «Знамени», «Человеке и природе» и в «Прометее», предисловие к отдельному изданию «Чевенгура»; скоро должен появиться номер «Вопросов литературы» со статьей о Достоевском[376], две рецензии — одна — на Великовского в «Лит. обозе» и вторая должна быть в № 12 «Нового мира» о «Феномене человека» Тейяра[377], правда, последнюю пришлось сильно сократить. Может и книга о «вечных вопросах» в «Сов. писе» поспеет.

(Пошли три-четыре года самой интенсивной и общественно заметной востребованности моих работ, что до того под спудом зрели и создавались. Помню, как носился с ними (с большими статьями о пролетарской поэзии, о Платонове, Пришвине, Заболоцком[378]) еще на заре перестройки, до моего поступления в ИМЛИ, Дмитрий Урнов[379], организовал их обсуждение на секторе теории — представлял как новое талантливое слово, как настоящий прорыв. Он же, став гл. ред. «Вопросов литературы», призвал меня к сотрудничеству в журнале. Статьи печатались во всех практически знаменитых журналах, тогда с миллионными тиражами, две крупных книги вышли одна за другой в «Сов. писе», центрально-лакомом издательском органе, звали слушать — на разрыв, бум вокруг Федорова, русского космизма, русской религиозной философии, конференции в США, поездки во Францию…

Если уж как то оценивать жизненные периоды, это был *пиковый*. Владимир Потапов[380], из саратовской «Волги», потом работал в «Новом мире», изумлялся невесть откуда взявшейся в таком количестве и напоре лавине моих работ, выплеснувшейся в печать, — притом тогда еще широко читавшихся, обсуждавшихся. А сколько пришло мне восторженных отзывов на работу об активно-эволюционной мысли, завалили и своими рукописными работами русские «искатели», самодумные философы из провинции. Поэтому за весь 1988 год и осталось всего несколько дневниковых записей — нес поток работы, выступлений, контактов, издательской суеты… — *С. С.* 19 января 2004.)

<…> А за завтра-послезавтра приготовить уже для машинистки статью о Платонове — самое срочное. А потом начну думать и складывать свои соображения по «космизму и культуре». <…>

30 декабря 1988 года. 8 час вечера. Переделкино

<…> А что сюжетно-запоминательного, дай вспомнить, было в этом году? Итак, где я была прошлую новогоднюю ночь? И вспомнить ее в чреде уже устоявшейся серости не могу. Да, очевидно, дома, чуть ли не Луис у нас был и бабушка с Настей[381], ели и телевизионную веселящую нуду долго выносили. Потом? Точно ничего не помню. Где-то попозже зимой, к весне, да уж, наверное, и совсем ранней весной была недолго в Голицино и недолго (всё вместе, наверное, дней 20–22) в Переделкино. Ту же, что сейчас, рукопись книги о Федорове готовила для «Московского рабочего», у них были свои требования, но, слава Богу, все там застряло безнадежно. А сейчас еще раз ее перекомбинирую уже для «Советского писателя», возвращаясь к самой первой, наиболее натуральной и разумной и разумной ее схеме-структуре, но запихиваю в нее всякого еще нового[382]. Да, вот вспомнила, перед самым прошлым Новым годом страшнейший аврал: сдавалась в печать в «Советском писателе» книга «Преодоление трагедии» и статья «Семья идей» в журнал «Знамя», где меня страшно обдирала редакторша, и шла с ней изнурительная война с потерями с моей стороны. Год в смысле публикаций был успешным: в 3-ем номере таки вышла «Семья идей» об активно-эволюционных мыслителях, тут же вскоре ее расширенный вариант в «Человеке и природе», а потом уже самый полный в «Прометее 15», посвященном Вернадскому[383]. Тут же в № 3 «Москвы» появилась статья «“Идея жизни” у Андрея Платонова», а позже в № 5 «Нового мира» (так себе случайно пробилась!) статья о «Чевенгуре». Вышло и предисловие к отдельному экспрессному изданию этого же романа в «Худ<ожественной> лит<ерату>ре». А вот только что появилась в № 11 «Вопросов литературы» большая работа о Достоевском, а в № 12 «Нового мира» — рецензия на «Феномен человека» Тейяра де Шардена, была еще рецензия на книгу Великовского в «Лит. обозе»[384]. И несколько хвалебных рецензий на мою книгу о Распутине. Надо хоть собрать! Книга «Преодоление трагедии» до сих пор не выходит, типография не торопится работать с малотиражной продукцией (10.000 экз.). Будет уже в следующем году.

Вроде и в план на 1990 год поставили книгу о Федорове и даже (былой предел служебных мечтаний!) взяли на работу в ИМЛИ, правда, просто научным сотрудником, всего на 240 рублей, сейчас в советском отделе и вроде не страдаю, даже от окружения вовсе не лучшего, «монстризму» псевдопочвенного и просто затхлого много, но я не заедаюсь, смотрю как на «эстетический феномен» и могу испытывать симпатию чуть ли не к Федю[385]. Но хоть и конференции зачастили к концу года, выступаю и на них, и на секторе, но в целом держусь по касательной, мало кого знаю в Институте и стараюсь скорее бегом — вон, от коллег и начальства.

Весной были 1-е Федоровские Чтения в Боровске[386], помню, что ездила на них как раз из Переделкина. (Помню, что происходили они в большом зале центрального клуба, народа было битком, принимали нас и в обкоме партии, куда с опозданием лихо на роскошном большом авто подъехал-явился космонавт Севастьянов, произвел фурор и поддержал тем самым идею и вес мероприятия в глазах местного высокого начальства. Помню, что ночевала в доме Дмитрия Жукова[387], точнее на его благоустроенной даче, хозяев не было, помню прогулки, разговоры, общение и общий энтузиазм… — *С. С.* 20 янв. 2004.) Шел и сейчас идет Федоровский семинар на Проспекте мира 14, в теплоте, уюте мемориального особняка (районное отделение общества Охраны памятников нас приютило), с чаем и свободным общением за ним — при некотором постоянном ядре, все же еще слабоватом, хоть и милом, и обилии разношерстной публики. Правда, для меня главный смысл, что стала ходить Лара; последний раз подружку привела, и расцветает там духовно Настя. Позавчера как раз делала очень точный, четкий и эмоциональный доклад. Все — в восторге. И дальше — на нее опора и передача ей всего наследия и дел. <…>

<…> Летом что было? Сидела с Ларой в городе, она поступала[387a], я готовила публикацию текстов Сухово-Кобылина для Гулыги[388], еще слепила статью о Федорове для какого-то сборника в «Сов<етской> России» (и даже не знаю до сих пор, пошла ли эта статья) и написала 15 страниц о Платонове для «Вопросов философии» (но и там что-то заглохло)[389].

Потом были не больше двух недель в деревне, а в сентябре — половине октября с Гошей сделали первый зарубежный вояж в Италию (к Диме с Аллой[390]): пару дней — в Каннах, 10 дней — в Париже, неделю в Швейцарии, причем несколько дней в Берне, где общалась с Сержем Леба и его семьей, а до того гостили на пограничной между Францией и Швейцарией даче Жоржа Нива[391]; потом опять Италия — Турин, Флоренция, Рим, Венеция, обратно на машине через Вену (где были сутки), София (неделя) и домой!

И вот уж конец года: плановые работы изобразила: проспект по послереволюционной поэзии, конфереции, и просто много выступлений, все хотят слушать про «русский космизм», отказываюсь, сколько могу, и все равно остается: веду целый лекторий в Политехническом музее[392], выступала и в Институте истории естествознания и техники на каком-то, вроде, советско-американском симпозиуме, в ЦДЛ на конференции по проблемам ноосферы и культуры (проводил Вячеслав Иванов[393]), но только я свое отговорила, тут же бежала на лекцию в Политехнический музей. А сейчас вот 5 января должно состояться нечто довольно ответственное: открылся большой семинар по русской философии в Институте философии, его проводит и фонд культуры, и Патриархия и еще кто-то. В большой зале, при большом народе, с большим количеством «умных и разумных» «совопросников века сего» (первое заседание открывал и доклад читал Гулыга). А вот второе буду я: «Федоров и русский космизм».

Дай-ка еще осознаю, что у меня за дела, самые неотложные, на ближайший год. Итак, сейчас надо доделать книгу о Федорове для «Советского писателя» и тут же соорудить брошюру для «Знания» об этике Федорова, обещала еще в декабре, но еще пока не бралась. Постараюсь в январе — к концу. Вообще надо будет аврально за месяц сдать и книгу, и брошюру. Вроде какая-то поездка во Францию в Париж наклевывается в составе женской делегации от СП[394]. Может и не выйдет, припозднилась с бумагами, но если да, то необходимо хоть с первой срочности работами управиться. (А сейчас здесь в промежутках, когда одеваюсь или пью чай или убираюсь, то для освежения языка слушаю Radio Moscow[395], убогонькое, но всегда под рукой, Францию не поймаешь.)

А потом сделать статью для Шубиной о Платонове[396]. А потом… очевидно, надо будет срочно готовить том Сухово-Кобылина для Гулыги[396a]. А еще хотела из 3 части «Преодоления трагедии» выкроить докторскую диссертацию. Боже, сколько суеты! И кажется, созрела, лучше всего летом в деревне начать новое, свежее, краткое, «евангелическое» слово о Главном.

Вообще за этот год мало-мало написано совсем нового, было много публикаций, но из старого, что-то в нем изменялось, дописывалось, и все. Даже в прошлом году было значительно больше: хотя бы статья о Вернадском в контексте активно-эволюционной мысли, или «Звери, люди…»[397], или большая часть работы о Достоевском.

Что же себе пожелать? Не унывать, сбрасывать тяжесть и стараться держать себя в бодрости и радости! И возобновлять силы, отказываться от лишнего! К Гоше не приставать с абсолютностями: требований понимания нежности, переходящих в липучесть, от чего он скрежещет и отвращается! С деточками, любимейшими, — помогать им и тоже не лезть лишнего, в тягость им! В общем, не докучать собой близким, больше уходить в себя, в дело, в сдержанность.

3 марта 1989 г. 17 час.

Возвращаюсь в Переделкино из издательства «Знание» (редакции философии и этики), куда отвезла текст брошюры «Этика “общего дела” Н.Ф. Федорова». В удручении страшном. Поглядела я на баб-редактрис, и особенно на заведующую, которая рядом громила вслух, пафосно чей-то текст, требуя «классовости», конкретно-исторического подхода. Пахнуло такой затхлостью — как я не сообразила сразу, что такое «Знание», когда сосваталась исключительно по телефону им это сделать. Да, совсем, конечно, моего текста не возьмут или начнут требовать массу всяких оговорок, и стиль начнут выглаживать. Боже, на что мне все это надо… Поосмотрительнее на будущее — браться только там, где уверен в людях и в месте. А то и так совсем сил нет, голова болит уже 4-ую неделю практически non-stop[398], особенно в затылке, удручена тем, что общество сейчас от меня требует фактически лишь препарации — в разных поворотах — уже давно сделанного.

И все я роюсь в отработанном и не могу оторваться к чистому листу и новым углублениям.

Еду вот домой, в Дом творчества, а не оказалось с собой ни книги, газеты, только один мятый листок, вот и занимаю себя.

Съездила-таки в Париж на неделю. Сразу после гриппа и в плохом состоянии, там и «вступила» головная боль. А напряжение и спешка, фебрильность были там страшнейшие. Первая Международная встреча женщин-писательниц: мы (Зоя Богуславская, Каплинская, Т. Толстая, В. Токарева, В. Белшевица, М. Джохадзе и я), француженки и американки. Утром, после обеда — круглые столы, потом — встречи с публикой, дебаты, приемы, дискуссии… фотографы, телевидение, радио, интервью газетам. А я со своим французским и общей свободой мысли и самовыражения была нарасхват. Как определила организаторша встречи Каролина Пратл[399] — была она только что в Москве — блистала первой звездой. Оставила там и рукопись «Пути к Древу бессмертия»[400], но как-то бестолково, не было времени на Париж посмотреть, ни умно распорядиться. Вроде бы сделала ксерокс Antonelle Fongue, владелица «Edition des femmes» и будут оценивать через своих «lectrices»[401]. К апрелю нечто скажет. Хотя это совсем не для этого издательства. Ладно, приведет еще Господь, тогда соображу лучше. Но чтобы получилось, надо служить, писать, отвечать на письма. А я тут — безнадежна. Вот пригласили меня уже два месяца назад в США на конференцию и на стажировку в институт Кеннона, а я до сих пор никуда не схожу, чтобы дать делу ход. <…>

11 июня 1989 г. 9 час вечера

Сижу во дворе, очень душно, тяжело и вяло. Градусов 30 было и есть что-то вроде. Прошли две-три захватывающие недели, жила в шкуре тиффози, не отрывалась — по возможности — от телевизора. 1-ый Съезд народных депутатов, *театрон политикон*, Большой футбол. Да, много бушевало и в зрителях страстей, замираний, желаний: давай, давай, вот-вот наши выиграют, и опять давило то самое «агрессивно-послушное большинство». Стенка у них непробиваемая! Кое-где все же поддались. Но главное — много и смачно на нее поплевали!

Вышла моя книга «Преодоление трагедии». Сдали в производство следующую: «Творчество жизни. Николай Федоров». Собирается давать ее журнальный вариант «Волга». Еще кое-что там-сям. Написала статью «Образ Христа в современной литературе». Вроде берет «Новый мир», но только в первый номер следующего года[402].

Прошли Федоровские чтения и по образовательному каналу — фильм о Федорове[403]. В следующую пятницу, 16 июня, пойдет по первой программе. Но, увы, создание этого трехсерийного фильма захватили чужие руки, мне не нравится, содрали мои материалы и свою «клюквочку» телевизионно лихо (но и занудно) соорудили.

Собой я недовольна. Тяжела все же… Старею, нет подъема, больше препарирую готовое, чем создаю новое. Хотя проблески творческие есть. Сейчас ви-

сят надо мной две работы: статью об эросе и поле у Платонова (для сборника, который готовит Лена Шубина), и для «Литературной газеты» о Федорове[404]. А в начале июля должна на неделю лететь в Неаполь на философскую конференцию, но боюсь, как я выдержу жару.

Хочу посидеть в деревне и дать новый конец книге «Путь к древу бессмертия», с тем чтобы попытаться ее издать. Возможно, надо о Новом Новом Завете — будет еще духовное разделение, и активное христианство предстанет как высшая ступень осознания Благой Вести; тут необходима смелость заявить о такой возможности, ибо традиционные христиане, что свою душу *спасают* и *ждут*, никак не принимают осознания себя активным орудием воли Божией в Деле онтологического своего устроения, ограничивают религию храмовым действом, молитвой, разве что благотворением. И психически — смиренные, дрожащие рабы Божьи, не сыны…

И психическое самоощущение, душевный настрой, духовный тонус, волевое избрание — это, может быть, важнейший показатель (см. соответствующую разницу между человеком Ветхого и Нового Завета).

12 июня 1989 г. 1 час ночи, значит — уже 13 июня

Гром грянул. Так вроде все удачно начало складываться: книгу издали, «Волга» готовит журнальный вариант, сегодня позвонили из «Прогресса» — показать им тексты для возможного распространения на Западе… И вдруг известие, что Фролов Иван Тимофеевич, тот, что член ЦК и помощник Горбачева, академик, главный идеолог страны, готовит в «Советской культуре» в этот четверг, т. е. на послезавтра, публикацию статьи в связи с выходом фильма о Федорове[405], но не столько против фильма (ибо за ним стоит такой столп, как Шергова[406], которая, кстати, воспользовалась необычными, фантастически ошарашивающими идеями, чтобы еще раз интеллектуально и физически покрасоваться на экране), а против Федорова, его «кликуш», панегиристов, «не-философов», «пророчиц» (т. е. меня) и вообще о том, что изучение его неперспективно, ненужно нам сейчас. Да, новая арбузная корка (этот дурацкий фильм), на которой может поскользнуться моя новая попытка (а сколько она мне стоила!) издать книгу о Федорове: «Волга», наверняка, испугается и отступит, да и «Сов<етский> пис<атель>» может дрогнуть. Даже брошюра в «Знании» и та встанет под угрозу. И начались звонки мне и от меня, объяснения, разъяснения, планы… Сильно разболелась голова. И так я не могу сейчас собраться, не работаю, а тут совсем расстрой полный…

Да, Света, надо радикально себя изымать из социума, и главное — не полагать надежд, отключить тревогу и снять тем страдание. Примириться в глубине души с возможным фиаско всех планов. Уйти в себя, меньше телефона, доделать заказы и шире себя занять, чтобы одно так единственно жгуче не ныло: читать, гулять, выезжать из дому, лечиться, готовить много разного и другого, где-то да прорастет, даже позволить себе нечто из области простой личной жизни. Выйти

из заклинивания чтоб… И пусть, пусть не выходит. Пройдет время — сделаешь новую попытку, может быть, через «Книгу», «Прогресс» и т. д. На Запад надо передать «Путь к древу бессмертия» в YMCA-Press.

И менять реактивность на все, спокойно, в себя и в себе, *не* раздергивайся, *не* мучься! Чуть помолодеть, похудеть, двигаться, а не приковываться старушечьи к постели!

Дела на завтра:

1. С утра разобраться с «Образом Христа в литературе», подготовить на ксерокс.

2. Потом съездить в Литфонд, сделать ксерокс, зайти к зубному врачу, а затем — насчет Переделкино. И нырнуть туда на 10 дней хотя бы, если вдруг есть место. Если удастся, позвонить из ин<ститу>та в Париж по поводу командировки. В среду — присутствие, потом встреча с человеком насчет Новосибирского изд<ательст>ва, где должен выходить сборник текстов по космизму[407].

Затем Андрей Щербаков[408], а вечером — собрание по итогам Федоровских Чтений.

Главное — отключить социальные провода, ток снять, а себя — в другое и новое, и быть готовым к неудаче всегда и как должное воспринимать ее в условиях нашего общественного и вообще земного бытия.

Ах, бедные мы стоики, с нашими заклинаниями!

17 июня 1989 г. 23 час. 30 мин.

Сегодня у меня был прелестный, душевный, очень расположенный ко мне — почти до высочайшей степени — человек, Володя Шикин, ученик Николая Пантелеймоновича Розина[409], и, оказывается, у него осел один экземпляр «Пути к древу жизни», еще под псевдонимом Елисей Ларин[410], его даже размножили, и есть глубокие почитатели этой рукописи, которые не знают автора этой рукописи и где он живет, у нас или за рубежом, и кто он — мужчина или женщина. А сейчас пришел брать у меня интервью для журнала «Природа и человек»[411]. Вопросы задавал самые глубокие, метафизические, христианские и остро-политические. Я отвечала тоже совсем свободно. Длилось долго, чуть не две кассеты записал. Сосредоточенно и сердечно было.

<…> Позавчера виделась с Андреем Щербаковым, собственно два дня подряд и позапозавчера тоже. Было довольно проникновенно, много говорили, обедали вместе, ходили в кино, смотрели документальный фильм о Платонове. <…>

19 июня 1989 г. 16 час. Понедельник

Завтра должна быть опубликована статья Фролова против Федорова в «Сов<етской> культуре». Пред-ударный день, еще не грянуло, и был звонок из издательства «Прогресс»: хотят посмотреть рукопись книги, заинтересовались немцы и датчане, и все пока еще идет… Интересно, какой будет реакция. <…>

Фролов будет разоблачать и утверждать, что не нужен нам такой юродивый, обочинный, реакционный персонаж, как Федоров. Набросаю некую схему ответа на эти злобные поверхностности и ложь.

Как не нужен, как неуместен и стране? Его учение — альтернатива дурно апокалиптическому сознанию, идущему сейчас победоносным массовым фронтом. Вот рассказывали мне о статье Ильенкова (из его архива), недавно опубликованной в журнале «Наука и религия»[412]. Там он утверждает совсем по-гартмановски, что природа создала человека как орган своего собственного самоуничтожения, как орудие самоубийства Жизни вообще и сознательной тоже. Да, недаром Эвальд и сам наложил на себя руки и всю жизнь окуривался вагнеровскими операми. Вот в чистом виде нигилистически-апокалиптическое сознание. А Федоров открывает светлейший, сияющий горизонт превозможения несовершенной, смертной природы, размыкает ее в бесконечность творческого развития, наделяя задачей спасения всего мира от «падения», от законов энтропии, ввода его в новый тип бытия. И в религиозном плане его идея условности апокалиптических пророчеств — светлая альтернатива фатальности страшного конца.

Сейчас мы особенно чувствуем смертоносные эффекты разрушительных, хаотических стихий, к которым добавились еще и рукотворные результаты извращенного хода природных явлений. Да и возможность космической катастрофы нет-нет да и опаляет Землю, как недавняя история с болидом, который чуть-чуть не подвел черты под земным путем Жизни. Кстати, защита от таких катастрофических вторжений, оказывается, возможна при помощи ядерного щита — несколько ядерных бомб способны (если вовремя!) уничтожить такой болид. Так в новом повороте повторяется пророческая идея Федорова о превращении орудий истребления в орудия спасения, армий — в естествоиспытательную силу. И это столь необходимая общепланетарная задача. (А у нас сейчас популярна конверсия военной промышленности.)

А как держаться нам в бытии, порхая бабочкой-эфемерой, если забыть о родовой толще, о родовой задаче, тесно сплетенной биологической и культурной цепи рода людского?! Как может быть «неактуален» философ памяти и возрождения?

Вечер, часов, наверное, уже около 9-ти, вышла немного на улицу, села во дворе. Ларке, которая совсем неосторожна, готова одна идти в лес, поздно ночью возвращаться одна, ехать в такое же время в дальней пустой электричке и т. д., я пыталась внушить мысль, к ней относящуюся, так же как ко всем нам, но, конечно, напоролась на сопротивление: ребенок учуял покушение на свою свободу и самостоятельность. Так в чем же мысль?

У нас взмывающей стрелой растет преступность, бурно вступаем в демократию, свободу, смутное, неоднородное время. Расшатали, слава Богу, старые общественные мифы, но они как-то дисциплинировали и держали. Одним словом,

двинулись по западному пути, *джунгли* и их закон обрели, преступность стала расширяться и расти, как и у них. Но наша психология, наша *реактивность* остались пока как в былые, замороженные, «отсталые» времена. Нет разумного страха, нет осторожности, необходимой для безопасности, нет прочих тщательно уже отработанных на Западе способов и уловок охранить себя от разного рода покушений. И будем глупо попадаться, особенно сейчас *на переходе*. Надо менять реактивность, точнее, сделать так, чтобы она поскорее догнала стремительно рванувшуюся реальность. А то какие истории рассказывает ежедневная уголовная хроника «Московского комсомольца». Встретил человек человека на улице, разговорились, один и пригласил другого — непосредственно, от души, по-старому, патриархальному — к себе домой, выпить и продолжить беседу в теплом уюте, а тот его уже в гостях — по черепушке, и обчистил…

Сегодня как-то вдруг и твердо избавилась от тревоги за свои публикации (в связи с грядущим разносом). Перестала страдать. И это оказалось возможным только единственно эффективным способом, давно разработанным на Востоке. Перестань *желать*, будь готова терять — и станет легко. Ну что ж, жалко, конечно, времени, своих усилий. Можно продолжать дрожать за каждый шаг прохождения в печать до выхода в свет книг и статей, а можно *согласиться* на то, что пойдут пока старания прахом, и всё — и видеть возможность продолжения жизни, работы и лучшей судьбы на будущее, даже если этого будущего может оказаться и не так уж много. Делай все, что от тебя зависит, и не страдай от обступающих «каменных стен», отойди пока, найди в них брешь… Что убиваться от того же Фролова: мол, зачем я в этот фильм влипла, вылезла и т. д., могло быть спокойно иначе и в результате — эффективнее — жалкие и недостойные переживания и расчеты!

Хорошо и устойчиво в бытии, лишь когда сама творишь, независимо от возможностей и условий, приятия-неприятия, от недругов и «стен». Буду делать новое. В ближайшие дни напишу две странички, которые просит Костров[413] в начало статьи о Христе в литературе: почему на исходе XX столетия так магнетически вновь притягивает к Себе? Хочет сразу общей и глобальной постановки. И, может быть, все же, наконец, сделать 18 страниц для «Литературной газеты»?[414] Хотя вряд ли до отъезда в Италию 2 июля — при многих-то хлопотах и заботах — успею. А летом — «Эрос и пол у Платонова» и новое завершение «Оправдания России».

20 июня 1989 г. 4 часа дня

Сегодня появилась статья Фролова, броская, на целую почти полосу с устрашающим, привлекающим названием «Призраки и иллюзии “вечной жизни” и “всеобщего воскрешения”». Этакая апофеоза лысенковщины в философии.

Федоров — мистика, бред и бессмыслица, а его, Фролова, подход к вопросам жизни и смерти (о, какой убогий, плоско-обыденный!) — единственно материалистичен, здрав и правомочен. Кто его трогает, сеял бы свою «ветвистую» делянку — нет, не может вытерпеть, что другой есть подход. Но тут не для его мозгов — ни идеи, ни пафоса, ни устремленности ноосферной мысли вообще не чует. Тупица, ему бы, действительно, кусок своей земли усердно копать, а потом успешно богатеть. (Жук и кулак еще тот по складу и хватке!), а он в академики, и по линии наименьшего сопротивления: даже диамат или логику выучить надо, чтобы и мозги при этом шевелились, а тут у тебя «смысл жизни», смерть — предметы изучения, можно с ученым видом трекать банальности, превратив завалинку — где единственно место тебе *натуральное* — в главную идеологическую кафедру страны.

Тревожно за свои работы, сейчас заглянула в дневник двенадцатилетней давности, в предыдущий «год змеи», чтобы проверить блестящей прогноз, обещанный «змеям» в этот год (мой случай!): «Это ее год! Она может делать все и не подвергаться никакой опасности. Переживает прекрасные любовные приключения» (вычитала в кооперативной книжке «Гороскопы»). И что ж? Приключения, да, были, но, увы, не прекрасные. Правда, вышла тогда первая моя статья о Федорове в «Прометее» и «Контекст» с публикацией статьи о Фаусте Николая Федоровича.

А в этом году? «Преодоление трагедии» появилось, но ведь это книга прошлого года, завалялась в типографии. А публикация в «Волге», главное для меня могущее свершиться событие, — ох, как маловероятно стало. Брошюра в «Знании» тоже. Ладно. Подождем, как все развернется. (Все эти мои страхи, вполне оправданные в логике уже тогда уходившей эпохи, оказались напрасны. Действительно, наступали новые времена, и публикации установочные, идеологические, уже вступившие в фазу агонии, перестали играть свое моментально-купирующее действие. А вскоре и вовсе пойдет полная девальвация любой идеи, мнения и даже документированного разоблачения злоупотреблений и преступлений — всего, что пестрым, безразличным сором закружится в массе газет, газетенок, журналов и журнальчиков. — *С. С.* 29/1.2004).

Пока, поскольку осталось всего только 10 дней до поездки в Италию, в Неаполь, надо очень четко разбросать дела по дням — хотя бы вчерне. Сегодня: уже 5 часов почти дня, можно посидеть над бумагами, написать письмо во Францию от Института, может быть, вечером съездить к Жданову[415], а может быть, завтра. Завтра — с 10 утра Ин<ститу>т, потом «Прогресс», «Новый мир», а вечером — к Жданову. Четверг — к зубному врачу и перевезти книги со склада «Лавки писателей». 23, 24, 25, 26 (пятница, суббота, воскресенье, понедельник) — вступление к статье о Христе в литературе и Ответ Фролову. 27 (вторник) — собираться, покупать вещи и подарки.

Главное сейчас — закончить статью о Христе, дать основные идеи для В. Жданова (сценариста фильма о Федорове) к ответу на статью Фролова. Внимательно собрать бумаги для Неаполя. Ответ во Францию.

9 июля 1989 г. Москва

<…> Позавчера вернулась из Италии. Была конференция по Серебряному веку: философия и литература. Делала доклад «История и культура в мысли Федорова», точнее, оставила им такой текст, а сама, так и объявив почтенному ученому собранию, что по бумажке, по сданному тексту, как полагается, говорить не собираюсь, а проповедую свободно и по-русски. Дело происходило в частном неаполитанском университете Suor Orsola, некогда монастыре, в помещении бывшей его церкви. Меня, единственную, приняли бурно, вопросы, выступления, страсти; сами участники — в основном из либеральной русистской «мафии», какой-нибудь Жорж Нива, тот на дух не принимает Федорова. Тут же и коммунистка (еще!) Пиама Гайденко, что стала такой уж — вроде бы в новой позиции и убеждениях — ортодоксальной защитницей христианства (творчество, активный, творческий подход для нее от лукавого, ату и тьфу его!), и прочие такие же… Но я боролась и отводила на них самих их отравленные стрелы. Было ошарашивание публики, успех, en un mot[416]. В перерыве в зеленом экзотическом утреннем дворике осадили с интересом разные взволнованные люди, включая Синявского и Эпштейна. <…>

12 июля 1989 г. 19 час. 15 мин. Скверик у ЦДЛ

У меня 10 минут, в половине восьмого встречаюсь с редактрисой из «Прогресса», приволокла ей рукопись книги о Федорове — на случай, если кто заинтересуется из западных издателей. Пригласила ее в кино, идет международный фестиваль. А до того обедала в ресторане ЦДЛ с Натальей Дмитриевной, ответственным секретарем журнала «Волга», где должна с сентября в 4-х номерах пойти публикация «Московского Сократа». Сегодня совсем не спала. Озверели комары, сотни штук городских мутантов: не жужжат почти, гады, и кусают небольно, а потом следы и зуд. Все лицо — в красных пятнах. Безумные потоки солнечного огня. Чтобы выжить, надо, очевидно, раскрыться им навстречу, полюбить их, пестуя в себе саламандру, огненную плоть.

Завтра поеду в деревню на три дня, надо будет, наконец, написать введение в статью о Христе для «Нового мира». А потом наладить ритм: два-три дня в городе: присутствие и прочее, остальные дни — в деревне, сделать текст о Федорове для «Лит<ературной> газеты» (хотя опасаюсь, тяну, не уверена, не хочу привлекать внимание Фролова, пока не вышла книга в «Волге» и в «Сов<етском> писателе»). Надо, пожалуй, позвонить Селивановой[417] и договориться, чтобы Федоров венчал всю серию.

Долг на лето — статья о Платонове и конец «Оправдания России».

15 июля 1989 г. Часов 9.30 вечера. Деревня

<…> Императивы таковы: приготовить для черемушкинского альманаха текст и для «Нового мира» окончательно статью, завезти во вторник-среду, а в четверг всем двинуться опять в деревню. Уже четче взять бумаги для статьи о Платонове

и о Федорове для «Лит<ературной> газеты». С Гошей — чудненько, *иди́ль*, спокойненько вдвоем, без давления детей, и любовно притягательно.

Да, не забыть еще: сфотографироваться для визы опять в Италию, вроде бы на сентябрь, на Капри, Палиевский давно сватал, реставрирует Каприйскую школу, чуть ли не католики, хотят с нами о смысле жизни говорить. Ну и команду подбирает Петр Васильевич: Распутин, Крупин (но оба не могут, как сообщил мне консультант в Союзе писателей по Италии Михаил Семерников по телефону), Феликс Кузнецов, сам Палиевский, Кожинов, Сева Сахаров, Паша Горелов[418] — вся русская звездная команда и я одна среди них. Но как бы поездка в Израиль в августе с Гошей не перекрыла эту, не может Союз каждый месяц меня командировать и дорогу оплачивать. Скандал! Ладно, как выйдет, главное — *не желай* и считай, если не выйдет, тем лучше: поработаю, займусь делами, надо делать сборник Горского и Сетницкого, книгу о русском космизме, пытаться издать, наконец, «Путь к древу бессмертия», может, как-нибудь нетривиально, кооперативно или еще где-то в сторонке, укромней.

Сегодня чуть думала над тем, насколько сейчас готов мир к приятию Христа, признанию Его для себя действительным Центрообразом, как говорил Горский. Мне кажется, что как раз для этого время трудное, ибо апокалиптическое в худшем смысле этого слова: потеря веры в человека (дрянь и мерзость и ничтожество!), в его способность коллективно соорудить что-нибудь хорошее и сверхъхорошее (только идеал капитализма и демократии, скромного устройства, по мерке несовершенного, природного человека, устоял пока!), земля и все ее живоносные источники истощены и осквернены, больна она, и отравляется человек зловещими плодами рук своих. Рознь, вражда, безумие вырываются на разгул отовсюду. Последние времена, богооставленность! Что тут делать Христу-Богочеловеку с Его проповедью любви, Царствия Небесного, усилия в его стяжании и с великим Его обещанием: «Дела, которые Я творю, и он (верующий в меня. — *С. С.*) сотворит, и больше сих сотворит». Разве как грозный Судия, что придет на последний Страшный Суд, — такой лик Христа отдается в сердцах…

28 сентября 1989. Переделкино

<…> Усталая я после деятидневных хлопот по Платоновским Чтениям[419]. Но все же надо сделать какой-то вариант «Оправдания России» для «Вопросов литературы», как я это обещала[420]. <…>

18 октября 1989 г. Вашингтон[421]. 9 часов утра. Среда

<…> Мне, во всяком случае, очень трудно физически переносить путешествия и чужие страны, все неудобства жительства, все бытовые сложности, всю нашу здесь жалкую бедность. Да и совсем мне неинтересно все их разноцветное, разнообразное потребительство, что так и прет. Очень животное впечатление от их телевизионного стиля, от всех этих реклам удобств, удовольствий и жратвы. Тут они по уши сидят в своем неоязыческом, потребительском выборе — ком-

форте как цели жизни. Тут активно-эволюционные задачи — вовсе не по шерсти. (Интересно, что тогда еще не чуяла, что нас скоро ждет тот же броско внедренный выбор, тот же стиль рекламы и жизни. Кстати, однажды в период своего пребывания в Институте Кеннона, ездила с прибывшими в Вашингтон на день-два нашими писателями, среди них был и Астафьев, на машине в экскурсии по городу, и тот же Астафьев, выступая тогда против свободы печати и распространения всего, мрачно предрекал разгул порнографии и насилия в этой печати… — *С. С.* 2 февраля 2004 г.) Хотя и я — раз уж тут — собираюсь нести свой крест юродства проповеди. Уже напросилась на 7 ноября (sic!) провести здесь семинар-доклад (на русском языке) «Н.Ф. Федоров и русская культура XX века». И должна еще поехать в Чикаго на два дня на их грандиозный съезд славистов, где буду выступать о Федорове как христианском мыслителе. (Таки все это и осуществилось. Первый мой доклад в довольно большом зале Смитсоновского института собрал полным-полно народу, были и стипендиаты, и американцы, и русские эмигранты, в том числе уже престарелый знаменитый исследователь и публикатор Борис Филиппов, в частности, писавший о Федорове в мюнхенском издании двухтомного Николая Клюева[422]. Я была на подъеме, слушали очень внимательно, засыпали массой вопросов, был таковой и от Филиппова, главным образом о совместимости с ортодоксальным христианством, о реальной осуществимости федоровского проекта. Как мне кажется, я была изощренно убедительна в своих аргументах. В Чикаго летели вместе с Катей[423], она взяла меня на свое довольство, иначе пришлось бы платить не имевшейся у меня довольно большой суммы за сам факт участия. Там тоже было редкое по плотности и мельканию знаменитых лиц присутствие на моем докладе и очень горячая дискуссия в рамках их обычного сценария с официальным оппонентом. Чикагский вояж для меня ознаменовался исчезновением страха летания, который во мне поселился после авиаперелета по местной линии в Болгарии, когда я обнаженно и тошнотворно ощутила бездну, над которой я с другими вишу в самолете. А тут, когда улетала из Чикаго, самолет, медленно кружась, поднимался над озерами и просторами земли, и я уже спокойно, без всякой боязни, глядела из окошка на всю эту под разными углами расстилающуюся панораму… — *С. С.* 2 февраля 2004 г.)

Был здесь, в Вашингтоне, как раз в понедельник приездом-налетом Джордж Клайн[424], присутствовал на Катином выступлении — очень теплый для меня человечек, показывал в своем чемоданчике мое «Преодоление трагедии» и брошюрку о Вернадском (наверное, специально взял, знал, что заедет в Вашингтон и меня увидит здесь), что-то там читает и подчеркивает (во всяком случае, в главе о Толстом и Федорове), хвалил за качество и уровень.

23 января 1990 г. Метро

Впереди один перегон до Краснопресненской, потом до Киевской, а там — в Переделкино, где уже прожила полсрока и еще до 16 февраля дали маленькую

комнату в старом корпусе. А сегодня была в ЦДЛ на обсуждении книги Дмитрия Михайловича Урнова о Пейне[425]. Не умею халтурить, и пришлось два с половиной дня потратить на чтение (подарил и через некоторое время так и захомутал). А всего-то минут 5–10 поговорила и сбежала. Думала, что поеду обнять Настю перед ее полетом в Мексику — с тем и отпросилась с вечера. Такое возбуждение (все же надо было отмобилизовать нервные клетки и говорить!) и такая досада от потерянного времени, вместе — злой энергийный сгусток, который так и выбрасывает — прямо сейчас, тут же! — наверстать время и заброшенное дело. То, что у меня сейчас главное: сделать статью, наконец-то, «Эрос и пол у А. Платонова».

Вот поговорила с Настенькой по телефону из фойе ЦДЛ, и решили проникнуться без прямого касания, ибо ничего и не выйдет, там предотъездный тарарам, а я тогда и завтрашний день порешу, а послезавтра уже на работу. А тут еще несколько лассо накидывается на шею: явился в Москву патер Гвидобальди, старый иезуит, который на Капри устроил нам на собранные им средства новую Каприйскую школу и где я была в ноябре. А меня он за мою мягкость выделил и полюбил, к тому же есть общий язык — французский — и вот сейчас требуют меня с ним общаться. А он горит очередными планами и головными сюжетами: на этот раз, по-моему, речь идет уже о конгрессе по психоанализу у нас в Москве с очень причудливо выдуманными им темами. Что тут было после моих двух поездок в Америку и Италию? (О житье на Капри у меня в дневнике нет ни строчки. Надо хоть что-то пунктирно восстановить. Помню, от наших были Палиевский, Василий Белов, Николай Скатов, Святослав Бэлза, Вадим Кожинов, Светлана Селиванова, Виктор Сукач, Павел Флоренский, Женя Иванова[426] и еще кто-то. К этому времени фешенебельный сезон уже окончился, цены упали, так что мы жили очень комфортно и вкусно, был и специальный зал для заседаний, где каждый говорил о чем хотел, хотя и существовала и была некая фантазийная программа, придуманная патером Гвидобальди, соединявшим в себе реформистско-религиозный пафос латиноамериканской новой теологии, любовь к России, к революции, к Ленину, к интеллектуальному авангарду с психоаналитическими, аллегорическими наивно-вычурными образами и символами, выражавшимися им графически наглядно. Я делала два доклада: о Федорове и о пролетарской поэзии, самого Гвидобальди все дурили и смеялись за его спиной, широко пользуясь его набранными по всей Италии, среди мелких лавочников средствами. Мне этого чудака и идеалиста было жаль, я с ним старалась общаться серьезно, как-то других одергивала и дисциплинировала, и он на меня главным образом и опирался, пытаясь хоть как-то спасти общий декор Затеи. Впечатление от всего осталось смутное, кроме нескольких ярких стоп-кадров природного каприйского великолепия, иногда приятных с вином ужинов и нескольких бесед. Мне пришлось бороться с внезапными сильными сердечными перебоями — уж очень я себя помотала в эту осень по различным климатическим поясам, спать могла лишь на очень высокой подушке, но все же держалась и выдержала. — *С. С.* 3 февраля 2004 г.)

Вернувшись с Капри, плюхнулась я на диван, наверное, недели на две-три, читала, смотрела телевизор, ела, спала и входила в равнодушие, точнее — сбивала с себя возбуждение от переизбытка внешних контактов, и развлекалась-увлекалась тем импровизационным *театроном политиконом*, что разворачивался весь на виду как публичное «позорище» благодаря телевизору. «Минуты роковые», но пока они тебя как бы прямо не касаются и ты их только созерцаешь. Божественно! Но поскольку — все же диван и кухня — то расслабленная тяжесть набиралась, устанавливался, никуда не денешься, *старческий тип* и стиль жизни с упором в предел однообразной дороги, в конец. Казалось, что уже никогда ничего не случится.

Но вот вырвалась в Переделкино. Тут уж ритм и работа, и гуляние, и одежда (а там, на диване — все те же рейтузы, кофта и общая опущенность), и краска на морде, тонус… Правда, первые две недели ушли на всякую текущую мелочь: какие-то верстки, подготовка по телефону семинара, изображающего из себя начало работы Центра по космизму при ИМЛИ[426a], и совершенно мне не нужный Пейн. Только чуть-чуть начала Платонова.

Два американских плодика тем временем обнаружились. 31 декабря, под самый Новый год, «Голос Америки» пустил мою беседу со священником Виктором Потаповым. Я, к сожалению, так ее и не услышала, хотя помню, что сама была ею довольна, когда записывали ее в Вашингтоне, основательно тогда получилось, серьезно, кстати, и как ответ Парамонову[427], что уже несколько лет подрывает авторитет Н. Ф. на «Свободе». Я говорила о Федорове именно как о христианско-религиозном мыслителе, пытаясь раскрыть его понимание Благой Вести. А вот второе выступление на «Свободе» с Михайло Михайловым[428] — казалось мне неудачным. Он согласился подвести меня на машине до Далласского аэропорта и тут же попросил интервью. Я перенервничала, долго до того его ждала, он опаздывал в это последнее мое вашингтонское утро и все же и под угрозой решительно не успеть на аэродром завез на студию. И там впопыхах, с больной головой, отвечала на его дурацкие вопросы — с пылу, с жару, в загоне и спехе. Но они что-то там подмонтировали — вот два дня назад крутили сутки, я слышала два раза даже. Не так уж плохо, как я боялась. А Гоша, что поймал кончик-хвостик, сказал: «Голос получился у тебя завлекательный, *монро*вский, в богатых диапазонах и тембрах. Влюбился бы в такую женщину, если бы не знал».

Год в смысле публикаций был «болдинский», как кто-то мне польстил. Действительно, вышла и книга «Преодоление трагедии», и брошюра «Этика “общего дела” Н.Ф.Ф.» и всякие статьи, в том числе «Образ Христа в современном романе» в «Новом мире» № 11, и в «Лит<ературной> газете» целая страница о Федорове, и в «Октябре» о ноосферных идеях в литературе, и еще в паре сборников, которых я так пока не видела. Но, главное, в четырех номерах «Волги» — сокращенный вариант книги о Федорове «Московский Сократ». Ну уж лучше не бывает!

Но, увы, давно не делала поистине новой и большой вещи. Соскучилась по такой работе, как «Тайны Царствия». Надо, кстати, в этом году пристроить ее для

печати. Да все тяну, даже в новое издательство «Столица», где Бежин[429] — главный редактор и ждет от меня, никак не соберусь. Завтра надо ему позвонить с утра или вечером. Договориться. Вообще заводишь эту толстую тетрадь и в ней пусть идет все подряд, большое и мелочи, по ходу жизни и надобности в фиксации чего бы то ни было. Сюда же и наказы себе на день, чтобы главное не забывать. А то рассеивает то, что само собой, непосредственно, случайно наплывает и захлестывает, а памяти уже и нет.

Открытие Центра по космизму, точнее, ежемесячного семинара «Космическое сознание и современная культура» (так придумал Палиевский) и конкретно занятия «Н.Ф. Федоров и русский космизм», — оказалось хоть и многолюдным (забили весь конференц-зал), но бестолковым, «каждой твари», что *космизьм* чует и с придыханием произносит, «по паре» было, такая вселенская смазь, где продефилировали: и Федоров, правда, довольно кратко и на сей раз тускловато, в моих устах, и православная космология (Никитин), и Гурджиев, и Рерихи, и Вернадский, и что-то совсем смешное, вроде проекта первой статьи новой Конституции, как «Союза советских *синархических* республик», и Блаватская… Я дала высказаться всем желающим, *плюрализьм* — так и вышло. Но больше хватит, а то все наши очень недовольны таким «пустоворотом» нашей работы — вместо восхождения ниспали в стадию, что уже прошли.

А сейчас чуть почитаю Платонова, «14 Красных избушек».

Завтра, среда будет, 24 января. Из мелких дел — попробовать позвонить Бежину, Ире[430] вечером, чтобы получить телефон аспирантки, ну и домой, конечно. Еще позвонить Сергею Воронину, Жданову и вечером, может быть, Андрею Щербакову и Олечке Бабановой[431]. И Платонов, Платонов! А в четверг, возможно, придется в Москву.

26 января 1990 г. В электричке по пути в Переделкино, осталось хода минут на пять. Но за это время можно разве что вспомнить, чем эти два дня занималась. 24 и 25-го — переделкинская милая рутина, хождение на еду с обряжением («выносом тела»), гуляние и работа — не так уж и много, часа по два с половиной — три в день, но начала статью о Платонове. Сегодня совсем плохо спала: комната на всех ветрах и шумах стоит, напротив туалета и выходит на фасад и подъезд, где с семи утра скребут ступени от снега. Так что с утра валялась, слушала «Голоса»[432], а во второй половине дня поехала в «Сов<етском> пис<ателе>» верстку смотреть с редактором. Зашла за гостинцем для редактора в буфет ЦДЛ и тут же в ресторане напоролась на отца Эуджидио, который тут же меня захомутал на понедельник с ним общаться и дела делать. В редакцию запорхнула Ларочка, привезла мне нужный кусочек рукописи, чудо мое!

31 января 1990 г. 6 час. 45 мин. вечера

Еду в троллейбусе от Наташи Корниенко[433], надавала она мне материалов и книг, связанных с Платоновым. <…>

С Наташей, причастной к платоновскому наследию впрямую (занимается архивом, служит честно), приятно говорить о Платонове. Мне хочется почувствовать его как человека, в деталях изживания своей судьбы, не отступившего до конца от «юродства проповеди». Так мне и хотелось бы когда-то назвать свою книгу о нем. Вот дала мне Наташа статью Гурвича о Платонове[434], говорит — враждебно-умная, все просек. — Конечно, отвечаю, вот все евреи о нем писали, разоблачали. Ведь, кроме идейной тоги, в которую они облекались, было у них еще и вполне искреннее, нутряное, глубинное «брр» перед его текстами. Это как реакция Цельса и других античных умников на безумие христианства. А Платонов активное христианство нес, и как его ни сгибали, да еще в эпоху торжества такого языческого варварства, где культ молодости и жизни, бодро спортивной, брызжущей здоровьем, и как можно при этом о гробах и покойниках, о прахе и старых родителях, — остался верен своему «юродству проповеди», уйдя под конец в совсем малое, чистое пространство, к детским душам и их великим незамысловатостям: «мама», «не умирай», пень-человек, умерший дедушка на солнышке, «все живыми будем»… Так вот надо сразу в предисловии к книге начать с аналогии: первохристиане и античные мудрецы. Смотри еще вычеркнутый финал к «Глиняному дому в забытом саду» — об унесенной в могилу памяти об отцах и матерях — там, на хранение… Так я объясняла Наташе.

0 часов 30 минут

Замаялась. Прибежала на ужин, там чад разговоров, потом Таратута, с ней — два часа непрерывно. Выудила кое-что интересное о Платонове, чуть об его любовном романе. Катя[435] (муж — Володя) — издательский работник, еще жива, ее воспоминания «Два Андрея» (два гения — Андрей Рублев и Андрей Платонов), перед войной, письмо, хотел жениться (завтра запишу, сейчас валюсь). Худоба, пил перед войной, целую бутылку водки за раз, видимо — не пьянел. В Уфе с ним встретилась (1 раз). Уехали в Москву. Башкирские сказки. Последняя (предпоследняя, может быть) публикация в печати Платонова — сказка-притча «Две крошки» — пороха и хлеба, спор, хлебная — важнее. Тут же в «Правде» зубодробительный фельетон некоего ? о гнилом пацифизме и ругань…[435a] Надо мне сверить платоновские обработки сказки с исходным фольклорным материалом.

7 февраля 1990 г. Около 3-х часов дня

Два последних дня разбит весь рабочий режим. Все утро уходит на чтение материалов пленума. Драчка, страсти. Заснула вчера только после 3-х ночи. И так уже — обычно. Ночью набросала развитие мысли в очередной главке работы о Платонове, и еще кое-что. И вот с утра не найду этого листика. Воскрешать поте-

рянное, когда-то написанное — почти невозможно. А каково тем, кто терял целые книги в рукописях.

Не упадать в покой — он сладок, но одной стороной повернут к концу, к смерти.

Отрезать все нервные дергающиеся окончания — приводы к миру внешнему и замкнуться совсем в себе, в абсолютном: во чувствовании в мир, в душу, в мысль. Пусть размениваются, бегают, убеждают начинающие жить, молодые, горящие жаждой утверждать свой взгляд непосредственно перед лицом других (как и я сама так долго), а мне — отойти и делать то, что только я одна пока могу. <…>

8 февраля 1990 г. 11 часов утра

После завтрака подошел ко мне в раздевалке Залыгин[436], отозвал в сторону и предложил работать в «Новом мире» его замом. Ищет умную, работящую лошадку. Я, конечно, отказалась. Как сказал бы Гоша — большую бабу рядом захотел. Но сам Залыгин не понял, как можно отказываться от такого заманчивого предложения, и несколько покоробился-обиделся. Вот была передо мной возможная точка бифуркации: согласись я, встала бы в одну из заглавных организующих и сортирующих литературный процесс фигур, приобрела бы известность, стали бы заискивать передо мной всякие важные писатели, и жизнь, возможно, пошла бы иначе… Естественно, я ни на йоту не жалею о своем выборе свободы, неангажированности, уединенности, «одной, но пламенной» федоровской страсти.

7 июля 1990 года. Часов около 5 послеполудни

<…> Ну что ж, вот уже больше месяца я в Москве, сначала попала прямо к гробам, подряд хоронили Юру Селиверстова и Саню Великовского. Первый на коллективном энтузиазме выездной бригады «Русской энциклопедии» где-то на юге влетел в холодную морскую воду, да там и остался (сердце остановилось)… Его православно-благолепно в день родительской субботы (кто-то даже в храме шептал, *как хорошо он умер* или его умерло Провидение) отпели и положили в землю на одном кладбище с другим его единомышленником, тоже Юрой, Селезневым (и тот умер в физической красе и творческом расцвете за границей, в ГДР, кажется, тело оттуда везли, а до того купил машину и с жаром учился водить, говорят, что подобный азартный стресс не раз приводит к малозаметным поначалу микроинфарктам). Второй, т. е. Великовский, из другого, либерально-западнического лагеря, был распят экзистенциально, операция аневризмы аорты бедра с год назад, *наша* медицина, заразившая его гепатитом, передозировавшая наркоз

(два раза резали), потом — отравленная психика, депрессия и самоубийство. Там — были все патриоты, православные, «правые»; здесь — сбор либералов, левых интеллигентов, западников, полукровок и *крематорий.*

Потом из событий — четыре дня Федоровских чтений[437], выступала на пленарном (после уже традиционной для меня бессонной ночи) и на секции, которая была интересной, особенно первый день (Федоров и христианство). Что там бушевало за стенами нашей сугубо федоровской цитадели (работало чуть ли не 12 секций, от иниологии до уфологии), и не знаю конкретно. Была и большая художественная выставка, Володя Гурьев[438] и его други, в массе все же некоторая мазня на околофедоровское и «космическое», продавали три сборника материалов предыдущих двух Чтений[439]. Все раскинулось на довольно большой площади недалеко от театра Советской Армии, в музее секции космонавтики при ДОСААФ. Вот единственный достойный плод, особенно радостно, что там всюду была Настя. Ну, конечно, и плескалась вокруг всякая муть: какие-то экстрасенсы, снимавшие в толпе разные недуги, некий явно инспирированный (может, и тайными органами нашими) тип с посланием с Ориона, где Горбачев объявлялся членом международной шайки «Черная кошка» (уровень воображения, как ясно, самый телевизионно-народный), а вся символика тяготела к свастике… Неизбежно — при организации дел Надеждой Боголюбовой[440]. Но все же идет некое информационное повышение: где-то в печати проскочило объявление о Чтениях, телевидение снимало (потом дали довольно большой сюжет в «Очевидном — невероятном». — *С. С.* 7 марта 2004).

Сейчас у меня на десять дней поселилась Катя Кларк, после советско-американского симпозиума, через три дня уже уедет. Не работаю совсем, занятие и страсть одна — политика, телевизор, газеты. Регрессия в юность. Жизнь — полуинвалидная, стараюсь не выезжать в город, чувствую себя плохо, вылезти из этого можно было бы лишь в деревне, да никак не доберусь туда. Лара сейчас в Изборске с подружками по училищу, горит восхищением и работает как зверь. Настя занята университетом, пропадает на проверке сочинений абитуриентов.

Может, вот такие спокойно-апатичные, придавленные к дивану периоды, тем более в нынешний год, в нынешнюю солнечную активность и зной, в нынешнюю явную зловредность среды, вплоть до космической, — единственно спасительны. Выжить! Действительно, чуть усиливаюсь — и совсем издыхаю, чуть не летальность. Усилие, правда, одно все же требуется, на него себя никак не подвигну: малый физический ремонт, самый уж срочный и неотложный, как любой вещи, нужен. Вот челюсть болит, зуб уже недели 2–3, рот не открывается без боли, а я себя не заставлю к врачу. Уж ладно — сердце, голова, бок — это всегда со мной и при мне, надо оздоровить среду и режим, вот хоть в деревню и, может, легче будет.

Итак, что же мне срочно надо, обязательно, до отъезда в деревню? Челюсть — раз, никак отчет о поездке во Францию не сдам — два, хорошо бы еще статьи из книги настричь для «Советской литературы»[441], как они просят, и, может, пред-

ложить еще «Эрос и пол у Платонова» какому-нибудь журналу. А в деревне уже начать работать над хрестоматией о русском космизме вместе с Настей[442].

6 августа 1990 года

Проходит мимо Гоша, сижу у крыльца в густой тени, только что подсчитывала, выясняла для себя, какое число, а я теперь у него: какой же час? «Могу сказать! — ответствует, — 7 часов 8 минут. Итак, сейчас: **7 часов 8 минут вечера**.

Целыми днями читаю Чижевского, Циолковского, надо о них писать в Хрестоматию по русскому космизму, вот сейчас рядышком с Настенькой мастерить начнем. То есть она уже вовсю разошлась: вот об Одоевском уже точную и прелестную вещичку сочинила, а сейчас строчит уже на машинке об Умове[443]. Хорошо так, любовно работает: вникает, влюбляется в предмет — «нежный Умов!». А мне достались самые затверженные фигуры, вроде Чижевского, Циолковского, Вернадского и др. и к тому же самые объемные по наследию, а я пока побольше, чуть ли не все не прочитаю-перечитаю и не законспектирую при этом (иначе все как вошло в голову, так в львиной доле и вышло из нее), не могу приступить к конденсации собственных мыслей, к созиданию некоего текста.

Помню прошлое лето, когда сюда клочками наезжала, вот так же читала и конспектировала Платонова под углом эроса, и только уже зимой, отправляясь от этих записей, сгустила работу, собрала вниманием и творческим напряжением, как магнитом, имеющиеся в общей растертой на многих страницах куче письма железинки мыслей и наблюдений в единый цельный кусок. <…>

27 августа 1990 г. 13.30. Переделкино

<…> Вышла в «Сов<етском> пис<ателе>» моя книга о Федорове, Гоша мне ее со склада «Лавки писателя» приволок (200 экземпляров) в самый день рождения. Внешне очень привлекает, в темном, глянцевом переплете с портретом Федорова, а сзади — моя голова из темноты выступает, на форзацах — рисунки Чекрыгина: встают мертвые из гробов, портреты Кожевникова и Петерсона. Внутри же бумага дрянная, толстая, но желтая на редкость. Расстроилась, к тому же не дали мне второй верстки и достаточно ляпов: я не Григорьевна, а Георгиевна — и это в книге о любви к отцам и долге перед ними! И еще нашла всякой досадной мелочи, пока вроде не самой роковой, но прочла еще только меньше трети.

27 августа 1990 года. 19 часов 15 минут. Переделкино

<…> Так тяжко сегодня, вода пылевым облаком буквально висит в воздухе, давит болью сердце, день практически без продвижения в работе. Пошла пораньше обедать в надежде на овощной стол, который обычно быстро расхватывают, но все равно ничего интересного не подали, одна капуста, а она и так до конца обеда остается. И конечно тут же в меня вцепился этот самый Виктор Михайлович Василенко[444]: сначала долго рассказывал о Данииле Андрееве, с которым

дружил с юности, по его словам, да и сел из-за него, как и весь их кружок — не кружок, «даже не знали друг друга толком», а оказалось, в 1947 году готовили покушение на Сталина. Впрочем, говорит, был у Дани роман, который потом сгнил в земле, куда спрятал его автор, и там Сталин беседует с Вельзевулом как одного поля ягодки ядовитые[445]. Но все же рассказы Виктора Михайловича не столь уж и интересны, крутятся в основном, старчески буксуют вокруг двух-трех фактов, но главное для него, конечно, его собственные стихи, и все рвется неудержимо их читать. Держал меня сначала за столом, затем на диване почти до 5 вечера. Потом я лежала под музыку час, потом тягала стол, ставила его так, чтобы не упираться взглядом в новый корпус и унылое старческое дефиле оттуда. А сейчас по радио звучит «Франческа да Римини» Рахманинова, а я открыла наконец-то свой конспект «Овладения временем»[446]. Что же там в нем?

Ведь Муравьев вначале был в яростной оппозиции к революции, участвовал в сборнике «Из глубины» и в своей статье «Рев племени»[447] рисовал образ двух противостоящих сил: пьяной охлократической орды и русского рыцарства, готового постоять за культурные и религиозные святыни Родины, и сам решался встать в их ряды. А тут уже, пройдя тюрьму и избежав расстрела в подвалах ЧК, начал наполнять плотью свою (и не только свою!) иллюзию; революция откроет эру радикального онтологического преобразования мира!

Вот как движется его мысль. Он замечает, что в эпохи общественного переворота, бурного вскипания народных сил вскидывается вдруг и особенная дерзновенность мысли и поиска, причем не только в той области, которая подвергается в данный момент перестройке и изменению, т. е. в области социальных отношений и экономического уклада, а в значительно более широкой, связанной с самыми первичными, онтологическими реальностями мира и природы самого человека. Так, время Великой французской революции ознаменовалось рывком в небо, следующим шагом в завоевании пространства: имеется в виду полет на воздушном шаре братьев Монгольфьер, а также дерзновенным посягательством на «сокровенную» проблему жизни — проблему ее длительности. Немецкий врач Гуфеланд создает труд «Макробиотика, или Искусство долго жить», как пишет Муравьев, «намекая на возможность преодоления смерти»[448]. При этом Муравьев почему-то забывает знаменитого Кондорсе, который, сидя в тюрьме, накануне казни, в 1794 году завершает свой труд «Эскиз исторической картины развития человеческого духа», где он прогнозирует достижение в ходе прогресса индивидуального физического бессмертия человека. Это факт достаточно удивительный: революция обычно выявляет страшные диссонансы человеческой природы, обрекающие на фиаско все ее идеальные построения, но сам порыв к преобразованию активизирует мысль, и она ищет более существенной области для приложения этого порыва, такой области, которая действительно сможет на самом глубинном уровне гармонизировать человека.

А Октябрьская революция, по мысли Муравьева, еще глубже копнув социальные и культурные основы жизни, подвела мысль к «другой еще более обширной

задаче преобразования основных законов самой природы, поскольку эти законы противоречат идеалам нашего разума и воли». А каков прогресс! — там еще только воздушный шар, а здесь — уже аэроплан; там — теоретический прогноз возможности продления жизни до бесконечности; здесь — достаточно широко развернувшиеся в послереволюционные годы опыты омолаживания, анабиоза и оживления органов, не говоря уже о распространении радикальных идей не просто бессмертия, а преображенного восстановления умерших. Требование к разуму у Муравьева звучит по-федоровски: стать «органом не только созерцания и познания, но орудием власти и творчества» (с. 6)[449], научный опыт одиночек призван растечься по всему земному шару, стать «явлением всеобщим, всечеловеческим», «преддверием науки космической».

Несмотря на всю разруху и тяжесть жизни, Муравьев чувствует, что «здесь, в нашей стране, больше чем где бы то ни было, горит огонь великой надежды и дерзновенного искания» — предвестник великих дел». В нем живет и предчувствие, и уверенность в явлении нового Возрождения, «новой и небывалой культуры». И не только он один, а многие поэты, философы, ученые охвачены в это время желанием строить эту культуру. Для кого-то это осталось преходящим порывом чувства и мечты, а для таких, как Муравьев, Сетницкий, Горский или Платонов, новое великое Возрождение имело четкую задачу и содержание: творчество жизни, преодоление смерти, восстание всех умерших, преображение мира на новых основах.

11 сентября 1990 года. 6 часов вечера. Переделкино

<…> Вчера же пришла весть об убийстве от<ца> Александра Меня, все подавлены, ударили «исторически», по одной из самых знаковых и эффективных фигур добра и любви. Все кивают на «Память»: они там больше всего злобствуют на такие вот примиряющие фигуры — из двух миров, православного тут и еврейского, да еще и третьего — и научного, и общественного, вполне современного. Да еще все подкреплено у отца Александра было редким глубинным знанием и трезвостью синтезирующего ума. <…>

29 декабря 1990 года. 11 часов 30 минут вечера, т. е. 23 часа 30 минут

<…> Вчера был как раз наш традиционный поминальный вечер[450]. <…> Из мыслей, высказанных в моей речи на вечере, хочется один обертончик зафиксировать для будущего развития. Федоровскими критериями поверяется очевидная утопичность социалистической идеи в ее реализации: это — прежде всего поверхность, мелкость анализа причин зла в человеческой природе. (Как высказывался Н. Ф., невозможно смертного сделать счастливым). И тут федоровское учение совсем не утопично, глядит в самый смертный корень зла, разделения,

борьбы, отчаяния. Постепенное его осуществление равно восхождению человека на более высокую онтологическую ступень — кстати, на ней уже легче добиться и единодушия, все возрастающего по мере этого восхождения.

Зато по средствам федоровское учение рядом с теорией и практикой социализма меняется местами. Большевики оказались тут совсем не утопистами: расчетливо и трезво обращались к самому легкодействующему, моментально и безошибочно срабатывающему: низменным инстинктам, зависти, злобе, ненависти, давним счетам… И победили, погубив, правда, по пути и свой Идеал. А у Федорова в средствах может усматриваться доля утопичности, временами, как старцу Зосиме из «Братьев Карамазовых», ему представляется: спала вдруг пелена с глаз, поняли все и обнялись в братском чувстве и импульсе к Делу. Впрочем, будем справедливы, все же главная мысль Н. Ф. другая — зло так глубоко и упорно, так въелось в ткань человеческого бытия, что борьба с ним — дело упорное и долгое, требующее соединения всех сил и умений… А вот враз всем стронуться с проклятого места нашей заклиненности в неродственности, борьбе, блуждании, мелком и большом демонизме и нигилизме — никак невозможно.

17 февраля 1991 года, 13 часов. Переделкино

<…> В среду, на этой неделе — сегодня воскресенье — была на совещании в «Лит<ературной> газете», устраивал Золотусский, ставший зав. отделом критики, прибыли всякие критики от Жени Сидорова и Аннинского до Урнова и Немзера, были и Лесневский, и Роднянская, обсуждали новую схему критически-литературных полос и что мы можем предложить. После попросил меня милый Радзишевский[451] написать им про «Вехи» страничек 8, я сказала, что хорошо бы для полноты картины добавить и про «Из глубины» сюда, они тоже вот-вот выходят. Так что моя сейчас работка определилась: в ближайшую недельку написать эту рецензию-статью[452], надо в библиотеку, а билет пропал. Пока перечитываю и дочитываю некоторые статьи сборника «Из глубины». «Вехи» привезет мне завтра Настя в город в «Сов<етский> пис<атель>», придется встречаться с Зенкиным[453], у него какие-то редакторские претензии к моей статье об эросе у Платонова, что идет усеченным вариантом в двухтомный сборник, подготовленный Леной Шубиной.

25 февраля 1991 года. Около 10 вечера

<…> Да, рецензия в таком сбитом пространстве в 7–8 страниц поглощает больше времени, чем вещь более экстенсивная, где можно спокойно разворачивать мысль, а тут такой тугой жгут надо сплести, да и виртуозный желательно! Жалко себя и своего *переделкинского* времени на это. Хоть и приходится сейчас много мотаться в город, но все же появляется здесь некоторая бодрость, тяга к деятельности, движению, что начинает пересиливать то домашнее склонение к покою, атараксии, отходу от публичных дел, которое элементарно воплощается в диван, газеты, телевизор — превращаешься почти исключительно в болельщика борьбы разных сил

и комбинаций этого мира. Тихо-тихо так, не без сладости в этом растворяешься. Здесь — иное. Вот даже захотелось эдак энергично поразбросать свои дела, попланировать, что я за этот год сумею сделать. В прошлом уже году, хотя и вышла книга о Федорове, но в журналах, т. е. там, где заметно, где фиксируется *твое* историческое присутствие в *этом* обществе, в *этот* момент движения литературы и мысли, — меня фактически не стояло (в отличие от двух предыдущих лет). Тем не менее, что-то было. Дай-ка вспомню: всякая окраинная мелочь, почти незамеченная, хотя, впрочем, было «Оправдание России» в № 1 «Вопросов литературы», но вышли они чуть ли не в апреле-мае, и кто их читает сейчас, не знаю. Ну еще статья в книге «Философия любви» (хоть и огромным тиражом, но куда-то он канул)[454]. Да, опять же в № 1 за прошлый год в журнале «Природа и человек», ставшем себя называть «Свет», было мою интервью Шикину о Федорове[455]. Сейчас я о нем вспомнила, потому что, соединив его еще с одним моим интервью для журнала «Экос»[456], собирается все это печатать на русском и английском новый журнал — дайджест нашей прессы — «Социум», оказывается там уже что-то моего дали в первом номере за этот год, самом-самом их первом вообще (что-то препарированное из моей статьи о Вернадском)[457]. Оба интервью напечатаны слегка дефектно, с ошибками, особенно в «Экосе» (там есть безобразные, вплоть до того, что пророк Иона назван Иовом) — я не читала верстки, была за границей. И вот только что перечитала из «Природы и человека», вернее, только фактически прочла первый раз — все же совсем неплохо. И что-то больше и вспомнить не могу, все триумфы пришлись на 1989 год. Итак, две статьи за год, тем более старые, написанные раньше. Правда, я сделала большую работу «Эрос и пол у Платонова»; но ничего оттуда не дала в журналы, только еще когда-то выйдет в усеченном виде в сборнике, а пока целиком полежит до тех пор, когда возьмусь за отдельную книгу о Платонове. Составили мы с Настей и Хрестоматию по русскому космизму — это работа большая и ценная, но ее публикация еще впереди, надо суетиться и искать, пока есть договор на сокращенный английский вариант в издательстве «Прогресс».

Вот настал новый год, уж второй месяц закончился почти, и что же? Должна быть в первом номере «Московского вестника» статья о Соловьеве и Горском из приложения к главе «Метаморфоза пола»[458]. Ну еще этот журнал дайджестов советской прессы напечатает старый материал в № 1 и № 3 — и пока все. Что же я могу? Надо подумать… Ну вот сейчас для «Литературной газеты» сделаю рецензию о «Вехах» и «Из глубины». Потом, может быть, через некоторое время дам какое-нибудь свободное рассуждение в новую их рубрику «Кафедра», если не отобью у них охоту меня печатать, ведь жанр рецензии совсем не для меня. Но надо куда-то в журнал пристроить наш с Настей «Космизм»: почему бы не попробовать в «Волгу» или «Октябрь» предложить? «Новый мир», и «Знамя», и «Москва» не возьмут, конечно. Сделать этакий усеченный вариант, героев на 10–12 (у нас их 17 сейчас). Еще предстоит написать новое предисловие к Полному собранию сочинений Федорова, действительно новое, и предложить его какому-нибудь журналу.

Вот сейчас отмучаюсь с рецензией — уеду на неделю домой, поработаю в библиотеке и доделаю статью о богословских идеях Федорова для «Вопросов философии»; если не возьмут, предложу какому-нибудь другому журналу. (Эта статья вышла позднее в «Пути», философском журнале Яковлева-сына[459], просуществовавшем несколько лет всего. — *С. С.* 29. VI. 2004.)

1 апреля 1991 года, 9 часов утра. Переделкино

<…> Вчера приезжал очень милый студент со своей женой — от «Книжного обозрения» — меня интервьюировать[460], я была не очень в форме, говорила местами с усилием, местами, очевидно, слишком много. Бедняге теперь расшифровать, мартышкин, конечно, труд, все равно надо будет мне переделывать — представляю, что за клюква выйдет из его записи… Он меня, кстати, спрашивал, кем бы я хотела быть, если бы не Федоров на моем пути. Я ответила, что, наверное, меня уже все равно определяет факт этой встречи, поэтому, может быть, мне сейчас кажется, что стала бы я врачом (как Лара в детстве выражала в стихах свои устремления: «Я стать биологом хочу, не терпится бессмертья», но если покопаться, то сначала спонтанно она брякала: *циркачкой*, колеса крутить и шарики подбрасывать, и только когда я ее идейно устыдила серьезностью главного дела, она позже нашла для себя *биолога*). Но скорее это теоретически, представить себе конкретное внедрение в тело, всякое там необходимое анатомирование, хотя бы в учебном цикле, потом жестокие исследовательские опыты над бедными животными, брр — я бы не смогла. А мое — это все же участь сельской библиотекарши, среди книг, сосредоточенно и забвенно для мира. Мне очень внятно платоновское: разделить участь пропадающей человеческой былинки, самого невидимого и неслышимого миром человечка, каких ведь абсолютнейшее большинство — много ли их, культурно выделившихся из *массовой тьмы*?!

Да, надо бы добавить такую мысль еще: вот многие боятся нового тоталитаризма, который вылезет и наляжет над миром из воплощения федоровского плана всеобщего дела, боятся, так сказать, коммунизма бессмертия. Это явная аберрация, принцип добровольности и свободы в борьбе за жизнь, за ее преображение — первейший. А вот у социалистов было иначе, особенно «научных», марксистских: они признавали принуждение и вооруженную силу как аргумент, а потому, кстати, имели больший шанс на успех, действуя в пределах апробированных, вечных, неотразимых в мире сем средств. Другое дело — что и результат их оказывался тем самым фатально преходящим. В активном христианстве от выбора самого человека и рода людского в целом зависит конечный успех — пойдет, не пойдет за Богом на дело богочеловеческое, оттого у мыслителя и нет интонаций безусловной уверенности, ибо свобода человеческая на то и свобода, что гарантий того или иного исхода не дает, потому и сохраняется возможность огромного метафизического фиаско (впрочем, больше как угроза именно этому

роду сознательных земных существ) со Страшным судом, воскресением гнева и разделением на проклятых и спасенных. <…>

26 мая 1991 года

Не знаю даже, сколько точно времени, где-то за 2–3 часа пополудни. Сижу за столиком в детском саду, примыкающем к нашему дому. Воскресенье, детей нет, висит на воротах видимость замка, так себе накинут на цепь, но не закрыт, все желающие и проникают. Давно не брала я в руку «шашку», то бишь пера, чтобы что-то занести о жизни, о происходящем на бумагу. Чтобы потом — восстановить утекающую, утекшую жизнь. Из публичных событий главное, конечно, Федоровские Чтения, Четвертые уже[461], прошли они 7–8 мая у меня в Институте, точнее, там была часть собственно федоровская, философская. 9-го целый день ходили по Москве, по федоровским местам, а в храме Ильи Пророка, что стоит как раз на пути от Румянцевского музея к Молочному переулку, где долго квартировал в своей «каморке» Николай Федорович, отслужили ему панихиду, и портрет его стоял как икона. А потом, как в прошлый год, дошли от Мариинской больницы до разоренного кладбища Скорбященского монастыря, где, как предполагает Женя Прошечкин, был захоронен Николай Федорович[462]. Там развернулся свой ритуал, который вел Артемий Гилянов[463]. Кстати, он с мамой жил у Насти, и мы много общались. Ездили вместе в Новый Иерусалим, по дороге в электричке читали письма Николая Федоровича об этом творении Никона, русской Палестине[464]. Там я, сидя уже после посещения этих мест у стен монастыря, пыталась убеждать Тему, что его призвание стать священником, первым настоящим священником-федоровцем.

А вечером, в день экскурсии по городу, приехали избранной группой домой к Оле Бабановой, был там и Лева Регельсон[465], за столом завязалась философско-богословская беседа. Спорили главным образом об Антихристе и о зле. Просверкнули неожиданные, свежие мысли у Насти, да и у меня. Даже хотела сразу их записать, да поленилась, а сейчас их не соберу уже. Разве что когда еще разогреюсь в споре, то вспомнию, заново их как бы рожу — тогда уж постараюсь не упустить.

Чем же я занималась после 12-го — 13-го, когда уже все окончилось, в том числе «научно-философские дискуссии», вторая, так сказать, створка Федоровских Чтений, которую расписывала Надежда Боголюбова всякой всячиной, в том числе и сомнительно-мутной, и где мы были только на закрытии, и Гиляновы уехали, т. е. чем же я занималась вот уже более 10 дней?

Ах да, сначала привела в порядок, отпечатала свое интервью для «Книжного обозрения», которое представляло собой в расшифровке с магнитофона молодого журналиста, моего собеседника Игоря Пергаментщикова нечто невразумительно-дико-пространное. Потом приводила в окончательный вид наши с Настей комментарии к «Антологии по русскому космизму», завтра надо отдать. А вот

сейчас предстоит мне сократить с 80 до 22 страниц для одного альманаха предисловие к этой Антологии и вписать туда кое-что о Рерихе[466].

Сегодня весь день бездарно прозвонила, лучше меньше знать об этапах своих дел, о кознях против, намного спокойнее столкнуться уже с окончательным результатом, пусть самым отрицательным, а не знать заранее, что нечто подобное нависает над твоей головой, следить за ходом дела, растянуто нервничать и прогорать. Так, сегодня Марина Ганичева, редактор серии русских философов, предупредила меня об отторгающей реакции на мой том Федорова: «Фи! Федоров…» Это — в «Протестанте», издательстве, через которое будет печататься вся серия, а там как раз побывали мои «Тайны», и каким-то умником и ревнителем были отвергнуты. Впрочем, я сама не собиралась их там печатать, меня все склоняла к тому их ученый секретарь Таня Попова, почитательница моей статьи об образе Христа в литературе («Новый мир»). Так вот сейчас это «Фи!» и «Зачем нам Федоров?» она же и изобразила, очевидно, после соответствующего уже критического «просвещения» и облучения. Так что этот том может быть завален, вот и вошла тревога вовнутрь и будет глодать, только обессиливать. Лучше бы и вовсе до окончательной поры не знать! <…>

5 июня 1991 года. Часов 8 вечера

Сижу на скамейке во дворе. Надо подобраться к статье в «Лит<ературную>газету»[467]. Конечно, если бы ее делать вольно-философской, мне было бы не трудно. А так надо там-сям хотя бы литературу впихнуть и от нее отправляться. А у меня тут комплекс — ого-го! Пока ничего и не читала из «новой волны» тех, кто сейчас хлынул на страницы журналов и являет собой очередную фазу литературы. Среди всех моих тревог о здоровье и домашнего еще потяжелевшего в таком состоянии тягла смогла лишь сориентироваться, проглядев какие-то политические статьи и рецензии по имеющимся дома журналам. А я наскоком, так не могу. Не знаю, сумею ли за неделю свить свою нить связной и свежей речи. Пока же вот что я поняла из главных нынешних сюжетов. Ищут по-прежнему, кто виноват, бичуют очевидных «гадов» и подозрительно выискивают замаскировавшихся, все расширяя поле такого поиска, детектируют всякие тонкие соблазны, которые в духе, литературе, философии. Сейчас взялись за русскую классику и ее — в предтечи тоталитаризма. Конечно, еще Бердяев тут подвизался. Но сейчас копают порадикальнее. Вместе с коммунистической идеей под подозрение встали — как вроде типологически ей близкое — всякое толкование о высшей цели, смысле жизни, вообще трансцендентность и идеальность любого рода. (Оттого-то и классическая русская литература золотого века оказалась «зловредной».) Торжествует либеральное настаивание на имманентном, ясно-практическом, нормальном. Но ведь и наш языческий социализм взошел на исключительном имманентизме, от рождения и до… смерти (о последней не очень любили вспоминать, как о моменте, особого значения не имеющем в отграненной, героически-творящей чреде радостных дней), взошел

на делах уж самых бытовых: вырастить хлеб, добыть электричество, произвести бумагу… просто эти дела возводились в ранг какого-то исступленного подвига, которому вокруг мешала всякая многочисленная нечисть, открытые и затаившиеся «враги». Вечные вопросы и всяческая трансцендентность были тоже на стороне этих врагов, надо думать — их вообще просто запрещено было серьезно задавать. И социалистический идеал, как и нынешний прагматически-либеральный, — хотел строить по мерке человека, только сейчас живущего, правда, только «своего», «нашего» и понятого преимущественно как общественная функция. Тот же замечательный имманентизм, вражда к религиозному трансцензусу, к вечным метафизическим чаяниям, к эсхатологии и у совдеповской идеологии, и у многих либералов. Только у первых — с пафосом, с претензией увидеть в счастливом практическом устроении какой-то Идеал с большой буквы. Но и эти — Сент-Экзюпери, а до него все гуманитарные герои, идущие от Французской революции, — любили Прогресс, Человечество, Будущее….

Можно начать разговор с того: необходимо ли философское обеспечение нашему времени элементарных, низовых экономических и социальных нужд? Какое оно? И должно ли быть вообще? Наши иронисты, пересмешники, постмодернисты брезгливо на *такое* морщатся.

Еще совсем недавно так была кристально благодарна и ясна роль литературы. Вспомним 86, 87, 88 годы — пик, выплеск, бум в толстых журналах, события года от «Детей Арбата» и «Зубра» до «Ночевала тучка золотая», «Смиренного кладбища» и «Плахи»… Готовила литература общество к свободе, к новому мышлению, осмысляла пути. Все читали одно и об этом говорили, а сейчас что читают все из художественной литературы? Такой феномен вообще уже сдох. О 86–87 годах писали как о «литературном пиршестве» последних лет.

Поговорить заочно с Якубовичем[468] об эсхатологизме, который всегда понимался как единократный акт, что вносит элемент пассивного ожидания при свершении исключительного чуда. У Федорова же эсхатология вырастает из истории, из нашей грязи и недостоинства, из их преодоления, растянуто в творческом временно́м делании людей.

Еще о вреде, бедственности разделительного и обличительного пафоса, общественной сортировки, обвинения в том, что мутанты… Вот душераздирающий

рассказ старой женщины по телевидению о горбаче-садисте в ЧК, рассказ о себе тогда еще молодой, как, на коленях стоя, целовала — по его приказу — его сапоги, получая разрешение на свидание с родителями.

Новая вариация на тему «среда заела», когда вновь виноваты только общество и строй. В данном случае, возможно, капитальнее, его горб…

11 июня 1991 г. Около 6-ти вечера

Тут можно будет так смонтировать. О не-христианском подходе к человеку, закрывают ему принципиально возможность прозрения, внутреннего раскаяния, стыда и роста, все тыкают его недостойным прошлым и как будто требуют даже, чтобы он оставался одним и тем же (иное списывается по графе лицемерие и приспособленчество исключительно). Неизбывно его припечатывают. А вот христианская роль литературы всегда была в другом: понять — простить, и злодея как человека представить. У Нарокова в «Мнимых величинах» вроде уж куда чернее, герой — предводитель нкаведешной сатанинской гвардии, садист и убийца, интриган и растлитель, а и в нем таится искра чего-то настоящего, и ему блещет луч, и он может возродиться.

А к апокалиптическим настроениям и «Отец Лес» — и здесь все меньше тяги к восхождению, а все больше — к самоуничтожению сознательной, мучающейся жизни. Вот и исследуется, насколько радикально и неустранимо это мучение, это абсурдное издевательство (но кого?) над каждым, и вырывается протест — прекратить! <…>

11 сентября 1991 г. Переделкино. 6.30 вечера

Три дня я уже тут, буду до конца октября. Очередной аврал — и очередное сюда нырянье. Надо срочно сделать предисловие к 1-ому тому Сочинений Федорова[469]. Больше месяца ухнулось без всякой фиксации происходившего со мной, а сколько за это время вместилось событий, то что называется «внешних», в которых я участвовала *не телом*, *не делом*, а сопереживанием, слежением за информацией: наша бескровная революция в ответ на жалко оборвавшийся «путч», и вот все твердят — живем уже в новой стране, по-настоящему вступили в посткоммунистическое время. Первые два дня «путча» была в Москве, моя единственная акция: пропаганда за Ельцина и филиппики против «хунты» в бытовом пространстве у нашего торгового центра, где, кстати, стояли танки (сторожили какой-то там телефонный центр связи), и в других магазинах, в очередях. Между прочим, обыватель, точнее, наблюдавшиеся мною обывательницы-тетки были настроены чуть ли не за «путчистов», «нам все равно, лишь что было в магазинах, может так переменится к лучшему».

Потом мы, т. е. я, дочки и сопровождавшие нас Андрей Щербаков и Тема Гилянов, забрались в деревню, где я приняла на себя хозяйственное тягло, Гоша же взлетел к американским небесам в самую ночь путча. Там, т. е. в деревне, были в основном материальные хлопоты: яблоки сушить, варенье варить, то же с черно-

плодной рябиной, готовка, уборка да разговоры с ребятами и главное — непрерывное радио. <…>

14 января 1992 года. Около 8 вечера

Еду из Института домой, с 3-х часов маялась с Наташей Корниенко на Специализированном совете, шли две защиты, а потом нас с ней должны были поставить на поток, текущий к защите докторской диссертации. Свою я делаю в форме так называемого научного доклада. Тему мне сочинил Палиевский: «Космическое сознание в русской советской литературе»[470]. По́шло, но… Кусками из своих работ смонтировала некий научный доклад-автореферат, уйму времени угрохала на всякие бумажки-документы и казенные присутствия, и теперь уже будет жаль, если это останется практически безрезультатно — переливанием из сосуда в сосуд старого выдохшегося питья. Ничего нового не делаю. <…>

18 января 1992 г. 19 час. вечера

Сейчас идет наименее метафизическая эпоха: с высот идеалов, религиозных, псевдорелигиозных, социальных (пусть и частичных, и дефектных) плюхнулись в относительность, в устройство просто жизни, причем элементарнейшей и недавно еще достаточно благополучной — организовать хоть какое производство, продать-купить, съесть, одеться, и за это борьба, почти зверская, отчаянная, борьба за существование — выжить! Такая эпоха долго длилась и после революции 17 года, и соц. строительство было опять же борьбой за порушенное элементарное, как и сейчас, но почему-то тогда представляемой и выдаваемой за невероятный, требующий физической, нравственной и духовной мобилизации, личного самопожертвования подвиг. Так что я в принципе осталась права — в том смысле, что шанс открыть ухо метафизическим истинам, онтологическим задачам скорее возможно в эпоху относительной стабилизации и нормы, когда *не все* силы народа, в том числе и душевно-духовные, уходят на материальное. А вот в чём неправа: надо было ценить уже достигнутое равновесие, уклад производства и жизни, а не разрушать его дотла, как ныне, а потом еще полвека в другой системе и комбинации добиваться всё той же бывшей стабилизации. Если мыслить наше положение в стилистике греха и покаяния, историю — как религиозную драму, где скрытой, но движущей силой является закон воздаяния, то мы можем сейчас страдать в распаде, обнищании, позоре за наши семидесятилетние революционные грехи издевательства над человеком, богоборчества… <…>

Что сейчас по большому счету происходит с Россией? Ее пристегивают к общемировому пространству рынка, капитализма, фундаментального неоязыческого выбора: комфорт как цель жизни, временной, смертной. Но комфорт выходит у нас пока для немногих. Чтобы получить его более-менее для большинства в стандартизованном «американском» ассортименте, нам придется вновь согласиться на ту логику, которую мы же так долго разоблачали как человекоедско-

социалистическую: пожертвовать собой ради детей, ради *прекрасного будущего*, претерпеть лишения ради — уже, битые, понимаем — проблематичного результата: всеобщего достатка и довольства, которые уводятся, маня, в неопределенную даль…

Я всё же остаюсь оптимистом в любом случае: создание единого планетарного социального пространства, более-менее унифицированного по ценностям, преимущественно экономически ориентированного, может быстрее на своих общих для всех тупиках поставить людей перед необходимостью осуществления онтологических задач. И если социализм как рай на земле — утопия, то и потребительское общество тоже: потребление имеет предел в ресурсах, они будут истощаться, и новая борьба за них видится беспощадной. История достаточно нас учит: уберем угрозу глобальной военной катастрофы, силы розни, соперничества, эгоистического самоутверждения, раздирающие смертную природу человека, вырвутся в более локальном масштабе, в региональных, межнациональных, межрелигиозных и прочих конфликтах и кровопусканиях. И придет момент, когда для набившего себе массу болезненных «синяков и шишек», может быть, даже вставшего на грань необратимой катастрофы рода людского, наконец, обнаружится самое драгоценное ядро русского послания миру — активное христианство, активно-эволюционная мысль засветится и озарит глубиной своего спасительного, объединяющего в созидании смысла.

(Сейчас я уже полагаю, что человек как существо фундаментально промежуточное, противоречивое, полярное («Я царь — я раб, я червь — я Бог») в ходе истории, исторического воспитания и испытания, развивает обе свои полярные стороны — к добру, созиданию, укреплению источников жизни на пути к ее обессмертиванию, и к злу, идущему от отчаяния в спасении от смерти, прежде всего, к разрушению, растлению, нигилизму. Интересно, что накапливается багаж того и другого. Мировые войны, геноцид, атомные бомбы… соседствуют с уже существующими в человечестве идеями богочеловеческого преображения мира, борьбы со смертью, воскрешения и спасения всех, с массой положительных научных достижений, работающих на понимание мира, его освоение, на творческую мощь человека… Почти всё созданное человеком, подточенным вирусом смертной тоски, является амбивалентным, как и он сам, может служить и благу, и злу. И переламывать этот сомнительный баланс в сторону радикального добра путем, как полагаю, прежде всего обращения зла в добро, только потесняя права смерти в самом человеке, работая над его омолаживанием, удлиняя видовой срок его жизни, вплоть до достижения бессмертия и постепенного восстановления ушедших. Главное уже сейчас — внедрять смертоборческое сознание, сознание того, что глубиннейшей причиной кризиса человека и созданной им цивилизации является его смертность (эта роковая печать его первородного греховного недостоинства), все те грубые и тонкие яды взаимного вытеснения, борьбы, соперничества, отчаяния, цинизма, нигилистического вызова, которые она выделяет. — *С. С.* 9 декабря 2004.)

23 января 1992. Часа, наверное, уже три дня. Москва. Волгина 7

Вчера целый день занималась хозяйством, вечером были гости — Питер Холквист и Ларина подруга Зоя[471], убирали, готовили, принимали их. Разговоры за столом — всё больше о России, о нынешнем моменте. Мы с Гошей, как выражается Лара, стали «большими реакционерами», поняли, как в очередной раз интеллигенция ввергла страну и народ в пучину погибели: страна распалась, отваливается кусками, в тканях ее безумствует, разлагая их, микроб розни, эгоизма и злобных счетов. Самостийные части сбросили с себя узду целого, единого организма и бьются в пароксизмах войны всех против всех. Развалилась система элементарного жизнеобеспечения, маячат ужасные хари голода, холода, озверения. И всё из «благородных» интеллигентских идей свободы, прав человека, из увлечения, совершенно некритического, западными, американскими идеалами и стандартами. И хлынул на нас канализационный слив их массовой «культуры», т. е. сознательно и бессознательно направленной бестиализации человека. На экранах только о вампирах, о совершенных убийцах, о распутстве и безысходности… Видите ли, отбросили как «насилие» и «соц. реализм» идею воспитания человека, как будто в том, что преподносится, нет запрограммированного, жесткого воспитания из него зверя, наслаждающегося и беспощадного. <…>

<…> Вчера вечером позвонили еще из «Лит<ературной> газеты», просят дать текст для анкеты: «Что сейчас читаю, над чем работаю?» А я-то почти ничего не читаю последнее время, даже газеты в дом не приходят. Надо будет воспользоваться этим случаем, чтобы, пусть на мизерной печатной площади, но нечто важное протянуть, из того, что упустила в статье «Нужны ли нам абсолюты?» Относительно недавно перечитывала статью Георгия Федотова «Эсхатология и культура», вот и скажу, что подготовила текст доклада «Odium fati»[471a] как духовная позиция в русской религиозной философии» и перечитывала в связи с этой работой Ницше и целый куст религиозных мыслителей — Бердяева, Соловьева, Фёдорова. И что меня прежде всего интересует активно-творческая эсхатология, путь постепенного преображения, а не разделительной катастрофы. Тут такой может быть план: 1. Доклад «Odium fati…» и круг чтения вокруг. 2. Андрей Платонов: «Счастливая Москва» и неопубликованная его пьеса «Ноев ковчег». 3. Чтение для книги в ЖЗЛ о Федорове, книги нового для меня жанра[472]. 4. И надо что-то из текущей литературы, во что сунула нос. О Платонове: из мира нашей густой социальности, болей униженной национальной гордости окунает он нас в метафизику, в *натуральный* сюжет *тело — душа*, в муки «обездоленного вещества» мира, в «грусть и бедность» нашего жалкого смертного телесного устройства. Когда серьезно вникаешь в мир Платонова, в странности его героев, в юродства коллизий и мотивов, видишь в них трансформацию древних метафизических сюжетов человечества, ткущихся еще из мифов об умирающем и воскресающем боге, из практик трасмутации половой энергии, того же тантризма, движущихся дерзанием преодолеть смертно-природный тип бытия, половую дуальность…

Каким благородством и глубиной дышат эти тексты и как они опошлены в современных интерпретациях на уровне поверхностного и расхожего психоанализа — хотя бы в радиорепликах и писаниях запестревшего на наших страницах Бориса Парамонова: всё-то он шьет гомосексуализм и христианству в его истоках, и Федорову, и Платонову, и полководцу Суворову…

3 февраля 1992 г. Около 12 час. ночи. Переделкино

Вчера привез сюда Гоша — на 24 дня, в коттедж, сегодня ездила за зарплатой, вернулась к позднему послеполудню, день фактически пропал. Вечером перед ужином поворочала свои конспекты, бумаги в привезенных папках, надо браться за федоровское художественно-беллетризированное жизнеописание (для ЖЗЛ), и пришла в очередной раз в уныние: все равно к декабрю не успею, тут годы потребны в эпоху вникать, во все связи и конкретных людей, их воочию представить — я никак к такому не готова, не говоря уже, что это совсем не мой жанр, никогда и не пробовала. Легко впасть в приблизительность, и потом понравилось ли бы такое самому Н. Ф., важнее немногий остаток жизни и сил посвятить его изданию и присущему мне серьезному разговору с современниками — дать видение идеи, а не мучить себя и учителя, вытаскивая его в это псевдо-полухудожественное повествование.

Ладно, брошу, а сейчас раскочегариваться не буду, лучше лягу спать, а за завтра-послезавтра сделаю свой доклад для институтской конференции, надо им 10 стр. текста, а потом, сидя здесь, закончу всякие мелочи, дела начатые и брошенные:

1. Платонова, предисловие к возможной публикации «Ноева ковчега» в «Новом мире»[472a];

2. Предисловие-главку к статье о богословии Федорова (отношение к нему религиозных философов и богословов);

3. Разобрать тут все папки, рассортировать бумаги;

4. Доработать главку «Федоров и современность» в книгу «Путь к древу бессмертия».

Подготовить ее окончательный текст для «Логоса»[473].

16 марта 1992 года. Москва. 15 час.

Сижу, считываю философские статьи Федорова о Канте, готовим с Настей 2 том Собрания, без него Александр Яковлев[474] не желает говорить с нами серьезно, объявлять подписку и т. д. Так мы и работаем пока на честном слове и на одном крыле энтузиазма и втором — долга, нашей, как выражался Николай Федорович, подушной повинности и тягла. <…>

С Ларой всё о политике толкуем — спорим. Завтра должна быть демонстрация и подпольный съезд народных депутатов СССР. А нас так силово втаскивают в единообразный, западный тип. Да, прет сейчас на нас американизм в самом его помойном варианте. Американизм — конечно, наиболее яркий, примитив-

но-простодушный, четкий тип потребительского склада жизни, авангард неоязыческого фундаментального выбора. Примет крупных и мелких много. Часто убедительнее бывают именно мелкие: утверждающиеся вкусы, пристрастия, стили. По телевизору особенно активно внедряют. Много глянцевых рекламных «картинок» идеально отрегулированного потребительского стиля жизни. И очень раздражают — разжигают всякие там желания, рецепторы низшего плана — сексуальные изыски, еда, похоть очес… Мануфактурные штучки-игрушки! Есть и демонические, сатанизированные изводы, насаждение садистских вкусов (тяжелый рок, специфические видеофильмы). Культуру настоящую вытравляют скопом и выпалывают до стебелька.

Кстати, размышляя об идеале всеобщего дела, предлагала я вариативный подход в онтологическом плане: мол, для федоровской идеи не смертелен любой метафизический вариант устроения бытия — с Богом, без Бога, и так, и сяк можно его продумать, принять и осуществить. Казалось бы, то же можно предложить и в историко-социальной плоскости. Вот я некоторое время назад в печати (в «Лит<ературной> газете») раза два утверждала необходимость продумать федоровские проекты для демократического, свободного общества, а не для авторитарно-сакрально-самодержавного (как у самого Федорова) или просто авторитарно-моноидеического, как у его последователей в 1920-е годы[475]. Сейчас же под натиском этой самой демократии, когда воочию, на себе видим и ощущаем, что это такое, как с ней спаян потребительски-индивидуалистический выбор, ценность только здесь и теперь, опять начинаю сомневаться. Пожалуй, действительно, труднее всего будет внедрять Федорова в таком релятивистском, антиметафизическом, неоязыческом обществе. Оно будет просто отторгать такие зовы, такие сумасшедшие, чуждые ему идеалы.

Но ведь и авторитарно-коммунистическое тоже их не принимало и не примет, оно тоже смерти не хочет замечать и тоже по-своему плоскостное, к тому же более эффективное по подавлению чужого. Правда, и демократия, не шевельнув репрессивным пальцем, может напрочь задавить рублем, полным нежеланием внять, отсылом в нелепость и шизофрению. Значит, просто всюду, при любом земном режиме, надо бороться, пробиваться и убеждать. И также, как я четко обозначаю, что значит всеобщее дело с Богом реальным и с Богом-идеалией, тоже надо и социально продумать: как действовать, как вести за собой при авторитаризме и при демократии. Очевидно, по-разному. Но не надо отчаиваться ни при каком варианте. Любовь победит. Не допускать подозрительности, злобы к чужому, будь то мусульмане, или хохлы сейчас (ближайшие взбунтовавшиеся соседи), или коррумпированные демократы (все люди-человеки, все портятся при власти и деньгах).

Вообще и в социально-политической, бытовой плоскости, а не только в метафизической надо культивировать высокое юродство, мутантное (в смысле уже двинувшееся к другому эволюционному типу) отношение: то есть любви, понимания, прощения и, наверное, все большего восчувствия всего мира как родного.

Да, трепещет патриотическая мышца, а почему тебе не родной азербайджанец (которого не хочется любить) или какой-нибудь дальний эфиоп и чилиец… Вот сейчас я страдаю за отечество, за его поруганную честь и славу, т. е. за ближайшую свою родовую цепь, здесь в этой земле погребенную. И возмущаюсь теми же татарами, что навострились на независимость, воспомянули былые страшные кровные обиды от русских. А татарин тебе не брат? В метафизическом чувстве я мутировала больше: да, всех спасти, всех преобразить, избирательность и месть тут противны, «садизм» разделенного Царствия Небесного отвратителен, да, я уже абсолютно убеждена, что главное наше дело: познавать, воскрешать, преображать… А вот в социальном, политическом чувстве далеко мне еще до такой высоты. Во всяком случае, я думаю так: в политике, в розни, в счётах, в накоплении ненависти, в разделениях и разборках не участвовать, пестуя и храня на будущее наши странные юродивые зерна, чреватые всхожестью любви одинаково к ближнему и к дальнему, к хорошему и к плохому. Платоновская любовь к дальнему — из этого будущего чувства и отношения.

2 мая 1992 г. 17 час. 30 мин. вечера

<…> Что же мне надо сейчас доделать за май? Чтобы хоть в июне начинать частично наезжать с Гошей в деревню. Лара будет готовиться к экзаменам в Суриковский институт. Первое — подготовить все бумаги по защите. Да, еще не отмечала, что 15 апреля, т. е. больше двух недель назад, защитилась по докладу (докторская). Один «инкогнито проклятый» проголосовал против, остальные, естественно, — за. Была на защите несколько заторможенная, спокойная, как бы «в рассеянности» философической, себя особенно не раскрывала, в проповедь, слава Богу, не ударилась, *умалилась* до необходимого ритуала. Хотя говорят, конечно, слова: «Блестяще!» и прочее. Пришли даже кое-кто из наших: Оля с Режабеком, Гена Аксенов, Владик Акопян с аспирантом из Гнесинского института[476], который даже речь панегирическую толкнул в дискуссии. И Режабек тоже что-то про «ноосферное движение» и мою роль… Потом устроили банкет а ля фуршет у нас в Отделе. Народу было уйма, постарались Настя, Наташа Корниенко, моя аспирантка Лена Касаткина, соорудили много бутербродов — от с икрой до с ветчиной и сыром, было много водки и даже виски. Подзатесался какой-то дервиш-иммортaлист (знакомый покойного Авдыковича, отрекомендовался), как забрел — неясно, напился и шумел, еле увели. Я побыла несколько дней дома, затем Гоша уступил на свою последнюю недельку Переделкино, где в основном развела канцелярские работы — оформление свершившегося акта — их оказалось уйма: какие-то справки (на десяток страниц), карты для микрофильмирования, текст выступления на защите, ответы на вопросы для стенограммы и т. д. Одурела. И считывала Федорова, просят еще дополнить первый том десятью листами текста. Вроде начал работать над томом некий редактор, хотя нет пока никаких гарантий — ни договора, ни объявления о готовящемся

издании. Всё это в становящемся яковлевском «Пути», а пойдет ли он *путём* — еще не ясно.

Итак, что мне осталось сейчас делать?

1. Надо дособрать «Путь к древу…», окончательный вариант. Связаться с Регельсоном, как он — не отказывается ли? И еще Гоша дал мне телефон главного редактора «Политиздата», ему попробовать предложить, вдруг возьмутся…

2. Сходить все же к директору и главному редактору «Советской России», они сомневаются насчет издания тома Избранного Федорова. Постараться переубедить.

3. Провести или 7 мая или еще через неделю наш Федоровский семинар, это будет последний — до осени.

4. Да, не забыть во вторник в «Сов<етский> пис<атель>» — в связи с версткой статьи о Платонове[477].

5. Приготовить для добавления в том несколько работ Федорова — «Собор», «О соединении церквей» — комментарий там понадобится значительный, хорошо бы к концу месяца управиться.

6. Еще надо оставить в Литфонде заявление на путевку в Коктебель на конец августа — сентябрь (с Ларой хотим). Она — поступит, не поступит, в любом случае ей надо будет чего-нибудь праздничного или утешительного, и небес, красок новых, тем более именно там, где мы и были единственный-то раз всего, лет, наверное, 12 назад, и началась наша с ней любовь, особенно трепетная. <…>

7. Надо еще сходить к врачам до деревни и съездить за травами к травнице.

А в деревне буду доделывать 2 том Федорова и продолжать кусочки биографии вспоминать.

Да, на Пасху ездили на могилку к маме и папе: Гоша, Настя и я, приехал и Боря Процук. А Володя[477a], хоть и телеграмму ему послали, так и не явился, может, стыдится, что так завалил все свои обещания с памятником папе. Я приехала туда первая из Переделкино, сначала даже не могла сразу найти место, так растет население «города мертвых». Вторым прибыл Борис, а Настя с Гошей сильно из-за электрички опоздали. Пока ждали — убирали могилки, а потом я расспрашивала кое-что о родных. Он, правда, много не рассказал, всё сбивался на себя. Уяснила насчет деда: Иван Иванович Попов, в начале века, таки в 1900 году, приехал в Читу из Перми (вроде), был отличным стекольщиком, застеклил все окна Большого острова, по словам Бориса. Бабушка воспитывала детей. Домик деревянный, где и я родилась, — в одну комнату с кухней — построил сам. Я в раннем детстве была очень-очень живая и приветливая, вообще научилась говорить чрезвычайно рано и притом выражалась на редкость сложно для своего возраста.

24 мая 1992

<…> Занимаюсь помаленьку делами полутехническими: сократила статью о Платонове для институтского сборника[478], считываю Федорова и впечатываю туда иностранный текст. Так придется всё лето готовить 2 том. Вот сейчас, если

к следующей неделе более-менее отойду, надо браться за комментарий к «Собору», который пойдет в первый том (просят туда добавить еще листов десять)[479].

И еще: заставляй себя съездить туда-сюда по издательствам насчет «Пути к древу…» и томика федоровского «Избранного»[480]. <…>

22 июня 1992 г. Около 2 час. дня

Парикмахерская. Жду, пока подойдет моя очередь. Вчера уехала Катя Кларк, была дней 12, жила у Гоши в комнате. Уф! Чуть полегче стало, послезавтра Лара защищает диплом в своем МАХУ, надеюсь в конце недели хоть дня на три впервые за этот сезон податься в деревню, подышать и сбросить городскую тяжесть и усталость. Тут еще и Димка с Аллой[481] приехали в Москву, раз заезжали к нам, раз я и два Гоша с ними обедали в ЦДЛ. Наверное, еще заглянут к нам сегодня-завтра. Работа на нуле, была только два раза в библиотеке с Катей. Нашла кое-что для комментирования, считывала пару версток, уже раздражает — всё считываем с Настей верстки, чтобы ничего не вышло[482]. Дикая и корыстная сейчас ситуация в издательствах и на книжном рынке, гонят только всякую муру: детективы, эротику, насилие, мистику, всяких там призраков и вампиров, а серьезной литературы нет или что-то очень однобокое. А ведь мы скорее заплатим деньги за что-то необходимое, а не за одноразовое чтиво. Да собственно, те, на кого такое чтиво рассчитано, и книг-то не покупают, а всё видики крутят. И тем не менее — Роскнига часто вообще не заказывает ни единого экземпляра ничего стоящего. Так, скажем, двухтомник материалов по Платонову в «Сов. писе»[483] совсем затонул: на первый том — заказ 2 тысячи, на второй — нуль. То же с нашим «Космизмом»[484]. А ведь выйди он, тут же был бы скуплен спекулянтами и пошел бы очень хорошо. А так и вовсе не выйдет — выкидыш потенциального бестселлера. Совсем перестала заниматься делами, в смысле внедрения в мир идей, рукописей. И волны забвения сомкнулись тут же: тихо, уединенно, никто никуда не зовет и не приглашает. За время перестройки так и не вышло ни одного издания Федорова. Пошел такой гвалт и околесица всякой всячины, самой бездарной, агрессивно полезли всякие циники, мошенники, «постмодернисты»… заняли все «культурное пространство», вытолкав остальных на обочину или вообще в никуда. Одно, претендовавшее на руководящую монументальность мировоззрение расколото вдрызг, всякий моноидеизм сейчас — «Ату его! Ату!» Торжествует *плюрализьм*, относительность всего и вся, пересмешничество, абсурдизм. Федорова сейчас внедрять — да какое там, заставить хоть кого-то выделить его голос, послушать в общем хоре — и то не выходит! Но мне ли складывать руки в нынешней смуте, пусть и неизвестно, что будет через месяц и год со всеми нами, не заполыхает ли пожар, не затопит и уничтожит гражданский самум… Пусть не печатают, но готовить на будущие времена, но *верить* и пестовать надежду и волю к каждодневному усилию — надо, надо и надо! Вот идет лето, за него, за оставшийся месяц-полтора надо подготовить в основном второй том Федорова и доделать пер-

вый. По существу в них войдет почти всё ранее опубликованное, и надо дальше потихоньку с Настей разбирать, складывать, сортировать неопубликованное.

19 мая 1993. Около часу дня

<…> Три дня назад провели в библиотеке нашей Платоновский вечер. Филиппенко прочел пьесу «Голос отца», мы кое-что толковали о Платонове, пили потом чай с тортами, праздновали день рождения Оли Бабановой[485]. Народу было уйма… <…>

31 мая 1993. 3 часа утра

Через час подъедем к Москве в поезде Кострома — Москва[486], конечно, не заснула ни на секунду. В 9 вечера уходит, в 4 приходит. <…>

Позавчера вечером ходили сначала на концерт Лины Мкртчян — знаменитость, но элитарная, со своим кругом поклонников, в том числе философствующих о ней как об особом культурном явлении. Диапазон сильного голоса большой: от глубокого контральто до сопрано с выходом в фальцет. Каждую песню исполняет как тонко душевно прорисованную, смодулированную сценку, правда форсирует, цыганит моментами — в общем «обнаженная душа», но не без манерности. Я ей вполне без критики предалась — и не без переживания и удовольствия. Исполняла она всё романсы Чайковского, но не запетые. Триумфа особого не было, и певица была в упадке, когда мы к ней зашли после концерта. Правда, потом был фуршет, и она сидела рядом и беседовала с вел. кн. Марией Владимировной и утешилась, сказала какие-то высокие слова и спела вокализ. Я пила сухое вино, ела, с тем, с сем перекинулась парой фраз, но чужой, чужой пир для меня всё это было. Люди сбиты в группы: с одной стороны, кучка историков из Ин<ститу>та истории, с другой — сословная корпорация Дворянского собрания, не говоря уже о самом узком слое вокруг «Ее императорского высочества». Я была сама по себе, только после моего выступления многие встрепенулись, подходили, выражали восторги, сегодня, уже поспешая к отъезду, некая кн. Андроникова из свиты «Высочества» упросила подарить ей «Русский космизм» (мол, ее муж перевел С. Булгакова на французский язык). Конечно — пока поверхностно совсем — узнала нынешних реставрированных «дворян», чуть почувствовала, что за люди. Очень милы Сапожниковы[487], муж и жена-биолог, хрупкая женщина пушкинско-глинкинской эпохи. Муж, Сергей Алексеевич, что меня и заманил сюда, инженер, но выдающийся знаток генеалогий, главный герольдмейстер Дворянского собрания, красивый, умный, заикающийся на выступлениях, когда волнуется. (К сожалению, как мне стало известно, через несколько лет, еще далеко не старый, он скончался, лучшие часто уходят рано — 4 марта 2009, когда я перевожу свой рукописный текст в компьютер. — *С. С.*)

Вчера, в последний день, с утра была на службе в Богоявленском соборе, приложилась к великой всероссийской древнейшей святыне (10–11 век, может быть),

иконе Богоматери Феодоровской, с которой, по преданию, связано множество чудес. Лик совсем уже потемнел, ее и реставрировать как-то кощунственно.

Потом пошла на концерт оркестра Федосеева: мощно, собранно сыграли Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и особенно «Картинки с выставки» в оркестровке Равеля — изобилие красок и выразительнейших звучностей, вплоть до финального многоприступного апофеоза! А после обеда посетила Художественный музей, там, оказывается, основная постоянная экспозиция Ефима Честнякова, я чуть не плакала над его забвенной «платоновской» судьбой и его картинами. Есть и хорошие картины (по одной-две) Саврасова, Коровина, все почти из 19 века, конечно и местные парсуны, и шедевр — изысканнейшая Ветхозаветная Троица в стиле модерн, три прекрасных, женственных Ангела…

Новоселки. 11 августа 1993

<…> Что меня сейчас держит и, надеюсь, будет держать: дети и дело. Любовь к дочкам, к Настеньке и Ларочке! И еще несколько дел, тех, что пока видны: всё же сделать книгу евангельских толкований, стараясь дальше быть живее, еще сосредоточеннее и выразительнее. Написать книгу о трех вестниках[488] и как венец — евангелие активного христианства[489]. Ну и всякие дела текущие: для института по литературе 20-х годов, книгу об Андрее Платонове. <…>

7 ноября 1994. 18 час. Переделкино. Дача

Давненько не заносила момента существования на бумажную память. То доделывала первую часть плановой работы для института «Философская ситуация 20–30-х гг.» для большого раздела «Философия и литература» в новую Историю русской литературы 20 века[490], то несколько дней шла Платоновская конференция, я делала доклад и участвовала в вечере в ЦДЛ[491] (причем вторую половину вела вместо Битова), то писала статью для сборника материалов по этой конференции «Философские мотивы романа Андрея Платонова “Счастливая Москва”»[492], а вот сейчас надо подумать над докладом на группе по *Евразийству и русской идее* (организовалась такая в лоне сектора теории). Мой доклад будет, естественно, на тему «Русская идея в отечественном космизме». Хотела сегодня продумать, да не вышло, уже вечер, весь день фактически занималась готовкой, Гошу ублажала, по телефону говорила с девочками, а сейчас — боль в сердце, надо бы полежать и радио послушать — любимое занятие!

13 декабря 1994. Переделкино. Около 6 часов вечера

<…> Итак, оглядываясь назад на эти пять месяцев — что сделано? Большая работа по философской ситуации 1920-х годов для института, но всё же это вещь вторичная. А также статья по роману Платонова «Счастливая Москва» — более творческая, удачная вещь. Еще доделала для «Лит. учебы» очередной кусок Евангельской истории[493]. <…>

3 февраля 1995. Переделкино

Вчера был такой тяжкий, удручающий день. Шло, казалось бы, чисто галочное обсуждение сборника по Платонову[494] (по последней нашей международной конференции), на него уже и деньги по Фонду выделили, и на компьютере набрали. Но вместо того, чтобы сказать формальное «да» и задним числом пройти через Ученый совет, Чалмаев и Васильев[495] такой пролили яд, пахнуло такой зловонной ущемленной завистью, злобой, что удержаться было невозможно и пришлось (вернее высеклось спонтанно) сказать, какое это производит впечатление. Ну что поделашь, если основные платоноведы страны и зарубежа ни разу не сослались на них и не процитировали, а на Корниенко и на меня — много раз. Мы же не можем их заставить это сделать, да и на какую завитушку в узорном пустопорожье Чалмаева можно сослаться? Или на тенденциозный социологизм Васильева с его примитивными схемами *эволюции творчества* — от ошибок к гуманизму… Если у Васильева Сербинов — выразитель троцкистской идеологии и всем надо принять его якобы «конкретно-исторический» метод литературоведческого исследования и следовать за… А всё остальное — утопить! Как им бы и хотелось! Даже консервативная и ностальгическая по бывшему Наташа Корниенко сказала: да, не дай Бог им вернуться к рычагам, к *пущать — не пущать*, всех задушат, кроме себя и *нужных* или *вышестоящих*. Очень было противно! И такая тут же пошла *Чечня* — все распалились, никто не читал, как и сами рецензенты (в чем признались!), но все были довольны, что бьют.

20 апреля 1995. 17 час. Переделкино

<…> Страстная неделя… и как раз ждут от меня евангельского финала[496]. Казалось бы, совпало, как сейчас было бы к месту, времени, к сердцу и уму думать, писать, переживать… А я остановилась. Как срочное задание вклинилась статья о «Счастливой Москве» для «Нового мира»[497]. Соблазнилась им предложить, а то обидно, что в таком научном мизере (наших институтских сборниках!) пропадают работы. Но тянула-тянула, и когда сборник «Страна философов II» уже на выходе, решилась показать Роднянской[498]. Читал Залыгин, написал, что статья толковая, но озадачился методой-жанром медленного, аналитического прочтения, в котором она написана. Вот и требует добавить, разумеется, преамбулу, поместить роман в контекст, в эпоху, объясниться насчет типа работы, сократить на треть — вот я и забуксовала, стала читать, что было под рукой о Платонове, самого Платонова еще, двухтомник, где моя статья об эросе и поле у Платонова, книгу Геллера, работы Корниенко[499]… Зачем? Вряд ли это поможет мне сделать свое предисловие. Тем более — уперлась — надо перечесть единственную статью-рецензию Нагибина на роман, в 1992 году помещенную в «Лит. газете»[500]. А где ее взять? — при нынешней моей неповоротливости и болезности? В Ленинке центральных газет не выдают, надо ехать в Химки… Вот сегодня Настя обещала мне ее законспектировать. <…>

Как мне разбросать ближайшее время жизни и работы? Конец Страстной, пойдем в Храм на Великую Субботу, завтра надо было бы тоже, да сильно болит сердце и зуб, который уже несколько месяцев барахлит, всё время воспаляется, уже и на десне вскочила странная опухоль — всё никак не попаду к врачу. Надо будет в ближайшее время всё же заняться. А так, Платонова завершить, придется, очевидно, перепечатывать всю статью, так мне будет легче ее сократить, безболезненнее, сбить потуже, до начала мая успеть! А уже за май сделаю последнюю на этот год порцию евангельских комментариев. А уж потом, летом, — плановую работу. Но главное — Настя, Настя и тот, та, кто из нее произойдет![501]

21 апреля 1995. Наверное, после 3-х пополудни. Переделкино

Сижу на веранде, нашей великолепной крытой веранде, сделанной мысом корабля (только на даче Пастернака еще такая, как наговаривал нам местный начальник, Юрий Моисеевич Гольдин[502]). Но я сама себе не нравлюсь. Единственно, когда я в равновесии, это если работаю, пишу, печатаю — да, устаю при этом, да мечтаю, вот закончу, всё сброшу и поживу вегетативно, но только выхожу из жесткого режима, начинаю терять кусками, часами, днями, неделями время (т. е. что значит терять? — ну много уходит просто на жизнь, на общение с ближними, на хозяйство, на едкие мелочи и на оторопь) — и ох, как мне плохо настает!

Вот сейчас — в конфликте с *должным*, в чувстве вины и в какой-то разрухе! Сегодня — Страстная Пятница, а я на этой неделе в Четверг не причастилась (как обычно), правда, мы на случай немощи всё же причастились с Настей и Гошей две недели назад, и вообще еще в Храме не была, и сегодня не выйдет, осталась одна, Настя с Гошей уехали в город, вот только-только с разрывом в два часа их проводила. Хозяйственно крутилась всё утро, единственный *мой* кусок времени сейчас — часа четыре, а мне на той неделе уже сдавать статью в «Новый мир», времени на донышке, не знаю, как и успею. Ладно, пойдем уже завтра все на Крестный ход. А сейчас прочту в Евангелиях всё, относящееся к сегодняшнему мистериальному дню. Это мне как эпиграф ко дню, как внутренний камертон, а потом начну что-нибудь набрасывать к статье о Платонове.

22 августа 1995. В электричке из Переделкино в Москву

<…> Позавчера у меня была моя аспирантка Катя, сидели с ней в саду — до одурения читали и разбирали платоновский «Рассказ о многих интересных вещах». Вещей там интересных, действительно, накидано полно, такой «первичный бульон» платоновского творчества, и плавают в нем «зародыши» его будущих типов, идей, сюжетов… Ищет еще свой тон и стиль, тут пробует сказово-народный, чуть ерничающий, сочный, живописный… <…>

17 ноября 1996. Переделкино. 15 час. 30 мин.

Что же — совсем коротко — за это время было? Работа, работа и еще раз работа — непрерывная, всё на одном месте, никуда не ездила, а время в таких однообразно-повторяющихся обстоятельствах, как известно, бежит-утекает неисследимо-стремительно. Делала в основном свою плановую работу для института, но совсем не в том количестве имен, как было заявлено. Застопорилась на Маяковском, пока прочла-перечла-передумала его, да огромную еще литературу вокруг перелопатила — тут не схалтуришь, всё же у нас целый сектор Маяковского, всю трудовую жизнь его одного обсасывают. Сделала довольно большую о нем статью, листов около пяти, да еще освежила главу о Заболоцком[503]. Окончила это всё, сдала на той неделе, теперь должно быть обсуждение, а там впереди международная конференция по Платонову[504], у меня доклад первый в первый же день: «Виды любви в “Счастливой Москве”». Ответственно. Надо сейчас пособображать, подготовиться. Еще участвовала в конференции по Даниилу Андрееву, делала доклад «Даниил Андреев и русский космизм» — небольшой из него кусочек опубликовал «Новый мир» в круглом столе…[505] <…>

Вчера Гоша принес мне статью о современных компьютерных формах секса: он становится всё более свернутым на себя и на призрачный возбуждающий образ. И прогноз, насколько изменится любовь половая, впрочем, какая уж половая в будущем — чуть ли не поголовно все перейдут на самоудовлетворение с помощью разной тонкой машинерии: спецкостюм, наушники, очки и т. д. Платоновский «Антисексус», да и только. Я Гоше: вот видишь, до какой степени цельно реализуется фундаментальный выбор этого общества: остановиться на чувственном ублажении данного, «падшего» человека и на «культуре», как в широком смысле мнимого, искусственного, а сейчас и пошло-примитивного «воскрешения», восстановления жизни… Создается законченное царство мнимости и иллюзии, как у Брэдбери в одной из его вещей о будущем, и полного при этом отъединения людей друг от друга — не нужен уже даже единственный, любимый. Как дьявольские деньги в сказках и легендах: вот они, новенькие, дразнящие, хрустят, блестят, обещают тысячи удовольствий, ан, дунул, и исчезли или превратились в груду сухих листьев. Так что нечто грандиозно-тотально-дьявольское сооружается.

И Федоров закономерно: «целью жизни будет спасение от культуры»[506], такой культуры, что, городя на одной стороне все эти великолепные мнимости и искусственности, на другой — приводит к вырождению, хирению живого человека и живой жизни. У него, напротив, превратить всё искусственное в действительное, искусство — в творчество жизни, выйти в реальность полную, предельно достоверную и живую. Ведь первое, что созидает это сатаническое впечатление эфемерности и призрачности, — смерть, что вдруг, в мгновение ока, превращает в ничто целого уникального человека (или живую своеобычную тварь), а потом уносит все следы, всякую память о них, во всяком случае о подавляющем боль-

шинстве, кроме горстки культурных избранников. Были — не были, жили — не жили! — вот она, основа химеричности и призрачности бытия! Недаром и смерть по ведомству врага рода человеческого состоит.

Федоров — единственный из людей, кто так радикально и четко предложил человечеству другой выбор: торжества реальности, всего жившего, живущего и могущего жить; вместо призрачности, миража жизни земной (вот еще грохнет какая-нибудь природно-космическая катастрофа, и рассыпется она в беспредельности, как не бывшая!) ее утверждение в вечной реальности, ее обессмертивание. Настоящей реальностью может быть только обоженная, неразрушимая реальность, владеющая своим бытием.

Тут, в нынешнем фундаментальном выборе, — упор: изощрение наслажденческих рецепторов в пространстве фантомальности, искусственности. Там, в активно-христианском выборе, — жизнь, безграничная, персональная и вселенская, реально радующаяся в творчестве и любви. Тут — торжество обманной химеры, там — обоженной жизни.

20 ноября 1996. Переделкино. Среда. Около трех часов дня

<…> 26 ноября, в следующий вторник, будет уже третья международная конференция по Платонову. Вся она посвящена «Счастливой Москве». Я заявила тему: «Виды любви в романе». Вот эти последние дни, пока Настенька собирает 3-ий том Федорова, я кое-что читала о любви и эросе, из того, что в доме было: Соловьева, Бердяева, Вышеславцева, Юнга… Самого текста романа здесь, в Переделкино, нет, Наташа[507] должна принести завтра. Сейчас ей позвоню — напомню. <…>

27 ноября 1996. 14.30

Сижу в Литинституте на конференции по Платонову. Льется какая-то докладная чушь, отсиживаю. Вчера выступала первая у нас в ИМЛИ, похоже, слушали и был успех. Многие подходили, зовут читать лекции и спецкурсы в другие города, но подъема нет, ни легкого, ни тяжелого. Хорошо только не сдвигаясь дома, в Переделкино, с дочкой и внучкой в тихом сосредоточении занятий и писания. Не хватает только Ларочки — оторвалась в свое стоически-аскетическое тягло. Надо ехать в Вильнюс на конференцию[508], уже 5 декабря быть там, дала согласие, объявила тему, а сейчас совсем, честно говоря, неохота. Не знаю, как кости лягут, воля и обстоятельства куда склонятся. Там надо будет говорить об единстве русской литературы в XX веке, надо найти свое склонение и набросать хотя бы план своего выступления.

Что я могу? Наверное, о философском содержании литературы, может быть, даже только поэзии. Дать некий устный супердайджест моего большого раздела «Русская идея, пролетарский мессианизм и поэзия 20–30-х годов»[509]. Сначала о русской идее, об активно-эволюционном направлении мысли, затем несколько

слов о пролетарской поэзии, о новокрестьянской, разница между ними и некий мировоззренческий пафос прометеизма, затронувший и поэтов деревни. Тут же и Маяковский, и Заболоцкий.

1 марта 1997. Переделкино. Около 6 вечера

Схлынула напряженная неделя. Писала для институтского сборника статью о Платонове «Виды любви в “Счастливой Москве”»[510], развивала свой доклад на прошедшей осенью прошлого года конференции. <…>

13 марта. 10 утра. Москва

<…> Да, поняла, чего это я так много вожусь с Леоновым[511], за что в него влипла. Не столько за его мировоззрение — тут Платонов мне ближе, и даже не за чисто писательскую мощь (много на Руси гигантов!), а за его *ум*, за интеллектуализм, разветвленный и изощренный, и за то, что умеет так же изощренно, на идеально-теоретическом пределе человеческой возможности выражения мысли, передать свое видение и понимание…

13 октября 1998. Около 6-ти вечера

Жду Настю с Верочкой[512] из детсада. Целый день, перемогаясь кашлем, приступом сердцебиения, общей слабостью (*хвост* ли болезни или еще ее *тело*?), перепечатывала дневники начала 76 года, времени моего единственного пребывания в доме творчества «Внуково». Сломалась клавиша на механической моей, портативной машинке, верной старушке. А кто сейчас мне поможет в век-то компьютеров? Начала шарить по дому, с трудом, под каким-то тряпьем, нашла старый, чуть ли не начала века, Мерседес. Прочная вещь! Оказалось, работает, дай Бог, послужит и выручит!

Вчера поздно, до часу, смотрели Пресс-клуб о баркашовцах и вокруг — о русской идее. Гошу приглашали — не пошел, решил не светиться на такой теме, меня не звали, я им совсем не в дугу! Был Лимонов, обиделся, что не дали ему раскрыться, обозвал всех линялыми, пыльными либералами и вообще досрочно отбыл. Но всё же донес главный свой лозунг: национализм плюс большевизм — полное внешнее совпадение с пореволюционным пафосом, каким-нибудь национал-большевиком Ширинским-Шихматовым[513], но без его культуры, понимания вещей и федоровских глобалий. Пожалуй, перестану смотреть эту передачу вовсе, очень раздражает, уровень низкий и апломбный одновременно, все думаешь и во время и после, что и как бы сам сказал. Что уже — возмущение спокойствия, которым я сейчас больше всего дорожу.

Чуть получше себя чувствуешь, подмывает высовываться, активничать — а то совсем ушла в затвор, в немоту общественную. Но тут же понимаешь, что важнее побольше продлиться и сделать то, что для меня сейчас возможно в полуинвалидном режиме, а это — минимум выезда из дома, минимум общений, даже по

телефону, и только самое необходимое, связанное с Настей, Верой, домом, и самое необходимое дело: цикл моих теперешних литературоведчески-философских работ, институт, грядущее в следующем году участие в столетних юбилейных конференциях по Платонову, Леонову и Набокову, а там к декабрю и Федоровский музей возобновит работу[514], хотя бы раз-два в месяц придется там проводить семинары, людей собирать… А что пытаться истошно пропищаться в нынешней будто бы «идейной» какофонии, всё равно не услышат сейчас, не то время — *выживают*!

19 октября 1998. 10 час. 30 мин. утра. Понедельник

<…> Сколько я наработала и всё лежит! А тут грядут столетние юбилеи и Леонова, и Платонова, и Набокова — о ком у меня неопубликованные работы. Надо бы поднять свои старые связи с журналами, наксерить статей и попробовать попредлагать. Но социальная мышца себя продавливания в печать у меня за нескольколетнее бездействие совсем атрофировалась. Никак не возьмусь за это. Может быть, на следующей неделе, когда уедет Гоша в Болгарию и буду предоставлена больше себе, своим проблемам…

Зовут в Вильнюс на начало мая на конференцию по Пушкину[515], надо будет поехать — там так человечески тепло, уютно, благодарно, да и надо в пушкинский год сосредоточиться на нем умом и сердцем. Тему просят. Может быть, что-то вроде «О смерти и “воскресительной эротике” в творчестве Пушкина». Кстати, узнать, не будет ли у нас в институте конференция по Пушкину, и выступить там с аналогичным докладом.

12 июля 1999. Девятый час вечера

Лежу на раскладушке в садике за домом в Новосёлках. Здесь уже с самого начала месяца, Настенька держит пост в Переделкино, Ларочка в Москве, а я тут с Гошей. <…> Выписывала кое-что из «Военных рассказов» Платонова — готовлюсь написать о них статью, в сентябре большая международная конференция, там и доклад, а потом текст в сборник[516]. Одновременно перечитала статьи Федорова о западных философах, думаю написать новую главу в возможное переиздание моей книги о Федорове в Рязани[517]. Но вероятность не шибко большая, в конце августа собираемся туда поехать командой с заездом на места рождения и детства Николая Федоровича: в Ключи, Сасово…[518] <…> Хочу досидеть здесь до двадцатых чисел, еще дней десять, потом вернуться в Переделкино, помочь Настеньке, пообщаться с Верочкой и пустить их сюда, в деревню, а я уж тогда окончательно буду оформлять то, что здесь вчерне набросаю, если получится, по Платонову и Федорову.

29 июля 1999. 12 час. 20 мин. утра. Переделкино

Дожди третий день, прокисла, сидючи тут, в семейном сиропе, при Гоше непрерывно, при чтении безотрадного и временами (частыми) отвратительного до тошноты Ницше[519].

Позвонил полчаса назад Юра Кирьянов[520], за 10% стоимости, всего за 800 рублей едет в Алушту — путевки были на юг, и я видела объявление, да не сделала решительных шагов, не зашла даже в бухгалтерию, чтобы узнать, как и что и почём… А как было бы хорошо вырваться из рутины моей трудово-семейной: непрерывное чтение, письмо, домашнее хозяйство, Верочка (это, правда, отрада!) — на волю, организм встряхнуть, и о чудо! окунуться в море. Жгучий укол сожаления — сейчас уже поезд ушел, все путевки разобрали… Вот какой я — *раб забот*, не хватило воображения — надо было тут же ухватить, еще в июне, когда была в последний раз, перед отпуском, в институте.

Значит, если буду жива, на следующий год, если опять же будут вновь путевки на юг, тут же не зевать! И еще зимой — попробовать куда-нибудь, в то же «Узкое» хотя бы, впрочем, не очень прельщает! Нужно летом, на юг, негу, пейзажный и прочий контраст с тем, что здесь!

А пока, раз уж так вышло, нужно из наличных, внутренних резервов и ресурсов сейчас собраться и как-то себя обновить или по меньшей мере оправдать именно такой расклад жизни.

Начать интенсивно работать, забыть, что сейчас отпуск, — скорее в деревню с Гошей, пусть любая погода, всё же там жизнь натуральнее, чище, отдохновеннее, отрешеннее — от города, телефона, телевизора… Дней на 12–15, пока Настенька с Верочкой созреют ехать туда же, меня сменить, точнее — пока Настя не сбросит последний том своих комментариев[521]. За это время написать черновой вариант работы «Федоров и Ницше»[522], а когда вернусь, то натюкаю его на машинке, и, может быть, смогу *перед* покороче пробежаться по его отношению к другим мировым философам. И тогда уже в самом конце августа — начале сентября всё же съездить в Рязань и на родину Федорова, в Ключи, как планировалось. А перед самыми Циолковскими Чтениями[523] денек-два подумаю о теме, там объявленной, и перед Платоновской конференцией особенно набросаю первый вариант статьи о его военных рассказах.

Да, в деревне надо будет досчитать набор «Глаголов вечной жизни»[524] и в сентябре-октябре, замещая Настю по дому и заботах о Верочке, освободить ей время перенести мне правку и еще сканировать сокращенный вариант моей части для Истории русской литературы.

И только потом, уже с ноября-декабря, начать нечто новое. Таково идеальное расписание ближайшей жизни, дел выше крыши, так что не терзайся, что не едешь к морю. Вместо натурального моря — в море работы, бух!

9 августа 1999. 18.30. Новоселки

<…> Хорошо Гоше — пишет свои свободные медитации, любое впечатление переваривает, присев на пенек с машинкой под руками. Всё ему — в его тигель, он заинтересован и меня разговорить, чем-то попитаться, потом это занести и развить. Вот как сегодня о Ницше, о Федорове, о Набокове. Признался, что все мень-

ше тянет его в церковь, в религию, в метафизику, другое дело — за миром вокруг наблюдать, за лучиком, пташкой, листочком… Я: Совершенно это естественно, к исходу из этого этого мира особенно открывается *ненасытимое*, *прощальное зрение* (слова Набокова). И рассказала ему вкратце свое видение этого писателя.

Кстати, и я, пока была молода, не особо замечала всяких там цветиков вокруг… Что там внешний мир, когда сам весь в таких крутых страстных сюжетах живешь, переживаешь, страдаешь, так сцеплен с другими… А сейчас всё больше ушло в один орган чувств — в зрение, в созерцание многообразия мира: смотри, наслаждайся мимолетным, мгновенным, единственным — вот этим облаком, живущим в своей конфигурации минуту, этими белыми бабочками вдали, этой странной красотой цветов, этими «божественными» деревьями, тихим шумом ветра, прожужжавшим насекомым, пискнувшей птичкой… Кстати, *такого* возможно больше не будет, в Царствии Небесном чаем уже другой, духовной, вечно пребывающей красоты. Да, вот тот же Набоков внутренне презирал неуклюжие, жесткие громады метафизических конструкций рядом с таким тихим и страстным вчувствованием в мир, видением его в поразительном объеме и цепкости. Это для него — аристократично, тонко, а *громоздить пелеон* философии *на оссу* метафизики — брр… как грубые железки перед таинственной, неисчерпаемой органикой…

Да и Платоновские основные сомнения шли по этой тропинке: да, трудовое, сотворенное, насквозь нам ясно и проницаемо, но природное, рожденное — как оно глубоко, неисчерпаемо, сумеем ли с ним достойно потягаться?! И Федоров сам глубже всего, когда *органически* мистичен, когда зовет у природы учиться органосозиданию, у нее допытаться тайн ее творящего стана, чтобы по ее образцу оседлать инстинкт, довести его до сознания и управляемого творчества… <…>

21 сентября 1999. 12.40

Сижу в президиуме заседания секции «Философские и литературные контексты творчества Андрея Платонова» юбилейных Платоновских Чтений, веду его с Хансом Гюнтером[525]. <…> На открытии выступал Битов, я тоже говорила удачно, уже немолодая сотрудница отдела зарубежной литературы нашего института подошла ко мне с некоей малой толпой взволнованных моим докладом и сказала, что пишет об антиутопии, прочла всё, что у меня есть о Платонове, считает самым ценным из всего, что о нем писали, и что-то вроде того: мол, гордится она, что я в институте работаю… Это я специально заношу не из бахвальства, а потому, что мне радостно восценение моей работы именно в стенах ИМЛИ. Постепенно-постепенно авторитет нарабатывается. Во всяком случае, слух обо мне как о блестящем ораторе распространился по институту достаточно широко, в этом году я выступала почти на всех институтских конференциях, и народ сбегается…

Сейчас у меня самой (вынося за скобки то, что выше, то есть *случай* и *превратность*) внутреннее состояние неплохое, все мои занятия — безусловны для

меня, приданный мне воз дел катится неуклонно. Вот с этой платоновской конференции почти кончается мой публичный сезон. Правда, еще на октябрь пришлось согласиться докладывать на конференции по Даниилу Андрееву[526], причем хотят, чтобы я выступала первая. Конференция «Д. Андреев и Пушкин», ну я и ляпнула то, что на поверхности: «Идея вестничества у Д. Андреева. Миссия Пушкина». Надо сочинять им текст, будут издавать. А ныне еще придется срочно писать статью о военных рассказах Платонова для материалов в очередной выпуск «Страны философов». Но пока всё отставлю, дочитаю верстку «Глаголов вечной жизни», буду больше помогать Насте по хозяйству, чтобы она могла перенести правку. Вообще первая сейчас забота — эта книга, связаться с художницей, с издателем. И дожимать! А потом надо сокращать блок работ по истории литературы (это часть моего институтского плана). Всё это, включая статьи о Платонове и Д. Андрееве, надо бы к октябрю-ноябрю завершить и вернуться перед новым 2000 годом к приведению в порядок дневников. Впрочем, вряд ли последнее особенно удастся — надо дописывать куски в возможное переиздание книги о Федорове.

За лето написала большую, на два листа, статью «Ницше и Федоров», теперь надо вообще о западно-европейской философии, о Канте, Гегеле, Шопенгауэре, как Николай Федорович их видел… И будет готов раздел, которого у меня не было в первом издании. Начну перечитывать Федорова по нашему (Настиному прежде всего) полному изданию — прежде всего последние три тома, надо обогатить и плазму его жизни, кое-что уточнить, развить, дописать… Ну и что-то навалят ведь как институтский план. Так я тут, отвлекаясь на доклады, частично их одним ухом слушая, пытаюсь набросать главное для меня: объем и содержание лежащего передо мной на ближайшие месяцы труда. Жизнь редуцировалась до исследовательской, творческой работы, уединения в Переделкино (уединения, конечно, не полного, а в расширенном семейном теле с Настенькой, Верочкой, Гошей и *телефонным* по-преимуществу оторвышем-Ларисой). И это хорошо! — так могу передать свое внутреннее ощущение своей теперешней жизни. Только бы Господь пронес несчастья, болезни…

Ну вот уже 15.30

Началось второе, вечернее заседание. Книги, что взяла, раздарила. <…> До чего вчера освежающе было слушать в Лит. музее наших современных писателей о Платонове — Маканина, Кима, Василенко и других. <…> А завтра опять в Лит. музее будет заседание — так что можно будет внимательно рассмотреть умную выставку, посвященную Платонову, и лишь кое-кого из любопытства послушать: нашу Ирину Ивановну Гомину, Светлану, дочь Наташи Корниенко[527]. Там будет куда сбежать! А сейчас удаляюсь…

1 марта 2000. 17 час. дня

Так жалко из налаженной работы выходить, вот как сейчас. Пересматривала, перечитывала большими кусками «Тихий Дон», делала выписки из романа — необходимый для меня этап перед тем, как собрать мысли и ощущения и начать писать[528]. Так тут Наташа Корниенко подсунула отделу заботу: прочесть № 1 за этот год воронежского журнала «Подъем»[529], тематический выпуск, посвященный «новым реалистам», и обсудить его в присутствии тех из его авторов, кто сможет, — с тем, чтобы соорудить вроде «круглого стола». Вот уже третий день помаленьку одолеваю тексты: читать быстро не умею, да и глаза болят. Вот еще не дочитала. Но надо собрать хоть кое-какие впечатления: завтра утром уже обсуждение, и я не успеваю.

Первое впечатление: это целое писательское поколение, рождения примерно от 1960 до 1970 — мне в дети годятся! И все, как правило, выпускники Литинститута, чувствуются одни формирующие влияния — да хотя бы Володя Смирнов, там уже давно ставит вкус и вырабатывает предпочтения!

Литература вообще отслаивается поколениями. Эти ребята ставят себя в оппозицию ко всей той шумной постмодернистской (условно говоря) ватаге, что выбила себе место в центре подиума общественного внимания, кого и за границей знают, переводят, и премии дают денежные да престижные. А они — реалисты, с определением «новые». И понимают реализм как магистральное направление русской прозы, с ее «требованием истинности, подлинности, а не достоверности» (Олег Павлов. О реалистическом духе русской прозы), с ее метафизикой и духовностью. А Павел Басинский — как доверие к Божьему миру, его приятие («не изучать», «не измерять», но отражать замысел Творца по возможности «в тех формах, в которых этот замысел уже состоялся в мире»). С Басинским, конечно, можно поспорить — мир-то искажен грехопадением, в нем царит больше гримаса смертной, самостной, убивающей и вытесняющей твари, чем Божья милость и улыбка… Но и внедряться только в эту гримасу и судорогу, в низость и подлость человеческую, в его жалкую слабость, как в основном происходит даже у самого большого, или точнее, известного таланта этих новых реалистов — у того же Олега Павлова, — это ли новый реализм, реализм высшей пробы?! Таких жестоких, да еще и цинично-бесстыжих разгребателей и нагнетателей грязи и вони полным-полно и в той другой, постмодернистской литературе, которой новые реалисты себя противопоставляют. Достаточно вспомнить таких ее монстров, как Сорокин или Виктор Ерофеев.

А вот вспомним определение реализма у Михаила Пришвина: «У нас понимают под реалистом обыкновенно художника, способного видеть одинаково и темные, и светлые стороны жизни, но, по правде говоря, что это за реализм! Настоящий реалист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное, и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону и только пройденный в эту светлую сторону путь считает реальностью»[530]. И освещает себе этот путь *правдой*, т. е. должной истиной. Забили

соц. реализм — и во многом поделом, хотя в нем-то именно этот импульс и был. Правда, в поверхностной социальности, а не в глубоком метафизическом разрезе. Новые реалисты уже начинают работать в этом разрезе, в онтологической шахте. Почти все, если не все рассказы и повести здесь — о смерти, да и философские рассуждения Владимира Варавы о том же, правда, тот на риторическом еще пока уровне утверждает, что русская душа и дума — не просто о смерти, но о ее преодолении, поминая при этом «гениального» Федорова. Да Отрошенко понимает свою творческую задачу как воскресительный акт того, что в глубинах его памяти: ушедших стариков он воплощает в слово, в картины, запечатлевает на свою относительную художественную вечность. Олег Павлов рисует страшные смерти в зоне, в караульной роте, Вас. Голованов («Ствол, подпирающий небо») — готовящегося к последнему переходу героя. Их привлекает больше смертный, *гробный* лик мира, изнанка его (экзистенциальные уроки!), чем его лицо, цветение, весна, эрос… Любви вообще нет — разве что в органично-мастерском рассказе Вас. Килякова «По шее пирогом», да и то оба, и жених, и невеста гибнут до свадьбы в колодце и уходят в жалостливую деревенскую легенду. Значит — копают с метафизическим заглублением. Но как недостает литературе того, что имел классический реализм у Пушкина, Достоевского, Толстого, — выхода в *светлую сторону*, творчества добра и идеала, отыскание опор веры в человека, *обнадеживания* его.

Вот Светлана Василенко подходит к прозрению: такого *не надо*, и тогда и близкие не умрут — стягивает она, действительно, зависимые вещи, связанные воедино: путь преображения естества и жизни.

Басинский только отмечает игнорирование опыта русской религиозной философии XX века, открывающей перспективы преодоления «кризиса сознания», но не раскрывает. Тут уже выход из отчаяния и трагического стоицизма через обращение зла в добро, без чего, скажем, невозможен мир Достоевского, его религиозно-нравственный дух. Преодолеть заклиненность на зле, несовершенстве, человеческом убожестве. Спасение всех, мощный онтологический демократизм, который был и есть в идее апокатастасиса, исповедовавшейся русской религиозной философией и подспудно жившей в литературе. Клюев, Платонов, Даниил Андреев.

Укорененный предрассудок, что зло и грязь живописнее добра, чистоты и света. Но тут необходимо расширение творческих поисков, дерзаний, мобилизация тех сторон таланта, которые мало пока востребованы и развиты. Увлекательно представить добро, преображение, восхождение в новую природу — тут воистину еще художественная terra incognita. Дальше и успешнее всех в ее исследовании продвинулась, пожалуй, музыка…

21 марта 2000. Около 3-х часов дня

Вот одна из фраз в записной книжке Платонова за 1935 год: «Человек, захотевший победить СССР, — и питающийся научно, химически, чтобы прожить

500 или 1000 лет, — и пережить всех» (с. 159 по изд. «Записных книжек», М., 2000). Каким далеким казался возможный прерыв советской истории, выход из СССР — от полу- до тысячелетия, так глубоко-безнадежно сидели в своей эпохе, так крепко было всё схвачено строем. А как легко и быстро оказалось! СССР прожил среднюю (для того времени) продолжительность жизни отдельного человека: 70 лет! Как-то оскорбительно мало для гордости рабоче-крестьянской, народной власти! Подвела предательская интеллигенция, как всегда!

Какое же сегодня число? Могу сказать лишь, что среда и около 9 утра

Опять на прогулке, с записной книжкой и ручкой, вот и пишу. Завтра надо в институт, не была там недели три, а то и четыре, вышел толстенный, убойный последний номер «Страны философов»[531], завтра будем чай пить, отмечать. А у меня вчера к вечеру после лихорадочной готовки еды к приезду Насти с Верочкой заболело опять сердце и левая лопатка. Надо как-то изгнать ее, вот хочу сегодня — пока воздухом и движением.

Вчера окончательно доделала отдельную главу о Хлебникове, примечания к ней домучила — выделила его из лона Маяковского на самостоятельную жизнь[532]. Конечно, зачерпнула только какую-то часть его духа и поэзии — на всё надо годы изучения и… монографию. Правда, еще надо считать и прочистить текст, но оставляю это на потом. Хочется отдохнуть — т. е. сменить предмет занятий и думы. Сейчас мне надо быстренько написать печатный лист предисловия к сборнику Платонова в «Детской литературе»[533] — перечитать сначала те вещи, которые туда отобрали по программе, увы, кроме «Котлована», не самые-самые…

31 октября 2000. Вторник. 9 час.

Перечитываю Платонова — «Сокровенного человека», «Котлован». Особенно силен «Котлован». Как метод тут, если заниматься такими грубостями-глупостями, — явно гротескный экспрессионизм с элементами сюрреализма… Конечно, его глубоко разочаровал ход и последствия революции. Остались без Бога, но зато с темным народом, который в своих выскочках вооружился *генеральной линией* и *директивой*. Уста младенца открывают истину момента, только в них и звучит постоянно *Сталин* как лозунг, увенчание эпохи, всего, что в ней творится. Основные герои, каждый из них — носитель *своей* народно-сердечной *мании*, это никак не образы и не характеры, разве что некие типы русского человека (и то просвеченные, вылепленные лучом авторской метафизики). Надо глубже дать Прушевского, интеллигента — кстати, в первых изданиях больше всего купировали текст вокруг него, где были платоновские юродивости вокруг секса и эроса, как убирали и вовсе «дикое» для современного человека: сцена складывания костей умершей матери Чикиным в мешок для умирающей Насти.

Около 17 час.

Прочла сейчас три рассказа Платонова, в том числе «Возвращение». Какими же надо быть злостными извращенцами, гнусными лицемерами, чтобы в этом пронзительном, чистом рассказе увидеть *грязь* и *клевету*, как до того опустился Ермилов и другие. Поразительно сильный финал — эти бегущие за поездом дети, эта вспышка в душе Иванова, обнажение его сердца!

Вот сегодня осталась одна дома, Гоша уехал в институт, Настя — в библиотеку, ну и засела за телефон. Позвонила в «Независимую» узнать, не напишут ли рецензию[534]. Подошел тот, кто отвечает за Ex-libris, Гоша мне говорил о нем: из новейших, *гнилых*, циничных, из постмодернистов, с Гачевым и то сквозь зубы. И со мной так же: мол, у них уже эта книга есть, издательство прислало, и что с ней будут или не будут делать, еще не знает, не разобрались… А меня внутри — холодом: куда сунулась, ведь если и возмутся за рецензирование, то в стиле Ермилов о Платонове, вывернут наоборот и наизнанку, похихикают, поёрничают, а то и еще чего похуже… Так что будь готова — здесь ты не властна над раздраженной злостью всей этой публики ко всему серьезному и глубокому… А тут еще и женщина, Светлана Семёнова, дерзает предлагает публике свою «Жизнь Иисуса» — помню, как они что-то в своем хохмаческом духе писали о моих «Тайнах…». А ежели дадут специально в руки какому-нибудь Гаврюшину или Кураеву… Кто-то мне недавно рассказывал, как Кураев пишет в своей книге[535] о сатанизме Вернадского (?!). Тьфу, тьфу!

Перепояшись, матушка, терпением и спокойствием!

1 ноября 2000. Переделкино. За два часа дня

Сижу на бревне у дома — месяц-предзимник пошел, а на улице плюс 13, правда, сегодня магнитные бури. Все утро ушло на уборку и готовку еды — у нас с нашим старым утилем в виде пишущих машинок возится мастер, и его предстоит накормить. Жанр давно отошел и умер, кто сейчас работает на пишущих машинках, много ли таких старых грибов, как мы с Гошей? Все давно сидят за компьютером. А это сын старого мастера, который нас несколько лет обслуживал и умер года полтора назад, и вот его сын — «по старой памяти» к клиентам отца — нас навещает. Но для меня это потерянный день.

Вчера совершила некий малый акт выбора, освободилась от стягивавшей меня ненужной узды — обязательства написать предисловие к изданию Платонова в «Детской литературе» для старших школьников. Но мне совсем не хочется целый месяц себя мучить, выписывать, как полагается, *от* и *до* с биографией и творческим путем, да еще и *умаляясь* в сложности и стиле (для школьников же!)… Взяла и позвонила, и отказалась, найдя предлог в срочной подготовке к печати 5 тома Собр. соч. Федорова. И вот хоть малое, но счастье свободы. Даже из Платонова уходить не буду, но займусь тем, чем никто еще не занимался (при всей армии платоноведов и критической индустрии по поводу — чего стоит по-

следний юбилейный выпуск «Страны философов» на 60 листов!). В любом случае мне надо готовить текст моих платоновских штудий в предполагаемую «Метафизику русской литературы»[536] или в отдельную книгу о Платонове, когда соберу всё свое.

Революция — момент сугубо *серьезного* отношения к жизни, к возможности ее реально и глубоко изменить. Серьезность в нашей революции доходила до борьбы против Бога, до честного неверия, до желания попробовать *самим* действовать в мире в направлении его преобразования и гармонизации. Быстро, конечно, споткнулись о собственную жалкую, недостойную природу, о еще одно глубочайшее сомнение в самом человеке, в действительную его способность осуществить свои идеалы и проекты…

Надо написать книгу о русской философии в разрезе ее главных богословских идей, явивших принципиально новый этап в Богопознании и опознании роли человека в мире. 1. Богочеловечество. Синергия. 2. Условность апокалиптических пророчеств. 3. Всеобщность спасения. 4. Активно-творческая эсхатология. 5. Всеединство, всех-единство. 6. Соборность. 7. Активная эволюция от зверочеловека к Богочеловеку. 8. Идея лествицы, пути, постепенного восхождения — анти-катастрофизм. 9. Преображение. Может быть, и София.

12 ноября, воскресенье, наверное, часа 2–2.30 пополудни. Переделкино

<…> Неприятие смерти, чаяние бессмертия существует как бы в двух типах, обусловленных характером человека и творца. У Лермонтова (как у Маяковского) эти чувства взращены титанизмом собственной личности, восценением своего уникального «я», у Пушкина (и Платонова) — связаны с ощущением родовой солидарности, с данной им благодатью любви и сочувствия к другим, близким и дальним братьям и сестрам по человечеству. Наиболее глубоким и последовательным выразителем второго типа был Николай Федоров. <…>

30 мая 2001. 2 час. утра. Переделкино

<…> Новая постановка проблемы смерти (в повороте ее преодоления) была распахана в 1920-е годы и тем усиленным, предельно усиленным кровопролитием, массовым опытом убийства, трупной реальности, в которую окунулась страна в революцию и гражданскую войну. Никогда не был таким массовым мотив убиения другого, расчленения его, яростного, мстительного, какого-то страстно-дико-первобытного, который разлился в литературе 1920-х годов и у Всев. Иванова, у Артема Весёлого, Бабеля, Серафимовича, Шолохова… — можно перечислять почти всех крупных творцов. Может быть, написать что-то вроде «Метафизические темы и мотивы литературы 20–30-х годов»? Тут и опыт убийства, и парадокс человека, и преодоление смерти (от Горького до Платонова), и мотив воскрешения…

23 августа 2001. 0 час 35 мин. Новоселки

Фактически наступило шестидесятилетие моей жизни. Все, т. е. Гоша, Лара и я, разошлись по своим отсекам, но еще не спим, перебрасываемся словечками, радуемся, Лара преобразила избу, привезла красивые занавески на все окна, на проходы между условными комнатами, на самодельный платяной шкаф и еще покрасила белой краской горелую ободранную дверь и террасу — всё засияло. Домик украсили и к завтрашним гостям, нашим тут соседям — Разгуловым, Михаилу Михайловичу, хирургу, пересадившему еще в 1970-е годы вторую голову собаке, показывал ролик, брр… и его жене Тамаре, художнику-самоучке и прекрасной огороднице, и милейшей Вере Никитишне с дочерью и внучкой[537]. Придут уже в 2 часа, с утра — масса дел, надо хоть немного поспать, а я без приемника, тутошний загудел и почти вышел из строя, оставили на веранде, а я привыкла отходить ко сну под его говорок. Попробую почитать до слипания глаз.

Настя написала письмо, вроде всё в порядке, с энтузиазмом готовятся к новой раскладке жизни, устроила Верочку в подготовительную к школе группу в сад у дома, в который сама 30 лет назад ходила, с обещанием вести у них *культурно-просветительную* работу. Еще начали верстать книгу в институте, Настя успела передать статьи в Питер и готовится в Баден-Баден на конференцию[538], сдала мою статью о «Тихом Доне» в «Вопросы литературы» и вскоре должна передать в «Человек» статью о Лермонтове, еще две мои статьи никуда не пристроены: о Хлебникове и обериутах — надо подумать куда…[539]

Решила здесь досидеть до того упада, когда целиком завершу первую главу о «Донских рассказах» и сделаю некоторые дополнения во вторую, о «Тихом Доне», так чтобы только переложить на компьютер[540]. Возможно, придется отдать первую главу кому-нибудь за плату, чтобы Настю не перегружать, сентябрь будет горячий, надо ведь еще приготовить на грант нашу часть коллективного труда «Философско-идеологические контексты 20–30-х годов»[541], где есть и Настины три статьи — о сменовеховцах, о Сетницком и Горском, и мне еще писать целую статью в первый выпуск наших «Исследований и материалов по литературе 20–30-х годов»[542]. Очевидно, придется делать что-то вроде автореферата той части, которая будет печататься по поэзии и прозе. На это в лучшем случае уйдет весь сентябрь, хотя Ушакову[543] обещала к 10-му, и это придется бедной Насте набирать. И только потом, с середины октября, е. б. ж., можно будет забыть литературоведение хотя бы на полгода и подумать о главном, а к весне, лучше поздней, начать работу над остатним Шолоховым (это уже плановая работа): «Поднятой целиной», «Они сражались за родину», «Судьбой человека». Еще колеблюсь: может быть, растянуть на два года написание книги о Шолохове, может, наоборот, поскорее сбросить с плеч и еще год изображать, что дополняю и дорабатываю. Правда, вклинится еще статья о театре Платонова для еще одной Наташиной «Страны философов»[544].

Мечтаю о полугоде вольной мысли над новой книгой… Только бы организм как-нибудь радикально не подвёл! Надо оздоровляться, тихо-тихо и желудок щадить. Впрочем, как Бог даст! <…>

14 октября 2001. 10.30 утра. Переделкино

Настенька сейчас набирает мою статью, точнее первую главу в предполагающуюся монографию о Шолохове («Донские рассказы»). Говорит, что ей интересно, нравится и смирилась с тем, что я — вместо главного дела — трачу последние силы на Шолохова. В советское время я занималась тем и писала о том, что никак не проходило и было обречено оставаться в столе, т. е. углублялась в тогда гонимых, будь то Федоров или Платонов… А сейчас, наоборот, в тех, кого затоптало новое «демократическое» и постмодернистское время: в Леонова, Шолохова… И точно почувствовала она, что движет мною инстинкт справедливости, боли и оскорбления за того же Шолохова, когда его так нагло *творчески* обездоливала, изничтожала диссидентская, а за ней и вся прочая «элита»: мол, вор и самозванец!

13 марта 2002. 1 час. 30 мин утра, значит, уже 14 марта. Переделкино

Вышла Литературка с моим интервью[545] — прочла газету en gros, включая и себя. Вроде совсем неплохо, цельно получилось. Лариса купила пять экземпляров, прочла сама, ей понравилось, и это для меня самое отрадное. А уж как Настенька положила свой живот, вычитывая, вычищая, нервничая на последнем этапе в редакции… Впрочем, писать невозможно, на «Свободе» фон отвлекает: поет Юз Алешковский свои песни. Так что завтра допишу — послушаю то, что нам пел уже лет тридцать назад.

Вернулась от радио. Странные у меня получились два последние переходные дня. Завершила главу о «Поднятой целине» и примеряюсь, как расправиться со всеми висящими на мне мелочами. Впрочем, ничего себе мелочи: написать статью о «Ноевом ковчеге» Платонова для последнего выпуска «Страны философов» — всё же во всех участвовала, надо доползти до финиша. Дали грант на «Философский контекст…», а там еще полным-полно доработки, писала уже лет семь назад, с этого начиналась наша «История». Надо и книгу о Федорове обновлять, дополнять, к столетию кончины пытаться переиздать. Дали грант и на Федоровское Pro et Contra — тут еще конь не валялся![546] Всё это надо в этом году и еще улучить себе какой-нибудь *золотой месяц* на «всебщность спасения». Надо, наверное, пока делать большую статью — к тому же столетию во «Вселенское дело 3». Завал, затор, как всегда <…>.

24 марта 2002. 0.30. Переделкино

<…> Все последние дни, уже вторую неделю, занимаюсь тем, что просто погружаюсь в прошлое двадцатилетней давности — перепечатываю на машинке

дневники 1981 года. На другое — нет пока запала, а надо бы, не хочется ну никак дополнять о марксистской эстетике в выпуск «Философских контекстов…» (сунула нос в Лифшица и прочих, такая начётническая муть!), не хочется браться и за статью в Платоновский сборник о «Ноевом ковчеге», может быть, больше вкуса дополнять книгу о Федорове — в предвидении ее переиздания — но пока нет конкретных вариантов. Но, наверное, это единственное, что может меня вытащить сейчас, в уныло-тяжкое, ранне-весеннее, *дистрофическое* время из приятной механической работы перепечатывания. Ведь это то, что безусловно, в любом случае делать надо! <…>

29, т. е. уже 30-е апреля 2002. Около часу утра. Переделкино

Сегодня совсем не работала, возилась по хозяйству, смотрела разные выпуски известий, час читала, а потом вечером, при потушенных огнях, сидели в креслах с Гошей, завораживающая расстилалась за окнами картина, силуэты деревьев, дымка, пятна желто-коричневого от падающего со второго этажа света и шум дождя — сидели и беседовали часа полтора-два о Платонове главным образом. Гоша собрался привлечь «Чевенгур» для статьи, которую он пишет на основе своего доклада на их институтской конференции о сакральном и профанном[547]. Тема мне сердечная, целая глава моей жизни и писаний связана с Платоновым. Метафизические разговоры на дивном заоконном фоне — некий moment parfait в своем роде… <…>

27 января 2003. 11 час. утра

<…> Россия исторически пульсирует — то вскидывается победой, расширением, подъемом, то удерживается периодом более-менее устоявшейся жизни, то падает в смуту, развал — до нитевидного, почти не прощупываемого слабого биения национального кровообращения, в котором избыточествуют вдруг выделившиеся, все растущие шлаки и яды… Кажется конец… ан нет, собирается из последней капли, как платоновский герой, и идет к новому оживлению, к новому подъемному циклу. И сейчас есть надежда, что не последнее это затухание и загнивание и что удастся ей из режима пульсации вырваться на ту самую нашу *священную* подъемную, уже без откатов, *прямую*. <…>

5 февраля 2004. 8.45 утра. Переделкино

<…> Прелюдией Октябрьской революции, на деле мало соответствующей ее *реальности*, было в русской культуре часто довольно путанное алкание новой культуры, *революции духа*, человека-артиста, носителя «духа музыки» (Блок)… И, кстати, отзвуки подобных дерзаний все же там-сям звучали в самые первые послереволюционные годы в поэзии и публицистике и так или иначе вошли в замечательный, уже классический массив прозы от Леонова до Платонова…

А какие культурные взлеты принесло новое наше революционное время? Нигилизм по отношению к классическому наследию, постмодернистские игры,

чернуха, циничный релятивизм, упадок… Да, идеал перехода к буржуазно-мещанскому, потребительскому укладу жизни и ценностям был столь уж низок, безочаровывающе-неидеален, что другого и состояться не могло. И тогда, и сейчас констатировался «кризис гуманизма», самоопорного индивида, кого так легко заносит в нигилизм и демонизм, не говоря уже о таком историческом развороте, когда он собирается в цементированную дефектной идеей толпу, тоталитарное сообщество. Но тогда был порыв и прорыв к религиозным сверхценностям, к превозможению кризисного, смертного естества человека, а сейчас «ценностный» срыв *вниз* в *зверобожие* социал-дарвинистского толка, а в идеале — в срединно-буржуазный, либерально-отманипулированный порядок (которого мы так и не достигли, тут нужна западная дрессировка не одного столетия, крылья человеку тут подрезали регулярно и упорно, как стригли газоны)… <…>

29 февраля 2004

<…> К уже приводимой мною как-то записи Андрея Платонова из его «Записных книжек» о том, что деспотический социализм у нас надолго, лет на 1000, можно добавить как противовес мысль-пророчество Розанова, высказанное в «Уединенном», правда, еще до свершения революции: «И “новое здание” с чертами ослиного в себе, повалится в третьем-четвертом поколении». Повалилось даже чуть раньше. <…>

4 марта 2004. 14 часов

Гоша прочел мое интервью «Женский логос Светланы Семеновой» в купленной им вчера «Литгазете»[549] и восценил именно новые основоположения такого логоса, написал трехстраничную записюрьку. Говорит, что хорошо бы мне выступить на Экономическом факультете МГУ, где как раз будет толковище по гендерным проблемам. Я готова, тем более что в своем «Исповедании веры», написанном лет десять назад по понуканию Алексея Горбачева[550], я выразила ряд своих методологических подходов, где есть и особым образом понимаемое «методическое сомнение»: строить благо, идти к нему и в случае самого убогого, самого «безнадежного» онтологического варианта устроения мира: ни Бога, ни целесообразности, но и тогда — вопреки — ведомые идеей, идеалией Бога, вперед! При том что надо сосчитать остающиеся после методически сомневающейся расчистки *очевидности*: та же идея Бога, человеческое сердце, ум, понимание *должного* и прекрасного, невозможность и ненужность оставаться в трагедии, понимание финальной гибельности такого «легкого» выбора. И конечно, самый женский логос — в главке «Рассимволизация мира».

Подумать о своих ненаписанных, но преследовавших меня книгах — их виртуальное поле облучало мое *внутреннее* — что видно и по дневниковым записям. Это и *федоровское евангелие*, во-первых, и мои две книги — из последних замыслов: «Всеобщность спасения» и «Апология активного христианства»[551].

Я должна и смогу, надеюсь, две последние объединить в одну, и ежели останется время *валидной* жизни — то всё же их написать. Для первой, *евангелия активного христианства*, не стара ли я стала — тут нужна молодая безоглядность и дерзновение, большее юродство проповеди… А как же «Евангелие от Иоанна», предполагаемое создание глубокого старца?

У Замятина есть термин «мысленный язык», больше всего он — вне и за тем смыслом, который мог в него вкладывать автор — подходит к прозе Платонова. Прямое, без грамматически-логической оглядки выражение своей мысли и чувства, своей прозревающей интуиции — любым тут же приходящим в голову и на язык сцеплением слов. *Мыслеобразы* Платонова — так можно назвать одну из главок книги о нем. Кстати, такая работа тоже среди нереализованных до конца моих проектов.

У Розанова: «Явились как будто безбожники, а работают как ангелы, посланные Богом»[552] — вот она, диалектика истории, ее деятелей, обнаруживавшаяся не раз и на нашей родной ниве.

Вот какой бывает *утешительный* разрыв между сочинением для себя, для спасения, успокоения себя сейчас и немедленно и культурной его реализацией. Северин Боэций, энциклопедический перелагатель античного знания для основ средневековой схоластики, написал явно главную, *личную* свою книгу «Утешение философией» («Consolatio philosophica») в застенке, ожидая казни в 20-х годах VI века, а напечатана она была лишь в конце XV века (1474), через девять с лишним веков.

Иногда одна строчка автора или название его произведения рождают в веках бесконечно индивидуальный и углубленный отклик (каждый по-своему его варьирует в себе), а самой вещи, бывает, никто и не читал, а если бы прочел, то, возможно, и разочаровался. То же «Утешение философией» было создано в стихах на латыни, уже сползающей к «кухонной», средневековой — его широко читали на Западе, в России оно больше известно по одному названию, но как аукается это название в сердцах и умах!

Запись Кромвеля на своей Библии: «Если человек не становится лучше, он перестает быть хорошим». Вот прекрасный эпиграф к нашей идейной борьбе за лозунг, за императив *восхождения* против безнадежно-позорного *выживания*, сиречь *деградации*.

Сейчас торжествует, причем в самом пошлом, падшем варианте аристотелевское определение человека как «животного политического», получается лишь как объекта приложения манипулирующих социальных техник.

21 сентября 2004. 16.30. Вторник. ИМЛИ

Сижу на Платоновской конференции[553], голова чадная, спала часа три всего под феназепамом, еще и в борьбе с высоким давлением. Мочи уже нет, надо бы сбежать, но раньше, чем через час, вряд ли удастся. Утром выступала, говорят — хорошо, темпераментно, углубленно, но давали всего 15 минут, так что только кое-что удалось донести. Большинство исследователей сейчас ушло с платоновского нерва, с его *смысла*, во всякого рода поверхностную комбинаторику, эмпирические — у каждого на свой вкус — изыскания мотивов, образов, сравнений, случайные, не склеенные проникновением в сокровенную суть писательского мироощущения. Так что мне тут совсем не интересно, всё и все мимо, мимо… Господи, какие когорты толпятся у кормушки великих текстов, жуют, смакуют, роняют туда свои «интеллектуальные» слюни, пытаются пичкать своей жвачкой других… Каждый раз, когда я попадаю на такой «ученый» парад-алле, стыдно и позорно за «профессию».

С тех пор, как вернулась из Лоо[554], ничего не заносила на память о текущей жизни. Сначала адаптировалась к резкому холоду, приводила в порядок ухудшившееся самочувствие. Перечитывала «Чевенгур», начала считывать вёрстку книги о Шолохове. Уф, слава Богу, доклад сделала, ничего особенного из стрессовых ситуаций *явлений себя публике* больше не предвидится. Завтра вообще не приеду, а послезавтра буду минимально слушать доклады, а возьму считывать дальше верстку, останется провести писательский *круглый стол* по Платонову, это не сложно, еще пообщаюсь кое с кем из приехавших сюда.

14 декабря 2004. 14.30. Переделкино

Всё утро ушло то на некий сон-дрёму под снотворным (постоянный мой сон такого рода: я и море, но море мелкое, грязное, похоже, некий залив, я к нему добираюсь, теряю спутников, плещусь в нем на мелководье, брожу по нему в поисках выхода…), то на уже реальные телефонные разговоры с Настей и Потемкиным[555], потом лицом к лицу с Гошей, который на мне проверял свой завтрашний доклад… А мне вот завтра вести круглый стол[556], открывать его, что-то говорить, а я пока и не подумала — не продумала, что скажу. «Вечные вопросы русской литературы» — такова тема, вроде моя, целую книгу о том написала, да тут надо кратко совсем. Итак, что же мне высказать как затравку общего разговора? Мой соведущий — Тростников, тот собирает наших ортодоксов: Дунаева, Воропаева[557], те будут православно-благонравно, и довольно плоско, насколько я их знаю, говорить о христианском характере русской литературы. С «моей» стороны приглашены Роднянская, Гальцева[558], Никитин; но прежде всего на Настю — главная надежда в заглублении темы.

Я начну о вечных вопросах вообще — что это такое? Вопросы онтологические, касающиеся вечных реальностей человеческого бытия: человек и природа, и Бог, и смерть… С них начинается самосознание человека, литература, в том

числе и философская («Эпос о Гильгамеше», древнеегипетская и древнегреческая поэзия). И русское зрелое литературное и философское самосознание начинается в лоне поэзии: Державин, Пушкин, Тютчев, Баратынский, Лермонтов… Здесь — полный репертуар этих вопросов, причем именно *вопросов*, на которые часто нет однозначного ответа: по своей природе ставятся они в поле свободного исследования, выходят за твёрдую катехизическую букву. Более того, именно русская литература углубила многое из того, что в христианстве не было достаточно въедливо и свободно разработано (а в литературе явлено на материале человеческих судеб, сюжетов, мотивов…). Именно эти новые важнейшие *окрестности* христианского видения, а то и самую, подчас сокрытую сердцевину его, явленную в творчестве магистральных творцов русской литературы, Даниил Андреев и называл ее *вестничеством*. Это прежде всего коррекция одностороннего аскетизма исторического христианства в отношении к природе, это и тема всеобщности спасения, которая мучила Пушкина и Лермонтова (особенно в «Демоне»), Достоевского, а в XX веке Клюева и Платонова, наконец, весь тот комплекс идей, который связан с мотивами софийности и вечной женственности, воздымающей человека к новой высшей природе, всего того, что Фёдоров называл «положительным целомудрием», Вл. Соловьев обнаружил в «Смысле любви», а Вышеславцев обозначил как «Этика преображенного эроса».

Если православие уже дает все ответы на земные метафизические вопрошания, то почему они вновь и вновь возникают в литературе, отражая, конечно, и различные индивидуальные повороты (полифония сознаний), но и сомнения и страдания самого автора («Через горнило сомнений моя осанна прошла…»).

30 апреля 2005 г. Великая Суббота

Еду на наш Федоровский семинар на автолайне. Сегодня у нас выступает Регельсон с темой об Образе Троицы, в том числе у Федорова. Вчера переводила в компьютер рукописные дневники лета 1992 г. и зажглась былым своим проектом, к которому тогда начитывала тексты Тейяра де Шардена и Шри Ауробиндо. Действительно, хотела же написать книгу: «Три Вестника: Тейяр де Шарден, Шри Ауробиндо, Федоров — Запад, Восток, Россия»[560]. И вчера же на террасе часок занялась чтением собственных аналитических конспектов работ Тейяра. А сегодня заберу из Москвы томики французского собрания его сочинений, которые 15 лет назад вывезла из Парижа. Настя мне собрала всё, что было Тейяра и о Тейяре на старой квартире, и принесет в библиотеку. <…>

17 сентября 2005 г. 13 час. Переделкино

Позвали участвовать в «Апокрифе» по теме о чудесах. Предлагают поразмыслить над верой в чудо, ожиданием его, месте в российской ментальности. Руководство к действию, игра с нечистой силой. От сказки к современным мечтам. Чудо как сила и как слабость. «Роковые яйца» Булгакова, «Обыкновенное чудо»

Шварца… — такие предварительные тезисы разговора заявила мне по телефону Лена, одна из девочек-помощниц Ерофеева.

Само чудо, как и вера в него, — вещь достаточно амбивалентная. В зависимости прежде всего от того, каким духом оно движется и инициируется: Божественным, направленным на возрастание жизнетворческих, благих начал бытия, или той самой «нечистой силы» в разных ее обличьях, когда злая самость призывает для своего самоутверждения и господства над другими, над миром энергии темные, противобожеские. «А чудо есть чудо и чудо есть Бог», как это у Пастернака, тот Самый Бог, который, явившись на Землю, творил чудесные Дела, обнимавшие весь круг власти над смертоносными, погубительно-стихийными силами (исцелял, воскрешал, утишал бури, умножал еду…), демонстрируя их как некий проект для будущего действия самих сынов человеческих, усыновившихся Богу: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит и больше сих сотворит»[561].

Что такое чудо в своей такой, я бы сказала, проективной ипостаси? Представьте себе нашего далекого предка, может быть, уже изобретшего колесо и с завистью глядящего в небо на парящих птиц, вот он замечтался: как бы и мне так, улететь от врагов, мигом оказаться в другом месте, почувствовать прелесть полета. И ему в некий волшебный фонарь показывается современный мир: мириады машин, летающие стальные птицы… Обо всем этом он сочинял разве что сказки, в них реализуя свою мечту: сапоги-скороходы, ковер-самолет, чудесное зеркальце, в котором является «вся видимость мира»… Когда нам дается только первый момент: мечта, сказочный проект и конечный — его реализация, то это предстает как чудо, для тех, кто в начале, а если мы имеем возможность, как сейчас, знать весь посредствующий ряд свершений, проектов, проб, медленного научного и технического прогресса, чудо исчезает. Для Пушкина показалось бы чудом поговорить с Байроном в трубочку через сотни верст, увидеть его на экране, за три часа прилететь к нему по воздуху, щелкнув кнопкой, выйти к любой книге, хранящейся где-нибудь за двумя океанами…

Итак, мечта о чуде, которая проигрывается в сказках, обнаружила, я бы сказала, свою историческую продуктивность, еще, конечно, не в полном объеме, но об этом попозже. Пока же о слабой стороне национального взыскания чудесного, обнаружившейся уже в фольклоре: речь идет об этаком расслабленном, прекраснодушном мечтательстве: на печи себе лежу, сваливается нечто чудесное, и печь так сама тебя и повезет к довольству и счастью, к молочным рекам и кисельным берегам… Хотя и тут чаще всего гарантией реализации чуда для какого-нибудь там Ивана-дурачка, Ивана Бесталанного является *добродушие* героя, чистое его сердце, легкая готовность оказать услугу существам, вещам и силам мира, которые потом возвращают ее сторицей в самый-самый нужный момент. Всё же главным условием чудесного успеха — внушает нам народная интуиция — является любовная включенность в некую общеприродную систему взаимной солидарности, умение интимно вникнуть в «творящий стан» природы, в тайну метаморфоз,

органосозидания, которое идет в ней. А вот игра с нечистой силой — это попытка зайти с черного хода природы, без спроса и согласия, как тать в нощи, сорвать ее тайные замки, насильно вырвать ее секреты и использовать их только в свое единственное удовольствие и пользу, на зло другим…

Кстати, мы с вами тоже участвуем во вполне сказочном чуде, работая на то «волшебное зеркальце», в который глядит каждый день уже не один превзысканный, могущественный его владелец, а следят за тем, что происходит во всех местах и уголках Земли, миллиарды ее жителей.

Вообще мудрость этих сказочных образов, плодов проективного воображения народа, огромна и тонка, ее призывал внимательно изучать Максим Горький. Ее можно, на мой взгляд, даже применить к современной экономике. Мы знаем феномен «экономического чуда», случившегося в ряде стран, но сколько ума, любви, терпения, творчества и труда оно потребовало. И вот с нашей русской ментальностью мы захотели того же, получить такие же чудесные дары без умного вникания в суть дела, без собственного творчества и терпеливого труда — путем внешней механической имитации чужого. Ничего не выходит у таких завистливых подражателей — вспомним сказку «Двенадцать месяцев» и массу других, где то ли сестры, то ли братья пытаются повторить разные чудеса какой-нибудь доброй и милостивой сиротиночки, живущей в их семье и «пашущей» на них. Как всякое реализованное чудо, *экономическое* готовится и осуществляется мощными совокупными сущностными силами нации — вялая мечта о молочных реках и кисельных берегах, как и завистливая попытка взять нахрапом, на авось, бездумным подражанием обречена на провал.

А теперь о том, к каким сказочным проектам человечество еще не приступало. Это, можно сказать, целый их класс, относящийся к задачам органического прогресса, а не технического. В последнем уже никого не удивишь самыми смелыми фантазиями — по этому пути продвинулись уже так далеко и чудесно. (Хотя и тут, в нашей протезной цивилизации, маячат свои тени, недаром и живет в подсознании и сознании страх, выходящий в литературу: бунта машин, восстания киборгов…) А как быть с тем, что умеет каждый настоящий сказочный герой, — «обернуться» в другую живую форму — в волка ли, в сокола… вернуть молодость (молодильные яблоки), восстановить расчлененную форму и воскресить умершего (мертвая и живая вода)? Реализация их пока не входит в фундаментальный выбор человечества. Им и принадлежит будущее, если род людской осознает свои эволюционные и религиозные цели и задачи.

Пока литература больше предупреждала об опасности слишком поспешного внедрения в природу вещей, резвого пыла реформировать естество, осуществить чудо — без точной и благой цели, исчерпывающего познания этой природы, долгой опытной примерки… В «Эфирном тракте» Платонова неразумно выпущенные на волю искусственно препарированные силы материи, выращенный, откормленный электрон является как ужасный живой металлический монстр

(типа сказочного дракона), мерзким гулом возвещая свой ненасытный голод: подавай ему в пасть всю материю мира! То же случается и «Роковых яйцах» Булгакова: случайное, непросчитанное внедрение в природный механизм, в размножение и генетику природных существ приводит к жуткому, катастрофическому повороту. Обе вещи недаром написаны в 1920-е годы, когда особенно нужна была трезвая поправочка к скоропалительной безоглядности преобразовательных проектов, громко звучавших в поэзии и публицистике.

24 октября 2005. 10 час. утра

Села в электричку на Москву. Еду на событие скорбное: внезапно умерла Маша Платонова[562], и вот в 11.30 будет сначала небольшая гражданская панихида в морге Боткинской больницы, потом там же, в больничном Храме, ее отпевание, а потом захоронение на Армянском кладбище в могилу родителей. Да, была она человеком сильного характера, бойцом по темпераменту, бойцом жестким, увы, перегоравшим в своих счетах к миру. Впрочем, все мы боремся за свое дело, как умеем, как понимаем. И она боролась за Музей (не вышло), за мемориальную доску (удалось), за свои наследственные права… Физически очень похожая на отца, она обнаружила в себе ту его ипостась, которую он — совсем от себя отстраненно — изобразил в Прокофии Дванове. Практицизм, трезвость, хватка, но всё же и не заглохшие душевные струны, когда по ним сильно и чувствительно ударит жизнь (финал «Чевенгура»). С ней уходит физическая связь, физический, видимый след Платонова на земле. Ее, малышкой, он держал еще на руках и какое-то свое тепло и волну впечатал в глубины ее существа. А уж Антон, ее сын, совсем, как кажется, не затронутый дедом, — может быть, один-два его рассказа в детстве под нажимом прочел. Его несет нынешний гедонистически-потребительский мусорный ветер — пока, возможно, хотелось бы верить, впрочем, разве можно судить о человеке извне, знаем ли мы его?! Хотелось бы пожелать Антону сейчас, когда он оказался на острие родового платоновского клина, вступить в единственно доступный ему (в отличие от матери) контакт с дедом: через его произведения — прочесть их, наконец, вникнуть как в глубинно родное. Обрести в них незнаемое пока пространство своей душевно-духовно родины[563].

А на кладбище соберутся они под землей, родные и близкие, одной горстью, рядышком. Для Маши — это было святое место, стоявшее чуть ли не на первом месте среди ее постоянных забот. Как бы она ни болела, старалась бывать там почаще, поддерживать могилу в порядке, блюсти ритуал памятного внимания к ней близкого круга людей.

28 июля 2006. Переделкино

Вот уже более трех месяцев как заброшены мои дневниковые записи — верный признак того, что занята я каким-то *объективным* исследованием. Да, пишу книгу о Тейяре[564], уже вчерне готовы биографическая глава (правда, сейчас у меня

появилась часть его писем, очень любопытных, к двум американским дамам, не христианкам, что позволяет ему и себя свободнее высказывать, и на их основе придется кое-что еще вносить и уточнять в эту первую часть), главы о раннем, военном творчестве, о «Божественной среде» и значительная часть главы о «Феномене человека». Удается на дню выскрести два-три, иногда четыре часа на компьютерную работу над книгой, а стала я набирать текст уже прямо на экран, без рукописных черновиков, и на другое, кроме чтения, опять же вокруг этого главного предмета, времени уже не остается. На сегодняшний день Настенька с Верочкой в деревне, завтра вернутся, пробыли там около двух недель, сегодня вечером ко мне часа на два заедет Ларочка, она уже вернулась и из ежегодного миссионерского похода куда-то в Карелию, и из Ростова, где пасет своих студентов, юных монументалистов, по Богословскому институту.

Тридцать один год назад, в этот июльский день умерла мама — Боже, какие сроки уже мы без нее, целую жизнь! Где ты, дорогая, что от тебя еще живо в мире? В нас ты, по меньшей мере, есть, пока мы на белом свете, а там далее, в потомках, образ твой будет все бледнеть и стираться, останется разве на старых, плохо различимых фотографиях, если сохранят их, а там и вовсе исчезнет, как для нас наши прадеды и прабабки… До «радостного утра», как возвещают милые штампы кладбищенских надгробий… Когда же в «разум истины» для Богочеловеческого дела придет земной народ?! Мы вот с Настей разве что бьемся словом для разъяснения этого дела, бросаем свои закупоренные с ним бутылочки в безбрежный океан будущего…

Я вот позавчера, сидя на веранде, рядом с Гошей, который прибыл на побывку сюда на несколько дней из деревни, и, читая письма Тейяра этим американкам, остро почувствовала тоже своего рода чудо: мог ли тот же Тейяр, который писал им сугубо приватные, для их только глаз, послания, разумеется, не под копирку для архива, представить, что через полвека после его смерти некая пожилая русская дама в далекой, незнакомой России будет вдруг их читать, вживаться в эти строки, в его жизнь и его образ?!

20 апреля 2009. 10 час. 40 мин.

Еду на автолайне на Юго-Западную встречаться с Ларисой, оттуда на автобусе поедем на кладбище. Сегодня Радоница. Пробую себя на более-менее нормальные возможности — обычным перекладным путем добраться, без машины.

Держусь своего стиля уединения, не поехала и на ежегодную церемонию вручения премии Солженицина (знаменитую и своим роскошным фуршетом), где все последние годы бывала с Гошей, — естественный шанс пообщаться с литературным обществом, со многими знакомыми, почувствовать, так сказать, свою причастность к определенной среде. Стараюсь на дню (притом что львиная его доля поглощается самообслуживанием, поддержанием дома, хозяйством, завариванием трав, готовкой еды, прогулкой в буфет и т. д.) хотя бы часа два с половиной — три

уделить новой книге, которую пишу прямо на компьютере. Это и есть драгоценная часть моего дня, оправдание существования. Правда, пока после такой работы особенно кружится голова, начинает болеть и поднимается давление. Сейчас пишу фрагменты в первый раздел «Человек» об античных нравственно-практических философах: Сократе, киниках, эпикурейцах, стоиках, скептиках — прослеживаю разные склонения выбора человеком себя в мире, перед лицом других…[565]

Книгу в дорогу не взяла, вот листаю сейчас лишь подхваченную записную книжку, вот в ней мгновенно сделанные неоконченные наброски к выступлению на «Апокрифе», куда меня пригласили, на тему *эротического* в литературе. Я все же в конечном итоге отказалась, вместо меня поехала Настенька, выступила она прекрасно, умно, ярко, но, к сожалению, ее сильно урезали — программа стала еще короче по времени и, похоже, как объяснила звонившая мне сотрудница: «Кризис!».

На эротическом поле, скажем, во французской литературе особенно очевидно, выковывались характер, индивидуальная воля, «я», личность. В этом смысле весьма характерен роман Шодерло де Лакло «Опасные связи», когда-то один из моих любимых. Здесь главные активные герои разрабатывали некий сценарий покорения предмета вожделения, причем, наиболее, казалось бы, трудной победы, и затем этот сценарий ими осуществлялся, *ставился* в реальности. В Вальморе, маркизе де Мертёй рождался стендалевский герой, волевая личность, утверждавшая себя в социуме, перед лицом «другого» и обстоятельств судьбы.

В сексуальной революции, может быть, главное — раскрепощение женской плоти, утверждение ее права на равноправное с мужчиной удовлетворение как часть ее личностного самоопределения.

Трагедия и тупик земного эроса, который наиболее глубоко явлен у Пушкина. Клеопатра — поиски новых, острых ощущений для пресыщенной чувственности («больна бесчувствием она»), демонические пределы, уходящие в самоистребление, взаимоистребление в эротическом экстазе древних оргиастических культов. Лермонтовская царица Тамара — из той же оперы. (Кстати дисгармония земной плотской любви со своими мрачными безднами есть и в романах Золя.) Я уж не говорю о маркизе де Саде — мрачно оборотная сторона безбрежного, разнузданного, извращенного наслаждения, настоенного на гнусном издевательстве над предметом вожделения, его конечном истреблении, бунт против всех ограничений, ставка на природу и ее законы, богоборчество и богохульство. Первые концентрационные лагеря — сексуальные («120 дней Содома»).

Другой полюс — вечно-женственное, влекущее к вершинам новой человечности, претворение эротических энергий в воскресительные, в преображение природы. Лермонтовский «Штосс». «Счастливая Москва» Платонова.

Высший уровень эроса — Платоново восхождение к бессмертию, «этика преображенного эроса» в русской мысли, космическая «аморизация» у Тейяра де Шардена. Традиция обручничества — Горский, Лосев…

Случай Набокова. «Лолита» и особенно «Ада».

9 сентября 2009. 9 утра. «Металлург»[566]

Ужасная ночь, почти совсем бессонная. Часов с 9 вечера организм совсем развялился, тянуло спать, день и вечер были влажно-душными и жаркими, в тени под 30 градусов. Около 10-ти легла, но вместо того, чтобы попытаться сразу заснуть, продолжала перечитывать, уже дочитывать «14 Красных избушек» — мне 21 сентября делать доклад на Платоновских чтениях «Основные темы и мотивы драматургии Платонова»[567]. Впечатление гнетущее, тут — юродивые русские люди, наученные классовой борьбе, беспощадности к врагу, вплоть до моментального кинжального удара в сердце (как Суенита — Вершкова); да и сточетырехлетний Хоз научился — задушил молодую свою подругу, Интергом, сразу после любовного акта как чуждый элемент. Конечно, в пьесе немало от театра марионеток. За убийством персонажей стоит яростное уничтожение вредных идей — впрочем, видим-то мы вполне живых людей. И вместе — шевелится в главных героях большое сердце, и тщетно давит его порывы дурная, идеологически запрограммированная голова. Скучно им, тоскливо, что-то не то творится. Измордована народная душа революционным стрессом, установками на ненависть, правом на убийство, причем быстрое, самосудное, с первого же ударившего в голову пылу-жару, может быть и ошибочного — как тут же пересматривает Суенита свое отношение к тому заколотому ею Вершкову, с одной стороны, «ударнику», с другой — невоздержанному на язык с Ашурковым, угнавшим их овец, прихватившим их домик и заодно невольно двух детишек, спавших в нем. Они-то, бантики, тут никого не убили, а когда их нагнали и забирают их предводителя, то он, привязавшись к грудным деткам, плачет над ними. Когда-то любил маму одного из них, Суениту, — в другую нормальную эру. Итак, очень тягостно стало мне от пьесы Платонова. И «федоровский» пассаж о научном воскрешении произносит Антон Концов, фигура гротескная, высказывается курьезными гроздьями лозунгово-газетного сленга эпохи, скор на рациональную расправу с «врагом», предельно суров в исполнении железно-слепо понятого долга, строг к любому прегрешившему, даже если это арестованная за убийство Вершкова Суенита. Неистово кричит в трагическом финале: «Вперед!» и тут же исчезает. Сам этот повторяющийся в пьесе момент внезапного исчезновения персонажа — черта эстетики театра марионеток — только куклы так же мгновенно исчезают под ширмой, проговорив свой ролевой спич (для статьи). <…>

15 сентября 2009. 17 час. Сочи

Спустилась сама к морю, есть у меня часок, пойду поплаваю, поближе к берегу. Два дня шли дожди, на море сильный шторм, еще сегодня утром невозможно было даже войти в море, волны сбивали с ног. А вот сейчас, к вечеру, стало потише и можно попробовать. Послезавтра уже уезжаю, пора подвести итоги, найти нечто положительное в пребывании здесь. Как всегда, это прежде всего море, даже как последние дни рычащее, и плавание, особенно вечернее, по лучу заходя-

щего солнца. <…> Перед сном немного гуляла у корпуса, каждый день, хоть раз (в плохую погоду), а так 2–3 раза залезала в море, понемногу, урывками вспоминала первые послеуниверситетские годы и записывала это кое-что для «Воскрешения жизни»[568], дочитывала том пьес Платонова, остался один «Ученик Лицея», на мой взгляд, самая слабая его вещь — писал прицельно для Детского театра. Непрерывный растроганно-слащавый тон по отношению к молодому Пушкину — как будто все от дворовых девочек, Арины Родионовны до Карамзиной и Чаадаева уже точно знают, что на века Пушкин станет *наше всё*, оправдание существования нации и их лично. Что, кстати, тоже так ли уж верно? Конечно, гений, прекрасен, глубок, особо касается наших сердец и эстетического чувства, но разве все русское и русское-общечеловеческое сосредоточилось в нем одном?! Хотя я сама же в работах о нем отметила завязи *всего*, включая, говоря словами Горского, «буйные всходы воскресительной эротики»…[569]

21 сентября 2009. 12.45. Конференц-зал ИМЛИ

Сижу в президиуме первого дня Платоновской конференции[570], веду первое заседание, вещает Полтавцева[571], я, слава Богу, уже выступила, дальше можно расслабляться, жить вежливо-механически еще два дня. А то хотела на сегодня отговориться и сдвинуть себя куда-нибудь на последний день, а в идеале вообще замотать свое выступление. Вчера вечером, после того как судорожно пыталась что-то набросать по драматургии Платонова, у меня сильно заболела голова, закружилась, давление полезло на опасные высоты. Еле отошла, напилась трав, циннаризина, но все равно спала всего четыре с половиной часа. Ну вот взяла этот публичный, теперь для меня особо тяжкий барьер, и теперь жизнь пойдет в спокойной накатанности, которую сейчас единственную переношу: писать, переводить в компьютер то, что набросала в Сочи, побольше гулять, смотреть нечто выборочное по телевизору, а там уж и каникулы, приедет Настенька и Верочка, отрада моя… <…>

3 ноября 2010. Среда. Около 17 часов. Переделкино

Дни так и отщелкивались, пока не пришлось приводить в порядок записи по теме «Этика снисхождения и философия восхождения» — на 30-е октября был объявлен мой доклад на Федоровском семинаре[572]. А на следующий день, 31-го, в воскресенье, надо было ехать на очередной «Апокриф» по Андрею Платонову[573]. В субботу же должна была после семинара привезти на каникулы сюда Верочку. Но… человек предполагает… Вечером перед семинаром замешкалась, стала красить отросшие волосы где-то после полуночи, закончила после двух, и после горячего душа заснуть ну никак не могла, стало плохо с сердцем, и к утру было уже совершенно ясно, что выступать не смогу. Позвонила Настеньке, и она, моё спасительное солнышко, заменила меня с докладом о Сетницком, а я в болезненном унынии решила отказаться и от «Апокрифа». Тем более, что за три дня до этого

сосватала им Наташу Корниенко на эту передачу и дополнительным аргументом не ехать стало понимание, что не надо своим «метафизическим» видением Платонова мешать ей (и девочкам из ее группы) провести там свою линию.

Когда же вечером в воскресенье позвонила Наташе узнать, как всё прошло, то по коротким ее репликам (она устала и уже почти спала) поняла, насколько они отстраняются от ошарашивающих глубин платоновского мира. Да, они работают с архивом, занимаются каждым неоконченным отрывком, набросками сценариев <…> печатая Платонова, делают скрупулёзный фактический комментарий (слава им за это!), но бегут, как от ереси, от содержательной интерпретации. На вопрос Ерофеева об эросе у Платонове, о значении сексуальности в его жизни, Наташа заявила, что об этом у нее *нет никакого мнения*. И все остальные тут же заткнулись и промолчали.

И подумала, вот испугалась я своего *юродства проповеди* (когда-то так собиралась назвать свою книгу о Платонове), не захотела «метать бисер», раздражать Наташу. Зачем, разве удастся за две-три дающиеся минутки говорения кого-то убедить, не провиснет ли всё лишь странным курьёзом?! Да, надо уже делать насилие над собой, чтобы перешагнуть через «целомудренную» робость, чтобы публично выкладывать свое видение, уходить от сладкого образа сердечно-пронзительного гуманиста и критика режима, бросать в горизонтально-привычно ориентированную, «нормальную» аудиторию платоновские *постоянные* и *неизменные* идеалы, которые, по его словам, он сам вынужден был «опошлять и варьировать», прятать по художественным углам, размывать в атмосфере, под покровом странного, гротескного образа (иначе печатать не будут!) Вытаскивать странные реакции Саши Дванова, нежно прощающегося с рукой убивающего его бандита, «товарищески» ему помогающего снять с себя одежду, речи советского лейтенанта Агеева о будущем телесном воскрешении погибших товарищей, о желании ребенка раскопать похороненного папу и дома держать, о деревьях, на ветру «стыдливо заворачивающих свои листья»… Кстати, на вопрос, почему Платонова любят все — и правые, и левые, тоже последовало несколько презрительное пожимание плечей. Хотя, на мой взгляд, потому и любят, что и правые, и левые, и все люди вообще *лучше, чем они кажутся*, что, читая Платонова, резонирует в них душа на некую, для них пока темную, непроясненную вибрацию его чувства и мысли, которые глубинно касаются всех. Платонов — тот редкий, драгоценнейший случай, когда человек (творец, ученый…) достаточно безумен, чтобы быть гениальным.

Еще раз об юродстве проповеди — как трудно на него идти, вставать со своим необычным, шокирующим, прущим против устоявшихся привычек мышления словом, призывом… Как надо себя взнуздывать! Вспомним, что даже Иисус в каком-то смысле не решается говорить прямым словом о не-природном, бессмертном строе бытия, Царстве Небесном, а представляет его, задачи человека по его стяжанию больше под покровом притчи. Вот и под покровом своей уникальной художественной *косвенности* проповедовал и Платонов!

ПРИМЕЧАНИЯ

Фрагменты дневника С.Г. Семеновой 1969–1991 гг. печатаются по сделанной ею в конце 1990-х — начале 2000-х гг. машинописной копии, включающей ряд авторских пояснений. Фрагменты, относящиеся к 1992–2010 гг., приводятся по авторской электронной версии.

[1] Георгий Дмитриевич *Гачев* (1929–2008) — литературовед, философ, культуролог, муж С.Г. Семеновой.

[2] Настя — Анастасия Георгиевна *Гачева* (р. 1966) — старшая дочь С.Г. Семеновой, филолог, с 1993 г. — сотрудник ИМЛИ РАН и Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова.

[2a] С.Г. Семенова заведовала кафедрой иностранных языков в Литературном институте им. А.М. Горького с 1973 по октябрь 1977 г.

[3] Об истории знакомства С.Г. Семеновой с идеями Н.Ф. Федорова см. в интервью С.Г. Семеновой «Русская литература всегда привлекала своим человековедением…». *Двести страниц* — речь идет о первой версии книги о Н.Ф. Федорове (см. примеч. 63).

[4] Речь идет о Валентине Павловиче *Криндаче* (1942–2015). По образованию физик. В мемуарах «Встречи с интересными людьми» Андрей Ветер упоминает В.П. Криндача и организуемые им в 1970-е годы «игры Будды», участники которых разговаривали друг с другом, понимая, что любой из собеседников может вычленить из разговора всего одну фразу, но она может совершить настоящий переворот в его сознании (Мир Севера. 2012. № 4(81). С. 68). В зрелые годы В.П. Криндач стал психологом и психотерапевтом, вместе с Е.А. Соловьевой разработал программу «Психотерапия взросления» и создал Авторскую Школу-мастерскую интегральной гуманистической психотерапии (так называемую Школу Криндачей).

[5] Вера Ивановна *Семенова* (в девичестве — Попова; 1919–1975) — мать Светланы Семеновой, детский педагог. Запись сделана на 15 день после смерти В.И. Семеновой, скончавшейся от рака на 56 году жизни.

[6] Олег Афанасьевич *Салынский* (1947–2008) — литературный критик, сотрудник журнала «Вопросы литературы».

[6a] Первая версия книги С.Г. Семеновой о Н.Ф. Федорове (см. примеч. 63).

[7] Речь идет об издании: *Платонов А.П.* Потомки солнца: Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1974.

[8] См. об этом главу «Обнажение истины (рассимволизация мира)» в главной философской книге С.Г. Семеновой «Тайны Царствия Небесного», написанной в продолжение и развитие тем и идей русской религиозной философии, и прежде всего Н.Ф. Федорова. *Семенова С.Г.* Тайны Царствия Небесного. М.: Школа-пресс, 1994. С. 132–139.

[9] Под конец (*франц.*).

[9a] Речь идет о диссертации С.Г. Семеновой «Философский роман Ж.П. Сартра и А. Камю», защищенной в МГУ в 1973 г. после нескольких лет мытарств.

[10] Иван Иванович *Семенов* — дядя С.Г. Семеновой, младший брат ее мамы, фронтовик.

[11] Аромат духов (*франц.*).

[12] Любовь и секретная полиция (*франц.*). Питер *Реддауэй* (Реддавей) — британско-американский политолог и историк-советолог. В 1963–1964 гг., когда П. Реддауэй учился в аспирантуре МГУ, между ним и С.Г. Семеновой завязался роман, который она резко оборвала после того, как ее вызвали сотрудники органов госбезопасности и предложили следить за Питером и доносить на него. В 1964 г. за связи с диссидентским движением П. Реддауэй был выслан из СССР.

[12a] Юрий Александрович *Андреотти* (р. 1939) — художник, журналист. Замужем за Ю.А. Андреотти С.Г. Семенова была в 1964–1966 гг.

[13] Неожиданная развязка (*франц.*).

[14] *Гуля* — Галина Яковлевна *Джугашвили* (1938–2007) — филолог, литератор, однокурсница С.Г. Семеновой. Внучка И.В. Сталина по линии его старшего сына Я.И. Джугашвили.

[15] Всеволод Иванович *Сахаров* (1946–2009) — филолог, литературный критик, педагог.

[16] Молодым людям (*франц.*).

[17] В январе 1976 г. С.Г. Семенова ездила по путевке в Дом творчества писателей Внуково.

[18] Статья была опубликована только в 1980 г.: *Семенова С.Г.* Об одном идейно-философском диалоге (Л. Толстой и Н. Федоров) // Север. 1980. № 2. С. 115–128.

[19] Семен Иосифович *Машинский* (1914–1978) — филолог, заведующий кафедрой русской литературы Литературного института им. А.М. Горького.

[20] Новая жизнь (*лат.*).

[20a] С.Г. Семенова начала писать большую работу о Платонове, получившую название «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)». Рукопись и машинописная версия работы сохранились в ее архиве. На основе этой работы были сделаны статьи о Платонове в журналах «Литературная Грузия» и «Литературна мисъл» (см. примеч. 156, 117). В доработанном виде с некоторыми сокращениями вошла в главу о Платонове в книге «Преодоление трагедии. Вечные вопросы в литературе» (М.: Советский писатель, 1989).

[21] *Т. М.* — Анатолий Петрович *Манахов* (Монахов). В те годы — студент С.Г. Семеновой по Литературному институту (окончил в 1978 г. по направлению «Проза»).

[22] Виктор Антонович *Богданов* (1924–2004) — литературовед, журналист, профессор Литературного института им. А.М. Горького, где читал введение в литературоведение, историю русской литературы XIX в. и др. курсы.

[23] Владимир Павлович *Смирнов* (р. 1941) — писатель, литературовед, член Союза писателей России. В 1970 г. поступил в аспирантуру Литературного института, с 1974 г. — преподаватель Литературного института, с середины 1990-х гг. — заведующий кафедрой истории русской литературы.

[24] Юрий Герасимович *Ильенко* (1936–2010) — кинорежиссер, сценарист, публицист. Режиссер и один из авторов сценария фильма «Мечтать и жить» (1974). После развала СССР ушел в политику, исповедуя идеи украинского национализма.

[25] Юрий Михайлович *Ханютин* (1929–1978) — киновед, кинокритик, сценарист. Майя Иосифовна *Туровская* (1924–2019) — театровед, киновед, кинокритик, сценарист. В 1970-е гг. Ю.М. Ханютин и М.И. Туровская делали серию фильмов о звездах американского кино (см.: *Туровская М.И.* Голливуд в Москве, или Советское и американское кино 30-х — 40-х годов // Киноведческие записки. 2010. №. 97. С. 60).

[26] *Бочаров С.Г.* «Вещество существования». Выражение в прозе // Проблемы художественной формы социалистического реализма. М., 1971. С. 310–350. Сергей Георгиевич *Бочаров* (1929–2017) — литературовед, друг Г.Д. Гачева.

[27] Семен Ефимович *Резник* (р. 1938) — писатель, публицист. В 1960–1970-е гг. занимался популяризацией науки, написал для серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» биографии русских ученых Н.И. Вавилова, И.И. Мечникова, В.О. Ковалевского, Г.С. Зайцева, с 1975 г. работал в редакции журнала «Природа», в 1976 г. издал книгу «Раскрывшаяся тайна бытия. Эволюция и эволюционисты». В 1982 г. эмигрировал в США.

[28] *Семенова С.Г.* Николай Федорович Федоров (Жизнь и учение) // Прометей: Историко-литературный альманах. Т. 11. М.: Молодая гвардия, 1977. С. 87–106. Статья С.Г. Семеновой стала началом возвращения имени и наследия Н.Ф. Федорова в российскую культуру после десятилетий забвения. Андрей *Ефимов* — редактор, сотрудник издательства «Молодая гвардия», составитель 11 тома альманаха «Прометей», где была напечатана статья С.Г. Семеновой.

[28a] *Лариса, Лара — Гачева* Лариса Георгиевна (р. 1972) — младшая дочь С.Г. Семеновой и Г.Д. Гачева, художник-монументалист. Окончила Московский художественный институт им. В. Сурикова. Член Московского союза художников. С 1998 г. — преподаватель кафедры мону-

ментального искусства факультета церковных художеств ПСТГУ, руководитель художественных мастерских ПСТГУ.

[29] Жизнь течет как обычно (*франц.*).

[30] С.Г. Семенова всю жизнь страдала тяжелыми бессонницами.

[31] С.Г. Семенова и Г.Д. Гачев читали однотомник В.П. Астафьева «Повести о моем современнике» (М.: Молодая гвардия, 1972), в который вошли повести «Стародуб», «Кража», «Последний поклон», «Пастух и пастушка». Что касается произведений В.И. Белова, С.Г. Семенова и Г.Д. Гачев могли читать следующие его книги, вышедшие в первой половине 1970-х гг.: «Сельские повести» (М.: Молодая гвардия, 1971), «День за днем» (М.: Советский писатель, 1972), «Иду домой» (Архангельск, 1973), «Холмы» (М.: Современник, 1973), «Целуются зори» (М.: Молодая гвардия, 1975).

[31a] С.Г. Семенова читала «Добротолюбие» в 5 т. по ксерокопии с издания 1883–1901 г., выпущенного «иждивением Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря».

[32] Борис Федорович *Славин* (р. 1941) — философ, политолог, журналист. В 1970-е гг. интересовался иммортализтическими идеями Н.Ф. Федорова, трактуя их сквозь призму марксизма. В 1970 г. началось его общение с О.Н. Сетницкой (см. примеч. 33), познакомившей его с работами Н.А. Сетницкого (см. примеч 183), в частности с неопубликованной работой «Творческий марксизм и ликвидация хвостизма в биологии» (1937), написанной Сетницким совместно с А.К. Горским. *Первая «федоровская» встреча* — речь идет о собрании на квартире Б.Ф. Славина, состоявшемся 20 апреля 1976 г. По свидетельству О.Н. Сетницкой, запечатленному в ее дневниковой записи от 22 апреля 1976 г., на встрече присутствовали О.Н. Авдыкович (см. примеч. 40), архивист В.Г. Акопян, лингвист М.Р. Мелкумян и С.Г. Семенова. «Создали вроде комиссию к отмечанию 150-летия со дня рождения Н. Ф. Мемориальную доску, заседания, сборник, статьи» (*Сетницкая О.Н.* Дневник. 30/I 1976–4/X 1977 // Московский архив А.К. Горского и Н.А. Сетницкого).

[33] Ольга Николаевна *Сетницкая* (1916–1987) — старшая дочь Н.А. Сетницкого, историк, библиограф, работала в Библиотеке Московского педагогического государственного института. Последовательница идей Н.Ф. Федорова. Вместе с подругой Е.А. Крашенинниковой сохранила и разобрала архив отца и его друга, философа А.К. Горского, написала их биографии, составила библиографии их трудов, а также библиографии литературы по Федорову и проблемам иммортологии. В 1960–1970-е гг. общалась с философами и учеными, интересовавшимися идеями Федорова и проблемами иммортализма, в том числе физиком, философом П.Г. Кузнецовым, создателем Лаборатории систем управления разработками систем (ЛаСУРС) при Московском государственном педагогическом институте, и кругом его сподвижников. Контактировала с популяризатором науки И.М. Забелиным, переписывалась с акад. В.Ф. Купревичем. С.Г. Семенова познакомилась с О.Н. Сетницкой в доме Б.Ф. Славина 20 апреля 1976 г.

[34] См. примеч. 31а.

[35] Первое упоминание о замысле будущей книги С.Г. Семеновой «Тайны Царствия Небесного» (написана в 1977–1982 гг., издана: М.: Школа-пресс, 1994).

[36] Горечь, озлобленность, враждебность (*франц.*).

[37] Михаил Павлович *Еремин* (1914–2000) — филолог, пушкинист, профессор кафедры истории русской литературы Литературного института им. А.М. Горького. Разговор с М.П. Ереминым состоялся в Доме творчества писателей в Малеевке, где С.Г. Семенова находилась в июле 1976 г.

[38] «Оправдание России» — глава, завершающая книгу С.Г. Семеновой «Тайны Царствия Небесного» (Указ. соч. С. 260–288).

[39] Александр Николаевич *Романов* (р. 1951) — прозаик. Студент С.Г. Семеновой по Литературному институту им. А.М. Горького, где учился в 1973–1978 гг. (семинар Ю.В. Трифонова). После окончания института работал на Камчатке, руководил местным литературным объединением, служил офицером на Тихоокеанском флоте. Увлекался астрономией, создал в Петропавловске-Камчатском любительскую обсерваторию для школьников, наблюдал с ребятами

звезды, открыл звезду в созвездии Малого Льва. В 1990–1992 гг. жил в Москве. В 1993 г. уехал в родной город Миасс. Работал в газете «Глагол», тренером-инструктором юношеской планерной школы «Икар» и др. Автор повестей и романов. Публиковался в журнале «Октябрь».

[39a] С.Г. Семенова ездила на XI научные чтения, посвященные разработке наследия К.Э. Циолковского. Чтения состоялись 14–17 сентября 1976 г.

[40] Олег Николаевич *Авдыкович* (1925–1989) — инженер-химик, иммортaлист, один из создателей и активных деятелей Общественного института ювенологии (см. примеч. 68). Интересовался идеями Н.Ф. Федорова, общался с О.Н. Сетницкой и С.Г. Семеновой.

[41] Николай Константинович *Гаврюшин* (1946–2019) — историк науки, философ, богослов. В 1970-е гг. работал в Институте истории естествознания и техники, где в то же самое время был младшим научным сотрудником Г.Д. Гачев. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию «Художественное творчество и развитие науки (становление идеи освоения космоса)». С 1980 г. начал сотрудничество с Издательским Отделом Московского Патриархата, с 1987 г. преподавал в Московской духовной академии.

[42] Вадим Львович *Рабинович* (1935–2013) — философ, историк науки, культуролог, поэт, прозаик. В 1970-е гг. работал в Институте истории естествознания и техники. Дружил с Г.Д. Гачевым.

[43] Острословий (*франц.*).

[44] От дисциплины (*франц.*).

[45] Нет, ничего, нет, я не жалею ни о чем. Оф! (*франц.*).

[46] Любовь, любовь (*франц.*).

[47] В другие небеса, в другие любови (*франц.*).

[48] Людмила *Комарова* (в замуж. — Чернякова, 1941–1988) — филолог, драматург, однокурсница и подруга С.Г. Семеновой.

[49] Запись сделана в Доме творчества писателей в Голицыно, где С.Г. Семенова была в январе 1977 г.

[50] Владимир Федорович *Пименов* (1905–1995) — театровед, критик, педагог, в 1964–1985 гг. — ректор Литературного института им. А.М. Горького.

[51] Александр Михайлович *Галанов* (1923–1978) — литературовед, журналист, партийный работник. С 1970 г. был проректором Литературного института им. А.М. Горького.

[52] Гранд-дама (*франц.*).

[53] Владимир Федорович *Пустарнаков* (1934–2001) — философ, специалист по древнерусской мысли, русскому просвещению, народничеству, либерализму, марксизму.

[54] В 1974–1985 гг. директором Института философии РАН был Борис Сергеевич *Украинский* (1917–1992), специалист в области проблем кибернетики.

[55] Михаил Михайлович *Тареев* (1867–1934) духовный писатель и богослов, преподаватель нравственного богословия в Московской духовной академии. Стремился пересоздать богословие на основе субъективного метода, воспринятого им от Н.К. Михайловского. В связи с этим выдвигал идею христианской «философии жизни», которая есть «плод верующего ума, оценивающего сердца». Ее задача — обобщение христианского опыта и выработка «христианского жизнепонимания». С.Г. Семенова упоминает главный труд М.М. Тареева «Основы христианства» (Т. 1–5. Сергиев Посад, 1908–1910).

[56] Леонид Соломонович *Миль* (1938–1992) — переводчик. Григорий Александрович *Корин* (1926–2010) — поэт, переводчик. Разговор с ними состоялся в Доме творчества писателей в Голицыно.

[57] С.Г. Семенова читала и разбирала роман Платонова «Чевенгур» по изданию: *Платонов А.П.* Чевенгур. Paris: YMCA-Press, 1972. Написанная тогда статья о романе «Чевенгур» в дополненном виде вышла в свет только в 1988 г. (*Семенова С.Г.* Мытарства идеала (к выходу в свет «Чевенгура» А. Платонова) // Новый мир. 1988. № 5. С. 218–231).

[58] Этот фрагмент затем вошел в книгу С.Г. Семеновой «Тайны Царствия Небесного» (Указ. соч. С. 8).

[59] *«Старое ружье»* — немецко-французский фильм 1975 г., действие которого происходит в годы Второй мировой войны (режиссер Р. Энрико).

[60] В № 11 альманаха «Прометей» вышла статья С.Г. Семеновой о Н.Ф. Федорове (см. примеч. 28).

[61] Кстати (*франц.*).

[62] Мысль, выраженная в этом дневниковом абзаце, вошла в книгу «Тайны Царствия Небесного» (Указ. соч. С. 9).

[63] Первая версия книги о Н.Ф. Федорове была написана С.Г. Семеновой в 1972–1975 гг. Книга, экземпляр, которой сохранился в ее личном архиве, состояла из 8 глав. Первая глава содержала биографию Федорова, а 2–8 — последовательное изложение учения. Книга называлась «Русский мыслитель Н.Ф. Федоров. Круг идей. Строй учения». Осенью 1975 г. книга была предложена в издательство «Современник». В заявке, датированной 23 сентября 1975 г., название книги звучит так: «На пороге грядущего (Русский мыслитель Н.Ф. Федоров)», указан объем 12 листов. Книга рассматривалась в 1975–1976 гг. (положительные отзывы дали П.В. Палиевский, М.П. Лобанов, В.В. Васильев), причем были высказаны пожелания насытить книгу литературным материалом. В 1977 г. С.Г. Семенова стала перерабатывать книгу, убирая те главы, которые были «непроходимы» для советской цензуры, и вводя в книгу литературный материал. Вторая версия книги о Федорове получила название: «На пороге грядущего. Н.Ф. Федоров. Судьба его идей в русской и советской литературе». Вторая редакция книги была сдана в издательство «Современник» в июле 1977 г., 2 ноября 1978 г. был заключен договор, а к концу 1979 г. после редактирования книга была полностью готова к сдаче в производство. Однако издательство всячески затягивало выпуск книги, сначала потребовав предисловия космонавта (см. примеч. 199), затем отправив книгу на дополнительное рецензирование, а после скандала с выходом в свет «Сочинений» Федорова 1982 г. окончательно отказалось от издания. Во второй половине 1980-х гг. С.Г. Семенова сделала третью редакцию книги о Федорове. При этом она вернулась к первоначальной версии, расширяя, обновляя и обогащая ее. Изложение биографии Федорова было выделено в отдельную часть, вторая часть представляла изложение идей Федорова, третья давала их литературно-философский контекст, обращалась к теме «Федоров и наука XX века», вводя построения В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, П. Тейяра де Шардена, рассматривала влияние «Философии общего дела» на литературу XX в. Эта версия книги вышла в 1990 г. в издательстве «Советский писатель» под названием «Николай Федоров: Творчество жизни».

[64] Имеется в виду подготовленная С.Г. Семеновой публикация статьи Н.Ф. Федорова «“Фауст” Гёте и народная легенда о Фаусте». Статья, снабженная предисловием и комментариями, вышла в сб. «Контекст»: Контекст-1975, М., Наука, 1977. С. 315–343.

[65] Соответствие (*франц.*). См. примеч. 63.

[66] Французский язык (*франц.*).

[67] Встреча (*франц.*).

[68] Василий Васильевич *Куприянов* (1912–2006) — анатом, академик РАМН. Доклад В.В. Куприянова состоялся на заседании Общественного института ювенологии, созданного в 1970-е гг. при Центральном доме медицинских работников при активном участии О.Н. Авдыковича (см. примеч. 40) и возглавляемого доктором медицинских наук Л.М. Сухаребским. Ювенологи, в отличие от геронтологов, делали акцент не на проблеме старения организма, а на проблеме его омоложения, творческого, активного долголетия.

[69] Такой, какой есть (*франц*).

[70] Петр Васильевич *Палиевский* (1932–2019) — теоретик и историк литературы, доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, в 1977–1994 г. — зам. директора ИМЛИ. П.В. Палиевский должен был вторично рецензировать книгу С.Г. Семеновой о Н.Ф. Федорове для издательства «Современник» (см. примеч. 63).

[71] Прот. Николай Стефанович *Педашенко* (1894–1980). Участник Кружка ищущих христианского просвещения, Златоустовского кружка. В 1917 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета, был оставлен профессорским стипендиатом по кафедре русской истории, специализировался по истории русской церкви. В 1921–1928 гг. работал в Институте истории, параллельно в 1923–1924 гг. исполнял должность доцента на курсах Московской духовной академии. В 1930–1935 гг. был сотрудником редакции «Советской энциклопедии», в 1939–1949 гг. работал в Театральном музее им. А.А. Бахрушина. В 1947 г. поступил в Московскую духовную академию на должность воспитателя, самостоятельно прошел курс дисциплин семинарии, сдал экзамены, в 1949 г. был рукоположен и назначен священником Воскресенского храма в г. Сарапуле, в 1965–1968 гг. был настоятелем этого храма. Вел аскетический образ жизни, спал на досках, ходил босиком по снегу. За активную позицию в Церкви (не молчал о притеснениях религии в СССР, поддержал «открытое письмо» свящ. Николая Элишмана и Глеба Якунина 1965 г., отказался читать послание патр. Алексия I в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции) был выведен за штат. Вернувшись в Москву, служил на дому, совершал крещения, руководил духовными чадами. Г.Д. Гачев, муж С.Г. Семеновой, познакомился с прот. Николаем Педашенко через А.Н. Меньшутина, в 1960-е гг. сотрудника ИМЛИ РАН, соавтора А.Д. Синявского, в 1970-е — сотрудника ИНИОН РАН. 26 ноября 1972 г. прот. Николай крестил семью Гачевых. Диалоги с о. Николаем и событие крещения описаны в книге Г.Д. Гачева «Зимой с Декартом» (*Гачев Г.Д.* Французский образ мира. Зимой с Декартом (роман мышления). М.: Академический проект, 2019. С. 145–151, 165–174, 231).

[72] С.Г. Семенова упоминает следующие издания и публикации: *Гулыга А.В.* Кант. М.: Молодая гвардия, 2019; Переселение душ: проблема бессмертия в оккультизме и христианстве. Paris: YMCA-Press, 1935; *Молок Ю.А., Костин В.И.* Об одной идее «будущего синтеза живых искусств». По материалам писем В.Н. Чекрыгина к Н.Н. Пунину // Советское искусствознание. Вып. 2. 1976. С. 287–336; *Трубецкой Е.Н.* Смысл жизни. М., 1918; *Чижевский А.Л.* Страницы воспоминаний о К.Э. Циолковском // Химия и жизнь. 1977. № 1. С. 22–32 (беседа А.Л. Чижевского с Циолковским, в которой последний излагает теорию космических эр); *Berberova N.* Italics Are Mine. Vintage, 1969.

[73] С.Г. Семенова писала статью о Федорове для дополнительного тома «Краткой литературной энциклопедии». См.: *Семенова С.Г.* Н.Ф. Федоров // Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. А–Я. М., 1978. С. 755–756.

[74] Владимир Александрович *Харитонов* (1940–2010) — филолог, переводчик (переводил В. Набокова, Т. Вулфа, Ф. Скотта Фицджеральда, Д. Рёскина и др.), однокурсник С.Г. Семеновой, преподаватель Литературного института им. А.М. Горького. Константин Михайлович *Черный* (1940–1993) — филолог, однокурсник С.Г. Семеновой, специалист по литературе Серебряного века. С 1975 г. работал в редакции «Советской энциклопедии», позднее заведовал редакцией словаря «Русские писатели 1800–1917». Людмила Макаровна *Щемелева* — литературовед, специалист по русской литературе первой трети XIX в. (кандидатскую диссертацию «Типы философского и психологического сознания в русской лирике XIX в. (Баратынский, Тютчев, Лермонтов)» защитила на филологическом факультете МГУ в 1975 г.). Долгие годы работала в издательстве «Советская энциклопедия», один из редакторов словаря «Русские писатели 1800–1917».

[75] См. примеч. 409.

[76] Эрих Юрьевич *Соловьев* (р. 1934) — историк философии, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН. В 1970–1980-е гг. Э.Ю. Соловьев и его жена, историк арабо-мусульманской философии Е.А. Фролова близко общались с Г.Д. Гачевым и С.Г. Семеновой.

[77] Речь идет о планах выпуска в издательстве «Мысль» сочинений Н.Ф. Федорова (см. примеч. 175).

[78] Речь идет о главах книги С.Г. Семеновой «На пороге грядущего. Н.Ф. Федоров. Судьба его идей в русской и советской литературе».

[79] Василий Феофилович *Купревич* (1897–1969) — биолог, президент Белорусской академии наук. В 1967–1969 гг. выступил на страницах периодической печати со статьями, посвященными проблемам продления жизни и победы над смертью, доказывая, что смерть, запущенная на определенном этапе эволюции как механизм отбора, с появлением человека становится фактором, тормозящим развитие, атавизмом, который должен быть отменен.

[80] Вечер памяти Н.Ф. Федорова, посвященный 150-летию со дня рождения Н.Ф. Федорова, прошел 25 января 1978 г. в рамках научного семинара Общественного института ювенологии «Основы радикального продления жизни и деятельности человека». Заседания семинара проводились в клубе «Факел» по адресу: ул. Белинского, д. 5.

[81] Сведений о Масловой установить не удалось.

[82] Юрий Федорович *Карякин* (1930–2011) — литературовед, писатель, исследователь творчества Достоевского. Познакомился с С.Г. Семеновой в 1977 г. Интересовался идеями Федорова. Читал рукопись ее книги о Федорове, сданной в издательство «Современник». Константин Александрович *Кедров* (р. 1942) — поэт, философ, литературный критик. В программе вечера памяти Федорова, напечатанной в пригласительном билете на цикл докладов семинара «Основы радикального продления жизни и деятельности человека», была дана такая программа: «1. Директор общественного института ювенологии, доктор медицинских наук Л.М. Сухаребский “О стучавших в двери бессмертия”; 2. Писатель В.Е. Львов (Ленинград). “Космос и человек в творчестве Н.Ф. Федорова”; 3. Кандидат филологических наук С.Г. Семенова “Проблема овладения временем в учении Н.Ф. Федорова”; 4. кандидат исторических наук А.А. Горбовский “Н.Ф. Федоров и проблема интеллектуальной собственности”; 5. философ Л.А. Стрелков “Похитим ножницы у Антропы” — легенда и гипотеза о бессмертии. 6. Выступления присутствующих». В реальности программа состояла из выступлений С.Г. Семеновой, сотрудницы Отдела рукописей Библиотеки им. В.И. Ленина Г.И. Довгалло, Ю.Ф. Карякина, К.А. Кедрова, О.Н. Авдыковича и др., что подтверждается не только воспоминаниями С.Г. Семеновой, но и дневниковой записью О.Н. Сетницкой от 26 января 1978 г. (*Сетницкая О.Н.* Дневник 1977–1979 // Московский архив А.К. Горского и Н.А. Сетницкого).

[83] Порфирий Корнеевич *Иванов* (1998–1983) — народный мудрец, создатель духовно-оздоровительного учения «Детка», ориентированного на гармоничное взаимодействие человека с природой (минимум одежды для максимального контакта тела с естественной средой, обливание холодной водой, хождение босиком по земле и снегу, оздоровительное голодание), отказ от искусственных потребностей, любовь к природе и людям, делание добра, установка на радость. В конце 1970-х — 1980-е гг. последователи системы П.К. Иванова интересовались философией Федорова, его идеей психо-физиологической регуляции, находя в ней переклички с заветами своего учителя.

[84] Ср. запись в дневнике О.Н. Сетницкой: «25/I. Вечер 150 лет Н.Ф. Федорова. Клуб “Факел”. Институт ювенологии. Народу, как в церкви, жара, духота. Прекрасно Светлана Семенова — по своей работе о Н.Ф. Боря Славин, Сотр<удница> Библиотеки Ленина — о восп<оминаниях> Георгиевского о Н.Ф. и Толстом. Св. владеет образом, прекрасно говорила такие сложнейшие вещи о воскрешении, о музее. Затем был еще Карякин; Кедров — о 4 измерении, о переживании воскрешения как залог осуществл<ения> его. Олег (О.Н. Авдыкович. — *А. Г.*) — о Пуне (т. е. Н.А. Сетницком. — *А. Г.*) и Муравьеве — о статье в Калуге. Говорил слабо, ему дураки шикали, я на них кричала. Потом выступил из публики — о некоем Иванове, морже, новом человеке — ахинея, говорил ½ часа. Сам с кавернами начал купаться и излечился. Не могли этого идиота унять. <…> Был портрет Н.Ф. огромный <…> Все было хорошо, кроме этого последнего аппендикса об Иванове» (*Сетницкая О.Н.* Дневник 1977–1979).

[84a] Речь идет об А.И. Романове (см. примеч. 137).

[85] Иосиф Аронович *Крывелев* (1906–1991) — религиовед, доктор философских наук, критик религии, пропагандист научного атеизма.

[86] Речь идет о книге С.Г. Семеновой «На пороге грядущего. Н.Ф. Федоров. Судьба его идей в русской и советской литературе». Одно из центральных мест в книге занимала фигура А.П. Платонова. Фактически С.Г. Семенова ввела в текст книги написанную в 1977 г. работу о Платонове «В усилии к будущему времени…» (см. примеч. 20а).

[87] Екатерина Александровна *Крашенинникова* (1918–1997) — историк, библиограф, работала в Библиотеке Иностранной литературы и в Библиотеке им. В.И. Ленина. В 1939 г. познакомилась с О.Н. Сетницкой, а через нее — с А.К. Горским, философом, поэтом, критиком, последователем идей Федорова. Сетницкая и Крашенинникова, «дочерне-творческий актив», как называл их Горский, распространяли идеи Федорова в среде московского студенчества, обращались к писателям, ученым, деятелям культуры. Это были и личные встречи, и письма, мастером которых считалась Е.А. Крашенинникова. В Московском архиве А.К. Горского и Н.А. Сетницкого сохранились черновики ее писем В.И. Вернадскому, И.Г. Эренбургу, Вс. Иванову, О.Д. Форш, Б.Л. Яворскому, В.Н. Яхонтову и др. В 1943 г. Е.А. Крашенинникова обращалась к патр. Сергию (Страгородскому), познакомив его с работой Горского и Сетницкого «Смертобожничество». Позднее, в 1960–1980-е гг. Е.А. Крашенинникова также обращалась с письмами, в которых звучали идеи Федорова и Горского, к целому ряду лиц, в том числе к писателю Д.А. Гранину, философу А.В. Гулыге и др. О.Н. Сетницкая и Е.А. Крашенинникова хранили архив А.К. Горского и его друга, философа Н.А. Сетницкого, знакомили с его материалами людей, интересовавшихся наследием Федорова, проблемами иммортализма, диалога веры и науки. С.Г. Семенова познакомилась с Е.А. Крашенинниковой через посредство О.Н. Сетницкой. Первая их встреча произошла в мае 1976 г. О.Н. Сетницкая и Е.А. Крашенинникова познакомили С.Г. Семенову с материалами архива А.К. Горского и Н.А. Сетницкого.

[88] Семен Иванович *Шуртаков* (1918–2014) — писатель-почвенник, печатался в журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник». С 1977 г. вел семинар прозы в Литературном институте им. А.М. Горького.

[89] Игорь Петрович *Золотусский* (р. 1930) — историк литературы, писатель, литературный критик, журналист.

[90] Юрий Владимирович *Томашевский* (1932–1995) — литературовед, литературный критик, исследователь творчества М.М. Зощенко.

[91] Исаак Наумович *Крамов* (1919–1979, наст. фам. — Рабинович) — литературовед, выпускник ИФЛИ. В 1960-е гг. — один из ведущих авторов «Нового мира». В 1970-е гг. — составитель серии сборников советского рассказа. Автор статей и очерков о творчестве А. Платонова, Л. Рейснер, А. Малышкине, И. Катаеве, В. Шукшине и др.

[92] Менструация (*франц.*).

[93] *Лазутин И.Г.* Сержант милиции. М., 1958.

[94] Владимир Родионович *Щербина* (1908–1989) — литературовед, теоретик, критик. В 1976 г. избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. С 1953 по 1988 г. — заместитель директора ИМЛИ РАН по научной работе.

[95] Иван Иванович *Анисимов* (1899–1966) — литературовед, специалист по литературе Западной Европы. В 1952–1966 гг. — директор ИМЛИ РАН. Борис Леонидович *Сучков* (1917–1974) — литературовед, теоретик и историк литературы, директор ИМЛИ РАН в 1968–1974 гг. Роман Михайлович *Самарин* (1911–1974) — литературовед, специалист по зарубежной литературе, с 1953 по 1973 г. заведовал Отделом истории зарубежной литературы ИМЛИ.

[96] Речь идет об очерке И.Н. Крамова «Платонов». Написан в январе 1974 г. Напечатан после смерти литературоведа: Континент. 2010. № 45. Следующие далее сведения С.Г. Семенова приводит по этому очерку.

[97] Владимир Владимирович *Ермилов* (1904–1965) — литературовед, критик. Участвовал в травле В.В. Маяковского, А.П. Платонова и др. разгромных кампаниях сталинской эпохи. На рассказ А.П. Платонова «Семья Иванова» (Новый мир. 1946. № 10–11; далее был переработан

и печатался под названием «Возвращение») откликнулся разгромной статьей «Клеветнический рассказ» (Литературная газета. 1947. № 1, 4 января).

[98] *Фадеев А.* О литературно-художественных журналах // Правда. 1947, 2 февраля.

[99] Сведения, приведенные в данном абзаце, вошли в очерк И.Н. Крамова «Платонов» (см. примеч. 96).

[100a] Речь идет о книге «Тайны Царствия Небесного».

[100] Сын А.П. Платонова Платон был арестован в мае 1938 г.

[100б] С.Г. Семенова намеревалась написать главку о Пришвине в свою книгу о Н.Ф. Федорове.

[101] С.Г. Семенова работала в Отделе рукописей Ленинской библиотеки (ныне — Российской государственной библиотеки) с одной из двух папок материалов к III тому «Философии общего дела», подготовленных учениками Н.Ф. Федорова В.А. Кожевниковым и Н.П. Петерсоном и хранившихся в фонде Н.П. Петерсона (ф. 657). Судя по записи в листе использования, ей выдавалась следующая единица хранения: Ф. 657. К. 3. Ед. хр. 4. Работала С.Г. Семенова и с папкой писем Федорова, предназначавшихся учениками для III тома: Ф. 657. К. 4. Ед. хр. 6. По итогам работы с материалами III тома С.Г. Семеновой были опубликованы: материалы к статьям Федорова о «Фаусте» Гёте (см. примеч. 64), о «Мертвых душах» Н.В. Гоголя (Литературная учеба. 1982. № 3. С. 163–167), подборка материалов «Из третьего тома “Философии общего дела”» (Контекст 1988. М.: Наука, 1989. С. 278–343). Также подборка материалов к III тому, подготовленная и откомментированная С.Г. Семеновой, вошла в издание сочинений Федорова 1982 г. Другая папка, также содержавшая материалы к III тому — Ф. 657. К. 3. Ед. хр. 3, выдана не была; лишь в 1992 г. она была обнаружена Е.М. Титаренко, введшим ее материалы в научный оборот.

[102] Михаил Наумович *Эпштейн* (р. 1950) — филолог, философ, культуролог. В 1970-е гг. общался с Г.Д. Гачевым, читал его рукописи, знакомясь с оригинальными идеями философа и его методом, позднее использовал их в своих сочинениях. С 1990 г. живет и работает в США.

[103] Все же, в конце концов (*франц.*).

[104] Первая книга — «На пороге грядущего» (см. примеч. 63). Вторая — работа об Андрее Платонове, состоявшая к тому времени из двух больших статей — «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)» и «Мытарства идеала (о “Чевенгуре” Андрея Платонова)». Третья книга, обозначенная здесь как «Философия бессмертия», — будущая книга «Тайны Царствия Небесного».

[105] Тимур Тимурович *Тимофеев* (1928–2013) — экономист, историк, политолог, с 1966 г. директор Института международного рабочего движения, в котором шло изучение проблем современной европейской философии и культуры. В институте работали философы, филологи, культурологи М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев, П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов, Ю.Ф. Карякин, Ю.А. Замошкин и др.

[106] Если это возможно (*франц.*).

[107] *«Огромный очерк»* — философско-эстетическая работа А.К. Горского (см. примеч. 183), в которой, опираясь на идеи «Смысла любви» В.С. Соловьева и «положительного целомудрия» Н.Ф. Федорова, он представил концепцию творческого акта, основанную на идее преображенного эроса.

[108] С.Г. Семенова сравнивает себя с Ольгой, старшей сестрой Жени, главной героини повести А. Гайдара «Тимур и его команда». В экранизации повести 1940 г. Ольгу играла Марина Ковалева.

[109] *Дед Никита* — Никита Тимофеевич Никишин, сосед Г.Д. Гачева по деревне Щитово.

[110] См. примеч. 101. Вторая после статьи Федорова о «Фаусте» Гёте публикация материалов из III тома «Философии общего дела» для сборника «Контекст», которую С.Г. Семенова готовила в год 150-летия со дня рождения Н.Ф. Федорова. Выпустить подборку в свет удалось только в 1989 г.

[111] Валерий Семенович Борисов (р. 1948) — искусствовед. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Работал в Калужском областном драматическом театре, в Московском городском бюро экскурсий. Член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

(ВООПИиК). В 1967 г. заинтересовался наследием Н.Ф. Федорова. Организатор первых Федоровских вечеров. Автор экскурсий «Н.Ф. Федоров в Москве», «Символика Московского Кремля в свете учения Н.Ф. Федорова». Один из первых исследователей биографии Н.Ф. Федорова (открыл место и год рождения Н.Ф. Федорова, обнаружил ряд документов, связанных с первыми годами учебы Н.Ф. Федорова в Шацке, Тамбове, Одессе). В 2003 г. создал в Москве символический сад «Эдем Воскрешения», посвященный памяти Н.Ф. Федорова.

[112] См. примеч. 126.

[113] В материалах к III тому «Философии общего дела», с которыми в 1978 г. работала С.Г. Семенова, содержались заметки Федорова, посвященные публичной лекции писателя, доктора медицины Николая Яковлевича *Пясковского* (1855 — после 1907) «Как мыслил В.С. Соловьев о воскресении и значение его философии для гигиены духа» (опубл.: М., 1901). В примечании к заметкам В.А. Кожевников писал о живом интересе Федорова к этой лекции. См. подробнее: *Федоров Н.Ф.* Сочинения: В 4 т. Т. IV. Дополнения. Комментарии к Т. IV. М.: Традиция, 2000. С. 159–160.

[114] О.Н. Сетницкая дала С.Г. Семеновой архивную машинопись богословского трактата друзей-философов федоровской ориентации А.К. Горского и Н.А. Сетницкого (см. примеч. 183) «Смертобожничество» (текст трактата см.: Из истории философско-эстетической мысли 1920–1930-х гг. Вып. 1. Н.А. Сетницкий. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 53–126). Из поэм Сетницкого, по всей вероятности, О.Н. Сетницкая дала С.Г. Семеновой поэмы «Валаам» и «Высказывания и картины», машинописи которых хранились у нее.

[115] Заведующим критики в журнале «Север» с 1969 по 2005 г. был Иван Константинович Рогощенков (1933–2005). В 1980 г. в № 2 журнала «Север» вышла статья Семеновой «Об одном идейно-философском диалоге (Л. Толстой и Н. Федоров)».

[116] *Иван Цветков* (р. 1924) — болгарский литературный критик, писатель, литературовед. В 1973–1980 — секретарь Союза писателей Болгарии.

[117] Бригитта *Иосифова-Темпест* (р. 1928) — болгарская журналистка, писательница, долгие годы была корреспондентом газеты «Литературен фронт». С Б. Иосифовой и ее супругом П. Темпестом Г.Д. Гачев и С.Г. Семенова познакомились в 1977 г. Статья об А. Платонове «С усилия към бъдещето…» была опубликована в № 6 журнала «Литературна мисъл» за 1980 г. Решение продвинуть статью в журнал, по всей вероятности, родилось после выхода в № 3 за 1978 г. статьи Семеновой «Творчеството на живота (Философско-естетическите идеи на Н.Ф. Фьодоров)» («Творчество жизни (Философско-эстетические идеи Н.Ф. Федорова)»).

[118] 17 сентября 1981 г. в газете «Литературен фронт» появилась другая статья Семеновой «Превъзмогаване на еснафа. Отношението към смъртта у Максим Горки» («Преодоление мещанина. Отношение к смерти у Максима Горького»).

[119] Виктор Исаакович *Камянов* (1924–1997) — критик, литературовед, педагог. С 1973 г. — редактор отдела критики «Нового мира». Вадим Валерианович *Кожинов* (1930–2001) — литературовед, критик, публицист. Осуществить публикацию статьи о Платонове в журналах «Новый мир», «Москва» и «Октябрь» в конце 1970-х гг. не удалось. В 1981 г. в № 6 журнала «Наш современник» была помещена подборка «Над рекой времени… Философская мысль Н.Ф. Федорова и русская литература», в которой была напечатана статья С.Г. Семеновой о Федорове, в финале которой была обозначена связь Федорова и Платонова и подчеркнуто, что «идея жизни» писателя «уходит в глубокое и сложное усвоение учения “всеобщего дела”»: «Писатель сумел сердечно укоренить некоторые важнейшие федоровские темы, как бы возродить их в художественной плоти образов» (*Семенова С.Г.* Творчество жизни // Наш современник. 1981. № 6. С. 185). В 1988 г. в «Новом мире» была опубликована статья Семеновой о романе «Чевенгур» (см. примеч. 57).

[120] Статья С.Г. Семеновой «Человек, природа, бессмертие в поэзии Николая Заболоцкого» была опубликована в № 9 журнала «Литературная Грузия» за 1980 г.

[121] Александр Александрович *Михайлов* (1922–2003) — критик, литературовед. В 1978–1986 гг. был главным редактором журнала «Литературная учеба». В 1982–1984 гг. в этом журнале

вышла публикация Н.Ф. Федорова (см. примеч. 101) и статьи Семеновой «Философия оптимизма» (1982, № 3) и «Не вижу предела мощи разума…» (1984, № 3).

[122] Юрий Иванович *Селезнев* (1939–1984) — критик, литературовед. В 1976–1981 гг. был главным редактором серии «ЖЗЛ». Проект создания книги о Федорове для серии ЖЗЛ не был осуществлен.

[123] Юрий Михайлович *Лощиц* (р. 1938) — писатель, литературовед, публицист. В 1974–1983 гг. — редактор серии «ЖЗЛ» в издательстве «Молодая гвардия», которая выпускала и альманах «Прометей». Проект написать для альманаха «Прометей» статью о В.Н. Чекрыгине не был осуществлен.

[124] Тезисы доклада о Н.Ф. Федорове и В.Я. Брюсове С.Г. Семенова готовила для Брюсовских чтений, которые организовывал Ереванский государственный университет

[125] Хорошим тоном (*франц.*).

[126] В.С. Борисов организовал публичное выступление С.Г. Семеновой в Знаменском соборе, где находились лекционный и выставочный залы ВООПИиК.

[127] Речь идет о журналисте, режиссере Светлане Федоровне Барановой и ее муже Михаиле Баранове. С.Ф. Баранова и М. Баранов сняли документальный фильм «Московский Сократ» (1978), ставший лауреатом Всероссийского фестиваля любительских фильмов, посвященных памятникам истории и культуры.

[128] *Рогощенков* — см. примеч. 115. Валерия Дмитриевна *Пришвина* (1899–1879) — вдова М.М. Пришвина. Письмо С.Г. Семеновой было послано по совету В.В. Кожинова и предваряло отправку альманаха «Прометей» со статьей о Федорове.

[129] *Пришвин М.М.* Незабудки. Вологда: Вологодское книжное издательство, 1960.

[130] См. примеч. 127.

[131] С.Г. Семенова отсылает к Т. 70 «Литературного наследства» «Горький и советские писатели: Неизданная переписка» (М.: АН СССР, 1963), в котором, в частности, были помещены письма Горького А.П. Платонову и его переписка с М.М. Пришвиным. «*Язык интересный*» — отсылка к высказыванию Горького о романе «Чевенгур» (Указ. соч. С. 313).

[132] Идеальные моменты (*франц.*).

[133] С.Г. Семенова читала труд Николая Ивановича *Кареева* (1850–1931), русского историка-позитивиста, «Основные вопросы философии истории» (Ч. 1–2, СПб., 1887). Н.Ф. Федоров полемизировал с Н.И. Кареевым в первой работы «Вопрос о братстве…» (*Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. С. 5–53).

[134] Речь идет о книге Семеновой «На пороге грядущего. Н.Ф. Федоров. Судьба его идей в русской и советской литературе» (см. примеч. 63).

[135] См. примеч. 126.

[136] Н.Ф. Федоров умер 15(28) декабря 1903 г. в Мариинской больнице для бедных.

[137] Александр Иванович *Романов* (р. 1948). По образованию историк. В годы учебы в Саратовском государственном университете был организатором подпольной марксистской группы, стремившейся к возрождению истинного марксизма, свободы слова, демократии. В 1969 г. был арестован, отбывал наказание в мордовских лагерях. В заключении пришел к христианству, познакомился с идеями Н.Ф. Федорова, прочтя «Философию общего дела», два тома которой дал ему публицист, литературный критик, один из основателей Всероссийского социально-христианского союза Е.А. Вагин (см.: *Романов А.И.* Воспоминания. Саратов, 2017. С. 110).

[138] Ричард *Темпест* (р. 1956) — славист, культуролог, писатель, сын Б. Иосифовой и П. Темпеста. В то время — аспирант Оксфордского университета. В наст. время —ассоциированный профессор славянских языков и литератур Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, старший редактор политологического издания «Journal of Political Marketing» (Чикаго).

[139] Филолог В.В. Кожинов и его жена Е.В. Ермилова.

[140] Друзья Г.Д. Гачева, писатель Юз Алешковский (р. 1929) и его жена, славист Ирина Феликсовна Алешковская (род. 1953), в 1979 г. эмигрировали через Австрию в США, а его первая жена Берта Нисоновна *Гачева* (1925–1996), актриса, архитектор, педагог, и сын Дмитрий Георгиевич *Гачев* (р. 1958) в том же году эмигрировали в Израиль.

[141] См. примеч. 110.

[142] См. примеч. 127.

[143] Цитируемые строки принадлежат Ф.И. Тютчеву.

[144] Имеется в виду сборник стихов В.Я. Брюсова «Меа» (ГИХЛ, 1924). Сборник, название которого по-латински значит «Спеши!», вышел в свет в день похорон поэта и раздавался студентам.

[145] Одним словом (*франц.*).

[146] Леонид Александрович *Латынин* (р. 1938) — поэт, прозаик. Роман «Гример и Муза», который С.Г. Семенова читала в рукописи, находясь в Доме творчества писателей, вышел в 1988 г.

[147] Елена Михайловна — сотрудница Литературного фонда писателей СССР.

[148] Книгу, фрагменты которой И. Крамов читал С.Г. Семеновой, содержала серию очерков и эссе, написанных им в последние годы жизни. Частично материалы книги были опубликованы после смерти их автора в журнале «Континент» (2011. № 2(148)).

[149] Отсылка к новелле И.Н. Крамова «Из рассказов Зискинда» (Континент. 2011. № 2(148). С. 662–706). Абрам Владимирович *Зискинд* (1898–1975) — зам. начальника Наркомата тяжелой промышленности в 1930-е гг.

[150] Речь идет о Дмитрии Петровиче Святополке-*Мирском* (1890–1939), литературоведе, критике, публицисте, деятеле русского зарубежья, вернувшемся в 1932 г. в СССР и репрессированном в 1937 г.

[151] Борис Захарович *Мильнер* (1929–2013) — ученый-экономист, профессор, специалист в области теории организации и управления.

[152] *Леня* — Л.А. Латынин (см. примеч. 146).

[153] Виктор Андреевич *Чалмаев* (р. 1932) — писатель, критик, литературовед. С.Г. Семенова познакомилась с ним в доме творчества писателей в Малеевке в свой приезд в Малеевку в феврале 1979 г. Сергей Васильевич *Викулов* (1922–2006) — поэт, в 1969–1989 гг. — главный редактор журнала «Наш современник». Александр Иванович *Овчаренко* (1922–1988) — литературовед, критик.

[154] С.Г. Семенова дала С.В. Викулову свою статью «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)». В журнале «Наш современник» статья опубликована не была. В 1981 г. в журнале появилась другая статья С.Г. Семеновой «Творчество жизни» (*Семенова С.Г.* Творчество жизни // Наш современник. 1981. № 6. С. 175–185). См. подробнее примеч. 119.

[155] Владимир Васильевич *Васильев* (1944–2007) — литературовед, критик, в 1996–2006 гг. ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН. Автор книги «Сопричастность жизни» (М.: Современник, 1977), посвященной А. Платонову, В. Распутину, Е. Носову, В. Лихоносову и др. В 1982 г. выпустил отдельную книгу о Платонове: «Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества». М., 1982.

[156] В журнале «Литературная Грузия» были опубликованы статьи Семеновой «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)» (1979, № 11. С. 104–121), «Человек, природа, бессмертие в поэзии Николая Заболоцкого» (1980, № 9. С. 134–152). В журнале «Волга» — «“Сердечная мысль” М. Пришвина» (1980, № 3), «Послесловие к рассказам О. Лукьянова» (1987, № 9) и сокращенная версия книги о Федорове: «Московский Сократ. Жизнь, учение, судьба идей Николая Федорова» (1989, № 9–12).

[157] См. примеч. 137.

[158] *«Вселенское дело»* — под таким названием в 1914 г. в Одессе и в 1934 г. в Харбине были изданы два сборника, посвященных Н.Ф. Федорову и актуализировавших его идеи для современности. В кругу московских «федоровцев» в конце 1970-х — 1980-е гг. неоднократно обсуждалась

необходимость издания 3 выпуска «Вселенского дела» как своего рода манифеста федоровского движения на современном этапе.

[159] Имеется в виду рукопись книги о Н.Ф. Федорове и книги, позднее названной «Тайны Царствия Небесного».

[160] Валентин Яковлевич *Княженцев* (р. 1946) — друг А.И. Романова, один из участников созданной А.И. Романовым «группы революционного коммунизма», диссидент. В 1991 г. принял монашеский постриг с именем Авраамий, возглавлял Сортавальское подворье Валаамского монастыря, в 2019 г. принял великую схиму.

[161] Эвальд Васильевич *Ильенков* (1924–1979) — философ, публицист. С Э.В. Ильенковым дружил муж С.Г. Семеновой Г.Д. Гачев, в 1950-е гг. под его руководством занимался философией Гегеля.

[162] Э.Ю. Соловьев и его супруга Е.А. Фролова (см. примеч. 76).

[163] Олег Максимович *Лукьянов* (1937–1998) — писатель-фантаст, автор сборников «Вся мощь Вселенной» (1979), «Человек из пробирки» (1987), «Покушение на планету» (1989), «На одной далекой планете» (1992). Был глубоко увлечен идеями Н.Ф. Федорова. В 1980-е гг. С.Г. Семенову и О.М. Лукьянова связывали духовное соратничество и глубокая дружба.

[164] Петр Сергеевич *Строков* (1918 — ?) — поэт, критик, литературовед, один из ведущих сотрудников журнала «Октябрь». Всеволод Анисимович *Кочетов* (1912–1973) — писатель, журналист, в 1961–1973 гг. главный редактор журнала «Октябрь».

[165] См. примеч. 101, 110.

[165a] П.В. Палиевский был членом редколлегии периодического сборника ИМЛИ «Контекст», в котором должна была идти подготовленная С.Г. Семеновой публикация материалов к III тому «Философии общего дела».

[166] 24 апреля 1942 г. О.Н. Сетницкая и Е.А. Крашенинникова написали письмо И.В. Сталину, ходатайствуя об освобождении Н.А. Сетницкого, арестованного в 1937 г. О том, что он был расстрелян, они не знали. К письму была приложена совместная работа А.К. Горского и Н.А. Сетницкого «Творческий марксизм и ликвидация хвостизма в биологии» (1937) и работы А.К. Горского о А.М. Горьком.

[166a] Речь идет о рукописи книги «Тайны Царствия Небесного».

[167] Неограниченные полномочия (букв.: белая, пустая карта (*франц.*)).

[167a] *Булгаков С.Н.* Душа социализма // Новый град. 1931. № 1. С. 49–58. О Н.Ф. Федорове — С. 57–58. Об отношении С.Н. Булгакова к Н.Ф. Федорову см.: *Семенова С.Г.* Учение Н.Ф. Федорова в оценках религиозных философов и богословов // Семенова С.Г. Тайны Царствия Небесного. С. 325–330.

[168] Федор Артемьевич *Быков* (1915–2002) — сосед семьи Гачевых по деревне Новоселки Наро-Фоминского района Московской области.

[169] Григорий Алексеевич *Семенов* (1914–1984) — отец С.Г. Семеновой, подполковник. Служил в Красной армии с 1936 г., в Великую Отечественную войну командовал батальоном, воевал на Северо-Западном фронте, освобождал г. Ригу. После войны был военкомом в Молдавии. После выхода в отставку работал председателем Общества спасения на водах в г. Дубне. С начала 1970-х гг. жил в пос. Селятино Московской обл.

[170] «Белый Бим Черное ухо» (1977) — художественный фильм, снятый режиссером С. Ростоцким по одноименной повести Г. Троепольского.

[171] 26 июля 1979 г. С.Г. Семенова записывает в дневнике, что Г.Д. Гачев начал читать первую часть книги «Тайны Царствия Небесного»: «Ему нравится, все время хвалит».

[172] Георгий Гачев в своих дневниковых записях («записюрьках») неоднократно называл Светлану Семенову «Маммушка-Домушка».

[173] Имеется в виду предисловие, которое С.Г. Семенова писала к готовившемуся в издательстве «Мысль» в серии «Философское наследие» изданию сочинений Н.Ф. Федорова. В печатном варианте предисловие было сильно искажено редакторской цензурой. Том с большими трудностями вышел в свет в 1982 г.

[174] «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, к духовным и светским, верующим и неверующим». Главное сочинение Н.Ф. Федорова, начатое в 1878 г. как ответ Ф.М. Достоевскому и ставшее первым развернутым изложением учения всеобщего дела.

[175] Прекрасная авантюра (*франц.*). Арсений Владимирович *Гулыга* (1921–1996) — историк русской и зарубежной философии. Один из инициаторов создания серии «Философское наследие». Стремясь начать в рамках этой серии выпуск сочинений русских мыслителей, продвигал издание тома Н.Ф. Федорова. Подробнее см. интервью С.Г. Семеновой. Заявку на включение в план издания серии книги «Н.Ф. Федоров. Избранные сочинения» С.Г. Семенова подала 21 апреля 1979 г. В конце лета и осенью 1979 г. она интенсивно работал над подготовкой тома.

[176] Олег Григорьевич *Чухонцев* (1938) — поэт, переводчик.

[177] Вероятно, речь идет о писателе, сценаристе, авторе книг для подростков и юношества Юрии Яковлевиче *Яковлеве* (1922–1995).

[177a] С.Г. Семенова дала на чтение главу «“В усилии к будущему времени” (А. Платонов)» из своей книги «Н.Ф. Федоров. Судьба его идей в русской и советской литературе», сданной в издательство «Современник».

[177б] *Шафаревич И.Р.* Социализм // Из-под глыб. Париж: YMCA-Press, 1974. С. 27–72.

[178] Судя по данной записи, С.Г. Семенова планировала включить во «Вселенское дело» биографии Н.А. Сетницкого и А.К. Горского, которые были написаны О.Н. Сетницкой, и фрагменты писем А.Г. Горского к О.Н. Сетницкой и Е.А. Крашенинниковой 1937–1943 гг., хранившихся у последней.

[179] Валентин Арсентьевич *Никитин* (1947–2016) — поэт, публицист, литературовед, богослов. С 1973 г. работал в Издательском отделе Московской Патриархии. Был глубоко проникнут идеями Н.Ф. Федорова. Далее в данном фрагменте он фигурирует под именем Валя. Алексей Александрович *Дорогов* (1923–2003) — философ, культуролог, научный сотрудник Института истории естествознания и техники, Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, читал спецкурсы в МГУ и Московском полиграфическом институте. Занимался Н.Ф. Федоровым, высоко ценил его идеи и был их последователем. Дружил с Е.А. Крашенинниковой, с которой занимал один дом в поселке Ашукино.

[180] А.И. Романов собирал библиографию Н.Ф. Федорова, литературы и упоминаний о нем, оформляя ее на больших карточках. В настоящее время эта библиография хранится в Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова.

[181] Готовя первый выпуск «Вселенского дела» (Одесса, 1914), А.К. Горский и И.П. Брихничев разослали писателям, поэтам, деятелям культуры небольшую анкету с просьбой ответить на вопрос об их отношении к смерти, возможности (и необходимости) борьбы с ней, о воскресении и воскрешении. В сборнике были напечатаны ответы В.Я. Брюсова, А.С. Панкратова, И. Горбунова-Посадова, Ф. Коган. Задуманная С.Г. Семеновой анкета была осуществлена в 1988–1989 гг. участниками руководимого ею Федоровского семинара.

[182] *Величание Пасхи* — текст Н.Ф. Федорова, составленный по образцу стихир Пасхи, исполняемых во время Пасхальной утрени. Два варианта величания были присланы им в письмах В.А. Кожевникову 22 марта и 2 апреля 1896 (*Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. Т. IV. М.: Традиция, 1999. С. 304, 306).

[183] С.Г. Семенова называет имена друзей-философов, последователей идей Н.Ф. Федорова, развивавших его идеи в Советской России 1920-х гг. Валериан Николаевич *Муравьев* (1885–1930) — философ, публицист, дипломат, один из участников сборника «Из глубины» (1918), автор религиозно-философской мистерии «София и Китоврас», книги «Овладение временем как основная задача организации труда» (М., 1924), работы «Культура будущего», в 1925–1928 гг. — ученый секретарь ЦИТа. Александр Константинович *Горский* (1886–1943) — философ, эстетик,

критик, поэт, один из составителей сборника «Вселенское дело». Окончил Московскую духовную академию, с 1912 г. жил в Одессе, преподавал в семинарии и гимназии, в 1918 г. создал в Одессе религиозно-философское общество, с 1922 г. жил в Москве, член ГАХН. Николай Александрович *Сетницкий* (1888–1937) — философ, экономист, эстетик. Окончил Санкт-Петербургский университет, с 1917 г. служил в Одессе, занимался проблемами экономики и статистики. С 1923 г. в Москве, в 1925–1935 гг. служил в Харбине, преподавал на Юридическом факультете, издал целую библиотечку федоровской литературы. Сочинения Горского, Сетницкого, Муравьева изданы в ИМЛИ РАН в рамках научной серии «Из истории философско-эстетической мысли 1920–1930-х гг.» в 2003 (Сетницкий), 2011 (Муравьев), 2018 (Горский) гг.

[184] Михаил Борисович *Храпченко* (1904–1986) — литературовед, государственный и общественный деятель, с 1967 по 1986 гг. академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР, член правления союза писателей СССР (1954–1986).

[185] Этой теме будет посвящена третья часть книги Семеновой «Тайны Царствия Небесного» «Метаморфоза пола» и главы приложения «“Смысл любви” В.С. Соловьева», «Преобразовательная эротика А.К. Горского» (Указ. соч. С. 201–259, 359–381).

[186] Е.А. Крашенинникова давала С.Г. Семеновой письма А.К. Горского 1939–1942 гг., в которых продолжались и развивались идеи его работы «Огромный очерк», посвященной творческой метаморфозе эроса.

[187] «Это я», «О, Палиевский! Вы меня заставляете бледнеть от одной этой мысли…» (*франц.*).

[188] *Алена* — Алена Михайловна Голодная, знакомая С.Г. Семеновой, дочь пролетарского поэта М.С. Голодного. *Иосиф* — знакомый Г.Д. Гачева и С.Г. Семеновой. В ее дневниках фигурирует под шуточным названием «Иосиф Прекрасный».

[189] Владимир Николаевич *Турбин* (1927–1993) — литературовед, критик. На его семинаре на филологическом факультете МГУ в 1966 г. познакомились Г.Д. Гачев и С.Г. Семенова.

[190] Имеется в виду договор на составление тома Н.Ф. Федорова для серии «Философское наследие» издательства «Мысль».

[191] См. примеч. 117.

[192] Майкл *Холквист* (1935–2016) — американский славист, исследователь М.М. Бахтина. С М. Холквистом и его женой К. Кларк (см. примеч. 194) Георгий Гачев и Светлана Семенова тесно общались в периоды их приездов в Россию.

[193] Речь идет о супружеской паре: Роберт Уэлдон *Эдвардс* (1949–1998) — американский славист, с 1980 по 1986 г. преподаватель и профессор Техасского университета, в 1988 г. получил степень доктора философии. Профессор университета Южного Иллинойса, возглавлял русский сектор кафедры иностранных языков. В 1990-е гг. перевел книгу Г.Д. Гачева «Национальные образы мира», переводил книгу С.Г. Семеновой «Николай Федоров: Творчество жизни» (в связи со смертью Р.У. Эдвардса от рака перевод не был завершен). Молли *Эдвардс-Бриттон* (р. 1953) — театровед, театральный деятель, в 1979–1980 гг. стипендиат Фулбрайт-Хейс в области исполнительского искусства; в 1981 г. получила в Техасском университете степень магистра изящных искусств, работала в художественной комиссии по искусствам Техаса, в Совете искусств Иллинойса, преподавателем театрального факультета Университета Южного Иллинойса. У Роберта и Молли Эдвардсов было трое детей.

[194] Катерина *Кларк* (р. 1941) — американская славистка, подруга С.Г. Семеновой. Родом из Австралии. Окончила аспирантуру филологического факультета МГУ, во время учебы в которой познакомилась с С.Г. Семеновой (они были соседками по общежитию). В настоящее время профессор Йельского университета. Долгие годы была женой М. Холквиста.

[195] Инсценировка «Бесов», сделанная Ю. Карякиным, в советские годы не увидела сцены.

[196] Алексей Николаевич *Ивин* (р. 1953) — писатель, в 1976–1981 гг. учился в Литературном институте, работал в журналах «Наш современник», «Сельская молодежь» и др. На 2 курсе Литературного института С.Г. Семенова преподавала А.Н. Ивину французский язык.

[197] См. примеч. 115, 156.

[198] Речь идет о сборнике рассказов О.М. Лукьянова «Вся мощь Вселенной» (1979).

[198a] С.Г. Семенова отправила О.М. Лукьянову статью «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)» (Литературная Грузия. 1979, № 11) и статью о Л.Н. Толстом (см. примеч. 18).

[199] Виталий Иванович *Севастьянов* (1935–2010) — летчик-космонавт СССР. В 1980 г. написал предисловие к книге С.Г. Семеновой «На пороге грядущего». Предисловие «от космонавта» было условием, выдвинутым издательством «Современник», однако книга так и не вышла в свет. Написанный В.И. Севастьяновым текст был опубликован в журнале «Наш современник» в составе подборки «Над рекой времени… Философская мысль Н.Ф. Федорова и русская литература»: *Севастьянов В.И.* Размышляя о будущем // «Наш современник». 1981. № 6. С. 173–175.

[200] Речь идет о саратовцах А.И. Романове и В.Я. Княженцеве.

[201] Борис Ильич *Процук* (1927–2001) — двоюродный брат С.Г. Семеновой, военный энергетик.

[202] Л.В. Литвинова, заведующая редакцией издательства «Мысль».

[203] Михаил Трифонович *Иовчук* (1908–1990) — историк русской философии, специалист по В.Г. Белинскому и революционно-демократической мысли 1960-х гг., создатель кафедры русской философии (1943) и кафедры истории марксистско-ленинской философии философского факультета МГУ. В 1970–1978 был ректором Академии общественных наук. В качестве председателя Совета по истории общественной мысли при Президиуме АН СССР выступил против издания сочинений Федорова, подчеркивая, что Федоров — мистик и идеалист, отправив свои возражения в Отдел науки при ЦК КПСС, после чего было решено для обсуждения судьбы тома созвать совместное заседание Совета по истории общественной мысли, который возглавлял Иовчук, и редколлегии серии «Философское наследие».

[204] *Пустарнаков* — см. примеч. 53; Леонид Александрович *Коган* (1912–2013) — историк русской философии, работал в Институте философии РАН.

[205] Эта работа составила основу книг Георгия Гачева «Българският Космо-Психо-Логос (по Христо Ботев). (Болгарский Космо-Психо-Логос)» (на болг. яз.). София: Захарий Стоянов, 2006; Национальные образы мира. Болгария в сравнении с Россией (опыт экзистенциального литературоведения). М.: Институт славяноведения РАН, 2007.

[205a] Делать хорошую мину при плохой игре (*франц.*).

[206] Речь идет о статье С.Г. Семеновой «Творчество жизни», которая должна была выйти в журнале «Наш современник» (см. примеч. 119).

[207] О жизни Е.А. Крашенинниковой и ее подруг Лили Сетницкой и Ирины Тучинской в музее А.Н. Скрябина в годы войны см.: *Берковская Е.Н.* Судьбы скрещенья: Воспоминания. М.: Возвращение, 2008. С. 429–508.

[207a] Вперед! (*итал.*).

[208] *Семенова С.Г.* Вера, пришедшая в «разум истины». Богословие как богодействие Федорова // Семенова С.Г. Тайны Царствия Небесного. С. 71–102.

[208a] Где угодно (*англ.*). Прикровенное указание на намерение опубликовать книгу «Тайны Царствия Небесного» за пределами СССР.

[209] Владимир Семенович *Маканин* (1937–2017) — писатель. В этот приезд в Малеевку С.Г. Семенова много общалась с ним, увлекла его идеями Федорова.

[210] Речь идет об Александре Алексеевиче Тучкове 4-м (1778–1812), генерал-майоре, погибшем во время Бородинской битвы, и его супруге Маргарите Михайловне Тучковой (урожд. Нарышкиной, 1780–1852).

[211] С.Г. Семенова цитирует федоровский фрагмент «Вера только тогда примирится со Знанием», входивший в число материалов к III тому «Философии общего дела» (*Федоров Н.Ф.* Сочинения: В 4 т. Т. 3. М.: Традиция, 1997. С. 405).

[212] Цитата из того же фрагмента.

[213] Нина Васильевна *Чекрыгина* (1921–1981) — дочь художника В.Н. Чекрыгина. С.Г. Семенова общалась с ней во второй половине 1970-х гг.

[214] Лилиана Рустамовна *Проскурина* (1935–2011) — жена писателя Петра Проскурина, театральный критик. Журналист.

[215] Малая вечность (*франц.*).

[216] Либертинизм (*франц*).

[217] Маленькому поезду (*франц.*).

[218] Леонид Николаевич *Асанов* (1944–2006) — писатель, автор сборников поэзии и прозы, лирико-философских рассказов.

[219] В.И. Севастьянов, летчик-космонавт СССР.

[219a] Вслед за изданием Н.Ф. Федорова в серии «Философское наследие» должен был выйти двухтомник В.С. Соловьева, подготовленный А.Ф. Лосевым и А.В. Гулыгой. Однако из-за сложностей с изданием Федорова двухтомник был остановлен и вышел в свет только в 1988 г.

[220] В самую суть (*лат.*).

[221] В конечном итоге С.Г. Семенова все же поместила в книге «Тайны Царствия Небесного» главку «Оправдание России» «вместо заключения».

[222]Мария Александровна *Крашенинникова* — младшая сестра Е.А. Крашенинниковой.

[223] Юрий Владимирович *Линник* (1944–2018) — поэт, прозаик, философ. В своей поэзии выражал идеи космизма. Со второй половины 1970-х гг. занимался собиранием творчества художников группы «Амаравелла», создал в Петрозаводске в своем доме Музей космического искусства им. Н.К. Рериха.

[224] По всей вероятности, речь идет об издании: *Линник Ю.В.* Книга природы. Петрозаводск: Карелия, 1978.

[225] Моисей Ааронович *Кроль* (1862–1942) — этнограф. Калистрат Фалалеевич *Жаков* (1866–1926) — русский философ, этнограф. Выдвинул концепцию лимитизма, согласно которой развитие совершается путем перехода потенциального в реальное. Потенциалами для Жакова являлись пространство, время, материя, душа, разум. Для лимитизма человек — существо, стоящее на новой эволюционной ступени, и дальнейшая эволюция мира без него невозможна.

[226] В наст. время письма А.К. Горского к О.Н. Сетницкой и Е.А. Крашенинниковой 1937–1943 гг. опубликованы: *Горский А.К.* Сочинения и письма: В 2 т. Т. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 528–869.

[227] Имеется в виду журнал «Биокосмист» (М., 1922. Вып. 1–4), главный идеологический и творческий орган группы биокосмистов, выдвигавших лозунги иммортализма и интерпланетаризма.

[228] Александр *Святогор* (Александр Федорович Агиенко, 1889 — после 1937) — поэт-анархист, лидер и главный идеолог движения биокосмистов, основанного в 1921 г. Павел Иванович *Иваницкий* (1885 — ?) — поэт, публицист, один из лидеров Московской группы биокосмистов. Биокосмисты интересовались идеями Федорова, однако трактовали их в прометеистическом ключе. Выдвигали лозунг: «Иммортализм и интерпланетаризм», вслед за Федоровым выдвигали задачу метеорологической регуляции. Брошюры, которые упоминает С.Г. Семенова: Биокосмизм. Материалы. № 1. М., 1921; *Иваницкий П.И.* Искусственное вызывание дождя и управление погодой посредством регуляции атмосферного и земного электричества» (М., 1925).

[229] См. примеч. 156.

[230] С.Г. Семенова писала главу «“Смысл любви” В.С.Соловьева» для книги «Тайны Царствия Небесного».

[231] В книгу «Тайны Царствия Небесного» С.Г. Семенова собиралась написать (и написала) главу «Преобразовательная эротика А.К. Горского».

[231a] Описка. Должно быть: «Кате и Ляле», т. е. Е.А. Крашенинниковой и О.Н. Сетницкой.

[232] Владимир Петрович *Купченко* (1938–2004) — литературовед, исследователь творчества М.А. Волошина. Придя в 1961 г. в Коктебель, остался здесь жить, собирая материалы о Воло-

шине, работая экскурсоводом, потом ночным сторожем и параллельно работая над биографией поэта. С 1979 г. возглавлял Дом-музей М.А. Волошина.

[233] Сведений о Петельниковых отыскать не удалось.

[234] Валерий Викторович *Байдин* (р. 1948) — русско-французский культуролог, искусствовед, писатель. В 1980 г. стал организатором международной выставки, посвященной космической фантастике: «Время — Пространство — Человек». Об истории создания этой выставки и встречах с С.Г. Семеновой см.: *Байдин В.В.* Неподвижное странствие: повесть-воспоминание. М.: Викмо-М, 2018. С. 234–243, 270–287.

[235] *Семенова С.Г.* Две реальности Бога (Для неверующих) // *Семенова С.Г.* Тайны Царствия Небесного. М.: Школа-пресс, 1993. С. 21–29.

[236] Старец *Силуан* Афонский (1866–1938), афонский монах русского происхождения, причисленный в православии к лику святых, полагал, что главным показателем различия между добром и злом является не внешне высокая цель, а средства, используемые для ее достижения.

[237] Черновые версии указанных глав сохранились в архиве С.Г. Семеновой. Первоначальная, черновая, версия соединяла размышления о философии пола и эроса Федорова, Соловьева и Горского в одну главу. В окончательном тексте книги «Тайны Царствия Небесного» глава о «положительном целомудрии» в философии Федорова вошла в основной текст части «Метаморфоза пола», а главки о Горском и Соловьеве вошли в приложение. См.: *Семенова С.Г.* Тайны Царствия Небесного. С. 71–102, 251–259, 359–381.

[238] См. примеч. 119.

[239] *Семенова С.Г.* Оправдание России // *Семенова С.Г.* Тайны Царствия Небесного. С. 260–289.

[240] Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1980.

[241] См.: *Белый А.* Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 220.

[242] *Соловьев В.С.* Идея человечества у Августа Конта // *Соловьев В.С.* Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1988. С. 579.

[243] Так назвал Н.Ф. Федорова В.С. Соловьев в письме к нему от 12 января 1882 г., написанном после чтения рукописи с изложением учения всеобщего дела. См.: Н.Ф. Федоров: pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 2004. С. 100.

[244] Речь идет об изданиях: Добротолюбие: В 5 т. Т. 4.; *Киреевский И.В.* Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979; Избранная проза немецких романтиков: В 2 т. М.: Художественная литература, 1979.

[245] Теодор Ильич *Ойзерман* (1914–2017) — историк философии, академик АН СССР. С 1968 г. работал в Институте философии РАН, в 1971–1987 гг. заведовал отделом истории философии. Член редколлегии серии «Философское наследие», в рамках которой должен был выйти подготовленный С.Г. Семеновой том сочинений Федорова.

[246] Анатолий Григорьевич *Егоров* (1904–1988) — историк философии и эстетики, в 1974–1987 гг. — директор Института марксизма-ленинизма.

[247] Иван Яковлевич *Щипанов* (1904–1983) — историк русской философии, с 1947 г. зав. кафедрой истории русской философии МГУ. И.Я. Щипанов читал рукопись тома сочинений Федорова как член редколлегии серии «Философское наследие».

[248] Цитата из дневниковой заметки А.А. Блока, адресованной В.В. Маяковскому и датируемой 30(17) декабря 1918 г.

[249] Речь идет о вступительной статье С.Г. Семеновой к тому сочинений Федорова: *Семенова С.Г.* Н.Ф. Федоров и его философское наследие // *Федоров Н.Ф.* Сочинения. М.: Мысль, 1982. С. 5–50.

[250] См. примеч. 9а.

[251] См. примеч. 103.

[252] Речь идет о книге «Тайны Царствия Небесного».

[253] Чистой доски (*лат.*).

[254] С.Г. Семенова занялась философским наследием Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903), драматурга, мыслителя, переводчика сочинений Гегеля, автора философского «Учения Всемир», в котором он соединял гегелевскую диалектику и эволюционную теорию Ч. Дарвина. С.Г. Семенова работала с материалами к «Учению Всемира», которые хранились в личном фонде драматурга в ЦГАЛИ (нынешнем РГАЛИ), намереваясь подготовить их к печати. В ее личном архиве хранится папка с машинописными и рукописными версиями текстов А.В. Сухово-Кобылина из ЦГАЛИ.

[255] Леонид Анатольевич *Фролов* (1937–2010) — писатель, представитель деревенской прозы. С 1981 г. был главным редактором, а с 1984 г. — директором издательства «Современник». Директором издательства в 1980–1984 г. был литературный и общественный деятель Геннадий Михайлович *Гусев* (1933–2012).

[256] Владимир Евгеньевич *Львов* (1904–2000) — писатель, популяризатор науки. Окончил физико-математический факультет Ленинградского государственного университета. Автор книг: «Завоевание полярных стран» (1929, вызвала одобрение К.Э. Циолковского), «Жизнь Альберта Эйнштейна» (1958), «Он указал путь к звездам» (1961), «Покорение планеты» (1962), «Час космоса» (1962), «Страницы жизни Циолковского» (1963), «Молодая вселенная» (1969), «Загадочный старик» (1977).

[257] Марк Борисович *Митин* (1901–1987) — историк марксистско-ленинской философии. Академик АН СССР (с 1939 г.). С 1931 г. — главный редактор журнала «Под знаменем марксизма», в котором боролся против «формалистического» (А.А. Деборин, Н.А. Карев, Б.М. Гессен и др.) и «механицистского» (Н.И. Бухарин и др.) уклонов советской философии.

[258] *Львов В.Е.* Загадочный старик. Л.: Советский писатель. Ленингр. отд., 1977. В книгу вошли две повести В.Е. Львова — «Загадочный старик» (о Н.Ф. Федорове) и «Циолковский в Петербурге» (о К.Э. Циолковском).

[259] Геннадий Петрович *Аксенов* (р. 1940) — историк науки, кандидат географических наук, исследователь наследия В.И. Вернадского. Дружил с С.Г. Семеновой. См. его воспоминания: *Аксенов Г.П.* Героиня умственной свободы // Московский Сократ. Николай Федорович Федоров (1829–1903). М.: Академический проект, 2019. С. 777–781.

[260] Дела чести (*франц.*).

[261] Слово, афористическое выражение (*франц.*).

[262] Речь идет о статье: *Антипов Г.А.* Феномен прошлого и феномен человека в учении Н.Ф. Федорова // История философии и современная идеологическая борьба. Новосибирск, 1981. С. 151–163.

[263] Переиздать повесть «Загадочный старик» В.Е. Львову не удалось.

[264] Тяжесть прожитых лет (*франц.*).

[265] Павел Федорович *Юдин* (1899–1968), философ, общественный деятель, Академик АН СССР, и Василий Никифорович *Ральцевич* (1893–1957), философ-марксист, партийный деятель, были деятельными участниками антидеборинской компании (см. примеч. 256).

[266] Абрам Моисеевич *Деборин* (наст. фам.: Иоффе) (1881–1963) — философ. О разгроме «деборинского» уклона см.: Воспоминания академика А.М. Деборина // Вопросы философии. 2009. № 2. С. 113–133.

[267] Иван Иванович *Юрченко* (1924–1986) — журналист и поэт, политический обозреватель газеты «Советская Россия». В архиве С.Г. Семеновой хранится папка с надписью «Препарации Ив. Юрченко из моей рукописи». В папке находятся несколько сделанных И.В. Юрченко редакторских версий статьи С.Г. Семеновой, посвященной Н.Ф. Федорову и его идее музея, с правкой, вставками, зачеркиваниями его рукой. В одной версии статья называется «Этот странный, удивительный музей», в другой — «Музей Федорова: следы в прошлое и тропы в будущее».

[268] ФОД — «Философия общего дела». Такое сокращение использовали еще последователи Федорова 1920–1930-х гг. — А.К. Горский и Н.А. Сетницкий. С.Г. Семенова восприняла его от О.Н. Сетницкой и Е.А. Крашенинниковой.

[269] Нервная система (*франц.*).

[270] Работать (*франц.*).

[271] См. примеч. 140.

[272] Александр Петрович *Межиров* (1923–2009) — поэт, переводчик. Знакомство А.П. Межирова и С.Г. Семеновой состоялось в начале 1982 г.

[273] Цитата из стихотворения Б.Л. Пастернака «На Страстной» (1946).

[274] *Семенова С.Г.* Воскрешение умерших и преображение // *Семенова С.Г.* Тайны Царствия Небесного. С. 177–200.

[275] Имеется в виду четвертая часть главного сочинения Федорова «Вопрос о братстве, или родстве…», имеющего подзаголовок «Записка от неученых к ученым…».

[276] Цитата из четвертой части «Вопроса о братстве…» (*Федоров Н.Ф.* Сочинения: В 4 т. Т. 1. С. 230).

[277] Такой, какой есть (*франц.*).

[278] *Тепа, Тепочка* — детское прозвище А.Г. Гачевой.

[279] *Хрозапа* — Хранитель Запазушника — прозвище С.Г. Семеновой, данное ей младшей дочерью Ларисой (себя она называла Запазушником — от выражения «маменькин запазушник»).

[280] Название книги С.Г. Семеновой «Тайны Царствия Небесного» было взято из Евангелия от Матфея: «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано» (Мф. 13, 10–11). Второе заглавие книги идет от рассказа А.П. Платонова «Взыскание погибших», ассоциативно связанного с именем знаменитой Богородичной иконы.

[281] Отари Захарович *Кандауров* (р. 1937) — художник, культуролог, эзотерик.

[282] Евр. 2, 14.

[283] Мф. 22, 32.

[284] Александр Степанович *Старостин* (1936–2007) — прозаик. Окончил Самарский авиационный институт, служил в Полярной авиации, участвовал в экспедициях на Крайнем Севере. Член Союза писателей России с 1974 г. С.Г. Семенова познакомилась с А.П. Старостиным в декабре 1981 г. в Малеевке, дала ему читать «Тайны Царствия Небесного», которые его очень увлекли.

[285] Юрий Владимирович *Андропов* (1914–1984) — государственный и политический деятель. В 1967–1982 г. — председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР, в ноябре 1982 г. стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Далее целый ряд записей связан с историей идеологического разгрома тома сочинений Н.Ф. Федорова, вышедшего в 1982 г. в серии «Философское наследие»,

[286] Петр Николаевич *Федосеев* (1908–1990) — философ, в 1971–1988 вице-президент по общественным наукам АН СССР.

[287] См. примеч. 119.

[288] *Ойзерман* — см. примеч. 245; *Иовчук* — см. примеч. 203. Семен Романович *Микулинский* (1919–1991) — историк науки, философ, член-корреспондент РАН, с 1974 по 1987 г. — директор Института истории естествознания и техники АН СССР.

[289] *Цельс* — римский философ-платоник II века, резкий критик христианства.

[290] С.Г. Семенова дописывала главку «Чертог брачный (“Будут двое одна плоть”)», вошедшую в третью часть книги «Тайны Царствия Небесного».

[291] Михаил Васильевич *Зимянин* (1914–1995) — партийный деятель, в 1976–1987 гг. — секретарь ЦК КПСС.

[292] *Микулинский С.Р.* Так ли надо относиться к наследству? (По поводу выхода книги: Н.Ф. Федоров. Сочинения. М., 1982) // Вопросы философии. 1982. № 12. С. 151–157.

[293] Имеется в виду фильм «Детский сад» (1983), в котором Е.А. Евтушенко был автором сценария, режиссером и сыграл одну из ролей.

[294] Сведения об этом письме и его авторах см. ниже в тексте письма С.Г. Семеновой С.И. Сухих.

[295] С.Г. Семенова и Г.Д. Гачев выступили на ежегодной конференции «Достоевский и мировая культура», состоявшейся в Музее-квартире Ф.М. Достоевского в Ленинграде 9–10 ноября 1982 г.

[296] *Митрополит Антоний* (Мельников) (1924–1986) — с 1978 г. митрополит Ленинградский и Новгородский, богослов. Митр. Антоний должен был подписать разгромную статью о Федорове, написанную для журнала «Богословские труды» Н.К. *Гаврюшиным* (см. примеч. 41). В конечном итоге статья была подписана криптонимом «А.М.»: *А.М.* [Гаврюшин Н.К.] Воскрешение чаемое или восхищаемое? (О религиозных воззрениях Н.Ф. Федорова) // Богословские труды. 1983. Т. 24. С. 242–259.

[297] Борис Кириллович *Кнорре* — религиовед. В 2003 г. защитил на философском факультете МГУ на кафедре религиоведения кандидатскую диссертацию «Федоровское религиозно-философское движение: История и современность». В наст. время — доцент НИУ ВШЭ.

[298] Юрий Иванович *Селиверстов* (1940–1990) — художник, иллюстратор. В 1976 г. по благословению митр. Антония (Мельникова) сделал иллюстрации Евангелия. Г.Д. Гачев и С.Г. Семенова общались с Ю.И. Селиверстовым в 1970–1980-е гг.

[299] С.Г. Семенова использует в качестве нарицательного имя о. Сергия Аполлова, секретаря преосв. Димитрия (Абашидзе), епископа Туркестанского и Ташкентского. В начале 1907 г. в покоях преосв. Димитрия состоялись чтения и обсуждения работ Федорова, поводом к которым послужил предстоявший выход 1 тома «Философии общего дела». Несмотря на доброжелательное и внимательное отношение преосв. Димитрия к идеям Федорова, 23 января 1907 г. в газете «Семиреченские областные ведомости» появилось письмо за подписью о. Сергия Аполлова, в котором подчеркивалось мнение о несогласимости учения о воскрешении с православным учением.

[300] Сочувственное высказывание о Федорове было сделано митр. Алексием (Ридигером) в беседе с публицистом А. Нежным: *Алексий, митрополит Ленинградский и Новгородский и Нежный А.* О чем нам говорят столетия // Дружба народов. 1988. № 6. С. 205, 206.

[301] Речь идет о верстке книги: Н.Ф. Федоров: pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГА, 2004.

[302] Анатолий Александрович *Черняков* — литературовед, участник Турбинского семинара на филологическом факультете МГУ, однокурсник С.Г. Семеновой. Был женат на подруге С.Г. Семеновой Людмиле Комаровой.

[303] Михаэль *Хагемейстер* (р. 1951) — немецкий историк философии. Автор диссертации и монографии: *Hagemeister M.* Nikolaj Fedorov: Studien zu Leben, Werk und Wirkung. München, 1989.

[303] На партсобрании в Институте истории естествознания и техники, прошедшем 20 января 1983 г. и созванном с целью «проработки» сотрудников Института, поддержавших издание Н.Ф. Федорова (см. примеч. 316), выступил Г.Д. Гачев, бывший младшим научным сотрудником Института, с резкой критикой рецензии С.Р. Микулинского и его позиции по отношению к выходу тома Н.Ф. Федорова в серии «Философское наследие». Также Г.Д. Гачев направил письмо в защиту тома на имя генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова (27 января 1983) и письмо на имя первого секретаря Бауманского райкома КПСС С.А. Купреева (28 января 1982) с копией в редакцию газеты «Правда», в котором протестовал против травли сотрудников Института истории естествознания и техники за поддержку издания Федорова.

[305] Сведений об этом вечере разыскать не удалось.

[306] Галина Ивановна *Егоренкова* (1942–1989) — литературовед, однокурсница С.Г. Семеновой. В 1980–1989 гг. преподавала в Горьковском педагогическом институте.

[307] См. примеч. 219а.

[308] Станислав Иванович *Сухих* (1939–2013) — советский и российский литературовед, историк литературы, исследователь творчества М. Горького, М.А. Шолохова. Автор статей: «Жизнь Клима Самгина» М. Горького и «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова // М. Горький и вопросы литературных жанров: межвузовский сборник / Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Горький, 1978. С. 3–38; М. Горький и Н.Ф. Федоров // Русская литература. 1980. № 1. С. 160–168.

[309] Речь идет о статье литературного и театрального критика, историка и теоретика искусства Акима Львовича *Волынского* (1861–1926) «Воскрешение мертвых». С.Г. Семенова читала эту статью в ЦГАЛИ в фонде А.Л. Волынского. Опубликована: Н.Ф. Федоров: pro et contra. Кн. 1. С. 479–517.

[310] *Шри Ауробиндо Гхош* (1872–1950) — основатель и практик супраментальной йоги, устремлявший йогическое делание к достижению духо-телесного бессмертия. В архиве С.Г. Семеновой сохранилась машинопись перевода текста, который она читала. На титульном листе: «Сатпрем. Шри Ауробиндо, или Блуждание разума (Проделки разума). Перевел с французского на английский Техми. 1-ое издание Шри Ауробиндо Ашрам. Пондишери, 1968 г.». Осмысление наследия Шри Ауробиндо в сопоставлении с двумя другими фигурами европейской и русской мысли П. Тейяром де Шарденом и Н.Ф. Федоровым С.Г. Семенова дала в главе «Три вестника. Федоров, Тейяр де Шарден, Шри Ауробиндо Гхош» своей книги «Тропами сердечной мысли. Этюды, фрагменты, отрывки из дневника» (М.: Издательский дом ПоРог, 2012. С. 101–166).

[311] Глава «Федоров и мировая философия» была написана С.Г. Семеновой спустя двадцать лет, для второго издания ее книги о Федорове: *Семенова С.Г.* Философ *будущего века* — Николай Федоров. М.: Пашков дом, 2004. С. 349–442.

[312] Александр Павлович *Огурцов* (1936–2014) — философ, культуролог, историк науки, с 1971 по 1988 г. — старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники, с 1988 г. — старший, затем ведущий научный сотрудник Института философии РАН. Дружил с Г.Д. Гачевым. Был одним из исследователей русского космизма. *В.Л. Рабинович* — см. примеч. 42. Далее упоминается книга В.Л. Рабиновича «Алхимия как феномен средневековой культуры» (М.: АН СССР, 1979).

[313] «Идите, научите…» (*церковнослав.*) — начальные слова последней заповеди Христа ученикам, данной по Воскресении: «Итак идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20).

[314] С.Г. Семенова планировала дать на перепечатку В.А. Никитину рукопись своей работы «Тайны Царствия Небесного». Книга была перепечатана и распространялась в ксерокопиях.

[315] См. примеч. 308.

[316] Пиама Павловна *Гайденко* (р. 1934) — историк философии и науки, культуролог. Борис Григорьевич *Кузнецов* (1903–1984) — философ и историк науки. Анатолий Валерианович *Ахутин* (1940) — философ, историк науки. Все перечисленные философы: П.П. Гайденко, Б.Г. Кузнецов, А.П. Огурцов, В.Л. Рабинович, А.В. Ахутин — в начале 1980-х гг. были сотрудниками Института истории естествознания и техники. В июне 1981 г. в ответ на запрос Государственного комитета по делам печати они дали положительный отзыв о целесообразности и важности издания сочинений Н.Ф. Федорова в серии «Философское наследие».

[317] Бонифатий Михайлович *Кедров* (1903–1985) — философ и историк науки, академик АН СССР, в 1962–1972 гг. — директор Института истории естествознания и техники.

[317а] В архиве С.Г. Семеновой сохранился третий экземпляр машинописи ее ответа на рецензию С.Р. Микулинского на 17 страницах с карандашной правкой А.В. Гулыги. Ответ был направлен в редакцию журнала «Вопросы философии».

[317б] С.И. Сухих согласился подписать рецензию. В архиве С.Г. Семеновой хранится машинопись рецензии «Обсуждение или осуждение?» на 22 страницах с рукописной правкой и подписью С.И. Сухих.

[318] Этот замысел вылился в книгу С.Г. Семеновой «Преодоление трагедии. “Вечные вопросы” в литературе» (М.: Советский писатель, 1989).

[318a] Экземпляры заявки С.Г. Семеновой на книгу «Преодоление трагедии. Вечные вопросы в русской и советской литературе» в редакцию критики и литературоведения издательства «Советский писатель» (от 30 апреля 1983), а затем на имя «председателя правления издательства "Советский писатель" Еременко Владимира Николаевича» (от 15 мая 1983 г.) сохранились в ее личном архиве.

[318б] ЖМП — «Журнал Московской Патриархии».

[319] Только что произнесла речь, которой никто не понял (*франц.*).

[320] Глава книги «Тайны Царствия Небесного» (см. примеч. 8).

[321] Вадим Леонидович *Скуратовский* (1941–2011) — литературовед, культуролог, киновед.

[322] Евгений Юрьевич *Сидоров* (р. 1938) — литературовед, критик, в 1978–1987 — первый проректор, затем ректор Литературного института им. А.М. Горького.

[323] Развлечение (*франц.*).

[324] Земно-земную.

[325] Речь идет о книге «Тайны Царствия Небесного».

[326] Галина Петровна *Корнилова* (р. 1928) — писательница, мемуарист.

[326a] В.С. Борисов организовал вечер памяти Н.Ф. Федорова, посвященный 80-летию со дня кончины философа, в зале Государственного института по проектированию металлургических заводов (Гипромез). Вечер прошел 26 декабря 1983 г. На нем выступали В.С. Борисов, С.Г. Семенова, В.А. Никитин, В.Г. Акопян и др.

[326б] См. примеч. 346.

[327] Роберт *Винонен* (р. 1939) — поэт, переводчик, литературный критик, исследователь.

[327a] См. примеч. 326а.

[328] Для книги «Преодоление трагедии» С.Г. Семенова написала главу «Две повести Валентина Распутина» (о повестях «Прощание с Матерой» и «Последний срок»). В заявке на книгу (см. примеч. 318а) указанная главка называется: «"Прощание с Матерой" Валентина Распутина». Написанный текст главы находится в хранящихся в архиве С.Г. Семеновой папках, содержащих второй экземпляр машинописи книги, при этом в содержании она занимает позицию между главой «"Сердечная мысль" Михаила Пришвина» и главой «"Что с человеком?" (философские мотивы романного творчества Отара Чиладзе)», однако в печатную версию книги она не вошла, скорее всего потому, что С.Г. Семенова начала работать над отдельной книгой о Валентине Распутине (см. примеч. 340).

[329] *Семенова С.Г.* Солидарность всего живого // Кавкасиони. Вып. 2. Тбилиси, Мерани, 1984. С. 152–158.

[330] Герман Борисович *Плисецкий* (1931–1992) — поэт, переводчик.

[331] Валерий Львович *Шленов* (р. 1946) — математик, поэт, в 2000-е гг. работал ответственным секретарем Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата.

[332] Федор Ависович *Колунцев* (1923–1988) — писатель, редактор, педагог, старший редактор в издательстве «Советский писатель». Иосиф Самуилович *Шкловский* (1816–1985) — астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР. С.Г. Семенова познакомилась с ним в Малеевке в феврале 1978 г. На книгу И.С. Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум» (4-е изд. М.: Наука, 1976) она опиралась в книге о Федорове «На пороге грядущего», стремясь подкрепить авторитетом «уникальность жизни и сознания на земле» (Дневник. Запись от 22 февраля 1978 г.). *Чухонцев* — см. примеч. 176. *Карякин* — см. примеч. 82. *Лиля Проскурина* — см. примеч. 214.

[333] Речь идет о книге писательницы, кинокритика Аллы Ефремовны *Гербер* (р. 1932) «Мама и папа» (опубл.: М.: Стелс, 1994).

[334] В книге «Преодоление трагедии: "Вечные вопросы" в литературе» вторая часть называлась «"Проклятые вопросы" французского экзистенциализма. Сартр, Камю» и представляла собой отредактированный текст кандидатской диссертации С.Г. Семеновой «Философский роман Ж.-П. Сартра и А. Камю».

[335] Червь угрызений совести (*франц.*).

[336] Вадим Викторович *Ковда* (р.1936) — математик, поэт, кинооператор.

[337] Вячеслав Глебович *Куприянов* (р. 1939) — писатель, поэт, переводчик.

[338] С.Г. Семенова намеревалась передать через старшего сына Г.Д. Гачева Д.Г. Гачева рукопись своей книги «Тайны Царствия Небесного» на Запад, чтобы опубликовать ее в издательстве «YMCA-Press».

[339] Евгения Федоровна *Книпович* (1898–1988) — литературовед, критик.

[340] Это намерение вылилось в монографию: *Семенова С.Г.* Валентин Распутин. М.: Советская Россия, 1987.

[341] Под знаком (*лат.*).

[342] *Гачев Г.Д., Семенова С.Г.* Свет в пути // Литературная газета. 1985. 16 января.

[343] Юрий Борисович *Рюриков* (1929–2009) — критик, публицист, эссеист, амуролог, его супруга и дочь.

[344] Николай Константинович *Гей* (р. 1923) — литературовед, теоретик литературы, однокурсник Г.Д. Гачева.

[345] Одно из названий книги «Тайны Царствия Небесного».

[346] В книге «Преодоление трагедии» была выделена отдельная часть «“Высшая идея существования”. Толстой. Достоевский. Федоров» (Указ. соч. С. 109–164). Главка о «Чевенгуре» под названием «Мытарства идеала» вошла в главу «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)» (Указ. соч. С. 355–377).

[347] С.Г. Семенова была расстроена тем, что в ее совместной с Г.Д. Гачевым статье «Свет в пути», посвященной О. Чиладзе (см. примеч. 342), был выкинут центральный смысловой кусок.

[348] Цитата из заметки Н.Ф. Федорова «Приговор и несколько слов в оправдание», представляющей собой фрагмент чернового письма В.А. Кожевникову (*Федоров Н.Ф.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. С. 72).

[349] Елена Владимировна *Воропаева* (1957–2000) — филолог, педагог, жена литературоведа, исследователя творчества Н.В. Гоголя Владимира Алексеевича *Воропаева* (р. 1950).

[350] Александр Михайлович *Банкетов* (1930–2006) — литературовед, критик, журналист, работал в журнале «Литературная учеба», издательстве «Советский писатель».

[351] Речь идет о книгах С.Г. Семеновой «Валентин Распутин» (см. примеч. 340) и «Преодоление трагедии» (см. примеч. 318).

[352] Прекрасная эпоха (*франц.*).

[353] Под знаком вечности (*лат.*).

[354] Речь идет о статье С.Г. Семеновой «Звери, люди и новое мышление»: Перспектива-89. Советская литература сегодня. Сб. ст. М.: Советский писатель, 1989. С. 138–170.

[355] Алла Николаевна *Латынина* (р. 1940) — литературовед, критик.

[356] Марк Яковлевич *Поляков* (1916–2011) — критик, литературовед.

[357] Сергей Николаевич *Семанов* (1934–2011) — историк, писатель, публицист, общественный деятель почвенной ориентации. С 1991 г. работал в ИМЛИ РАН в одном отделе с С.Г. Семеновой.

[358] Евгения Александровна *Таратута* (1912–2005) — писательница, литературовед.

[359] См. примеч. 340.

[360] Имеется в виду переделанная и расширенная версия книги о Федорове. Ее сокращенная журнальная публикация: *Семенова С.Г.* Московский Сократ. Жизнь, учение, судьба идей Николая Федорова // Волга. 1989. № 9–12. Полная версия: *Семенова С.Г.* Николай Федоров: Творчество жизни. М.: Советский писатель, 1990.

[361] Речь идет о книге «Тайны Царствия Небесного».

[362] Встреча С.Г. Семеновой и В.Г. Распутина состоялась спустя 10 лет — в Переделкино, 6 сентября 1997 г., когда писатель привез к ней переводчицу Х. Ясуока, которая переводила ее

книгу о Н.Ф. Федорове. Об этой встрече см.: *Семенова С.Г.* Тропами сердечной мысли: Этюды, фрагменты, отрывки из дневника. С. 533–535.

[363] С 17 по 29 июля 1987 г. С.Г. Семенова находилась в Доме творчества писателей в Малеевке.

[364] Бенедикт Михайлович *Сарнов* (1927–2014) — писатель, критик, литературовед. С.Г. Семенова познакомилась с ним в Малеевке 18 июля 1987 г.

[365] Речь идет о статьях С.Г. Семеновой «“В усилии к будущему времени…” (Философия Андрея Платонова)» и «Мытарства идеала (О “Чевенгуре” Андрея Платонова)».

[366] Виктория Анатольевна *Софронова* (1931–2000) — редактор и литературный критик журнала «Москва». Статья С.Г. Семеновой, о которой идет речь: «Идея жизни» у А. Платонова // Москва. 1988. № 3. С. 180–189.

[367] Альфонс *Алле* (1854–1905) — французский журналист, писатель, юморист.

[368] *Семенова С.Г.* «Да» сознательной эволюции (рец. на кн.: П. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., Наука, 1987) // Новый мир. 1988. № 12. С. 253–255.

[369] Елена Даниловна *Шубина* (р. 1952) — литературовед, редактор, издатель.

[370] Имеется в виду Г.Д. Гачев, осенью 1981 г. ездивший в Болгарию.

[371] *Семенова С.Г.* Аналитическая фреска (рец. на кн.: С. Великовский. В скрещенье лучей. Групповой портрет с Полем Элюаром. М.: Советский писатель, 1987) // Литературное обозрение. 1988. № 9. С. 62–64. Самарий Израилевич *Великовский* (1931–2000) — литературовед и переводчик.

[372] Этот тезис выражен В.И. Вернадским в статье «Несколько слов о ноосфере» // Русский космизм: Антология философской мысли. М.: Педагогика-пресс, 1993. С. 308.

[373] С.Г. Семенова была принята в штат ИМЛИ РАН в марте 1988 г.

[374] Г.Д. Гачев и С.Г. Семенова ездили в Италию по приглашению Д.Г. Гачева, сына Г.Д. Гачева от первого брака, который жил тогда в Италии со своей первой женой Аллой Пантелеймоновной *Ивановой* (1941–2016). Описание поездки: *Гачев Г.Д.* Дневник путешествия по Италии и Франции // *Гачев Г.Д.* Миры Европы. Взгляд из России. Италия. Опыт экзистенциальной культурологии. М.: Воскресенье, 2007. С. 352–396.

[375] *Семенова С.Г.* Этика «общего дела» Н.Ф. Федорова. М.: Знание, 1989 (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Этика», № 7).

[376] Речь идет о следующих публикациях С.Г. Семеновой: «Идея жизни» у А. Платонова // Москва. 1988. № 3. С. 180–189; Мытарства идеала (к выходу в свет «Чевенгура» А. Платонова) // Новый мир. 1988. № 5. С. 218–231; Семья идей // Знамя. 1988. № 3. С. 186–201; Активно-эволюционная мысль В.И. Вернадского // Прометей. Т. 15. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 221–248; «Идея жизни» Андрея Платонова // А. Платонов. Чевенгур. М.: Художественная литература, 1988. С. 5–20; «Высшая идея существования» у Достоевского // Вопросы литературы. № 11. 1988. С. 166–195.

[377] См. примеч. 368, 371.

[378] Речь идет о статьях С.Г. Семеновой: Мастеровые идеала. Поэзия первого послеоктябрьского десятилетия // Октябрь. 1987. № 11. С. 190–198; «“Сердечная мысль” М. Пришвина // Волга. 1980. № 3. С. 162–170; «Благодатная жажда творенья…» (Натурфилософская поэзия Заболоцкого) // Литературная учеба. 1989. № 4. С. 106–112; Статьи о Платонове — см. примеч. 376.

[379] Дмитрий Михайлович *Урнов* (р. 1936) — литературовед. В 1988–1992 г. — главный редактор журнала «Вопросы литературы». С 1991 г. — в США.

[380] Владимир Юрьевич Потапов — прозаик, эссеист, один из ведущих деятелей саратовского журнала «Волга». В начале 1990-х переехал в Москву, работал в редакции журнала «Новый мир».

[381] А.Г. Гачева, ее муж, филолог, специалист по творчеству Ф.М. Достоевского Хосе Луис Флорес Лопес (р. 1957), бабушка Мирра Семеновна Брук (1904–2001), музыковед, доцент Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных.

[382] См. примеч. 63.

[383] *Семенова С.Г.* Активно-эволюционная мысль В.И. Вернадского // Человек и природа. № 4. М., Знание, 1988. См. также примеч. 376.

[384] См. примеч. 368, 371, 376.

[385] Николай Михайлович *Федь* (1928–2007) — литературовед, литературный критик, доктор филологических наук, исследователь творчества М.А. Шолохова и русской литературы XX в., ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН.

[386] Первые Всесоюзные Федоровские чтения в г. Боровске прошли 14–15 мая 1988 г. См. подробнее: Общее дело. Сборник докладов, представленных на I Всесоюзные Федоровские чтения. М., 1990. С. 3–4; *Гачева А.Г.* Международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова (хроника и обзор) // Московский Сократ: Николай Федорович Федоров (1829–1903). Сб. науч. ст. М.: Академический проект, 2018. С. 707–708.

[387] Дмитрий Анатольевич *Жуков* (1927–2015) — писатель, литературовед, переводчик. Много сделал для сохранения исторической памяти г. Боровска, дружил с художником В.Е. Гурьевым, принимал участие в восстановлении Пафнутьев-Боровского монастыря. В Боровске Д.А. Жуков построил себе дом и часто жил там вместе с женой И.А. Жуковой.

[387a] Летом 1988 г. Л.Г. Гачева поступила в Московское академическое художественное училище им. 1905 года.

[388] Эта публикация не состоялась. Подборка текстов А.В. Сухово-Кобылина с предисловием С.Г. Семеновой появилась спустя 5 лет в журнале «Свободная мысль» (1993. № 5. С. 105–111).

[389] Обе публикации вышли: *Семенова С.Г.* Преодоление трагедии (История и культура в мысли Н.Ф.Федорова) // Российский ежегодник. Вып. 1. М.: Советская Россия, 1989; *Семенова С.Г.* Сердечный мыслитель (выступление на круглом столе «Андрей Платонов — писатель и философ») // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 26–31.

[390] См. примеч. 374.

[391] Серж *Леба* — сотрудник Швейцарского посольства в СССР; Жорж *Нива* (р. 1935) — французский славист, в 1972–2000 гг. — профессор Женевского университета.

[392] В октябре 1988 — марте 1989 гг. С.Г. Семенова читала цикл лекций «Вернадский и русская космическая мысль» в Политехническом музее.

[393] Речь идет о Международной научной конференции «Ноосфера и художественное творчество», организованной академиком Вячеславом Всеволодовичем *Ивановым* (1929–2017). По итогам конференции был выпущен сб. статей: Ноосфера и художественное творчество. М.: Наука, 1991.

[394] СП — Союз писателей СССР. Речь идет о Первой Международной встрече женщин-писательниц (см. о ней в дневнике С.Г. Семеновой ниже).

[395] Московское радио (*англ.*) — официальная радиостанция в СССР, которая вела вещание на иностранных языках.

[396] *Семенова С.Г.* «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // Андрей Платонов: Мир творчества. М.: Советский писатель, 1994. С. 122–153. Составителями сборника были Н.В. Корниенко и Е.Д. Шубина.

[396a] С.Г. Семенова планировала подготовить том сочинений А.В. Сухово-Кобылина для серии «Философское наследие» издательства «Мысль». Замысел не был осуществлен.

[397] См. примеч. 354.

[398] Непрерывно (*англ.*).

[399] *Кэрол* (*Каролина*) *Пратл* (1959–2006) — искусствовед, литературовед, переводчица, поэтесса американского происхождения. Жила и работала в Париже. Исследователь творчества А. Дункан, последователь и популяризатор идеи музыкального движения.

[400] См. примеч. 345.

[401] Выпустить книгу «Тайны Царствия Небесного» в «Женском издательстве» Антонеллы Фонгюе С.Г. Семеновой не удалось.

[402] *Семенова С.Г.* «Всю ночь читал я Твой завет…» Образ Христа в современном романе // Новый мир. 1989. № 11. С. 229–243.

[403] Вторые Всесоюзные Федоровские чтения прошли 3–4 июня 1989 г. в Москве в Центральном киноконцертном зале «Россия». К чтениям, прошедшим в год 160-летия со дня рождения Федорова, был приурочен показ документального фильма о Федорове «Притча о воскрешении» (режиссер — Г. Шергова, автор сценария — В. Жданов).

[404] *Семенова С.Г.* Николай Федорович Федоров // Литературная газета. 22 ноября 1989, № 47. Статья была написана в год 160-летия со дня рождения Н.Ф. Федорова.

[405] Иван Тимофеевич *Фролов* (1929–1999) — философ, академик АН СССР, в 1989–1990 гг. главный редактор газеты «Правда», занимался проблемами философии естествознания, в том числе темой смерти и бессмертия. Речь идет о его статье «Призраки и иллюзии вечной жизни и всеобщего воскрешения» (Советская культура. 20 июня 1989. № 73).

[406] Галина Михайловна *Шергова* (1923–2017) — режиссер, журналист, телеведущая, писательница.

[407] 8 августа 1988 г. С.Г. Семенова подготовила план-проспект сборника «Русский космизм», представляющего собой антологию текстов философов и ученых космистов для издательства «Прогресс», рассчитанную «на широкого читателя западноевропейских и ряда азиатских стран» (Архив С.Г. Семеновой). Антология должна была выйти на английском языке. По всей вероятности, параллельное издание, уже на русском языке, С.Г. Семенова планировала осуществить в Новосибирском книжном издательстве.

[408] Андрей Николаевич *Щербаков* (1958–2018) — инженер, аспирант МАИ, сотрудник РКК «Энергия» им. С.П. Королева, член Федоровского семинара, руководимого С.Г. Семеновой.

[409] Владимир Николаевич *Шикин* (1947–2000) — журналист, в конце 1980-х — начале 1990-х гг. был внештатным сотрудником «Советской энциклопедии» и журнала «Природа и человек». Пришел к вере под влиянием русской религиозной философии, в 1992 г. вместе с семьей переехал в с. Дивеево, в 1993 г. был рукоположен в дьяконы, а затем в священники в Свято-Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. Незадолго до смерти принял монашеский постриг. Николай Пантелеймонович *Розин* (1929–2013) — редактор, в 1958–1964 гг. работал в редакции эстетики издательства «Искусство», с 1964 г. — старший научный редактор издательства «Большая советская энциклопедия», где пользовался огромным уважением авторов и коллег.

[410] *«Путь к древу жизни»* — еще одно название книги С.Г. Семеновой «Тайны Царствия Небесного», ходившей по рукам в машинописи под придуманным ею псевдонимом «Елисей Ларин» (имя — от имени королевича Елисея из пушкинской «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», который воскрешает мертвую царевну, фамилия — от имени младшей дочери С.Г. Семеновой Ларисы (Лары)).

[411] Философия общего дела (интервью с С.Г. Семеновой) // Свет. Природа и человек. № 1, 1990. С. 65–67.

[412] *Ильенков Э.В.* Космология духа // Наука и религия. 1988. № 8. С. 4–7; № 9. С. 16–19.

[413] Владимир Андреевич *Костров* (р. 1935) — поэт, критик, с 1986 г. работал заместителем главного редактора журнала «Новый мир».

[414] В «Литературную газету» С.Г. Семенова должна была написать статью о Н.Ф. Федорове в связи с его юбилеем. См. примеч. 404.

[415] *Виктор Жданов* — сценарист. Автор сценария к фильму «Притча о воскрешении».

[416] Одним словом (*франц.*).

[417] Светлана Даниловна *Селиванова* — литературовед, литературный критик, с 1973 по 1990 г. — работала в «Литературной газете», с 1990 по 2005 г. — первый заместитель главного редактора в журнале «Москва».

[418] Павел Геннадиевич *Горелов* (р. 1955) — литературовед, журналист.

[419] С.Г. Семенова принимала активное участие в организации Первой международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения А.П. Платонова, которая состоялась 20–21 сентября 1989 г. в ИМЛИ РАН.

[420] *Семенова С.Г.* Оправдание России (Эскиз национальной метафизики) // Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 87–111.

[421] В октябре 1990 г. С.Г. Семенова на один месяц поехала в США по стипендии Института Кеннона, которую ей за два года до этого предложил тогдашний директор Института П. Реддауэй (см. примеч. 12), друживший с ней в университетские годы.

[422] Речь идет об издании: *Клюев Н.А.* Сочинения: В 2 т. / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Мюнхен, 1969.

[423] Катериной Кларк (см. примеч. 194).

[424] Джордж *Клайн* (1921–2014) — американский философ, переводчик, специалист по русской философии и поэзии.

[425] *Урнов Д.М.* Неистовый Том, или Потерянный прах. Повесть о Томасе Пейне. М.: Политиздат, 1989.

[426] Николай Николаевич *Скатов* (р. 1931) — литературовед, в 1987–2005 гг. — директор ИРЛИ РАН; Виктор Григорьевич *Сукач* (р. 1940) — литературовед, исследователь и публикатор наследия В.В. Розанова, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН; Павел Васильевич *Флоренский* (р. 1936) — геохимик, писатель, профессор Государственного университета нефти и газа, член Комиссии по изучению научного наследия В.И. Вернадского, внук П.А. Флоренского. Евгения Викторовна *Иванова* — литературовед, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН.

[426a] В 1990 г. С.Г. Семенова при поддержке П.В. Палиевского, бывшего тогда заместителем директора ИМЛИ, создала в институте ежемесячный семинар «Космическое сознание и русская культура».

[427] Борис Михайлович *Парамонов* (р. 1937) — философ, культуролог, многолетний ведущий программ «Радио Свобода».

[428] Михайло *Михайлов* (1934–2010) — югославский диссидент русского происхождения, писатель. Семь лет провел в заключении в Югославии за книгу «Лето московское», в которой критиковал советский строй. В 1985 г. принял гражданство США, выступал на радио «Голос Америки», был комментатором радиостанции «Свободная Европа». В 2001 г. вернулся в Сербию.

[429] Леонид Евгеньевич *Бежин* (р. 1949) — писатель, востоковед, создатель и ректор Института журналистики и литературного творчества.

[430] *Ира* — Ирина Павловна *Казакова* (1944–2016) — филолог, с 1965 по 2016 г. работала в ИМЛИ РАН, ученый секретарь Отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья.

[431] Ольга Александровна *Бабанова* (р. 1949) — искусствовед, в 1988–1993 гг. — секретарь Федоровского семинара.

[432] То есть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки».

[433] Наталья Васильевна *Корниенко* (р. 1953) — литературовед, педагог, один из ведущих российских платоноведов. В 1989–1992 гг. — докторант ИМЛИ РАН. В 1992 г. защитила в ИМЛИ докторскую диссертацию «История текста и биография А.П. Платонова (1926–1946)». С 1997 г. — член-корреспондент РАН. С 2006 г. возглавляет отдел новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья, создатель и руководитель Платоновской группы ИМЛИ РАН.

[434] Речь идет о статье литературоведа Абрама Соломоновича Гурвича (1897–1938) «Андрей Платонов» (Красная новь. 1937. № 10. С. 195–233).

[435] Екатерина *Цынговатая* — редактор Государственного издательства художественной литературы. В воспоминаниях Е.А. Таратуты об А. Платонове и знакомстве с ним в 1940 г. сказано так: «Платонов очень дружил с моей давнишней подругой Катей Цынговатой, которая была редактором Гослитиздата, и она впервые привела его ко мне в дом, а потом он и сам приходил» (*Таратута Е.А.* Писатель нелегкого чтения // Москва. 1999. № 9. С. 195).

[435a] *Рябов И.* К вопросу о порошинке // Правда. 1948. 9 янв. В статье была дана резкая критика сказки А.П. Платонова «Две крошки», напечатанной в газете «Пионерская правда» 6 января 1948 г.

[436] Сергей Павлович *Залыгин* (1913–2000) — писатель, общественный деятель, в 1986–1998 гг. — главный редактор журнала «Новый мир».

[437] Третьи Всесоюзные Федоровские чтения прошли 18–21 июня 1990 г. в Центральном доме Советской армии. См. подробнее: *Гачева А.Г.* Международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова (Хроника и обзор). С. 708–710.

[438] Владимир Евгеньевич *Гурьев* (1946–1993) — художник, краевед. С 1980-х гг. глубоко интересовался наследием Федорова. Был организатором I Федоровских чтений в Боровске.

[439] Общее дело. Сборник докладов, представленных на I Всесоюзные Федоровские чтения. М., 1990; Русский космизм: По материалам II и III Всесоюзных Федоровских чтений. 1989–1990 гг.: В 2 ч. М., 1990.

[440] Надежда Георгиевна *Боголюбова* (р. 1946) — историк философии, доцент МГТУ-МАТИ им. К.Э. Циолковского, организатор II и III Всесоюзных Федоровских чтений.

[441] Речь идет о журнале «Soviet Literature». В № 12 журнала за 1989 г. вышла статья Семеновой «On death and immortality». По всей вероятности, редакция настаивала на продолжении сотрудничества.

[442] Речь идет об антологии «Русский космизм», предназначенной для издательства «Прогресс», где она должна была выйти на английском языке (см. примеч. 407). Работа над антологией велась С.Г. Семеновой и А.Г. Гачевой в августе — сентябре 1990 г., рукопись была сдана в издательство, однако не вышла в свет. Спустя 3 года она была опубликована в издательстве «Педагогика-пресс»: Русский космизм: Антология философской мысли. М.: Педагогика-пресс, 1993.

[443] Николай Алексеевич *Умов* (1846–1915) — физик, философ, один из представителей русского космизма.

[444] Виктор Михайлович *Василенко* (1905–1991) — историк искусства, поэт. В выпущенном фрагменте дневника С.Г. Семенова рассказывает о знакомстве с ним и дает ряд штрихов к его портрету.

[445] Речь идет о романе Д.Л. Андреева «Странники ночи», над которым философ работал с 1937 по 1947 г. Роман был уничтожен органами КГБ после ареста и приговора, вынесенного Д.Л. Андрееву. См.: *Василенко В.М.* Далекие ночи // *Андреев Д.Л.* Собр. соч.: В 3 т. Кн. 2. М., 1997. С. 385–397.

[446] С.Г. Семенова читала В.Н. Муравьева, готовясь писать о нем для хрестоматии русского космизма. Текст «Овладения временем» она читала по переизданию, сделанному М. Хагемейстером: *Муравьев В.Н.* Овладение временем как основная задача организации труда. München, 1983.

[447] *Муравьев В.Н.* Рев племени // Из глубины: Сб. статей о русской революции. М.: Русская мысль, 1918–1921. Переизд.: М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 186–203.

[448] *Муравьев В.Н.* Овладение временем // *Муравьев В.Н.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 5. Далее все цитаты С.Г. Семенова приводит по работе «Овладение временем».

[449] С.Г. Семенова приводит страницу по изданию М. Хагемейстера.

[450] Имеется в виду традиционный Вечер памяти Н.Ф. Федорова, который в 1990 г. состоялся в ИМЛИ в рамках семинара «Космическое сознание и русская культура».

[451] Станислав Стефанович *Лесневский* (1930–2014) — литературовед, критик, издатель. Ирина Бенционовна *Роднянская* (р. 1935) — критик, литературовед, в 1990–2000-е гг. возглавляла отдел критики редакции «Нового мира». Владимир Владимирович *Радзишевский* (р. 1942) — журналист, литературный критик, с 1974 по 2002 г. работал в «Литературной газете».

[452] *Семенова С.Г.* Диагнозы и пророчества. О сборниках «Вехи» и «Из глубины» // Литературная газета. 1 мая 1991, № 17.

[453] Сергей Николаевич *Зенкин* (р.1954) — литературовед, переводчик, редактор издательств «Художественная литература» и «Советский писатель» (1978–1991), в 1990–1993 гг. научный сотрудник ИМЛИ.

[454] *Семенова С.Г.* «Любовь — это стремление к бессмертию…» // Философия любви. Ч. 1. М.: Политиздат, 1990. С. 162–204.

[455] См. примеч. 411.

[456] См.: Николай Федоров: апостол или еретик? (Светлана Семенова — Владимир Привалов) // Экос. 1990. Январь. С. 35–37.

[457] В № 1 журнала «Социум» за 1991 г. был напечатан (в сокращенном виде и с редакторской правкой) небольшой фрагмент из работы С.Г. Семеновой «Активно-эволюционная мысль В.И. Вернадского», ранее вышедшей в № 15 альманаха «Прометей», вслед за которым редакция поместила отрывок из письма Вернадского И. Петрункевичу (Оптимистическое учение // Социум. 1991. № 1. С. 106–109). Интервью с С.Г. Семеновой вышло в № 3 журнала: Николай Федоров — принципиальный противник смерти // Социум. № 3. 1991. С. 97–105.

[458] *Семенова С.Г.* Метаморфоза пола // Московский вестник. 1991. № 1. С. 314–335.

[459] *Семенова С.Г.* Вера, пришедшая «в разум истины» // Путь. Международный философский журнал 1992. № 2. С. 202–247. Анатолий Александрович *Яковлев* (р. 1953) — историк философии, редактор, издатель, сын секретаря ЦК КПСС А.Н. Яковлева.

[460] Путь к древу бессмертия (интервью с С.Г. Семеновой) // Книжное обозрение. 5 июля 1991. № 27.

[461] О IV Федоровских чтениях см.: *Гачева А.Г.* Международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова (Хроника и обзор). С. 710–711.

[462] См.: *Прошечкин Е.В.* Поиски могилы Н.Ф. Федорова // Общее дело. Сборник докладов, представленных на I Всесоюзные Федоровские чтения. С. 234–237. Евгений Викторович *Прошечкин* (р. 1957) — историк философии, член Федоровского семинара, депутат Московской городской думы I созыва (1993–1997), с 1989 г. возглавляет Московский антифашистский центр.

[463] Артемий Ярославович *Гилянов* (р. 1959) — научный работник. Был глубоко увлечен идеями Федорова. Написал статью «Сыновняя любовь как основа человечности. Н.Ф. Федоров о сущности христианства» (Журнал Московской Патриархии. 1992. № 2. С. 33–37).

[464] Имеются в виду письма Федорова В.А. Кожевникову лета 1902 г. и письмо от 10 августа 1903 г., написанные из Нового Иерусалима, где он жил в летние месяцы. См.: *Федоров* Собр. соч.: В 4 т. Т. IV. С. 466–478, 482–484.

[465] Лев Львович *Регельсон* (р. 1939) — публицист, богослов, автор книги «Трагедия Русской Церкви. 1917–1945» (Париж: YMCA-Press, 1977).

[466] *Семенова С.Г.* Идеи русских космистов // Утренняя Звезда. Научно-художественный иллюстрированный альманах Международного центра Рерихов. 1993. № 1. С. 260–277.

[467] *Семенова С.Г.* Нужны ли нам абсолюты? // Литературная газета. 25 декабря 1991. № 51. Следующий далее текст представляет собой наброски к этой статье.

[468] Возможно, речь идет о журналисте Павле Изотовиче *Якубовиче* (р. 1946).

[469] В 1991–1992 гг. С.Г. Семенова и А.Г. Гачева работали над двумя первыми томами собрания сочинений Н.Ф. Федорова: *Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 1, 2. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995.

[470] Докторскую диссертацию «Космическое сознание в русской литературе XX века», представленную в форме научного доклада, С.Г. Семенова защитила 15 апреля 1992 г.

[471] Питер *Холквист* — историк, сын М. Холквиста. Зоя Михайловна *Дашевская* (р. 1972) — однокурсница Л.Г. Гачевой по Московскому художественному училищу памяти 1905 г., теолог, культуролог, в настоящее время — декан богословского факультета Свято-Филаретовского православно-христианского института.

[471a] Ненависть к року (*лат.*). Текст доклада С.Г. Семенова готовила для конференции «Понятие судьбы в контексте разных языков и культур», проведенной в декабре 1991 г. Научным советом по истории мировой культуры при Президиуме РАН и Институтом языкознания РАН. Опубл.: Понятие судьбы в контексте разных культур. М.: Наука, 1994. С. 26–33.

[472] Намерение С.Г. Семеновой написать по предложению издательства «Молодая гвардия» книгу о Федорове для серии ЖЗЛ не было осуществлено.

[472a] *Платонов А.П.* Ноев ковчег (Каиново отродье) // Новый мир. 1993. № 3. Публикация была подготовлена Н.В. Корниенко и А.П Платоновой. Предисловие С.Г. Семеновой написано не было.

[473] Идею издать книгу «Путь к древу бессмертия» в издательстве «Логос» высказал Л.Л. Регельсон. Намерение осуществлено не было.

[474] Описка. Должно быть: Анатолий Яковлев, руководитель «Издательской группы “Прогресс”», выпустившей в 1995 г. 1–2 тома сочинений Федорова.

[475] См. примеч. 404, 467.

[476] *Оля* — О.А. Бабанова (см. примеч. 431). Борис Георгиевич *Режабек* (р. 1939) — биофизик, поэт, публицист, философ, участник Федоровского семинара. Владислав Гургенович *Акопян* — историк, архивист, последователь идей Федорова, член Федоровского семинара. *Аспирант* — Андрей Иванович Бандура (р. 1962), музыковед, композитор, в то время писавший диссертацию по творчеству А.Н. Скрябина.

[477] См. примеч. 396.

[477a] *Володя* — Владимир Григорьевич *Семенов* (1946–1996) — брат С.Г. Семеновой.

[478] Речь идет о статье: *Семенова С.Г.* «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: Наследие, Наука, 1994. С. 73–131.

[479] См. примеч. 469. В 1 том были добавлены статьи Н.Ф. Федорова «Собор» и «Проект соединения церквей»: *Федоров Н.Ф.* Собр. соч. Т. 1. С. 309–387.

[480] С.Г. Семенова намеревалась подготовить том избранного Н.Ф. Федорова для издательства «Раритет», инициировавшего в 1991 г. подготовку серии «Библиотека духовного возрождения». См.: *Федоров Н.Ф.* Сочинения. М.: Раритет, 1994.

[481] Речь идет о сыне Г.Д. Гачева Д.Г. Гачеве и его первой жене А.П. Ивановой.

[482] Летом 1992 г. А.Г. Гачева и С.Г. Семенова считывали верстку книги «Русский космизм: Антология философской мысли» для издательства «Педагогика-пресс» (издание зависло из-за отсутствия финансирования, вышло благодаря финансовой поддержке члена Федоровского семинара Б.Н. Гатауллина в 1993 г.) и верстки однотомника Н.Ф. Федорова и тома сочинений А.К. Горского и Н.А. Сетницкого для серии «Библиотека духовного возрождения» издательства «Раритет» (вышли в свет только в 1994 и 1995 г.).

[483] Речь идет о двух книгах, подготовленных Н.В. Корниенко и Е.Д. Шубиной для издательства «Советский писатель»: Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М.: Современный писатель, 1994; Андрей Платонов. Мир творчества. М.: Современный писатель, 1994.

[484] См. примеч. 482.

[485] Вечер памяти Андрея Платонова состоялся 16 мая 1993 г. в Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова, открытом в январе 1993 г. в Библиотеке № 219 ЦБС «Черемушки» г. Москвы. В рамках вечера состоялось выступление С.Г. Семеновой и членов Федоровского семинара. Артист театра и кино Александр Георгиевич *Филиппенко* (р. 1944) прочел пьесу А.П. Платонова «Голос отца». Выступить его пригласила О.А. Бабанова (см. примеч. 431), отмечавшая 16 мая свой день рождения.

[486] Запись сделана по итогам поездки в Кострому на фестиваль «Вехи», на который были приглашены представители Российского императорского дома — великая княгиня Мария Владимировна с наследником Георгием и великая княгиня Леонида Георгиевна. С.Г. Семенова выступала на фестивале 29 мая 1993 г. с докладом об идеях самодержавия в наследии Н.Ф. Федорова.

[487] Сергей Алексеевич *Сапожников* (1938–2016) — инженер, член Союза журналистов, инициатор воссоздания Московского дворянского собрания и его почетный предводитель, заместитель главного редактора газеты «Дворянский вестник», генеалог. Был женат на Нине Петровне *Мокеевой* (1937–1994).

[488] Книгу о трех вестниках активно-эволюционной, активно-христианской мысли, принадлежащих к разным мировым регионам (России, Европе, Востоку) Н.Ф.Федорове, П. Тейяре де Шардене, Шри Ауробиндо Гхоше С.Г. Семенова написать не успела, однако своего рода дайджест темы был дан ею в ее книге «Тропами сердечной мысли» (см. примеч. 310).

[489] Отчасти этот замысел был исполнен в книге «Глаголы вечной жизни. Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия» (М.: Академический проект, 2000), где трактовка евангельских тем и сюжетов была дана с опорой не только на святоотеческое наследие, но и на традицию русской активно-христианской мысли (Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков и др.).

[490] Эта статья в переработанном виде составила ряд глав коллективной монографии: *Гачева А.Г., Казнина О.А., Семенова С.Г.* Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003.

[491] Вторая международная научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения А.П. Платонова, состоялась в ИМЛИ РАН 17–19 октября 1994 г. Частью программы был Платоновский вечер с участием современных писателей, организованный в Центральном доме литераторов (вел круглый стол писатель Андрей Георгиевич *Битов* (1937–2018)).

[492] *Семенова С.Г.* Философские мотивы романа «Счастливая Москва» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995. С. 54–91.

[493] С 1993 по 1996 г. в журнале «Литературная учеба» по инициативе Л.Е. Бежина была создана рубрика «Евангельская история», в которой писатели и публицисты печатали свои статьи и размышления над вехами земной жизни Иисуса Христа. Участие в этой рубрике вылилось в книгу С.Г. Семеновой «Глаголы вечной жизни» (см. примеч. 489).

[494] Речь идет о сборнике: «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 2 / Ред.-сост. *Н.В. Корниенко*. М.: Наследие, 1995. Сборник вышел при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

[495] В.А. Чалмаев и В.В. Васильев (см. примеч. 153, 155) были сотрудниками Отдела новейшей русской литературы ИМЛИ РАН.

[496] См. примеч. 493. Речь идет о статье: *Семенова С.Г.* «Смертию смерть поправ…» // Литературная учеба. 1996. № 5–6. С. 196–224.

[497] Воскрешенный роман Андрея Платонова. Опыт прочтения «Счастливой Москвы» // Новый мир. 1995. № 9. С. 209–226. Статья была сделана на основе ранее написанной статьи «Философские мотивы романа “Счастливая Москва”» (см. примеч. 492).

[498] См. примеч. 451.

[499] *Двухтомник* — см. примеч. 483. См. также: *Геллер М.Я.* Андрей Платонов в поисках счастья. Париж: YMCA-Press, 1982; *Корниенко Н.В.* История текста и биография А.П. Платонова (1926–1946) // Здесь и теперь. 1993. № 1.

[500] Рецензия Ю. Нагибина на роман А.П. Платонова «Счастливая Москва» была опубликована в № 6 «Литературной газеты» 5 февраля 1992 г.

[501] Дочь С.Г. Семеновой А.Г. Гачева была беременна. 7 июля 1995 г. она родила дочь Веру.

[502] Юрий Моисеевич *Гольдин* (р. 1921) — летчик-истребитель, ветеран Великой Отечественной войны, глава Дирекции Городка писателей «Переделкино», где с лета 1994 г. жили Г.Д. Гачев и С.Г. Семенова.

[503] Плановая работа С.Г. Семеновой была посвящена философским мотивам русской литературы 1920–1930-х гг. Упомянутые главы о Маяковском и Заболоцком вошли в книгу: *Семенова С.Г.* Русская поэзия и проза 1920–1930-х гг. Поэтика — Видение мира — Философия. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001.

[504] Третья международная научная конференция по творчеству А.П. Платонова прошла в ИМЛИ РАН 26–28 ноября 1996 г. и была посвящена роману «Счастливая Москва».

[505] Речь идет о Международной научной конференции «Даниил Андреев в культуре XX века», состоявшейся 24–25 октября 1996 г. Публикация материалов круглого стола, посвя-

щенного Д. Андрееву: «О пламенном хоре, которого нет на земле…» // Новый мир. 1996. № 10. С. 203–215. Полностью статья С.Г. Семеновой, подготовленная по материалам доклада, опубликована: *Семенова С.Г.* «Письмена о преображении мировом…» // Даниил Андреев в культуре XX века. М., Мир Урании, 2000. С. 80–89.

[506] *Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 481.

[507] Здесь и далее — Н.В. Корниенко (см. примеч. 433).

[508] С.Г. Семенова должна была ехать на международную научную конференцию «Русская литература XX века (Проблема единства литературного процесса), которая проходила 5–8 декабря 1996 г. в Вильнюсском университете по инициативе и под руководством проф. Е.А. Костина.

[509] Этот раздел писался С.Г. Семеновой для разрабатывавшейся в ИМЛИ «Истории русской литературы 1920–1930-х гг.». Вошел в ее монографию «Русская поэзия и проза 1920–1930-х гг.» (см. примеч. 503).

[510] *Семенова С.Г.* «Влечение людей в тайну взаимного существования…» (Формы любви в романе) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 3. М.: ИМЛИ, «Наследие», 1999. С. 108–123.

[511] С.Г. Семенова писала для ИМЛИ РАН плановую работу о философских аспектах русской прозы 1920–1930-х гг. Глава о Леонове была опубликована в ее книге «Русская поэзия и проза 1920–1930-х гг.», а также появилась в журнальной версии: *Семенова С.Г.* Парадокс человека в романах Леонида Леонова 20–30-х годов // Вопросы литературы. 1999. № 5. С. 35–74.

[512] Вера Андреевна *Щербакова* (р. 1995) — филолог, психолог. Внучка С.Г. Семеновой, дочь А.Г. Гачевой и А.Н. Щербакова (см. примеч. 408).

[513] Юрий Алексеевич *Ширинский-Шихматов* (1890–1942) — деятель русского зарубежья, лидер движения национал-максималистов, издатель журнала «Утверждения», организатор Пореволюционного клуба. С.Г. Семенова занималась тогда пореволюционными течениями русского зарубежья в рамках исследования философского контекста русской литературы 1920–1930-х гг.

[514] Музей-библиотека Н.Ф. Федорова, ставший в 1996 г. частью Центральной детской библиотеки № 124, был вместе с ней закрыт на ремонт до конца октября 1998 г.

[515] 27 апреля 1999 г. С.Г. Семенова выступила на пленарном заседании Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, в Вильнюсском университете.

[516] *Семенова С.Г.* Россия и русский человек в пограничной ситуации: Военные рассказы Андрея Платонова //«Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 138–152. IV Международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А.П. Платонова, состоялась 19–22 сентября 1999 г. в ИМЛИ РАН.

[517] Переиздать книгу С.Г. Семеновой «Николай Федоров: творчество жизни» в Рязани не удалось. Новое издание книги под названием «Философ *будущего века* — Николай Федоров», включившее в себя отдельную часть «Н.Ф. Федоров и мировая философия», вышло в 2004 г. в Москве в издательстве «Пашков дом».

[518] Эта поездка состоялась только в 2005 году. Ее описание: *Семенова С.Г.* Тропами сердечной мысли: Этюды, фрагменты, отрывки из дневника. С. 658–660.

[519] С.Г. Семенова писала тогда статью «Н.Ф. Федоров и Фридрих Ницше» (опубл.: Вопросы философии. 2001. № 2).

[520] Жорж (Юрий) Николаевич *Кирьянов* (р. 1938) — с 1980 по 2019 г. старший научный сотрудник ИМЛИ РАН.

[521] Н.Ф. Федоров. Собр. соч. Дополнения. Комментарии к Т. IV. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

[522] См. примеч. 519.

[523] На XXXIV научных чтениях, посвященных разработке творческого наследия К.Э. Циолковского, состоявшихся в Калуге 14–16 сентября 1999 г., С.Г. Семенова делала два доклада на тему «Циолковский и социальные прогнозы на третье тысячелетие».

[524] Книга «Глаголы вечной жизни» (см. примеч. 489) готовилась С.Г. Семеновой для издательства «Академический проект».

[525] *Ханс Гюнтер* — филолог-славист, исследователь творчества А.П. Платонова, профессор университета Билефельд (Германия).

[526] Международная научная конференция «Связь времен: Даниил Андреев и пушкинские традиции в культуре XX века» состоялась 5–6 октября 1999 г. в ИМЛИ РАН.

[527] Ирина Ивановна *Гомина* (р. 1951) — филолог, педагог, с 2000 по 2006 г. сотрудник Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 124. Светлана Юрьевна *Корниенко* (р. 1975) — литературовед, доктор филологических наук, профессор Новосибирского государственного университета.

[528] С.Г. Семенова работала над главой «Философско-метафизические грани “Тихого Дона”» для своей монографии «Русская литература 1920–1930-х гг. Поэтика — Видение мира — Философия».

[529] Речь идет о специальном выпуске воронежского журнала «Подъем» (2000. № 1) «Новые реалисты — XXI в.». В номере печатались прозаические сочинения В. Голованова, С. Василенко, В. Килякова, В. Отрошенко, Л. Павловой, О. Павлова, М. Тарковского, А. Яковлева, статьи П. Басинского, О. Павлова, В. Варавы. В марте 2000 г. Отдел новейшей русской литературы ИМЛИ РАН устроил встречу с авторами журнала и обсуждение художественно-эстетической позиции «новых реалистов» в контексте темы современного состояния реализма.

[530] *Пришвин М.М.* Мой очерк // *Пришвин М.М.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1983. С. 8.

[531] «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000.

[532] Речь идет о статье С.Г. Семеновой «“Зачеловеческие сны” Велимира Хлебникова» (напечатана: Вопросы литературы. 2002. № 2). Первоначально художественно-философский анализ творчества Хлебникова был введен С.Г. Семеновой в главу о В.В. Маяковском «Новый разгромим по миру миф», написанную для ее монографии «Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов».

[533] Эта статья С.Г. Семеновой написана не была.

[534] Речь идет о рецензии на книгу С.Г. Семеновой «Глаголы вечной жизни» (см. примеч. 489). В номере газеты от 2 ноября 2000 г. книга была отмечена в рубрике «Книги, присланные в редакцию». Отдельной рецензии на нее в газете не появилось.

[535] *Кураев А.* Оккультизм в православии. М.: Благовест, 1998.

[536] Во 2 томе книги «Метафизика русской литературы» (М.: Издательский дом «ПоРог») С.Г. Семенова сделала отдельный раздел о Платонове, включив в него 4 статьи: «“Тайное тайных” Андрея Платонова (смерть, эрос, пол)», «Метафизика платоновских мотивов (“Счастливая Москва”)», «“Влечение людей в тайну взаимного существования…” (тема любви в романе “Счастливая Москва” в философском контекте)», «Россия и русский человек в пограничной ситуации (военные рассказы Андрея Платонова)» и этюд «Где у Андрея Платонова искать его философию?».

[537] Михаил Михайлович *Разгулов* (1938–2017) — хирург, ученик одного из основоположников отечественной трансплантологии В.П. Демихова. Тамара Александровна *Разгулова* (р. 1940) — инженер-механик, художница, жена М.М. Разгулова. Вера Никитична *Ковбень* (р. 1938) — педагог, жена М.П. Ковбеня, соседа Г.Д. Гачева и С.Г. Семеновой в Новоселках.

[538] А.Г. Гачева ездила на XI симпозиум Международного общества Ф.М. Достоевского, проходивший в 2001 г. в Баден-Бадене.

[539] Речь идет о статьях С.Г. Семеновой «Философско-метафизические грани “Тихого Дона”» (Вопросы литературы. 2002. № 1) и «Вестничество Лермонтова» (Человек. 2002. № 1, 2). *Статья о Хлебникове* — см. примеч. 532. Об *обериутах* С.Г. Семенова первоначально написала в главе «Мы же новый мир устроим с новым солнцем и травой…» («Атомы новых смыслов» поэзии

Николая Заболоцкого»), а затем подготовила на ее основе главу «Метафизика смерти и абсурда (Даниил Хармс, Александр Введенский)» для книги «Метафизика русской литературы».

[540] С.Г. Семенова работала над монографией «Мир прозы Михаила Шолохова: От поэтики к миропониманию» (М.: ИМЛИ РАН, 2005).

[541] Речь идет о книге: *Гачева А.Г., Казнина О.А., Семенова С.Г.* Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003.

[542] Речь идет о статье С.Г. Семеновой «Мировоззренческие диапазоны русской поэзии и прозы 1920–1930-х годов», планировавшейся для первого выпуска серии материалов по истории русской литературы 1920–1930-х гг. Из-за изменившейся структуры серии статья опубликована не была.

[543] Александр Миронович *Ушаков* (1930–2018) — литературовед, специалист по творчеству В.В. Маяковского, с 1995 по 2005 — зав. отделом новейшей русской литературы ИМЛИ РАН.

[544] *Семенова С.Г.* Контексты геополитики в пьесе «Ноев ковчег» («Каиново отродье») // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 5. М., ИМЛИ РАН, 2004. С. 184–194.

[545] Философствовать — значит учиться не умирать // Литературная газета. 13–19 марта 2002. № 10.

[546] См. примеч. 301, 517.

[547] Речь идет о статье Г.Д. Гачева «Диалектика сакрального и светского в культуре. “Чевенгур” А. Платонова» (Оппозиция сакральное / светское в славянской культуре. М.: Институт славяноведения РАН, 2006. С. 26–41).

[548] *Розанов В.В.* Уединенное. М.: Русский путь, 2002. С. 117.

[549] Женский логос Светланы Семеновой // Литературная газета. 3–9 марта 2004.

[550] Алексей Георгиевич *Горбачев* (р. 1954) — переводчик, мыслитель, член Федоровского семинара, которым руководила С.Г. Семенова.

[551] Отчасти этот замысел был исполнен в главах последней книги С.Г. Семеновой «Тропами сердечной мысли».

[552] Цитата из статьи В.В. Розанова «Homines novi» («Новые люди») // Русское слово. 1906. 20 февраля. № 49.

[553] Речь идет о VI Международной научной конференции, посвященной 105-летию со дня рождения А.П. Платонова «Роман “Чевенгур”. Контексты изучения и понимания», состоявшейся в ИМЛИ РАН 21–24 сентября 2004 г.

[554] В августе — начале сентября 2004 г. С.Г. Семенова находилась в санатории «Магадан» в местечке Лоо недалеко от Сочи.

[555] Александр Петрович *Потемкин* (р. 1949) — экономист, предприниматель, писатель, издатель.

[556] С.Г. Семенова должна была вести круглый стол на II Международном симпозиуме «Русская словесность в мировом культурном контексте», прошедшем 14–19 декабря 2004 г. в Москве в гостинице «Космос». Симпозиум был организован Фондом Достоевского под руководством И.Л. Волгина.

[557] Виктор Николаевич *Тростников* (1928–2017) — философ, богослов, математик. Михаил Михайлович *Дунаев* (1945–2008) — литературовед, богослов. *Воропаев* — см. примеч. 349.

[559] Рената Александровна *Гальцева* (р. 1936) — философ, старший научный сотрудник ИНИОН РАН.

[560] См. примеч. 310.

[561] Ин. 14, 12.

[562] Мария Андреевна *Платонова* (1944–2005) — дочь А.П. Платонова. С 1992 по 2005 г. — старший научный сотрудник ИМЛИ РАН.

[563] Это пожелание С.Г. Семеновой исполнилось. Внук А.П. Платонова Антон Михайлович *Мартыненко* (р. 1985) после смерти М.А. Платоновой постепенно стал глубоко и серьезно относиться к наследию деда и его памяти. Он присутствует на всех Платоновских конференциях в ИМЛИ и на многих научных и просветительных мероприятиях, посвященных памяти А.П. Платонова, читает и осмысляет произведения своего деда и называет Платонова своим любимым писателем. См. интервью с А.М. Мартыненко: До Платонова надо дорасти // Литературная Россия. 26 сентября 2019. № 35.

[564] *Семенова С.Г.* Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден. СПб.: РХГА, 2009.

[565] С.Г. Семенова работала над своей последней книгой: «Тропами сердечной мысли: Этюды, фрагменты, отрывки из дневника» (М.: Издательский дом ПоРог, 2012).

[566] В первой половине сентября 2009 г. С.Г. Семенова находилась в пансионате «Металлург» на Черном море.

[567] Доклад был сделан на VII Международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения А.П. Платонова (прошла в ИМЛИ РАН 21–23 сентября 2009 г.). Конференция была посвящена теме «Драматургия и театр Андрея Платонова».

[568] С.Г. Семенова писала мемуарный текст «Опыт воскрешения жизни», доведя его до момента, когда, пусть и нерегулярно, начала вести дневники.

[569] Немного неточная цитата из письма А.К. Горского О.Н. Сетницкой и Е.А. Крашенинниковой от 5 декабря 1938 г. (*Горский А.К.* Сочинения и письма. Кн. 2. С. 594).

[570] См. примеч. 567.

[571] Наталья Георгиевна *Полтавцева* — филолог, культуролог.

[572] С.Г. Семенова должна была сделать доклад на ежемесячном философском семинаре Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова, который она вела.

[573] Речь идет о выпуске «Усомнившийся Андрей Платонов» в рамках авторской программы В. Ерофеева «Апокриф». В передаче приняли участие писатели и литературоведы А. Варламов, Н. Корниенко, П. Басинский, режиссер Д. Крымов, актриса Клавдия Коршунова, члены Платоновской группы ИМЛИ РАН Д.С. Московская и Л.Ю. Суровова.

Публикация, подготовка текста, примечания А.Г. Гачевой

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЛА СВОИМ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕМ…» (Интервью со Светланой Семеновой)*

Первый вопрос — как Вы пришли к занятиям философией, как определились главные темы Вашей мысли?

Собственно, с отрочества я была, так сказать, стихийно *философствующей* особой — по жизни, в глубине себя, в общении с друзьями. И тогда уже главной душевной загвоздкой являлась для меня смерть, внутренне-неизымаемым мотивом — размышления о ней. Предназначение философии, *любви к мудрости*, обычно видели в созидании систем познания и понимания мира, человека, Бога — а первоцарь философской мысли, возвышенный идеалист Платон так открыл глубинный исток философии, смысл занятий ею: «Для людей это тайна: но все, которые по-настоящему отдавались философии, ничего иного не делали, как готовились к умиранию и смерти». Давно трюизмом стала мысль об *удивлении* как начале философствования. Впрочем, настоящая суть этого удивления, *главного* удивления высветляется в луче Платонова высказывания: как это *я* вдруг перестану существовать и что за такое я тогда явление, сознающее, чувствующее, творящее («я царь, я бог») и вместе *ничтожное*, не владеющее своим бытием, жертва любой гибельной случайности («я червь, я прах»), почему я таков, откуда я пришел и куда направляюсь, что за мир вокруг меня и есть ли в нем некие вещие знаки, намеки на мое предназначение… Вот такое удивление себе смертному и высекает философическое раздумье, прежде всего горестное, зацепляющее сердце и ум недоумением, неразрешимостью, загадкой…

Если следовать Платоновой формуле, то моя сокровенная тема была философической, такой она и осталась, только сейчас она о не о том, как *учиться умирать*, а как *не учиться умирать* или *учиться не умирать*. Мысли о смерти — это мысли об онтологическом пределе нашей жизни, ее трагической отграненности. Они ведут за собой караван вечных вопросов — о смысле существования, о начале и конце, о времени и вечности, об отношении духа и материи, человека и космоса, о природе самого человека, о судьбе и свободе, о культуре, о Боге… Этим кругом и определилось в основном мое творчество. В молодости я недаром исследовала экзистенциализм (моя кандидатская диссертация была посвящена философскому роману Сартра и Камю), а он сфокусировал видение вещей на факте

* Русская версия интервью С.Г. Семеновой сербскому журналу «Русија» (2009).

смерти: только острое осознание конца как фундаментального измерения нашего бытия приводит к *пробуждению,* к выходу из *неистинного* существования. Но эта философия остается на первой, отрицательной стадии переживания и осознания трагизма смертного бытия: лишь внутренне, гордо стоически стать выше губящих, непреоборимых сил и законов природы! Никакого положительного, созидательного выхода эта философия не видит. Выход этот, на мой взгляд, дает русская религиозная мысль, Николай Федоров, который не только стоит у истоков ее взлета, но и является, на мой взгляд, наиболее радикально-дерзновенным, практически ориентированным выразителем основных ее оригинальных идей: *Богочеловечества* как синергии, соработничества рода людского Богу в онтологическом деле искупления и возвышения творения в новый обоженный статус бытия; *метафизики всеединства*, строящейся на идеале космической *соборности*, гармоническом единстве множества, в котором каждый элемент равноценен другому и целому, черпая свой прообраз, свою *модель*, если хотите, в Божественном Троичном, нераздельном и неслиянном, питаемом любовью бессмертном и всемогущем бытии; наконец, на идее *всеобщности спасения*.

Вы — один из ведущих специалистов по творчеству Н.Ф. Федорова в России и мире, человек, сделавший очень много для того, чтобы его философия преодоления смерти и розни, восстановления всемирного родства стала известна нашим современникам. А как все начиналось лично для Вас?

Собственно моя встреча с мыслью Федорова произошла в 1972 году, когда я, уже пройдя экзистенциалистский искус, обернулась в своих занятиях от западной философии и культуры к родной, русской. И вот в наш дом попадает книга Владимира Кожевникова о Федорове. Тогда я, как Татьяна Ларина, встрепенулась глубинами своего существа: «Это он!» Несколько месяцев безвылазно просидела в Ленинке, читала два тома «Философии общего дела», тщательно их конспектировала, высекая из чтения свои понимания. Мое до того достаточно эстетически-игровое отношение к собственной жизни (правда, с трагической экзистенциальной подкладкой) изменилось радикально — на серьезное и ответственное прежде всего перед этой мыслью, пронзившей меня как откровение эволюционного авангарда Земли, всего рода людского. Федоровское учение предстало мне ясным и стройным, как прекрасный Храм, зримо несущий богатство своего метафизического, этико-эстетического, практического послания сынам и дочерям человеческим. Буквально за одно духоподъемное лето своего тридцатитрехлетия я нанесла на бумагу в основных чертах свое видение этого Храма. Понадобилось более 15 лет, чтобы после бесплодных мытарств в запуганных советских издательствах книга «Николай Федоров. Творчество жизни» в 1990 году вышла в свет. А за год до того в том же «Советском писателе» — книга «Преодоление трагедии. Вечные вопросы в литературе», где уже работала обретенная мной новая философская оптика.

Не могли бы вы привести хотя бы один пример такой оптики и некоего нового результата, который она дала?

Мне удалось впервые четко разделить два понятия «природы», два ее лика и значения: с одной стороны, природа есть *совокупность* всего существующего, неживой и живой природы в многообразии ее вещей и существ, куда входит и человек, сознательный представитель этого взаимосвязанного сообщества. С другой — это определенный *порядок, принцип бытия*, стоящий на рождении, половом расколе, пожирании, вытеснении последующим предыдущего, смене поколений, смерти индивидуума. Задача преодоления этого порядка (*послегрехопадного*, по библейским представлениям) вовсе не есть посягательство на природу в ее первом значении совокупности всего живущего, напротив, ее спасение из тисков жестокого закона борьбы и истребления, в котором, как сказано в Новом Завете, «вся тварь стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 22) и « ожидает откровения сынов Божиих <…> в надежде, что и сама <…> освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 19–21), иначе говоря, выведена будет к будущему преображенному Собору всей твари. Такое разделение двух аспектов природы снимает полемическое уничижение христианства в его якобы гордынной ненависти к природе вообще, распространяющееся нередко и на активное христианство Федорова и других религиозных мыслителей, отторгающих лишь сам природно-смертный принцип бытия. Так же как это при анализе философской лирики высветляет смысл явленного в ней противоречия между, с одной стороны, любовью к природе, отрадным чувством свидания человека со всем живущим, с другой же — глубочайшим разладом человека с ее *порядком*, «души отчаянным протестом» как раз против «гробового лика» природы, враждебного запросам человеческой личности.

Появление тома избранных сочинений Федорова, еще в советское время, в 1982 году в издательстве «Мысль», в свое время наделало много шуму. Не могли бы Вы рассказать о судьбе этой книги?

Сначала несколько слов о судьбе идей Федорова в послереволюционной России. В 1920-е годы — взлет интереса и в метрополии, и в русском зарубежье. Действуют такие замечательные его последователи, как А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, В.Н. Муравьев (все пали жертвой репрессий). Федоровские идеи входят в глубинное, подпочвенное сознание русской культуры XX века, оплодотворяют блистательно-странное творчество Андрея Платонова, прослеживаются — с разной степенью адекватности — у таких поэтов и писателей, как Клюев, Хлебников, Маяковский, Заболоцкий, Горький, Пришвин, Пастернак, у художников Чекрыгина, Малевича, Филонова, Честнякова… И вот к концу 1970-х годов, после десятилетий полного замалчивания, создалась новая ситуация для восприятия федоровских идей как увлекательной духовной альтернативы официальной идеологии. Удалось выпустить целый сноп статей и в столичной печати, и в провинциальных журналах, где око редактуры и цензуры не было столь бдительным.

Каждый год в самых различных аудиториях стали проходить федоровские «огласительные» вечера, собиравшие огромную аудиторию, где звучали невозможные в печати речи и созидалась уникальная по духовному накалу атмосфера. Обычно потом следовали санкции, но следующее мероприятие перекочевывало в новое, неожиданное место… Именно на этом гребне разбуженного общественного интереса к учению «всеобщего дела» (кстати, и в писательских, и в научных кругах) возникла идея издания. Насколько мне известно, конкретным ее автором был литературовед и историк Вадим Кожинов, он и предложил философу Арсению Гулыге, только что возглавившему тогда редакцию «Философского наследия» в «Мысли», прорвать официально допустимый революционно-демократический канон русской философии изданием Федорова. Мол, начать с него будет легче, уже широко прошел звон про предвосхищение у него идей освоения космоса — вот и космонавты помогут (так, кстати, и случилось!). Слава Богу, сами тексты Федорова были фактически неизвестны издателям, пока я не представила их в уже готовом виде с предисловием и комментариями. Вот тут-то предварительный энтузиазм сменился глубоким удручением: как это печатать?! Таких, по тем временам, *невозможностей* — религиозных, философских, пророческих, даже актуально-геополитических, такой странно-удивительной — на века — рефлексии над современной цивилизацией, ее глобальными конфликтами и проблемами не ожидал никто! Препятствий, устных и письменных доносов наверх, разбирательств, изощренных хитростей поднялось несчетно. Жертвенным агнцем, отвлекшим сугубое внимание от основного состава текста (где, кстати, впервые для советского издания было напечатано с большой буквы не только слово *Бог*, но и все производные от него), легло мое предисловие, немыслимо искореженное редакторами, но чудо выхода Федорова все же состоялось. Правда, тут же последовал сокрушительный разгром этой проскочившей «идеологической диверсии», а потом уже более тихий пролонгированный погром: арестовали часть тиража, из всех рукописей в издательствах вымарывалось само упоминание о Федорове, полетела моя книга о нем, уже объявленная к изданию в «Современнике».

О Федорове, его идеях, его влиянии на русскую литературу и культуру Вы написали не одну книгу, а могли бы Вы выразить суть его мысли буквально в нескольких фразах?

Федоров называл свое учение активным христианством, и его главный замах: осуществлять, делать религию, по Христову завету: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14, 12). А дела эти, как мы помним, обнимали весь круг власти над смертоносными силами: утишение стихий, исцеление больных, воскрешение. Человек, созданный по образу и подобию Божию, призван осознать себя активным орудием осуществления воли Божией в мире, стать соработником Творцу в реализации Его основных, метафизических обетований: истребления «последнего врага» — смерти, преображенного восстания прежде живших, нравственного очищения от скверны прежних

преступлений и грехов, творческого претворения мира… Такой религиозно-практический идеал соответствует ноосферному видению русского космизма, где человек — пока вершина цефализации, т. е. закономерности все большего возрастания сознания в ходе эволюционного развития, — открывает этап эволюции уже сознательной, активной, преображающей природу мира и его самого.

Вы неоднократно указывали на то, что в активно-эволюционных, активно-христианских идеях Федорова заключена альтернатива нынешнему глобализму, новым мировым угрозам и кризисам.

Да, это безусловно так. Неолиберальная глобализация несет в себе — среди прочего — своего рода «расистский» разрыв привилегированного меньшинства стран, корпораций, социальных страт и донорского большинства, корыстно и умело отверженного от лучших кусков планетарного потребительского пирога. Отсюда — чреватая катастрофическими взрывами подпочва вселенски насаждаемого «единства» ценностей и путей развития. То, что глобальные проблемы — экологические, демографические, террористические… — неотдираемо уже облеклись в форму кризисов, и кризисов грозных, свидетельствует по меньшей мере (как в случае с фатально галопирующей болезнью), что *лечатся* они как-то принципиально порочно. Прежде всего фактически игнорируется, пожалуй, главный глобальный кризис — антропологический, разверзшийся в самом человеке, в его противоречивой, смертной природе, налагающей печать кричащей дисгармонии на все ее большие и малые цивилизационные плоды. Внешне этот кризис проявляется в разливе наркомании, алкоголизма, агрессии, эпидемии самоубийств, в нигилистическом обесценении человека, в бездумном прожигании жизни или сладострастии погибели, мгновенной или растянутой. Но уходит он в гнилой смертный корень, в то явление, которое философы и психологи уже назвали «ноогенными неврозами». А вызываются они как раз отсутствием или отрицанием цели и смысла жизни. Кстати, диагностами тут были как раз европейские мыслители, констатируя такое угрожающее явление («психо-невротический нигилизм») среди населения вроде вполне благополучных западных стран. Увы, все социальные, исторические проекты и попытки их реализации до сих пор полностью игнорировали то, во что устремлял наше внимание Федоров, — смертно-природную основу вещей, сам бытийственный статус «падшего» мира и вытесняющего, страстно-самостного человека. Опять же только христианство да литература напоминали нам об этом гиблом онтологическом фундаменте (на Западе экзистенциалистская литература — вполне отчаянно, у нас такие гении, как Достоевский и Платонов, но в надежде преображения). Именно активное христианство Федорова призывает всех на богочеловеческое дело выкорчевывания гнилого, но вместе и упорного смертного корня зла, вводит вектор высшей цели в историю, созидательное действие землян, призванных к творческому стяжанию новой бессмертной природы. При этом — в полном составе всех поколений, в искупляющем зло и порок достижении всеобщего спасения.

Федоров называл идею регуляции стихийных, смертоносных сил, преображение несовершенно-смертной человеческой природы в бессмертную и обоженную «нашей славянской, глубоко нравственной мечтой». Я убеждена, что в раскрытии миру этой идеи и заключена вселенская миссия славянства. Недаром Достоевский, рисуя образ будущего братского единства славянских племен, говорил: «Славянство — лишь первое собирание. Оно расширится на Европу и на весь мир как христианство», причем имел он в виду, разумеется, не планетарное завоевание и господство, а торжество христианского дела и идеала. Построения Федорова и других мыслителей активного христианства (Вл. Соловьева, С. Булгакова, Н. Бердяева и др.), остались пока лишь как *проект* в духовной, не вышедшей в жизнь, в *акт*, мировой сокровищнице Духа, но, на мой взгляд, именно им принадлежит будущее. Ибо при всем кажущемся дерзновенном безумии федоровского идеала он отвечает высшим критериям — религиозным чаяниям, религиозному материализму и эволюционному закону восхождения духа в лоне материи.

Вы заговорили о миссии славянства. Но мысли о славянском единстве, о новом «свете с Востока» мало соответствуют современному положению вещей, современному положению славянства. Да и вообще: мыслимо ли сейчас Общее дело? Или это Дело, как всегда, отсылается в прекрасное далеко?

Думаю, Дело это не просто когда-то начнется, а что оно никогда и не прекращалось: на него работает все, что работает на Жизнь, Память, добрую власть духа над материей… Недаром же в семинарах и чтениях памяти Н.Ф. Федорова, проходящих в России уже более двух десятков лет, в отличие от других философских конференций, участвуют люди самых разных специальностей: литераторы и философы, историки и журналисты, богословы и культурологи, биологи, экологи, геронтологи, физики и инженеры, педагоги и психологи, библиотекари и музейщики, художники и искусствоведы… Дело борьбы со смертью, этой глубинной причиной зла в человеческой природе, воистину, всеобщее, только оно, хотя бы теоретически, несет в себе потенцию объединить всех людей, поголовно смертных.

А что касается славянства… Не надо гипнотизироваться текущим моментом. Им не исчерпываются пути истории. История проходит разные фазы, и земная прагматика сменяется более идеалистическими эпохами. Да, ныне славянские страны, за исключением пока России, Сербии, Белоруссии, отдались в руки сугубо обмирщенной Европы, в объятия гедонистической, потребительской цивилизации, цивилизации бескрылой и тупиковой. Да, выраженная Н.Ф. Федоровым «наша славянская мечта» остается пока потаенной, она миру не явлена. Но эта мечта рассчитана не на одно-два поколения. Она смотрит в эпоху будущего века, во всеземную, всечеловеческую эпоху, о которой говорил замечательный философ, ученый и богослов Пьер Тейяр де Шарден. И вот в эту эпоху на правах духовной закваски, безусловно, войдет федоровский, славянский фермент.

Сейчас же очень важно не угашать духа. Важно являть и являть миру жемчужину славянской идеи — идею активного христианства. И здесь я особенно

хотела бы сказать о замечательном издательском проекте, который уже пятнадцать лет ведет в Сербии философ Владимир Меденица. Этот проект — «Русские богоискатели» — открывает сербскому читателю духовное наследие русской религиозно-философской мысли, в центре которой стоит Н.Ф. Федоров. А эта мысль, как уже говорилось, имеет значение всеславянское и всемирное. Владимир Меденица и сам по себе живой мост между Россией и Сербией. Он часто приезжает в Россию, участвует в конференциях, посвященных русской философии и культуре, большой резонанс вызывают его публикации, выставки, на которых он представляет свои издания. Все это вселяет надежду.

Вернемся к Вашим трудам. Что вы считаете наиболее существенным из написанного Вами?

Это прежде всего книга «Тайны Царствия Небесного», своего рода *философия бессмертия* — именно под таким, более точным, не метафорическим заглавием она вышла в переводе на сербский язык в 2005 году. Писалась она в конце 1970-х — начале 1980-х годов, опубликовать ее в нашей стране в то время шансов не было никаких. И работала я принципиально в стол, без малейшей оглядки на цензуру, внешнюю или внутреннюю, в ориентации только на Истину и Абсолют. Книга в рукописи имела довольно широкое хождение, ее перепечатывали в Москве, Ленинграде, в Сибири, на Волге… У нее сложился круг поклонников, она прошла свой достаточно широкий философский самиздат. Опубликована была только в 1994 году.

Этапной я считаю и книгу «Глаголы вечной жизни. Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия», вышедшую в знаменательном 2000 году. В ней я, разумеется, опираюсь на традицию евангельской экзегетики учителей и отцов Церкви, стремясь дать современному читателю обобщенную *сумму* их подходов и воззрений. Вместе с тем мною двигало и творческое философское и богословское задание: на пороге двухтысячелетнего юбилея Рождества Христова прочитать Евангелие глазами человека, усвоившего наследие русской религиозно-философской мысли второй половины XIX — первой трети XX века. И такой активно-христианский взгляд по новому высветил события, жесты, слова Священной истории, смысл самого нашего явления в мир, суть евангельского задания *венцу* Божьего *творения*. А основным вкладом этой мысли в богословие, как я уже отмечала, была идея богочеловечества, сотрудничества Божественных и человеческих энергий в деле спасения, когда род людской опознает себя активным орудием осуществления Божьей воли на земле.

Думаю, среди Ваших главных книг следует назвать и двухтомную «Метафизику русской литературы» (М., 2004), где вы рассматриваете роль русской литературы в религиозно-философском осмыслении человека и мира, в раскрытии русской идеи, тесно связанной с христианством, причем, как вы пишете, «христианством, выходящим за катехизическую букву, драматически углубленном, светящемся полнотой блага». Конечно, в русской литературе есть поэты и писатели, в твор-

честве которых несомненен глубинный христианский пафос. Достаточно назвать позднего Пушкина или Достоевского. Но ведь были писатели, вовсе далекие от Церкви, такие как Лермонтов, Чехов, Андрей Платонов, или, хоть и считавшие себя христианами, но высказывавшие еретические идеи, как Лев Толстой… Тем не менее и в их произведениях можно проследить философские мотивы христианского идейного репертуара… Так в чем же, на ваш взгляд, критерий христианского, религиозно-философского наполнения их творчества?

Я бы для начала представила свое рассуждение о том, в чем критерий христианской, *религиозной* души вообще в отличие от души *языческой*, секулярной, всецело преданной мирским стихиям. Похоже, что, по большому метафизическому счету, существует два типа человека. Один, целиком вписанный в практическую посюсторонность, на полном и единственном *серьезе* внедрен в нужды, заботы и удовольствия мира сего, спокойно-фатально принимает его природно-смертные законы. Он — исключительно *отмирен*, его «духовный» *потолок* упакован без всякого просвета в реальности высшие, в дерзание к *небу*. Такой человек как бы ампутировал в себе главное религиозное качество человека, его духа — *трансцендирование*, перерастание себя, порыв к другой, высшей природе. Везде, куда проникает подобный обезбоженный, сплетенный в наше время с идеалом потребительского общества дух (а с глобализацией он проникает всюду), он подрезает крылья настоящей духовности, порыву и прорыву в более высокую онтологическую реальность. Если взять лишь область культуры, то идею и задачу преображения самой жизни и человека он забьет эстетизмом, «искусством для искусства»; метафизическое беспокойство и воистину новое творчество — ироническим жонглированием деконструкциями и симулякрами… Идейный вектор этого духа — нет ничего абсолютного, все временно и относительно. Созидательные философские идеи в нем *обезврежены* их, так сказать, библиотечным статусом — как один из элементов чистого знания, приличествующего образования, религиозные установки и идеалы заключены лишь в тщательно отгороженную от мира, закрытую *территорию* личной веры.

А теперь о втором типе человека — он, при такой же, как у первого, естественной причастности к условиям и требованиям земного бытия, чувствует себя в них значительно более неуютно, несчастно, глубинно трагически, не принимая их как окончательные и должные. Ему так или иначе внятно то, на что изначально и всегда указывал христианский взгляд: *падшесть* человека, его фундаментальная греховная порча, его *смертная болезнь*, царящие в мире законы пожирания и вытеснения, на которых не может быть построено самоопорным человеком ничего прочного и гармоничного. Такой человек живет в духовно динамическом, *натянутом* пространстве, где работают два полюса — и земное *здесь и теперь*, и горний зов к лучшей природе, к «новому небу и новой земле». Собственно только такой человек и может быть назван религиозным, душа которого — «христианка», даже если он прямо и не исповедует никакой религии. В протестантском регионе таких людей

называли «анонимными христианами». Вот к ним, возможно, и принадлежат упомянутые вами Чехов и Платонов. Оба — каждый по-своему — передали проникающие в каждую пору людей и вещей скуку послегрехопадного статуса бытия, тоску и *недостоинство* смертного обезбоженного мира. Правда, Чехов угнетен этим до тихого отчаяния, а Платонов естественно сохранил в себе христианский критерий детского чувства, детского чаяния всеобщего родства и спасения.

Так вот, возвращаясь к метафизике русской литературы, я бы сказала, что творцы ее от Лермонтова, Тютчева, Достоевского до Клюева, Есенина, Платонова, Пришвина… выражали в своем творчестве как раз такую христианскую доминанту русской идеи и русской души, которая и относит ее носителя к этому второму, метафизически ориентированному типу человека. А эту доминанту отечественные мыслители и богословы уже четко определяли как особую устремленность к абсолюту, к последним временам и срокам, к Царствию Небесному, где преодолен закон смертно-природного бытия.

Именно литература золотого XIX века, в лоне которой и вызревала оригинальная русская мысль, выявила целый цикл идей, остававшийся в тени христианского мировидения и позднее выпукло явленный мыслителями религиозно-философского возрождения: это и преодоление аскетически одностороннего отношения исторического христианства к природе и плоти, на деле противоречащего глубинной сути христианского благовестия, это и образ Вечной Женственности в ее преображающе-софийном понимании, это и апокатастасические склонения образной мысли, не говоря уже о вперенности в загадку человека, созданного по образу и подобию Бога, но утерявшего это подобие в своем падшем качестве… В своей работе я выявляю и раскрываю эти философские грани творчества русских поэтов и писателей, и прежде всего парадокс человека, этого промежуточного, противоречивого, иррационально своевольного, с ядовитым жалом смерти в плоти и душе существа, его экзистенциальную трагедию и вместе созидательные пути выхода из нее…

В своих работах Вы не раз повторяете, что классическая русская литература всегда привлекала своим человековедением, антропологической глубиной. В чем она, на ваш взгляд?

Речь, разумеется, идет, о знаменитом психологизме русского романа, исследовании психо-физического параллелизма (отражение внутреннего во внешнем), самых поддонных импульсов поведения, всех тончайших извивов и закутков психики героев, диалектических глубин души и духа. Познание человека шло здесь на всех уровнях: от природно-стихийного, физиологического, от социально обусловленного (среда, воспитание, эпоха) до душевного — и тут весь мир поражается Льву Толстому, этому великому «тайновидцу плоти», говоря словом Мережковского. И, наконец, достигало уровня духовного, где уже «тайновидцем духа», настоящим *пневматологом*, заложившим новое антропологическое основание и литературе, и философии будущего, был, конечно, Достоевский. Причем,

самопознание человека, развернувшееся в русской литературе, движется по существу христианским пафосом просветления бессознательного, выходом из его дремучего хаоса, духом *трезвения*, покаяния, превращения злонаправленных энергий в благие.

И, быть может, самый существенный русский вклад в это самопознание личности заключался в следующем. Федоров, гениально чуткий к дефициту понимания родовой, соборно-родственной сущности человека, проницательно усмотрел в реализации формулы «познай самого себя» опасный уклон в «знай только себя», в эгоистическое самозамыкание. Достаточно вспомнить бесконечную шеренгу западных литературных индивидуалистов и имморалистов — на манер их философского собрата Макса Штирнера с его *единственным* бесконечно возлюбленным «я», для которого *ты*, *другой* — лишь *предмет, потребляемый* мною. Да уж как знают себя, копаются в себе и герой «Записок из подполья», и Свидригайлов, и Ставрогин, и как, однако, ужасно кончают эти последние — добровольно-отчаянным устранением себя из бытия! Русская литература утверждала — конечно, никак не риторически, а трагедиями и прозрениями своих персонажей, тонкими сюжетными и мотивными наведениями: *познать себя* в христианском смысле значит одновременно *знать другого*, в смысле *понять-простить*, любовно раскрыться навстречу ближнему, выйти в диалог и полилог, в понимание нерасторжимой взаимоувязанности всех людей в их общей земной и небесной судьбе, в их ответственности за всю тварь, за все совершаемое в мире.

Вообще, оттого что в литературе *философия* живет в особом статусе многоголосия, живого диалога, вопросительной открытости, незавершенности, выигрывает живая стереоскопия метафизических подходов к вечным вопросам мирового и человеческого бытия, аннулируется однозначная линейность мировоззренческого взгляда. И существенно — за философской полифонией сознаний стоит идея личности как высшей ценности, как самоценности, идея в созидательной своей сути христианская.

Есть ли у вас свой метод анализа русской литературы именно как образно-художественной, экзистенциальной формы философского освоения реальности?

Это своего рода литературно-философская герменевтика в ее первичном значении искусства понимания и истолкования. Аналитические приемы извлечения *смыслов* работают у меня в процессе очень медленного, можно сказать, *черепашьего* чтения. Мировидение писателя, глубинное ядро его экзистенции выявляются через вчувствование в его поэтику, кропотливое вникание в сюжеты, образы, мотивы, стиль, из глубинного погружения в поражающую конкретику многообразных уникальных элементов произведения, и, на чем я особенно настаиваю, его странных деталей и каверзных мелочей, прячущихся в складках и по углам художественной ткани. В моих исследованиях работает принцип *герменевтического круга* (*целое* понимается из *частей*, а *части* получают свой истинный смысл из *целого*). С одной стороны, целостная метафизика писателя встает из только что

упомянутого вживания в интимно-внутренние слои его текста, с другой — исследовательский луч может по-настоящему извлечь глубинные смыслы конкретных *частей*, только когда он заряжен интуицией и знанием *целого*: это и комплекс нередко прямо выраженных писателем мировоззренческих установок и предпочтений, и сумма философских и литературных влияний, и контекст времени, и вектор поисков и целей национальной словесности в целом…

Ваш муж, философ, культуролог Георгий Гачев называл Ваши книги явлением Женского Логоса. Но ведь женщина всегда считалась инстанцией матери-природы, порождающей и умерщвляющей, бесконечно обновляющей мир в своих индивидуальных созданиях. Не является ли развиваемая вами философия борьбы со смертью, философия личностного бессмертия в чем-то антиженской мыслью?

Мне кажется наоборот. Мужчина, точнее мужская цивилизация, нашла способ оправдания смертной жизни через творение культуры. Здесь, в этой галерее художественных образов, картин, скульптур, книг, мелодий, среди запечатленных навечно мигов, образов, идей, человек нашел компенсацию своего преходящего существования, культурный суррогат бессмертия. Женщина, порождая через свою утробу, свои внутренности уникальное живое существо, больше, чем мужчина, озабочена *им*, т. е. таким плодом, который не просто бессмертно пребывает в пространстве идеальной художественной вещи, а реально существует, движется, мыслит, чувствует, страдает и умирает. Таким образом, производя на свет бесконечно ей дорогую личностную жизнь, она же глубже переживает смерть не просто как исчезновение себя, единственного и любимого, а естественно расширяет это чувство на другого и других, ведь ей особенно знакома трагическая невозможность принять смерть своих детей… Творчество бессмертия для нее может быть понятнее именно как творчество бессмертной индивидуальной жизни, а не бессмертного, но буквально не живого творения искусства. Как сетовал Сергей Есенин: «Не разбудишь ты своим напевом / Дедовских могил!»

Мужчины набросили на себя и мир густую мифологическую сеть: теорий, гипотез, уподоблений, метафор, мифологий — они и помогают осмыслить окружающее и в нем действовать, они же часто запутывают и стреножат. Любят с ними, со своими культурными бирюльками, играться и их комбинировать: так повернуть или эдак, такое ассорти составить, это предпочесть или то. Мужчина больше, чем женщина, ответственен и за выбор культуры как высшего оправдания смертного бытия, и за орудийное, внешне-манипулятивное отношение к миру, отбросившее человека-субъекта на непереходимую дистанцию от мира, объекта приложения его технических операций. Женщине дано на путях инстинкта *выткать* свое дитя из зародыша, питая его собою. На бессознательном уровне она всегда занималась и занимается творчеством жизни. Она же, рожая в муках, знает, чует своими потрохами мучительную изнанку природного бытия, и ей должна быть внятнее идея преодоления его пожирающего, вытесняющего, смертного порядка, кстати, и через этап вникания в творческий стан самой при-

роды, владеющей на путях инстинкта тайнами *органосозидания* и органических метаморфоз. Женщине присущ и дар большей любви и прощения, большей интуиции, возможно, даже большего метафизического оптимизма — как стоящей ближе к природно-инстинктивным ресурсам жизни, отторжение от которых так иссушает и подводит горделивое рацио.

Интересно, что свою женскую сущность я больше чувствую не *внизу*, а скорее *вверху* в особой жизнетворческой логике, в *женском логосе*, как выражался мой муж, философ Георгий Гачев.

А что еще вы можете сказать о глубинно-экзистенциальных ипостасях вашей мысли?

Пожалуй, здесь несколько вещей наиболее для меня характерны, определяют мой душевный и духовный *завиток*. Сначала о первой: неприятие онтологической силы зла. Во всех его самых раздирающих душу манифестациях я вижу большее-меньшее «несчастье», ущерб, оскорбленность природой, смертным законом, обстоятельствами, людьми того или иного злодея… И в универсуме я не восчувствую никакой драмы гордости, бунта, падения, противодействия Богу некоторых высших ангельских чинов, отщепляющихся тем самым в демонические. Сатана, антагонист Бога, для меня — интеграл противобожеского выбора человека, его онтологической капитуляции в борьбе с низшими инстинктами и страстями. Поле брани добра и зла — в самом человеке. И зло — в эксцессах (о сколь разнообразных и причудливых!) *отчаяния в спасении*. И одухотворяя, гармонизируя природу человека, потесняя в ней права разрушительных сил, темную, оскорбленную иррациональность, постепенно *обессмертивая* человека, мы тем самым будем укреплять в нем источники добра, расширять сферу света, разума, любви.

Сатанизм, циничное торжество издевательского, изощренного зла, по моему мнению, рождается тогда, когда интеллект, богатый в своей фантазии и утонченности, подключается к обслуживанию низменной, злобной стороны в человеке, тем более еще раздражаемой метафизическим отчаянием, отравляемой смертными токсинами. Интеллект, сознание, разум, этот замечательный плод восходящей эволюции, по самой своей природе призваны вести лучшую, растущую в человеке его часть, работать на одухотворение материи. Когда же разум противоестественно входит в нечистый союз с животным, страстно-самостным низом человека, то это и порождает это новое, неизвестное собственно животной твари качество зла (там пределы зверского четко отграничены инстинктом и природной целесообразностью), которое и можно назвать в его мифологической экстраполяции — сатанизмом.

Иначе говоря, я всем существом всегда ощущала и верила в выраженный христианской мыслью принцип: зло — лишь недостаток, *отсутствие добра*. Для меня это не головной силлогизм, не философия, не богословие, а внутреннее, сердечное убеждение. Оттого так отстаиваю принципиальную установку: надо найти способы обратить зло в добро, разрушительно ориентированную волю и дела трансформировать в созидательные — без этого никакое всеобщее дело спасения

невозможно. (Кстати, оттого так люблю и развиваю теорию доминанты на добро А.А.Ухтомского.)

Я не люблю отчаяния, любого, и жизненно-бытового, и метафизического прежде всего (тут оно мне кажется хулой на Духа Святого, на Бога): всякие там окончательные фиаско, «гибели богов», «вечный ад», неизбывное проклятие, добровольное а ля Гартман самоуничтожение жизни и вселенной — всё это брр! для меня. Самые нелюбимые слова: *ни за что* и *никогда*, фиксирующие ситуацию, чувство, человека, универсум в мучительной точке неизбывного распяливания и поражения.

Я всегда хочу *невозможного* — в отношениях с людьми и миром. Для меня это невозможное вполне возможно — я верю в это — только малодушие, слабость и ленивая корысть настаивают на обратном. Когда я была моложе, особенно напролом пыталась штурмовать закрытость другого, надеясь, а вдруг рухнут непроницаемые перегородки и откроется блаженство «взаимной прозрачности» (этой основы будущей психократии, федоровского проекта, который я позднее развивала). Но *потёмки* чужой (потому и чужой) души осветятся в самых своих скрыто-болезненных углах и тайниках лишь в преображенной природе, но, слава Богу, что хочется этого уже сейчас — залог, что так и будет. Вспомним лермонтовское: «Когда б в покорности незнанья / Нас жить Создатель осудил, / Неисполнимые желанья / Он в нашу душу б не вложил…»

И еще самое дорогое — спасение всех до единого, какой-то мощный метафизический демократизм: *нераздельность* и *неслиянность* всех по типу Троицы как идеал; во *всеобщем деле* психофизиологической регуляции, объединяющей все усилия, от медико-биологических до нравственно-духовных и воспитательных, дать каждому возможность максимального выправления всяческого несовершенства и уродства, а *бракованного* человека (генетически, обстоятельствами рождения и существования, роковыми случайностями и несчастьями…) не обрекать на труху, усушку-утруску бытия, а, напротив, на развитие и преображение — хоть из одной его ценной душевно-духовной молекулы, из самой малой искры его сознания, пусть зловонно зачадившей в обстоятельствах земной жизни. Вообще не люблю самодовольного иерархического принципа в мышлении, как не люблю и мировое устройство на этих основаниях: ранги, этажи, перегородки, и еще одно «никогда» и «невозможно», что сквозит в этих подразделениях. Кстати, аристократизм — более мужской тип общественного идеала, а вот источный матриархат — в примитивном, еще конечно, виде — родовое, прото-соборное равенство: «со всеми и для всех».

Отмечу еще одно, существенное: стремление вывести к свету, дать оптимистический, созидательный исход даже из самого скудного бытийственного варианта. Как у человека размышляющего и пишущего — потребность и попытка обосновать необходимость и возможность реализации всех метафизических надежд, выраженных в великом христианском чаянии (воскресение мертвых, преображение, выход в божественный, творческий эон бытия) и при самом безблагодатном, самом худшем исходном пункте: когда и существование Бога, благого направляющего

вектора развития мира, может выводиться за скобки, как и прочие положительные благоприятствующие величины, скажем, объективный закон восхождения духа в лоне материи, внутренняя эволюционная программа и т. д. могут ставиться под сомнение. То есть не отчаиваться и действовать в любом, любом случае. И чтобы просчитать и самый последний, самый *бедный* вариант — редукция к минимуму, к тому, что совершенно очевидно *есть*: а есть и человек, и его поразительные творческие возможности, его разум и сердце, есть огромный мир с колоссальными ресурсами материи и энергии, есть и идея Бога, Царствия Небесного с их по меньшей мере проективным богатством. И отсюда уже восходить и достигать, и если в ходе этого усилия обнаружатся с очевидностью благоприятные, помогающие моменты — Высшие Божественные силы или препятствующие (а такие неотразимо очевидны в самом человеке прежде всего) — то надо или радоваться неожиданной, *ожиданной* помощи, или преодолевать вторые, не теряя отваги и терпения. «Методическое сомнение», сведение к последнему очевидному и движение уже от этого безусловного остатка ко Всему — такова тут траектория.

Кстати, пару слов дополнительно об этом, близком мне методологическом принципе (если хотите) подхода к реальности, который отправляется от непосредственной достоверности, реальной очевидности, отбросив все наиболее благосклонно-утешающие представления, данные только в акте веры, всю ту ученую и расхожую метафизику, что набрало, насочиняло себе человечество. *Методическим сомнением* называл его Декарт. Принципом *Фомы неверующего* можно назвать его по-христиански. Не удовольствоваться детской верой на слово и на авторитет, а *вложить персты в раны*, чтобы достоверно, опытно убедиться в наличии чуда, могущего по благодати распространиться и на нас. Но не пасть духом, если даже этих *ран* не окажется, и человек останется лицом к лицу лишь со своим *желаемым*, со своим проектом (но ведь и это уже кое-что, и немалое!).

Еще из методологии, так сказать, домашней: я считаю важным с предельным духовным вниманием вчувствоваться и вслушиваться в себя, в то, что мне субъективно, на самой незамутненной глубине моего существа является как наиболее истинно и благое. Это и дерзаю чувствовать как всеобщее, идеально человеческое, божественное, если хотите, как факт бытийственной ценности. Иначе говоря, систему долженствования, целей и задач я черпаю и из своего внутреннего колодца, полагая, что он бьет *моей* струей, но из одного большого общечеловеческого источника *воды живой*.

В завершение — несколько слов о Ваших последних работах и, разумеется, о творческих планах.

Только что в Издательстве Русской христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге вышла в свет моя книга «Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден». Мысль о. Тейяра, разработавшего концепцию ноосферы, учение христианского эволюционизма, удивительно созвучна русской активно-христианской мысли, и прежде всего Н.Ф. Федорову.

А что касается нового? Как сотрудник Института мировой литературы продолжаю работать в коллективе, ставящем целью создать новую Историю русской литературы XX века в обеих ее, ныне воссоединенных потоках: литературы метрополии и изгнания. Уже вышел ряд выпусков, аналитически-углубленно, вольно и свежо пропахивающих поле этой литературы, причем, на многих, ранее нетронутых, целинных участках. Недавно наш отдел выпустил двухтомник «Русская литература 1920–1930-х годов. Портреты поэтов». А сейчас мы составляем том портретов прозаиков, для которого я написала две большие работы — о Л. Леонове и В. Набокове.

Кроме того, постепенно привожу в порядок дневники и пишу новую книгу, в которой хочу выступить в более свободном жанре, в форме pensées détachés*, отдельных философских фрагментов по основным темам, которые волнуют меня всю жизнь.

Беседовала Вера Попова

* Обрывки мыслей (*франц.*).

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ С.Г. СЕМЕНОВОЙ ОБ АНДРЕЕ ПЛАТОНОВЕ

Творчеството на живота (Философско-естетическите идеи на Н.Ф. Фьодоров // Литературна мисъл. 1978. № 3. С. 88–107 [на болг. яз.; о Федорове и Платонове — С. 106–107].

«В усилии к будущему времени…» (Философия Андрея Платонова) // Литературная Грузия. 1979. № 11. С. 104–121.

«С усилия към бъдещето…» (Философията на Андрей Платонов) // Литературна мисъл. 1980. № 6. С. 84–103 [на болг. яз.].

«Идея жизни» у А. Платонова // Москва. 1988. № 3. С. 180–189.

Мытарства идеала (к выходу в свет «Чевенгура» А. Платонова) // Новый мир. 1988. № 5. С. 218–231.

«Идея жизни» Андрея Платонова // А. Платонов. Чевенгур. М.: Художественная литература, 1988. С. 3–20.

«В усилии к будущему времени…». Философия Андрея Платонова // Преодоление трагедии: «Вечные вопросы» в литературе. М.: Советский писатель, 1989. С. 318–379.

Сердечный мыслитель (выступление на круглом столе «Андрей Платонов — писатель и философ») // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 26–31.

Московский Сократ: Жизнь, учение, судьба идей Николая Федорова // Волга. 1989. № 12. С. 98–119 [о Федорове и Платонове — С. 117–118].

Руският мислител Н.Ф. Фьдоров и литературата // Литературна мисъл. 1990. № 3. С. 83–102 [на болг. яз.; подпись: Светлана Семьонова-Гачева; о Федорове и Платонове — С. 102].

А. Платонов // Николай Федоров: Творчество жизни. М.: Советский писатель, 1990. С. 363–373.

Космическое сознание в русской литературе XX века. Автореферат (в форме научного доклада) дисс… доктора филол. наук. М., 1992. [о Платонове — С. 19–25].

«Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: Наследие, Наука, 1994. С. 73–131.

«Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // Свободная мысль. 1994. № 6. С. 83–94 [сокращ. версия].

«Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // Андрей Платонов: Мир творчества. М.: Современный писатель, 1994. С. 122–153.

Тайны Царствия Небесного. М.: Школа-пресс, 1994 [о Платонове — С. 347].

«Идея жизни» Андрея Платонова // А. Платонов. Взыскание погибших: Повести. Рассказы. Пьеса. Статьи. М.: Школа-Пресс, 1995. С. 5–39.

Воскрешенный роман Андрея Платонова. Опыт прочтения «Счастливой Москвы» // Новый мир. 1995. № 9. С. 209–226; то же: *Платонов А.* Счастливая Москва. М.: Азбука-Аттикус, 2012. С. 166–222.

Философские мотивы романа «Счастливая Москва» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995. С. 54–91.

«Влечение людей в тайну взаимного существования…» (Формы любви в романе) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 1999. С. 108–123.

Россия и русский человек в пограничной ситуации: Военные рассказы Андрея Платонова //«Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 138–152.

Философский абрис творчества Платонова // Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. С. 471–506.

Контексты геополитики в пьесе «Ноев ковчег» («Каиново отродье») // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 184–194.

Андрей Платонов // Семенова С.Г. Философ будущего века — Николай Федоров. М.: Пашков Дом, 2004. С. 538–547.

Метафизика русской литературы: В 2 т. Т. 2. М.: Издательский дом «ПоРог», 2004. С. 207–342.

«Философия общего дела» Н.Ф. Федорова и русская литература XX века // Зборник матице српске за славистику. № 68. Нови сад, 2005. С. 18–38 [о Платонове — С. 32–35].

Религиозно-философский контекст и подтекст «Чевенгура» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 34–44.

Россия и русский человек в пограничной ситуации (Военные рассказы Андрея Платонова) // Война в славянской литературе. Мозырь, 2006. С. 277–298.

Платонов и его трагический гиньоль (Три драматургических сюжета начала 1930-х годов) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 7. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 347–364.

Метафизические мотивы творчества Андрея Платонова // Андрей Платонов. Философское дело: Сборник научных статей. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. С. 316–349.

Мытарства идеала // *Платонов А.П.* Чевенгур. СПб.: Азбука-Аттикус, 2015. С. 5–34.

Философский абрис творчества Платонова // Семенова С.Г. Русская литература XIX–XX веков: От поэтики к миропониманию. М.: Академический проект, 2016. С. 634–659.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Августин Блаженный 376
Авдыкович О.Н. 522, 558–560, 562
Адам (библ.) 120, 171, 208
Айтматов Ч.Т. 12, 444
Акопян В.Г. 522, 558, 578, 586
Аксенов Г.П. 451, 474, 522, 574
Александр Константинович см. Горский А.К.
Александр Мень, прот. 464
Алексий I (Симанский), патр. Московский 561
Алексий II (Ридигер), патр. Московский 465, 576
Алена, соседка Э.В. Ильенкова 413
Алена см. Голодная А.М.
Алешковская И.Ф., Ирина 407, 567
Алешковский Ю., Юз 407, 542, 567
Алла см. Иванова А.П. 490, 580
Алле А. 485, 580
Андреев Д.Л. 507, 529, 535, 537, 547, 584, 587–589
Андрей Рублев, св. 504
Андреотти Ю.А. 368, 556
Андропов Ю.В. 462, 474, 575, 576
Анисимов И.И. 397, 563
Аннинский Л.А. 510
Антипов Г.А. 451, 574
Антон см. Мартыненко А.М.
Антоний Великий, св. 376, 377
Антоний (Мельников), митр. 464, 465, 576
Антонова Е.В. 17, 29, 102, 120, 205
Арватов Б.И. 62, 103
Арина Родионовна, няня А.С. Пушкина 554
Архимед 171
Асанов Л.Н. 436, 572
Астафьев В.П. 228, 374, 375, 500, 558
Ахматова А.А. 62, 103, 400
Ахун Э. 367
Ахутин А.В. 470, 577

Баадер Ф. фон 166
Бабанова О.А., Оля 476, 503, 513, 522, 525, 583, 586
Бабель И.Э. 540
Байдин В.В. 442, 453, 573
Бандура А.А. 522, 586
Банкетов А.М. 482, 579
Баранов М. 405, 407, 566
Баранова С.Ф., Светлана 405, 407, 566
Барановы см. Баранов М. и Баранова С.Ф.
Баратынский Е.А. 547, 561
Басинский П.В. 536, 537, 591
Батюшков К.Н. 471
Бахрушин А.А. 561
Бежин Л.Е. 503, 583, 587
Белинский В.Г. 388, 446, 562, 571
Белов В.И. 374, 375, 501, 558
Белшевица В. 492
Белый А. 261, 444, 573
Берберова Н.Н. (Berberova N.) 392, 561
Бердяев Н.А. 7, 11, 109, 120, 126, 164–166, 168, 169, 171, 181, 182, 476, 477, 514, 519, 530, 597

Беркович А.Д. 63, 103
Берковская Е.Н., Лиля Сетницкая 571
Берта см. Гачева Б.Н.
Бетховен Л. ван 131, 134
Бёме Я. 166, 168
Битов А.Г. 526, 534, 587
Блаватская Е.П. 503
Блок А.А. 205, 439, 444–446, 543, 573
Боб см. Эдвардс Р.У.
Богданов В.А. 371, 557
Боголюбова Н.Г. 506, 513, 584
Богомолова М.В. 17, 102, 120
Богуславская З.Б. 492
Бодлер Ш. 130
Борель П. 379
Борис см. Процук Б.И.
Борисов В.С. 404–407, 460, 474, 564, 566, 578
Ботев Х. 429, 571
Бочаров С.Г. 372, 373, 394, 431, 557
Бочаровы 373
Боэций С. 545
Бригитта см. Иосифова-Темпест Б.
Бродский И.А. 362
Бруно Д. 171
Брук М.С. 489, 580
Брэдбери Р. 529
Брюсов В.Я. 8, 404, 405, 408, 566, 567, 569
Булгаков М.А. 547
Булгаков С.Н. 6, 7, 11, 51, 104, 119, 167, 169, 181, 416, 455, 457, 487, 525, 568, 587, 597
Бунин И.А. 375
Быков Ф.А. 417, 568
Бэлза С.И. 501

Вавилов Н.И. 557
Вагин Е.А. 566
Вагинов К.К. 475
Вагнер Р. 413
Валентин см. Никитин В.А.
Валерия Дмитриевна см. Пришвина В.Д.
Варава В.В. 589
Варламов А.Н. 591
Василенко В.М. 507, 535, 584
Василенко С.В. 537, 589
Василий Великий, свт. 15
Васильев В.В. 357, 410, 411, 527, 560, 567, 587
Введенский А.И. 590
Вейнингер О. 38, 39, 102
Великовский С.И., Саня Великовский 411, 486, 488, 489, 505, 580
Веневитинов Д.В. 471
Вернадский В.И.
Верочка см. Щербакова В.А.
Весёлый А. 540
Ветер А. 556
Виктор Потапов, свящ. 502
Викулов С.В. 409, 410, 567
Винонен Р. 474, 578
Виталий Иванович см. Севастьянов В.И.
Володя см. Семенов В.Г.
Волошин М.А. 441, 572, 573
Вольтер (Ф.-М. Аруэ) 4
Волынский (Флексер) А.Л. 8, 467, 577
Воронин С. 503
Воропаев В.А. 481, 546, 579, 590
Воропаева Е.В. 481, 579
Вулф Т. 561
Высоцкий В.С. 435
Вышеславцев Б.П. 11, 165, 172, 181, 182, 530, 547

Гаврюшин Н.К., Коля Гаврюшин 381, 464, 472, 539, 559, 576
Газданов Г. 11

Гайдар А.П. 398, 401, 564
Гайденко П.П. 470, 498, 564, 577
Галанов А.М. 382, 559
Гальцева Р.М. 546, 590
Ганичева М.В. 514
Гатауллин Б.Н. 586
Гачев Г.Д., Гоша 4, 12, 362, 367–369, 373, 379, 381–385, 391, 392, 397, 402–406, 412–414, 417–420, 423, 425, 426, 428, 429, 436, 445–450, 453–455, 458, 460–464, 471, 474, 476, 479, 480, 487, 490, 499, 502, 505, 507, 516, 519, 520, 522–524, 526, 528, 529, 531–533, 535, 539, 541, 543, 544, 546, 551, 556, 558, 559, 561, 564, 567, 568, 570, 571, 576, 577, 579, 580, 586, 587, 589, 590, 602, 603
Гачев Д.Г., Дима 407, 454, 477, 478, 490, 524, 567, 579, 580, 587
Гачева А.Г., Настя, Настенька 17, 18, 164, 323, 361, 363, 368, 372, 379, 382, 392, 400, 402, 403, 413, 414, 417, 418, 448, 455, 458, 459, 462–465, 480, 490, 501, 506, 507, 510, 511, 513, 520, 522–524, 526, 527, 528, 530–533, 535, 538, 539, 541, 542, 546, 547, 551, 552, 554, 556, 557, 575, 580, 581, 584–588, 590, 591
Гачева Б.Н. (урожд. Циммерман), Берта 407, 454, 567
Гачева Л.Г., Лара, Ларочка, Ларисонька, Ларка 372, 379, 385, 392, 393, 400, 402, 403, 405, 406, 414, 417, 418, 424–426, 436–442, 445, 448, 455, 458, 459, 462, 467, 475, 490, 494, 495, 503, 506, 512, 519, 520, 522–524, 526, 530, 532, 535, 541, 542, 551, 557, 575, 581, 582, 585
Гачевы 483, 561, 568
Гвидобальди 501
Гегель Г. 364, 465, 535, 568, 574
Гей Н.К. 479, 579
Геллер М.Я. 322, 323, 527, 587
Георгиевский Г.П. 562
Гербер А.Е. 476, 578
Гёте И.В. 8, 18, 560, 564
Гилянов А.Я. 513, 516, 585
Гиляновы 513
Гинда Михайловна, учительница С.Г. Семеновой 367
Гинденбург П. фон 66
Гитлер А. 239, 241, 434, 435, 487
Глеб Якунин, свящ. 561
Гоголь Н.В. 204, 205, 388, 408, 409, 420, 459, 564, 579
Годнева Л. 367
Голованов В.Я. 537, 589
Голодная А.М., Алена 425, 570
Гольдин Ю.М. 528, 587
Гомер 362
Гомина И.И. 535, 589
Горбачев А.Г. 544, 590
Горбачев М.С. 493, 506
Горбовский А.А. 562
Горбунов-Посадов И. 569
Горелов П.Г. 499, 582
Горский А.К., Александр Константинович, Остромиров А. 11, 18, 121, 122, 164, 401, 415, 421, 423, 424, 431, 439–441, 444, 499, 509, 511, 541, 552, 554, 558, 562–565, 568–570, 572, 573, 575, 586, 591, 594
Горький А.М. 8, 11, 102, 198, 232, 319, 323, 387, 406, 421, 459, 470, 540, 556–559, 561, 563, 565, 566, 568, 577, 578, 594
Гоша см. Гачев Г.Д.
Григорий Нисский, свт. 434, 456
Грин А.С. 441
Гулыга А.В. 392, 421, 428, 440, 441, 452, 463, 466, 483, 490, 491, 561, 563, 569, 572, 577, 595
Гуля см. Джугашвили Г.Я.
Гурвич А.С. 123, 351, 504, 583
Гурджиев Г.И. 503

Гурьев В.Е. 506, 581, 584
Гуфеланд К.В. 508
Гюнтер Х. 534, 589

Давыдов Ю.В. 564
Данилевский Н.Я. 368
Дарвин Ч. 487, 574
Дашевская З.М., Зоя 519, 585
Деборин А.М. 452, 574
Декарт Р. 605
Державин Г.Р. 409, 547
Джохадзе М. 492
Джугашвили Г.Я., Гуля 369, 404, 442, 460, 474, 557
Дидро Д. 4
Дима см. Гачев Д.Г.
Димитрий (Абашидзе), еп. 576
Дина (библ.) 448
Дионисий 374
Довгалло Г.И. 562
Дорогов А.А. 424, 445, 569
Достоевский Ф.М. 5, 8, 11, 15, 17, 30, 38, 70, 116, 120, 157, 164, 221, 263, 292, 305, 312, 317, 323, 338, 358, 379, 388, 409, 421, 426, 444, 446, 464, 474, 480, 484–486, 488, 489, 491, 537, 547, 562, 569, 576, 579, 580, 589, 590, 596, 597, 599, 600
Дугин А.Г. 220
Дужина Н.И. 17, 102, 120, 183, 184, 189, 205
Дунаев М.М. 590
Дункан А. 581
Дюма А., сын 266

Ева (библ.) 208
Евтушенко Е.А. 463, 576
Егоренкова Г.И. 466, 576
Егоров А.Г. 445, 573
Елена Михайловна, сотр. Литфонда СССР 567
Ельцин Б.Н. 516
Еременко В.Н. 578
Еремин М.П. 379, 558
Ермилов В.В. 398, 539, 563
Ермилова Е.В. 566
Ерофеев В.В. 536, 548, 555, 591
Есенин С.А. 11, 421, 600, 602
Ефимов А.Е. 372, 557

Жаков К.Ф. 439, 572
Жданов В. 497, 503, 582
Жуков Д.А. 490, 581
Жукова И.А. 581

Забелин И.М. 558
Заболоцкий Н.А. 8, 11, 18, 23, 27, 71, 326, 387, 388, 393, 404, 418, 476, 488, 529, 531, 565, 567, 587, 590, 594
Зайцев Г.С. 557
Залкинд А.Б. 63, 103
Залыгин С.П. 505, 527, 584
Замошкин Ю.А. 564
Замятин Е.И. 183, 545
Зенкин С.Н. 510, 584
Зимянин Н.В. 463, 575
Зискинд А.В. 409, 567
Золотусский И.П. 396, 510, 563
Зощенко М.М. 563
Зоя см. Дашевская З.М.

Иаков (библ.) 449
Иваницкий П.И. 440, 572
Иванов Вс.В. 540, 563
Иванов Вяч.Вс. 490, 581
Иванов П.К. 395, 482, 562
Иванова А.П., Алла 490, 524, 580, 586
Иванова Е.В. 501, 583
Ивин А.Н. 427, 432, 570
Иисус Христос 10, 34, 35, 95, 101, 110, 116, 151, 152, 168, 208, 229, 337, 338, 346, 348, 374, 391, 411, 426, 492, 494, 497–499, 502, 514, 577, 587

Ильенко Ю.Г. 371, 557
Ильенков Э.В. 413, 495, 568, 582
Илья Пророк (библ.) 446, 513
Иоанн Богослов, ап. 411, 545
Иов (библ.) 511
Иовчук М.Т. 428, 429, 436, 462, 466, 470, 571, 575
Иона (библ.) 511
Иосиф, знакомый Г.Д. Гачева и С.Г. Семеновой 425, 570
Иосифова-Темпест Б., Бригитта 404, 407, 565, 566
Ира см. Казакова И.П.
Ирина см. Алешковская И.Ф.

Казакова И.П., Ира 503, 583
Казнина О.А. 587, 590
Камю А. 4, 6, 18, 130, 446, 477, 479, 556, 578, 592
Камянов В.И. 404, 565
Кандауров О.З. 460, 575
Кант И. 379, 392, 462, 520, 535, 561
Капельницкая О.С. 29
Каплинская Е.С. 492
Карамзина Е.А. 554
Кареев Н.И. 406, 566
Карсавин Л.П. 165
Карякин Ю.Ф. 395, 426, 427, 435, 476, 562, 570, 578
Касаткина Е. 522
Катерина Александровна см. Крашенинникова Е.А.
Катя, аспирантка С.Г. Семеновой 528
Кафка Ф. 5, 28
Кедров Б.М. 470, 577
Кедров К.А. 408, 425, 395, 562
Киляков В. 537, 589
Ким А.А. 12, 482, 535
Киреевский И.В. 445, 573
Кирьянов Ж.Н. (Юрий) 533, 588
Клайн Д. 500, 583
Кларк К., Катя 426, 500, 506, 524, 570, 583
Клементьев Р.Е. 17, 120
Клюев Н.А. 8, 11, 421, 500, 537, 547, 583, 594, 600
Книпович Е.Ф. 478, 479, 579
Кнорре Б.К. 464, 576
Княженцев В.Я., в монаш. Авраамий 412, 415, 568, 571
Ковалева М.Ф. 564
Ковалевский В.О. 557
Ковбень В.Н. 541, 589
Ковбень М.П. 489
Ковда В.В. 477, 579
Коган Л.А. 429, 571
Коган Ф. 569
Кожевников В.А. 507, 564, 565, 569, 579, 585, 593
Кожинов В.В. 404, 499, 501, 565, 566, 595
Кожиновы 407
Коллонтай А.М. 60, 61, 62, 103
Колунцев Ф.А. 476, 578
Кольцов А.В. 106, 119, 125
Комарова Л. см. Чернякова Л.
Кондорсе Н. 508
Конт О. (Август) 444, 486, 573
Корин Г.А. 383, 559
Корниенко Н.В., Наташа 4, 11, 13, 17, 18, 29, 102, 120, 163, 164, 205, 221, 358, 504, 517, 522, 527, 530, 535, 536, 555, 583, 586–588, 591
Корниенко С.Ю., Светлана 589, 535
Корнилова Г.П. 474, 475, 578
Коровин К.А. 526
Королев С.П. 582
Коршунова К.А. 591
Костин В.И. 561
Костин Е.А. 588
Костров В.А. 496, 582
Кочетов В.А. 414, 568

Крамов И.Н. 396, 398, 409, 563, 564, 567
Крашенинникова Е.А., Катерина Александровна 404, 415, 430, 439, 558, 563, 568–572, 575, 591
Крашенинникова М.А., Мария Александровна 431, 438, 572
Криндач В.П. 362, 556
Кроль М.А. 439, 572
Крупин В.Н. 499
Крывелев (Кривилев) И.А. 395, 562
Крымов Д.А. 591
Кузнецов Б.Г. 470, 577
Кузнецов П.Г. 558
Кузнецов Ф.Ф. 499
Кукушкина Т.А. 17, 120
Купревич В.Ф. 394, 558, 562
Купреев С.А. 576
Куприянов В.В. 388, 560
Куприянов В.Г. 477, 579
Купченко В.П. 441, 442, 572
Кураев А.В. 539, 589

Лазарь (библ.) 151, 337
Лазутин И.Г. 563
Лакло Ш. де 552
Лангерак Т. 63, 103
Лара, Ларочка, Ларисонька, Ларка см. Гачева Л.Г.
Латынин Л.А., Леня 409, 412, 472, 567
Латынина А.Н. 482, 483, 579
Леба С. 490, 581
Лена, помощница В. Ерофеева 548
Ленин В.И. 311, 393, 501, 562, 563
Леня см. Латынин Л.А.
Леонов Л.М. 11, 200, 201, 531, 532, 542, 543, 588, 606
Лермонтов М.Ю. 11, 408, 409, 421, 540, 541, 547, 561, 589, 599, 600
Лесневский С.С. 510, 584
Лиля Сетницкая см. Берковская Е.Н.
Лимонов Э.В. 531
Линник Ю.В. 439, 456, 572
Литвинова Л.В. 428, 445, 571
Лихоносов В.И. 567
Лобанов М.П. 560
Лобачевский Н.И. 577
Лосев А.Ф. 552, 572
Лосский Н.О. 11
Лотреамон 379
Лощиц Ю.М. 404, 566
Луис см. Флорес Лопес Х.Л.
Лука, ап. 399
Лукьянов О.М. 414, 424, 427, 428, 436, 442, 449, 567, 568, 571
Луначарский А.В. 395
Львов В.Н. 451, 464, 465, 562, 574
Люба см. Семенова Л.
Люда см. Комарова Л.
Ляля см. Сетницкая О.Н.

Майкл см. Холквист М.
Маканин В.С. 431, 432, 434, 535, 571
Макиндер Х. 219
Малашкин С.И. 60
Малевич К.С. 594
Малыгина Н.М. 39, 358
Малышкин А.Г. 563
Мальро А. 5
Мамардашвили М.К. 564
Манахов (Монахов) А.П., Т. М.
Мандельштам Н.Я. 430
Мандельштам О.Э. 487
Манн Т. 258, 482
Мао Цзэдун 380
Марина, супруга В.В. Байдина 460
Мария Александровна см. Крашенинникова М.А.
Маркес Г. 381
Маркс К. 24, 126, 151, 310, 311, 346, 392

Мартыненко А.М., Антон 550, 591
Маслова, ювенолог 395, 562
Машинский С.И. 369, 371, 557
Маяковский В.В. 8, 11, 116, 201, 387, 446, 529, 531, 538, 540, 563, 573, 587, 589, 590, 594
Меденица В. 598
Межиров А.П. 455, 575
Мелвилл Г. 5
Мелкумян М.Р. 588
Меньшутин А.Н. 561
Мережковский Д.С. 3, 47, 230, 600
Мечников И.И. 557
Микулинский С.Р. 462–468, 470, 471, 575–577
Миль Л.С. 383, 559
Мильнер Б.З. 409, 567
Миндлин Э.Л. 322
Мирский см. Святополк-Мирский Д.П.
Митин М.Б. 451, 452, 574
Михайлов А.А. 404, 565
Михайлов М. 502, 583
Михайловский Н.К. 559
Мкртчан Л.В. 525
Мовчан П.М. 412, 476
Мокеева Н.П. 586
Молли см. Эдвардс-Бриттон М.
Молок Ю.А. 561
Монгольфьер Ж.М. и Ж.Э. 508
Монро М. 572
Монтескье Ш. 4, 18
Мопассан Г. де 266
Морозов П.Т. (Павлик Морозов) 449
Московская Д.С. 17, 198, 205, 591
Муравьев В.Н. 424, 508, 509, 562, 569, 570, 584, 594
Муссолини Б. 66
Мэхэн А. 206
Мюнцер Т. 104
Набоков В.В. 368, 532–534, 552, 561, 606
Нагибин Ю.М. 121, 527, 587
Найман Э. (Naiman E.) 103
Настя, Настенька см. Гачева А.Г.
Наталья Дмитриевна, отв. секр. журнала «Волга» 498
Наташа см. Корниенко Н.В.
Нежный А. 576
Некрасов Н.А. 388
Немзер А.С. 510
Нива Ж. 490, 498, 581
Никита см. Никишин Н.Т.
Никитин В.А., Валентин 424, 472, 475, 503, 546, 569, 577, 578
Никишин Н.Т., Никита 402, 564
Николай Александрович см. Сетницкий Н.А.
Николай Педашенко (Педашенко Н.С.) прот. 392, 561
Николай Федорович см. Федоров Н.Ф.
Николай Элишман, свящ. 561
Николюкин А.Н. 119, 120, 205
Никон, патр. Московский 513
Ницше Ф. 176, 182, 258, 519, 532, 533, 535, 588
Ной (библ.) 208
Носов Е.И. 567

Овчаренко А.И. 409, 410, 567
Огурцов А.П. 468, 470, 577
Одоевский В.Ф. 444, 507
Ойзерман Т.И. 445, 462, 466, 573, 575
Оля см. Сетницкая О.Н.
Ольга Николаевна см. Сетницкая О.Н.
Орджоникидзе Г.К., Серго 409
Оруэлл Д. 449
Островский А.Н. 454–456
Остромиров А. см. Горский А.К.
Отрошенко В.О. 537, 589

Павел, ап. 85, 230, 355, 399, 445
Павлов О.О. 536, 537, 589
Павлова Л. 589
Палиевский П.В. (Palievsky) 390, 407, 414, 425, 499, 501, 503, 517, 560, 568, 570, 583
Панкратов А.С. 569
Папкова Е.А. 18
Парамонов Б.М. 502, 520, 583
Пархоменко А.Я. 430
Пастернак Б.Л. 11, 487, 528, 548, 575, 594
Пастернак Е.Б. 430
Педашенко Н.С. см. Николай Педашенко, прот.
Пейн Т. 501, 502, 583
Пергаментщик И. 513
Петельников, писатель 441
Петерсон Н.П. 478, 507, 564
Петр, ап. 230, 445
Петрарка Ф. 167
Пименов В.Ф. 382, 599
Платон 41, 42, 102, 182, 336, 592
Платонов А.П. (Platonov A.) 3, 4, 8–11, 14, 16–358, 362, 363, 365–367, 369–372, 374, 375, 378–381, 387, 388, 393, 395, 396, 398, 404, 406, 408–410, 412, 414, 422, 425, 427, 434, 440, 450, 453, 459, 460, 476, 477, 479, 482, 484–491, 493, 494, 496, 498, 501–504, 507, 509–511, 519, 520, 523–532, 534, 535, 537–547, 549, 550, 552–557, 559, 563–567, 569, 571, 575, 579–581, 583, 584, 586–592, 594, 596, 599, 600, 607–609
Платонов П.А., Платон 564
Платонова М.А. 550
Плисецкий Г.Б. 475, 578
Полтавцева Н.Г. 358, 554, 591
Поляков М.Я. 483, 579
Попов И.И. 523
Попова Т. 514
Потапов В.Ю. 488, 580
Потемкин А.П. 546, 590
Пратл К. 492, 581
Пришвин М.М. 8, 11, 17, 96, 348, 396–398, 406, 408, 476, 477, 488, 536, 564, 566, 567, 578, 580, 589, 594, 600
Пришвина В.Д., Валерия Дмитриевна 405, 408, 414, 566
Проскурин П.Л. 572
Проскурина Л.Р. 434, 476, 572, 578
Процук Б.И. 428, 523, 571
Прошечкин Е.В. 513, 585
Пунин Н.Н. 561
Пустарнаков В.Ф. 382, 429, 559, 571
Пушкин А.С. 11, 121, 287, 374, 388, 409, 459, 471, 532, 535, 537, 540, 547, 548, 552, 554, 588, 599
Пясковский Н.Я. 404, 565

Рабинович В.Л. 381, 468, 470, 559, 577
Равель М. 526
Радзишевский В.В. 510, 584
Разгулов М.М. 541, 589
Разгулова Т.А. 541, 589
Ральцевич В.Н. 452, 574
Распутин В.Г. 12, 478, 481–483, 489, 499, 567, 578, 579
Ратцель Ф. 206
Рахманинов С.В. 508
Регельсон Л.Л. 513, 585
Реддауэй (Реддавей) П. 368, 556, 583
Режабек Б.Г. 522, 586
Резник С.Е. 372, 557
Рейснер Л.М. 396, 563
Ренан Э. 394
Рерих Н.К. 514, 572, 585
Рерихи 503
Рёскин Д. 561
Ричард см. Темпест Р.
Рогощенков И.К. 405, 565, 566
Роднянская И.Б. 510, 527, 546, 584

Роженцева Е.А. 17, 29, 102, 186, 205
Розанов В.В. 106, 110, 116, 119, 120, 165, 192, 193, 205, 380, 544, 545, 583, 590
Розин Н.П. 392, 494, 561, 582
Романов А.И., Саша Романов 395, 407, 412–414, 424, 437, 562, 566, 568, 569, 571
Романов А.Н., Саша Романов 380, 558
Романов П.С. 59
Руссо Ж.-Ж. 4
Рюриков Ю.Б. 579
Рюриковы 479
Рябов И. 584

Саврасов А.К. 526
Сад Д.А.Ф. де 379, 433, 435, 448, 552
Салтыков-Щедрин М.Е. 449
Салынский О.А. 363, 369, 556
Самарин Р.М. 397, 563
Самоделова Е.А. 240, 244
Саня Великовский см. Великовский С.И.
Сапожниковы 525
Сапожников С.А. 586
Сарнов Б.М. 484, 580
Сартр Ж.-П. 4, 6, 28, 312, 446, 465, 477, 479, 556, 578, 592
Сатпрем 577
Сахаров В.И. 369, 499, 557
Сац И.А. 398
Саша Романов см. Романов А.И.
Саша Романов см. Романов А.Н.
Святогор А. (Агиенко А.Ф.) 440, 572
Святополк-Мирский Д.П., Мирский 409, 567
Севастьянов В.И., Виталий Иванович 431, 437, 490, 571, 572
Света см. Семенова С.Г.
Селезнев Ю.И. 404, 430, 444, 566
Селиванова С.Д. 498, 501, 582
Селиверстов Ю.И. 464, 465, 505, 576,
Семанов С.Н. 483, 579
Семенов В.Г., Володя 523, 586
Семенов Г.А. 418, 479, 480, 568
Семенов И.И., дядя Ваня 367, 556
Семенова В.И. (урожд. Попова) 362, 363, 551, 556
Семенова Л., Люба 479
Семенова С.Г., Света, Светлана 3–18, 120, 164, 323, 361–609
Семерников М. 499
Сент-Экзюпери А. де 322, 323, 515
Серафимович А.С. 540
Сергий Аполлов, свящ. 464, 576
Сергий (Страгородский), патр. 563
Сетницкая О.Н., Ольга Николаевна, Ляля 376, 394, 395, 404, 412, 415, 423, 431, 438–440, 445, 456, 460, 558, 559, 562, 563, 565, 568, 569, 572, 575, 591
Сетницкий Н.А., Николай Александрович 7, 18, 114, 120, 164, 415, 424, 431, 499, 509, 541, 554, 558, 562, 563, 565, 568–570, 575, 586
Сеченов И.М. 406
Сидоров Е.Ю. 473, 510, 578
Силуан Афонский, св. 442, 573
Синявский А.Д. 561
Сихем (библ.) 448
Скатов Н.Н. 501, 583
Скрябин А.Н. 430, 571, 586
Скуратовский В.Л. 473, 578
Славин Б.Ф. 376, 395, 558, 562
Смирнов В.П. 414, 536, 557
Сократ 374, 552
Солженицын А.И. 551
Соловьев В.С. 7, 8, 11, 16, 41, 51, 52, 57, 59, 61, 103, 138, 139, 164, 166, 168, 169, 172, 173, 181, 182, 325, 330, 336, 368, 388, 429, 437, 441, 444, 467, 484, 511, 519, 530, 547

Соловьев Э.Ю. 392, 396, 413, 462
Соловьева Е.А. 556
Соловьевы 403, 463
Софроницкая И.И. см. Тучинская И.
Софронова В.А. 485, 580
Спенсер Г. 486
Спикмен Н. 206
Спиноза Б. 171, 172, 465
Сталин И.В. 122, 134, 160, 191, 196, 199, 219, 345, 350, 398, 415, 486, 487, 508, 538, 557, 568
Старостин А.С. 460, 575
Стрелков Л.А. 562
Строков П.С. 414, 568
Струве Г.П. 583
Суворов А.В. 520
Сукач В.Г. 501, 583
Суматохина Л.В. 17, 29, 102
Суровова Л.Ю. 17, 120, 205, 591
Сухаребский Л.М. 560, 562
Сухих С.И. 467, 470, 576, 577
Сухово-Кобылин А.В. 450, 453, 490, 491, 574, 581
Сучков Б.Л. 397, 563

Т. М. см. Манахов А.П.
Таратута Е.А. 483, 504, 579, 583
Тареев М.М. 383, 559
Тарковский А.А. 371
Тарковский М.А. 589
Тейяр де Шарден П. 486, 488, 489, 547, 550–552, 560, 577, 580, 587, 591, 597, 605
Темпест П. 565, 566
Темпест Р., Ричард 407, 566
Тески А. (Teskey) 322
Тимофеев Т.Т. 400, 401, 564
Титаренко Е.М. 564
Токарева В.С. 492
Толстая Т.Н. 492
Толстой Л.Н. 5, 8, 11, 17, 102, 256, 363, 369, 403, 404, 407, 409, 427, 431, 441, 474, 480, 484, 500, 537, 557, 562, 565, 579, 599, 600
Толя, журналист 371
Томашевский Ю.В. 563
Трифонов Ю.В. 374, 434, 558
Тростников В.Н. 546, 590
Трофимова М.К. 102
Трубецкой Е.Н. 392, 561
Турбин В.Н. 425, 431, 486, 570
Тургенев И.С. 405, 449
Туровская М.И. 372, 557
Тучинская И.И. (в замуж. — Софроницкая) 571
Тучков А.А. 432, 433, 571
Тучкова М.М. (урожд. Нарышкина) 432, 433, 571
Тютчев Ф.И. 11, 297, 373, 469, 547, 561, 567, 600

Уайльд О. 60
Украинский Б.С. 559
Умов Н.А. 52, 54, 103, 507, 584
Умрюхина Н.В. 17, 120, 205
Урнов Д.М. 488, 501, 510, 580, 583
Ухтомский А.А. 604
Ушаков А.М. 541, 590

Фадеев А.А. 398, 564
Федоров Н.Ф. (Fedorov, Fyodorov), Николай Федорович 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16–18, 21, 25, 29, 33, 36, 41, 47–49, 52, 57, 59, 66, 69, 95, 97, 100, 102, 103, 110, 114, 117, 120, 131, 133, 136, 139, 165, 172, 181, 182, 197, 207, 208, 220, 236, 244, 252, 253, 260, 265, 267, 284, 285, 287, 288, 291, 301, 302, 322, 323, 325, 330, 331, 336, 361, 363–365, 368, 374, 375, 377, 378, 381, 387, 389, 391–395, 399, 400, 402–412, 414, 416, 419–422,

424–433, 435–438, 440–442, 444, 445, 447, 451, 453, 456–458, 461–468, 470, 472–484, 495, 497–503, 506, 507, 510–515, 519–524, 529, 530, 532–535, 537, 539, 540, 542, 543, 547, 556–582, 584–589, 591, 593, 597, 598, 601, 605, 607, 608
Федосеев В.И. 526
Федосеев П.Н. 462, 575
Федотов Г.П. 120, 519
Федь Н.М. 489, 581
Фейербах Л. 104, 105, 119, 313, 391
Феодор Студит, св. 445
Филарет Московский, свт. 347
Филиппов Б.А. 500, 583
Филонов П.Н. 594
Фицджеральд Ф.С. 561
Флоренский П.А. 165, 174, 178, 179, 181, 182, 583
Флоренский П.В. 501, 583
Флорес Лопес Х.Л., Луис 489, 580
Фолкнер У. 5
Фома, ап. 45, 605
Фома Кемпийский 390
Фонгюэ А. см. Fongue A.
Форд Г. 64, 66
Форд Э. 66
Форш О.Д. 563
Франк С.Л. 11
Франциск Ассизский, св. 90
Фрейд З. 41–43, 63, 173
Фролов И.Т. 450, 493–498, 582
Фролов Л.А. 450, 574
Фролова Е.А. 413, 462

Хагемейстер М. (Hagemeister) 465, 475, 576, 584
Хантингтон С. 206
Ханютин Ю.М. 372, 557
Харитонов В.А. 392, 561
Хармс Д.И. 590
Хаусхофер К. 206
Хлебников В.В. 8, 11, 113, 120, 418, 446, 538, 541, 589
Холквист М., Майкл 426, 570, 585
Холквист П. 519, 585
Храпченко М.Б. 414, 424, 570

Цветков И. 404, 565
Цельс 462, 504, 575
Циолковский К.Э. 269, 381, 392, 395, 451, 465, 473, 507, 561, 574, 584, 588
Цынговатая Е., Катя 504, 583

Чаадаев П.Я. 554
Чайковский П.И. 525
Чалмаев В.А. 358, 409, 410, 414, 425, 527, 567, 587
Чаплин Ч. 67
Чекрыгин В.Н. 392, 404, 507, 561, 566, 572, 594
Чекрыгина Н.В. 433, 572
Челлен Р. 206
Чемберлен О. 66
Черный К.М. 392, 561
Черняков А.А. 465, 576
Чернякова Л., Люда (урожд. Комарова) 445, 449, 450, 559, 576
Честняков Г.Е. 526, 594
Чехов А.П. 371, 599, 600
Чижевский А.Л. 507, 560, 561
Чикхишвили 436
Чиладзе О.И. 473, 479, 578, 579
Чухонцев О.Г. 421, 424, 441, 476, 569, 578

Шафаревич И.Р. 422, 423, 569
Шергова Г.М. 493, 582
Шиллер Ф. 172
Ширинский-Шихматов Ю.А. 531, 588
Шкловский В.Б. 64

Шкловский И.С. 476, 578
Шленов В.Л. 475, 476, 578
Шмитт К. 206
Шолохов М.А. 11, 13, 221, 295, 540–542, 546, 577, 581, 590
Шопенгауэр А. 535
Шри Ауробиндо Гхош 547, 577, 587
Штейнах Э. 67
Штирнер М. 146, 601
Шубарт В. 346, 358
Шубина Е.Д. 17, 102, 120, 358, 486, 491, 493, 510, 580, 581, 586
Шукшин В.М. 450, 563
Шульгин В.В. 414
Шуртаков С.И. 396, 563

Щемелева Л.М. 392, 561
Щербаков А.Н. 494, 503, 516, 582, 588
Щербакова В.А., Верочка 465, 531–533, 535, 541, 551, 554, 588
Щербина В.Р. 397, 398, 563
Щипанов И.Я. 445, 446, 573

Эмпедокл 174
Эдвардс Р.У., Боб 426, 570
Эдвардс-Бриттон М., Молли 426, 570
Эпштейн М.Н. 400, 498, 564
Эренбург И.Г. 563
Эуджидио, свящ. 503

Юдин П.Ф. 452, 574
Юз см. Алешковский Ю.
Юнг К.Г. 173, 182, 530
Юрченко И.И. 452, 574

Яблоков Е.А. 29
Языков Н.М. 134
Яковлев Александр А. 589
Яковлев Анатолий А. 512, 520, 585, 586
Яковлев А.Н. 585
Яковлев Ю.Я. 422, 569
Якубович П.З. 515, 585
Ярославский Е.М. 63, 103

Berberova N. см. Берберова Н.Н.
Fedorov, Fyodorov см. Федоров Н.Ф.
Fongue A. (Фонгюе А.) 492, 581
Hagemeister M. см. Хагемейстер М.
Naiman E. см. Найман Э.
Palievsky см. Палиевский П.В.
Platonov A. см. Платонов А.
Teskey A. см. Тески А.

СОДЕРЖАНИЕ

Анастасия Гачева
О Светлане Семеновой и этой книге 3

I
МЕТАФИЗИКА ТВОРЧЕСТВА

Где у Андрея Платонова искать его философию? 21

«Тайное тайных» Андрея Платонова
(смерть, эрос, пол) 30

Религиозно-философский контекст
и подтекст «Чевенгура» 104

Метафизика платоновских мотивов
(«Счастливая Москва») 121

«Влечение людей в тайну взаимного
существования…» (Тема любви в романе
«Счастливая Москва» в философском контексте) 165

Платонов и его трагический гиньоль
(Три драматургических шедевра начала 1930-х годов) 183

Контексты геополитики в пьесе «Ноев ковчег (Каиново отродье)» . . . 206

Россия и русский человек в пограничной
ситуации (Военные рассказы Андрея Платонова) 222

II
МИР АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА: ДВА ОПЫТА ОПИСАНИЯ

«В усилии к будущему времени…»
(Философия Андрея Платонова) 247

Философский абрис творчества Платонова 324

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мытарства идеала
(Из дневников Светланы Семеновой)
(*Публикация, подготовка текста, примечания А.Г. Гачевой*) 361

«Русская литература всегда привлекала своим человековедением…»
(Интервью со Светланой Семеновой) 592

Библиография работ С.Г. Семеновой об Андрее Платонове 607

Указатель имен 610

Научное издание

Утверждено к печати Ученым советом
Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН

Семенова Светлана Григорьевна

**ЮРОДСТВО ПРОПОВЕДИ:
МЕТАФИЗИКА И ПОЭТИКА
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА**

Дизайн обложки
В.В. Покатов

Компьютерная верстка
А.З. Бернштейн

Корректор
М.В. Нефёдова

Подписано в печать 19.05.2020
Формат 60×90 1/16
Усл.-печ. л. 39,0
Тираж 300 экз.

На авантитуле — фотопортрет С.Г. Семеновой (автор А.Б. Процук).
В оформлении обложки использованы фотоматериалы
из фонда А.П. Платонова Отдела рукописей ИМЛИ РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
тел. (495) 691-23-01, 690-05-61

ISBN 978-5-9208-0606-2

9 785920 806062